

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**STUDIA BIOGRAPHICA**



БИОГРАФИЧЕСКИЙ  
АЛЬМАНАХ

1

Феникс ♦ Atheneum  
Москва — С.-Петербург  
1992

ББК 83.3Р 1  
8 Р 1

Л-659

Редактор-составитель А.В.Лавров

Л-659 Лица: Биографический альманах. 1.— М.— Спб.:  
Феникс: Atheneum, 1992.— 464 с.; ил.

ISBN 5-85042-046-0

В альманахе собраны неопубликованные материалы к биографиям как известных деятелей культуры XX в., так и тех, чьи имена не знакомы большинству читателей. Сборник содержит мемуары, посвященные Ф.Сологубу, М.Кузмигу, письма Д.Мережковского, статью о взаимоотношениях поэтов М.Волошина и С.Парнок, жизнеописание философа Г.Шпета, документы о русском неокантианстве и др. Среди иллюстраций — неизвестные работы Е.Я.Данько, архитектора В.Н.Максимова, фотографии из семейных альбомов петербуржцев и москвичей.

Л  $\frac{4702010200 — 003}{Д20(03) — 92}$  без объявл.

ББК 83.3Р 1  
8 Р 1

*Издание осуществлено при содействии  
фирмы «Выбор-92», Спб.*

ISBN 5-85042-046-0  
ISBN 5-85042-047-9

© «Феникс», 1992

## От составителя

Планомерное и беспощадное истребление человеческой личности — возможно, главнейшая из необъявленных «городу и миру» целей, которые, осознанно или безотчетно, преследовала тоталитарная власть на протяжении последних семи десятилетий отечественной истории. Путей превращения людей с «лица необщим выраженьем» в одержимый коллективистским самосознанием человеческий материал, пригодный для осуществления любых предустановленных замыслов, было великое множество. В их числе — попытка создания нового представления о личности и ее месте в движущейся истории, своего рода посмертная (а нередко и прижизненная) селекция. Одни имена, сыгравшие определенную историко-культурную роль, обрекались на полное забвение, другие старательно разукрашивались в «бесов» — «злопахотелей», «пособников», «реакционернов», «врагов народа» и т.п., третьи подобострастно приобщались к ангельскому чину коммунистического пантеона. Трудно сказать, представителям какой из этих групп была уготована самая неблагоприятная посмертная судьба: все в той или иной степени, а порой и полностью утрачивали свою подлинность, свою личностную аутентичность. И приходится признать, что успехи в этом направлении были достигнуты немалые. Новое средневековье — это не умозрительная параллель применительно к России XX века, а во многих аспектах осуществленная реальность: вместо точного, конкретного, разностороннего знания нам на каждом шагу приходится встречаться либо с погружением в беспамятство, либо с идолами новой мифологии.

Мы надеемся, что наш альманах — как одна из малых капель, точащих камень, — будет способствовать делу восстановления в общественном сознании достоинства и приоритета человеческой личности. Наши задачи — не декларативные и не умозрительные, а сугубо локальные и практические; мы намерены оставаться в плену «низких истин», и из них дороже всего ценим непререкаемую истину факта. Мы предполагаем рассказывать о жизни и творческой деятельности лиц, оставивших заметный след в российской культуре, но до сих пор обделенных вниманием историков, филологов, искусствоведов, философов; освещать впервые или по-новому эпизоды биографии и творчества лиц, уже вошедших в общекультурный обиход; публиковать не печатавшиеся ранее архивные материалы (воспоминания, дневники, письма, творческие опыты, иные документы), расширяющие наши представления о деятелях отечественной истории и культуры; уделять место источниковедческим изысканиям и сообщениям справочно-библиографического характера.

Материалы, помещаемые в альманахе, готовились в соответствии с критериями, предъявляемыми к публикациям научного характера. В то же время мы рассчитываем на внимание со стороны широкого круга читателей, поскольку, как нам представляется, затрагиваемые темы не ограничиваются рамками узко профессиональных исследований, а научно-«академический» стиль не является для культурно ориентированного человека тайной за семью печатями.

Статьи и публикации первого выпуска альманаха ограничены определенным хронологическим периодом — первой половиной XX века. В дальнейшем предполагаются также выпуски, посвященные российской истории и культуре XIX века; возможна и публикация материалов, относящихся к более ранним эпохам.

*Ноябрь 1991 г.*



Портреты



## ОЧЕРК БИОГРАФИИ Г.Г.ШПЕТА<sup>1</sup>

*С любовью и благодарностью посвя-  
щаю памяти моей матери Маргари-  
ты Густавовны Шпет-Поливановой  
(ум. 3 апреля 1989)*

«Я родился в 1879 году. Год — знаменательный тем, что непосредственно за ним начались восьмидесятые годы. В России, конечно. За границей он даже и этим не замечателен». Такую запись сделал в одной из записных книжек Густав Густавович Шпет под многозначительным заголовком «Эстетическая биография человека 50-ти лет». И больше к этому замыслу не возвращался.

Запись эта относится к 1928 году. Год, замечательный тем, что Сталин окончательно пришел к власти и следующий год назвал «годом великого перелома». В России, конечно. Заграница же нас почти не будет интересовать: и жизнь, и философия Г.Г. Шпета — одного из первых наших европейских философов — были кровно связаны с Россией. И удушили его тогда же, когда окончательно удушали Россию.

Г.Г. не вернулся к своему плану, так как уже на следующий год — как раз тогда, когда он намечал начать свои записки (ему исполнилось 50 лет в 1929 году) — «великий перелом» коснулся его непосредственно. А еще через год была разогнана Государственная Академия Художественных наук (ГАХН), вице-президентом которой он был; он лишился работы, и началась его последовательная травля, которая закончилась через 6 лет арестом и ссылкой.

Вспомнив в 1930 году о своем замысле, он признается, что уже не может писать истории своей жизни вследствие сознания крушения и раздавленности своего дела: «Я могу написать, может быть, только что-то вроде предсмертной исповеди», — замечает он. Исповеди он не написал, но остались краткие записи и заметки в записных книжках этих последних лет,

---

<sup>1</sup> Не оговоренные цитаты в этом очерке взяты из записных книжек Г.Г.Шпета, хранящихся в семье. Большая часть биографических данных известна мне из семейных рассказов матери и теток, а также учеников Густава Густавовича Н.И.Жинкина и А.А.Губера.

содержащие оценку своей жизни, своего места в обществе, показывающие направление изменений во взглядах после крушения. И осталось несколько вариантов письма, подводящего итог самому себе и адресованного, уже из ссылки, его судьям, а вернее — палачам. По этим материалам мы можем судить о последнем периоде его жизни. Остальные — отражены в его книгах и воспоминаниях родных и друзей.

### Семья и эпоха

Г.Г.Шпет родился в Киеве в Благовещенье, 25 марта (7 апреля) 1879 года. Что он имел в виду, когда подчеркивал, что родился накануне восьмидесятых годов в России? Конечно, привычную их характеристику: годы реакции, годы тупой бездуховной охранительной тенденции, годы застоя —

Победоносцев над Россией  
Простер свиные крыла...

Но через сто лет мы видим и другое содержание восьмидесятых годов. На эти годы приходится детство тех людей, благодаря которым состоялся короткий русский ренессанс, оборванный в расцвете 1917 годом. Давно замечено: годы рождений наших лучших поэтов, художников, писателей, философов, филологов, ученых-естественников приходится на короткий промежуток с 1875 по 1895 год. Здесь что ни имя — яркая личность, человек с индивидуальностью и судьбой (чаще всего — горькой). Значит, было что-то в воздухе 80—90-х годов, что привело к расцвету, в частности, гуманитарной культуры. Видимо, это была не губительная зима, а холодная и медленная, по мнению современников, весна в русской жизни.

Поэтому присмотримся к этому времени немножко подробнее. Только что прошла эпоха реформ — двадцатипятилетняя оттепель после николаевского царствования, и снова страна оказалась заморожена «охранительной тенденцией». Владимир Соловьев отстранен от чтения лекций в Петербургском университете, Лорис-Меликов — от участия в государственной жизни. В Синоде двадцать пять лет кладутся под сукно любые проекты обновления церковной жизни. К нравственной проповеди Толстого официальные круги относятся с нескрываемой враждебностью.

Как это психологически тяжело — мы хорошо знаем. Раздражает полная бездуховность, безжизненность этой тенденции. Ее сонное равнодушие к добру и злу. И современник уверен, что в этой безжизненности — безусловная неправота. Современник жаждет «хоть каких-нибудь» перемен. А время давит его ложными событиями: тяжеловесные юбилеи — тысячелетие

России, 900-летие крещения. Тяжелая орнаментальная пустота архитектурных стилизаций, безвкусица, бесформенность. Неопределенное и неодоушевленное время. Однако вот что пишет об «оттепели» историк С.М.Соловьев: « < ... > с 1855 года пахло оттепелью; двери тюрьмы начали открываться; свежий воздух производил головокружение у людей, к нему непривычных, и в то же время замерзшие нечистоты стали оттаивать < ... >. В то время как люди серьезные, мыслящие, знающие внимательно вглядывались и вслушивались для уяснения себе положения дел, усердно занимались важными вопросами преобразования, — люди, которые знали, что не способны выйти вперед способностями, знаниями, тяжелыми усердными занятиями, выступили в поход первыми < ... >, усилилась пагубная привычка к отрицанию, делу чрезвычайно легкому < ... >. Для людей, идущих отрицательным путем, труд был легкий и выгодный; толпа их постоянно увеличивалась < ... >»<sup>2</sup>.

И в свете этой характеристики начинаешь по-другому понимать «похолодание» 80-х годов. Непосредственно пореформенное время характеризуется, скорее всего, бурным ростом довольно безответственной журналистики, самоуверенного нигилизма, бесшабашного радикализма. А теперь процесс изменений не прекратился, реформа продолжала плодоносить, но перестала увеличиваться «толпа людей, идущих отрицательным путем». В историческом воздухе еще слышны взрывы бомб, но характерной фигурой русского общества в 90-е годы стал университетский профессор, а не террорист с бомбой. Вызревали новые настроения. Морозы прибили сорняки, но не заглушили роста людей «серьезных, мыслящих, знающих». На университетских кафедрах мы видим Ключевского, братьев Трубецких.

Блок отмечает: «Профессор лучших времен Петербургского университета был тем самым общественным деятелем, он *берег Россию*»<sup>3</sup> (курсив Блока. — М.П.). Этот подспудный слой русского либерализма, еще не разбившегося на партии, еще не взявшего ни за какую политическую деятельность, и был той светлой силой, которая питала мальчиков и девочек 80-х — 90-х годов.

Блок — почти ровесник Г.Г. — в уже цитированном «Возмездии» заставляет своего героя родиться в «неблагополучной» семье: мать его вернулась в отчий дом (ректорский флигель Петербургского университета) с ребенком на руках, навсегда расставшись с отцом ребенка. Блок был очень чуток к подспудным токам истории, к ее характерным фигурам, и его выбор определялся не только собственными биографическими чертами.

<sup>2</sup> С.М.Соловьев. Записки. Пг., 1915, с. 172.

<sup>3</sup> А.Блок. Собрание сочинений. Т.3. М., 1960, с. 463.

В семье Г.Г. эта ситуация была доведена до *pes plus ultra*. Марцелина Осиповна Шпетт (1860—1932) принадлежала к обедневшей шляхетской семье в Волыни. Отец Густава — мадьярский офицер Кошиц — может быть, и не собирался жениться на полукрестьянской девушке. Во всяком случае, он исчез из ее жизни еще до рождения сына, и о нем в семье никогда не говорили. Зато Марцелина Осиповна сама рассказывала внукам о своей торжественной и патриархальной свадьбе со старшим дальним родственником Яном Густавом Болеславом Шпеттом. Свадебный поезд в Волыни, польские обычаи, вино пьют из туфельки невесты — все как в балладе Словацкого!

Но семья и не должна была получиться. Немедленно после свадьбы Марцелина Осиповна уехала в Киев, где родила и воспитывала сына, зарабатывая на жизнь стиркой и шитьем. В анкетах послереволюционного времени Г.Г. писал: «мать — швед». О своем муж она всегда говорила с благодарностью и уважением. В его честь она и мальчика назвала — Иван Густав Болеслав. Но никаких отношений между ними не было, хотя позже, когда Густава надо было записывать в гимназию, он его формально усыновил. Еще сохранилась смутная легенда о незнакомом человеке, подстерегавшем маленького Густава на киевских бульварах и дарившем ему конфеты и игрушки, которые мать у него немедленно отбирала.

Сама Марцелина Осиповна была удивительной женщиной. Из всех рассказов встает всегда один и тот же образ замечательно цельной, крепкой нравственно, спокойной, твердой женщины, набожной католички, умевшей делать по дому все, включая и невозможное. Она играла важную роль в жизни первой семьи Г.Г. Вторую же семью сперва отказалась признать и сначала даже не заходила в новый дом сына. Умерла Марцелина Осиповна в 1932 году в Москве. Писать по-русски она так и не научилась. Ее письма написаны по-польски. О ее отношениях с сыном лучше всего говорит такой эпизод. В 1922 году Шпет выпустил первый том «Очерка развития русской философии», очень важную для себя книгу. С огромным трудом, потому что в то время подобные вольности не поощрялись, он добился того, что на фортитуле было напечатано посвящение: «Матери моей, Марцелине Иосифовне Шпет, почтительнейше свой труд посвящаю». Не зная ничего об этом, Марцелина Осиповна спросила его: «А ты подаришь мне свою новую книгу?» — «Зачем Вам? — сказал Г.Г. — Вы все равно ее не прочитаете». «Прочитать не прочитаю, — ответила М.О., — а в гроб с собою положу».

Когда М.О. умерла, Г.Г. попросил, чтобы ему дали ее наперсток, который с тех пор всегда стоял на его письменном столе.

При знакомстве с характером и даже с научным творчеством Г.Г. мы видим в нем два начала. Одно — спокойное, ровное, рассчитанное на всю жизнь. Его можно назвать положительным

и оптимистическим. Другое — несдержанное, вспыхивающее время от времени каким-то уничтожающим взрывом грозного скепсиса, презрения к людям, почти ненависти (меоническое начало, как мог бы сказать Г.Г.). В биографической ситуации Г.Г. положительное начало очень естественно связывается с образом матери, обладавшей той крестьянской цельностью отношения к жизни, которая в наш век представляется почти недостижимой. В ней мы ничего не найдем от второго — «демонического» — начала.

Каков был отец Г.Г., мы не знаем и никогда знать не будем. Но не уместно ли здесь вспомнить строки Блока:

Отца я никогда не знал,  
А он от первых лет сознания  
В душе ребенка оставлял  
Тяжелые воспоминанья.

.....  
Внушал тоску и мысли злые  
Его циничный, тяжкий ум,  
Грязня туман сыновних дум.

Тоска и мысли злые Г.Г. не восходят ли к его отцу, если не генетически, то через двусмысленное положение незаконного сына, воспитываемого одинокой матерью?

### Университет св. Владимира (Lehrjahre)

В эти годы сын швеи без особых трудностей, видимо, поступает около 1898 года в Университет св.Владимира в Киеве и проводит там восемь лет сперва на физико-математическом, а затем на историко-филологическом факультете. Мы знаем, что за это время он несколько раз исключался из университета и даже успел какое-то время посидеть в тюрьме за участие в студенческих кружках и демонстрациях.

Какими настроениями жил тогда университет? Разбуженная Реформой жизнь уже не может вернуться в прежние рамки. Пятнадцать лет назад на лекции Достоевского и Вл. Соловьева собирались тысячные толпы. Теперь их нет. Кое-кто прислушивается к Толстому, но больше собираются по студенческим кружкам, чтобы обсуждать общеобразовательные брошюры. Привлекает безопасная пока фронда нигилистических настроений. Читают Чернышевского, штудируют «Капитал».

Не всякую мысль осилишь в полуподпольном кружке. Набирает силу кампания по ликвидации безграмотности, и в популярных брошюрках разливается то море самоуверенной полубразованности, которое через несколько десятилетий захлестнет Россию. Развивается поляризация идейных настро-

ений. Достоевского и Вл. Соловьева уже тогда отлучают от передовой мысли. Эти имена уже связывают с ненавистным Победоносцевым, с «Черной сотней». Напротив, Чернышевский превращается в неkritикуемую икону. Ведь недаром и сорок лет спустя столпы русского либерализма опустили главу о Чернышевском, печатая в эмигрантском парижском журнале «Дар» молодого Набокова.

Деятнадцатый век был веком развития точных знаний по преимуществу. Успехи математики и естественных наук как бы создали новые стандарты объяснительной науки. Человеческая мысль, окрыленная этими успехами, смело обратилась от проверенных областей к новым — все подсудно человеку, все человеку доступно. Дело только за временем. Торопливо расправившись с «происхождением семьи, частной собственности и государства», новые философы решили, что в новом мире, освобожденном от предрассудков, они не только все объяснят, но и все переделают в соответствии с рациональным подходом и скороспелыми объяснениями.

Ее никто не подозревал, как близка к банкротству эта новая и храбрая философия. Марксизм носился в воздухе, был модой, был поветрием, захватившим на первых порах таких разных и серьезных мыслителей, как П.Б.Струве, С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев. С марксизмом Г.Г. познакомился, еще будучи студентом физико-математического факультета. Вероятно, именно за то, что он почитывал, популяризовал, передавал, то есть «распространял», марксистскую литературу, он и был исключен на время из университета. Но он был уже знаком в то время с научным методом математики; и, вероятно, уже тогда марксизм не мог его удовлетворить в силу чисто методологических оснований как недостаточно серьезная, научно не выдержанная философия. Немного позже, в студенческом докладе 1903 года, он говорит: «Заслуги марксизма неоцененны, и это заставляет относиться к нему с уважением. Но марксизм впал в целый ряд ошибок, гносеологических и методологических»<sup>4</sup>.

Во всяком случае, восстановившись в университете, Г.Г. оказался уже на историко-филологическом факультете, где его вкус к серьезной философии, *gismata ration* (основам всего), мог быть полнее удовлетворен. Это был первый сознательный шаг на том пути, которого затем Г.Г. держался неукоснительно. Его характер и внутренний облик сложились рано и твердо. Не имея определенной культурной традиции, почерпнутой из семьи, он оформляет себя сам. В духе рационалистических и отчасти «нигилистических» настроений среды и не без влияния

<sup>4</sup> Отчет о деятельности Психологической семинарии при Университете св. Владимира за 1902–1906 годы. — «Философские исследования», т. 1, вып. 4, pag. III, с. 2.



точных математических методов — вершины викторианского знания XIX века — он решает себя, как уравнение, в котором сам он — неизвестная величина, а известное — рассудок, *ratio*. В духе этого юношеского решения он формирует собственное духовное ядро, развивая и культивируя одно, подавляя другое, с твердой скептической рассудочностью «юношеского материалистического аскетизма», как он сам позже вспомнит. Эта твердая оформленность предохранит его далее от многих соблазнов времени, но она же уведет его по трудной дороге от ясных интуитивных догадок и озарений молодости к скептическому воздержанию («эпохе») зрелой мысли. Эта формула совсем не была примитивной. Напротив, она была так широка и подвижна, что, развиваясь и видоизменяясь, она прослужила ему всю жизнь основной моделью широкого и полного уразумения.

Мы подходим к центральному событию университетских лет Г.Г. и едва ли не главному событию его жизни как философа. В 1898 году при Университете св. Владимира начала свою работу «Психологическая семинария» Г.И.Челпанова. Название «психологическая» не следует понимать в современном смысле. В конце XIX века остро стояла задача становления философской психологии — науки о душе — и задача очищения философии от психологизма, психологии от ложного логизма (впоследствии, упоминая об этих поисках, Шпет писал, что именно в русской философии через Юркевича, С.Трубецкого и Лопатина «один путь психологии» ведет к истинной полнокровной философии<sup>5</sup>).

Более половины тем занятий семинара были чисто философскими. Видимо, и психология интересовала Челпанова прежде всего как настоящее «естественное» основание философии, как та сфера, где происходит образование понятий и которая, в то же время, допускает анализ этого процесса почти на грани естественных наук, только иными средствами. Атмосфера серьезных занятий серьезным делом в тесном, почти семейном кружке как нельзя лучше отвечала самому духу гуманитарных наук.

Вот отзыв князя Е.Н.Трубецкого, в то время профессора Киевского университета, на заседании, посвященном пятилетию работы семинара Челпанова, в феврале 1903 года:

«Моим идеалом всегда была не немая аудитория, а самодеятельная. Я хотел бы видеть в студентах сотрульников, младших товарищей <...> и здесь я вижу осуществление этого идеала. Но не только это радует меня. Я замечаю необычайное поднятие философского образования <...>. Когда, после продолжительного перерыва, я возобновил свои занятия на этом

---

<sup>5</sup> Г.Г.Шпет. Один путь психологии и куда он ведет. — Философский сборник Л.М.Лопатину к тридцатилетию научно-педагогической деятельности от Московского Психологического Общества (1881–1911). М., 1912, с. 245.

самом месте, я был поражен успехом, который аудитория сделала в мое отсутствие <...> выступало много ораторов, обнаруживших зрелую мысль, философскую подготовку, разностороннюю эрудицию <...> это были члены психологической семинарии. А что было лет семь назад? Тогда каждый заявлял себя или материалистом, или позитивистом <...><sup>6</sup>.

Сам Челпанов, говоря на этом же заседании о своем семинаре, прежде всего подчеркивает необходимость широкого философского образования: «Идеалистом быть нелегко. Для этого нужно иметь обширную научную и философскую подготовку <...>. Я знаю, что не избежну упрека в педантизме, но я все-таки скажу: если хотите быть идеалистом, изучите все частные философские дисциплины: психологию, логику, теорию познания, историю философии, — и тогда предстанут перед вами те проблемы, которые неизбежно приводят к философскому идеализму»<sup>7</sup>.

Шпет на этом юбилейном заседании делает доклад с очень характерным названием: «О социальном идеализме», из которого мы уже цитировали оценку заслуг и ошибок марксизма. Этот доклад заканчивается следующими словами: «... без введения метафизики в науку обойтись нельзя. Она богаче опыта, ибо ближе к жизни. Философский идеализм призван дать нам объективно обоснованный идеал, и мы должны пойти ему навстречу, осуществляя по дороге в царство целей все эмпирически возможные социальные идеалы»<sup>8</sup>.

Мысль о значении метафизики подана сознательно парадоксально (что и вообще характерно для Шпета) и в том году звучит как вызов. Но на самом деле здесь сформулирована целая философская программа. Через десять лет она будет более развернуто изложена в его речи на открытии Московского общества по изучению научно-философских вопросов, которую он затем включит в книгу «Явление и смысл».

Из этих давних времен дошел до нас рассказ Г.И.Челпанова Жинкину, где-то уже в тридцатые годы, об одной из первых встреч со Шпетом: «Дело было уже вечером, накануне того дня, когда должен быть подан доклад. Шпет зашел ко мне обсуждать свое сочинение, и я заметил, что он навеселе. «Но вы же не успеете ничего до завтра», — сказал я ему. «Не беспокойтесь, Георгий Иванович, — ответил он, — мне ясно, что писать, я все успею». Назавтра он действительно принес написанный доклад».

---

<sup>6</sup> «Философские исследования». Т. 1, вып. 4, Киев, 1907. Отчет о деятельности Психологической семинарии при Университете св. Владимира за 1902–6 годы, паг. III, с. 3.

<sup>7</sup> Там же, с. 4.

<sup>8</sup> Там же, с. 3.

Таким самоуверенным бурсаком пришел Шпет в семинарию Челпанова. У него уже были свои мысли, и он умел их излагать. У него были литературные склонности, и в эти годы он время от времени печатал в киевской газете заметки под псевдонимом «Лорд Генри».

Вот список тем, которыми занимались в семинарии Челпанова в 1903—1906 годах, когда там работал Шпет.

Осенний семестр 1903 года: Учение о причинности у Декарта, Спинозы, Канта, Зигварта; сравнение Юма и Канта; теория познания у Юма и Канта. Шпет сделал три доклада о причинности у Юма и доклад «Вопрос о необходимой связи у Юма». Позже, в 1907 году, по этим материалам Шпет опубликовал в томе «Философских исследований» (под редакцией Челпанова) большую работу «Проблемы причинности у Юма и Канта».

Весенний семестр 1904 года: основная тема «О взаимодействии между физическими и психическими явлениями». По материалам этих студий Шпет напишет свое конкурсное сочинение «Память в экспериментальной психологии»<sup>9</sup>, получившее золотую медаль Университета св.Владимира. Оно было опубликовано в Киеве в 1905 году.

Осенний семестр 1904 года: «Основные вопросы теории познания» (Беркли, Кант, Спенсер, Мах и Авенариус). Наконец, осенний семестр 1906 года: «Об обосновании этики» (Гюйо, Вл.Соловьев, Гартман, Вундт, Шопенгауэр)<sup>10</sup>.

Судя по этому списку и по отзыву князя Евгения Трубецкого, семинар Челпанова был редким даже в те годы в русской университетской жизни по серьезности, научной широте и тщательности выбора направления. Шпет сформировался как философ, как ученый именно в этом семинаре. Его работы тех лет уже отмечены той самой дисциплиной ума, страстью к выявлению и обсуждению всех предшественников, той же тонкой диалектикой и стремлением представить философию как знание, которые характерны для зрелых трудов Шпета.

На эти годы падают и другие события в жизни Г.Г.Шпета. В начале 1904 года он женится. Он познакомился со своей будущей женой Марьей Александровной Крестовской (1870—1940) за четыре месяца до этого и очень скоро сделал ей предложение. Она отказала. Ее многое смущало, и прежде всего разница в возрасте — ей было уже за тридцать. Но Густаву Густавовичу Шпету никогда не изменяло обаяние и умение убеждать — 25 января 1904 года они венчались. Через год, 13 января 1905 года, у них родилась дочь Ленора (1905—1976). Отметим одно обстоятельство, объяснения которого я не знаю: Шпет был протестантом, так же как и две его дочери от первого брака. К

<sup>9</sup> Г.Шпет. Память в экспериментальной психологии. Киев, 1905.

<sup>10</sup> Там же, с. 7—11.

вопросам религии Г.Г. относился своеобразно, но серьезно. Он определенно не любил православия и польского католицизма. Я не исключаю, что в какой-то момент он изменил свое исконное — почти наверняка католическое — вероисповедание на протестантское. По свободному выбору он должен был быть именно протестантом.

О Марье Александровне следует рассказать особо. Она вышла из старой московской семьи церковного корня Крестовоздвиженских. Крестовская — ее сценический псевдоним. Отец ее — инспектор гимназии — держал небольшой пансион для своих учеников. М.А. с юности увлекалась театром. Когда в Москву на гастроли приехала Элеонора Дузе, М.А. бегала на все ее спектакли и так в нее влюбилась, что уговорила мать (хотя они были людьми скромного достатка) поехать с нею в Париж, где после Москвы гастролировала Дузе. В конце гастролей в Париже они заложили материнское золотое кольцо и, купив цветы, достойные этой актрисы, отправились к ней в гостиницу. Состоялась встреча и разговор, после которого М.А. поклялась себе, что станет актрисой.

Дома были категорически против. Суровый отец грозил ей отлучением от дома и проклятием. Но нашлись друзья, которые как-то смягчили ситуацию, и М.А. поступила в филармонию (в то время именно в филармонии учились актеры). После трудных и бурных лет учения М.А. поехала работать в провинцию, то есть каждый сезон она нанималась в какую-нибудь труппу в отъезд в провинциальные города. Несколько лет подряд она выступала в Киеве. Так как незамужняя женщина не могла жить одна вне дома, то она ездила с матерью. На гастролях в Киеве она познакомилась с Г.Г. После рождения дочери Г.Г. категорически настоял на том, что она должна бросить сцену.

В 1908 году, уже в Москве, она родила вторую дочь — Маргариту (1908—1989), а в 1912 году они расстались с Г.Г. после долгих и мучительных переживаний. До революции у нее были какие-то небольшие средства — наследство родителей. Но после революции ей пришлось вернуться на работу. Она преподавала актерское мастерство, принимала учеников частным образом, вела различные самодеятельные кружки. Одним словом, делала все, чтобы прокормить себя, детей, прислугу и Марцелину Осиповну, которая подолгу жила у них.

В 1932 году, пытаясь сесть в переполненный трамвай, она упала и сильно ушибла голову. У нее развился травматический психоз, она попала в психиатрическую лечебницу, где ее долго лечили. Но ей было уже за 60, и она так и осталась только полуждоровым человеком. В сентябре 1940 года она умерла от рака.

В 1906 году Челпанов становится профессором Московского университета и товарищем председателя Московского Психологического Общества. На следующий год он приглашает в Москву Шпета. Начинается новый период его жизни, но и в жизни всего русского общества начался новый период: время «между двух революций», как его позднее определил Андрей Белый. Завязываются новые знакомства в ученой среде и в среде литературно-художественной элиты тех лет. Среди его друзей мы встречаем не только М.О.Гершензона, С.Л.Франка, В.Ф.Эрна, Л.И.Шестова, профессора физики А.И.Бачинского, но и Андрея Белого, Юргиса Балтрушайтиса, Н.К. и Э.К. Метнеров, В.И.Качалова.

Мы видим Г.Г. в «Мусагете» — литературном кружке, в котором центральную роль играл Андрей Белый. Любопытная деталь. Общество собиралось в специально снятой для этого небольшой квартире с ванной, кухней, прислугой. Завсегдатаи приходили туда задолго до заседания, принимали ванну, заказывали обед, сидели с друзьями, обсуждая за чаем и коньяком животрепещущие проблемы. Разве не соблазнительно? Талантливый собеседник, эрудированный философ, жестокий спорщик — Шпет сразу оказался в центре этой легкой, веселой жизни, в процессе которой создается культура тех лет.

На этих и подобных собраниях решались действительно важные вопросы: русское стихосложение, новый театр, политическое будущее, религиозно-философские течения — все становилось предметом дискуссий и решений в этих «символистских» обществах. На разных, но близких орбитах этой живой и яркой группы мы найдем Белого, Бердяева, Булгакова, Эрна, Гершензона, актеров Художественного театра, молодых создателей театральных студий, певицу вроде Олсониной-д'Альгейм, музыкантов — Скрябина, Рахманинова, Н.Метнера, богатых меценатов — Гучкова, Полякова, Мамонтова, Сабашникова. В 1913 году в «Мусагете» появится молодой Пастернак с докладом «Символизм и бессмертие».

Действительно увлекательно! Действительно хорошо! Не только внешняя, но и внутренняя культура. Не только «потребительские» эстетские, гурманские сборища, но производительные, по-настоящему творческие силы здесь собраны, здесь воспитываются, здесь обмениваются мнениями. В ту пору в Москве и в Петербурге таких кружков было много.

Все, что было в России богатого, сильного, полного идей и воображения, собиралось в таких местах для подлинного культурного строительства. Впервые в нашей истории общественность, без малейшей поддержки постепенно впадающего в стагнацию правительства, берется за дело создания университетов (университет Шаняевского), издательств, поэтических кружков и академий, театральных студий, Психологического института

при Московском университете. Общественность сама находит для этого и деньги и силы.

Казалось бы, «Мусает» — это та же Челпановская семинария с ее серьезными мыслями и планами и глубокими начинаниями, но только перенесенная из провинции — в столицу, из бурсы — в салон и вместо мальчиков-студентов состоящая из людей, уже сказавших свое слово в науке и культуре. Новые Афины!

Но почему же люди наиболее чуткие и трезвые начинают слегка сторониться этого пиршества духа? «Балаганчик» Блока написан уже в 1906 году. А в позднейших записках об этом периоде Белого, Ходасевича, Цветаевой не слышим ли мы нотки двойственности в нравственной оценке? Не звучат ли в радуге разноречивых чувств в «Поэме без героя» Ахматовой, написанной об этом времени, острые параллели к «Пиру во время чумы»? Может быть, как раз тогда мы проиграли битву за Россию?

Именно в это время создается образ Г.Г.Шпета — блистательного лектора и собеседника, злого и безжалостного критика, покорителя сердец, неутомимого и азартного игрока в бридж, веселого собутыльника. Чудака и оригинала, изобретателя собственного способа заварки кофе и собственной орфографии. Он не признавал двойных согласных в иностранных словах. Начав с того, что истребил двойное «тт» в своем имени, он затем систематически опускал двойные согласные в словах *симметрия*, *сумма*, *дифференциал*, *коллегия* и т.п. Его корректуры пестрят этими выкинутыми буквами, а если они выживали в тексте, он требовал списка опечаток. О Шпете начинают ходить легенды и анекдоты. Кто-то из профессоров жалуется, что если рядом читает Шпет, то в его аудиторию заходят только за стульями. Многие его не любят. Бердяева он как-то назвал Белибердяевым — злая шутка вполне в его духе.

По некоторым косвенным признакам можно догадаться, что сам Шпет понимал отрицательные моменты этой жизни. В записных книжках тех лет он жалуется на повторяющиеся мучительные сны о болоте, которое его засасывает. Впрочем, для него светская жизнь все же не была только развлечением. Ему не угрожало превращение в салонного философа. В противовес этой веселой жизни он продолжает серьезную работу<sup>11</sup>. В 1909 году он ведет занятия в Алферовской гимназии, собирает материалы к замыслу по истории педагогики. В 1911-1912 годах он читает лекции на Высших женских курсах Герье (ВЖК) и в Московском университете. В 1912 году выходят его лекции по логике, читанные на ВЖК<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> После переезда в Москву Шпет читает лекции в 1907 году на ВЖК и Педагогических курсах, с 1909 — в Народном Университете Шанявского, с 1910 — в Московском университете.

<sup>12</sup> Г.Шпетт. Логика, ч. I, ч. II, М., 1912. (Литографированное издание записок слушательниц).

С 1910 года он начинает ездить в заграничные университеты. В 1910 и 1911 годах — на летний семестр в Геттинген. В 1912 году он едет в Геттинген уже вместе с семьей, и там происходит окончательный и решительный разрыв с Марьей Александровной. Семья остается в Германии, потом переезжает в Женеву, а Г.Г., вернувшись в Москву, в 1913 венчается с Натальей Константиновной Гучковой, своей бывшей слушательницей в Елизаветинском Педагогическом институте, племянницей известного Александра Гучкова.

Разрыв с Марьей Александровной и новый брак, видимо, недешево достались и самому Г.Г. Его мать, как мы уже упоминали, не приняла нового брака. Г.Г. настоял на своем праве сохранять отношения со старой семьей. Он навещал их в Германии и в Женеве, а когда они вернулись в Москву, еженедельно приходил к ним обедать и тщательно следил за воспитанием дочерей.

Кстати, возвращение в Москву после начала войны произошло тоже по его настоянию. Марья Александровна после крушения семьи не любила России и совершенно серьезно собиралась остаться в Швейцарии. Девочки уже начали ходить в школу. Скромные собственные средства у нее были. Но когда началась война, Г.Г. настойчиво потребовал немедленного возвращения в Москву. Это было очень трудно. Г.Г. обратился за помощью к нескольким профессорам немецких университетов. Благодаря их покровительству семья из двух женщин и двух маленьких девочек смогла пересечь Германию на положении интернированных. После нескольких дней оформления документов в Ростке вся русская группа морем отправилась в Швецию и оттуда в Петербург. В Москве их ждала квартира, снятая Г.Г. в новом доме на Остоженке.

Это было со стороны Г.Г. сознательное отношение к эмиграции. Он обдумывал для себя этот вопрос еще в 1905 году, когда в России начались революционные беспорядки. После революции ему дважды предлагали воспользоваться возможностью эмиграции. Юргис Балтрушайтис был послом Литвы в Москве и предлагал оформить Шпету и его семье литовские паспорта. Второй раз, когда готовилась высылка большой группы русских профессоров в 1922 году, на какой-то стадии его имя фигурировало в этих списках. Шпет приложил все усилия к тому, чтобы его из них исключили, и сумел остаться в Москве.

## Wanderjahre 2

Поездки за границу — главным образом в Геттинген, но и в Берлин, в Эдинбург и в Париж — продолжались до самой войны. Именно в это время Шпет становится «гуссерлианцем», окончательно складывается его философский профиль.

Я спрашивал одного из ближайших учеников Г.Г.Шпета, Николая Ивановича Жинкина, почему Шпет выбрал Геттинген и Гуссерля в качестве своей основной философской школы. Он ответил мне, что ко времени поездок за границу у Г.Г. были уже совершенно установившиеся философские взгляды, но он понимал, что настоящую философскую школу сможет пройти только в Германии. Однако большая часть немецких университетов находилась под влиянием философии Канта, для него неприемлемой, и потому он и выбрал Гуссерля как наиболее свободного от кантианства.

Во многих высказываниях Шпета действительно проглядывает неприятие Канта. На первый взгляд, это даже странно, так как одной из основных черт философской мысли самого Шпета нам представляется рационализм. Он сам был горячим и убежденным защитником рациональной мысли. Но свой рационализм он охотнее возводил к Лейбницу и Вольфу, прямо к Платону. Его основная претензия к Канту состояла в том, что Кант методологическое рассечение феномена и вещи углубляет и закрепляет, в результате чего остается в мире голых абстракций и теряет всякую связь с целым и истинным предметом, как конкретной данности живой жизни. Канта он рассматривал прежде всего как творца и родоначальника современной отрицательной («меонической») философии, к которой он относил эмпирицизм, субъективизм, релятивизм и пр. Вообще трудно отнести Шпета к какой-то школе мысли, к какой-то «философской системе». Мне кажется, сам он старательно воздерживался от определенных высказываний на этот счет. С его точки зрения, философия есть точная наука, постепенно и с трудом вырабатывающая свои истины. Философию как мировоззрение он вообще в значительной мере отрицал. И потому он умел находить отдельные философские истины у многих, в том числе, разумеется, и у Канта. Так же легко он и критиковал, независимо от авторитета. Он критикует многих — Плотина и других неоплатоников, Гете за слабое чувство философских различий. Но его критика чаще направлена на тезис, на рассуждение, на высказывание, чем на лицо автора.

Думаю, в том, что Шпет соглашался называться гуссерлианцем, было больше чувства благодарности школе, чем прямой принадлежности философскому направлению. Поэтому попробуем понять философский облик Шпета, не прибегая к установившимся школьным определениям.

Мы уже говорили об одной определенной черте — он был рационалистом. Он был глубоко убежден в том, что передать и сформулировать, объяснить и закрепить в словах можно все, что мы «знаем». Пожалуй, он был противником апофатического метода, но не столько потому, что считал все выразимым дискурсивно, сколько потому, что только то, что может быть рационально выяснено, он считал предметом философии. Он при-



знавал наличие «невыразимого» и не отказывался его упоминать. Так, в статье «Сознание и его собственник»<sup>13</sup> (1916) он прямо говорит о том, что, в конечном итоге, «Я» есть то, что может быть названо по имени, и это «имя собственное» служит обозначением того главного и невыразимого, что составляет существо личности. Но он не выносил того, что это «невыразимое» пытаются определить с помощью трюков, которые он по праву считал псевдологическими (вроде пресловутой «вещи в себе»). За ними он видел или слабость и лень мысли, которая не умеет осознать, что там, где кончается дискурсивное объяснение, надо смело признать границу философского рассуждения, или попытку ввести мысль в заблуждение, нагромождая термины и искусственные построения, сводящиеся к *idem per idem*.

Он не отрицал ни интуиции, ни скептического «эпохе» — воздержания от суждения. Но тому и другому он отводил свое четко ограниченное место. То и другое оставалось для него чисто вспомогательными средствами для диалектики — для дискурсивного *ratio*, основного строящего средства философии. Эмпиризм, критицизм, скептицизм он рассматривал как примеры отрицательной философии. Интересно, что догматическую философию он приравнивал к скептической, не прощая ей того, что через серию антиномий она подводит к принятию таким апофатическим способом добытого догмата (характерное суждение об о. Павле Флоренском как о «скептике с изнанки», высказанное по поводу его «Столпа» в статье «Сознание и его собственник»).

Он не отрицал телеологических построений, но требовал, чтобы «телос», пускай подсказанный первоначальной интуицией, был выработан далее диалектически в процессе философского рассуждения, а не навязан извне. Он не боялся длинных цепочек рассуждений, а прямо любил их. Напротив, афористическую манеру он называл «слабостью мысли», «анемией мозга».

Любое предложение, выдвигаемое Шпетом, почти всегда подкреплено десятками критических разборов высказываний различных авторов на эту тему. Причем он особенно любит найти здравую мысль у полузабытого комментатора и здесь же укорить великих и авторитетных властителей умов (например, Фихте) в недосмотре, в волевом и произвольном элементе в рассуждении, претендующем на абсолютность и обязательность.

Очень характерно, что одно из главных его сочинений «История как проблема логики», магистерская диссертация, защи-

---

<sup>13</sup> Густав Шпет. Сознание и его собственник. — Сборник Георгию Ивановичу Челпанову от участников его семинариев в Киеве и Москве. 1891-1916. Статьи по философии и психологии. М., 1916, с. 156—210.

щенная в 1916 году в Московском университете, толстый том в 476 страниц большого формата, несет подзаголовок «Часть 1. Материалы»<sup>14</sup>. И действительно, основное содержание этой книги составляет разбор и критика докантовских философов 18-го века в их высказываниях об истории.

Можно сказать, что Шпет предпочитал ставить проблемы, а не решать их, и его недоброжелатели на этом основании утверждают, что Шпет-де был более силен в критике, нежели в самостоятельном творчестве. Однако глубина и обоснованность его постановок уже несла в себе все возможные элементы решения.

Известно, что Шпет не любил привычного противопоставления «материалист — идеалист» и на вопрос, кем же он себя считает, любил отвечать — реалистом. Но если мы вспомним высказывания о материализме еще в киевский период и Челпанова, и самого Шпета, нам уже не будет казаться странным, что в тех редких случаях, когда он говорит о материализме, он фактически отказывает ему в имени философии. А слово «реалист», вообще характерное для новой философии и для Гуссерля, мне кажется, он заимствовал у П.Д.Юркевича, откровенно «идеалистического» философа XIX века, близкого к богословам Киевской Академии, которого Владимир Соловьев называл своим учителем.

О Юркевиче Шпет написал специальную монографию<sup>15</sup>, и когда ее читаешь, трудно отделаться от впечатления, что перед нами изложение системы, очень близкой самому Шпету. Действительно, там, где он поправляет и уточняет Юркевича, он вкладывает в это очень свои чувство и мысль. Там, где говорит о философской родословной Юркевича, он называет имена из своего Пантеона. Именно Платон, но не в неоплатоническом развитии, то есть решительно не Плотин. Именно Гегель, но в реалистической традиции. Кант — только лишь как учитель строгой мысли, но зато твердое отрицательное отношение к Канту в целом. В связи с Платоном Шпет отмечает у Юркевича характерную трезвость мысли (черта, которую он сам в себе ценит чуть ли не выше всего). Но в контексте Юркевича трезвость прямо нас относит к святоотеческому источнику: к духу *трезвения* мысли, который настойчиво проводится в православной духовной традиции, начиная с греческих Отцов Церкви.

---

<sup>14</sup> Г.Шпет. История как проблема логики. Критические и методологические исследования. Ч. 1. Материалы. М., 1916.

<sup>15</sup> Г.Шпет. Философское наследство П.Д.Юркевича (К сорокалетию со дня смерти). М., 1915 — Вопросы философии и психологии, кн. 125 (V), 1914. См. также: П.Д.Юркевич. Философские произведения. М., 1990, с. 578–638.

На годы 1914–1927 падает наиболее плодотворный период философского творчества Шпета. В 1914 году опубликована его первая большая монография «Явление и смысл», знакомящая «русского читателя с идеями феноменологии Гуссерля», но содержащая и собственные идеи в развитие и исправление Гуссерля. В качестве предисловия она содержит речь, произнесенную 26 января 1914 года на открытии Московского Общества по изучению научно-философских вопросов, в которой Шпет говорит о задачах и методах философии, о ее месте в обществе и во времени. Речь звучит как манифест: «Философия в специфическом значении < ... > ограничивается метафизикой *μετα τα φυσικά*: область принципов, начал, исследований < ... >. Она в сущности — единая и традиционная от Платона до наших дней. < ... >

Наше время осознало и сформулировало как свою задачу найти идею общего основания, единого для всех наук < ... > Это должно быть не прагматическое «до-теоретическое» знание < ... > Мы его усматриваем в обыденном, если угодно, знании, в жизненном знании, почерпнутом из целого, еще не ограниченного рамками рассудочного (методического) раздробления.

< ... > Сквозь меняющееся и текущее мы проникаем умственным оком к вечному и непреходящему бытию < ... >

< ... > Мы не только видим, но и разумеем < ... >

. . . . .

В социальном бытии < ... > за оболочкой слов и логических выражений, закрывающих нам предметный смысл, мы снимаем другой покров объективного знака, и только там улавливаем некоторую подлинную интимность и в ней полноту бытия < ... > В непосредственном единении уразумения мы открываем подлинное единство смысла и конкретную целостность проявившегося в знаке как в предмете < ... >

< ... > Основная наука должна быть полной и конкретной по выполнению ее и разумной по своему пути < ... >

< ... > Она должна указывать всякому знанию его собственные начала. Более того, она должна вскрыть единый смысл и единую интимную идею за всем многообразием проявлений и порывов творческого духа < ... >

< ... > Это — задача основной философской науки и только ее, и это есть задача нашего времени. И — добавлю личное мнение: лучшего из когда-либо бывших! < ... > И невольно возникает вопрос: не вправе ли мы повторить слова лучшего представителя другого счастливого времени: науки процветают, искусства развиваются, весело жить?! Нет? Падают теории, сокрушаются мировоззрения, рушатся догматы и колеблются престолы и алтари... а все-таки весело жить!

Безнадежное время < ... > изжито, материалистическая эра, когда в философии воцарились «нищие духом», завершена < ... > < ... > Период сомнений, декаданса, болезненного бессилия, апатии и квиетизма за нами.

< ... > Дух нашего времени ради себя самого сводит нас здесь»<sup>16</sup>.

Речь эта была произнесена в роковом 1914 году, за полгода до начала первой мировой войны.

В 1915 году Шпет публикует монографию «Философское наследство П.Д.Юркевича (к сорокалетию со дня смерти)», где он раскрывает всю глубину и оригинальность взглядов этого философа, уже полузабытого к тому времени и по сию пору весьма мало известного.

Этой монографией Шпет открывает серию исследований по истории русской философии. В 1921 году он выпускает книгу «Философское мировоззрение Герцена»<sup>17</sup>, в 1922 году — обширную статью «Антропологизм Лаврова»<sup>18</sup> и, наконец, в том же году «Очерк развития русской философии. Часть I»<sup>19</sup>. В этой последней книге Шпет начинает историю русской мысли аб о во с Паисия Лигарида и братьев Лихудов и со Славяно-Греко-Российской Академии. К сожалению, первая часть заканчивается началом XIX века, то есть тогда, когда философия наша только что вышла из детской комнаты. Следующие никогда не были дописаны, хотя в рукописях Шпета<sup>20</sup> сохранились — в разной степени завершенности — куски второй и третьей частей. Среди прочего полностью законченная глава о гегельянстве у Белинского.

По поводу своих занятий историей русской философии Шпет замечает, что философия есть точное знание и, строго говоря, русская философия есть такой же нонсенс, как русская физика или русская математика. Однако, указывает он, национальная и историческая специфика философии заключается в постановке своих собственных вопросов, в интересе к тому или иному аспекту проблемы, и как раз сейчас, когда русская философия наконец достигла взрослого состояния и становится в знание, он считает уместным дать этот исторический разбор<sup>21</sup>.

---

<sup>16</sup> Г.Шпет. Явление и смысл. М., 1914, с. 7-8.

<sup>17</sup> Г.Шпет. Философское мировоззрение Герцена. П., «Колос», 1921.

<sup>18</sup> Г.Шпет. Антропологизм Лаврова в свете истории философии. — В сб.: П.Л.Лавров. Статьи. Воспоминания. Материалы. П., 1922, с. 73-138. См. также: Г.Шпет. Философия Лаврова; Лавров — Герцен. — Вперед! Сборник статей, посвященный памяти П.Л.Лаврова. М., 1920, с. 24-28 и 35-39.

<sup>19</sup> Г.Шпет. Очерк развития русской философии, ч. 1. Пг., 1922; см. также: Г.Шпет. Сочинения. М., 1990.

<sup>20</sup> РО ВГБИЛ, фонд 718.

<sup>21</sup> Очерк развития русской философии... с. VIII-IX.

В 1916 году он печатает и защищает уже упоминавшуюся диссертацию «История как проблема логики» и важную обширную статью «Сознание и его собственник», которую мы выше цитировали.

Тем временем растет его семья. В 1914 году родилась дочь Татьяна, в 1916 — вторая в этом браке дочь Марина и в 1919 году — сын Сергей (1919-1972). Благодаря спокойному и умному такту Натальи Константиновны постепенно устанавливаются отношения матери, Марцелины Осиповны, с новой семьей.

Начинается разруха и связанные с ней организационные и бытовые трудности. Но Шпет не опускает руки и не теряет инициативы. Он затевает философский ежегодник под названием «Мысль и слово»<sup>22</sup>, который сам редактирует и для которого сам подбирает материал. Первый том, на плохой бумаге, с распадающейся брошюровкой, выходит в 1917 году. Сам Шпет публикует в этом томе обширную статью под названием «Мудрость или Разум», посвященную горячей защите Разума, то есть рациональной философии, и направленную против сонной, неопределенной, «восточной» Мудрости. А также несколько разборов и рецензий.

Второй том в еще худшем издательском исполнении выходит в 1919 году. В нем Шпет публикует еще одну важную статью «Скептик и его душа», где он обсуждает тупики, в которые заводит мысль отрицательная в конечном выводе, «скептическая» философия. На этом издание прекращается.

В холодном и голодном 1918 году Шпет заканчивает еще одно свое важнейшее сочинение, до сей поры еще полностью не опубликованное. Это «Герменевтика и ее проблемы»<sup>23</sup>. Работа эта непосредственно связана с его исследованиями по методологии истории и подготавливает дальнейшие его изыскания, в частности, вошедшие в «Эстетические фрагменты» (1922-1923) и «Внутреннюю форму слова» (1927). Шпет полагал, что философия истолкования, последовательное философское прояснение вопросов о смысле и значении, должна занять центральное место в развитии наук о слове в лингвистике, истории, филологии, истории литературы.

Подобно большей части русских интеллигентных людей Шпет ничего не имел против революции. Воспитание, традиция многих поколений интеллигенции, собственные наблюдения бездарной неспособности правительства — все подводило его к сознанию моральной оправданности и, может быть, даже необходимости революции. Он не был политически ориентирован-

---

<sup>22</sup> «Мысль и слово», философский ежегодник, издаваемый под редакцией Г.Шпета. №1, М., 1917; №2, М., 1919.

<sup>23</sup> Г.Г.Шпет. Герменевтика и ее проблемы. Публикация А.А.Митюшина. — Контекст 1989. М., 1989, с. 231-268; Контекст 1990. М., 1990, с. 219-259.

ным человеком, но, пожалуй, английская демократия была для него образцом, к которому надо стремиться. Он любил Англию, уважал ее институты, ее приверженность традиции. Но он не был наивен и понимал, что порядок не может устроиться на другой день после крушения старого режима, что отклонения и ошибки неизбежны, что смутное время перестройки должно длиться долго. Он терпеливо сносил бытовые трудности, материальные потери, хотя и возмущался грубым произволом «двоек, троек и нулей», производивших уплотнения и изъятия. Пожалуй, сейчас легко описать его отношение, сравнив его с отношением доктора Живаго, как оно описано Пастернаком, с отношением Блока. Вспомним, что он говорил в своей речи еще в 1914 году: «Падают теории, сокрушаются мировоззрения, рушатся догматы и колеблются престолы и алтари... а все-таки весело жить». Это же блоковский призыв «всем сердцем слушать музыку революции».

Но чего он не прощал революции (и опять как Блок в статье «О назначении поэта»), это ее вмешательства *тапу militari* в жизнь идей, разрушения всего процесса культурной жизни в России — дела, к которому он считал себя призванным и в котором, без малейших оснований, по его убеждению, ему чинили препоны.

Как только с нэпом появились первые частные издательства, он издает в петроградском издательстве «Колос» три свои книжки (Философское мировоззрение Герцена, 1921; Антропологизм Лаврова, 1922; Очерк развития русской философии, 1922). В последней он с горечью отмечает, что второй раз в истории России преподавание философии в университетах запрещено.

В эти годы труднее всего пришлось людям сорокалетним. Те, кто был старше, могли, столкнувшись с непреодолимыми препятствиями в своей работе, уйти в тень, выйти на пенсию, отказаться от активного участия в жизни. Те, кто был моложе, могли попытаться приспособиться, не теряя лица, уйти в какую-нибудь совсем нейтральную деятельность (библиотечную, издательскую, архивную), заранее отказавшись от активной роли в новой жизни. Те же, кто уже определился, уже сформировался, за кем стояли ученики, книги, начинания, были лишены такого выхода.

Шпет, в 1921 году отстраненный от преподавания в университете, еще пытается сохранить с ним связь. Он организует «Этнографический кабинет» при университете и собирает там своих учеников. Понимая шаткость и неустойчивость нэповской толерантности, он поспешно издает три выпуска «Эстетических фрагментов» в том же «Колосе» в 1922 и 1923 годах<sup>24</sup>. Эти действительно фрагментарно написанные книжки отличаются

<sup>24</sup> Г.Шпет. Эстетические фрагменты. Вып. I-III. «Колос», Пг., 1922-1923. См. также: Г.Шпет. Сочинения. М., 1990, с. 345-474.

от всего, им опубликованного. Такое впечатление, что он торопится высказать обдуманное и решенное, пока это еще можно, пока не заткнули рот. Мы уже говорили об его отношении к эмиграции — он не может расстаться со своим делом в этой стране. Он продолжает, как может, служить русской культуре.

Здесь намечается третий цикл философских исследований Шпета после «чистой философии» и «истории философии». Философия знака, отношение между знаком и обозначаемым, лежит изначально в центре философских штудий и интуиций Шпета. Теперь он придает этим штудиям видимость прикладных исследований. Он пишет о «Проблемах современной эстетики»<sup>25</sup> (1923), о «Постановке научной работы в области искусствознания»<sup>26</sup> (ГАХН, 1927). Он пишет «Введение в этническую психологию» (ГАХН, М., 1927).

Прикладные названия не должны обманывать. В действительности каждая из этих брошюр содержит глубокие, оригинальные и чисто философские мысли. Наконец, в 1927 году он публикует глубочайшее философское исследование о природе языка «Внутренняя форма слова»<sup>27</sup>. Эта книга предвосхитила развитие взглядов на язык на много лет вперед. Только через 30-40 лет языковеды приходят к усвоению этих идей. Она содержит на самом деле и основания для гносеологии и антропологии.

В 1919-1920 годах в Москве существовал лингвистический кружок, в котором участвовали Р.Якобсон, Г.Винокур, Р.Шор, Б.Ярхо. Шпет принимал участие в работе кружка. Вскоре Якобсон уехал в Прагу, и то новое учение о языке, которому он отдал свою жизнь, обычно связывают с деятельностью Пражского Лингвистического Кружка. Но Якобсон, Винокур и Шор считали своим учителем Шпета. В своих поздних автобиографических заметках Якобсон вспоминал, что именно философия языка Г.Г.Шпета, с которой он познакомился в Московском кружке, сформировала его взгляды на языкознание. Это были, очевидно, те самые идеи, которые изложены в «Эстетических фрагментах» и «Внутренней форме слова».

Тем временем кажется, что с нэпом и вся жизнь понемногу возвращается в нормальное русло. До преподавания в университете Шпета по-прежнему не допускают. Но в 1923 году организуется Российская Академия Художественных Наук, где Шпет возглавляет философское отделение. К 1927 году она преобразуется в Государственную Академию Художественных Наук, и Шпет, в качестве вице-президента, становится ее ру-

<sup>25</sup> Г.Шпет. Проблемы современной эстетики. — «Искусство», №1, 1923.

<sup>26</sup> Г.Шпет. К вопросу о постановке научной работы в области искусствознания. — Бюллетень ГАХН, 1926, №4-5; М., 1927.

<sup>27</sup> Г.Шпет. Внутренняя форма слова (Этюды и вариации на темы Гумбольдта). М., ГАХН, 1927.

ководителем. Президентом был П.С.Коган, добрый человек, незамысловатый литературовед и критик без больших амбиций, до этого прикрывавший своим именем Кафе Поэтов, где верховодили Есенин и Маяковский. Зато он был марксистом с дореволюционным стажем и потому, как мы бы теперь сказали, числился в номенклатуре. Когда ГАХН в 1929 году разогнали, его перевели директором в Музей Игрушки.

Шпет привлекает к работе в Академии большую группу своих учеников и единомышленников. Мы видим в Академии Н.И.Жинкина, Н.Н.Волкова, А.С.Ахманова, О.Б.Румера, Б.В.Шапошникова, А.А.Губера, А.Г.Габричевского, М.А.Петровского, П.С.Попова, Б.И.Ярхо, С.В.Шервинского, братьев Б.В. и Л.В.Горнунгов.

В Академии образуются секции, посвященные отдельным «художественным наукам». На регулярных заседаниях читаются и обсуждаются доклады на темы искусствоведения, театроведения, литературоведения, поэтики, языкознания, теории перевода...

Постепенно устраивается и бытовая сторона. После всех «уплотнений» и «изъятий излишков» жить негде. Но Шпета ввели в Совет Художественного театра. А Художественный театр превращался в привилегированный институт. Вскоре он смог построить себе квартиру в кооперативном доме Театра в Брюсовском переулке. Дом строил Щусев, и строил широко. Квартиры планировались индивидуально. В большой квартире Шпета на пятом этаже в столовой была внутренняя лестница, спустившись по которой на пол-этажа, он попадал в свой пятидесятиметровый кабинет с тремя окнами на разные стороны, с камином, с основательно и просторно расположенными стеллажами его огромной библиотеки и с отдельным выходом на лестницу.

Академия Художественных Наук помещалась в старинном здании Поливановской гимназии на Пречистенке (некоторые из ее членов в этой гимназии учились). Это совсем близко от дома на Остоженке, где живет Марья Александровна с дочерьми. Он продолжает к ним регулярно заходить, хотя дочери уже совсем взрослые, и внимательно следит за их жизнью. В своей семье дети еще маленькие — старшей, Тане, 14 лет, Марине — 12, Сергею — 9. Возобновляются прежние встречи и ночная игра в винт. Посол Литвы Юргис Балтрушайтис исправно снабжает Шпета шотландским виски и турецкими сигаретами. Губер сорок лет спустя вспоминал затянувшуюся ночную игру, во время которой у Шпета кончились папиросы. Шпет подошел к окну, выглянул в него и крикнул: «Извозчик!» Когда извозчик приехал, он протянул ему деньги и сказал: «Поезжай, купи мне пачку “Герцеговины Флор”».

Создавалось впечатление, что и жизнь, и работа снова налаживаются. Правда, в 1928 году произошло одно событие в



жизни Шпета, которое показало, насколько его положение непрочное. В Академии Наук были объявлены выборы, и академик Д.М.Петрушевский предложил кандидатуру Шпета на кафедру философии. Это был тяжелый для Академии Наук год. Менялся ее устав, убрали с должности постоянного секретаря С.Ф.Ольденбурга. Выборы отменялись и назначались сызнова — словом, это уже был год великого перелома. И то ли сами академики испугались выбирать на кафедру философии Шпета, то ли им указали сверху, но на эту кафедру был избран известный математик Н.Н.Лузин, человек не без философских интересов и склонностей.

Но окончательно все рухнуло в 1929 году. В ГАХН утром пришли трое мрачных людей и объявили себя «комиссией по чистке». «Где у вас партком?» — спросили они. «У нас нет парткома». — «А где местком?» — «У нас нет месткома». «Что за странное учреждение, — сказали они, — а кто у вас главный? Скажите, чтоб завтра собрались все сотрудники. Мы будем проводить чистку».

Не знаю, что в это время делал президент, но отвечать за всех взялся Шпет. Он категорически приказал пока никому на «чистку» не ходить. На следующий день он закрылся с комиссией в своем кабинете и просидел с ними три часа.

После окончания разговора он собрал своих сотрудников и объявил им: «После всего, что я им сказал, Академию закроют, и вам никому не поздоровится. Уходите из Академии сейчас же сами, и лучше в разные места». Так закончилось короткое существование Государственной Академии Художественных Наук.

### METANOIA (Наедине с собой)

Надо было продолжать жить и зарабатывать деньги для семьи. На работу в своей области Шпет уже рассчитывать не мог. Поэтому он, подобно многим полуопальным людям того времени, занялся переводами. Именно в это время окончательно оформляется одно из очень немногих культурных начинаний того времени — издательство «Academia». Вокруг него собрались уцелевшие русские интеллигенты. Возглавлял его — опять по той же «номенклатурной» причине — уже опальный, но еще важный Лев Каменев.

За немногие годы «Academia» успела выпустить массу блистательных книг. Еще более блистательным был ее перспективный план, так и оставшийся нереализованным.

Интересно и то, что в букинистических магазинах очень трудно найти неповрежденные томики «Academia». Слишком часто или переводчик, или редактор, или комментатор, или автор предисловия арестовывался или уничтожался, и тогда книжка с его именем становилась опасной; и владельцы сами выдирали или вырезали титульные листы, подписи под пре-

дисловиями или комментариями. И уж во всяком случае они делали это прежде, чем продавать книгу, иначе се не принял бы букинист.

К этому издательству и прибился Шпет. Первое, за что он взялся, был перевод «Записок Пиквикского клуба» Диккенса. Увлечшись этой работой, Шпет предложил написать бытовой и исторический комментарий к «Запискам»<sup>28</sup>, который под его руками превратился в подробнейшее описание нравов Англии XIX века. Он разыскивал расписания почтовых карет и меню дорожных таверн, объяснял особенности английских законов и исторические корни байлифов и коронеров, приводил цены, жалование слуг различных категорий и т.д. Он потратил на это много сил и написал целый отдельный том для этого издания «Записок».

Том этот был принят к публикации по мизерным расценкам, по которым у нас оплачивается научное комментирование, а хорошо оплачиваемый перевод забраковали и вместо него приняли перевод Ланна, как раз начинавшего в ту пору свою карьеру переводчика Диккенса. Шпет был очень огорчен этой потерей, зря проделанной работой, но не опустил руки. Он взялся за перевод драматических произведений Байрона и в короткий срок перевел «Каина» и «Манфреда», другие мистерии<sup>29</sup>.

Он вошел в рабочую группу по подготовке комментированного научного издания Шекспира на русском языке и все эти годы работал не покладая рук и по обычным человеческим меркам очень продуктивно. Но сам он был недоволен собой. Вместе с внешним отлучением от активной работы в области философии в нем происходили и внутренние изменения. Он еще раз обдумывал и оценивал себя и приходил к горьким выводам.

Если человек живет, чувствует и думает, а не просто втягивается в поток существования, то в его жизни наступает момент выбора, когда он должен решать, будет ли он верен самому себе, или тому образу себя, который сложился у его друзей, у его окружения. Мы видим на примере многих эти годы перелома, отхождения от сложившейся традиции. Они всегда очень трудны. Чем человек крупней, тем шире круг людей, которым он нужен — как им кажется — в том образе, к которому они привыкли. И если герой не хочет изменить

<sup>28</sup> Ч.Диккенс. «Посмертные записки Пиквикского клуба». Т. 1-3, М.-Л., 1933-34; т. 3. Комментарий к «Посмертным запискам Пиквикского клуба». Составитель Г.Г.Шпет (368 с.).

<sup>29</sup> Д.Г.Байрон. Мистерии. Перевод с английского размером подлинника и примечания Г.Г.Шпета. Вступительная статья и комментарии П.С.Когана. М.-Л., Academia, 1933.

Упомянем еще один перевод Шпета: Ч.Диккенс. Тяжелые времена. М.-Л., Academia, 1935. Эта книга вышла без имени переводчика, так же как комментарии к «Ярмарке тщеславия» У.М.Теккерея (М.-Л., Academia, 1933-1934).

себе, то как раз все его обвиняют в измене. Так было с Пушкиным после тридцатого года. Так было с Толстым. Такое не однажды переживал Блок, начиная с «Балаганчика». Так было с Пастернаком, когда он начал писать «Доктора Живаго». Это осложняет и без того внутренне сложный процесс. Человеческого, решившегося на такой шаг, называют предателем.

Шпет пишет в одном месте:

«Философское мировоззрение есть сам дух личности человеческой — дух, который живет в человеке и которым человек живет < ... > Это стержень самой души и биографии. Дух не направляется событиями, а сам направляет душу, жизнь, биографию < ... >

< ... > Человек меняет мировоззрение, ибо дух — живой, действующий дух. Но в самой этой перемене может быть открыта своя внутренняя строгость и своя духовная дисциплина, возможная только потому, что направляющий ее дух есть движитель, который сам не движется»<sup>30</sup>.

Такой трудный период переживал Шпет в конце двадцатых и начале тридцатых годов. Когда читашь его записную книжку тех лет, то короткие и страшные записи потрясают. Ему было пятьдесят с небольшим. Здоровье уже подорвано. Ему трудно становится заставлять себя работать так, как он привык. Он страдал от желудка, от головных болей, от нервного и физического переутомления. Да и от недоедания в эти опять трудные голодные годы. Он подозревал у себя умственное расстройство, штудировал книги по душевным заболеваниям, обращался к психиатрам.

А внешняя жизнь продолжалась в привычном темпе. Друзья собирались регулярно. Пили, играли в карты до утра. И в это время Шпет записывал (1931 год):

19/1. Очень плохое самочувствие; не работается, спится, «разложение».

21/1. Вчера — скучно; опять страхи, не мог заснуть до 9 утра. И встал сегодня во 2-ом — с головной болью... Совсем отказался от своих занятий по теории рядов. А там много незавершенного. Надо бы хоть привести в порядок то, что сделал. Должно быть, опять боюсь увлечься и отвлечься от обязательной работы (переводов). Иногда практически меня занимает такой один вопрос: эта моя усталость и руинность — временное явление, или я так дотяну до...пули в лоб? Ну, ну, затаскала меня жизнь! Где я, что осталось от меня? Сейчас со всей ясностью представился вечер в Геттингене...

---

<sup>30</sup> Г.Шпет. Философское мировоззрение Герцена. Пг., 1921, с. 3.

Встать и перейти в соседнюю комнату! Или по снегу прогуляться в город!.. Жутко гибнуть так бесславно.

24/1. < ... > Боюсь, что запутываюсь: думать трудно. Я чувствую, как атрофируются у меня мозговые мускулы!!

27/1. Bleuler более всего напирает на расстройство способности суждения от алкоголя — примат аффекта. Не отрицаю, но хуже, что расстраивается та подсознательная, сублиминальная (или супер!) сфера, в которую включается способность цельного ответа непосредственно. И значит — разум. Это мне совсем не нравится.

3/2. Спал невероятное количество часов. Физически вроде как лучше, но угнетение по-прежнему, мысли не уходят о конце, о ненужности, о невозможности работать. И объективно: нельзя работать оторванным от других (в лучшем случае получается Морозов со своим Апокалипсисом<sup>31</sup>), но из моих преследователей одни меня боятся, другие мне не верят, большинство меня не знает. Думаю написать Бухарину, предложить свои услуги (gratis) по работе в комиссии истории науки.

10/4. Перевожу, перевожу, перевожу! 5-го злоупотребил — казалось, и не чрезмерно, но вышло — дорого. 6-го — опохмелялся, 7-го — день рождения (все же не слишком), 8-го — опохмелялся, вчера утром — сильно, к вечеру — гнусно, сегодня не важно. Дорого, дорого!

Вот часть этих записей. Но совсем не следует их понимать как развал и крушение личности. В одной из низших точек, когда работа не удовлетворяет, а другой нет; когда надо вести и вести эти иссушающие душу переводы; когда Шпет отовсюду изгнан, везде подвергается преследованию, — именно тут он приходит к решительному и трагическому пересмотру всей своей жизни.

Вот запись от 29 января 1931 года, свидетельствующая об этом: «Роковым последствием моего юношеского материалистического аскетизма было подавление не тех стремлений, которые следовало подавать. От подавления эстетического сравнительно рано освободился, но считаю, что все же вышел не полным победителем, ущерб есть. Хуже, много хуже подавление того, что называют «добротой». Идея была: все разумно делать, и не обнаруживать сердечности. На деле разумно (слава богу!) не было, а в порядке доброты, не обнаружение, а ее самое усушил. И долго еще носился с доктринерским убеждением, что добрые не

---

<sup>31</sup> Н.А.Морозов — так называемый «шлиссельбуржец», просидевший в крепости двадцать три года (1862-1905) и написавший свое толкование Апокалипсиса (Откровение в грозе и буре. История возникновения Апокалипсиса. СПб., 1907), а также другие сочинения.

бывают умными, и как детскость суждения может сохраниться у взрослого — или только худшие черты детскости?

Вся жизнь моя была бы иной, если бы не подавление доброты! И даже моя общественная отъединенность теперь не существовала бы. Поведение должно определяться непосредственно добротой и мотивами сердца, а у меня сплошь и рядом не разумность, как воображалось когда-то, а упрямство, раздражение («а все-таки, ну, так я же стою на своем!»).

И через полтора месяца, 16 марта, еще одна короткая запись: «Да, сердце, сердце, сердце — самое важное в жизни, единственное! — как исказил я себя».

Напомним, что сердце — центральный пункт философии Юркевича. Шпету было в это время 52 года. Он мог рассчитывать еще лет на двадцать, в течение которых успели бы проявиться в его жизни, в его трудах такие глубокие душевные перемены. Но оставшиеся короткие три года его свободной жизни были заняты главным образом переводами.

Здесь уместно сказать несколько итоговых слов о философии Шпета. Она малоизвестна и еще ждет своего настоящего осмысления. Но вокруг нее уже накопилось много недоразумений из-за суждений или недоброжелателей, или людей, слабо и поверхностно представляющих себе идеи Шпета. Наше мнение несколько парадоксально, но, может быть, оно поможет когда-нибудь ближе подойти к истине и будет противостоять вышеуказанным недоразумениям.

Философская позиция Шпета может быть определена как рационализм, ищущий уразумения действительности в ее конкретной данности и полноте. Основания для такой «положительной» философии, которую он противопоставлял, в частности, кантианству в любых формах, он нашел в феноменологии Гуссерля. Но в постановке вопросов и выборе тем геттингенский гуссерлианец Шпет был русским философом, ближе всех, пожалуй, стоящим в этом ряду к Юркевичу.

Излагая феноменологию Гуссерля в «Явлении и смысле», Шпет отмечает, что социальное бытие, как отдельный род эмпирического бытия, пропущен Гуссерлем в его классификации. Шпет вводит социальное бытие в систему феноменологического анализа и отмечает принципиальный характер этого восполнения: «Именно исследование вопроса о природе социального бытия приводит к признанию игнорируемого до сих пор фактора, который только и делает познание тем, что оно *есть*, показывает как оно *есть*»<sup>32</sup>, — пишет он.

С этой позиции все его философские труды, в которых он последовательно анализирует историю, этническую психологию, искусствознание, историю литературы, язык, объединяются об-

<sup>32</sup> Г.Шпет. Явление и смысл. М., 1914, с. 129.

щей задачей исследования разных форм социального бытия. Его основные философские темы и достижения связаны с уяснением проблем знака и изображаемого, явления и смысла, мысли и слова; с уяснением проблем личности, общества, истории и языка.

Его наиболее законченная и обширная опубликованная работа — это «Внутренняя форма слова». Конечно, это не просто изложение взглядов Гумбольдта, но это даже не частная «прикладная» тема о философии языка. В этой работе заложена основа для развития целой философии — общего знания. Потому что в ней решается конкретно и точно основная проблема философии со времен Платона: это проблема соотношения между вещью и идеей, между символом и смыслом. В этом конкретном материале вопрос звучит так: как смысл (духовное) может быть сопряжен со звуком (материальное)? И решение, предлагаемое Гумбольдтом и выясняемое в этой книге Шпетом, такое: в слове они соединены нераздельно и неслиянно.

Так как этот вопрос обсуждается и разрешается в очень общем виде, то ответ пригоден не только для науки о языке. Это — рационализация халкидонского тезиса, которая ложится в основу социальной антропологии Шпета, его учения о личности. После замены предикатов, допускаемой благодаря общности рассуждения, формула «Слово есть полный распустившийся цветок языка» в антропологическом изложении будет звучать «Человек (личность) есть полный Адам» (а не «кирпичик», из которого общество строится).

Конечно, все это изложено не философским языком и не на том строгом и точном уровне, которого заслуживает так ценивший строгость, точность и обоснованность Шпет.

### Конец

Четырнадцатого марта 1935 года — как это у них полагалось, ближе к ночи — люди из НКВД пришли арестовать Шпета. Обыск продолжался всю ночь до утра. Что они искали, если оставили практически все его рукописи, записные книжки, письма, — непонятно. Оружие, взрывчатку, ход в Кремль из каминной трубы, списки тайной организации? Впрочем, говорят, что по их инструкциям полагалось перелистывать книги в поисках спрятанных там документов. В таком случае, конечно, библиотека Шпета заставила их потрудиться. Утром Шпета увезли на Лубянку. Одновременно было арестовано несколько его друзей<sup>33</sup>. Скупая и бессмысленная канва следствия и предъявленных обвинений содержится в письме Шпета, которое мы прилагаем. Об истинных мотивах ареста догадаться нетрудно: человек такого масштаба и такой независимой мысли не укладывался в предписанные рамки.

<sup>33</sup> М.А.Петровский, А.Г.Габричевский, Б.И.Ярхо.

Наталья Константиновна немедленно начала хлопоты. Обращались к руководству Художественного театра, лично к Пастернаку и Г. Нейгаузу, вероятно, и к каким-то важным функционерам. Но мы знаем, как мало это помогало.

Летом следствие закончилось. Приговор по статье 58 был сравнительно мягким: пять лет ссылки в Енисейск, захолустный городок центральной Сибири. Родным позволили сопровождать его в ссылку. Наталья Константиновна и сын Сергей поехали с ним в Сибирь. В Енисейске удалось довольно хорошо устроиться в частном доме, в хорошей, теплой комнате.

Приходя в себя после следствия, Шпет начал работать и был даже доволен таким оборотом дел. Было решено, что при нем всегда будет кто-нибудь — Наталья Константиновна, кто-нибудь из дочерей, из ближайших друзей.

Но у Натальи Константиновны в Москве оставался дом и близкие, кроме того, она все еще надеялась, что «хлопоты» могут что-то изменить. Поэтому она уезжала в Москву, оставляя Г.Г. со сменяющимися Норой, Маргаритой, Мариной. Она очень надеялась на то, что ей удастся добиться перевода Шпета в Томск — университетский город с библиотекой, где ему будет легче жить и работать. Сам Г.Г., кажется, не очень этого хотел.

Хлопоты Натальи Константиновны увенчались успехом, и зимой 1935-1936 годов они переехали в Томск — в санях по замерзшему Енисею. В Томске тоже сносно устроились; по уже заведенному порядку с Г.Г. все время жил кто-нибудь из родных. Шпет продолжал начатые ранее работы, переводил «Феноменологию духа» Гегеля.

В октябре 1937 года Наталья Константиновна должна была вернуться в Москву. На неделю или две Г.Г. остался один, ожидая приезда Норы.

27 октября он был арестован. В Москву пошла условная телеграмма от его хозяйки: «Пришлите шапку». Приговор тройки НКВД был стандартным для тех лет: «десять лет без права переписки». Теперь мы знаем, что такого приговора не бывало, это только «наружу» сообщалось в такой форме, а на деле означало приговор к расстрелу, который приводился в исполнение в течение суток со дня вынесения.

Наталья Константиновна хотела верить букве приговора и еще много лет подавала прошения о пересмотре дела, получая стандартные отписки, что оснований для пересмотра не найдено.

Она дожила до 1956 года и получила справку о реабилитации Г.Г. Шпета «ввиду недоказанности преступления» и лживое свидетельство о его смерти в 1940 году «от воспаления легких».

## POST SCRIPTUM

В семье существовала традиция — 7 апреля, в день рождения Г.Г., у старшей дочери Леноры собирались ученики и друзья,

вспоминали о Г.Г., рассказывали о его мыслях, о встречах с ним, об отдельных эпизодах жизни. Много лет назад, во время одной из таких встреч, я понял, что мне нужно собрать и записать все что можно о жизни Шпета. Задача оказалась довольно трудной. Я читал сочинения Шпета, расспрашивал родных и друзей, обдумывал, и наконец в январе 1989 года, оказавшись один в глухом европейском углу, написал этот очерк. Но по удивительному закону, по которому в ответ на каждое усилие неожиданно приходит помощь снаружи, оказалось, что мне пришлось вернуться к этой теме.

Почти в это же время томское отделение общества «Мемориал» добилося в местном КГБ разрешения познакомиться с делом Шпета<sup>34</sup>. Осенью этого года мне позвонили из Томска и рассказали, что по инициативе Вольного гуманитарного семинара, поддержанной «Мемориалом» и руководством университета, городские власти дали разрешение на установку мемориальной доски на доме, где в ссылке жил Шпет. Средства на изготовление доски собрали студенты гуманитарных факультетов.

Меня пригласили в Томск на открытие доски, которое состоялось 16 ноября 1989 года. Я приехал туда с дочерью Густава Густавовича Мариной Густавовной заранее и пошел в Томское управление КГБ с просьбой разрешить мне познакомиться с делом Г.Г.Шпета. На следующий день в специальной комнате в комитете в присутствии офицера ГБ я в течение четырех часов читал «Дело № 12301 по обвинению Шпета Г.Г. по ст. 58-2, -10, -11; начато 27 октября 1937 г.; окончено 2 ноября 1937 г. Томского НКВД». Я мог делать любые выписки и многие части переписал дословно.

Дело производит впечатление документальной подлинности — все подшитые в нем документы пронумерованы без подчисток единой, непрерывающейся нумерацией.

Фотографии в деле нет — видимо, по тем напряженным временам от этой формальности отказались. Нет там также никаких агентурных материалов (доносов). Первый документ — это «справка на арест», следующий — дословно ее повторяющий «ордер на арест». Там уже сформулировано обвинение: принадлежность к офицерской кадетско-монархической повстанческой организации. Затем справка об обыске и изъятии. Замечательно, что не изъято ни писем, ни записок, ни рукописей (все это было в комнате Шпета и было затем отдано хозяйкой комнаты семье), но только удостоверение комснатуры НКВД с отметками каждые две недели. Эта бумажка тоже подшита в дело.

<sup>34</sup> Первые публикации об истинной дате и обстоятельствах расстрела Шпета появились в парижской «Русской мысли» 2 июня 1989 г. и в томской газете «Красное знамя» № 130/20650 от 4 июня 1989 г. (статья И.Маскиной «О трагической судьбе ученого-философа Г.Г.Шпета»).



Потом идут протоколы допросов. Их два, и оба они помечены одним и тем же днем 1 ноября 1937 г. Две странички первого допроса содержат только анкетные данные и сведения о тех, с кем Шпет встречался в Томске: четыре человека — трое ссыльных из Москвы, один из них врач, наблюдавший Шпета, и томский профессор Н.И.Карташев, отдаленный знакомый, снявший для Шпета комнату в Томске. Под каждой страничкой характерная подпись: Г.Шпет.

Зато протокол второго допроса — шедевр доморощенного Кафки. Неторопливо и многословно, в ответ на краткие направляющие вопросы, подследственный рассказывает, как он вступал в «офицерскую кадетско-монархическую повстанческую организацию», какие были у нее цели (вооруженная борьба с советской властью и насильственный захват власти в момент вооруженного нападения на СССР), какие применялись методы (контрреволюционная пропаганда и агитация среди рабочих и студентов Томского университета), какова структура организации (охватывающей всю Сибирь и руководимой из-за границы Российским Общевоинским Союзом). Какой пост должен был занять Шпет в случае победы в новом правительстве (руководить газетами и печатью). Интересно, что ради сокращения следователь пишет «соввласть», но ни разу не позволяет себе сократить хоть на одно слово заклинательную формулу «офицерская кадетско-монархическая повстанческая организация». В деле пестрят «бывшие колчаковские офицеры», «бывшие протоиереи», «бывшие торговцы», которых Шпет якобы знал в Томске. Имена их возникают без подсказки следователя. Сам обвиняемый называется «бывшим коллежским ассессором», а его подельник М.А.Петровский — «сыном коллежского ассессора» (секрет прост: по «Табели о рангах» звание профессора приравнивалось к этому гражданскому чину). Опять под каждой страницей стоит: «записано с моих слов правильно», но на этот раз подпись малокультурным, невыработанным почерком с округлыми вместо прямых горизонтальными чертами, ничем, кроме краткости, не напоминающая подписи Шпета. Мне хочется надеяться, что он никогда даже не читал этого второго протокола.

На следующий день написано «обвинительное заключение», а потом (6 ноября 1937 г.) на осьмушке листа слепой печатью «Решение тройки НКВД», где сказано, что гр. Шпет Г.Г., обвиняемый по статьям 58-2, -10, -11, приговаривается к расстрелу. Решение не подписано, только «верно» и нечитаемая закорючка секретаря.

Тут я отвлекся от Дела и спросил присутствующего офицера — а он несколько раз предлагал задавать ему вопросы, — что такое «тройка НКВД» и чем она отличалась от Особого совещания?

— Тройка, — сказал он, — обычно даже не собиралась, просто приносили списки на подпись. А состояла она из первого

секретаря обкома, руководителя областного НКВД и представителя прокуратуры. Значит, все секретари обкомов — потому что не было такой области, где не проходили аресты и расстрелы, — ежедневно, в порядке рутинной, не требующей внимания работы, своей подписью отправляли на тот свет им совершенно не известных и невинных людей.

Последний документ в деле — это протокол о приведении приговора в исполнение от 16 ноября 1937 года. В те же дни в том же Томске в протоколе о расстреле Николая Клюева указана дата 23–25 октября. Объяснение оказалось простым: приговаривали в те дни десятками, а приговоренных к расстрелу надо было вывозить на пустырь за кладбищем: лошадь была одна, расстрел группы приговоренных растягивался на несколько дней. Пустырь назывался Каштак. Сейчас там завод и новостройки.

Вечером 15 ноября мы были приглашены в лютеранскую общину, где пастор Андрей Андреевич Мюллер отслужил заупокойную службу с проповедью о Густаве Шпете, невинно убиенном в этом городе пятьдесят два года тому назад. Проповедь и служба велись по-немецки, потому что томская лютеранская община состоит главным образом из немцев.

На другой день, 16 ноября, была открыта памятная доска на двухэтажном рубленом доме на углу Колпашевского и Юрточного переулков. Собралось много народа, в числе прочих — прихожане из лютеранской общины, которым пастор вчера рассказывал о Шпете. Выступили декан исторического факультета Томского университета профессор С.Н.Тренин, соруководители Вольного гуманитарного семинара Б.Н.Пойзнер, С.С.Божко, Н.В.Серебренников и многие другие. Вечером все мы собрались в доме Б.Н.Пойзнера на поминки. Мы пили разведенный лабораторный спирт, говорили о планах проведения регулярных «шпетовских чтений» в Томске, об издании его материалов и статей о нем. Собралось человек тридцать томской университетской интеллигенции.

На следующий день состоялось заседание Вольного гуманитарного семинара, на котором было рассказано о трудах и жизни Шпета, об обстоятельствах его гибели. В фойе аудитории университетской библиотеки была развернута небольшая выставка книг и фотографий Шпета. Народа было очень много. Так закончились «шпетовские дни» в Томске.

Имя Шпета долго находилось в каком-то затмении. Насколько я знаю, только двое его современников — Андрей Белый и Федор Степун — написали о нем в своих воспоминаниях<sup>35</sup>, хотя я еще знал людей, оживлявшихся при упоминании его имени и рассказывавших о его талантах лектора, собеседника, мастера

<sup>35</sup> Андрей Белый. Между двух революций. Издательство писателей в Ленинграде, 1934; Федор Степун. Бывшее и несбывшееся. Издательство им. Чехова. Нью-Йорк, 1956.

парадокса. Большая часть его современников не написала никаких мемуаров, а если и писали, то само имя Шпета оставалось колючим. Но причины затмения были не только политические. Как я уже упомянул выше, мне известны две краткие заметки о философии Шпета в справочных изданиях. Одна — это статья В.Ф. Асмуса в московской «Философской энциклопедии» (1970). Вторая принадлежит однокашнику Шпета протоиерею Василию Зеньковскому в его «Истории русской философии» (Париж, YMCA, 1950). Они удивительно похожи и сводятся к тому, что этот философ оказался сильнее в анализе и критике, чем в оригинальном творчестве.

В заключение я хочу привести еще одну цитату из «Философского наследия Юркевича». Говоря о критике, которой подвергался Юркевич, Шпет пишет: «...на стороне Юркевича было знание, тонкое понимание, самостоятельная мысль, и боролся он за Истину не преходящую, а стоящую над временем. Если всего этого не было у его противников, то неужели признать, что победили невежество, непонимание, интересы момента?» Затем Шпет задает второй вопрос: достаточно ли Юркевич понимал желания и нужды своего времени, «тот момент, в который ему пришлось жить и учить»? Да, отвечает он, «Юркевич знал, понимал и отдавал должное своему времени, но он был философом, а потому видел еще дальше...»<sup>36</sup>

## Документы<sup>37</sup>

### 1

Шпета Густава Густавовича  
Томск, Колпашевский п., 9, кв. 2

## ЗАЯВЛЕНИЕ

В ночь с 14 на 15 марта 1935 г. я был арестован в Москве; по окончании следствия административно выслан в Енисейск на 5 лет. В ноябре того же года меня перевели в Томск, где я нахожусь и поныне.

Следствие предъявило мне обвинение (по ст. 58 -10,11) в том, что я возглавлял антисоветскую группу, сложившуюся в период существования Гос. Ак. Худ. наук (т.с. до 1930 г.), состоявшую из проф. Габричевского А.Г., Петровского М.А. и Ярхо Б.И. Ма-

<sup>36</sup> Г.Шпет. Философское наследство П.Д.Юркевича. М., 1915, с. 2.

<sup>37</sup> Из семейного архива Шпета.

териалом обвинения послужили показания Петровского и Габричевского, арестованных и допрошенных примерно в одно время со мною. Голословность и бездоказательность этих оговоров частично вынуждены были признать и следственные органы. Никаких конкретных показаний, которые раскрывали бы, в чем выразилось мое «руководство» группой, мне предъявлено не было. Следствие не обратило внимания даже на то, что с одним из членов «группы», с Б.И.Ярхо, я просто мало знаком: он никогда у меня не бывал, и наши научно-педагогические позиции противоположны. Я более знаком с Петровским М.А., но и с ним расходился в научно-идеологических воззрениях. Единственно я был близок с Габричевским А.Г., но как раз он признан по этому делу невиновным и, во всяком случае, никакому наказанию не подвергнут. Каковы принципиальные политические установки этих лиц, до сих пор точно не знаю, ибо никогда и никаких разговоров на эту тему у нас не велось; отрывки и цитаты из их признаний, читанные мне следствием, вызвали у меня резко отрицательное отношение. На очной ставке с Петровским и Габричевским им поочередно был задан следователем всего один вопрос, подтверждают ли они свои показания (мне конкретно неизвестные), показания от такого-то числа; мне не позволено было задать им какие-то ни было вопросы и требовать разъяснений.

Предъявленное мне обвинение я не признал и не мог признать, хотя в порядке самокритики допускал и признавал, что своей общественной и политической неактивностью и недостаточным вниманием к окружающим мог дать, сам того не подозревая, повод к неправильному толкованию моего отношения к Советской власти. Это, по-видимому, и привело следствие к противоречивому выводу, что будто я стоял во главе контрреволюционной группы, сам того не сознавая.

Если бы следственные органы более внимательно и критически отнеслись к показаниям оговоривших меня лиц, а также к моей действительной работе в 27 г., равно как и раньше и позже вплоть до момента ареста, то понятно выяснилась бы вся вздорность опорочивающих меня показаний, и приговор, осудивший меня на 5 лет высылки, стал бы невозможен. Никогда я не принадлежал к тем буржуазным профессорам, которые встретили враждебно октябрьскую революцию, но, убедившись в выгодах пайков и охранных грамот КУБУ, пришли к признанию Советской власти. Революцию я встретил радостно, приветствовал и работал для Советской власти с 1917 года.

Я хочу и, несмотря на свой возраст, могу еще работать на фронте нашего культурного строительства. Моя основная специальность — философские науки, но занятия в области истории науки и языкознания, истории театра, а также знание почти всех европейских языков (англ., нем., франц., итальянск., испанск., польск., шведск., норвежск., датск., украинск., болгарск.,

латинск., греческ.) дают мне возможность работать в других областях.

При моем теперешнем положении, вопреки твердым обещаниям, данным мне в НКВД, что работой я буду обеспечен, с момента высылки мне был поручен перевод только одной книги Гегеля «Феноменологии духа».

Прошу, приняв во внимание изложенное, мои годы, отбытие половины срока высылки и кроме того желание работать на пользу социализма и нашего культурного строительства, вернуть меня в число полноправных граждан моей социалистической родины. И прошу дать мне возможность работою на пользу себе реабилитировать себя не только от обвинений и оговоров, но и от подозрения в моей причастности к каким бы то ни было контрреволюционным организациям, группам, действиям или замыслам.

4/VI-1937

Г.Шпет

2

9/II-1938

№ 13/18980а.

При ответе ссылаться на №2 и число

Москва, Брюсовский пер., 17, кв.16

— Шпет И.К.<sup>38</sup>

Сообщаю Вам, что ШПЕТ Густав Густавович арестован и осужден правильно.

Оснований для пересмотра его дела нет.

ЗАМ.НАЧ.ОТДЕЛА ПО СПЕЦДЕЛАМ

(А.Глузман)

---

<sup>38</sup> Документ на бланке: «ПРОКУРАТУРА Союза Советских Социалистических Республик. МОСКВА. Пушкинская ул., 15-а».

V  
502/28 1939 г.

Кому: ШПЕТ Н.К.<sup>39</sup>

Куда: Москва, Брюсовский пер., 17, кв. 16.

Ваше заявление на имя Народного комиссара внутренних дел СССР т. Берия Л.П. получено и проверено.

ШПЕТ Густав Густавович осужден.

Просьба ваша отклонена.

НАЧАЛЬНИК 2 ОТДЕЛЕНИЯ СЕКРЕТАРИАТА  
НКВД СССР (БЫЧКОВ)

4

*первичное*

РСФСР  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ  
ЭК № 069725

Гр. ШПЕТ Густав Густавович умер 23/III 1940 года Двадцать третьего марта тысяча девятьсот сорокового года возраст 61 год.

Причина смерти воспаление легких о чем в книге записи актов гражданского состояния о смерти 1955 года октября месяца 12 числа произведена соответствующая запись за № 1733.

Место смерти: город Томск, гор. ЗАГС.

Дата выдачи 21 февраля 1956 г.

*Круглая гербовая печать:  
Управление Милиции Томской обл.  
Бюро Записей Актов Гражданского  
состояния г. Томска.*

Заведующий бюро записей актов  
гражданского состояния  
(подпись)

<sup>39</sup> Документ на бланке: «СЕКРЕТАРИАТ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР».

Мы по необходимости обошли почти полным молчанием многие из важных философских достижений Г.Г.Шпета. Очерк его философии — нелегкое дело, стоящее перед профессионалами этой возрождающейся у нас сейчас науки. Мы касались этих вопросов только по необходимости, потому что без упоминания их его биография была бы бессмысленна.

**ЗОДЧИЙ РУССКОЙ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ МАКСИМОВ  
(1882—1942)**

История архитектуры нашего отечества еще полна белых пятен. Много лет занимаюсь я разработкой биографического словаря российских архитекторов и постоянно встречаюсь с именами никому не известных зодчих, создававших порой замечательные произведения, иногда только на бумаге, в других случаях осуществленные, но числящиеся теперь анонимными или приписанные другим... Нам еще предстоит многое пересмотреть, произвести ревизию действительного вклада ряда мастеров и воздать должное тем из них, кто в силу обстоятельств остался в тени и безвестности, хотя создавал оригинальную, а иногда и великую архитектуру.

Именно к таким забытым именам относится Владимир Николаевич Максимов, чья судьба повторила трагедию многих славных русских интеллигентов: блестящий взлет, ранний расцвет, внезапно оборванный революцией, стойкое ее неприятие и незаметное прозябание, арест и последующий рабский труд, относительное признание его таланта чекистами, сопровождавшееся даже жалкими подачками, жестокая болезнь и смерть. Полное забвение всеми, кроме собственных детей.

Занимаясь сбором материалов к биографическому словарю архитекторов, я обратил внимание, что из приблизительно трех тысяч зодчих, действовавших в России перед революцией, судьба почти половины теряется затем в тумане. Эмигрировало весьма незначительное число. Но многие из оставшихся были затем репрессированы. Выявлять репрессированных много десятилетий назад — трудно, но иногда обнаруживаются поразительные факты.

Сложным путем вышел я на двух художниц — Елену и Злату Максимовых, живущих под Москвой в деревянном доме, построенном их отцом, архитектором-художником В.Н.Максимовым. О нем в моей картотеке, насчитывающей около 40 тысяч имен зодчих прошлого и настоящего нашей страны, были довольно скудные сведения. Старый справочник С.Н.Кондакова



указывал лишь год рождения — 1882 и год окончания Академии художеств — 1912<sup>1</sup>.

В современном, насыщенном фактами каталоге сообщалось, что Максимов — участник строительства Федоровского собора в г.Пушкине и автор здания казачьих казарм там же<sup>2</sup>. Год смерти зодчего обозначен вопросительным знаком.

Дочери Максимова рассказали мне, что отца репрессировали в 1932 г. и хотя через несколько лет «освободили» как инвалида, но жить разрешили не ближе, чем за сто километров от Москвы. Фактически он оставался в цепких объятиях ГУЛАГа — вынужден был выполнять архитектурные заказы НКВД.

У дочерей сохранилась часть архитектурных работ отца. Некоторые эскизы они отдали брату — Арсению Владимировичу, также архитектору, ныне живущему в Костроме. Работы В.Н.Максимова, заботливо сохраняемые его детьми, — произведения большого мастера, достойного широкой известности.

Архитекторы рисуют будущее: ведь их чертежи — не только изображения зданий и сооружений, это прежде всего картина еще не существующего, предстоящего мира, каким его видит зодчий. Сравним две картины будущего, как они виделись архитектору Максиму в 1916 году и затем через двадцать лет.

На одной — большой ансамбль разнообразных построек, высоких и низких, с причудливыми, неповторяющимися башнями, с собором в логическом центре и стройной колокольней рядом. Огромная (свыше двух метров по длине) панорама сверкает красками, светится радостью и весельем жизни. Архитектор рисовал проект на третьем году изнурительной мировой войны, но дух народа, его оптимизм чувствуется в произведении Максимова. Мы, потомки, можем оценить через три четверти столетия и тот чистый порыв, который вдохновлял художника, и ту трагическую ситуацию, что оборвала мечту. В верхнем левом углу панорамы размашисто написано: «Высочайше одобрено. Дворцовый комендант, свиты Его Величества генерал-майор Восейков. Царское Село, 30 декабря 1916 г.». Монархии в России оставалось существовать всего два месяца. Максимов не знал этого, разрабатывая свой проект. Но он верил в великое радостное будущее своей страны, и его искренней верой дышит изображение.

Через двадцать лет, испытав крушение всех замыслов, категорически не приняв власти большевиков и отвергнув всякое сотрудничество с ней, пройдя тюрьму и лагеря, Максимов был «активирован» — выпущен по акту, удостоверяющему, что он инвалид. Все знают смысл слова «ээка». В своем первоначаль-

<sup>1</sup> С.Н.Кондаков. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств 1764-1914. Том II, часть биографическая. Пг., 1915, с. 355.

<sup>2</sup> В.Г.Исаченко, Б.М.Кириков, С.Г.Федоров, А.М.Гинзбург. Архитекторы-строители Петербурга — Петрограда начала XX века. Л., 1982, с. 92.

ном значении это была аббревиатура термина «заключенный каналаармеец». Максимов, перестав быть заключенным, оставался каналаармейцем и проектировал архитектурные детали канала, а затем волжских гидростанций, возводимых НКВД. Сохранилось несколько фотографий с его чертежей, в том числе перспективные изображения Угличского и Шекснинского гидроузлов.

Огромные, совершенно пустынные и безжизненные пространства с холодно блещущей, сверкающей белизной, но абсолютно бездушной архитектурой, идеально подходящей для иллюстраций к романам Е.Замятина, Дж.Орвелла и другим антиутопиям, которые так пророчески описали страшный стерилизованный мир диктатуры, насильно загоняющей человечество к счастью. И в ранних работах Максимова нет людей, но сама архитектура там — одухотворенная, удивительно человеческая, придуманная для людей и ради них. Здесь же, в этих километровых просторах, нет места ни человеку, ни мысли о нем. Невозмутимая гладь водных просторов, равнодушная, едва намеченная зелень берегов с дорогой, ведущей в никуда (на проекте Шекснинской плотины). Оно и понятно: ведь дорога — ориентир, и чтобы безусловно ввести в заблуждение зрителя, дорога внезапно обрывается. Логики нет, но есть бдительность. Несомненно, подобное отношение к изображаемому было связано Максимову кем-то свыше, и он — раб ГУЛАГа — беспрекословно выполнил указание. Родственники говорят, что «сам» Г.Г.Ягода ценил его — еще бы, за битого двух небитых дают.

\* \* \*

Владимир Николаевич Максимов родился 9 сентября (старого стиля) 1882 года в Казани. Отец, наполовину татарин, преподавал в национальной школе, готовившей ремесленников, и мальчуган с детства привык обращаться со многими инструментами и приспособлениями, что затем пригодилось ему в руководстве строительством. На любой постройке архитектору, как главному строителю, приходится верховодить множеством профессий и специальностей, а Максимов был практически знаком с большинством из них, всегда мог не только рассказать, но и показать, как это надо делать руками.

С 1898 г. юноша стал учиться в Казанской художественной школе, одном из лучших провинциальных заведений такого профиля. Уже изначально Максимов готовился к профессии зодчего: поступил на архитектурное отделение. Его особенно привлекало древнерусское зодчество, которое он тщательно изучал и по книгам, и по сохранившимся памятникам. Рисовал старинные здания и их детали не только в Казани, но окрест ее, добираясь даже до Свияжска. В сентябре 1904 года, двадцати двух лет от роду, Максимов с отличием окончил художественную школу и

получил свидетельство техника архитектуры, а также учителя рисования, черчения и чистописания<sup>3</sup>. Диплом с отличием давал право на внеконкурсное поступление в Академию художеств, только с одним экзаменом по математике.

Но экзамены в Академию проходили ежегодно в августе, и на этот год Владимир уже опоздал. Впрочем, он был занят другими проблемами. Молодой человек влюбился в свою соученицу Анечку Смирнову. Весной 1905 года сыграли свадьбу. Но не только личная жизнь занимала его. Готовясь к поступлению в Академию, он посещал Казанский университет, совершенствуя свои знания в математике, физике, химии.

Летом 1905 года Максимов подал документы в Высшее художественное училище при Академии художеств и 16 сентября получил свидетельство, что является его учеником<sup>4</sup>. За учение он принялся очень рьяно. На пятом месяце первого года обучения он подал заявление о желании летом заниматься обмерами деревянных храмов в Свияжске<sup>5</sup>. Кроме обмерных работ он предполагал заняться и фотографированием, для чего просил выделить ему на фотоматериалы 75 рублей (аппарат у него был, и снимки он делал мастерские). К своему заявлению Максимов приложил подробное, на нескольких страницах, обоснование командировки. Ссылаясь на множество литературных источников (что свидетельствует о фундаментальной проработке всей истории вопроса), Максимов излагал свой план «отыскать и изучить деревянные церкви XVI в.», в частности сделать обмерные чертежи деревянного собора Рождества Богородицы в Свияжске, построенного, как утверждали документы, в 1551 году. Создание обмерных чертежей предполагалось как своеобразный графоаналитический метод изучения памятника. Тщательно измеряя все части храма и фиксируя их в уменьшенном масштабе на бумаге, можно лучше понять и острее воспринять любые изменения, внесенные в облик здания за последующие триста с лишним лет. Вот почему Максимов намеревался в качестве следующего этапа исследования сравнить современный вид храма с древнейшим его описанием, составленным в 1614 году. Из той же записки следует, что Максимов уже не менее восьми лет тщательно занимается древнерусским искусством, именно искусством в широком плане, а не только изучением сугубо зодческих проблем.

Денег Максиму не дали, тем не менее летом 1906 года он работал в Свияжске. Несомненно, его исследования представляли значительный интерес, ведь то были не просто учебные упражнения в технике обмерных работ, а самостоятельные поиски молодого пытливого ума. Но от всей деятельности ос-

<sup>3</sup> ЦГИА, ф. 789, оп. 13, д. 127, л. 12.

<sup>4</sup> Там же, л. 20.

<sup>5</sup> Там же, л. 33-34.

тался лишь бледный ответ в виде нескольких упоминаний в его личном деле.

От второго года пребывания Максимова в Академии сохранилось только его заявление о досрочной сдаче экзаменов с весьма показательной резолюцией — «разрешить в виду исключительной успешности»<sup>6</sup>.

Каникулы 1908 года Максимов провел в Овруче на восстановлении церкви Василия, построенной в домонгольский период. Храм обрушился еще в древности. В начале XX века крупнейший русский исследователь П.П.Покрышкин провел здесь раскопки, и на основе его изысканий А.В.Щусев сделал проект восстановления храма, в котором ряд существенных деталей пришлось воссоздавать заново, по аналогии, а иногда и по чувству. Щусев был занят многими постройками и не мог постоянно находиться в Овруче. Он взял себе двух помощников — Л.А.Веснина и Максимова, которые проводили работы, ежедневно фиксируя их состояние в дневниках. Начали с закладки фундаментов под башни, затем стали возводить стены. В августе Веснин уехал, и Максимов в одиночку занимался всем. Разрабатывал чертежи дубовых дверей с поковками, петлями и ручками древнего образца. Сделал рисунок дубовой ограды вокруг храма (по образцу древних оград из кольев). В этом же типе запроектировал звонницу с двускатным покрытием из дубового теса. Половина сентября и весь октябрь ушли на выведение сводов и установку кровли<sup>7</sup>.

Лето 1909 года Максимов вновь на той же стройке. В прошлом году жена родила вторую дочку, и теперь в Овруче жили всей семьей, неподалеку от храма, где молодой зодчий пропадал большую часть времени. Рядом располагался небольшой женский монастырь, очень бедный и заброшенный. Возводимый заново древний храм явно контрастировал с убожеством обители. Как-то об этом зашел разговор с настоятельницей. Воспоминание об этой беседе сохранилось в семейных преданиях.

— Хорошо бы построить новую обитель, — сказала игуменья Фамарь, — но у меня в кассе всего полтора рубля.

Архитекторы решили сделать проект безвозмездно. Щусев запроектировал неподалеку от храма новую обитель, начертил ее планы, фасад. По этой разработке Максимов нарисовал перспективное изображение. За два года совместной работы он отлично усвоил графическую манеру своего мастера: на тонированной бумаге, густой темперой и белилами, почти сухой кистью, но очень живописно и сочно по цвету Максимов изобразил будущую обитель. Низкие ворота затворены, и глухая белая ограда отделяет монастырь от внешнего мира. Тускло бле-

<sup>6</sup> Там же, л. 68.

<sup>7</sup> Известия императорской археологической комиссии. Вып. 32, СПб., 1909, с. 2-4.

стит золоченый шпиль колокольни. Черные фигурки инокнигов говорят о назначении сооружения и вносят определенный цветовой акцент в изысканную гамму картинки.

Работа была столь хороша, что Щусев не только одобрил, но и подписал ее, однако не скорописью, как на собственноручных чертежах, а мелкими печатными буквами. Этим он закрепил за собой право на архитектурную идею, которая действительно принадлежала ему, хотя в данном случае и была исполнена другой рукой. В конце того же года журнал «Зодчий» опубликовал в своем альбомном приложении чертежи женской обители в Овруче. На одном листе — план и ортогональ главного фасада с характерной размашистой скорописной подписью Щусева. Второй лист воспроизводит в цвете максимовскую работу во всех ее колористических особенностях, даже с бронзовой краской покрытия шпиля. На обоих листах сбоку набрано: «Проектировал и строил арх. А.В.Щусев»<sup>8</sup>. Впрочем, если очень внимательно и придирчиво рассматривать репродукции, можно заметить, что архитектура ортогонали хоть и исполнена в одних линиях, но разработана чуть богаче. Так, например, в ортогонали киот над воротами слегка вынесен, создавая дополнительную игру светотени, а на перспективе он как бы врезан в плоскость стены. Эти и иные мелкие детали доказывают, что перспективу рисовал не сам Щусев.

Два овручских сезона значительно профессионализировали Максимова. Ко многим академическим знаниям добавилось практическое умение воплощать в жизнь проект, подчинять своей воле многих строителей. Профессия архитектора — главного строителя — требовала ко всем талантам еще и организационных способностей. Щусев в Овруче бывал мало, и Максиму пришлось быстро научиться самостоятельности.

Весной 1910 года он окончил научный курс Академии. Дальнейшее пребывание в стенах этого учебного заведения предполагало не накопление знаний, а шлифовку мастерства. Студенты распределялись по персональным мастерским. Максимов выбрал профессора М.Т.Преображенского. Одновременно он мог, по существовавшему тогда положению, заняться строительной деятельностью. Конечно, речь шла не о самостоятельном проектировании — для этого у него не было еще известности среди заказчиков. Чтобы добиться ее, надо было продолжать деятельность помощника. Однако теперь он мог взяться за более обширный объем работ и вести их не только в каникулярное время.

Вероятно, Щусев рекомендовал его в качестве помощника архитектору В.А.Покровскому, с которым они вместе писали в то время отдельные фрагменты по древнерусской архитектуре для «Истории русского искусства», составлявшейся И.Э.Граба-

<sup>8</sup> «Зодчий». 1909 г., альбом, л. 58 и 59.

рем. Покровский окончил Академию десять лет назад и успел прославиться как автор многих проектов и построек в новгородско-псковском духе. Весной 1910 года его привлекли к проектированию храма в Царском Селе. Он был задуман в качестве полковой церкви двух привилегированных воинских частей — Собственного Конвоя и Собственного Сводного пехотного полка. Конвой — специальный конный отряд, призванный эскортировать и охранять передвижения государя и его семьи. Состав Конвоя формировался из отборных казаков: две кубанские и две терские сотни. Их казармы находились в Петербурге, но Николай II жил преимущественно в Царском Селе, и сотни Конвоя попеременно находились там в командировке. Кадры Сводного полка отбирались из всех частей по росту, красоте и личной преданности. Полк не имел постоянного места пребывания и неизменно сопровождал императорскую семью для ее охраны. Из-за своей кочевой жизни полк не имел постоянного храма, довольствуясь походной церковью. На Кузьминской улице Царского Села для полка построили деревянные казармы. Тут же отвели место и для размещения части Конвоя<sup>9</sup>. В середине 1900-х гг. основной императорской резиденцией стало Царское Село. Родилась идея строительства полкового храма для Конвоя и Сводного полка. Как всегда в таких официальных случаях, проект был заказан очень известному и давно прославленному архитектору А.Н.Померанцеву, еще в 1880-х годах построившему в Москве Верхние Торговые ряды (ныне — здание ГУМа).

Он разработал проект в привычных для него формах московской архитектуры XVII века — высокий храм с пышными наличниками. Проект одобрили и произвели торжественную закладку. Однако вскоре осознали, что замысел слишком велик и громоздок, а формы нарышкинского барокко, которые использовал Померанцев, уже поднадоели. Старому зодчему отказали и пригласили молодого, полного новых идей Покровского. Ему предложили сделать новый проект в более древних и простых формах, с использованием уже заложенного фундамента, наполовину ниже и стоимостью до 115 тыс. рублей. Покровский принял все условия и быстро представил проект<sup>10</sup>. Есть некоторая доля уверенности для предположения, что уже на этой стадии ему помогал Максимов: правка машинописной пояснительной записки к проекту напоминает весьма характерный почерк Максимова<sup>11</sup>. Пояснительная записка подписана Покровским 26 июля. На следующий день Максимов подает в Академию прошение — выдать ему свидетельство на право

<sup>9</sup> Е.Петин. Собственный Его императорского величества Конвой. СПб., 1911.

<sup>10</sup> Дело строительного комитета по сооружению церкви для Конвоя и Сводного полка. — ЦГИА, ф. 489, оп. 1, д. 6.

<sup>11</sup> Там же, л. 232-235.

производить постройки<sup>12</sup>. Эти документы находятся в разных фондах, но их смысловая связь очевидна. Свидетельство было выдано 3 августа и в тот же день подшито в дело строительства полкового храма<sup>13</sup>. Так с начала августа 1910 г. начинается тесный контакт Максимова с офицерами Сводного полка и Конвоя. Семь последующих лет он работал в постоянном общении с ними, и это были лучшие годы его творчества, сперва в качестве помощника, а затем самостоятельного творца удивительных по красоте замыслов, осуществленных лишь в небольшой части, а главным образом сохранившихся в его чертежах.

1 августа 1910 г. проект храма был высочайше утвержден. И тут же возникла следующая задача. Неподдалеку, в двухстах метрах от церкви, предполагалось строительство здания Офицерского собрания Конвоя. Проект заказали еще в 1909 г. испытанному временем архитектору А.И. фон Гогену, который и представил его в начале 1910 г. Офицеры одобрили замысел, но начальник Конвоя решил показать чертежи государю. Поиск подходящего момента тянулся довольно долго. Когда проект Гогена попал к императору, тот уже находился под обаянием архитектуры Покровского и «выразил пожелание, чтобы стиль нового здания гармонировал со стилем близ строящейся церкви»<sup>14</sup>. Тут же пригласили Покровского. 10 августа его проект здания Офицерского собрания получил высочайшее одобрение «с исключением из фасада надкрышных украшений, шпица, башенок и гребня»<sup>15</sup>. Это уже были мелочи. Сложность проблемы заключалась в том, что столетний юбилей Конвоя приходился на 18 мая следующего года и для строительства оставалось девять месяцев. За это время надо было не только возвести каменное двухэтажное здание, но и отделать его во всех мелочах.

Обычно после утверждения проекта объявляли торги подрядчиков и выбирали того, кто согласен строить за наименьшую цену. Но строительный сезон уже оканчивался, а откладывать было невозможно. Дали разрешение строить, не считаясь с затратами и обстоятельствами. Рвы под фундаменты отрывали осенью. Кладку стен начали на морозе. Над стройкой возвели тепляк и внутри топили денно и ночью. Максимов оказался прекрасным организатором.

Работая помощником, он занимался множеством очень важных, необходимых, но рутинных дел, поглощающих основную часть времени в руководстве строительством, не интересных для мастера, но крайне необходимых для безупречного хода дела. Руководитель строительства мог переложить их только на своего доверенного помощника. Такое активное участие в

<sup>12</sup> ЦГИА, ф. 789, оп. 13, д. 127, л. 92.

<sup>13</sup> ЦГИА, ф. 489, оп. 1, д. 6, л. 244.

<sup>14</sup> ЦГВИА, ф. 892, оп. 1, д. 314, л. 321-323.

<sup>15</sup> ЦГВИА, ф. 349, оп. 43, д. 1397 и 1400.

строительном процессе, когда приходилось не только продвигать то, что уже намечено мастером, но и зачастую принимать собственные решения, приучало к самостоятельности. Раствор стыл, каменщики просили указаний, и не было времени откладывать вопрос до приезда мастера. Кроме того, помощник принимал непосредственное участие и в наиболее творческой стадии архитектурного процесса — проектировании, которое отнюдь не прекращается с утверждением основного замысла, но продолжается и далее в многочисленных уточнениях и детальных разработках, иногда существенно влияющих на окончательный облик сооружения.

Для здания Офицерского собрания Максимов разработал по крайней мере два интерьера. Приходится писать так осторожно, потому что в семье архитектора сохранились только эти проекты. Возможно, были и другие разработки Максимова, но в делах по строительству Офицерского собрания вообще нет ни одного упоминания его фамилии. Помощнику доставалась теньевая роль, и имя его затмевалось сиянием славы мастера.

Гостиная изображена на двух листах в продольном и поперечном разрезах. Продольный имеет заголовок «Проект гостиной». Оба чертежа подписаны и датированы: «Арх. Максимов. 1911». Третий лист, также подписанный и датированный, не сохранил заголовка, он явно стерт позднее. Наследники Максимова не знали, к чему относятся эти проекты. Они и не подозревали, что отец участвовал в строительстве Офицерского собрания. Пришлось обратиться к планам этого здания, подписанным Покровским, на которых указаны названия всех помещений. Каждое из них отличается размерами. Длина и ширина гостиной на плане совпала с размерами на разрезах Максимова. Длина помещения на третьем листе совпала с «Комнатой шефа» на плане. К тому же Максимов поместил на стене проектируемого помещения семейный портрет: четырех барышень и мальчика в матроске. Для любого человека того времени это был знакомый сюжет. Портрет детей Николая II — вполне подходящее украшение покоя, называющегося «Комнатой шефа»: ведь шефом Конвоя являлся сам император.

С огромной любовью и изобретательностью в деталях Максимов разработал сложную и изящную орнаментiku стен, перекрытий, узоры ковра, нарисовал мебель и предполагаемые предметы украшений. «Комната шефа» сделана в национальном русском стиле и перекликается с внешним обликом здания, задуманного Покровским. Гостиная решена в восточном духе, что также понятно. Форменной одеждой конвоя были черкески (синие — повседневно и красные — по парадным случаям), и в офицерском составе его было много лиц восточного происхождения.

Разработка интерьеров для Офицерского собрания совпала с выполнением академического задания — «Проекта Патриар-



шей ризницы и библиотеки». Позднее он был опубликован<sup>16</sup>, и если сравнить обе работы, то заметно, что молодой зодчий успешно соединял учебные упражнения и реальные задания. Они отнюдь не повторяли друг друга, но по настрою и технике выполнения были близки.

Другим академическим заданием была разработка проекта «Церкви-памятника в честь воинов, погибших на Дальнем Востоке»<sup>17</sup>. Эта тема во многом совпадала с практической работой Максимова над церковью в Царском Селе. При совершенно различном характере решений объемов зданий и их фасадов интерьеры были разработаны в одном ключе.

Памятник был задуман в виде храма-крепости, представлявшей в плане четырехугольник галерей, соединенных тремя переходами с центрально расположенной церковью, предназначенной для поминовения воинов, павших вдали от родины. Галереи имели мемориальное значение. В них следовало начертать имена погибших. Снаружи памятник походил на невысокую крепость: стены одноэтажных галерей были скупой прорезаны узкими щелями зарешеченных окон, углы закреплены круглыми башнями с низкими шатрами кровель. В глубине чуть возвышается храм, купол которого перекрыт шатром, напоминающим армянский или грузинский типы архитектуры. Видимо, желая придать своеобразие храму-памятнику на Дальнем Востоке, Максимов обратился к кавказским образцам. Образ крепости появился здесь тоже не случайно. Подобные храмы предполагали возводить на местах боев и массовых захоронений русских воинов в Корее, оккупированной затем Японией, — то есть на чужой территории.

В разрезе храма, тщательно разделанном акварелью и темперой, детально проработана система росписи и убранства иконостаса и светильников, декоративной резьбы надгробий и ограждения сулей. Густо пастозно выделены мантии у волхвов, приносящих дары, лик Нерукотворного Спаса, апостолы в конхах. Ярко-синий фон сводов украшен многоцветными звездами. В решении внутренней отделки проглядывают некоторые параллели с Федоровской церковью, строительством которой занимался в это время Максимов. Безусловно, в его учебном упражнении не было прямых заимствований мотивов, созданных Покровским, но несомненно, что работа над реальным объектом, требовавшая постоянного пристального внимания, цепко держала помощника в мире определенных архитектурных идей его мастера.

<sup>16</sup> Ежегодник Общества архитекторов-художников. Вып. 7. СПб., 1912, с. 173.

<sup>17</sup> Главный фасад и разрез опубликованы: там же, с. 170, 171. Подлинники этих чертежей хранятся в Научно-исследовательском музее Академии художеств (Санкт-Петербург), а планы — в Музее-заповеднике дворцов Царского Села.

Строительство велось в высоком темпе, за соблюдением которого следила особая комиссия офицеров. Она же придирчиво проверяла качество исполнения любой детали. Максимов ежедневно бывал на стройке, вел переговоры со всеми подрядчиками, сам прорисовывал многие детали. Проект Покровского вошел в его плоть и кровь. А уж нижний, так называемый пещерный храм, посвященный Серафиму Саровскому, проектировался самим Максимовым. Пещерным он назван потому, что для его устройства пришлось углублять подвал, определенный ранее заложенным фундаментом. Формы, которые Максимов придал интерьеру, очень понравились императорской чете, и Николай писал впоследствии об уже осуществленном проекте: «наша уютная пещерная церковь»<sup>18</sup>.

К сожалению, не удалось обнаружить графики Максимова, относящейся к пещерному храму. Поэтому разрез храма-памятника, хранящийся в Музее Академии художеств, может служить единственным косвенным источником для восстановления нижней церкви Федоровского собора.

В делопроизводстве по возведению полкового храма имя Максимова встречается постоянно. Он заказывает материалы и различные детали, регулирует ход их поступления. Именно он составляет в начале 1912 г. точный календарный план выполнения всех оставшихся работ, намечающий освящение Федоровского алтаря на 20 августа, и затем стойко и неукоснительно соблюдает этот график. И действительно, торжественное освящение состоялось в присутствии высших чинов двора и самого императора в намеченный за полгода срок. Пещерная церковь, посвященная Серафиму Саровскому, была освящена позднее — 27 ноября того же года<sup>19</sup>. Между этими важными завершающими вехами Максиму поручена разработка проекта часовни в честь равноапостольной княгини Ольги, которую предполагали построить напротив Офицерского собрания<sup>20</sup>. Ему же был заказан фонарь «в виде звонницы» для установки у Федоровского храма<sup>21</sup>. Набросок к нему сохранился в семейном архиве Максимовых. Покровский уехал за границу, и все остальные дела по окончательной доводке мелких поправок и недоделок вел только Максимов. Он же подписал сдаточную (техническую) опись церкви при передаче ее в ведомство дворцового коменданта 5 марта 1913 года<sup>22</sup>. Однако в бумагах, прямо говорящих об авторстве Федоровского храма, имя Максимова не упоминается. По обычаю тех лет, автором считался только

<sup>18</sup> Из письма Николая II к Александре Федоровне от 8 августа 1916 г. — Переписка Н. и А. Романовых. Т. IV. М.-Л., 1926, с. 406.

<sup>19</sup> ЦГИА, ф. 489, оп. 1, д. 101, л. 1.

<sup>20</sup> ЦГИА, ф. 487, оп. 6, д. 2922, л. 20.

<sup>21</sup> Там же, л. 29.

<sup>22</sup> ЦГИА, ф. 489, оп. 1, д. 6, л. 816-847.

тот, кто подписал проект, а участие помощника в разработке, уточнении и даже переработке многих деталей не фиксировалось. Основной автор получал вознаграждение за проект, разработку рабочих чертежей, изготовление шаблонов ответственных деталей, наблюдение за строительством и из этих денег сам расплачивался с помощником и чертежниками.

Напряженнейшая работа по окончанию строительства храма совпала для Максимова с созданием дипломного проекта в Академии художеств. Весной 1912 г. всем оканчивающим архитектурное отделение предложили исполнить проект театра в столичном городе на 1200 зрителей. Два человека, в том числе Максимов, удостоились высшего отличия — получили заграничные командировки для усовершенствования своих знаний.

В проекте Максимова театр имел обычную европейскую композицию, что, впрочем, было оговорено проектным заданием<sup>23</sup>. Даже фасадные членения подчинялись до некоторой степени ордерному характеру. Однако обработка и орнаментировка всех деталей как наружного, так и внутреннего убранства были решены в сугубо русском духе. Сохраняя верность своей приверженности национальному стилю, Максимов остроумно применил для оформления мотивы итало-русского ренессанса, решив этим приемом сложную задачу совмещения европейского задания с излюбленными древнерусскими формами.

Цоколь был прорезан узкими попарно сближенными окнами. Верхняя половина цоколя оформлена густо орнаментированными треугольными рельефными вставками. На особом листе дипломант тщательно нарисовал этот орнамент — сложнейший узор со львами, стоящими геральдическими парами, стилизованными птицами-сиринами в рамках листьев аканта. Богатый резной рельеф покрывал большую часть деталей фасада: оформление окон (наличники или сандрики на разных этажах), парадный вход с фантастическими птицами, аттиковый этаж, меж квадратными окнами которого располагались грифоны. Пилястры парадного этажа были также орнаментированы.

Фасады — главный и боковой — сделаны автором однотонно, только с легким намеком на раскраску кровли и крытых железом поясов (зеленым) и оконных рам (коричневым). Разрез театра с видом как театрального зала, так и большинства фойе разработан в богатейшей цветовой гамме. Театральный зал был роскошно отделан, расписан и украшен русскими мотивами декоративного убранства. Перекрытие зала, стены ярусов, барьеры лож, стулья партера — все блистало богатством выдумки и показывало не только великолепное знание подлинных образцов

<sup>23</sup> Весь комплекс чертежей по проекту театра хранится в Научно-исследовательском музее Академии художеств СССР. Главный фасад и план опубликованы в «Ежегоднике Общества архитекторов-художников» (Вып. 7, СПб., 1912, с. 178).

древнерусского искусства, но и блестящее умение автора творчески использовать давние традиции для современных функций.

Присуждение Максиму заграничной, так называемой пенсионерской, поездки стало вполне заслуженным итогом его семилетнего пребывания в Академии. И все же, по семейным преданиям, Максимов бросил Академию упрек, сказав на выпускном рауте: «Зачем здесь учат только знать прошлое, а не творить?» Впрочем, сам он не только блестяще овладел всеми многими знаниями, преподававшимися в Академии, но и вопреки ее рутинной системе научился творить, в чем несомненно ведущую роль сыграло его общение с А.В.Щусевым и В.А.Покровским, поддерживавшими его изначальное стремление работать в исконно русских традициях.

Рассматривая историю отечественного зодчества после реформ Петра, резко порвавшего с древнерусской традицией, можно заметить, что, несмотря на жестко дискретируемые свыше новые формы и навыки, подспудно сохранялось желание каким-то образом вернуться к исконно русским приемам. Но разрыв с давними традициями был столь велик, что поиски путей возрождения шли очень долго. Понадобилось тщательно изучить весь прежний путь древнего зодчества, чтобы заново освоить его дух. Только в начале XX века А.В.Щусев, В.А.Покровский и некоторые другие мастера сумели связать знания, накопленные историками русской архитектуры, с достижениями новейшего зодчества и, более шире, всей культуры того времени.

Все виды искусств рубежа XIX и XX веков обладали одним характерным общим свойством — новым ритмом с преувеличенными или преуменьшенными цезурами, расставленными в порядке, который ранее мог квалифицироваться как беспорядок. Эпатаж такого ритма усиливался к тому же новыми, не виданными ранее формами. Несмотря на гневное возмущение приверженцев старины и неизменных традиций, новое искусство успешно завоевывало авторитет. Синкопы начали свое победное шествие не только в музыке, но и во всех видах искусства. Новому ритму подчинились и масштабные соотношения деталей. Резко прихотливый ритм в смене масштабов стал одним из самых существенных признаков нового стиля. Через десяток лет вычурность невиданных форм модерна надоела. Ее сменили классическая, русская и другие модификации прежних направлений. Они отличались глубоким проникновением в дух старых традиций и вместе с тем как родимое пятно своего времени несли свойственный началу XX века синкопированный ритм.

Максимов принадлежал к плеяде мастеров национального направления. При всей разнице темпераментов и устремлений их роднила одна черта: они не надевали русские детали на общеевропейскую основу, а стремились, исходя из закономерностей древнерусского зодчества, создать структуру своих построек, опделить их планы и внешний вид.

5 марта 1913 г. Максимов подписывает сдаточную опись Федоровской церкви. В тот же день он получает в Академии художеств сертификат на заграничное путешествие<sup>24</sup>. Нельзя не отметить поразительно напряженный темп его жизни. Максимов умел делать одновременно несколько дел, тратя на каждое минимум времени. Весну и лето архитектор провел во Франции и Италии, к осени вернулся в Россию. В Царском Селе его уже ждали. Энергичный и расторопный, быстро схватывающий даже не вполне четкие пожелания и умеющий воплощать их в отличной форме, он нравился заказчикам. Его искренняя скромность и абсолютное равнодушие к карьере, более того — даже явно выраженное нежелание как-то делать ее было особенно заметно в придворном мире, где почти каждый стремился выделиться и завладеть вниманием верхов, чтобы получить за это чины и отличия. Большой архитектурный талант в соединении с такими личностными качествами привлекал к нему симпатии. И заказчики, на которых он работал уже несколько лет, решили продолжить контакты с ним.

В офицерском составе Конвоя было довольно много аристократов родом с Кавказа и Средней Азии. Поэтому часть помещений, как та же гостиная, которую проектировал Максимов, была отделана в восточном духе. Но для полного антуража следовало насытить эти комнаты соответствующими вещами. Мебель, ковры были заказаны фабрикантам, но настенные блюда, кувшины и иные аксессуары современного исполнения выглядели бы дурно. Хотелось найти старинные вещи, хранящие не только форму, но и дух Востока. Максимова посылают в Ташкент. Он едет туда и приобретает на базарах красивые старинные вещи для Офицерского собрания. Командировка была короткой, и времени для посещения главных центров древнего зодчества Средней Азии — Бухары, Самарканда — не осталось. Но в Ташкенте он написал ряд акварелей, изображающих росписи местных мечетей. Две из них сохранились в музее Академии, две другие — у его дочерей. Сын архитектора хранит небольшой медный кувшинчик, привезенный отцом в качестве сувенира.

По возвращении в Петербург его ждет новое предложение — разрабатывать проект постоянных казарм Конвоя в Царском Селе. Сохранился документ, в котором подчеркнуто, что «государь неоднократно указывал, что все казармы в Царском Селе должны быть обработаны в русском стиле времен Александра I или Николая I, либо одним из древнерусских, то есть Новгородско-Псковском, Суздальском или Московском»<sup>25</sup>. На деле выбор еще более сужался приверженностью Николая II к древнерусскому зодчеству. В первые годы его царствования от-

<sup>24</sup> ЦГИА, ф. 789, оп. 13, д. 127, л. 117.

<sup>25</sup> ЦГИА, ф. 892, оп. 1, д. 447, л. 108об.-109.

давали предпочтение московскому направлению, затем стойко возобладали новгородско-псковский и суздальский варианты.

Почти одновременно с возникновением проекта Федоровской церкви родилась идея образования вокруг нее обширного и сложного ансамбля построек разного назначения, но единых по духу форм. Эти новые постройки должны были создать в северной части Царского Села обстановку и атмосферу своеобразного национального заповедника. Замысел выкристаллизовывался постепенно. Его логическим центром стал уже возведенный Федоровский храм, вскоре получивший статус собора. Неподалеку от него принялись возводить для соборного причта замкнутый Федоровский городок (арх. С.С.Кричинский). С другой стороны, чуть подальше — так называемую Ратную палату, музей боевых подвигов русской армии (гр. инж. С.Ю.Сидорчук). В некотором отдалении к северу одиноко возвышался Царский павильон особой императорской ветки железной дороги (арх. А.В.Покровский). По внешней дуге императорской территории, очерченной Кузьминской улицей, на которой стояли недавно построенное здание Офицерского собрания и временные деревянные казармы Конвоя, теперь решили начать строительство постоянных каменных казарм.

Первое документальное свидетельство о предположении строительства казармы для одной сотни Конвоя объемом около тысячи кубических саженей (10 тыс. куб. м) относится к 24 февраля 1914 года. Строительство намечалось летом того же года, при этом добавлялось, что «подробные планы и сметы будут представлены»<sup>26</sup>. Видимо, к тому времени командир Конвоя располагал только предварительными эскизами Максимова. Максимов, отличавшийся огромной работоспособностью, быстро составил рабочие чертежи, а также смету.

Проект получился дорогим — Максимов разрабатывал не просто казармы, а ансамбль высокохудожественных зданий. Сохранилось вполне недвусмысленное свидетельство, что «предположение о перестройке всех зданий Конвоя в Царском Селе в древнерусском стиле основано на личном их императорских величеств желании»<sup>27</sup>. Таким образом, привлечение Максимова к проектированию казарм Конвоя и желание получить особо выдающийся архитектурное произведение было отнюдь не случайным эпизодом, а предопределялись свыше, причем не только государем, но и его супругой. Вероятно, при этом Максиму указали, что затраты могут превышать узаконенные расценки, и действительно, когда смета оказалась почти в два раза выше принятых норм, то император распорядился оплачивать все сверхнормативные расходы из средств Кабинета ЕИВ.

<sup>26</sup> ЦГВИА, ф. 970, оп. 3, д. 1847, л. 1.

<sup>27</sup> Там же, л. 8.

Впрочем, не следует представлять путь от эскизного проекта к рабочим чертежам простым и прямолинейным. Эта стадия работы была наполнена огромным трудом. Сохраняя общий замысел композиции, зодчий прорабатывал множество вариантов. На маленьких кусках кальки или тонированной бумаги он набрасывал темперой отдельные части зданий, отрабатывая силуэт и выразительность соотношений объемов, их цветовое решение. В семье сохранился альбом, куда архитектор вклеил некоторые эскизы. Большинство набросков выполнены темперой, и это показывает, что цвет был важнейшим элементом для него, что любую композицию он рассматривал прежде всего как колористическую задачу.

Сделав десятки, а то и сотни небольших набросков-вариантов, мастер переходил к эскизам более крупных размеров, предпочитая тонированную бумагу или картон. Вычертив карандашом основные линии, а иногда и большинство деталей, он приступал к покраске темперой, которой владел артистически: тончайшие, прозрачные прокладки в тенях и густое, иногда даже пастозное наложение краски в светах. Чертежи Максимова — это всегда не только изображения красивой архитектуры, но прежде всего самоценные произведения темперной живописи, хотя и ограниченные локальными задачами архитектурной раскраски, но вместе с тем решающие их на новом для того времени уровне, в котором явно видно глубокое знакомство и учет новейших достижений книжной и станковой графики.

Работа по уточнению деталей продолжалась и после утверждения проекта. Творческий поиск архитектора не ослабевал, что наглядно видно при сравнении немногих сохранившихся зданий Максимова с его проектами.

25 июня 1914 г. состоялась торжественная закладка казарм — в церемонии принял участие сам Николай II<sup>28</sup>. За этот строительный сезон первая очередь была вчерне готова. Тем временем Максимов готовил проект второй очереди строительства — казармы для третьей сотни Конвоя.

19 апреля 1915 г. командующий императорской главной квартирой В.Б.Фридерикс передал устное распоряжение государя — «приступить к строительству второй очереди» казарм Конвоя<sup>29</sup>. Проект на постройку двух новых казарм был утвержден Комитетом главного управления по квартирному довольствованию войск 22 мая 1915 г. Смета определяла стоимость этого строительства в 450 тыс. рублей. Двести тысяч из них предполагалось получить из Кабинета, на что было получено согласие Николая II<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Архитектурно-художественный еженедельник, 1914, №15, с. 184.

<sup>29</sup> ЦГВИА, ф. 970, оп. 3, д. 1847, л. 15.

<sup>30</sup> Там же, л. 24.

К самому концу того же 1915 г. относится очень важный для истории комплекса документ, составленный Строительным комитетом: «...во исполнение высочайшей воли было положено основание древнерусского городка и уже выстроены две казармы с башнями и оградой, а также две конюшни. Необходимо утвердить его императорским величеством перспективу и генеральный план будущих зданий для того, чтобы... окончательно наметить места... построек и наивыгоднейше использовать ограниченную площадь земли Конвоя и вместе с тем исполнить всю художественную часть расположения городка, что составляет главное желание их императорских величеств. Строительный комитет... предполагает исполнить постройку зданий в три сезона. Прощу на будущий сезон 1916-1917 гг. произвести денежный отпуск на исполнение художественных сооружений:

А. Выстроенная и строящаяся казармы и конюшни Третьей и Четвертой сотен.

В. На вновь возводимые здания казармы и конюшни Второй сотни, капутники и погреба трех сотен, навозохранилища, конюязи»<sup>31</sup>.

В приложении перечислены упомянутые в документе чертежи (перспектива и генплан) и три сметы на строительные сезоны 1916/17, 1917/18, 1918/19 годов.

Чертежей в архиве нет, но в семье Максимовых сохранилось около десятка крупных листов по Конвою и более дюжины небольших набросков на ту же тему. Среди них — великолепный картон, изображающий восточную часть территории Конвоя в Царском Селе. По-видимому, именно эта перспектива, подписанная автором 6 декабря 1915 г., и упомянута в цитированном выше документе. Максимов изобразил на ней только восточную часть участка Конвоя — очень протяженного, растянутого вдоль дороги на несколько сот саженей. Некоторые здания, уже введенные в 1914–15 гг., обозначены лишь общей массой. Из детально прорисованных зданий получили осуществление (в 1916 г.) только те, что намечены на левой половине, охватывающей длинный служебный двор с конюшнями на заднем плане. Здания же, намечавшиеся вокруг парадного двора с богатыми цветниками и овальной площадкой посредине, так и не были построены...

После революции казармы были заняты сельскохозяйственным институтом. Сооружения сильно пострадали во время Отечественной войны, и в 1940-х годах при восстановлении некоторые из них были сильно перестроены, а другие — вовсе снесены. То, что существует на этом месте сейчас, в очень малой степени напоминает замысел Максимова, его сказочно красивый и вместе с тем вполне реалистический ансамбль самого утилитарного назначения. Казармы и конюшни — что, казалось бы,

<sup>31</sup> Там же, л. 40-41.



может быть более ординарным и скучным? Но Максимов сумел преобразовать прозаическое задание и создать великолепную архитектуру, о которой мы можем многое узнать благодаря авторским чертежам, сохранным любящими его дочерьми.

Разрабатывая проекты и осуществляя постройку зданий Конвоя, видя, как постепенно обретают жизнь его замыслы, ощущая высокую поддержку сверху и уважение непосредственных заказчиков, Максимов обретал чувство собственного достоинства. Он даже обзавелся бланками «Архитектор Собственного ЕИВ Конвоя». Но помимо этого главного дела ему приходилось заниматься еще рядом поручений.

Летом 1915 г. специальным приказом Верховного главнокомандующего был образован особый авиационный отряд для обороны императорской резиденции. В конце июня летчики прибыли в Царское Село<sup>32</sup>. Их разместили во временных зданиях, а затем Максиму поручили спроектировать для отряда деревянные дома, и он сделал их в том же национальном стиле, что получилось особенно удачно, так как деревянное зодчество было исконно русским. Планы и фасады деревянных казарм авиаотряда находятся в Музее-заповеднике дворцов Царского Села, а великолепная перспектива всего этого небольшого, но очень цельного ансамбля сохранена дочерьми. Она подписана автором 1915 г., а в верхнем углу помещена утверждающая надпись о высочайшем одобрении 28 декабря 1915 г., сигнированная дворцовым комендантом В.Н.Воейковым. Воинские части, задействованные для охраны императорской резиденции, подчинялись дворцовому коменданту, и естественно, что именно через него шло утверждение всех проектов сооружений этих частей.

Казалось, что может быть проще и зауряднее деревянных казарм? Но Максимов не только разделил здания по заданным функциям, но и придал каждому из них оригинальный облик, избежал как в отдельных постройках, так и в общей композиции скучной симметрии, создал острый и своеобразный, запоминающийся силуэт. Позднее он даже изобразил постройки авиаотряда на другой большой перспективе.

Осенью того же 1915 г. начали подготовку к строительству казарм Железнодорожного полка. Наряду с Конвосм и Собственным полком безопасность императора обеспечивала специальная железнодорожная часть, осуществлявшая охрану передвижения царского поезда. Количество путешествий по стальным путям все увеличивалось, и сама часть тоже разрасталась. В мае 1915 г. полк получил название Собственного императорского и ему присвоили все права и привилегии старой гвардии<sup>33</sup>. Для этого полка решено было отвести обширную тер-

<sup>32</sup> ЦГВИА, ф. 5880, оп. 2, д. 10, л. 86.

<sup>33</sup> Там же, л. 53.

риторию рядом с Императорским железнодорожным павильоном, и Максиму поручили составить проект. Первые упоминания о предстоящем строительстве встречаются с середины 1915 г. В сентябре сформировали хозяйственно-строительный комитет для постройки казарм — сначала для двух рот. В комитет, руководимый полковым командиром, вошли три офицера и архитектор-художник Максимов. В приказе специально оговорено, что из членов комитета только Максиму назначается вознаграждение — редкое упоминание в документах имени зодчего в связи с конкретным поручением<sup>34</sup>. Но, как всегда, документы умалчивают о важнейших подробностях — кто предложил Максимова, были ли альтернативы его кандидатуре.

В семье Максимова сохранилось несколько листов, относящихся именно к этому проекту, благодаря чему можно точно представить местоположение предполагаемой постройки. Первые две роты предполагалось разместить напротив железнодорожного павильона, на расстоянии полусотни метров, оставленных для организации небольшой площади. Сохранился план застройки с разметкой всей ситуации, перспективный вид (со стороны павильона) и отдельно вид угловой башни, которую автор предполагал поставить наискосок от ансамбля зданий Конвоя. Дорога от павильона к Александровскому дворцу как бы фланкировалась башнями казарм Конвоя и Железнодорожного полка, а вдали, прямо по оси движения, виднелся купол Федоровского собора.

Место было очень ответственное, окаймлявшее площадь перед павильоном, куда прибывали только специальные поезда с императорской семьей или знатными иностранцами. Для встречи знаменитых гостей подавалась золоченая карета, запряженная шестеркой белых лошадей. Естественно, что и здания напротив должны соответствовать парадному антуражу. Не вызывает сомнения, что кандидатура Максимова получила, как тогда говорили, высочайшую рекомендацию.

Позднее, уже в 1916 г., ему поручили составление проекта казарм для всего полка, насчитывавшего менее двух тысяч солдат и офицеров. Тем примечательнее, что для полка отводилась обширная территория около 15 гектаров — равная современному микрорайону. В музее-заповеднике сохранилась синька с плана всего полкового ансамбля, которая дает ясное представление о распределении всех помещений.

Проект казарм Собственного ЕИВ Железнодорожного полка служит ярким примером исторического градостроительного подхода Максимова к проблемам проектирования. Комплекс казарм, расположенный на участке почти прямоугольной формы, представляет собой на чертеже Максимова как бы центральную часть старого русского города с соборной площадью, улицами,

<sup>34</sup> Там же, л. 114об.

ведущими в посад, где размещаются дворы с жилыми постройками и различными зданиями. Колокольня на площади поставлена несколько в стороне от церкви. Этим создано впечатление, будто площадь застраивалась постепенно и постройки возводились в разное время. Планировка вроде бы и не имеет «регулярного» характера, поскольку такого и не бывало в Древней Руси, но перетекание пространств и их взаимозависимость ясно прочитываются.

К концу 1916 г. относится великолепная перспектива, изображающая вид всего полка с птичьего полета. Она была высочайше утверждена 30 декабря 1916 г., что, как уже упоминалось, было заверено дворцовым комендантом В.Н.Восейковым, но никаких дополнительных документов найти не удалось. Через два месяца в ходе Февральской революции Воейкова объявили одной из самых одиозных фигур, и дела дворцового коменданта, которыми он ведал, были, по-видимому, в порыве слепой ненависти по большей части уничтожены. Во всяком случае, то, что хранится сейчас в Центральном государственном историческом архиве СССР (Санкт-Петербург) и в Центральном государственном архиве Октябрьской революции (Москва), освещает лишь мизерную часть вопросов, которые проходили через Воейкова. Случайно обнаруженные нами в одном из фондов Военно-исторического архива копии приказов по Управлению дворцового коменданта наглядно свидетельствуют о тех невосполнимых потерях, которые потерпела историческая наука в результате революционного нигилизма<sup>35</sup>.

Поразительна графическая манера, в которой сделаны проекты Максимова. Обычно он предпочитал тонированную бумагу или картон, на который наносил легкими линиями основные контуры. Затем следовало то, что сами архитекторы называют раскраской, но что, по сути дела, было живописным процессом. Архитектурная графика отличается большой условностью. В ней обычно присутствует небольшое количество тонов, но соотношения меж ними выдерживаются очень точно. Точность попадания в нужный тон у Максимова абсолютная. Света он писал открытым цветом, тени у него прозрачные, несущественные подробности иногда вообще оставались без раскраски, только форма намечена карандашом.

В одной из последних работ предреволюционного времени — проекте триумфальных ворот-моста, сделанном в первые месяцы 1917 г., он изобразил облака густыми мазками краски — прием, свойственный живописи и никак не характерный для академической архитектурной графики. Также густым наложением белил изображены рельефы, украшающие ворота.

В графической манере Максимова отличительны точность рисунка, ювелирная изощренность орнаментации и высочайшее

<sup>35</sup> ЦГВИА, ф. 5880, оп. 2, д. 10, 11, 12.

живописное мастерство. Максимов, соблюдая все условности жанра архитектурной графики, умел достигать в изображении просктируемых им объёктов особого очарования и прелести. Рисунок он прокладывал карандашом и не обводил его тушью, а раскрашивал темперой. В светах пользовался густой краской, иногда даже накладывая ее толстым слоем, чем добивался особого эффекта ярких вспышек. Прозрачность теней достигалась очень жидко разведенной краской, сквозь которую просвечивала основа — картон или темная бумага. Второстепенные детали иногда оставлял только в карандаше. Широта градаций — от главных деталей, тщательно проработанных и прописанных со всей живописностью, до едва, намеком лишь данных несущественных деталей — создавала особую манеру подачи как бы сквозь увеличивающее стекло. В такой манере есть что-то глубинно театральное, что, впрочем, было своеобразным знаком времени. Именно от театральных художников пошла новая манера графики, подхваченная затем книжными иллюстраторами и от них перешедшая к некоторым архитекторам.

Большинство просктируемых объектов он изображает вместе с окружающей их природой. Причем ландшафт является у него не какой-то живописной кулисой, а играет существенную роль, создавая экологическое единство двух природ — естественной и искусственной (вспомним выражение «архитектура — вторая природа»). Природное окружение на его листах — всегда очень конкретно. Под Царским Селом это типичные перелески, характерные по цветовой гамме зеленые пространства и голубая ширь неба. Постоянно встречаются конкретные детали, указывающие как бы точный адрес изображения: Египетские ворота на перспективе участка Конвоя, кусочек зданий Конвоя на проекте зданий двух рот Железнодорожного полка, Императорский павильон и деревянные дома авиационного отряда на огромной панораме Железнодорожного полка.

В последние годы перед революцией Максимов работал над проектом еще одного крупного ансамбля построек в Царском Селе. О нем не удалось получить никаких документальных сведений. Существует лишь большая перспектива, наклеенная на доску, и около десятка небольших эскизов на кальках. Все они лишены надписей. По семейному преданию, этот ансамбль предназначался для иностранных правительственных делегаций, представляя как бы гостиничный комплекс. Нет никаких данных, подтверждающих такое назначение, но нет также и никаких аргументов против этого.

Проект представляет еще одну фантазию на древнерусскую тему. По масштабам и пропорциям деталей он решен в одном ключе с постройками для Железнодорожного полка, казармами Конвоя и авиаотряда. Гостиничный комплекс составлен из множества корпусов, находящихся в сложной взаимосвязи и соподчинении. Поражает богатство форм и разнообразие их обработ-

ки. Многоголосый и вместе с тем стройный хор силуэтных решений — разных по высоте и протяженности зданий, увенчанных крышами прихотливых профилей, то круто вздымающихся к небу и ершащихся слуховыми окнами, то, тут же рядом, — спокойных, гладких и низких. В нескольких местах вдруг вздымаются башенки. Все это придает облику комплекса характер иррегулярности, что удачно поддерживается богатой пластикой самых разнообразных проемов. Вместе с тем, если приглядеться, то композиция плана всего комплекса исходит из заветов Палладио. Главным смысловым центром ее является широко распахнутый парадный двор с центральным зданием дворцового типа, за которым на внутреннем дворе высится второй дворцовый корпус особо строгого режима охраны. Слева и справа разнообразные служебные корпуса образуют несколько второстепенных дворов, что, возможно, было задумано для одновременного размещения нескольких различных групп гостей.

Надо заметить, что из всех чертежей, вывезенных Максимовым из Царского Села, только перспектива гостиничного комплекса наклеена на доску. Все остальные срезаны с досок и свернуты в рулоны. Обычно, когда архитектор начинает работать, он наклеивает бумагу на чертежную доску, а после завершения проекта — срезает его с доски. Следов того, что перспектива не закончена, нет. Более того, в верхнем правом углу красным карандашом написано одно слово: «Одобряю». Подписи нет, но, просмотрев множество подобных резолюций, оставленных Николаем II, могу твердо утверждать, что на проекте Максимова стоит его автограф. Видимо, эта драгоценная для Максимова резолюция и послужила причиной того, что архитектор не стал срезать лист с доски, а оставил его для лучшей сохранности на подрамнике.

Если представить, что задуманные Максимовым проекты были бы осуществлены недалеко друг от друга, то вместе они образовали бы в Царском Селе единый сложный ансамбль. Для каждого из них автор нашел оригинальные неповторяющиеся детали и таким образом запроектировал на значительной территории разнообразную, пластически богатую среду, насыщенную той исторической атмосферой, которая была так необходима его верховному заказчику Николаю II для воплощения в реальной жизни своих поисков духовной опоры. Вопрос о том, насколько подобная задача, поставленная перед архитектором, была своевременна в тот исторический период, не является существенным с точки зрения характеристики творчества Максимова. Его талант живописца, архитектора, градостроителя, тонкий художественный вкус и доскональное знание исторического материала вызывают только восхищение.

Высочайшее одобрение, которым пользовалось творчество Максимова, стало причиной еще одной замечательной его работы, осуществленной, в отличие от других, в Крыму. В ведении

Александры Федоровны находились многие благотворительные учреждения, и среди них санаторий Морского ведомства в Массандре, возведение которого было поручено по служебной принадлежности архитектору Балтийского судостроительного завода гражданскому инженеру Н.И.Маленину<sup>36</sup>.

Проект был скромен и прост. Весной 1914 г. первый корпус был готов, после чего Александра Федоровна решила, что церковь при санатории должна отличаться более красивой архитектурой. Она попросила Максимова сделать эскизы храма.

В семье зодчего сохранилось несколько калек с эскизными набросками различных вариантов храма. Наглядно сохранена привычная манера работы Максимова: он делал небольшой набросок, накладывал на него следующую кальку и быстро наносил следующий вариант карандашом и красками. Сейчас осталось десяток калек одинакового размера, все они пронумерованы. Судя по номерам, их было около сотни! Так, сохраняя основной замысел, но меняя детали, архитектор продвигался вперед от первой мысли к окончательному решению. 1914 годом помечены три вполне законченных чертежа, изображающих план здания и его виды с северо-восточной и юго-западной сторон. Зодчий запроектировал небольшой храм в духе новгородской архитектуры XIV столетия. Крутизна рельефа вынудила расположить церковь на искусственной террасе. По сторонам предполагались сторожка и дом священника (впоследствии не возведенный). Неподальку от входа располагалась небольшая звонница псковского типа.

Проект понравился, но в связи с войной строительство отложили, и только в 1916 г. храм во имя св.Николая был возведен под руководством самого автора. Это лето он с семьей провел в Ялте. В проект Максимов внес ряд поправок и изменений, в частности добавил теплую паперть с пластичным треугольным завершением. Музей-заповедник Царского Села хранит так называемые синьки — светоконии с исполнительских чертежей Максимова, относящихся к строительству 1916 г., и по ним можно точно установить окончательный авторский замысел и облик храма.

Александра Федоровна настаивала не только на внешней схожести храма с древними образцами. Она пожелала также, чтобы и внутреннее его убранство было выдержано в том же характере и чтобы, в частности, все иконы были древними, не позднее XVII столетия. Максимов имел к тому времени большой опыт работы по оформлению церковных интерьеров, поскольку оба помещения Федоровского собора обустраивались и украшались под его непосредственным наблюдением. Там ему пришлось выполнять подобное требование — добиваться максимального приближения к древним образцам убранства и привлекать специ-

<sup>36</sup> ЦГИА, ф. 525, оп. 3/2, д. 368, 369, 370.

алистов для розыска древних икон. Скажем сразу: образа Федоровского собора после его закрытия были переданы в Русский музей, и вскоре выяснилось, что большинство из них полностью или отчасти фальсифицированы. Судьба икон Никольской церкви в Массандре не выяснена, но можно полагать, что и в ней многие иконы только числились древними. Этот казус не должен бросать никакой тени на Максимова и лиц, подбиравших иконы. Научная экспертиза подлинности древней живописи была еще в зачаточном состоянии, тогда как искусство подделок пышно расцвело, спекулируя на безусловной святости образов для большинства людей того времени.

В семейном архиве Максимовых сохранился альбом фотографий, сделанных после окончания строительства Никольской церкви. На полусотне снимков запечатлен не только внешний облик храма, но и многие детали его оборудования, сделанного с огромным вкусом московским мастером по художественной обработке металла Ф.Я.Мишуковым, с которым Максимов сблизился еще на строительстве Федоровского собора.

Ялтинский храм сохранился, хотя и в обезображенном виде: купол и барабан снесены, внутри размещена скульптурная мастерская местного отделения Художественного фонда. Общественность Ялты предлагает восстановить архитектуру храма. Для этого теперь есть все возможности: авторские чертежи дают возможность воссоздать все детали архитектуры, а множество фотографий убранства позволяют при желании возобновить убранство во всех мелочах.

Кроме названных удачных работ — осуществленных или получивших высокое одобрение, — Максимов разработал два проекта, которые были отвергнуты.

В 1911 г., по рекомендации А.В.Щусева, Максимова поручили проект восстановления и частичной реконструкции церкви в местечке Новый Вишневек Волынской губернии (ныне Тернопольской области). Здание было возведено во второй половине XVII столетия как костел кармелитского ордена. За участие в польском восстании костел в 1832 г. закрыли, а в 1835 г. превратили в православный храм, посвященный Михаилу Архангелу. В 1863 г. церковь обгорела, остался каменный остов<sup>37</sup>. В 1910 г. Синод решил восстановить храм, придав его облику более православный вид.

Максимов предложил восстановить восточные башни, которые он трактовал как колокольни. Между ними и чуть ближе к центру он запроектировал еще одну башню со шпилем. Так он хотел сохранить в основном первоначальный вид памятника архитектуры XVII века и вместе с тем внести некоторые изменения, соответствующие облику православного храма. В его

<sup>37</sup> Н.И.Теодорович. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. Т. III, Почаев, 1893, с. 108-109.

проекте использована фотография храма, имевшаяся в архиве археологической комиссии<sup>38</sup>. Зодчий нарисовал перспективу воссоздаваемого храма точно в том же ракурсе карандашом с легкой подцветкой акварелью. Ближний план — земля, камни — вырисован особенно материально, стоящие перед зданием деревья написаны густым цветом, в полную силу<sup>39</sup>.

Синод не принял проект Максимова, ибо сохранение фасада с двумя башнями «привело бы к нежелательному сохранению католического вида»<sup>40</sup>. Поэтому заказ был передан другому архитектору. Все же, когда в августе 1913 г. новый проект рассматривался реставрационной комиссией, то ее члены «с симпатией вспоминали о проекте Максимова с устройством покрытия о три главы, который мог бы быть дополнен и принят»<sup>41</sup>. В общем-то Максимов был прав: он стремился приспособить католический храм к функционированию православной конфессии с минимальными потерями для первоначального облика, ибо проектировал восстановление прежде всего памятника архитектуры двухсотпятидесятилетней давности. Но коса нашла на камень, и его проект был отвергнут.

Вторая неудача Максимова связана с участием в конкурсе на проект Сельскохозяйственного музея в Петрограде (зима 1914/1915 гг.). Как принято, все проекты подавались анонимно, под девизами. Всего поступило 22 проекта. Жюри разделило их на три категории: 1) награждаемые премиями; 2) достойные рассмотрения; 3) ниже критики. Разбор проектов двух первых категорий и их изображения были опубликованы<sup>42</sup>, но опять-таки под девизами. Просматривая эту публикацию, я вспомнил, что видел в семейном архиве Максимовых чертеж, совпадающий с тем, что помещен в «Зодчем» под девизом «Русский флаг». Только отрезан правый угол листа, на котором, согласно репродукции, изображен флаг. В семье не знали название этого проекта, полагали учебной академической работой. Вероятно, Владимир Николаевич не любил возвращаться к своей неудаче, а в революционные годы, когда русский флаг стал жупелом для красных (поскольку использовался белыми), срезал опасный девиз.

В разборе проекта «Русский флаг» жюри отметило, что фасады выполнены хорошо, хотя в их характере мало выражено назначение здания. Основной критике подверглась планировка,

---

<sup>38</sup> Опубликовано в «Известиях императорской археологической комиссии». Вып. 44, СПб., 1912, с. 68, рис. 65.

<sup>39</sup> Негатив с проекта В.Н.Максимова хранится в фотоархиве ЛОИА, №III-11998.

<sup>40</sup> Известия императорской археологической комиссии. Вып. 52, СПб., 1914, с. 47.

<sup>41</sup> Там же.

<sup>42</sup> «Зодчий», 1915, №45, с. 453-460.



в которой автору не удалось эффективно решить проблему полифункциональности сооружения, совмещающего экспозиционные и хранильские помещения, залы для занятий, лекций и съездов, а также канцелярию и жилые комнаты персонала.

Действительно, проект Сельскохозяйственного музея не может причисляться к достижениям Максимова. Огромное семиэтажное здание, сочетающее в своем решении классическую трехчастность с намеками на ордерное построение, орнаментированное русскими деталями, не получило задуманного автором синтетического образа. То, что так удавалось ему в других работах — артистическая маскировка классической основы плана элементами русской национальной архитектуры, скомпонованными в ритме синкоп модерна, — на этот раз не получилось... Образ большого общественного сооружения, сочетающего музей и форум агронауки, оказался выше возможностей молодого зодчего.

Два отвергнутых проекта за семь лет творческой деятельности при самом успешном прохождении всех остальных были в общем-то естественным явлением. Судьба Максимова казалась вполне счастливой. Он принял активное участие в строительстве Офицерского собрания и Федоровского собора, построил небольшой деревянный ансамбль и три года возводил большой каменный, в мастерской лежали одобренные проекты еще двух гигантских ансамблей...

Февральская революция разом изменила его судьбу. Ведь все его замыслы были связаны с императорскими заказами и одобрены лично Николаем II. 5 мая 1917 г. Главное управление по квартирному довольствованию войск предписало Строительной комиссии по возведению зданий казарм Конвоя (к тому времени уже переименованного в Конвой Верховного главнокомандующего) прекратить строительство<sup>43</sup>. Максимов обратился в «бывший Кабинет ЕИВ» с просьбой «уплатить ему обусловленное Строительным комитетом вознаграждение за эскиз части предполагавшихся построек и за проект и смету постройки офицерского флигеля». Просьбу Максимова передали на рассмотрение в бывший Контроль бывшего Министерства императорского двора, который, разумеется, написал длинный отказ, сформулированный по всем правилам бюрократической логики. Он помечен 27 июля 1917 г.<sup>44</sup> Максимов, видимо, получил ответ в ближайшие за этим дни.

В оплате за уже выполненный проект ему отказали, перспектив на дальнейшую работу не оставалось. На глазах рушилась вся до того стройная и, казалось, незыблемо прочная государственная система. Государь — его главный покровитель и вдохновитель — низложен, арестован и наконец увезен в

<sup>43</sup> ЦГВИА, ф. 970, оп. 3, д. 2183, л. 338.

<sup>44</sup> ЦГИА, ф. 482, оп. 6, д. 722, л. 40-41.

Тобольск. Максимов был в отчаянии. А тут еще генерал Л.Г.Корнилов потребовал отставки Временного правительства и послал воинские части на Петроград. Упреждая их появление, в Царском Селе установили орудия для борьбы с корниловцами. Каждую минуту мирный городок мог стать фронтом. Надо было спасать семью.

Бросив квартиру со всей обстановкой и мягкой рухлядью, мастерскую с инструментами и готовыми чертежами, захватив только носильные вещи и несколько самых дорогих для него чертежей, Максимов повез жену и детей на московский поезд. На вокзале царила паника. Их посадили только из жалости к малым детям. В Москве он оставил свои работы у друзей, налегке двинулись в Нижний. Там погрузились на пароход, плывший в Уфу. Из Уфы осталось совсем недалеко до Белебея — небольшого уездного городка, где после выхода на пенсию жил старый учитель — отец нашего зодчего. К нему уже вернулся старший сын — бывший офицер, израненный в боях и теперь уволенный «вчистую». Владимир Николаевич снял домик по соседству. Вихрь революции только еще начинался, но уже безжалостно крутил людские судьбы, меняя их состояние и положение.

Попав в Белебей, Максимов и не пытался заниматься там проектированием. В маленьком городке глухой провинции кому нужна была архитектура, да еще в те грозные революционные годы? Она казалась крайне далеким, абсолютно ничемным занятием. Такое ощущение возникло не только у Максимова. И.Э.Грабарь вспоминал, как повстречал в то время крупнейшего реставратора П.П.Покрышкина и тот сказал, что уходит в монастырь. На филистерские возражения Грабаря Покрышкин ответил, что «делает то, что повелевает ему долг и совесть»<sup>45</sup>. Большевицкий переворот оказался столь ужасен, что вызывал полное его неприятие. Покрышкин был одинок и потому вполне последователен: принял сан, побстриг, а вскоре и смерть.

Максимов, обремененный многочисленной семьей, вынужден был искать средства для ее содержания. В Белебее у него родилась дочка, семья стала сам-шесть. Он приобрел сорок ульев и намеревался разводить пчел. Но затея не удалась. В 1918 г. в Уфимской губернии появился Чапаев. Оставаться до прихода красных было опасно, а для брата, бывшего офицера, просто смертельно. Бросились в Сибирь. Жизнь Максимовых этих лет отчасти перекликается с перипетиями пастернаковского доктора Живаго. В потоке беженцев семья докатилась до Бийска, где прожили зиму. Лето провели в Енисейске. Далее путь продолжался до станции Тайга, там их высадили из эшелона. Страшный момент: жена заболела тифом. На руках Владимира Николаевича оставалось четверо ребятешек мал мала

<sup>45</sup> И.Грабарь. П.П.Покрышкин. — «Среди коллекционеров», 1922, №3, с. 33.

меньше, младшей около двух лет. Врачебной помощи не было. Максимов горячо молился Богу: «Спаси, не для меня, а ради детей». Молитва была услышана, находившаяся при смерти Анна Александровна вдруг стала поправляться. Максимов остался верен слову, данному Богу, и никогда больше не прикасался к жене.

Окончилась гражданская война, и можно было возвращаться домой. Но где их дом? В Царском Селе все знали Максимова как архитектора, работавшего в тесном контакте с расстрелянным царем. Против Белебея, где они прожили около года рядом с родителями зодчего, возражала жена — не сложились отношения со свекровью. Она предложила поселиться рядом со своими родственниками, в деревушке под Клином. В свое время Д.И.Менделеев приобрел там небольшое имение. Рядом продавался еще участок, который ученый посоветовал купить мужу своей племянницы, у них было много детей. Одна из дочек этой племянницы была женой Максимова. Сюда-то и направились они из Сибири.

Приехав в Клин, Максимов рискнул съездить на родное пепелище в Царское Село. Увы, это было действительно пепелище... Царское переименовали в Детское. Брошенная квартира была давно разворована, и теперь в ней жил дворник. Пропажа бытовых вещей не очень огорчила Максимова, годы революции приучили к стоицизму. Его более взволновало исчезновение оставленных в мастерской богатых запасов красок, бумаги, инструментов лучших фирм мира. Все это имело большую товарную стоимость, особенно теперь, в условиях блокады советской России. Понятно, что их украли для продажи. Но исчезли также все чертежи, вплоть до студенческих работ, выполненных еще в Академии. Они-то кому могли понадобиться? Дворник, знакомый Максиму много лет, пробормотал что-то вроде: «Взяли известные вам лица», но не стал уточнять.

Архитектурные чертежи — всего лишь первые наброски идей, которые затем надо воплощать в реальное строительство. И эти идеи были похищены. Дочери Максимова рассказывали мне этот эпизод с дрожью в голосе. Сын, живущий в Костроме, повторил рассказ и даже сделал предположение, кто мог украсть работы. Предположение оказалось ложным. Только сейчас, через 70 лет после события, в ходе изучения архитектурного наследия Максимова, выяснилось, что никакого похищения не было. Весь массив чертежей, находившихся в мастерской Максимова, хранится с тех пор и по настоящее время в Музее-заповеднике Царского Села. Этот музей был образован в 1918 г., первоначально как своеобразный консорциум музеев отдельных дворцов. Хранителем музея Александровского дворца назначили архитектора-художника В.И.Яковлева, сотоварища Максимова по Академии. Перед революцией он работал в Царском Селе на строительстве казарм Стрелкового полка, возво-

дившихся также в национальном русском стиле. После революции Яковлев перешел на музейную работу. Он ясно понимал художественную значимость отмененного архитектурного направления и приложил большие усилия, чтобы собрать весь проектный материал по нему, который мог находиться в Царском Селе, попросил чертежи у местных мастеров С.А.Данини, С.Ю.Сидорчука и других, зашел в хорошо знакомую ему квартиру Максимова и перенес все чертежи в хранилище нового музея. Там они и находятся в отличном состоянии, отчасти даже реставрированные<sup>46</sup>.

Максимов ничего этого не знал. Он боялся идти и спрашивать — где, у кого находятся чертежи, одобренные в свое время императором. Дворник отдал оставшуюся в квартире швейную машинку, завернул ее в оконные занавески, и с таким небольшим багажом наш зодчий вернулся в Клин. Семья сняла квартиру неподалеку от своих родственников, в Сарпове. Жизнь начиналась вновь, с нулевого отсчета.

Дети стали ходить в сельскую школу. Но вскоре Максимов понял, что система советского образования во всех ее ступенях насквозь проникнута криво и косо пропагандируемыми официальными идеями, безнравственность которых была особенно ясна его кристально чистой душе. Тогда он решил: единственный способ избежать этой заразы — не прикасаться к ней. Сам стал заниматься с детьми. Важна была не столько передача большого массива знаний, сколько создание высоконравственного климата. Основной заповедью в семье было — ни минуты без дела. Родители трудились с утра до ночи. С малых лет привыкшие к такому режиму ребята и не мыслили себе жизни без постоянного труда. На бросовой земле — крутом склоне, по которому раньше гоняли скот к месту выпаса, разбили небольшой огород. Осенью старшие девочки нанимались поденщицами на уборку и ежедневно зарабатывали по мешку картошки. Максимов ездил в Петроград, чаще в Москву. Поступать на государственную службу он опасался, частных заказов на архитектуру не было. Приходилось искать побочные занятия. Дочери считают, что он делал что-то для Общества охраны старины и искусства. Подтверждений этому пока не нашлось.

С началом нэпа стали поступать заказы на изготовление разных изделий, благо Максимов с детства знал много ремесел. С деньгами стало легче, но жизнь в Сарпове осложнялась подозрительным отношением местных властей к «родственникам помещика». В 1924 г. к Максимовым пришли с обыском. Главы семьи не было дома, и с жены взяли подписку, что после его возвращения она немедленно известит сельсовет. Тут же одна

---

<sup>46</sup> Пользуюсь случаем выразить глубокую благодарность главному хранителю музея Л.В.Бардовской и научному сотруднику Е.А.Туровой за их любезное содействие моим разысканиям.

из дочерей бросилась в Москву, предупредить отца. Максимов поехал в далекий от Клина уезд и снял половину избы в деревне Синьково за Москвой-рекой. Семья быстро перебралась на новое место, благо несколько узлов с вещами, включая швейную машинку, можно было перенести на руках. На новом месте отец оборудовал нары в два этажа, и все разместились. Впрочем, старшая дочь перебралась к отцовской сестре, которая к тому времени завершила образование и работала архитектором в Москве, но, не имея жилья, снимала комнату на станции Прозоровской Рязанской железной дороги, в десятке верст от брата, поселившегося по другую сторону Москвы-реки. Вскоре ей поручили участие в планировке поселка вокруг Прозоровской. Здесь еще до войны разрабатывался проект города-сада, в середине 1920-х годов его решили продолжить. Екатерина Николаевна разбивала участки, которые свободно раздавались с обязательством возвести дом за два года. Она и себе взяла участок. Мать, к тому времени овдовевшая, продала дом в Белебее и закупила лес. Но на строительство денег не хватило. Тогда сестра предложила брату войти в долю и построить дом на две половины. Денег у него не было, но знакомый делец дал шесть тысяч под обязательство сделать лак и окрасить им большую партию металлических изделий. Подобной деятельностью Максимов занимался все последние годы. Но тут впервые возникла возможность вернуться к архитектуре: надо было сделать проект собственного деревянного дома. Обдумывать его, рисовать и компоновать детали было наслаждением. Строить приходилось экономно, поэтому надо было еще на бумаге найти самое эффективное решение. Дом вышел красивым и экономичным. Максимов получил еще несколько заказов на проектирование деревянных домов в том же поселке и соседних селах.

В 1922 году семья поселилась в собственном доме. Годы скитаний кончились. Предстояло еще отбывать долг за взятые деньги, и в новом доме с утра до ночи красили бляшки, но это уже никого не смущало — трудолюбие было первой заповедью семьи. Строительство дома помогло Максиму вновь почувствовать себя архитектором.

К 1926 году относится единственная за первое советское десятилетие попытка работы над крупным объектом: два эскизных проекта здания Московского телеграфа. Здание было заложено в самом центре Москвы, на Тверской улице, еще до революции. В 1925 г. его решили достроить и объявили конкурс на новый проект. В конкурсе участвовал 21 архитектор, из которых известны имена лишь получивших премии. Вряд ли Максимов участвовал в конкурсе. Но кроме двадцати одного анонимного участника было еще два зодчих, получивших персональные приглашения: А.В.Щусев и И.И.Рерберг. Их работа была заранее оплачена, и они могли приглашать помощников. Думается, что Щусев, поддерживавший отношения с Максимо-

вым, мог попросить нарисовать парочку эскизов и тот выполнил частный заказ знакомого архитектора. Окончательный проект Щусева исполнен в сугубо конструктивистской манере, тогда как эскизы Максимова нарисованы в формах, лишь отдаленно напоминающих это направление. Скорее они приближаются к облику, приданному зданию Рербергом, проект которого был принят и осуществлен именно за его центристскую в стилевой политике позицию. Однако трудно предполагать, что Максимов мог рисовать для Рерберга, имя которого совершенно не известно его детям, знающим имена всех, с кем он работал.

Так как Максимов никогда не состоял на государственной службе, то о нем нет никаких документальных данных. О его творческой деятельности мы знаем только по чертежам и эскизам, сохранившимся в семье. Работы советского времени там не датированы, время их исполнения можно определить только приблизительно по манере графики. К периоду первой пятилетки относится проект столовой в Орехово-Зуеве, выполненный в конструктивистском духе. Этот проект, видимо, делался через А.В.Щусева. Существует также довольно большой объем эскизов отделки парадных помещений Наркомздрава. Понемногу к Максиму стало возвращаться уверенность мастера. Сохранилась серия проектов дач для артистов Большого театра, красивых и представительных домиков в два этажа, имеющих что-то общее в планировочном решении, но совершенно разных во внешнем облике. Каждый проект отличается изяществом замысла и блеском графического выполнения. Остается только пожалеть, что они не получили осуществления.

В это время судьба уже готовила Максиму новый удар. Весной 1932 г. его арестовали. Ордер на арест был подписан одновременно на брата и сестру, но незадолго до того она погибла под поездом. Он не поддался ни на какие провокации следователей, хотя ему пришлось выдержать страшную атаку долгих допросов. Его арестовали в печально знаменитый «пасхальный набор», когда была схвачена большая группа церковнослужителей и просто верующих людей. Было начало второй пятилетки, которую партия объявила «пятилеткой сплошного безбожия», намереваясь к концу ее полностью покончить с религией. Максимов не поддавался попыткам многосуточных допросов, когда один следователь сменялся вторым, затем третьим, а допрашиваемый оставался на месте без сна и пищи и, изнемогая от усталости, должен был отвечать на поток вопросов. Он смиренно сидел перед своими мучителями и непрестанно твердил про себя Иисусову молитву. Пораженный стойкостью Максимова и заметив движение его губ, читавших молитву, один из следователей воскликнул: «Вы пытаетесь гипнотизировать нас». Максимов так и не подписал ничего и был осужден по совершенно противоправному, с нашей точки зрения, обвинению «в принадлежности к православной церкви».

Этот скромный, но стойкий подвижник сумел воспитать в своих дочерях такую же нравственную стойкость и приверженность к религиозным устоям. А вот с сыном получилось по-другому. Единственный сын, на которого он обращал больше всего внимания, надеясь воспитать наследника и продолжателя, был арестован вместе с отцом. В заключение Арсений попал совсем молодым, ему еще не было 18 лет. Осужден он был по характерной для того времени формулировке «как сын своего отца». Этапировали его, разумеется, отдельно от отца, в другой лагерь и быстро сумели «перековать». После трехлетнего отбытия срока он вернулся домой и поступил вольнонаемным в архитектурную мастерскую по проектированию канала Волга—Москва.

— Когда приходилось бывать на своих объектах, — рассказывал он мне, — мы надевали форму, а так ходили в гражданском...

«Какую форму? Форму чекиста?» — подумал я, представив, как больно было старому зодчему видеть своего сына, носящего форму тех, кто пытал и мучил. Да, к сожалению, это так. В семейном альбоме я нашел фотографию Арсения Максимова 1938 года, облаченного в габардиновую гимнастерку, с довольной и счастливой ухмылкой позирующего перед аппаратом.

Видимо, он привлек отца к разработке разных проектов по линии НКВД. Иначе трудно объяснить, почему Максимов-старший, никогда не работавший ни на одну организацию, вдруг под конец жизни стал выполнять задания этого ведомства. Ведь освобожденный из энкаведистских лагерей он жил в Муроме, потом Егорьевске, но не работал как архитектор. Только после возвращения сына и поступления того вольнонаемным в проектную мастерскую канала отец тоже стал выполнять задания этого ведомства. Ну как тут не связать факты в единую цепь?

Для канала Волга—Москва В.Н.Максимов выполнил несколько эскизов архитектурного оформления шлюзов. Наброски сохранились в семейном архиве. Затем для Главного управления шоссейными дорогами (Гушосдор НКВД) он довольно долго работал над архитектурным оформлением шоссе Минск — Москва. Большой пакет калек и проект придорожной гостиницы прекрасно документируют этот этап его деятельности. Наконец, имеются фотографии с трех больших перспектив Максимова, изображающих Угличский, Рыбинский и Шекснинский гидроузлы. Есть также пересъемка газетной репродукции того же проекта с подписью: автор — архитектор Максимов. В целом создается довольно обширный круг работ зодчего для ведомства, к которому он не мог питать никакой симпатии, но вынужден был подчиняться. Его положение было достаточно двусмысленным: требовали жить за стокилометровой зоной, но сквозь пальцы смотрели на то, что он выполняет их заказы в кротовском доме, где были удобные условия для быстрой и успешной работы. Чтобы скорее

получить проект, шли даже на подачки. Как-то осенью дали срочное задание и требовали всячески ускорить сдачу. Зодчий посетовал на неизбежную потерю времени — надо заготавливать корм для коз, которых в семье держали ради молока. Тогда ему привезли машину сена и несколько мешков отрубей. Вместе с тем, как правило, платили в три-четыре раза меньше действующих расценки. Впрочем, Максимов никогда не протестовал, он был христианином.

Пребывание в семейном доме было недолгим. Проектирование волжских гидроузлов шло в обстановке секретности, в Дмитрове, и Максимова принудили поселиться неподалеку, в Талдомском районе, вне 100-километровой московской зоны.

Началась война. Стремительное наступление немцев осенью 41-го года на этом направлении испугало дочерей, которые бросились в Вербилки и, воспользовавшись всеобщей паникой, вывезли оттуда — можно сказать, выкрали — своего поднадзорного отца, привезли в Кратово и скрывали в собственном доме, пряча больного старика при появлении любого постороннего перед калиткой. К тому времени он уже тяжело страдал от нервной экземы — следствия всех душевных потрясений и физических невзгод. Здесь на руках родных Владимир Николаевич скончался 17 декабря 1942 г. Прах его похоронен на Раменском кладбище.

Максимов оставался неизвестен для историков отечественной архитектуры, потому что русское национальное зодчество XX века было насильственно ликвидировано после прихода большевиков к власти. Так называемый интернационализм, проповедовавшийся марксистами, был по сути стремлением к тотальной унификации сознания всех людей. Поэтому велась ожесточенная борьба с любым проявлением индивидуальности. Яркие разнообразные цвета требовалось размесить в однообразную серую массу. Многих прежних мастеров взяла оторопь перед бешеным напором революционеров. Этим воспользовались самые левые. Они предложили свои услуги, с удовольствием принятые новой властью: во-первых, нашлись лица, ее принявшие, и, во-вторых, левые безусловно не имели никаких традиций в прошлом и этим, казалось, играли на руку основной идее — унификации сознания. Но как только советская власть стабилизировалась и упрочилась, ей понадобилась другая культура, понятная и популярная, с идеями простыми, как мычание. Для этого в музыке лучше всего подходил песенный жанр с короткой примитивной мелодией в ритме марша и рифмованными лозунгами текста. В архитектуре обратились к традициям классицизма с их пафосом величия государственной мощи. Другие направления зодчества начала XX века — модерн с его обостренной индивидуальностью и русский стиль с его обращением к исконно национальным мотивам — казались настолько неприемлемыми, что долгие годы абсолютно



третировались в советском архитектуроведении. Только сравнительно недавно усилиями Е.А.Борисовой, Б.М.Кирикова, Е.И.Кириченко, В.Г.Лисовского и некоторых других исследователей появились объективные работы об этом времени. До сих пор наши знания о мастерах русского национального стиля весьма недостаточны. Разными путями узнаем мы о них. Будем же благодарны дочерям В.Н.Максимова, сохранившим отцовские чертежи и устные предания о его деятельности, которая, безусловно, развила и умножила славу русского зодчества.

## МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ ДАВИДА ВЫГОДСКОГО\*

Давид Исаакович Выгодский (1893-1943) — один из тех деятелей русской культуры, судьба которых сложилась трагически. Начинал он в 1910-е годы как поэт и литературовед, в свое время был известен как вдумчивый критик, тонкий знаток русской поэзии, одним из первых оценивший творчество Анны Ахматовой, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама. В 1919 г., «на пятом году непрерывного кровопролития», написал пророческие строки: «Мы все обречены на боль.// Нам всем начертано страданье...». С середины 1920-х годов работал в области литературоведения, в основном западного, в качестве редактора и переводчика с тридцати новых и древних, западных и восточных языков.

Выгодский был одним из первых в России, кто изучал и популяризировал поэзию и прозу испаноязычных стран, внес большой вклад в установление культурных связей с латиноамериканскими государствами. Замечательный знаток иностранных языков, он вел обширную переписку с литераторами Испании, Португалии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Кубы, Мексики, Уругвая, Филиппин. Он знакомил читателей этих стран с произведениями поэтов России XX века: Ахматовой, Блока, Бальмонта, Хлебникова, Маяковского и др., информировал о событиях литературной и культурной жизни.

Процесс чудовищной «перековки» сознания, «воспитания нового человека», предпринятый коммунистическим режимом, обрек Давида Выгодского на немоту: с середины 20-х годов и в 30-е годы стихов он уже не писал. Освобождение от немоты, как это ни странно, пришло к нему в пересыльной тюрьме, затем в Карлаге, где он писал и откуда пересылал на волю стихи.

Личный архив Выгодского, частично сохраненный его сыном И.Д.Выгодским, находится в Отделе рукописей и редких книг Государственной Публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина. Фонд Выгодского и его жены — детской писательницы Э.И.Выгодской — составляет свыше тысячи единиц хранения.

Давид Исаакович Выгодский родился 22 сентября 1893 года в Гомеле в семье конторского служащего. Когда ему было 4 года, от несчастного случая погиб его отец Исаак Львович. Кро-

\* Выражаю глубокую признательность за помощь в работе над этим очерком И.Д.Выгодскому и В.Н.Сажину.

ме Давида, в семье остались брат Лев шести лет и сестра Эсфирь двух лет.

Детей и их мать Двосю Яковлевну приютил дядя Семен Львович Выгодский, у которого самого было восемь детей. Это был образованный человек, его дом был своего рода культурным центром Гомеля: есть сведения, что Семен Львович организовал публичную библиотеку в городе<sup>1</sup>. В семье любили и знали литературу. Кроме обязательных в гимназии немецкого, французского, латинского языков, дома дети изучали английский, древнегреческий, древнееврейский. Любовь к слову и незаурядные литературные способности отличали юных Выгодских, особенно Давида и двух Львов, родного и двоюродного братьев.

Несмотря на прекрасную подготовку и домашнее образование, поступить в гимназию было сложно: существовала процентная норма, ограничивающая прием евреев в учебные заведения.

Давид Исаакович пишет в автобиографии<sup>2</sup>: «После многочисленных усилий и испытаний был принят в гимназию в 1906 году, когда процентная норма временно чуть-чуть расширилась. В 4-м классе стал давать частные уроки, постепенно эмансипируя в материальном отношении. В 1912 году закончил гимназию. Еще годом раньше тайком от гимназического начальства... стал печатать статьи (преимущественно на литературные и культурные темы) в местной газете и организовал с рядом товарищей журнал «Зарницы»<sup>3</sup>.

«Зарницы», организованные 17-18-летними юношами, в №1 от 26 ноября 1911 года публикуют статью от имени редакции, в которой объясняют задачу журнала так: «Другу-читателю мы несем свои первые опыты. Рассказы, стихотворения, художественная проза и статьи о литературе, заметки об искусстве — это только... первые шаги.

Сами начинающие писатели, мы стремимся объединить других начинающих в нашем органе, может быть, усилиями многих будет облегчен путь одному».

Давид Выгодский (псевдоним: Лишний) печатает в журнале стихи «Колыбельная песня Лине», «Ты смеешься печали моей»<sup>4</sup> и др., статьи, в том числе о поэзии К.Бальмонта — «От любви удивленной к любви истинной»<sup>5</sup>, и другие.

<sup>1</sup> Сведения о С.Л.Выгодском и о гомельском этапе жизни братьев Выгодских взяты (помимо семейных архивов Исаака Давидовича и Гиты Львовны Выгодских) из диссертации Тамары Михайловны Лифановой «Проблемы дефектологии в научном творчестве Л.С.Выготского» (Л., 1985). Т.М.Лифановой удалось собрать уникальный материал, обследовав множество архивов, в том числе гомельские.

<sup>2</sup> Рукопись 1934 г., в архиве сына.

<sup>3</sup> Это был печатный журнал (Гомель, типография Миляева). Редактор-издатель — Минович.

<sup>4</sup> № 3 от 1 января 1912 г.

<sup>5</sup> № 5 от 15 июня 1912 г.

«Зарницы» сразу же привлекли всеобщее внимание. В газете «Полесье» 29 ноября 1911 года в разделе «Библиография» за подписью Менс напечатано: «В небольшой тетрадке в зеленой обложке, напоминающей сухие конторские отчеты, среди других приютились 7 поэтов». Рецензент не находит у поэтов «Зарниц» «истинного лирического дарования», подозревает, что они очень молоды.

«Гомельское слово» 30 декабря 1911 года обрушивается на авторов журнала. Рецензент, некто М.С., возмущенный строчками юного поэта Сигурда:

Надо любоваться телом обнаженным,  
Освещенным светом золотых свечей, —

пишет: «Стыдитесь, г. Сигурд. Делайте, что хотите, но зачем же кричать об этом во всеуслышание!»

Газета «Гомельская копейка» 3 декабря 1911 года печатает нравоучительную статью за подписью Книгоед, которая заканчивается таким образом: «Молодость должна воспевать красоту жизни, красоту платонической любви, а не тело обнаженное...» Все дружно ругают юных поэтов за подражательность, «бальмонтовщину». Советуют братья за «свои» темы<sup>6</sup>.

Каждый номер «Зарниц» открывается небольшой статьей «От редакции», в которой с большим тактом, очень мягко дается ответ на сердитые, подчас грубые критические нападки, содержится призыв к терпимости по отношению к начинающим авторам. Так, после выхода первого номера и последовавших затем газетных откликов номер второй (от 16 декабря 1911 года) начинается словами: «Благожелательный критик стал на Руси явлением редким».

В 1912 году Давид Выгодский поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, через год перевелся на историко-филологический, который окончил по романско-германскому отделению в 1917 году. В автобиографии он сообщает: «В университете работал в основном в области романских литератур — испанской в первую очередь, но не ограничивался этим, систематически работал и в области русской литературы (у С.А.Венгерова) и античной (у Ф.Ф.Зелинского) и отчасти занимался восточными языками — санскритом, арабским».

Круг интересов Выгодского в студенческие годы необычайно широк, работоспособность уникальна: он с увлечением занимается эсперанто, в мартовском номере газеты «La ondo de esperanto» («Волна эсперанто») за 1914 год печатает свои переводы из Гейне с немецкого на эсперанто, в апреле того же года в газете «Esperanto» — исследование о Рабиндранате Та-

<sup>6</sup> См.: «Полесье», 1912, 26 июня.

горе (вплоть до самого ареста Выгодский состоял в Международном обществе эсперантистов). Тогда же он сотрудничал в журнале «Еврейский студент»; в 8-м номере (от 8 октября 1915 года) опубликовал обзор материалов из литературного сборника «Щит» под редакцией Л.Андреева, Ф.Сологуба и М.Горького (М., 1915). Этот удивительный сборник, достойный быть переизданным в наши смутные времена, содержал художественные произведения и статьи русских писателей-интеллигентов на тему об антисемитизме.

Находясь в Петербурге-Петрограде, Выгодский продолжал печататься в гомельских газетах и журналах. Вот небольшая часть из написанных им за 1913–1916 годы статей: «Что такое футуризм»<sup>7</sup>, «И.Северянин. “Златолира”»<sup>8</sup>, «Апология счастья («Океания» К.Д.Бальмонта)»<sup>9</sup>, «Светлый лик Лермонтова»<sup>10</sup>. Кроме того, о событиях культурной жизни столицы студент Выгодский рассказывал в журнале «Полесский курьер» в разделе «Письма из Петрограда». Например, 16 января 1915 года — восторженный отзыв о том, как Литературный фонд ознаменовал, несмотря на войну, 100-летний юбилей Лермонтова прекрасным вечером — с постановкой юношеской пьесы Лермонтова «Два брата», осуществленной В.Мейерхольдом (художник А.Головин); в числе лучших номеров он называет хореографическую картину М.Фокина «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана»).

В «Гомельском курьере» от 7 января 1915 года — статья «Война и литература», в которой Выгодский критикует «наскоро испеченные драмы и стихотворения на заданные темы», считает, что они далеки и от жизни, и от литературы (пьеса Арцыбашева «Война»). Упрекая Брюсова, Маяковского, Андреева, Шмелева, Рославлева, Андрусона в том, что тема войны для них — только «новое увлечение», Выгодский дает высокую оценку поэзии о войне Ахматовой, Северянина, Гумилева.

Из автобиографии: «Вспыхнувшая война дала первый толчок к серьезным политическим раздумьям, которые постепенно привели меня к так называемому «товариществу»: эти настроения сблизили с редакцией организованного Горьким в конце 15-го года журнала «Летопись» < ... > Когда был послан редакцией журнала на Сестрорецкий оружейный завод, я уже знал, что мы не «свободные писатели», а выступаем от имени определенной политической группировки».

«Летопись» с первых дней существования выступала против «мировой бойни», «культурного одичания», шовинистического угара, национальной и расовой ненависти. В журнале сотруд-

<sup>7</sup> «Гомельская мысль», 1913, 17 июня.

<sup>8</sup> Там же, 1914, 15 апреля.

<sup>9</sup> Там же, 1914, 8 июля.

<sup>10</sup> «Гомельская копеечка», 1916, 15 июня.

ничали: И.Бунин, М.Пришвин, И.Вольнов, Ю.Тынянов, В.Шкловский, Б.Эйхенбаум, Л.Рейснер и другие. В отделе «Наука и философия» — К.А.Тимирязев, М.Н.Покровский.

Если судить о Выгодском этих лет по его многочисленным публикациям, ясно одно — он интересуется литературой всех времен и народов, языками, театром, музыкальной живописью, но совершенно далек от политики. В «Летописи» он сотрудничает в отделе «Литература и искусство», печатает многочисленные рецензии, в том числе на книги: «Пушкинист». Историко-литературный сборник под редакцией профессора С.А.Венгерова (Пг., 1916)<sup>11</sup>, «Альманах муз» (Пг., 1916)<sup>12</sup>, «Песнь о Гайавате» Лонгфелло в переводе И.Бунина (М., Изд-во М. и С. Сабашниковых, 1916)<sup>13</sup>, «Итальянская литература XIX в.» В.Фриче (Часть I, М., «Задруга», 1916)<sup>14</sup> и многие другие.

Из автобиографии: «Вместе с прочими литераторами из «Летописи» я перешел в организованную тем же Горьким газету «Новая жизнь»».

Газета разделяла антивоенную позицию «Летописи», просуществовала с апреля 1917 года по июль 1918 года. «Новожиленцы» надеялись на мирное развитие Февральской революции, полемизировали с большевиками, ставившими вопрос о необходимости вооруженного восстания и проведении социалистической революции, опасались, что восстание будет потоплено в море крови. Горький опубликовал в «Новой жизни» около 80 статей, 57 из них под рубрикой «Несвоевременные мысли».

Выгодский печатает в «Новой жизни» рецензии на книги, альманахи; кажется, ни одного значительного события культурной жизни не остается вне поля его зрения, идет ли речь о поэме А.Блока «Возмездие»<sup>15</sup> или о докладе профессора П.Н.Сакулина «Пушкин и Радищев»<sup>16</sup> на заседании Неофилологического общества при Петроградском университете, о «Невском альманахе»<sup>17</sup> или сборниках поэтической группы «Центрифуга»<sup>18</sup>. В редких случаях жестокая действительность врывается на страницы его статей как фон, на котором происходит то или иное событие. Например, статья «Огюст Роден»<sup>19</sup>, написанная в первые недели после Октябрьского переворота, начинается так: «В наши дни, когда гибнут миллионы жизней, когда на кровавых полях уничтожаются великие ху-

<sup>11</sup> «Летопись», 1916, июнь.

<sup>12</sup> «Летопись», 1916, декабрь.

<sup>13</sup> «Летопись», 1917, январь.

<sup>14</sup> «Летопись», 1917, январь.

<sup>15</sup> Статья «У новой грани» (28 апреля 1917 г.).

<sup>16</sup> Статья «В нео-филологическом о-ве» (28 апреля 1917 г.).

<sup>17</sup> Рецензия на «Невский альманах» (вып. 2, Пг., 1917) (28 апреля 1917 г.).

<sup>18</sup> Рецензия «Стихи «Центрифуги»» (21 мая 1917 г.).

<sup>19</sup> «Новая жизнь», 1917, 12 ноября.

дожественные ценности, когда наши собственные вандалы грабят художественные сокровищницы и рвут в куски драгоценные полотна, казалось бы, трудно кого-нибудь вывести из состояния равновесия известием о смерти художника».

24 декабря 1917 года «Новая жизнь» публикует большую статью Выгодского «О новых стихах». «В нашей поэзии сегодняшнего дня есть два полюса, два направления, — пишет он, касаясь творчества Маяковского и Ахматовой. — Одно — пытающееся воскресить классическую точность выражения и художественную законченность построения — то, которое нашло свое самое лучшее выражение в поэзии Ахматовой и Мандельштама. И другое — то, в основе которого лежит футуристическая теория, которая ныне возглавляется Маяковским. И почти все современные молодые поэты, выявляя в большей или меньшей степени свою индивидуальность, подчиняются сознательно или бессознательно одному из этих направлений < ... > Это уже может служить несомненным доказательством значительности обоих названных поэтов».

В отличие от критиков советского периода, которые рассматривали Ахматову и Маяковского как два полюса, символизирующих две России — старую и молодую, — Выгодский видит в них не только противоположные, но и «совмещающиеся в одном поколении психологические типы». Он отмечает особый метод мировосприятия Ахматовой, при котором «линия жизни не существует в своей целостности, а рассыпается в тонкий пунктир, в ряд отдельных мгновений. Каждая секунда, каждое восприятие — для нее цельная и замкнутая в себе монада, только случайно соприкасающаяся с соседними восприятиями-монадами»<sup>20</sup>. Выгодский отмечает у Ахматовой особенную остроту, яркость и законченность каждого мгновения, не рассыпающегося на пути к следующему мгновению. «Если прав был Баратынский, определяя истинную поэзию как полное ощущение данной минуты, — пишет он, — то очень немногих соперников имеет Ахматова, более полно выразить ощущение минуты едва ли кто из наших поэтов был в состоянии. Даже прославленный в этом отношении Фет во многом ей уступает». Судя по этой и другим статьям, Выгодский считал Ахматову лучшим поэтом эпохи.

В конце 1917 года Давид Исаакович поскал на родину — в Гомель, к матери. «Боясь оставить мать одну перед наступающими немцами», он оставался в Гомеле все время «немецчины». Занимался педагогической деятельностью, писал. В декабре 1917 года вернулся из Москвы и Лев Семенович Выгодский, успевший за 1913-1917 годы закончить юридичес-

---

<sup>20</sup> Эта особенность Ахматовой отмечена в стихотворении С.Л.Рафаловича «Расколотое зеркало».

кий факультет Московского университета и историко-философский факультет Университета Шанявского<sup>21</sup>.

Что же делал будущий психолог с мировым именем в Гомеле? Читал в Гомельской консерватории эстетику и теорию искусств, выступал с многочисленными лекциями и докладами — о Шекспире и Пушкине, Толстом и Блоке, об Эйнштейне и теории относительности. Братья проводили «понедельники» с обзором литературных произведений, сотрудничали в газете «Вереск», в организации которой участвовал Лев Семенович, печатались в столичных журналах.

До самого закрытия «Новой жизни» Давид Исаакович был ее собственным корреспондентом. В одном из последних номеров — его гомельский репортаж «В оккупированных местностях»<sup>22</sup>. Он активно сотрудничает в гомельской газете «Полесье», откликаясь на события культурной жизни: статьи «Выставка картин»<sup>23</sup>, «В.Г.Короленко (К 65-летию)»<sup>24</sup> и др. Переводит воспоминания Р.Тагора «Мой отец»<sup>25</sup>, редактирует вместе с Львом Семеновичем «Гомельскую мысль». (Последний, чтобы как-то различаться с Давидом Исааковичем, в самом начале 1920-х годов меняет букву «д» в своей фамилии на «т».)

Вокруг братьев Выгодских группировалась литературная молодежь. В альбоме автографов Давида Исааковича<sup>26</sup> 26 июля 1921 года критик Г. Лелевич записал:

Быть может, пурпурных ковров  
Пред нами слава не расстелет,  
Но не забудем вечеров  
Бурливой искристой артели.

Д.И. рвался в Петроград. В сентябре 1921 года он записал:

Лелевич, милый Лелевич,  
Держит меня этот Гомель.  
В печали, в злости и гнев  
Могу ли писать экспромты?

Ни словом не обмолвился Выгодский в автобиографии о том, что все время писал стихи, что в 1922 году в Гомеле вышел крошечный сборник его стихов «Земле». И это неудивительно: слишком явным диссонансом звучат они официозу (тем более с точки зрения 1934 года, когда составлялась автобиография).

<sup>21</sup> Народный университет, основанный в 1906 г. на средства либерального генерала А.Л.Шанявского.

<sup>22</sup> «Новая жизнь», 1918, 3 июля.

<sup>23</sup> «Полесье», 1918, 28 июля.

<sup>24</sup> «Полесье», 1918, 9 августа.

<sup>25</sup> Отрывок из них опубликован в «Полесье» 26 сентября 1918 г.

<sup>26</sup> ГПБ, фонд Д.И. и Э.И.Выгодских, ед. хр. 476.



Вот некоторые из них<sup>27</sup>.

#### ПОБЕДИТЕЛЬ

Мы все обречены на боль,  
Нам всем начертано страданье.  
Пусть победой венчан бой,  
Но и в победах — наказанье.  
Быть победителем — кому  
Высокий дух побед не страшен?  
Кто в ослепительную тьму  
Не упадет с высоких башен?

Кто недрожащую стопой  
На грудь чужую станет властно  
И в миг последний, роковой  
Не убоится крови красной?

*Декабрь 1919*

\*\*\*

Господи, верую,  
Знаю, что нашу жизнь  
Беспощадно скорую  
Ты воздвиг.

И каждый горестный миг  
Для чего-то создан тобой.  
И каждый нужен  
Для цели какой-то.

Пусть так мало жемчужин  
В грязи бытия,  
Но и за одну,  
Господи, славлю Тебя,  
Мудрую благость Твою.  
Пусть океанами скорбь,  
Радость — каплею малой  
Меряю.

Но, спину разгорбив,  
Глядя на запад алый,  
На звезд узоры —  
Господи, верую.

*12 января 1920 г.*

*Гомель, Губнаробраз*

---

<sup>27</sup> Архив сына, печатаются впервые.

ПАМЯТИ Н.Е.ЭРЛИКА

Взвывается черное знамя.  
Черное знамя — как смерть.  
Что же будет с нами  
Теперь?

Все ли под знаменем черным  
Низринемся в черную пасть?  
Иль кто-нибудь самый упорный  
Спасет и себя, и нас?

Колеблет черную полость  
Налетающий вихрь.  
Еще один тихий голос  
Навеки затих.

*3 апреля 1920 г.*

\*\*\*

Знавший земные соблазны,  
Падавший в грязь и во прах,  
Дни проводивший праздно  
В злых богомерзких делах.

За злыми ходивший слепо  
По нечестивым путям.  
Я и со дня вертепа  
Вижу Твой белый храм.

Верен Твоей святыне  
Вечно живой,  
Господи, я и поныне  
Твой.

*20 августа 1921 г.  
Гомель*

Если «Гомельская мысль», редактируемая братьями Выгодскими, 14(1) марта 1918 г. публикует статью «Революция и культура», где говорится о русской революции, которая «знаменует собой начало революции духа», то обзор литературы за 1918 год, сделанный Давидом Выгодским в «Полесье» (3 января 1919 г.), говорит о полном разочаровании автора в результатах «вмешательства советского правительства» «во все отрасли жизни». Он пишет: «Для литературной жизни год всегда был сроком очень малым, чтоб в нем можно было отметить большие события. Но все же, оглядываясь назад, даже на такой короткий путь, всегда можно было за собой увидеть густую поросль, среди

которой то тут, то там мелькали красивые цветы и крепкие стволы. Увы, это было...

Мы не имеем перед собой полной картины того, что делалось в литературной жизни России в этом году. Не имеем потому, что не все переходило через злые рубежи, избороздившие Россию < ... >

И вот, оглядываясь назад, на пройденный за год путь, видим перед собой голую степь < ... >

Только теперь русский читатель поверит в старую истину — *inter arma silent Musae* — при звоне оружия молчат музы. Он не имел оснований верить этому до сих пор, потому что первые годы мировой катастрофы говорили об обратном. И только теперь, на пятом году непрерывного кровопролития < ... > смолкли русские музы. Литература, которую не могли заставить замолчать ни всяческие ухищрения дореволюционных цензоров, ни отвлечение всех сил в область общественно-политической жизни, ни войны и мятежи, смолкла под ударом волны того безразличия, того притупления мысли и чувства, которая разливается шире и шире...

Выгодский отмечает, что попытки советского правительства культивировать «пролетарскую литературу», которая должна была «создать нечто еще невиданное и неслыханное, перед чем окажется ничтожным все созданное доселе», ни к чему не привели. Результат всех этих попыток — две-три слабые книжки «о железе, о молоте...»

В 1921 году Д.И.Выгодский вернулся в Петроград к литературной и научной работе (Институт языков и литературы Запада, Институт речевой культуры и др.). Поселился он в Доме искусств, на углу Невского и Мойки, в бывшем особняке купца Елисеева.

«Диск» (так называли его современники) населяли энергичные деятели русской культуры, которые в эти голодные послереволюционные годы пропагандировали искусство, устраивали концерты и выставки, издавали книги, альманахи.

Несмотря на неустроенность быта, голодные пайки, обитатели «Диска» чувствовали себя дома: их связывала общность судьбы, желание творить новую культуру, ведь на первых порах многие искренне верили, что наступила новая эпоха и отныне никто не вправе диктовать художнику.

В романе О.Форш «Сумасшедший корабль» (1930), воссоздающем быт и атмосферу Дома искусств, мимоходом запечатлен и Д.Выгодский: «Бедные писатели < ... > вздохнут, наконец, предвкушая с угмонившейся мандолиной восторги безмолвия, и философ Давид, отведя в угол стола все испанские материалы, разрешит себе выпить чайник морковного чая»<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> О.Форш. Сумасшедший корабль: Роман. Рассказы. Л., 1988, с. 33.

В архиве сына сохранилась записка Виктора Шкловского, жителя «Диска», Выгодскому от 1 ноября 1921 года:

«Давиду. Греки учились, ходя по аллеям, вообще прогуливаясь. Прохладная жизнь.

А мы учимся, сами таская мешки за плечами. Проклятая жизнь. Посмотрим, что выйдет. Но когда нашу работу умножат на нашу биографию, то получится бесконечность. В чем и подписуюсь».

Михаил Слонимский вспоминает о Д.Выгодском: «Трудился он неутомимо. Жил он в <...> Доме искусств, и вечерами допоздна горел свет в его комнате, а он сидел в легком пальто (шубы у него не было) за столом и работал, работал, работал. Вставал, прохаживался по холодной нетопленной комнате (дров у него не было), ежился, потирая руки. Он ничего не умел скрывать. Хитрость была чужда ему. И когда он вдруг стал исчезать по вечерам, а потом возвращался растерянный, сияющий, склонный уже не переводить чужие стихи, а писать собственные, то легко было нам догадаться, что такое приключилось с ним. И вскоре он познакомил нас со своей женой, отчество которой нас не заинтересовало. Попросту Эмма, наш новый друг и товарищ, вот и все. Имя Эммы Выгодской<sup>29</sup> впоследствии стало известно у нас и за рубежом, как имя талантливой детской писательницы. Давид Выгодский стал работать еще больше, еще вдохновенней. Дружба наша продолжалась и тогда, когда после закрытия Дома искусств мы разъехались по разным районам города»<sup>30</sup>.

После закрытия Дома искусств в 1923 г. Давид и Эмма Выгодские поселились на Моховой улице (дом 9) в бельэтаже бывшего генеральского дома, на окнах спальни которого сохранились непробиваемые пулями бронированные ставни со смотровыми окошечками и массивными запорами — мера предосторожности, оставшаяся от смутных времен революции. Эту «чуждую комнату с тяжелыми железными ставнями и камином, но без печи» вспоминала Екатерина Константиновна Лившиц<sup>31</sup>. Дело в том, что в 1924 году Бенедикт Лившиц с женой некоторое время жили у Выгодских, пока не купили себе отдельную квартиру на той же Моховой улице.

У Выгодских в эти годы бывали О.Мандельштам, М.Козаков, Б.Лавренев, Н.Тихонов, И.Эренбург, М.Зощенко, Е.Замятин<sup>32</sup>,

<sup>29</sup> Эмма Иосифовна Выгодская (1900-1949)—детская писательница, переводчик. Автор книг «Приключения Марка Твена» (М.-Л., 1930), «Алжирский пленник» (М., 1931), «Пламя гнева» (М.-Л., 1949), «Опасный беглец» (М.-Л., 1948) и др.

<sup>30</sup> М.Слонимский. Завтра: Проза. Воспоминания. Л., 1987, с.468.

<sup>31</sup> Из набросков к воспоминаниям, любезно предоставленных Е.К.Лившиц И.Д.Выгодскому.

<sup>32</sup> В библиотеке Выгодских сохранилась книга Замятина «Островитяне. Повести и рассказы» (Пб., изд. З.И.Гржебина, 1922) с автографом: «Д.И.Выгодскому — в темные дни и белые ночи. Евг. Замятин».

Ю.Тынянов, М.Слонимский, О.Форш, В.Шкловский, Е.Полонская и др.; появлялись литераторы, приезжавшие из Испании и стран Латинской Америки: Сесар Вальехо, Рафаэль Альберти, Пла-и-Бельтран и другие.

В полуголодном Петрограде нередко в этот дом приходили «за кровом и за хлебом». Маленькая квартира влекла прежде всего тем, что сюда можно было нести самое дорогое — свои творения. В доме был культ книги. Книги громоздились на полках и стояли в шкафах, лежали на подоконниках и теснились в прихожей. Уже некуда было их ставить, а Давид Исаакович редко возвращался без стопочки новых книг. Являлся сияющий, распаковывал, радовался. Начинал немедленно читать, забывая при этом, что зиму опять придется ходить в старом плащике и летних сандалиях.

Безытность Выгодских была легендарной даже в писательской среде, в которой трудно было удивить неумением заботиться о насущном, об этом вспоминали многие. Осип Мандельштам, любивший вкусно поесть, написал дружеский шарж<sup>33</sup>:

На Моховой семейство из Полесья  
Семивершковый празднует шабаш,  
Для ритуала, для раввинских каш —  
Испано-белорусские отчесья.  
Осьми вершков, невзрачен, бородат,  
Как закорючка азбуки еврейской,  
Давид Выгодский ходит в Госиздат,  
Где противу площадки брадобрейской  
Такой же, как и он, небритый карл,  
Ждет младший брат торговли книжной — ярл.

Еще пребывая в Доме искусств, Давид Исаакович подружился с Львом Лунцем; объединяло их, видимо, то, что оба были влюблены в Испанию и испанский язык<sup>34</sup>. Лунц часто бывал у Выгодских, и Давид как мог поддерживал несчастного юношу, который был неизлечимо болен. В мае 1923 года Лунц уехал в Гамбург, где жила его семья, и вскоре скончался. Рассказывая о последних месяцах его жизни, Н.Н.Берберова отмечает: «Частые письма его, то продиктованные сестре, то написанные самим, говорили то о полном упадке сил, то вновь об улучшении»<sup>35</sup>.

Письмо же Лунца, отправленное в июне 1923 года Выгодским, насквозь шутливое<sup>36</sup>:

<sup>33</sup> Е.К.Лившиц считала, что авторов два: О.Мандельштам и Б.Лившиц.

<sup>34</sup> К.Чуковский писал о Лунце: «В университете говорили о нем, как о будущем светиле науки, феномене. Он знал чуть не 5 языков, в том числе свой любимый — испанский» (К.Чуковский. Современники. Портреты и этюды. М., 1967, с. 451).

<sup>35</sup> Н.Берберова. Курсив мой. Автобиография. München, 1972, с. 149.

<sup>36</sup> Архив И.Д.Выгодского. Публикуется впервые.

«Дорогие:

Давид с разновидностями,

Анна Ивановна,

Ольга Дмитриевна,

Мариэтта<sup>37</sup>,

привет! В гостях хорошо, а дома лучше. Цвету, толстею. Но вас люблю. Давид, конечно, мошенник, но он «а гутер ид», а другие и подавно.

А здесь хорошо. Город-конфетка, а я одет, как самый первый нэпман (к сведению Давида: босых здесь отправляют в полицейский участок)<sup>38</sup>. Вообще здесь туалеты и приличия грозные. Придется расстаться мне с моими кудрями — на меня уже показывают пальцем.

Анна Ивановна, звезда моей души!

Привет и благодарность от мамы. Все семейство рыдало, слушая трогательную повесть о твоих компрессах. Чулки вышли непременно.

Гаррик<sup>39</sup>! Верблюды моего воображения! Папиросы здесь дешевые... Отличнейшие английские папиросы стоят на наши деньги 10–15 миллионов — 25 штук. Если б только выслать тебе!

Ольга Дмитриевна! Бич моей совести. Пока что мистическим воодушевлением не проникся — простите, исправлюсь. Алексей Максимович уехал в Шварцвальд на 2 месяца. Послезавтра, вероятно, поеду к ним с Влад[иславом] Фели[циановичем]<sup>40</sup> (с ним уже списался).

Дима<sup>41</sup>, бегемот моей мысли! Здесь у самого паршивого газетчика — отличный велосипед. Не плачь — велосипед дело наживное.

Доктор, Гиппократ моей немощи!<sup>42</sup>

Вспоминаю, умиленный. Профессора здесь — жулик на жулика, все лечатся у русских докторов. Еду лечиться в Наугейм.

Эмма Давидисаковна!<sup>43</sup> Оказывается, я не умею говорить по-немецки. Вся наша наука к черту годна. А немцы — прелесть.

И, наконец, Давид, Давид — бесподобный!

Отчаяннейшая, униженнейшая просьба. Если «Еврейский сборник», наконец, вышел, отправьте мне бандеролью оттиск моего рассказа<sup>44</sup>. У меня «пропали» все мои рукописи, и я по-

<sup>37</sup> А.И.Ходасевич, О.Д.Форш, М.С.Шагинян.

<sup>38</sup> Выгодский ходил летом босой, в косоворотке.

<sup>39</sup> Сын А.И.Ходасевич от первого брака — Эдгар Гренцион (актерский псевдоним — Э.Гаррик).

<sup>40</sup> Упоминаются М.Горький и В.Ф.Ходасевич.

<sup>41</sup> Сын О.Д.Форш.

<sup>42</sup> Е.Г.Полонская.

<sup>43</sup> Э.И.Выгодская.

<sup>44</sup> В «Еврейском альманахе» (Пг.—М., 1923) была опубликована повесть Лунца «Родина».

баю. Пожалуйста, Давид — душка — querido, bien-aimé, dear!  
И побыстрее!

Лившицу и прочим жуликам привет!

Целую всех вместе и каждого в отдельности

Лева».

Письма со всевозможными просьбами шли на Моховую, 9, со всего света. Вот одно из многих писем-просьб Мариэтты Шагинян (от 23 марта 1923 г.), сохранившееся в архиве И.Д.Выгодского:

«...Пойдите к Екатерине Григорьевне Альтшуллер и возьмите у нея все мои книги, которые должны у нее быть («Orientalia», «Семь разговоров», «Повесть о двух сестрах» и еще что-то). Кроме того, пойдите на склад Госиздата или хоть под землю и раздобудьте (во что бы то ни!) мои «Узкие врата». Все это приготовьте мне к пятнице, т[ак] к[ак] я в пятницу на один день приеду. Здешняя публика изумляет меня своим повышенным образовательным цензом и умственной квалификацией: требует полное собрание моих сочинений. Вы понимаете, что в этой обстановке начинаешь, подобно покойному Оцупу, внезапно принимать себя за Нельдихена. Я надеюсь на Вас, Давид. Этим все сказано».

Ошутил ли Выгодский «государства тяжкую ладонь», которая легла отныне на всех и все? В архиве сына хранится четверостишие:

Валерию Брюсову

(экспромт на приеме)

Где голос твой стальной  
И небу грозные вопросы,  
Старик совсем седой  
В дыму дешевой папиросы?

22 сентября 1921-го, Москва,

Главпрофобр

А ведь «старiku совсем седому» не было и 50 лет, и он был в зените «славы». Тем не менее, экспромт продиктован состраданием к поэту, чья поддержка воспринималась как божий дар многими начинающими литераторами, пришедшему к исповеданию «заповедей» правящей партии и сочинению псевдопоэтических «агиток».

А отношение Выгодского к недавним кумирам — изменилось ли оно? В статье «Островитяне», посвященной сборнику стихов четырех поэтов (Н.Тихонова, С.Колбасьева, М.Волкова, К.Вагинова)<sup>45</sup>, — читаем: «...лучшее в них то, что они не школа,

<sup>45</sup> «Островитяне». Альманах стихов, 1. Декабрь 1921 г. Пг., 47 с.

не партия, связанная какими-либо программами и правилами, ложными и неложными. Четыре «островитянина» — Н.Тихонов, С.Колбасьев, М.Волков, К.Вагинов — четыре различных устремления, почти противоположных, четыре стороны света. И насколько не похожи они друг на друга в приемах и методах своей работы, своих поэтических построений. Многоразличны также и традиции их, дрожжи, на которых они поднялись. Если говорить о предшественниках, с которыми их связывают узы родства, то придется назвать и Гумилева, и Ахматову, и Мандельштама, и Есенина, и Кузмина, и Блока и т.д.»<sup>46</sup>. А в рецензии на книгу стихов Н.Тихонова «Брага» (М.-Пб., «Круг», 1922) Выгодский пишет: «В ней синтез Гумилева и Маяковского, исполненный четкости акмеизма и бурных взлетов футуризма, если употреблять эти слова не в узко-партийном смысле»<sup>47</sup>.

Однако работать «не в узко-партийном смысле» становилось все труднее. 24 декабря 1928 г. Выгодский записывает в дневнике: «Сегодня Зоя<sup>48</sup> принесла из Гублита первый том Ахматовой. Выбросили 18 стихотворений. Все, где есть «Бог», «Молитва», «Христос» и т.д. Среди них лучшие»<sup>49</sup>. (Готовившееся двухтомное издание стихотворений Ахматовой так и не вышло). А поскольку в стихах Выгодского тоже присутствовали и Бог, и молитва, и Христос, вычеркнутые отныне из жизни, писать можно было только для себя.

В 1934 году Давид Исаакович участвует в работе I съезда советских писателей. В это время его брат Лев Исаакович арестован. (Дело в том, что он, несмотря на медицинское образование, в начале 1930-х годов из любви к литературе пришел работать в одно из крупных издательств в Москве. Когда оказались подмоченными несколько экземпляров брошюры Сталина, Льва Выгодского, как заведующего отделом, арестовали и отправили строить канал Волга—Москва.) Давид Исаакович хлопочет об освобождении брата, подает прошение на имя прокурора Акулова. Лев Исаакович был вскоре освобожден, но недолго пробыл на воле: умер от кровоизлияния в мозг.

В 1934 году умер и Лев Семенович Выготский, не дожив до 40 лет, но вовремя — до начала массовых репрессий, до постановления ЦК ВКП(б) от 4 июля 1936 г. «О педологических извращениях в системе Наркомпросов», отбросившего советскую психологию на десятилетия назад и предавшего имя ученого забвению на многие годы.

В страшные месяцы, когда арест родного брата и смерть двоюродного обрушились на Давида Исааковича, он получил

<sup>46</sup> «Жизнь искусства», 1922, 23 мая, с.4.

<sup>47</sup> «Россия», 1923, №6, с. 31.

<sup>48</sup> Зоя Александровна Никитина (1902-1973) — в 1920-е годы жена писателя Н.Н.Никитина, литературный редактор.

<sup>49</sup> Копия в архиве сына.



от М.Шагинян (которой, судя по обширной переписке, много помогал) такое письмо:

«Дорогой мой Давидушка, прости меня, что в трудную минуту твоей жизни я не пришла к тебе. Три раза была около твоего дома и не пришла — у меня не было внутренней силы сказать тебе утешительные и добрые слова, потому что в этот мой приезд я была не я. < ... >

Дай мне знать, не нужны ли деньги, впрочем, об этом я еще позвоню Эмме.

Целую нежно тебя и Эмму, прости меня еще раз. В эти три дня я была несчастнее — безнадежно несчастнее тебя.

27 апреля 1934

Твоя Мариэтта»<sup>50</sup>.

Самым страстным и постоянным увлечением Выгодского, пронесенным через всю жизнь, была культура испаноязычных стран. Работая в Институте языков и литературы Запада, он мечтал побывать в Испании и странах Латинской Америки, друзья называли его испанцем, добавляли к имени «дон», «кабальеро». Обычно тихий и кроткий, он, по словам М.Слонимского, превращался в «огнедышащий вулкан», воспламенялся, «когда разговор касался Испании, Филиппин, Латинской Америки»<sup>51</sup>.

20-е годы — это время возникновения культурных и научных связей между СССР и странами Латинской Америки, установления дипломатических отношений с Мексикой и Уругваем.

В 1926 году в заявлении в Народный комиссариат по иностранным делам, обосновывая свое желание поехать на работу в представительство СССР в Мехико, Выгодский пишет: «Длительное пребывание в Мексике даст мне возможность увеличить свои познания и сделать более плодотворной мою работу в Институте, тем более, что в центре моих занятий стоят вопросы о столкновении испанской культуры с другими (до сих пор с еврейско-арабской), а в этом смысле вряд ли можно найти место более интересное для исследователя, чем Мексика. Так что помимо пользы, которую я надеюсь принести непосред-

<sup>50</sup> Автограф в архиве И.Д.Выгодского. Публикуется впервые.

<sup>51</sup> М.Слонимский. Завтра, с. 468-469. Выгодский — автор книги «Литература Испании и Испанской Америки. 1899-1929» (Л., 1929), а также многих переводов произведений испанских писателей; в их числе — Бенито Перес Гальдос («Донья Перфекта». Л., 1935), Висенте Бласко Ибаньес («В поисках великого хана (Кристобаль Колон)». Л.-М., 1931; «Хутор». Л., 1935 и др.), Рамон Х.Сендер («Магнит», М., 1933), а также венесуэльский писатель Руфино Бланко Фомбона («Золотой человек». Л.-М., 1932). Изданы также выполненные Выгодским переводы с немецкого: «Голем» Густава Мейринка (Пб.-М., 1922), «Грядущая война» Иоганнеса Роберта Бехера (Л., 1926) и др.; в архиве Выгодского сохранились неизданные переводы — «Наука любви» Овидия, «Чудодейственный маг» Кальдерона, а также антология «Поэзия Латинской Америки».

ственно полпредству, я рассчитываю использовать мое пребывание в Мексике и для советской филологической науки»<sup>52</sup>.

Увы, железный занавес уже опустился, «филологическая наука» не была в почете, а наивный беспартийный ученый, знающий тридцать языков, никого уже не интересовал.

В середине 1920-х годов в Ленинграде организовалась группа филологов, интересовавшихся литературой Испании и Латинской Америки, в нее входили литературоведы и переводчики: Б.А.Кржевский, Д.И.Выгодский, К.Н.Державин, В.В.Рахманов и др. В 1929 г. ими было создано Испано-Американское общество (в составе около 100 человек), задачей которого стало изучение литературы, культуры и экономики Испании и Латинской Америки, распространение знаний об этих странах в Советском Союзе. Денежный фонд составляли членские взносы, пожертвования и государственная помощь.

Первым председателем общества был избран К.Н.Державин, а с 1931 года Д.Выгодский. В его работе участвовали этнограф и писатель В.Г.Богораз-Тан, востоковед М.А.Салье, публицист П.М.Кирюшин, Э.И.Выгодская и др. Регулярно проходили заседания с докладами, встречи с учеными и писателями, посетившими испаноязычные страны. Обширную переписку вели члены ИСПАМО с литераторами этих стран, создали библиотеку из собственных пожертвований.

Тотальная идеологизация всей общественной и культурной жизни не обошла стороной и ИСПАМО: общество каждый год отчитывалось перед местными органами власти о работе, переводились на русский язык главным образом «общественно значимые» писатели. В предисловии к своей неизданной антологии «Поэты Латинской Америки» Д.И.Выгодский писал: «Задача книги — ознакомить советского читателя с совершенно неизвестной ему областью литературы. Упор книги не на характеристики отдельных поэтов, а на выявление разнообразия тенденций, направлений и устремлений наций двадцати республик». Дальше он признается: «Разумеется, реальные пропорции сильно нарушены в пользу революционных устремлений»<sup>53</sup>. В середине 1930-х годов в ходе реорганизации научных, литературных и художественных формирований ИСПАМО было ликвидировано.

В 1928 году Выгодский стал сотрудничать с аргентинским журналом «Orientacion». В октябрьском номере за 1928 год читаем: «Давид Выгодский, талантливый русский писатель молодого поколения, взял на себя обязанности корреспондента «Orientacion». Многого, очень многого ждем мы от преисполненной энтузиазма и интеллекта работы этого замечательного

<sup>52</sup> ГПБ, фонд Д.И. и Э.И.Выгодских, ед. хр. 4.

<sup>53</sup> Там же. Ед. хр. 326.

человека, который уже давно с любовью обращает внимание к красотам нашей Америки»<sup>34</sup>.

В октябре 1931 года в уругвайской газете «El Sol» было опубликовано письмо в редакцию Выгодского под названием «В России интересуются уругвайской литературой», в котором Давид Исаакович сообщает, что готовит антологию переводов поэтов Латинской Америки, что поэзией этих стран интересуются в Советском Союзе, но уругвайская литература «почти неизвестна нашим читателям». Выгодский просит подписать его на уругвайские литературные газеты и журналы, чтобы познакомить с писателями этой страны советских людей. Письмо сопровождается примечанием главного редактора газеты о том, что в России происходят разные интересные события, хотя в основном оттуда исходят угрозы, но на этот раз поступили хорошие вести от поэта, которому следует помочь.

В испанской и латиноамериканской печати Выгодский информирует читателей о новинках советской литературы, сообщает о выходе в свет рассказов М.Зощенко, «Похищения Европы» К.Федина, «Пушкина» Ю.Тынянова, «Петра Первого» А.Толстого, а также о переводах на русский язык испанских и латиноамериканских авторов — от классиков (Сервантеса) до современных писателей (С.Арконада, Р.Сендера, Ж.Амаду).

Издатели газеты «La Prensa», выходившей в Барранкилье (Колумбия), в номере от 26 февраля 1934 года приветствуют «талантливого русского литератора», поставившего перед собой прекрасную задачу — познакомить народы «степей» с достижениями мастеров Америки в различных сферах искусства. В июне 1934 года в газете «El Popular», выходившей в испанском городе Малага, было опубликовано обращение Выгодского по поводу предстоящей в 1937 году столетней годовщины со дня гибели Пушкина. В обращении Давид Исаакович указывает, что Академия наук поручила ему обеспечить библиографию переводов поэта на испанский, каталонский и португальский языки, а также исследований и статей о нем на этих языках, просит присылать публикации, отмечает, что особенно интересны первые переводы Пушкина. Это обращение было опубликовано в литературных газетах и журналах Испании, Португалии и большинства стран Латинской Америки.

Кроме Пушкина, которого он переводил на многие языки (в том числе на эсперанто), Выгодский переводил на испанский Я.Полонского, Ф.Тютчева, Д.Мержжовского, Ф.Сологуба, А.Ахматову, К.Бальмонта, А.Блока, В.Маяковского и др. В октябре 1935 года на далеких Филиппинских островах были опубликованы в газете «La Opinión» его переводы стихотворений В.Хлеб-

---

<sup>34</sup> Здесь и далее текст приводится по фотокопиям латиноамериканских изданий в архиве сына; перевод Б.В.Лукина.

никова на испанский язык и Г.Табидзе — с грузинского на испанский.

В 1935 г. возникла идея книги «День мира»<sup>55</sup>. По инициативе М.Горького стали готовиться к ее изданию. В книге предполагалось изложить события, происшедшие во всех странах мира в будний день 27 сентября 1935 года. Сбор материала по этому дню в Испании, Португалии, Латинской Америке был поручен наиболее популярным в этих странах советским литераторам — Михаилу Кольцову и Давиду Выгодскому.

В архиве Д.И.Выгодского сохранились письма из Испании и Латинской Америки, посвященные «Дню мира».

Испанский писатель Р.Сендер опубликовал в журнале «Tenzor» (апрель 1935 г.) открытое письмо М.Кольцову и Д.Выгодскому, в котором подтверждал получение их телеграммы о предстоящем «Дне мира», приветствовал проведение этого дня и сообщал, что уже 24 писателя дали свое согласие направлять в Советский Союз разнообразную информацию по поводу этого дня; обещаны были также газеты, кино- и радиопрограммы, театральные афиши, сведения о религиозных и политических событиях, рецензии и статьи.

Из письма уругвайского поэта С.-С.Витурейра от 28 сентября 1935 г. из Монтевидео (Уругвай)<sup>56</sup>:

«Гг. М.Кольцов и Давид Выгодский.

Товарищи и друзья, в высшей степени признателен за предоставленную мне возможность быть вам полезным и спешу исполнить ваше поручение, посылая заказной почтой газеты моей страны < ... >.

В другом письме, более достойном вашей любезной телеграммы, я попытаюсь раскрыть, уже как писатель, не политический, поверхностный, внешний, а нравственный смысл < ... > этой обыденной жизни в обычный день 27 сентября 1935 года.

< ... > Сердечно прощаюсь с вами и вновь поздравляю с замыслом такого произведения, как «День мира», в котором столь разительно обнаружится контраст между беспорядочной и почти бессмысленной жизнью капиталистических стран и эстетическим и нравственным порядком вашего государства».

Как видим, советская пропаганда достигла Латинской Америки раньше, чем правда о «нравственном порядке» в России послеоктябрьской.

Колумбийский поэт и журналист Грегорио Кастаньеда-и-Арагон в письме из Барранкильи от 30 сентября 1935 г. благодарит Кольцова и Выгодского за назначение его сотрудником от Колумбии «в работе над замечательной книгой» и сообщает, что радиogramму успел поместить в нескольких газетах. В письмах «Вельча» (подпольная кличка) из Монтевидео (Уругвай) от 10

<sup>55</sup> См.: «День мира». М., Изд-во Газетно-журнального объединения, 1937.

<sup>56</sup> Тексты писем приводятся по фотокопиям в архиве сына.

октября 1935 года, аргентинского архитектора Ф.Беретербиде из Буэнос-Айреса от 28 октября 1935 г., эквадорского писателя Хосе де ла Куадра из Гуаякиля (Эквадор) от 3 октября и 16 ноября 1935 г. и многих других также содержатся сообщения о поступающей для «Дня мира» информации.

18 июля 1936 года в Испании вспыхнул фашистский мятеж, началась гражданская война. Выгодский как личное горе переживал трагедию Испании. В письме к Антонио Мачадо он извещал: «Мой тринадцатилетний сын просит передать Вам, что своих двух канареек он назвал Дарро и Хениль, по имени двух рек Гренады, которые воспел убитый Федерико Гарсиа Лорка»<sup>57</sup>.

В еженедельнике «Литературный Ленинград» 23 октября 1936 года было опубликовано письмо испанского поэта П.Плани-Бельтрана к Выгодскому: «В первые дни восстания все писатели и художники стали солдатами. Потом многие из нас пошли добровольцами на фронт. В этих отрядах участвовали С.Арконада, Р.Сендер, Р.Альберти». Письмо заканчивается словами: «И как я писал тебе в предыдущем письме и сейчас повторяю мощным голосом наших героических борцов: они не пройдут!»

В боевом листке испанского округа Хатива за 23 января 1937 года опубликованы два письма от бойцов и командиров интернациональной бригады «советскому брату камарада Давиду Выгодскому»<sup>58</sup>. В письмах подтверждается получение от Давида Исааковича писем и книг на немецком и русском языках, которые розданы бойцам интербригады.

14 февраля 1938 года, когда Давид Исаакович вернулся домой с писательского собрания, за ним приехали с ордером на обыск и арест. Его жену, вернувшуюся с того же собрания чуть позднее, в парадном встретили красноармейцы с винтовками. Еще одним «врагом народа» стало больше, но даже в то ужасное время были порядочные люди всех уровней, возрастов, профессий, наций, которые сочувствовали «врагам». Как могли, помогали им и их семьям.

Когда Э.Выгодской потребовались ходатайства для спасения мужа, обвиняемого в «подготовке террористических актов», друзья-писатели дали свои поручительства. Вот сокращенные тексты этих характеристик<sup>59</sup>.

«Я знаю Давида Исааковича Выгодского с 1916 года по журналу «Летопись» Максима Горького.

Давида Выгодского мы все знали, как очень скромного, знающего и честного человека.

<sup>57</sup> «Звезда», 1937, №4, с. 197.

<sup>58</sup> Фотокопии в архиве И.Д.Выгодского.

<sup>59</sup> Копии в архиве И.Д.Выгодского.

У Выгодского в комнате замерзали чернила, но он работал хорошо и весело.

Давид Выгодский прямой, и в своей прямоте даже резкий человек. У него могут быть враги и люди, не верящие в бескорыстие его работы.

Я знаю Выгодского двадцать три года и за это время не слышал от него ни одного слова сомнения.

По-моему, это прекрасный товарищ и гражданин.

Виктор Шкловский.

*Москва, 21 ноября 1939 г.»*

«Давида Исааковича Выгодского я знаю со студенческих лет. Студентом, до революции, он сотрудничал в журнале А.М.Горького «Летопись». Всегда он был глубоко честным советским писателем и человеком.

Ю.Тынянов.

*Ленинград, 14 ноября 1939 г.»*

«Давида Исааковича Выгодского я знаю на протяжении многих лет, начиная с 1921-1922 годов. Знаю по работе в редакции журнала «Книга и революция», в котором он выступал как и библиофил, знаю как переводчика и поэта. Он является также весьма видным знатоком русской поэзии, особенно — библиографии поэзии советского периода.

Это человек от природы общественный, деятельный, неустанно работающий и очень скромный. В честности, прямоте, нравственной чистоте его у меня никогда не было повода усомниться.

Член Президиума Союза Советских писателей СССР

Конст.Федин.

*Москва, 19 ноября 1939 г.»*

«Давида Исааковича Выгодского я знаю с 1923 года. Все это время Д.И.Выгодский производил на меня впечатление человека с исключительно сильно развитой общественной жилкой, энтузиаста распространения в нашей стране классической западной литературы.

Со стороны общественной оценки Выгодский пользовался настолько большой популярностью и уважением, что, как мне известно, парторганизация ССП предлагала Д.И. вступить в партию, на партсобрании ему были даны лучшие отзывы. Никогда не приходилось слышать от Выгодского или о Выгодском хоть что-нибудь, что нарушило бы мое представление о нем, как о советском человеке и хорошем товарище.

Член Президиума Союза Советских писателей

Борис Лавренев.

*Ленинград, 13 ноября 1939 г.»*

«Мы знали Д.И.Выгодского с 1922 года. Мы знали его как талантливого литератора, много и плодотворно работающего в области перевода и популяризации революционной литературы. Эта работа создала Д.И.Выгодскому хорошее литературное имя. За все годы нам ни разу не пришлось столкнуться с таким фактом деятельности Д.И.Выгодского, который мог бы нарушить наше представление о нем, как о честном советском гражданине.

Мих.Зощенко  
Мих.Слонимский».

В домашнем архиве Выгодских сохранилась копия записки В.Шкловского того времени К.Федину, как занимающему высокий административный пост в Союзе писателей:

«Рожать ежой против шерсти легче, чем делать многие другие вещи. Твой еж авторитетней. Надо сделать тебе. Сделать это для друга и для меня. Я отслужу.

Твой Виктор».

Писатели и в застенках помогали друг другу. Арестованный через месяц после Выгодского поэт Николай Заболоцкий вспоминает: когда его, измученного издевательствами, побоями, пытками, втолкнули в камеру, переполненную заключенными, «стоящими вплотную друг возле друга или сидящими беспорядочными кучами», к нему привели П.Н.Медведева и Д.И.Выгодского. «Увидав меня в жалком моем положении, товарищи пристроили меня в какой-то угол», — пишет он<sup>60</sup>. Но и «пристроившим» его было нелегко. «Дав.Ис.Выгодского, честнейшего человека, талантливого писателя, старика, следовательно таскал за бороду и плевал ему в лицо», — продолжает Заболоцкий<sup>61</sup>.

Отлично знали свое дело сталинские палачи: «старику» Выгодскому не было еще и 45 лет.

Э.Выгодская формально оставалась в составе Союза писателей, но о публикации ее книг не могло быть и речи, лишь отрывки из ее повести для школьников были напечатаны в журнале «Костер» (№12) в 1940 году. Друзья, чтобы она что-то зарабатывала на жизнь, нашли для нее научные переводы. Мелкий готический нечеткий шрифт окончательно подорвал ее зрение, в результате всех невзгод она почти перестала видеть, стала инвалидом 1-й группы по зрению. В 1938 году и в последующие пять лет главное дело для Эммы Иосифовны — борьба за свободу, жизнь и достоинство мужа. Отныне практически вся жизнь была связана с тюремными очередями. Там Выгодская встречала многих друзей по Союзу писателей —

<sup>60</sup> Н.Заболоцкий. История моего заключения. — В кн.: Серебряный век. Мемуары. М., 1990, с. 664.

<sup>61</sup> Там же, с. 667.

А.Ахматову, у которой был арестован сын, Л.Н.Гумилев, жен арестованных поэтов — Е.Заболоцкую, Л.Стенич-Большинцову и многих других.

Сохранились черновики отчаянных писем и телеграмм, направленных Э.Выгодской Сталину, Берии, Прокурору СССР, Военному прокурору, Особому совещанию, главарям ленинградского НКВД — Заковскому, Гоглидзе. Депутат от того района, где жили Выгодские, народная артистка Е.П.Корчагина-Александровская от себя написала Берия ходатайство с приложением писательских отзывов. Никто из руководства НКВД Выгодскую, конечно, не заслушал; из бюро пропусков она смогла по местному телефону поговорить с секретарем Берия, который сообщил, что Лаврентий Павлович начертал резолюцию: «Приобщить к делу, учесть при решении».

Действительно, «учли»: Д.Выгодский получил всего... пять лет лагерей, хотя одним из пунктов его «обвинения» был террор. Давид Выгодский еще до ареста был серьезно болен, за полтора месяца до заключения вышел из больницы, ему требовалась операция на почках. В тюрьме сделали операцию: по отрывочным сведениям можно полагать, что оперировал его честный врач. На свидание в тюремной больнице разрешения не дали.

Из воспоминаний Е.К.Лившиц: «Я в больнице для уже осужденных. У меня мастоидит. На среду назначена операция. Сегодня воскресенье. Вчера Давид Исаакович Выгодский < ... > узнав о том, что и я попала в эту больницу, посвятил и передал мне более чем грустные стихи о Терпсихоре в атмосфере мата. Конечно, они у меня не сохранились».

В начале 1941 года Давида Выгодского при свидании в пересыльной тюрьме выносили на носилках. Эмма Иосифовна, жалея сына, считая его еще ребенком, не взяла его с собой, а в июле того же года он добровольцем ушел на фронт, в следующем, 1942 году ему на Воронежском фронте было присвоено первое офицерское звание «младший лейтенант» — он уже давно был взрослым.

До начала войны и в первые ее недели Д.Выгодского держали в пересыльной тюрьме (Константиноградская ул., 6), потом связь с ним прервалась. Позднее жена получила от него письмо из Карлага (Казахстан).

Находясь в Карлаге, Давид Исаакович изредка мог писать жене, иногда пересылал стихи, но не дождался освобождения, когда истек назначенный ему пятилетний срок. Последнее письмо от него жене отправлено 22 июля 1943 года, потом он замолчал...

Через год Э.Выгодская получила письмо, подписанное неразборчиво:

«Я знаю Вас и Вашего сына со слов Вашего мужа и, выражая Вам свое глубокое сочувствие, должна сказать, что, от-



правляя вам это письмо, — исполняю последнюю волю Давида Исааковича.

В июне прошлого года он заболел гриппом и, лежа в больницу, просил в случае печального исхода — сообщить Вам, что я и исполняя с чувством глубокого прискорбия»<sup>62</sup>.

Несмотря на тяжелейшую весть, жена и сын Выгодского бесконечно благодарны этой безвестной женщине, которая смогла быть человеческой в той бесчеловечной обстановке.

В ответ на запрос демобилизованного офицера Выгодского о судьбе отца пришел невразумительный ответ из Исправтрудлагеря МВД «Р» № 2-27/200354. Потом было получено письмо, подписанное помощником начальника ОАГС УМВД ЛО майором Войновой, о том, что Выгодский Д.И., «отбывая срок наказания, умер 27 июля 1943 г.».

В свидетельстве о смерти, выданном в Ленинграде в июле 1947 г., указано: «Место смерти — Дзержинский район города Ленинграда».

И после смерти энкавдешники глумились над своими жертвами.

В марте 1957 г., когда Эммы Иосифовны уже не было в живых (она скончалась 2 сентября 1949 г.), сын Д.Выгодского получил сообщение о том, что «дело» его отца пересмотрено военным трибуналом Ленинградского военного округа и постановление от 23 июля 1940 года отменено.

Для посмертного восстановления в правах члена Союза писателей нужно было подтверждение от трех писателей. Первым, кто выслал сыну Д.Выгодского необходимый документ, был Михаил Михайлович Зощенко.

Выгодские собрали прекрасную библиотеку, особенно полно представлена была русская поэзия, прежде всего первой трети нашего века; книги русских, советских, латиноамериканских, европейских писателей, многие с автографами; словари и справочники на нескольких десятках языков. В 1942 году, когда Д.Выгодский «отбывал наказание» в лагере, его сын был на фронте, а Эмма Иосифовна в связи с разрушением дома выехала с Моховой, — Публичная библиотека вывезла около двенадцати тысяч книг<sup>63</sup>.

Э.Выгодская добивалась возвращения библиотеки. И снова писатели пришли на помощь: Анна Ахматова, Ольга Форш, Михаил Зощенко и Владимир Орлов написали в 1945 году нарком просвещения соответствующее ходатайство. Однако библиотеку так и не удалось вернуть...

<sup>62</sup> Архив сына, И.Д.Выгодского. Там же хранятся тексты, цитируемые далее.

<sup>63</sup> Среди вывезенного, помимо книг, была уникальная коллекция автографов (О.Мандельштама, М.Кузмина, М.Зощенко, В.Маяковского, С.Ольденбурга и многих др.). Список подписан сотрудником Отдела рукописей А.П.Могилянским. К сожалению, коллекция бесследно исчезла.

Давид Выгодский был прекрасным отцом и мужем. Дневники и письма говорят о том, с какой тревогой и волнением следил он за поступками сына.

Из письма сыну от 30 апреля 1941 г. (Ленинград, пересыльная тюрьма): «...Напиши, Чижик, как идет подготовка к экзаменам. Много ли работаешь? Как прошел твой доклад о Есенине? Как провели вечер Маяковского? Все это меня очень интересует».

За два месяца до начала войны пророческими стали его слова, обращенные к сыну: «...Надеюсь, Чижик, что ты тоже теперь мне будешь писать чаще. Я понимаю, что мой арест поставил тебя в тяжелое положение... Сочувствую тебе очень, но что поделаешь? Это тебе первое испытание такого рода, и надеюсь, что ты честно выйдешь из него. Ведь ты только начинаешь жить, и придется тебе не раз расставаться с близкими. Научись сохранять с ними связь на расстоянии».

Не имея возможности быть рядом с сыном-подростком, Д.И. пишет ему стихи:

#### СЫНУ

Соблазны зла, мой сын, сильны,  
И даже огненный закал,  
Которым мы закалены,  
Быть может, будет слаб и мал.

Когда, покинув отчий дом,  
Ты окунешься в океан,  
Что и знаком и незнаком,  
И поневоле будешь пьян

От мысли, бьющейся вразброд,  
От страсти, брызжущей на всех,  
От болей, радостей, невзгод,  
От искушений и утех,

Соблазны зла сильны, мой сын,  
Но будь сильнейших ты сильней  
И знай всегда — ты не один:  
Отец твой за спиной твоей.

Пусть мой, пусть твой, пусть наш закал,  
Которым мы закалены,  
Покажет всем, кто слаб и мал,  
Что люди могут быть сильны.

*Пересыльная тюрьма*

Сохранилась неотправленная открытка сына от 19 июля 1941 г.: «Дорогой папа! Завтра ухожу в армию. Направят, по

всей вероятности, на Западный фронт. Когда кончится война, надеюсь, все трое сможем увидаться живыми и здоровыми. Целую. Твой Асик».

Через несколько дней 17-летний доброволец уже был на фронте, и следующие два года, до кончины отца, к нему прорывались сквозь военную и лагерную цензуру редкие фронтовые треугольники сына, они согревали измученного человека, жизнь в котором теплилась благодаря любви.

Из письма Д.Выгодского от 14 мая 1943 г. (Карлаг) жене: «...Это моя старая мысль, что любовь спасает человека, что смерть отступает перед силой воли любящих. Знаю твердо: если предстоит мне жить до встречи с тобой, с Асиком, то это только благодаря вашей любви, сила которой может победить, отсрочить смерть. Только это продляло мои силы, давая желание жить в течение этих долгих пяти лет. Вот почему каждое письмо от вас для меня подлинное счастье, хотя и без писем я знаю, что вы со мной...

Что же, будем надеяться, что встретимся еще... Иначе как без этого жить? А если не оправдается надежда, то до последней минуты, до последнего мгновения буду с вами, буду с тобой... Люблю тебя и верю в тебя...» И далее: «...Какая отрада, что в эти тяжкие годы в моей судьбе ты хоть издали со мной...»

Можно себе представить, как беспокоился Давид Исаакович за сына-солдата, затем командира. Хотя летом 1941 года Выгодский-младший еще не достиг 18-летнего призывного возраста, отец не сомневался в том, что сын на фронте с первых месяцев войны.

Из письма жене от 11 февраля 1942 г. (Карлаг): «...Особенно, разумеется, беспокоюсь за Асика, который, как нелегко догадаться, находится не меньше полугода на фронте. Ничего не скрывайте, что бы с ним ни случилось. С гордостью думаю о том, что мой сын защищает родину... Порою, читая газеты, лью себя мыслью встретить его имя среди героев... Но приходят в голову и другие — черные — мысли...»

Из письма жене от 28 ноября 1942 г. (Карлаг): «...От Асика письма получаю, я радуюсь за него. Надеюсь еще увидеть его. Мне все же страшно думать, что он уже лейтенант. Ведь я оставил его почти при игрушках».

Из рассказов оставшихся в живых узников советских лагерей мы знаем, что некоторым помогало выжить умение наблюдать жизнь во всех ее, даже таких уродливых, проявлениях. И желание рассказать когда-нибудь обо всем увиденном: о величии человеческого духа, единении людей, верности, силе любви, а также о предательстве, подлости, жестокости.

Замыслов у Выгодского было много. Почти в каждом письме он пишет о самом заветном — дожить до «настоящей жизни», то есть до творческой работы. Желание выразить все, что «узнал, продумал, увидел», было, видимо, мощным стимулом бо-

роться за жизнь даже тогда, когда просто не на что было надеяться: распухал от любой физической работы (не справлялось сердце, отказывали почки).

Из письма жене от 29 марта 1943 г. из Карлага (менее чем за три месяца до смерти): «...Мучительно хочется работать, хочется написать и в прозе, и в стихах целый ряд вещей, рожденных этими тяжкими годами. Все попытки писать здесь стихи оказались неудачными; хочется заняться тюркскими языками, восточным Кавказом, систематизировать, уточнить, освоить все, что здесь узнал, продумал, увидел. Очень однако боюсь, что ничего этого сделать уже не удастся».

Из письма жене от 28 ноября 1942 г. (Карлаг): «...Но пока у меня на плечах голова, не хочу признавать себя инвалидом... главное остается прежним, — я остаюсь таким же, каким был, с той же любовью к вам, с той же жаждой к работе, с тем же голодом к знаниям...

И то, что я оторван от всего, подтачивает мои силы, может быть, больше, чем все физические трудности, которые я переживаю в течение пяти лет...

Мысль о том, что ты со мной и Асик со мной — хоть издали, — поддерживает меня все время. Хочу дожить до того часа, когда родина признает меня не врагом, а сыном, каким я был всю жизнь...»

Из последнего письма жене от 22 июля 1943 г. (Карлаг-лазарет): «...очень-очень хочется еще повидаться с тобой, с Асиком, хочется еще работать, участвовать в возрождении родины после разгрома фашистов, но надежд на это все меньше и меньше. Ваша любовь и твое ожидание поддерживают. Верю в целебную силу любви больше, чем <нрзб>... Целую тебя, люблю тебя и жду встречи!»

В самые страшные дни и месяцы (тяжелое заболевание почек, операция в неволе, сердечная недостаточность, голодный паек инвалида — еще меньше скудного пайка работающего заключенного) этот хрупкий и до ареста физически слабый человек держался на ногах благодаря неиссякаемой духовной энергии и несокрушимой творческой внутренней работе, которую остановить не мог никто: ведь мысль арестовать нельзя. Он и через 20 лет оставался тем же «философом Давыдом», каким был в дни свободы и молодости.

В период хрущевской оттепели о Д.Выгодском писали В.Шкловский в «Знамени», М.Слонимский в «Звезде», М.Шагинян в «Нашем современнике», был издан небольшой сборник его переводов рассказов Висенте Бласко Ибаньеса («Солнце мертвых», М., 1965). В 1964 году была образована комиссия по литературному наследию Д.И.Выгодского под председательством М.Л.Слонимского. Комиссия решила:

1. Подготовить к печати книгу избранных оригинальных стихов и стихотворных переводов Д.Выгодского, а также его

статей и очерков о советской и иностранной литературе, обратив особое внимание на переводы произведений поэтов Латинской Америки — Кубы, Мексики, Венесуэлы, Чили, Перу, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Уругвая, Колумбии, Боливии, Коста-Рики, Никарагуа.

2. Просмотреть и рекомендовать к переизданию прозаические переводы Д.Выгодского.

Оттепель прошла, решение комиссии не было исполнено. 11 января 1966 года в Доме писателя имени Маяковского в устном альманахе новых переводов «Впервые на русском языке» одним из разделов было «Творчество Давида Выгодского». Вступительное слово о поэте произнес М.Л.Слонимский. О значении Д.Выгодского для советской культуры и культуры испаноязычных стран рассказал филолог-романист и переводчик В.Е.Шор.

Для оклеветанного и погибшего писателя настоящей реабилитацией могло бы стать не казенное уведомление военной прокуратуры, а издание его трудов.

Ниже публикуются несколько стихотворений Д.И.Выгодского, написанных в ленинградской пересыльной тюрьме и в Карлаге. Они были отправлены жене и сыну, находятся в домашнем архиве Выгодских.

\*\*\*

Катя. Катенька. Катюша,  
Целый день готов я слушать  
Твой звенящий голосок.  
Целый день готов шептать я:  
«Катенька, Катюша, Катя,  
Самый ласковый зверек».

*Март 1941 г.*

*Ленинград. Пересыльная тюрьма*

\*\*\*

Неясный очерк алых пятен  
На бледно-матовых щеках...  
О, девушка, мне так понятен  
В твоих глазах мелькнувший страх.  
Пока зима — еще ты с нами  
Пьешь жизни крепкое вино,  
Хранима белыми снегами,  
Как спящее в земле зерно.  
Но дни идут, и скоро, скоро  
Растают теплые снега,

И тотчас вступят в разговоры  
С рекой крутые берега.  
Зерно, проспавшее под спудом  
Назначенный природой срок,  
Лучами светлыми, как чудом,  
Взрастит зеленый стебелек.  
Придет веселая, хмельная,  
Твоя последняя весна,  
Зеленой веткою кивая,  
Тебе шепнет: «Осуждена».  
И что скажу тебе я, нежный,  
Недолговечный, милый друг,  
Когда увижу я безбрежный  
В глазах таящийся испуг?  
Солгать, сказать, что ты напрасно  
Так часто мыслишь о конце,  
Что новым способом прекрасно  
Лечить возможно тебеце?  
Или мечтой о светлом рае,  
Старинной верою отцов  
Тсбя баюкать, навевая  
Спокойное блаженство снов?  
Иль жуткой песней Вальсингама  
Тсбя завлечь в водоворот,  
Чтоб не заметила в тумане  
Ты, как Суровая войдет?  
Нѣт, не придумать утешений,  
Целительной не надо лжи,  
Мы оба тасм: дснь весенний  
Не всем дарует свет и жизнь.  
На ужас ужасом отвечу,  
Других ответов не найти,  
И безнадежным воплем встречу  
Твое последнее прости.

*Март 1941 г.*

*Ленинград. Пересыльная тюрьма*

\*\*\*

И вновь ложусь, заране зная,  
Что снова долго не усну,  
Что буду мучиться, взывая  
К освободительному сну.  
Что только в час, когда зардеет  
Зарюю темный небосклон,  
Мне грезы смутные навсѣт  
И отдых даст недолгий сон.

Что после болью головою  
Терзаться буду целый день  
И ждать, когда же над землею  
Расстелется ночная тень.

Что лягу вновь, заранее зная,  
Что снова долго не усну,  
Что буду мучиться, взывая  
К освободительному сну.

*15 мая 1941 г.*

*Ленинград. Пересыльная тюрьма*

#### ШУТКА

Каюсь, но что я мог сделать? Во сне  
Ночью сегодня явились вы мне.  
Я и приник к вам и стыд потерял,  
Все целовал, целовал, цловал.  
Грешен, но сон мне теперь не забыть,  
Коль не смогу его в явь претворить.

*18 мая 1941 г.*

*Ленинград. Пересыльная тюрьма*

#### РОДИНА

Что день, газетные листы  
Тревожат пленные мечты,  
Людская жизнь проходит мимо,  
Давно я не участник в ней,  
Так явственно, почти что зримо,  
Уходят из груди мой  
Последние остатки жизни,  
Ненужные мой отчизне.

Как сладко было б умирать,  
Когда бы Родина, как мать,  
С туманными от слез глазами  
Склонилась тихо надо мной,  
Своими мягкими руками  
Лоб охладила б жаркий мой  
И приняла бы в час прощанья  
Мое последнее дыханье.

Но страшно уходить во тьму  
Покинутому, одному  
И знать, что та, кто всех дороже,  
Как ни моли, как ни зови,

Не взглянет пристально на ложе  
Глазами светлыми любви,  
Что лишь презрение и злоба  
Твои попутчики до гроба.

О Родина, в последний час,  
Пока рассудок не угас,  
Клянусь последним взлетом мысли,  
Что я от разрушенья спас,  
Клянусь слезами, что нависли  
На уголках потухших глаз, —  
Я верен был своей отчизне  
И верным ухожу из жизни.  
Нет, незаслуженно изгнание  
Тобой дано мне в наказание.

В изгнании поседевшей головой  
Клянусь, о Родина, я твой, я твой.

*25 мая 1941 г.*

*Ленинград. Пересыльная тюрьма*

#### ГЛУБИНА

Как набежавшая гроза  
Среди вечерней тишины,  
Твои внезапные глаза  
Невероятной глубины,  
Как ливня проливного шум,  
Сорвавшегося с облаков,  
Как налетевший вдруг самум  
На лоне царственных песков.  
Так покоряет глубина,  
Захватывая дух, влечет,  
Когда перед тобой она  
Непроходимая встает.  
Агат, сапфир или бирюза?  
Кто точный может дать ответ?  
Бездонны дивные глаза,  
И разве есть у бездны цвет?  
Мечта, легенда, сказка, миф?  
Неправда! Тридцать лет назад  
Я целовал твои, Юдифь,  
Неповторимые глаза.

*26 мая 1941 г.*

*Ленинград. Пересыльная тюрьма*



\*\*\*

Как усмирить бунтующую кровь,  
Когда ее не радость, не любовь,  
А вдруг разбушевавшаяся злоба  
Взволнует так, что кажется, до гроба  
Теперь никто уже не укротит  
Потока, что несется и кипит,  
Врываясь в каждый закоулок тела,  
Чтоб все болело, ныло, жгло, горело,  
Покоя не давая ни на миг,  
Как черный демон, что к груди приник,  
И в когти взяв и волю, и сознание,  
Лишает их привычного призвания, —  
Ужель с собой бороться средства нет?  
Нет, средство есть, коль ты и впрямь поэт,  
Страдай один о злобе жгучей, чтобы  
Остался стих взамен ушедшей злобы.

Май 1941 г.

Ленинград. Пересыльная тюрьма

\*\*\*

Уже местами темен снег,  
Уже замыслил, видно, он  
И буйные разливы рек,  
И всходы, мягкие, как лен.

Вот он растает, потечет,  
В ручьи вливая ручейки,  
И приподымет тлстый лед,  
Дойдя до скованной реки.  
Чтоб, переполнив до краев,  
Ее швырнуть на ближний луг,  
Стирая грани берегов,  
Затонов, отмелей и лук.

И, возвращаясь в берега,  
Оставит на сырых полях  
Вновь укрошенная река  
Живую влагу в семенах.

Так, неизменная, в свой срок  
Придет бессмертная весна,  
Вливая животворный ток  
В людей, и в птиц, и в семена.

Карлаг

Сквозь толщу злобы человеческой,  
В сто тысяч раз звериной злей,  
Сквозь вопль, и стон, и боль увечий,  
Сквозь вонь гниющих волдырей,

Сквозь человеческую мерзость,  
Сквозь тайный страх и явный смрад,  
Где каждый нерв вконец истерзан  
И легкие, хрипя, чадают,

Глаза увидели глаза  
(Что в том, что вокруг легли морщинки?),  
Глаза наткнулись на глаза,  
Как щит на щит на поединке.

И четкое отображенье  
Глаза увидели в зрачках  
Того, что было в поле зренья,  
Что вызывало боль и страх.

Глаза наткнулись на глаза,  
Но пристальные от рожденья,  
Они увидели и за  
Зрачками дивное виденье.

Такая там любовь цвела,  
Такая нежность клокотала,  
Как будто бы источник зла  
Собою затопить желала.

И стало ясно — все мираж:  
И боль, и страх, и вопль, и злоба.  
Одна лишь есть, одна: все та ж  
Старинная любовь до гроба.

*Карлаг*

**П**убликации

1

# ПИСЬМА С.П.БОБРОВА К АНДРЕЮ БЕЛОМУ 1909–1912

## Вступительная статья, публикация и комментарии К.Ю.Постоутенко

Письма, предлагаемые вниманию читателя, по многим обстоятельствам необычны. Главное противоречие коренится в несоответствии формы и сущности их коммуникативной структуры: принято считать, что переписка — прежде всего — диалог, а в нашем случае отсутствуют даже формальные признаки диалогичности — адресант практически не предполагает какого-либо ответа. С этим связана и жанровая трансформация — эпистолярный начинает включать в себя элементы дневника, обращенного не только к формальному адресату, но и к себе. Поэтому поиск необходимой формулировки, подчас занимающий не одну страницу, оказывается важнее соблюдения эпистолярных канонов.

Автор публикуемых писем — Сергей Павлович Бобров (1889–1971) — не слишком хорошо известен современному читателю. Из осколков его разнообразного творчества — поэтического, прозаического, критического, живописного, научного, помеченного разнообразными псевдонимами<sup>1</sup>, трудно составить цельный образ — слишком уж велик разброс тем и мнений. То немногое, что написано о Боброве, представляет его деятельность прежде всего в качестве редактора основанных им издательств — недолговечной «Лирики» (1913) и боевой «Центрифуги» (1914–1922)<sup>2</sup>. Предшествующий период неизменно оказывается вне поля зрения. Но именно он отражен в публикуемых письмах и требует от нас нескольких поясняющих штрихов.

<sup>1</sup> Данная тема представляет вполне самостоятельный интерес, далеко выходящий за рамки нашей заметки: укажем, что список, представленный И.Ф.Масановым (И.Ф.Масанов. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. М., 1960. Т. 4, с. 71), даже с учетом позднейших дополнений (см.: Ю.М.Гельперин. Бобров Сергей Павлович. — В кн.: Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. I. А–Г, с. 294), покрывает не более половины использовавшихся Бобровым псевдонимов.

<sup>2</sup> При этом даже в лучших статьях (к коим, несомненно, относится «История «Центрифуги»» Л.С.Флейшмана: Л.С.Флейшман. Статьи о Пастернаке. <Bremen>, 1977, с. 63–101) различим отчетливый «пастернаковский» уклон, не способствующий объективности: написанное же о «Лирике», несмотря на ряд интересных наблюдений, зачастую лишено историко-литературной основательности (см., напр.: С.Я.Казакова. Творческая история объединения «Центрифуга» (заметки о ранних поэтических взаимосвязях Б.Пастернака, Н.Асеева и С. Боброва). — Russian Literature (1990), v. XXVII, p. 459–482).

Первое из писем датировано маем 1909 г. К этому времени Бобров уже дважды напечатал в журнале «Весна» свои стихи<sup>3</sup> и, вероятно, имел все шансы продолжать свое сотрудничество с изданием, обложку которого украшал нарочито демократический девиз: «В политике — вне партий, в литературе — вне кружков, в искусстве — вне направлений». Однако существование в полулитературе, где под маской объективизма скрывался незамысловатый коммерческий цинизм издателя журнала Н.Г.Шебуева, уже не вполне удовлетворяло честолюбивого стихотворца. Задним числом Бобров припоминал свои тогдашние размышления так: «Конечно, я кое-как догадывался, что весь секрет Шебуева заключался в его полнейшем равнодушии к качеству присылаемых ему со всех сторон стихов — в расчете на то, что все эти крошечные пигмей-стихоплетки будут теперь на последние гроши покупать у газетчиков его неразборчивый журнальчик»<sup>4</sup>. С особой силой противоречие между «беспристрастностью» редактора и постоянных сотрудников «Весны», с одной стороны, и бунтарской, по их понятиям, тенденциозностью Боброва — с другой, обнаружилось на встрече редакции журнала и его московских авторов: «Мне казалось, — начал я, сбываясь и ненавидя себя за это, — когда я шел сюда, что здесь пойдет разговор... живой разговор о той любимой нами поэзии, которой посвящен наш журнал... поэзии, которая так дорога нам всем, кто действительно ценит новую возродившуюся поэзию, кто любит замечательные стихи Брюсова, Блока, Белого, поэтов, к которым сами собой влекутся мечты молодого начинающего стихотворца... а вот вместо этого мы сидим и слушаем унылые рассказы о литературных нравах <...>. «Искушенные» слушали мои кипучие речи с худо скрываемыми усмешками, а Шебуев старательно что-то чертил на своей бумажке»<sup>5</sup>.

«Панегрик новому искусству»<sup>6</sup>, прозвучавший в редакции журнала «Весна», с достаточной откровенностью обнаружил литературные пристрастия Боброва. Однако частично ему удалось реализовать свои символистские устремления уже в рамках «Весны», куда в 1909 г. была отдана рецензия на сборник В.Я.Брюсова «Все напевы» (М., 1909). Трудно, впрочем, назвать рецензией этот неумеренно восторженный отзыв с нотками нехарактерного для Боброва иррационализма: «альманахи «Шиповник», пресловутые сборники «Знания», сотни книг «сегодняшнего дня» — Чулкова, Куприна, Тетмайера, Муйжеля, Андреева, Каменского и т.д. до бесконечности, разные «Литературные распады», скверные переводы Уайльда, «Современные миры» и т. д. и т. д. Тянется, тянется эта серая армия безнадежных, и не предвидится ей конца. И как вспыхивает душа, когда среди этих кричащих об-

<sup>3</sup> С.Яншин. Spiritus. Посвящается Валерию Брюсову. — «Весна», 1908, №9, <с. 7>; С.Химик. Соната. — «Весна», 1908, №14, <с. 5>.

<sup>4</sup> С.Бобров. Записи о прошлом. — ЦГАЛИ, ф.2554, оп.2, ед. хр. 266, л. 24.

<sup>5</sup> Там же, л. 28-29.

<sup>6</sup> С.Бобров. Записи о прошлом. — В кн.: Воспоминания о Николае Асееве. М., 1980, с. 8.

ложек с такими загогулинами, что и не разберешь названия книги, — увидишь магическое имя «Валерий Брюсов»<sup>7</sup>. Но так же несправедливо сводить содержание заметки к безотчетному восхищению, игнорируя такие, например, строки: «На наших глазах из всеми изруганного, оплеванного «декадента» вырос громадный утес мысли и мечты. Раньше ожесточенно ругали, теперь — говорят с уважением и раболепием или с затаенной злобой»<sup>8</sup>.

Обеспокоенный тем, что лишенная эстетического чутья журнальная критика стремится поместить новую литературу в прокрустово ложе нормативных представлений, Бобров пишет и «возражения на критику» — отклик на книгу Т.Ардова (В.Тардова) «Отражения личности. Критические опыты», где та же мысль проводится с еще большей настойчивостью: По <...> удобному и покойному пути — *филистерского* приспособления к символизму — ползут все эти господа Ардовы, Абрамовичи, Измайловы, Ляцкие, Айхенвальды и т.д. вплоть до Шебуева. Вчера еще они кричали: «да, теперь мы знаем, что такое символизм: это все, перед чем можно воскликнуть — черт знает что такое!» — сегодня они пресерьезно рассказывают Вам, что «Брюсов — революционер формы» (великое открытие), у Белого в стихах-де видится «самая ясная, нежная поэзия», а потом вдруг совсем неожиданно для них прорывается вчерашняя ругань<sup>9</sup>. Итоговый вывод столь же неутешителен: «Книга г.Ардова — тягчайшее оскорбление символизма. Мы кичимся тем, что наша литература — всеобщее достояние; скорее падо бы плакать об этом! Все захватано грязными руками эпигонов»<sup>10</sup>. Разумеется, эта рецензия не могла (и не рассчитывала, как видно из упоминания Шебуева) появиться на страницах «Весны»; своей неприкаянностью она фиксировала переходность момента. К этому же времени, вероятно, была написана и не дошедшая до нас рецензия на «Урну» А.Белого, вышедшую в том же году<sup>11</sup>. Устав от беспорядочной рассылки собственных стихотворений и рассказов, лимитировавшей лишь финансовыми возможностями, и прекратив бесплодные попытки создания вокруг «Весны» группы единомышленников, Бобров отложил на время мечты о собственном журнале<sup>12</sup> и решал попытаться

<sup>7</sup> И.Трумф. «Все напевы». — «Весна», 1910, №10, <с. 6>.

<sup>8</sup> Там же, <с. 7>.

<sup>9</sup> Орфик <Рец.>: Т.Ардов <В.Тардов>. Отражения личности. Критические опыты. М., 1909. — ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 98, л. 5.

<sup>10</sup> Там же, л. 6.

<sup>11</sup> Кроме публикуемых писем, о ней сообщает лишь дневниковая запись: «Вышла новая книга Андрея Белого. Видел ее в книжных магазинах. Пролистывал. Теперь вознамерился кое-что написать о ней. Кое-что написал. Но остановился за неимением ее у меня» (С.П.Бобров. Дневник (запись от 15 марта 1909 г.). — ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 273, л. 24).

<sup>12</sup> «Я сейчас неизбежно мечтаю о том, чтобы редактировать <...> журнал. О, это звучит гордо — «С.П.Бобров, редактор журнала — ну хотя бы — «Новые песни» — принимает по делам редакции по средам и пятницам от 5 до 7 вечера». О! Это, черт возьми, не шутка! С каким наслаждением изругал бы я тогда и Шебуева, и Арцыбашева, и иных, иных прочих!» (С.П.Бобров. Дневник, запись от 8 апреля 1909 г., л. 21).

счастья в личном знакомстве с боготворимыми кумирами, о чем я записал, слегка испуганный собственной дерзостью, в дневнике: «Еще я хочу выкинуть совсем гениальную вещь — снести Брюсову на просмотры мои стихи! Если завтра достану денег, то куплю тетрадь, спишу избранные стихотворения и с подобающим письмом снесу Брюсову. А потом еще Белому и Сергею Соловьеву. Может быть, из этого что-нибудь выйдет»<sup>13</sup>.

Знакомство с Брюсовым, однако, в это время не состоялось: после шестого визита на Цветной бульвар Бобров получил от его прислуги тетрадку своих стихов с короткой вежливой надписью: «К глубокому сожалению, не имею времени читать»<sup>14</sup>. Тем более неожиданным оказался результат встречи с Белым: «Расхвалил меня Белый. Обещал в «Весы» (!) снести мои стихи. Грр! Грр! Я готов прыгать от радости. Никогда я еще не слышал ни от кого, что что-нибудь сделанное мной имело какую-нибудь цену. А тут...! Ах, как я рад. Если меня напечатают в «Весях», то, значит, поместят в список сотрудников. Итого «Мар Иолэн», сотрудник журнала «Весы». О!»<sup>15</sup>.

Едва ли Андрей Белый, известный крайней переменчивостью настроений (и, следовательно, оценок), был неискренен в своих похвалах; едва ли, по той же причине, можно было хоть отчасти рассчитывать на выполнение данного обещания. Но Бобров, разумеется, рассудил иначе. Вхождение в круг символистов, санкционировавшееся публикацией в «Весях», казалось ему почти свершившимся отрывом от прежней окололитературной среды: «О, если бы меня взяли в «Весы»! У меня за спиной крылья бы выросли! Я бы тогда ни в какие «Лебеди» и т.п. ни одной строчки не давал»<sup>16</sup>.

Отношения с Белым рисовались в этот момент в чрезвычайно идиллических тонах: «С Белым я очень сошелся. Т.е., лучше сказать, он удивительно хорошо ко мне относится. Я с ним откровенен, как ни с кем. Я его сразу полюбил. <... >Глаза у него — до того ясные и чистые — что просто удивительно. Они всегда горят поистине светом мысли гения — и, вместе с тем, такая прелесть и нежное приятие мира — глядят в них. До сих пор я не встречал более удивительного человека. Он подарил мне свою «Урну». — III-ю книжку стихов — удивительно прелестную — с милой надписью: «Дорогому Мар Иолэну в знак искреннего расположения». Милый человек!»<sup>17</sup>.

Бобров, однако, не избежал общей участи окружавшей издательство «Мусагет» молодежи<sup>18</sup>, которая видела в Белом не только непревзойденного поэта, но и духовного наставника и жестоко обманулась в своих

<sup>13</sup> С.П.Бобров, Дневник (запись от 12.4.1909 г.), л. 24.

<sup>14</sup> Там же (запись от 30.4.1909 г.), л. 26.

<sup>15</sup> Там же.

<sup>16</sup> Там же (запись от 19.5.1909 г.), л. 28–28об.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> «Кружок работал под общим руководством А.Белого над теорией стиха, занимался исследованиями ритма русских поэтов и вел правильную кружковую работу, собираясь еженедельно для сообщений и докладов о работе члнов.



надеждах на подлинную духовную близость<sup>19</sup>. «Весы», закрывшиеся в конце 1909 г., так, разумеется, и не напечатали его стихов, а приблизительно через год, в 1910 г., неожиданно вышла в свет более чем полтора года назад отданная в «Весну» рецензия на «Все напевы» Брюсова. Вышла — и сразу попала в эпицентр разгоравшегося конфликта между Белым и Брюсовым<sup>20</sup>. Намного позднее Бобров характеризовал испытанные им тогда ощущения так: «Одно из самых поразительных, диких и совершенно сбивающих с панталыку явлений с молодым автором происходит как раз тогда, когда он волею судеб (по стечению обстоятельств или по собственной неосведомленности в литературной «ярмарке тщеславия») попадает как раз в ту тоненькую «нейтральную полосу», которая отделяет друг от друга враждующие литературные группы различного рода честолюбия»<sup>21</sup>. А вот как описывается сама оценка ссоры с Белым в тех же воспоминаниях: «Я как-то однажды под вечер забрел в «Мусасет». Там было непривычно тихо, и я сейчас же заметил, что там как будто никого нет. Но, заглянув в дверь из передней, я увидел, что за столиком направо < ... > сидит, как-то нарочито нагнувшись над рукописью со странно-хмурой физиономией, чем-то очень недовольный Белый; я вошел:

— Добрый день, Борис Николаевич!

Он не поднял головы, помолчал несколько минут и сухо бросил:

— Здравсте...

Чуж, что явился совсем не вовремя, что он сильно не в духе, не представляя себе, в чем тут дело, я промямлил смущенно:

— Извините, Бога ради, Борис Николаевич, я вижу, Вы очень заняты и я совсем не вовремя...

---

Кружком велась также работа по изучению творчества французских символистов, а отдельные члены кружка занимались переводами стихов из изучаемых поэтов. Эта работа велась под руководством Эллиса <Л.Л.Кобылинского. — К.П.>, прочитавшего в кружке < ... > целый курс по Ш.Бодлеру. Кружок работал также над теорией символизма и ставил общие вопросы искусства. В этот кружок входили: Ю.Анисимов, Н.Асеев, С.Бобров, С.Дурылин, П.Зайцев, С.Клычков, Б.Пастернак, Дм.Рем <А.А.Баранов. — К.П.>, С.Рубанович, А.Сидоров, В.Станевич, М.Цветаева, С.Шенрок и др. Из более известных тогда поэтов там бывали: Б.Садковский, С.Соловьев и В.Ходасевич. Кружок существовал до 1913 года < ... >» (Зайцев П.Н. Молодая московская поэзия. — ИМЛИ, ф.15, оп. 1, ед. хр. 4, л. 5).

<sup>19</sup> Показательно в этом смысле письмо к Белому В.О.Станевич, написанное, вероятно, годом позже: «Ведь разве Вы не видели, что к Вам пришла молодежь, как к писателю, как к мыслителю, который успокоит и поймет и даст ответ на те вопросы, с которыми мы так доверчиво приходим к нему. Мы сказали Вам: «учи нас, мы так хотим знать...» И неужели Вы прошли мимо, неужели еще раз подчеркнули пропасть между «избранными» и «толпой»? (ГБЛ, ф. 25.23.6, л. 68об. — 71об.).

<sup>20</sup> Его идейный подтекст вкратце охарактеризован С.С.Гречишкиным и А.В.Лавровым во вступительной статье к переписке двух поэтов (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976, с. 344).

<sup>21</sup> С.П.Бобров. Записи о прошлом, л. 97.

— Вы? Не вовремя?? — автоматически и на истерически-высоких нотах повторил Белый без выражения, впившись вдруг в меня осата-невшим взглядом, — а что Вы хотите, Вы, фельетонист?

— Я?.. Фельетонист?

— Да! Да! Вы — фельетонист!

Не сразу я смог ему что-нибудь ответить. И, собравшись с силами, еле-еле выговорил:

— Прощайте, Борис Николаевич!

Повернулся и ушел»<sup>22</sup>.

Как можно заметить из текста публикуемых писем, похожие сцены происходили между Белым и его преданным учеником еще не раз, ослабляя и без того недостаточное взаимное доверие. В 1910 г., видимо, наступило определенное охлаждение отношений: косвенное свидетельство тому — перерыв в переписке вплоть до начала 1911 г. Разумеется, о полном разрыве речи не шло — достаточно лишь напомнить, что с апреля 1910 г. Бобров активно работает под руководством Белого в Ритмическом кружке<sup>23</sup>, найдя применение своему поэтическому рационализму. В то же время неизменно корректный, доброжелательный, ровный в общении Брюсов становился для Боброва (несмотря на эпизодичность контактов) важным ориентиром не только в поэзии, но и в жизни. Создававшаяся двойственность своеобразно формировала поэтическую манеру Боброва: в позднейшей (1946) автобиографии он подчеркивал, что вышедшая в 1913 г. первая книга его стихов «Вертоградари над лозами» была «написана под влиянием символистов и поэтов Пушкинской школы, которыми я усердно занимался, интересуясь русским стихом (по примеру Белого) и Пушкиным (по примеру Брюсова)»<sup>24</sup>. Активно (и небезуспешно) развивая историко-литературные потенции Боброва, Брюсов устроил его на работу в «Русский архив»<sup>25</sup>, где когда-то работал сам. Он же, снабдив Боброва литературой вопроса, заказал ему для «Русской мысли» статью об А.Рембо<sup>26</sup>, став ее внимательным редактором<sup>27</sup>. Наконец, благодаря В.Я. и И.М.Брюсовым Бобров в конце все того же 1912 г. стал секретарем Общества Свободной Эстетики.

---

<sup>22</sup> С.П.Бобров. Записи о прошлом, л. 102.

<sup>23</sup> См.: С.С.Гречишкин, А.В.Лавров. О стиховедческом наследии А.Белого. — Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 515. (Труды по знаковым системам. Т. 1). Тарту, 1981, с. 101.

<sup>24</sup> ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 660, л. 20.

<sup>25</sup> Через год после этого, освоившись с секретарской должностью, Бобров напечатал в «Русском архиве» несколько анонимных рецензий.

<sup>26</sup> «На другой день мы сидим с ним в той же комнате — одни. Он разговаривает со мной спокойно, дружески, приветливо < ... >. Вот что, — говорит он, как-то странно поглядывая вверх, — напишите нам статью о Рембо». А ведь у меня столько о нем написано!» (С.Бобров. Мальчик. М., 1976, с. 485).

<sup>27</sup> Как явствует из письма Боброва к Брюсову (ГБЛ, ф. 386.77.46, л. 1), статья была доставлена в редакцию 18 февраля 1912 г. 6 октября того же года Брюсов писал секретарю «Русской мысли» А.П.Татариновой: «При всем добром

И все же сказанное — лишь дальние подступы к объяснению того безразличия, с которым Белый отнесся к письмам, посылавшимся ему во время путешествия на Восток 1910–1911 гг. В известной мере отсутствие писем к Боброву объясняется тем, что, ведя постоянную (как деловую, так и дружескую) переписку с А.С.Петровским и Э.К.Метнером, Белый по просьбе самих же «мусagetцев», оберегавших его от переутомления, вовсе не стремился давать ответ на каждое из полученных писем<sup>28</sup>. Главное, однако, заключалось и не в этом: не имея вразумительной информации о делах «Мусagета», с большим трудом и крайне нерегулярно получая оттуда письма и деньги<sup>29</sup>, Белый чувствовал себя отстраненным от дел издательства и досадовал на незначительность сообщаемой ему информации: «Вот уже три с половиной месяца я не имею ни одного официального сведения о «Мусagете». Пять раз мне писали об одном и том же: в среду такую-то С.Соловьев читал в «Мусagете» о Дельвиге. И по крайней мере на пять вопросов моих, о том, какие фелетоны получены, не получал ответа. Хоть бы десять раз мне писали о реферате Соловьева, все-таки 10 уведомлений о Соловьеве не равны одному уведомлению о том, должен ли Бугаев 1000 рублей или 150 из реально отработанных, но пока находящихся в рукописях деньгах»<sup>30</sup>, — писал Белый 14 марта 1911 г. А.С.Петровскому. В том же письме приводится составленный Белым полусерьезный реестр новостей, полученных из Москвы: «Вот компендиум того, что знаю о «Мусagете». Сергей Соловьев читал реферат о Дельвиге (корреспонденты: Сизов, Киселев, Эллис, Соловьев, Бобров, Ахрамович (кажется и еще кто-то). Далее — «Мусaget» *ищетает спокойно и гордо*» (корреспонденция Соловьева). Что спокойно, то знаем (выпустили за 4 месяца лишь Стигматы) <Stigmata — поэтический сборник Эллиса. — К.П.>, что гордо... Боюсь: не гордость ли успокоения. Далее «Эллис бунтует» (я тоже бунтую) (Сизов). Далее Штейнер-Штейнер-Штейнер-Штейнер (Бобров). Было судилище бедной Станевич (Станевич). Ритмический кружок в пятый раз переделывает работу о ямбе (Дурылин), в Москве носится безмерно-радушный блеск (корреспондент Сизов). Летим — обратно, к августу (корреспондент Сизов). Педерасты укрепились в эстетике (Соловьев). Иванов торжествовал (Си-

желании сократить статью более чем на 100–120 строк я не сумел: в ней все факты, и факты любопытные < ... >. О Рембо по-русски нет почти ничего; статья Боброва, вероятно, надолго будет единственной для знакомства русских писателей с этим поэтом. Она основана на достоверных данных, и мне было жаль лишить ее *деталей*, так как именно детали и есть то, что в ней ценно» (ИРЛИ, ф. 444, ед. хр. 46, л.8). Подробнее о статье см. в комментариях к письмам.

<sup>28</sup> «Не надо писать часто и тем более отвечать на письма, ибо все, написанное Мише <М.И.Сизову. — К.П.>, или Льву <Л.Л.Кобылинскому. — К.П.>, или Метнеру, или Кожебаткину, становится до известной степени достоянием общим», — писал ему 15 января 1911 г. А.С.Петровский (ГБЛ, ф. 25.21.16, л. 52).

<sup>29</sup> Эта неудовлетворенность прорывается даже в восторженных описаниях Востока (см.: Путешествие на Восток. Письма Андрея Белого. Вступит. ст., публ. и коммент. Н.В.Котрелева. — В кн.: Восток и Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988, с. 143–177).

<sup>30</sup> ГЛМ, ф. 7, оп. 1, ед. хр. 33а, л. 62, 65 (пагинация ошибочна).

зов). Иванов ушел несолоно хлебавши (Соловьев). Эрн читал «О введѣнском и дѣмонах (sic!)» (Соловьев).

Все это очень интересно, но, право, понять того, что делается в «Мусагете», по этим сведениям нельзя»<sup>31</sup>.

В этом перечне роль написанного Бобровым, как видно, не очень-то велика и значима: отчасти он повторяет уже сказанное другими, отчасти — противоречит самому Белому, о чем хотелось бы сказать подробнее.

Один из наиболее существенных парадоксов, характеризующих пребывание Боброва в кругу символистов, состоял в том, что, едва попав в «Мусaget» и всеми силами стремясь приблизить свои поэтические опыты к символистскому канону (прежде всего по образцам Белого), в теории он с самого начала вступил в осторожную, но непреклонную борьбу с символистской доктриной. Первая же предназначенная для «Трудов и дней» статья — «О лирической теме» — скорее представляла из себя программу новой поэтической школы (не замедлившей вскоре появиться), нежели варьировала символистские тезисы, что, впрочем, заметил и сам Бобров: «Пишу статью < ... > о лирике. Она выходит все же очень искусственной и априорной. И боюсь, что отдаляюсь от символизма»<sup>32</sup>.

Опасения оказались вовсе не напрасными: зыбкий, окруженный религиозно-мистическим ореолом *символ* заменялся почти строгой и подчеркнуто-эстетической (разве что с элементами неизбежной риторичности) *метафорой*. На страницах мусагетского альманаха статья выглядела задорной, но вовсе не полемической, отправляясь от выдвинутой в «Символизме» идеи символизации: «Символ дается в символизме. Символизм дается в символизациях. Символизация дается в ряде символических образов»<sup>33</sup>. Фактически же статья «О лирической теме» подготавливала новую и вполне самостоятельную эстетическую платформу, заявляя, например, что «единственный пафос, которым живет и которым творятся поэзия, — лирический»<sup>34</sup>. Неудивительно, что, когда статья обсуждалась 9 декабря 1912 г. в студии К.Ф.Крахта, из «мусагетцев» докладчика поддержали «только <А.А.>Сидоров и <С.Н.>Дурылин»<sup>35</sup> — будущие участники книгоиздательства «Лирика», для которого статья стала теоретическим манифестом.

Наконец, переписка фиксирует не только эстетическую, но и мировоззренческую противопоставленность позиций. Поворот к теософии наименее литературного из символистов — Эллиса<sup>36</sup>, а затем, к ужасу и недоумению Боброва, и самого Белого воспринимался Бобровым, изначально чуждым какой бы то ни было мистики, как поражение «Мусagета» в борьбе с альтернативным символистским крылом, олицетво-

<sup>31</sup> Там же.

<sup>32</sup> С.П.Бобров. Дневник (запись от 8.11.1912 г.), л. 35.

<sup>33</sup> А.Белый. Символизм. М., 1910, с. 139–140.

<sup>34</sup> С.Бобров. О лирической теме. — Труды и дни, 1913, №1–2, с. 119.

<sup>35</sup> С.П.Бобров. Дневник (запись от 9.12.1912 г.), л. 58.

<sup>36</sup> Словно предчувствуя аналогичный поворот в собственной философии, Белый относился к увлечению Эллиса не слишком последовательно: «Все мы

равшимся для него в первую очередь В.Я.Брюсовым: «А Брюсов-то оказался умнее и тоньше всех. А мы оказались просто дураками и коровами в сравнении с ним. О, если бы нам кто-нибудь тогда сказал: «...Что Вы! Ведь Белый-то Ваш через два года уедет к Штейнеру — теософии учиться!» — как бы смеялись над этой нелепицей, как корректно старались бы разъяснить идиоту его ошибку: «Штейнер, вероятно, придет к Белому учиться... А, скажите, Вы читали Белого?»<sup>37</sup>

Последние из писем к Белому, окрашенные в полемические тона, не могли приостановить размежевания недавних учителя и ученика, стремительно удалявшихся в своих воззрениях друг от друга. Больше их переписка никогда не возобновлялась.

• • •

Письма С.П.Боброва к А.Белому печатаются по автографам, хранящимся в Отделе рукописей ГБЛ (ф. 25, карт. 10, ед. хр. 2). При публикации восстановлен хронологический порядок переписки, а также целостность одного из писем (№ 5). Из дошедших до нас текстов не публикуется лишь короткая записка, текстуально почти полностью совпадающая с письмом № 10. Примечания в тексте принадлежат автору писем.

---

в ужасе от *"Штейнерьяды"* Эллисовского кружка. Впрочем, может быть, *она и к лучшему*, — писал он в апреле 1911 г. В.И.Иванову. (ГБЛ, ф. 109.12.29, л. 36об.).

<sup>37</sup> С.П.Бобров. Дневник (запись от 8.12.1912 г.), л. 57об.

Дорогой Борис Николаевич!

Был сегодня у Вас и сидел долго — но, очевидно, не Судьба, — не дождался.

Принес Вам *Tristan Corbière*. Очень Вам благодарен за него! Так чудно, так нежно! — Немного он походит на Бодлэра, но чуть-чуть. А «*Gens de mer*»<sup>1</sup> — это сильное Верхарна! «Маяк» удивителен. Вообще — новый мир — свет глянул на меня из этой книги. Очень Вам благодарен за нее. Мне, конечно, жаль, что я не застал Вас, но — все же — я должен благодарить Вас за минуты, которые я провел в Вашем кабинете. Сидел я, читал — Бодлэра, Роденбаха, Фета, Песнь Песней (надеюсь — Вы не рассердитесь на меня за это?) Такой <нрзб> и миром охватило меня у Вас. Тысячу раз благодарю я Вас.

Получили ли Вы мои стихи? Я принес Вам их в воскресенье. Как Вам понравились они? Произвела ли хоть какое-нибудь впечатление «Повесть без названья»?<sup>2</sup> Я писал ее с любовью.

Кстати — присылаю Вам мой адрес — может быть, он понадобится для «Весов» — Пречистенка, уг<ол> Штатного пер. д.Архипова, кв. 20 (Тел.248-41) (С.П.Бобров).

Не знаете ли Вы, какова судьба моей «Мертвой подруги»? Я звонил в «Весы», но Ликиардопуло<sup>3</sup> довольно резко ответил мне, что я смогу прочесть в «Весакх» об условиях приема и неприема<sup>4</sup>.

Еще — я попрошу Вас, Борис Николаевич! Будьте добры, напишите мне открытое письмо — когда к Вам можно прийти, а также адрес Эллиса. Я бы и к нему сходил.

Глубоко чтущий Вас

Сергей Бобров.

<sup>1</sup> «Роды моря» — стихотворный цикл французского поэта-символиста Тристана Корбьера (1845–1875) из книги «Желтая любовь» (1873). Августом 1909 г. отмечены первые попытки перевода Бобровым стихов Корбьера (см.: ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 236, л. 24-27).

<sup>2</sup> Данный текст, очевидно, не сохранился.

<sup>3</sup> Михаил Федорович Ликиардопуло (1883–1925) — критик, переводчик, секретарь журнала «Весы».

<sup>4</sup> Речь идет о публиковавшемся в каждом номере объявления «От редакции», в котором сообщалось о невозможности вступать в какие-либо объяснения с авторами по истечении условленного срока рассмотрения рукописей «ввиду значительного наплыва случайного материала».

Дорогой Борис Николаевич!

Я сегодня был у Вас — принципиально не застал и оставил две рукописи. Сказочку — «Город, погубленный дьяволом»<sup>1</sup> и маленькую заметку о Вашей «Урне». Сказочка моя мне раньше очень нравилась, а теперь я в ней все разочаровываюсь. Прочел я ее тут двум <нрзб> и они очень расхвалили, но они ничего не понимают и в силу этого получается двойственность («но двойственно нам приказанье Судьбы!»): или моя сказочка — гениальная вещь, способная увлечь всякого, — или она никуда не годится. Я лично стою за второе. Первые главы терпимы — в остальных ужасно много такой — знаете — все губящей Ауслендеровщины<sup>2</sup>. Откуда она у меня взялась — не знаю, кажется, я стараюсь всеми силами приблизиться к Уайльду. И самое главное — я не знаю, где она находится. Это — мучительно — не знаешь, откуда взяться.

Заметка моя об «Урне» ужасно слаба. Один из ее недостатков — это громадная *необъективность*. Но — я уже писал Вам — меня так чарует Ваша «Урна», что я не смогу писать о ней совершенно спокойно! Потом — о, Боже — в ней главный недостаток тот, что ни одного достатка нет! Искренность? — но искренность, как сказал Уайльд — «поза и самая раздражающая из поз»<sup>3</sup>. Я в конце концов в ней запутался и пришлось вылезать при помощи таких пошлостей, как: «велик, <нрзб> путь поэтов!» — это — в конце концов — безвкусица.

Борис Николаевич! Будьте так добры — исчеркайте ее ради Бога по всем направлениям — укажите мне, что в ней есть, — я сам *ее зачитал* и уже не могу совсем разобраться.

Вобщем у меня сейчас ужасно глупо и пусто на душе — достал я себе маленькое место — прихожу домой часов в 5, а то и в 7, и моя голова отказывается работать. Где уж тут быть изящным! Хотя эта жалоба нелепа — но я не могу выдумать ничего лучше.

Читал сейчас — в сотый раз — «Землю в снегу», потом «Нечаянную радость»<sup>4</sup> — и знаете — мне «Нечаянная радость» все же больше нравится. Книжки, которые отошли от нас на несколько лет — лучше воспринимаются. Был недавно у Эллиса — он уехал до 1-го. Говорят, он заболел — что с ним?

Борис Николаевич! Я к Вам заеду в четверг — часов в 7 вечера. Я боюсь Вас вызывать по телефону — ужасная у Вас лестница.

Пока до свидания.

Всегда Ваш С.Бобров.

P.S. — Между прочим — купили вы себе клякс-папира?

С.Б.

<sup>1</sup> Сохранились автограф и беловая машинопись (за подписью «Мар Иолэн»): ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 37, л. 8–30.

<sup>2</sup> Сергей Абрамович Ауслендер (1886–1943) — прозаик, критик, драматург. «Ауслендеровщиной» автор письма мог называть его неглубокое стилизаторство, делавшее связь писателя с символизмом не более чем внешне литературным альянсом (что, в свою очередь, подтвердилось метаморфозой ауслендеровского творчества пореволюционного периода; см.: М. Чудакова. Без гнева и пристрастия (формы и деформации в литературном процессе 20–30-х годов). — Новый мир, 1988, № 9, с. 243–244).

<sup>3</sup> Оскар Уайльд (1854–1900) — английский писатель и теоретик искусства, оказавший значительное влияние на Боброва.

<sup>4</sup> «Нечаянная радость» (М., 1907), «Земля в снегу» (М., 1908) — вторая и третья книги стихов А.А.Блока.

### 3

<Москва> 18.VI.<1>909

Дорогой Борис Николаевич!

Был у Вас много раз в Москве и ни разу мне не удалось Вас застать. Это меня ужасно тяготит. Я Вам снес мою сказочку, заметку об «Урне» и теперь не знаю, какое они произвели на вас впечатление. Особенно мне интересно узнать по поводу заметки — что скажете Вы — понял я Вашу «Урну» или нет?

Был я раза два у Эллиса, — он уехал. Так что его тоже не видал.

И я сейчас совсем растерялся — не знаю, куда броситься. У меня много новых стихов — очень хотелось бы показать Вам. Знаете, Ваша «Урна» дала мне много — мои стихи стали как-то угрюмей-серьезнее. У Блока — Вы, вероятно, замечали — иногда прорывается беспочвенность, иногда проглядывает — что отчаянно печально — ерунда. Вспомните его «Мещанскую жисть» и «Землю в снегу»! И безвкусица. «Ты перед ним, что стебель гибкой...» — перл безвкусицы. «Песельник» — право, я не могу придумать для этого стихотворения другого определения, кроме как ерунда<sup>1</sup>. А он оказал на меня больше влияние во всех своих проявлениях.

У Вас же нету ни безвкусицы этой, ни пустячков — за что я преклоняюсь перед Вами — и «Урна» меня вылечила от такого бесшабашного, развихляйного письма. И теперь я переживаю кризис. Иногда блоковский пустячок столкнется у меня с тяжелым Вашим символом — и получается вещь крайне неудобоваримая. И обилие неудачных вещей.



Видели ли Вы «Остров»<sup>2</sup>? Хотя первому блину полагается по штату быть комом — но все же я не ожидал, что петербуржцы дадут так бессовестно мало! Волошин — только приличен. Гумилев — ужас! — безвкусица невероятная. Потемкин — ...боюсь писать! А.Толстой кое-где мил, но (не знаю почему) его стихотворения производят на меня впечатление большой несерьезности. Но Вячеслав Иванов — великолепен! —

Вей, пожар! Идут герои  
От опальных очагов  
Плен делить иклады Трои  
И сокровища богов.

Кажется, так — цитирую на память. Только странно — до чего похоже это на «Торжество победителей» Жуковского. Но все же это великолепно. Какая острота, какая мощь!

Еще Кузмин. Кое-что прелестно — «Одигитрия» — очень хорошо. А «Благовещенье» (правда?) очень похоже на «Noli me tangere Maria» Брюсова<sup>3</sup>. Но это сходство не возмущает (меня по крайней мере), а наоборот — как-то даже радуешься, — знакомый мотив встретил! Прелестно по своей милой глупости «Успение» (между прочим, Кузмин тут, кажется, не за свое дело взялся — не «Успение Богородицы созданием Фомы нам открывается», а *Вознесение*, насколько я знаю). Очень понравилось еще «Вступление» — в нем проглядывает хорошая серьезность.

Достал я тут «Золотое Руно» за нынешний год — удивительно пустой журнал. Слов невероятное количество — но все так водянисто, так бесцветно! «Пепел» Ваш — Вы читали, конечно — очень они расхвалили, а вот «Урна» им, вероятно, не понравится<sup>4</sup>. Только немножко неприятно читать, когда Вас расхваливает Городецкий — право, он не особенно компетентен и его апломб шокирует — отзывается нахальством. Неприятный *писатель*. Есть там «Нежный Иосиф» Кузмина<sup>5</sup>. Не знаю, чем кончится, но пока он меня совсем не удовлетворяет. Похоже — знаете — на «Крылья». Хотя гораздо серьезнее. Говорят они там, что кто-то из «газетчиков» изругал Бальмонта за такую фразу:

«И смеющаяся и сияющая, тронув детский стебелек, она зажгла в детской душе огонь... и т.д. ...»<sup>6</sup>

Что Вы про это скажете? — знаете — как хотите — я человек очень терпимый — но этого «приятъ» я не могу. Какая-то <нрзб> sensiblerie<sup>7</sup> и право — чуть-чуть полоумное мычанье. Я готов принять чистое *накостничество* Кузмина в «Крыльях»<sup>8</sup>, но только не это. Это прямо злит. И как это не умно!

Недавно небезызвестный психиатр Чиж (см. А.Белый. «Возврат» — стр. 51 — «Гриф», Москва, 1905) напечатал (кажется, в «Вопросах Психологии и Философии») статью о современных помешательствах. Говорит там, между прочим, что

помешательство на революционной почве часто переходит в мистическое. И помешанные такого рода склонны объяснять все печали России по Апокалипсису<sup>9</sup>. И при сем саркастически замечает, что идеи этих помешанных весьма близки к идеям «современных богостроителей»... Трогательно! Появись-ка в наше время Франциск Ассизский<sup>10</sup>! Угодил бы он с своей Дамой Ницшею прямо в «палату № 6»<sup>11</sup>.

Ну я заболтался.

Но у меня к Вам просьба, Борис Николаевич! И очень большая. Не разрешите ли Вы мне приехать к Вам в Крюково, хотя бы часок с Вами поговорить<sup>12</sup>?! (Я не знаю — отдыхаете Вы или работаете. — Точка зрения очень эгоистическая). Напишите мне, Борис Николаевич, два слова — можно или нельзя. А если можно, то когда.

Примите мой сердечный Вам привет —

Ваш С.Бобров.

Мой адрес: М., Пречистенка — 33 — кв. 20 — С.П. Бобров.

<sup>1</sup> «Мещанская жисть» — иронический перифраз заглавия одного из разделов («Мещанское житье») в книге стихов «Земля в снегу». «Девушке» («Ты перед ним, что стебель гибкий...»), «Песельник» — стихотворения из той же книги.

<sup>2</sup> Имеется в виду «ежемесячный журнал стихов» «Остров», первый номер которого вышел в Санкт-Петербурге в 1909 г. В журнале были помещены стихотворения М.А.Волошина, Н.С.Гумилева, В.И.Иванова, М.А.Кузмина и А.Н.Толстого. Нижеследующая цитата — из стихотворения В.И.Иванова «Суд огня», помещенного в «Острове» (с. 10).

<sup>3</sup> Стихотворение В.Я.Брюсова из сборника «Все напевы».

<sup>4</sup> Характеристика поэтического сборника А.Белого «Пепел» (М., 1909) содержится в статьях В.И.Иванова (Вячеслав Иванов. О русской идее. — Золотое руно, 1909, № 1, с. 89) и С.М.Городецкого (Сергей Городецкий. Идолотворчество. — Там же, с. 96).

<sup>5</sup> Повесть М.А.Кузмина «Нежный Иосиф» публиковалась в семи номерах «Золотого руна» за 1909 г. (№ 1, 2-3, 4, 5, 6, 7-9 и 10).

<sup>6</sup> Цитата из рассказа К.Д.Бальмонта «Васенька» («Золотое руно», 1909, № 11-12, с. 45). В анонимном обзоре «Золотого руна» («Слово» <Спб.>, 27.11.1909 г., № 633, с. 5), который имеет в виду Бобров, говорится об «откровенном цинизме» рассказа.

<sup>7</sup> *sensiblerie* — притворная чувствительность (*фр.*).

<sup>8</sup> «Роман из современной жизни» «Крылья» («Весы», 1906, № 11), явившийся одной из первых публикаций М.А.Кузмина и «содержавший своего рода опыт гомосексуального воспитания» (А.Лавров, Р.Тименчик. «Милые старые миры и грядущий век» (штрихи к портрету М.Кузмина). — М.Кузмин. Избранные произведения. М., 1990, с. 6; ср.: Клаус Харер. «Крылья» М.А.Кузмина как пример «прекрасной ясности». — Михаил Кузмин и рус-

ская культура XX века. Тезисы и материалы конференции 15–17 мая 1990 г. Л., 1990, с. 37–38), был воспринят многими, в т.ч. и просвещенными читателями, как «пакостничество».

<sup>9</sup> В.Ф.Чиж, неоднократно печатавшийся в указанном журнале (правильное название — «Вопросы философии и психологии»), не публиковал там статьи на данную тему. Учитывая то, что сам Белый неоднократно склонялся к апокалиптическому толкованию исследуемых им явлений (см., напр.: Андрей Белый. Апокалипсис в русской поэзии. — «Весы», 1905, № 4, с. 11–28, ср.: D.Bethea. The Shape of Apocalypse in Modern Russian Fiction. Paris, 1989, p. 105–144 и др.), замечание Боброва обретает неожиданный подтекст.

<sup>10</sup> Франциск Ассизский (1181–1226) — итальянский проповедник, основатель Ордена францисканцев.

<sup>11</sup> «Палата № 6» — название одного из рассказов А.П.Чехова (1892), исследующего границу между свободомыслием и помешательством. О философских подтекстах рассказа, небезынтересных для данной параллели, см. комм. А.П.Чудакова (А.П.Чехов. Полн. собр. соч. Т. 8. М., 1977, с. 447–449).

<sup>12</sup> Письмо адресовано Белому в имение Дедово (близ ст. Крюково Николаевской ж.д.).

#### 4

26.VII.<1>909

Москва, Пречистенка, 33, кв. 20.

Дорогой Борис Николаевич!

Сегодня я узнал от Эллиса Ваш адрес и ужасно рад, что могу написать Вам. Я Вам писал, но не знал точного адреса, написал просто «Крюково». Письмо Вы, думается мне, не получили, но если оно Вас хоть немного интересует, Вы, вероятно, достанете его в Крюкове, на станции. Я, знаете, эти дни ужасно мучался неизвестностью — Эллиса нет — Вас тоже нет, на письмо к Вам никакого ответа. Я ужасно боялся, что Вы разочаровались во мне окончательно и молчите, чтобы не убить меня, так сказать, откровенным признанием в моей пустоте.

Я был прямо в ужасе последнее время! Вяч.Иванов ничего мне не отвечает (теперь узнал, что его просто нет в Петербурге); написал Брюсову. Тоже молчание (он за границей). «Остров» стихов моих принципиально не берет. «Лебедь», на который я возлагал столько надежд, скорострительно закрылся. Одним словом, пустота полнейшая и горчайшая. Стихи выходят горькие и вялые — самому совестно. Но теперь я воспрянул духом! Вчера захожу в «Дон»<sup>1</sup> — ура! — Эллис в Москве. Сегодня прихожу утром — он, конечно, спит. Начали говорить о том, о сем, петербуржцев поругали, поплакали о нашем глупом времени. Я тогда весной ругал Эллиса — но теперь был ужасно рад его ви-

деть<sup>2</sup>. Как пиит он настоящий честный человек. А теперь таких ужасно мало. Дал он мне Гюисманса<sup>3</sup> и Бодлэра<sup>4</sup>. Хорошая вещь «А rebours», но «Là-bas»<sup>5</sup> мне больше почему-то нравится. Или это перевод уж очень плох?

Эллис сегодня был очень мил, и я ему очень за это благодарен. Его рассуждения о мерзости и ужасе современности, собственно говоря, имеют под собой твердую почву. В последнем № «Золотого Руна» напечатана поэма (!!) *Потемкина*! От чтения оной поэмы прямо можно в ужас прийти! Вот красоты из нее:

Милый облик не мой, и она не моя,  
Лишь во сне я весной, зной (??), во сне лишь мой рай  
Лишь во сне вижу я — поцелуев роя (?)<sup>6</sup>

Черт знает что! Прямо не знаешь, что на это сказать, что возразить. И это печатается в одном номере с тончайшими рисунками Врубеля. Эллис говорит, что «Золотое Руно» существует последний год. В «Весах» у Вас неурядица — вдруг и они кончатся? Ведь это будет прямо ужасно — ни одного порядочного журнала! Волошин собирается с осени начать в Петербурге «Аполлона», но как-то не верю я в петербургские «зачинания». Начинаются они все с гулом и громом, а кончаются — ничем. Яркий пример — «Остров». Видели Вы его. Там тоже — увы! — Потемкин! Скоро он будет российской знаменитостью, напечатает его «следящая очень чутко за молодыми силами» «Речь», «Сатирикон» карикатуру поместит — и готов новый «маститый». Это глупо так брюзжать — но меня ужасно злит эта история!

Прочли ли Вы, Борис Николаевич, мою сказочку и заметку об «Урне»? Что вы про них скажете? Милый Борис Николаевич, умоляю Вас! Напишите мне о них два еловечка! Хотя обругайте! Мне ужасно хочется от Вас хоть слово услышать. Вы — единственный человек, которому я могу отдать свою душу «на просмотр» искренно — ничего не боясь. Каждое Ваше слово для меня — драгоценность. У меня сейчас много новых стихов — если Вы позволите (если нельзя, то не позволяйте, прошу Вас), я пришлю Вам. Свою «повесть» я почти всю переделал. Все, что Вы указывали весной, — исправил. Помните, может быть, строфу:

Сойду на пустынную дамбу,  
Удивлюсь равнодушию дня,  
Пойду — и про Белую Даму  
Стихи просвищу — прозвения...

Это было безобразно, некрасиво и глупо. Теперь я исправил:

Сойду на пустынную дамбу  
Удивлюсь равнодушию дня —

И в листьев зеленую раму  
Влюбленность уводит меня!

Правда — ведь тут что-то есть! Конечно, еще много нужно поработать над повестью моей, но все же теперь она лучше. Эпиграф я тоже изменил. Теперь Ваше: «О, голос любви безрассудной!»<sup>1</sup> Это гораздо лучше. Кстати, «Урну» Вашу милую я отдал в переплет — мягкая оранжевая кожа и серая бумага. Мне думается, это будет очень хорошо. Я ее все больше начинаю любить. А она все больше отражается в моих стихах. И я, знаете, очень рад этому. Впрочем, я Вам это в двухсотый раз пишу!

Итак, до свидания, Борис Николаевич, прошу Вас еще-еще раз напишите мне два словечка!

Преданный Вам С.Бобров

P.S. Перечел сейчас письмо. Ужасно пусто и неинтересно. Простите меня, Борис Николаевич! Но право, кругом-то уж очень пусто!

С.Б.

<sup>1</sup> Меблированные комнаты на Сенной площади, где после ссоры с семьей жил Эллис.

<sup>2</sup> Ср. «весеннюю» запись в дневнике Боброва: «Познакомился с Эллисом. Этот <...> груб, мелочен и не особенно умен» (С.П.Бобров. Дневник, запись от 19.5.1909 г., л. 28 об.).

<sup>3</sup> Жорис-Карл Гюисманс (1848–1907) — французский писатель декадентской, в зрелом творчестве — мистической ориентации.

<sup>4</sup> Шарль Бодлер (1821–1867) — французский поэт-символист, оказавший существенное влияние на Боброва, о чем см. ниже. Многократные отсылки Боброва к главной поэтической книге Бодлера «Цветы Зла» (1857) — цитаты, перифразы и пр. в дальнейшем специально не оговариваются.

<sup>5</sup> Имеются в виду романы Гюисманса: «Наоборот» (1884) и «Там, внизу» (1891).

<sup>6</sup> Лирическая поэма П.П.Потемкина (1886–1926) «Ее венки», цитируемая Бобровым, была напечатана в № 5 «Золотого руна» за 1909 г.

<sup>7</sup> Неточная цитата из стихотворения А.Белого «Роскошная дева» (1908). — А.Белый. Урна. М., 1909, с. 135.

Дорогой Борис Николаевич!

Это уже третье — и, вероятно, последнее письмо, которое я Вам пишу в Дедово. Я заходил к Вам и мне сказали, что Вы вернетесь через неделю. Я очень рад этому! — Бог даст, мне удастся увидеть Вас. На мои письма я ничего не получил от Вас... Это очень печально. Но теперь я немного с этим примирился — что делать? — нельзя!

Я тут много раз был у Эллиса. Весной тогда он меня ужасно возмущал, но теперь, поговорив с ним «по сердцам», я примирился с ним. Он все-таки очень чуткий и даже нежный человек. И потом — это очень мило с его стороны! — он мне подарил свои «Цветы зла»<sup>1</sup>. Много там дефектов можно отыскать, но есть строки, которые выкупают, за которые прощаешь многое — очень многое. Вот — может быть, Вы помните:

...Свершая танец свой красивый, —  
Ты приняла, переняла —  
Змеи танцующей извивы  
На тонком острие жезла<sup>2</sup>.

Это безупречная строфа! Слово «красивый» великолепно. Но вот что я заметил, сличая перевод с подлинником — не знаю только, верно это или нет. Бодлэр (мне кажется, знаете, что вернее писать *Бодлэр*) такой удивительно не от мира сего человек. В нем все нравится, но и странный запах (смесь гашиша и мускуса) исходит от него. Это до того замкнутый поэт, что даже в самых интимных стихах он ни разу не говорит — *кто он*. Но все слова необычайно тверды и вместе с тем *таинственные*, многосложны; в чем заключается их аромат, я думаю, никто не разгадает. А у Эллиса не то. И если очень шаржировать впечатление от его перевода, то можно сказать про «Цветы зла», что это сборник стихов Эллиса, где, как и всегда, есть хорошие стихи, плохие и посредственные. Хорошие стихи принадлежат *целиком* Эллису, плохие — пересказ Бодлэра, посредственные — перевод Бодлэра. Конечно, это страшно шаржировано. Я никому не сказал бы этого. Но я знаю! — Вы поймете, в чем суть. Тут все-таки довольно — как мне кажется — тонкая мысль, а их — Вы сами знаете — нельзя прямо сказать, они, так сказать, таинственны и боятся сильного света и громкого говора — их нужно облекать в одежду власяницы. Кому нужно, тот угадает, что под этой одеждой.

И вот посмотрите: Бодлэр говорит (ради Бога, простите за орфографию? «...Tes beaux yeux sont baissés, pauvre enfante», а Эллис — :

«...Ты очи свои опустила...»<sup>3</sup>

Конечно — спора нет — это прекрасная строка, но разве это Бодлэр? Это совсем не то! Это может быть конгениально, но это совсем не относится к делу. Потом в другом стихотворении Эллис говорит, что «рыжая нищенка лукавой уловкой обнажает свою нищету и красоту»<sup>4</sup>; у Бодлэра никакой нищенки, а тем паче лукавой уловки (ужасный моветон!) нет. Потому: в этом же стихотворении Эллис говорит:

«...Много советов Белло совершенных...»<sup>5</sup>, а Бодлэр просто — стихи *maître Belleau*, невыразимую прелесть слова *maître* Эллис совсем упустил.

Нет-нет! Я не согласен с переводом Эллиса. Одну только действительно переведенную фразу я встретил:

«Смерть! Капитан стар»<sup>6</sup>

у Бодлэра:

«O, mort! Vieux capitaine»

и все-таки это не то! Нет звенящего колоколом «*mort*», и острого, как шомпол, «*tainé*».

Нет — «Цветы зла» отличная книга, я с удовольствием буду ее читать, но Бодлэр в этой книге, право, неповинен.

Но какая прелесть настоящий Бодлэр! Я несколько раз не заставлял Эллиса, сидел у него и читал французов. Но Бодлэр — право, у меня слов нет! Эти чудные, божественные строки:

« ... ...la pauvre té  
Et la beauté...»<sup>8</sup>

Боже мой! Как удивительно поет эта серая птичка, этот невзрачный господин в длинном фраке с мягкими манжетами. Этот угрюмый сатанист, гашишист. Что за удивительная вещь человек! Только он мог соединить в себе того, кто написал «*Balcon*», и того, кто написал «*Литании Сатане*»! Когда у меня будут деньги, я обязательно куплю «*Fleurs du mal*» и переплету их в парчу и сделаю застёжки у книги. Право — я буду прав! Вы помните у Брюсова:

«Книгу ль тайн не облечете  
В пышный бархат и атлас? —  
Пусть блестит на переплете  
В ясном золоте — алмаз!...»<sup>9</sup>

Еще я читал «*Paradis artificiels*» (что за нелепое заглавие у русского перевода: «*Искания* (?) рая»? Умнее Бодлэра захотел

\* — кстати: я сам начал переводить. Вы мне тогда дали H.de Régnier («*Premières Poèmes*») и все перевожу оттуда. Попробовал было из Верлена («*Avant que tu ne t'en ailles — pâle étoile du matin*»), но получилось нечто невероятное. Вообще с переводами туго<sup>7</sup>.

быть!)<sup>10</sup>. Какая там чудная фраза в предисловии: «я хотел бы писать для мертвых!»... Нельзя рассказать всей безмерной грусти этого восклицания. И вся книга — что-то удивительное! Какой *странный* тип, — сухого, научного, ученого исследования — и из-за серых строк брызжет настоящий, живой огонь гения. Я никогда не читал ничего лучше.

Какая странная и удивительная вещь гашиш! Эти невероятные видения!<sup>11</sup>

Вода — вода и вода. (Простите, что кончаю на другой бумаге. Но больше нет!) Мне кажется, что «Парижский сон» Бодлэра, где он говорит о «monotonie» (а не о «картине монотонной»<sup>12</sup>, как у Эллиса) золота, воды и гранита, навеяно грезами гашишиста. Сравните описания в стихах и в «Paradis artificiels» (еще раз прошу Вас, извините меня, если навру во французской орфографии) — ужасно похоже. Именно слово «monotonie» непостижимо подходит к глазам воды, *непрестанно* струящимся фонтаном, который оживляют (т.е. скорей «омертвеляют») пейзаж гашишиста. Знаете, Борис Николаевич, мне бы хотелось увидеть эти «Paradis». Когда я спросил у Эллиса, не принимал ли он гашиш, он тонко улыбнулся и сказал:

— Это неизвестно...

Хитрый.

Но как ужасны видения несчастного Квинси! Это море, с каждой волной выплескивающее голову, лицо. Это ужасно!

Потом я читал и других (ах, как мне не хватает Вашего Корбюзера!) Читал Верхарна (в «Энциклопедическом словаре» он почему-то назван Вергарном), но особого ничего не заметил. Верхарн, как Верхарн<sup>13</sup>. Потом Мюссэ. Вот это прелесть!

«...Mais j'aime trop, pour que je dis  
Qui j'ose aimer  
Je veux mourir pour ma mie  
Sans la nommer»<sup>14</sup>

Это решительно хорошо. Но вот его «Nuit d'Octobre» мне не понравилось. Кое-что прелестно, но все эти громы и молнии, сыпавшиеся на голову любовницы поэта, изменившей ему, меня только удивляют. Что-то похоже на «благородное негодование». Я понимаю короля Лира, когда тот кричит: «Дуй, ветер! Дуй! — пока не лопнут щеки!...» Но ведь у короля были достаточные причины, чтобы кричать, а у Мюссэ если и были, то довольно странного свойства. Ну посудите сами — если кто-нибудь будет говорить так:

— Меня? Такого умного, такого талантливого, такого красивого и бросить! — А? И прийти потом ко мне? Громы небесные, разразите сие несчастное существо!

Ну что Вы ему скажете? Ужасно дешевая мания величия.



Борис Николаевич! Что такое за поэт Роллина<sup>15</sup>? Я сегодня открыл его у Эллиса и натолкнулся на такую дичь, что прямо руками развел. «Entre les fils de télégraphe», потом «M-me "Скелет"», которая любит «la rouge côtelette». Что за околесица? Прямо юмористика. Есть у нас в Петербурге Петр Потемкин... но ведь то в Петербурге! Я что-то ничего не понимаю. А все-таки талантливо и, пожалуй, интересно.

Слышали ли Вы о истории с Эллисом в Румянцевской библиотеке: Бог мой, как его ругали в газетах! Но он ужасно некорректен!<sup>16</sup>

Потом я еще читал Леконт-де Лилля. Его «Midi», который спускается с неба, — прекрасен<sup>17</sup>.

Еще — «Так говорил Заратустра». Об этом я не знаю, каким языком и говорить! Нашел я там одну фразу: «я хотел бы, чтобы брачующиеся посвящали себя на служение таинственному Богу, а большей частью я вижу, что два зверя узнают друг друга...» Сличите эту фразу и «Пол и характер». Что от последнего останется!<sup>18</sup>

А вчера я слушал Шопена. Вы знаете, Борис Николаевич, его «фантазию»? Там, во второй части, есть мотив, который можно изобразить так: <...> и на него очень хорошо можно петь Вашу строку: «поет и плачет клавиш»<sup>19</sup>.

Ну до скорого свидания, Борис Николаевич. Я надеюсь Вы мне позволите прийти поговорить к Вам в Москве.

Весь Ваш С.Бобров

P.S. Простите за ужасно глупое второе письмо! Но на душе было ужасно скверно, а очень хотелось Вам написать.

Ваш С.Б.

<sup>1</sup> Речь идет об издании «Цветов Зла» в переводах Эллиса, вышедшем в издательстве «Заратустра» с предисловием В.Я.Брюсова в 1908 г.

<sup>2</sup> Ш.Бодлер. Цветы Зла. Пер. Эллиса... с. 108 («Танцующая змея»).

<sup>3</sup> Там же, с. 199 («Фонтан»).

<sup>4</sup> Там же, с. 219 («Рыжей нищенке», цитата неточна).

<sup>5</sup> Там же, с. 220 (цитата неточна).

<sup>6</sup> Там же, с. 299 («Путешествие», цитата неточна).

<sup>7</sup> В архиве С.П.Боброва сохранились переводы шести стихотворений французского поэта-неоклассика А. де Ренье (1864–1936) (ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 238, л. 4–9), датированные соответственно 8, 11, 15, 17, 19 и 21 августа 1909 г., т.е. почти одновременно с написанием данного письма. Первые строки из перевода названного стихотворения французского поэта-символиста П.Верлена (1844–1896) см. в письме от 11 сентября 1909 г.

<sup>8</sup> Бедность // И красота (фр.).

<sup>9</sup> Строки из стихотворения «Маргерит» (сб. «Στεφανος»).

<sup>10</sup> Речь идет о кн.: Ш.Бодлер. Искания рая. Пер. В.Лихтенштадт. СПб., 1908.

<sup>11</sup> Литературным источником подобных экспериментов над собой является прежде всего упомянутый Бобровым поэтический цикл «Творимые рая» Бодлера, в особенности — «Поэма гашиша». Наряду с Рембо (о котором в данном контексте см. ниже) и отчасти Уайльдом Бодлер своей поэтической философией оказывал серьезное влияние на Боброва, формировавшего в себе не только художественный, но и жизненный облик «проклятого поэта».

<sup>12</sup> Ш.Бодлер. Цветы Зла. Пер. Эллиса, с. 244.

<sup>13</sup> Эмиль Верхарн (1855–1916) — бельгийский поэт и драматург, оказавший значительное влияние на русских символистов (в особенности на В.Я.Брюсова). Упомянутое Бобровым написание фамилии Верхарна было распространено в первые годы знакомства с его творчеством (см.: З.Венгерова. Эмиль Вергарен. — Петербургская жизнь, 1900, 9 июля, № 436, с. 3444–3446.), но в энциклопедических словарях подобное написание не фиксируется.

<sup>14</sup> «Но я слишком люблю, чтобы сказать,  
Кого я осмеливаюсь любить,  
Я хочу умереть для моей милой,  
Не называя ее»

— строки из стихотворения французского поэта-романтика Альфреда де Мюссе (1810–1857) «Песня Фортуню» (1836).

<sup>15</sup> Морис Роллина (1846–1903) — французский поэт. Бобров цитирует (не вполне точно) названия стихотворений «Телеграфный столб» (M.Rollinat. La Nature. Paris, 1892. P.189) и «Мадемуазель Скелет» (M.Rollinat. Les Neuroses. Paris, 1907. P. 259).

<sup>16</sup> Краткое и беспристрастное изложение этой истории находим в письме А.С.Петровского Э.К.Метнеру от 28 августа 1909 г.: «Работая <...> над историей символизма, он приносил с собою <в библиотеку Румянцевского музея. — К.П.> свои книги для вырезок. Это разрешалось ему как постоянному читателю. И вот, по рассеянности он вырезал однажды и вклеил в рукопись две страницы из музейных экземпляров «Симфоний» <А.Белого. — К.П.> (1<-й> и 4<-й>), когда это выяснилось, он тотчас же принес новые книги на место испорченных, но все же был лишен на будущее время доступа в читальный зал. Каким-то образом весь инцидент стал известен газетам и поднялась травля, жестокая и хамская. Переполюшилось министерство и потребовало, чтобы Эллис был предан суду по обвинению в порче книг, что и сделано. Дело, думается, будет прекращено прокурором или следователем. Если же нет, то Эллис, конечно, будет оправдан» (ГБЛ, ф.167.14.35, л. 2–3). Сам Эллис по обыкновению был склонен придавать данному событию чрезвычайное значение, квалифицируя его в письме к Белому как «сознательно организованный поход сволочи на последние оплоты культуры» (ГБЛ, ф. 25.25.31, л. 7об.). По первому впечатлению Белый не склонен был оправдывать коллегу, называя поведение Эллиса в письме к Метнеру «чудовищным хулиганством» (ГБЛ, ф. 167.2.3, л. 1), но уже в следующем письме

признавался: «Все еще я не представлял себе, что Левин инцидент так ничтожен: судя по газетной травле, я полагал Бог знает что» (ГБЛ, ф. 167.2.4., л. 1); ср. объективно-сочувственный пересказ этих событий в позднейших мемуарах (А.Белый. Между двух революций. М., 1990, с. 328–334); см. также подробный комментарий А.В.Лаврова (там же, с. 535–538), с достаточной полнотой иллюстрирующий перипетии «газетной травли» Эллиса.

<sup>17</sup> Ш. Леконт де Лиль (1818–1894) — французский поэт, глава группы «Парнас», оказавшей свое влияние на русскую поэзию XX в.

<sup>18</sup> Неточная цитата из упомянутого произведения Ф.Ницше (Собр.соч. Т. 1. Так говорил Заратустра. М., <1900>, с. 75). Далее речь идет о книге: О.Вейнингер. «Пол и характер», пер. с нем. В.Лихтенштадта под ред. А.Л.Вольнского. СПб., 1908, с изложением которой Бобров, возможно, познакомился по статье Белого: Б.Бугаев. На перевале. XII. Вейнингер о поле и характере. — «Весы», 1909, № 2, с. 77–81.

<sup>19</sup> Строки из стихотворения «Сантиментальный романс» (А.Белый. Урна, с. 49).

## 6

29.VIII.<1>909

Москва

Дорогой Борис Николаевич!

Я знаю, что через несколько дней увижу Вас — я хочу подойти к Вам во вторник вечером — но все-таки мне хочется написать Вам два слова (кстати — получили ли Вы мое последнее письмо Вам в Дедово, где я говорил о переводе «Fleurs du Mal» Эллиса?)<sup>1</sup>

Приняты ли мои стихи в «Весах»? Эллис мне обещал наверно, что они будут в сентябрьском, т.е. в следующем № (Два стихотворения — «Безумный» («Узнаю, узнаю неизбежность надо мной проплывавшей мечты...») и «Обреченный» («Взнесен твой меч над крутизною моих усталых плеч...»))<sup>2</sup>.

Оба эти стихотворения Вам понравились — Вы их хвалили мне весной. Они мне и самому нравятся, но все же я боюсь, что в «Весах» они не имели успеха. Моя звезда — очень ненадежная особа! Я почти уверен, что их не взяли — в голове что-то кружится — не знаю, что сказать. Ведь это моя единственная надежда! Но если они приняты — то я счастлив безмерно! Мне как-то даже дико подумать — что вот выйдет сентябрьский № литературного и критического ежемесячника «Весы» и там в «содержании» будет напечатано:

*Мар Иолэн. Два стихотворения!*

Я буду абсолютно рад. Когда я в первый раз увидел «Весы», мне сразу, раньше всего захотелось хоть как-нибудь приту-

литься около них. Я чувствовал тут живое, святое *Дело*. Теперь же я это чувствую острее, чем когда-либо. Все начинания нашего общества пропитаны или ужасной, гнетущей пошлостью, либо глупостью, от которой хочется бежать хоть к черту на рога, либо подлостью и гнусностью. Такая беспросветность — уходи, куда хочешь — она всюду постигнет. И вот Оазис в пустыне кажутся мне «Весы». Мне как-то Эллис тут говорил про немецкий журнал «*Blätter für die Kunst*», руководимый Ст.Георге, которого Эллис — не знаю, насколько правильно — величает первым поэтом мира в настоящее время<sup>3</sup>. Вот таким же журналом, по-моему, и должны быть «Весы». Ведь, не правда ли, это изящнейший идеал. И это можно назвать (отогнав скверный запах этого слова) *соборным индивидуализмом*<sup>4</sup>. Мне «Весы» всегда казались одним большим «Я». А ведь это великолепная задача!

И если бы Вы только знали, Борис Николаевич, как хочется — прямо болезненно — приобщиться к этому «Я»! Мне будет очень тяжело, если «Весы» не возьмут моих стихов. Я все лето жил надеждой на это. Для меня будет огромным счастьем — сделать что-нибудь для символизма, для Искусства. До чего я был рад, когда Вы мне сказали прошлый раз у Эллиса, что я скоро понадоблюсь Вам в качестве сотрудника! Борис Николаевич! Ведь это счастье — самое настоящее — быть хотя бы привратником в Доме Искусства! Для меня больше ничего не существует в жизни, кроме Него. Оно — лучезарное, оно — божественное, оно — прекрасное! Оно — убивает, оно — воскрешает! Это Оно есть Жизнь Вечная. С 1904 года я кроплю над моими стихами и вместе с этим над моей душой, и вот наконец-то она понадобилась! Я, кажется, до сих пор еще никому не был надобен. Я Вам прошлый раз очень глупо ответил на Ваш милый призыв, — сказав, что у меня денег нет. Не думайте, Борис Николаевич, умоляю Вас про меня, что я хочу работать для денег — нет! Но у меня ужасные экономические условия! — я служу у отца в редакции и получаю за это — 15 рублей и стол. А ведь у меня широкие потребности — я не могу жить без книг — без поэтов! Покупать их не имею возможности, а не покупать не могу. И получается черт знает что: ведь в нынешнем месяце купил себе Бодлэра и Корбюзера, а теперь не хватает заплатить за комнату, и взять нигде. Ведь это ужасно, Борис Николаевич! Идешь домой и думаешь: ведь я сейчас попробую «*Le crépuscule*» Роденбаха<sup>5</sup> перевести, и вдруг оста-навливаешься и даже на лице холодный пот выступает — вспомнишь: дома нет керосина. Ведь Вы только подумайте! — сочетание: Роденбах — и керосин! «Вывозит» меня только то, что я еще молод — что есть у меня в кармане двугривенный, так я богат и ни о чем не думаю. А как все же тяжело. Я поэзию люблю страстно — больше, по-моему, и любить нечего,

а истратить на нее больше 2 рублей в месяц не могу, а не выдержишь — купишь рубля на 4 и прощай — весь месяц вертишься, как карась на сковородке — берешь вперед жалование, а на следующий месяц все ту же и ту же. Поэтому-то я и прошу Вас — *со страшной болью в сердце* — дать мне кроме работы в «Весах» плату за эту работу. Ведь как бы хотелось мне уехать куда-нибудь на север или на юг — подальше — в глушь — читать поэтов и работать. Я бы не соскучился. По-запрошное Рождество я жил так: ложился в 8–9 часов утра и вставал в 7–8 вечера. Я почти не видел людей. И это нисколько мне не мешало жить. И массу стихов написал я за это время. А на самом деле приходится сидеть в редакции и думать о том, хватит ли мне завтра денег на папиросы. Все это глупо, пошло, мелко, но я *вынужден* с этим считаться. И я надеюсь, что Вы простите меня за то, что я заставил Вас всю эту гадость читать. Мне все равно рано или поздно пришлось бы Вам это объяснить, а в письме все же как-то легче. Эллис мне сказал, чтобы я попробовал написать заметку о последних альманах<ах> «Шиповника», что ее, вероятно, можно будет поместить в «Весы». Но «Шиповников» у меня нет и достать негде, нельзя ли достать в «Весах» — там, вероятно, есть — «для отзыва»? Я надеюсь, что для «Шиповников» у меня хватит силы и образованности. Потом еще вот вышли недавно два сборника стихов молодых петербуржцев — Дикса и Пяста<sup>6</sup>. Я думаю, что я мог бы об них написать. Ведь моя заметка об «Урне» все же более-менее прилична?

Теперь я кончаю. Простите за уж очень длинное послание — напишу Вам напоследок недавние мои стихи. Они еще совсем не отделаны:

### Сумерки

*...Comme un homme mort sourit le crépuscule...*  
(G. Rodenbach)<sup>7</sup>

<I>

Пахнет кладбищем ветер осенний,  
Умирает безропотно мир —  
И в кольце золотом, без движений —  
Уясняется неба потир.

Ах, душа — позолотой измучена!  
— Голубая — безмолвная — смерть!  
Протянулась ты — облак излучина  
Через смиренную, тихую твердь.

О, печаль — невозвратная — белая — !  
Грустным лебедем движешься ты —  
Опустишь, моя Смерть онемелая,  
Погаси, исчеза, мечты.

О, мой ветер! Тоскою заливиистой  
Над очами моими кружи!  
Голос резкий — и тихий — отрывистый  
Пролетает средь длинной межи.

... Слезы душат и взор заволакивают,  
И в душе — отцветают мечты, —  
Жизнь печальную тени оплакивают,  
Тени — бедной, земной красоты.

## II

Тишина. Издалека встаешь,  
Угрожающе — Смерть!  
Попирая — неистово — ложь,  
Рассекают твердь.

Ты приди! Я приму тебя, друг!  
Нам с тобой будет сладко во мгле!  
А потом — мановением рук —  
Ты потушишь мой свет на земле.

Ты приди, чтобы я не узнал,  
Чтобы ветер тебя не слышал,  
Чтобы тайно погаснул мой свет,  
Чтоб Любовь не сказала мне «нет...»

Чтобы слез я сдержать не успел,  
Но увидел себя, —  
Чтобы только мне воздух запел —  
Про тебя.

Тут много, очень много дефектов, но все-таки мне они нравятся. Хотя лучше всего написать их сначала, снова.

Ну пока до свидания. Я надеюсь, что мы с Вами скоро увидимся.

Ваш С.Бобров.

P.S. Борис Николаевич! Что, согласился Ликиардопуло меняться с «Шахматным обозрением»? Мне ужасно хочется иметь «Весы». Ведь я ни Вашего «Серебряного голубя» не читал, ни «Подвигов Александра» — ничего<sup>8</sup>.

Получили ли Вы № «Шахматного обозрения» с некрологом Вашего отца? Я вам его послал<sup>9</sup>.

С.Бобров.

<sup>1</sup> Речь, видимо, идет о предыдущем письме.

<sup>2</sup> Стихотворения находятся в составе подборки, перепечатанной Бобровым в двух экземплярах для вручения Белому и Эллису, что, очевидно, и было исполнено весной 1909 г. (см. сохранившийся в фонде Эллиса экземпляр: ЦГАЛИ, ф. 575, оп. 1, ед. хр. 46).

<sup>3</sup> Стефан Георге (1868–1933) — видный немецкий поэт-символист, один из основателей упоминаемого Бобровым журнала.

<sup>4</sup> Ср. название книги М.Л.Гофмана (М.Гофман. Соборный индивидуализм. СПб., 1907).

<sup>5</sup> Жорж Роденбах (1855–1898) — бельгийский писатель-мистик.

<sup>6</sup> Речь идет о книгах: Б.Дикс. Стихотворения. <СПб.>, 1909; Вл.Пяст. Ограда. Книга стихов. <СПб.>, 1909.

<sup>7</sup> Как мертвец, улыбаются сумерки (*фр.*). — Вероятно, ошибка памяти Боброва: в поэтическом наследии Ж.Роденбаха подобной строки не обнаружено.

<sup>8</sup> Повесть в IV книгах М.А.Кузмина «Подвиги великого Александра» публиковалась в «Весах» в 1909 г. (№ 1, 2), первая публикация «Серебряного голубя» А.Белого в «Весах» состоялась также в 1909 г. (№ 3, 4, 6, 7, 10/11 и 12).

<sup>9</sup> См: П.Б.<П.П.Бобров>. Бугаев Николай Васильевич. — Шахматное обозрение, 1903, № 60–61, с. 242–244.

Дорогой Борис Николаевич!

Сегодня утром я был у Эллиса — всего две-три минуты, так как он очень поздно лег и страшно хотел спать, и он мне сказал, что наверно устроит, чтобы мои стихи были напечатаны в сентябрьском № «Весов». Сначала он меня очень испугал, сказав, что сентябрьский № уже занят, но потом вспомнил, что занят августовский, который еще не выходил, а не сентябрьский. Так что я теперь немного успокоился — хотя все же не совсем. Право — Борис Николаевич — у меня есть основания трепетать и ужасаться — я Вам про них говорил в прошлом письме и вчера (т.е. собственно третьего дня — сегодня 3-е —

я начал письмо к Вам вчера, но не мог кончить, т.к. очень устал), когда был у Вас.

Я очень прошу Вас извинить меня за мое прошлое посещение! Я хорошо понимаю Ваше негодование — я очень остро его понимаю, но и Вы (я очень прошу Вас об этом) должны чуть-чуть понять меня. Когда я пришел к Вам узнать, приняты ли мои стихи в «Весы» — уверяю Вас — это не так уж было похоже на тетюшинского обывателя, который идет купить ситцу на кофточку свояченице — в аптеку... Во-первых, я думал, что в «Весы» уже было заседание комитета — на котором должны были присутствовать и вы, а во-вторых — самое главное то, что стихи, строго говоря, были для меня лишь предлогом, чтобы увидеть Вас. Вы мне сказали тогда у Эллы, что я могу прийти к Вам — именно на этой неделе — но явиться к Вам просто «в гости» мне казалось уж очень неловким. Вы не знаете, Борис Николаевич, как я ценю минуты, проведенные в Вашем обществе! Для меня — каждое Ваше мнение — слово — это драгоценность. Я надеюсь — Вы поверите мне! — когда Вы мне третьего дня сказали:

— ...Но во всяком случае — раз навсегда я Вам скажу — у Вас есть талант, — Вы не можете себе представить, как я был Вам признателен и как горд! Ведь все, что есть у меня — душу, мои крошечные знания, время и жалкие гроши, что я зарабатываю — я отдаю, я несу, весь трепеща от радости — этому странному богу «с узкими глазами» — Поэзии! Для меня это единственная цель — и единственное средство жить, — я не знаю, чем жил бы я, если бы не было этого бога. И в глубине души чувствуешь, что не может быть ничем — слишком много энергии вложено сюда. А энергия ведь не может пропасть. И тем ужаснее для меня, что мне некому отдать то, что я делаю! Ведь это не пустячки, Борис Николаевич, это истинная трагедия. Вы мне говорили:

— Все мы никому не нужны и все нужны...

Может быть. Да ведь пока-то, сейчас — что же делать? Вот слушайте: я ходил к Брюсову, к Вам, посылал стихи в «Остров», в «Золотое Руно», в «Весы», в «Северное сияние», в «Образование», в «Современный мир», в «Журнал для всех»... еще десяток изданий можно насчитать — и что же — только Вы откликнулись! Брюсов говорит: мне некогда, Гумилев говорит, что ему «кажется, что мое творчество не имеет внутренних мотивов для своего существования», «Золотое Руно», что у моей поэзии «своего лика нет», остальные просто бросают в корзину, «без объяснения причин» и восклицают, по Чехову:

«— Опять этот сукин сын чепуху написал!»<sup>1</sup>

Что же делать? Брать веревку и вешаться? Ведь и глас народа — глас Божий! ясно, что я никуда не гожусь. И кричишь, как Лесковский поп:

— Куда деться? Куда деваться?<sup>2</sup>



Ведь я — *стыдно* признаться — в «Сатирикон» стихи посылал! Но и там, и в «Острове» предпочитают мне г.Потемкина. Ведь это оскорбление, Борис Николаевич!

Вы мне прошлый раз говорили (до сих пор мое сердце дрожит от радости — я всегда Вам буду за это благодарен!):

— Ведь я люблю Ваши стихи!

Я Вам бесконечно благодарен за это! Поверьте мне, Бога ради, Борис Николаевич! Я хотел бы Вам писать своими слезами...

Но ведь вот двое: Вы и Эллис могут «без скуки» читать мои стихи. Потому-то я так и надоедаю Вам обоим своими произведениями, письмами и посещениями. Не к кому пойти, некому сказать даже такую маленькую фразу: «как прелестен «Fin de jougée» Бодлэра!»<sup>3</sup> Вы простите меня, Борис Николаевич, за мои длиннейшие послания и посещения, но поймите меня, я делаю это только потому, что искренно люблю Вас, и как Б.Н.Бугаева, и как Андрея Белого.

Я ужасно разнервничался у Вас прошлый раз — но я ужасно издергался за последние дни, ожидая «да» или «нет» из «Весов». И к тому же я (с больной ногой) бежал к Вам от Казанского вокзала, все время думая, что придется от Вас уйти ни с чем. Вбежал в подъезд, бегу что есть сил наверх — в верхний этаж — о, ужас — на двери какой-то «М.Гальцер» или «Мальцер». Голова закружилась — сбегая вниз — швейцар говорит, что Вы теперь в № 5-м. Бегу туда — отворяют — : дома. И вдруг — ведь это ужасно — Вы говорите, что не можете меня принять! Я хотел сдержаться, ничего не говорить и поскорей убежать. Если бы я ничего не говорил, то Вы, вероятно, и не заметили бы, что у меня на душе все прыгает и мечется, что в голове все перепуталось! Но я не мог! — Борис Николаевич — уверяю Вас! Вы не представляете себе, что я пережил. Когда Вы вышли достать мне воды, я подошел к Вашему шкапу, прижимая платок ко лбу — посмотрел — увидел «Стихи о современности» (почему-то в голову пришла дикая мысль, что у меня этой книги нет), я мог только шептать: «Боже мой! Боже мой!» Ничего в душе не осталось. Вы мне говорите, что Вы не можете быть сразу и «техником», и писателем, и критиком, и поэтом, и т.д. и т.д. — говорите об отношении общества, — ведь все это я понимаю очень-очень хорошо, но все-таки, но все-таки — наступит угрюмый октябрь и я опять притащусь к Вам, надеясь, что Вы позабудете на полчаса об «отношении общества». Но все же — оно ужасно. Уже я, поэт малюсенький, захудалый декадентиска, и меня люди почти со мной не знакомые считают возможным и *нужным* за это ужасно оскорблять. Что на Вас они ополчаются — это не диво — Вы — сила, но я? И тут приходишь к старому выводу — обществу Искусство не нужно и противно. Где-то — у психолога В.Джемса сказано: «Все узкие люди *обносят* окопками свое я и отвлекают его от области того, чем просто завладеть не могут. Люди, которые на них не похожи или

к ним относятся без уважения, — люди не доступные их влиянию — оказываются в их глазах субъектами, к самому существованию которых они относятся с холодным отрицанием, если не с положительной ненавистью...»<sup>4</sup>.

Это, конечно, «eine alte Geschichte»<sup>5</sup>, но от этого, к несчастью, не легче. Между прочим — Эллис говорил тогда, что он хочет написать, что вот он имел дело с охранным отделением, с сыщиками, но что ужаснее их всех — газетные репортеры кадетской печати, и провести параллель между теми и другими. Эллис думает, что он Америку открыл, но ведь это очень старый и затасканный «Московскими ведомостями» прием — упоминание о «либеральном сыске»! Вы бы как-нибудь намекнули ему об этом, — это ведь может потопить статью!

Потом я Вам хотел сказать о «Весак». Вы мне говорили, что собираетесь их «прикрыть» с января. Неужели это неизбежно? Ведь если главным скорпионом в «Скорпионе» является Ликиардопуло<sup>6</sup>, то я думаю, что общий Ваш коллективный протест против него, с угрозой уйти из «Весов», должен его выместить оттуда! Я понимаю, что у Вас это превратилось в мечту, от которой Вам невозможно отказаться, но Вы подумайте о том вое, который поднимут газеты, когда Вы уйдете из «Весов» и они кончатся! Что это будет! «Наконец-то — завопят и ученые мужи, и фарисеи и хулиганы — лопнул сей зловередный нарыв! Мы надеемся, что правительство (у нас ведь всякий готов побить городовому физиономию, но пользоваться им он очень любит!) обратит на сие свое просветенное внимание и рассадит по желтым домам весь этот Бэдлам...» и т.д. строк на 400 умных, благородных слов! И потом — кроме этого — ведь это внесет разруху и в самую семью декадентов, а уже разрухи, кажется, более чем достаточно.

Все-таки, Борис Николаевич, «Весы» надо пожалеть! Сколько они сделали! Кузмин, Эллис, Соловьев не увидали бы без них света. Вот и меня они (т.е. собственно-то Вы и Эллис) хотят приютить.

Вчера — я старые «Весы» читал. Прелестные «Парижские фотографии» Гиппиус, Ваши статьи, — «Любовь этого лета» Кузмина<sup>7</sup>. Что за прелестная вещь:

— На сервизе миловатом  
Будто с гостем, будто с братом  
Пили чай, не снявши маски.

.....  
Тени «Фауста» играли  
Будто ночи мы не знали  
Те — ночные, те — не мы.

Это прелестно! Интересно бы мне узнать, что он за человек Кузмин. Я думаю, что это очень интересная личность.

Теперь я кончаю. Простите меня за длиннейшее письмо и посещение не вовремя. Дай Бог, чтобы поскорее прошел Ваш бронхит.

Ваш С.Бобров.

P.S. Сейчас перечел письмо. Оно в середине сломано. Я немножко увлекся.

С.Бобров.

<sup>1</sup> Цитата из рассказа А.П.Чехова «Весной» (1886) (сообщено А.Л.Соболевым).

<sup>2</sup> Вероятно — перифраз некоторых высказываний Туберозова из романа Н.С.Лескова «Соборяне» (указано А.М.Ранчинным).

<sup>3</sup> «Конец дня» — стихотворение Бодлера из книги «Цвета Зла».

<sup>4</sup> Не совсем точная цитата из книги: У.Джемс. Психология. (пер. И.И.Лапшина). СПб., 1905, с. 156.

<sup>5</sup> Старая история (нем.).

<sup>6</sup> М.Ф.Ликиардопуло, будучи секретарем «Весов», «начиная приблизительно с 1907 г., приобретал в редакции <... > все более ощутимое влияние» (К.М.Азадовский, Д.Е.Максимов. Брюсов и «Весы» (К истории издания). — Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976, с. 282), но, конечно, его роль в деятельности журнала не была столь значительна, как представлялось Боброву. Можно предположить, что его мнение о Ликиардопуло было сформировано самим Белым, высмеивавшим претензии секретаря «Весов» на лидерство. «Он так умел представить, где нужно, себя ответственным лидером, сшив для этого сногшибательный фрак, что и в прессе, и в Художественном театре вообразили: он и есть «весовская» линия (был же он только техник редакции)» (Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990, с. 282).

<sup>7</sup> Стихотворный цикл М.А.Кузмина «Любовь этого лета» (цитируется Бобровым с источностями) был напечатан в «Весках» в 1907 г. (№ 3), «Парижские фотографии» З.Н.Гиппиус в том же году (№ 2).

Дорогой Борис Николаевич!

«Autout qu'un roi je suis heureux»<sup>1</sup> — вчера был у Эллиса и он сказал мне, что мои стихи окончательно «принципиально приняты», а сегодня, наконец, получил из Парижа «Fleurs du Mal». Вспоминаю по этому поводу гениального маэстро Хлестакова:

— Приехал прямо из Парижа! Откроете крышку — аромат!..

Цитируя — вру — так как нет под руками «Ревизора». Да и сравнение немножко (!) пошловато, но я так счастлив, что этого совершенно не замечаю. Я так рад, что вот — протяну руку и «Fleurs du Mal» — тут. Смешно несколько хвалить эту «книгу тайн», но я не могу — сколько мощи, сколько лени! Мне кажется (хотя, может быть, я и ошибаюсь), что в строфе

... A te voir marcher en cadance,  
Belle d'abandon,  
On dirait un serpent qui dance  
Au bout d'un bâton...<sup>2</sup>

Бодлэр прямо нарисовал свой портрет! Разве он не «serpent au bout d'un baton, qui marche en cadance»? Блестит золотой-изумрудной чешуей и внезапно — розовые в ней мерцают света! Нет! у меня не хватает слов! — все замечательно в этой удивительной книге! Вспомните «Albatros'a», «Examen de Minuit», «Balcon»<sup>3</sup>, равного которому я еще ничего не видел в поэзии! Почти все шедевры. О, удивительный человек, свою горькую веру с утонченностью дэнди и плачем меланхолика так нежно совокупивший! Ведь это удивительные строки:

«...Jette ce livre saturnien,  
Orgiaque et mélancholique»<sup>4</sup>,

— «Orgiaque et mélancholique» — кто мог бы сказать проще и сильнее этого? Есть у Брюсова (на эту аналогию мне указал Эллис) строка:

... Мы с дрожью страсти и печали...<sup>5</sup>

но разве это можно сравнить с Бодлэром. Но я могу Вам указать более близкие строки — и это очень странно — ! — :

... Сижу ль меж юношей безумных —  
Я предаюсь моим мечтам...<sup>6</sup>

Всмотритесь, Борис Николаевич, повнимательней в *подкладку* — в самую мрачную *глубь* этих двух стихотворений — Вы ясно увидите, что *горькие* слезы двух поэтов действительно друг друга одинаково светятся. Пушкин мог подписаться под строками Бодлэра, как и он не задумался бы подписаться под стихами Пушкина. Конечно, я чувствую, что у меня не хватает сил достаточно обосновать эту гипотезу, но я надеюсь, что Вы поверите мне и поймете меня.

Видели ли Вы, Борис Николаевич, новую книгу Брюсова: «Французские лирики XIX века»? Я ее недавно видел у Вольфа, довольно долго просматривал и — знаете! — остался неудовлетворен. Переводы тех стихотворений, которые я видел в подлиннике, меня просто изумили. Почему, напр., «Avant que tu me t'en ailles — râlé étoile de matin» Верлена переведено хореем? У Верлена все что угодно, только не хорей (нельзя же

в самом деле считать это стихотворение хорейским на основании того, что одна — если не ошибаюсь — коротенькая строчка «Mille Cailles»<sup>8</sup> представляет из себя хорей?). Если Брюсов на это ответит (как он и сделал в предисловии к «Елене» Верхарна — но там на это имелись более веские основания), что — мол — и Жуковский изменял размер<sup>9</sup>, то, во-первых — чужими грехами свят не будешь, а, во-вторых, Жуковский еще не то проделывал со своими переводами, прямо заменяя эллинскую мораль своей собственной<sup>10</sup>. Мне такое оправдание совсем не нравится — оно, раньше всего — ничего и никого не оправдывает, а — потом — от него отдает небрежностью. И ведь так Бог знает куда можно зайти и в конце концов привести Верленовскую «Etoile» как:

«Когда ты от нас улетишь  
Яркая утра звезда!  
(Перепелки услышать ведь тишь —)  
(Замолчать навсегда!)

Почему нельзя? Я — *свободный* поэт?! И получается — о, ужас! — «что Гекубе до меня?» Конечно, это не относительно Брюсова, но ведь — согласитесь — он — человек, метод работы которого крайне тщательно исследуется молодыми и для многих представляет *канон*! Кто-кто, а Брюсов не имеет права быть *небрежным*.

Потом — из Бодлэра дано *три* (!) стихотворения. К этому, кажется, никаких комментариев не требуется. Из этих трех «*Красота*» переведена не лучше, чем у Эллиса — прямо — *неинтересно*. — Хотя зато хорошо взято восклицание «Rase d'Abel» — переведенное очень сильно: «Авеля дети»! Это очень хорошо! Но я все-таки должен протестовать против книги Брюсова, что это — когда из Бодлэра дано 3 стихотворения! и если и другие стихотворения переведены таким же образом, то это очень и очень печально. Из Р.Гиля — (поэта у нас совершенно неизвестного) — дано тоже три стихотворения! — последнее, между прочим, очень похоже на Ваши стихи из «Урны»<sup>11</sup>.

Видел я сегодня в окне у Вольфа новую книгу «Валериан Бородаевский» (кажется, так!). Стихотворения издания «Ор» с предисловием Вячеслава Иванова<sup>12</sup>. Некогда было зайти посмотреть ее. Я еще об этом Бородаевском ничего не слышал. Обидно мне на это смотреть. Все печатаются, выпускают сборнички, а мне — не дано.

Я давно хотел Вас спросить, Борис Николаевич, не является ли у Вас когда-нибудь желания написать *по-французски*?

У меня это желание является очень часто, и недавно я написал. Правда, стихи идиотские, но все-таки французские:

O la belle fille, qui j'appelle ma fleur,  
La plus belle fleur du monde

Comprends — tu le sourire de mon coeur —  
D'un vase — sonore et ronde (!?)  
Aujourd'hui — c'est mardi. Je me sens heureux.  
Tes beaux yeux sont tendres et tristes,  
Tout — autour est mort et silencieux  
L'automne est un beau artiste<sup>13</sup>.

Это очень идиотские стихи, но я надеюсь, что вторые будут получше!

Между прочим, у меня в душе шевелится маленькая мысль, о коей я собираюсь Вам поведать: у меня, *кажется*, рождается метод! Я ужасно рад этому открытию и — кажется — теперь пишу гораздо легче и сознательней! И за это я должен быть бесконечно благодарен — Вам. Вообще я Ваш неоплатный должник.

Теперь я стараюсь усовершенствовать мою форму — перевожу, пишу сонеты, а сегодня написал даже *секстину*. Правда, секстина весьма плохенькая и «*лядащая*», но все же секстина. Правда, понимающие люди говорят, что уж лучше не писать вовсе секстин, чем писать дрянь, но ведь учиться никому не возбраняется<sup>14</sup>.

И поэту учиться метрике, кажется мне, вовсе не зазорно!

Пока я кончаю... Сегодня у нас 11-е и недели через три мне разрешено увидеть Вас... (Как, между прочим — изменился и похудел Эллис! На него очень очевидно подействовала эта мерзкая история).

Ваш С.Бобров.

P.S. Борис Николаевич! Я опять к Вам буду приставать с моими просьбами: — достаньте мне Бога ради рецензию! черкните — (простите, что я прошу этого) мне *одну* (!) строчку на открытом письме или скажите по телефону 151-68 — нужно вызвать Сергея Павловича, а то, если попросите «Боброва», то вызовут отца. Если меня не будет — скажите — мне передадут и я схожу за книгой куда угодно. Мне очень совестно просить Вас в сотый раз об этом, но, знаете, мне это *очень* нужно.

Преданный Вам С.Бобров.

<sup>1</sup> «Я счастлив, как король!» (фр.).

<sup>2</sup> См. перевод данной строфы Эллисом, цитируемый в письме от 20 августа 1909 г.

<sup>3</sup> «Альбатрос», «Полночный экзамен», «Балкон» (фр.) — стихотворения из книги «Цветы Зла».

<sup>4</sup> «Брось эту книгу сатурналий, бесчинных оргий и скорбей» (пер. П.Ф.Якубовича).

<sup>5</sup> Первая строка стихотворения «После пира».

<sup>6</sup> Строки из стихотворения А.С.Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

<sup>7</sup> Речь идет о книге: Французские лирики XIX века. Переводы в стихах и био-библиографические примечания Валерия Брюсова. СПб. <1909>. Как и другая составленная им антология (Французские лирики XVIII века. Сборник переводов, составленный И.М.Брюсовой под редакцией и с предисловием Валерия Брюсова. М., 1914), в которой в качестве переводчика принимал участие и С.П.Бобров, критикуемое им издание отличалось определенной пристрастностью в отображении французской литературы, отражавшей, в свою очередь, поэтические склонности самого В.Я.Брюсова (подробнее см.: К.Ю.Постоутенко. К истории неопубликованной книги Б.В.Томашевского «Пушкин и французские поэты». — Русская литература, 1990, № 4, с. 189-191).

<sup>8</sup> «Тысяча перепелок» (фр.).

<sup>9</sup> Основным доводом Брюсова, однако, служила не ссылка на авторитет Жуковского, а идея передачи французского стиха функционально эквивалентными средствами русской версификации: «Я принимал во внимание, что александрийский стих столь же обычен для французской драмы, как белый пятистопный ямб — для русской» (Валерий Брюсов. От переводчика. — Весы, 1908, № 8, с. 39). С учетом того, что французская поэзия во все эпохи своего существования оставалась силлабической, не будучи «загромождена силлабо-тоническим соблазном» (М.Л.Гаспаров. Очерк истории европейского стиха. М., 1989, с.247), претензии Боброва, равно как и отыскание в силлабике «хорея», представляются не слишком состоятельными.

<sup>10</sup> Данный вопрос (с учетом полуторавесковой полемики) рассматривается в работе: С.С.Аверинцев. Размышления над переводами Жуковского. — Зарубежная поэзия в переводах В.А.Жуковского. М., 1985. Т. 2, с. 555.

<sup>11</sup> Рене Гиль (наст. фам. Гильбер, 1862–1925) — французский поэт, теоретик и практик т.н. «научной поэзии», оказавшей большое влияние, в частности, на творческое мироощущение В.Я.Брюсова. О неизвестности в России Гиля, регулярно выступавшего со статьями и обзорами на страницах «Весов», «Русской мысли», «Аполлона», говорить, конечно, не приходится.

<sup>12</sup> В.Бородаевский. Стихотворения. Элегии, оды, идиллии. Предисл. Вяч. Иванова, СПб., 1909.

<sup>13</sup> О прекрасная дева, которую я зову моим цветком,  
Самым красивым цветком в мире,  
Понимаешь ли ты улыбку моего сердца —  
Чаша — звучной и круглой (?)  
Сегодня — вторник. Я чувствую себя счастливым.  
Твои прекрасные глаза нежны и грустны,  
Все вокруг тихо и мертво.  
Осень — прекрасный художник. (фр.).

<sup>14</sup> Секстина — шестистишная строфа.

Дорогой Борис Николаевич!

Я написал длинную-длинную стишину — вроде моей *«Повести»* — (надеюсь, что Вы не забыли еще ее?). Называется она *«Осенний фестиваль»*. Не правда ли — это очень милое название (почти такое же милое, как *«Madrigal Triste»*<sup>1</sup>? — Борис Николаевич! Когда же я буду совсем самостоятельным?) Он (*«фестиваль»*) мне ужасно нравится — больше, чем все, что я писал до него! Знаете — как мило и трогательно сидеть в темной, полуосвещенной комнате и *«évoquer les minutes heureuses»*<sup>2</sup> — золотыми (!) стихами. Ведь это никогда не умрет! Для меня, по крайней мере! И я об этом сказал в *«заклучении»* вот такими *«золотыми»* словами:

...И бегите вы, месяцы  
И года, и века —  
Пусть нахмурится, свесится,  
Голодая, тоска —

Все нежней и таинственней  
Будет петь *«фестиваль»*,  
Золотой и единственный,  
Как любовь и печаль!..

Дорогой Борис Николаевич! — я знаю, у Вас много дела — но будьте добры — будьте милостивы — прочтите мой *«фестиваль»*! Вы мне говорили, что Вы (как я Вам благодарен за это!) любите мои стихи, я буду бесконечно рад доставить маленькую радость моим *«фестивалем»*! — право, он очень мил: — я писал его с большой любовью — а ведь это не может пропасть даром!

Ваш С.Бобров.

2.X.<1>909

Я носил *«фестиваль»* Эллису и он *очень* похвалил его — и сказал, что я сделал большие успехи за лето. Я зайду к Вам, Борис Николаевич, так, через неделю приблизительно. Я надеюсь, что Вы к тому времени прочтете мой *«фестиваль»*.

Ваш С.Бобров.

<sup>1</sup> «Грустный мадригал» — одно из стихотворений Бодлера из сборника «Цветы Зла».

<sup>2</sup> «воскрешать золотые минуты» (*фр.*).



19.X.&lt;1&gt;909

Москва

Дорогой Борис Николаевич!

Мне внезапно очень понадобился мой «ф е с т и в а л ь» — простите — Бога ради — что беспокою Вас! — но мне он *очень* нужен! Я найду к Вам за ним *завтра* (20-го). Вы отдайте его вашей прислуге, чтобы мне не беспокоить Вас. Я тихонько приду и возьму<sup>1</sup>.

Пожалуйста, Борис Николаевич!

Между прочим, Эллис мне вчера говорил, что мои стихи попадут в сентябрьский №.

Ваш С. Бобров.

<sup>1</sup> Судя по всему, просьба не была выполнена: тетрадка, озаглавленная «Мар Иолэн. Осенний фестиваль», сохранилась в архиве Белого (ГБЛ, ф. 25.32.5).

14.I.1911

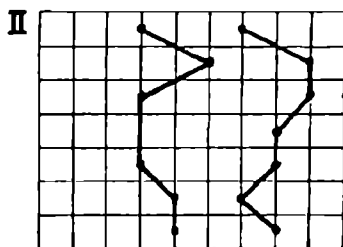
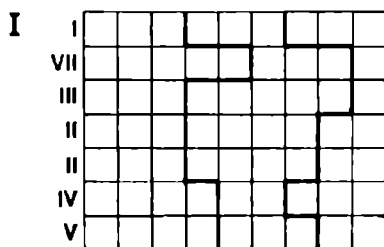
Москва

Дорогой Борис Николаевич!

Давно — очень давно уже собирался написать Вам большое настоящее письмо, но все время мучился мыслью, что, быть может, Вам не очень хочется иметь от меня письма — но теперь решаюсь, надеясь, что Вы не будете очень строги ко мне. Уже я послал Вам одно письмо в Палермо — на праздники, — не знаю, получили ли Вы его, быть может, Вы к этому вре<мени> уже уехали дальше<sup>1</sup>.

Сегодня был у Эллиса, он мне сказал Ваш адрес и показал маленький африканский колокольчик, который Вы ему прислали. Он совсем простой — этот африканский цветочек — но было так странно на него смотреть — ведь с словом «Африка» ассоциируются гиппопотамы, львы, бушмены и еще невесть какие ужасы — как же — ему, маленькому цветочку, не было там страшно! Невольно проникаешься к нему уважением. Как Вы там живете, Борис Николаевич? — видели ли гиппопотамов и прочих африканцев? У нас в Москве все идет полным ходом — но пожалуй, все так же — не хуже, не лучше. «Му-са-ге-т» страшно бодрит. Ритм идет: — пока еще не собирались после Рождества, но в понедельник (17-го) будет собрание<sup>2</sup>. Статистический лист предполагается отложить и заняться морфологией, т.к. там масса запутанных вопросов. Рубанович представил <нрзб> Фета. Но канитель с Лермонтовым, с которым

Нилендер<sup>3</sup>, собственно, ничего не сделал. Придется делать все сначала. Кстати — у Городецкого 5-стопного ямба не оказалось — это жаль — ведь разбор Ваш его четырехстопного ямба произвел очень сильное впечатление. (Между прочим — что же Вы не шлете Вашего — Тютчева, Баратынского и Пушкина?)<sup>4</sup> Шестистопный ямб заканчивается. Сидоров сейчас разбирает Бальмонта — и говорил мне, что у него очень хороший ритм. Прения о счете фигур и о паузных формах понемногу улеглись, но еще не совсем — Шенрок<sup>5</sup>, по обыкновению, бунтует. Сам я много занимаюсь своим анапестом (с сестрой)<sup>6</sup>, у нас уже разобрано 14 поэтов (в том числе — все модернисты). Лучший ритм пока (из разобранного) у Фета, отношение числа замедлений к числу фигур<sup>7</sup> у него = 1,54. Число недостижимое для модернистов — из них лучший Брюсов — 1,73, потом Бальмонт и Вы. Самые плохие Сергей Соловьев и Городецкий. Заметно большое влияние не модернистов Владимира Соловьева. Интересен (но не особенно) Анненский. Блок против ожиданий дал слабый результат, его «число» = 2,061 (у Соловьева — 2,66!!). Но, по-моему (возможно, что это вполне субъективно), Блок стоит в анапесте не на замедлениях, а на словесной инструментровке — я это думаю потому, что блоковские анапесты *на меня* производят более сладкозвучное впечатление, чем чьи-либо другие и — думается мне — мой метод — учет замедлений — слишком груб для него. Теперь я внес в мои чертежи некоторые изменения — именно в чертеже разреза стоп (Вы помните?) я отмечал раньше так (I), а теперь (II).



Второй способ, хотя и менее нагляден, но гораздо удобнее подсчитывать модуляции, выражающиеся фигурами: Б<ольшой> и мал<ый> угол, Б<ольшая> и м<алая> корзина, и т.д. Эти чертежи дают очень много. Разберите Ваше стихотворение из «Пепла» — «В лодке», посмотрите, какой там интересный разрез и как он тесно связан с содержанием. Не буду писать, как связан, Вы это увидите сами. Кстати, насчет разреза стоп: в

ямбе. Вы совершенно игнорируете это — и совершенно несправедливо. Вот пример: две строки:

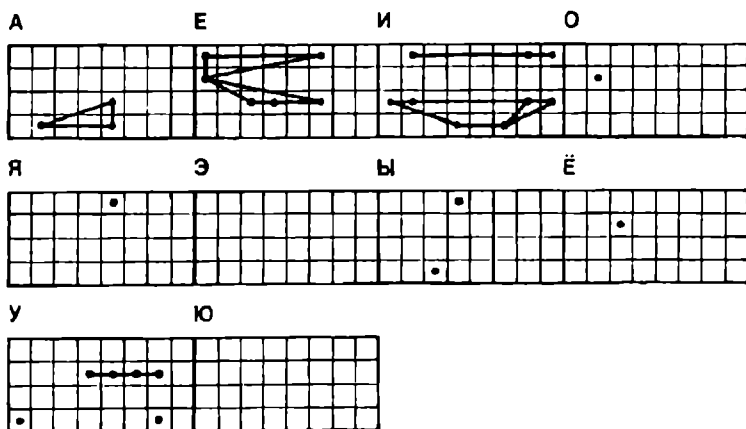
«Когда бегущая комета  
Улыбкой ласковой привета...»

в той и в другой полуударения на третей стопе и паузная форма «с», но они звучат ясно различно. И вот отчего: первая строка = «U— | U—UU | U—», вторая: = «U—U | —UU | U—», т.е. первая = ямб + педан второй + ямб, а вторая = амфибрахий + дактиль + ямб. Это зависит от разреза стоп. Многие стихотворения с плохим ритмом имеют прекрасный (т.е. я говорю, конечно, относительно; хорошим разрезом называю — богатый фигурами) разрез<sup>8</sup>. По-моему, об этом нужно подумать. Мне кажется, мой пример очень ясен. Еще и здесь сделано кое-что насчет словесной инструментровки: т.е. насчет мелодий гласных. То же, думаю (за недостатком времени не мог сделать), можно сделать и с согласными. Делал я так: брал одну строку по числу слогов (т.е. 9 для четырехстопного ямба) и отмечал точкой места отдельной гласной. Для каждой гласной отдельный чертеж. Пример:

(Тютчев)

«Тени сизые смешались,  
Цвет поблекнул, звук уснул;  
Жизнь, движенье разрешились  
В сумрак зыбкий, в дальний гул».

А знаете, Борис Николаевич, в «Всех напевах» у Брюсова гораздо лучше ритм, чем в «Urbi et Orbi» и в «Στεφανος'ε».



Думаю, Вы понимаете, как это делается. Теперь маленькое исследование: больше всего «и» (10 раз = 33%), потом «е» и «у» (6 р. = 20%), потом «а» — (3 р. = 10%), потом «ы» — (2 р. = 6% приблизительно) и «о», «я», «э» по 1 разу, т.е. по 3 [приблизительно] % — ну и наконец «ю» 0%. Это необычайно интересно! (Вам, я думаю, понятно, почему я «ы» помещаю под «и», «ё» под «о» и т.д.). То же самое возможно безусловно и с согласными. Вспомните стихотворение Блока из «Снежной маски» — «...Темный рыцарь вокруг девицы заплетает вязь»<sup>9</sup> — все оно построено на свистящих и шипящих — з, с, у, щ и т. д.<sup>10</sup> Если построить гамму гласных (исходя из того, что «у» равняется приблизительно, если не ошибаюсь, si bemol по опытам Гельмгольца)<sup>11</sup>, то возможно строго объективное исследование гармонии гласных и согласных. Не знаете ли Вы, Борис Николаевич, какого-нибудь сочинения на эту тему, т.е. о музыкальном смысле согласных и гласных. Был бы Вам благодарен, если бы Вы мне про него сообщили.

Литературная жизнь в Москве все такая же, все по-старому. Брюсов, говорят, болел и теперь еще не совсем здоров. Вчера Ремизов читал в «Эстетике» — очень интересно. Читал А. Толстой, но, говорят, очень плохо. В январской «Русской мысли» напечатана брюсовская «психодрама», очень ритмический пятистопный ямб, но абсолютно нехорошо<sup>12</sup>. Сам я еще не читал: передаю с чужих слов. Эллис пишет, через 5 дней должны выйти «Stigmata». Вчера вышла книжка Сергея Клычкова в «Альционе» — «Песни» — я прочел все, но мельком — что-то я ожидал большего. Доведя отрицательную оценку до крайности, можно сказать, что это Ершов, густо удобренный Вяч. Ивановым и Блоком<sup>13</sup>. Но возможно, что все это лишь первое впечатление. Завтра должны выйти, как говорят, «Арабески»<sup>13</sup>, «Музыка и модернизм»<sup>14</sup> и «Записки вдовца» в переводе Рубановича<sup>15</sup>. В «Русском слове» недавно был фельетон Философова о «Русской Камене» Садовского, где он называет эту книжку «отрыжка критиками»<sup>16</sup>. Но я думаю, что, как ни относиться к Садовскому, нельзя признать, чтобы Философов имел право на такие определения. В «Русских Ведомостях» недавно <была> статья о Рейсбруке, которая, кажется, превосходит все сделанное газетчиками в этой области. Между прочим, там говорится, что «недавно основанное кн-во «Мусагет» поставило себе целью издавать разные непонятные книги»...<sup>17</sup> Говорить об этом не приходится. Вышли — только это уж давно — «Куранты любви» — Кузмина, второе издание «Земной оси» с ри-

\* но «а» по-другому интересней «у» — она образует фигуру — «у» нет.

\*\* Не сердитесь, что я так о Клычкове пишу — ведь я не настаиваю на моей оценке. А тон у меня плохой всегда — Вы не обращайте на него внимания, пожалуйста.

сунками Мартини, «Вечерний альбом» Марины Цветаевой — очень милая книжка, но не больше.

Ну, кажется, больше новостей нет. Простите, если был слишком многоречив. Страшно был бы рад хотя бы двум строчкам от Вас (Мой адрес: — Москва, Пречистенка, 33, кв. 20). Передайте мой самый искренний привет Анне Алексеевне<sup>18</sup> — мы с ней два раза виделись — может быть, она вспомнит.

Ваш С.Бобров.

P.S. Борис Николаевич, если будете писать, напишите, что Вы думаете о докторе Р.Штейнере<sup>19</sup>.

C.B.

P.S.S. Через неделю думаю кончить моего Римбо. Вспоминаете ли Вы его в Африке — хотя он в Тунисе бывал лишь проездом. Бедный он!<sup>20</sup>

<sup>1</sup> Данное письмо, очевидно, утрачено.

<sup>2</sup> Отчет об этом собрании был послан Белому 17 января 1911 г. В.Ф.Ахрамовичем (ГБЛ, ф. 25.8.19).

<sup>3</sup> Владимир Оттонович Нилендер (1883-1965) — филолог-классик, переводчик, поэт.

<sup>4</sup> Вероятно, имеются в виду исследования пятистопного ямба Пушкина, Баратынского и Тютчева, которые были обсуждены по приезду А.Белого на заседании Ритмического кружка 18 мая 1911 г. (см. С.С.Гречишкин, А.В.Лавров. О стиховедческом наследии Андрея Белого. — Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 515 (Труды по знаковым системам. Т. 12). Тарту, 1981, с. 102).

<sup>5</sup> Сергей Владимирович Шенрок (1893-1918) — студент-филолог, активный участник Ритмического кружка.

<sup>6</sup> Речь идет о Нине Павловне Бобровой: см. ее письмо к брату от 1 июля 1911 г.: «Занимаешься ли ты ритмом? Помнишь, как мы на рождестве по ночам им занимались?» (ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 486, л. 3).

<sup>7</sup> «Замедлением» (в «Символизме» А.Белый использовал термин «полуударение») именуется (в соответствии с античной терминологической традицией, опиравшейся на количественное стихосложение) пропуск метрического ударения в строке. «Фигурой» А.Белый называл несовпадение ритмического строения соседних строк. Опыт квалификации ритма при помощи отношения числа замедлений к числу фигур также впервые предпринят Белым в «Символизме» (с. 275).

<sup>8</sup> Фактически Бобров, солидаризируясь с В.Я.Брюсовым (В.Брюсов. Об одном вопросе ритма (по поводу книги Андрея Белого «Символизм». — Аполлон, 1910, № 11, с. 52-60) и Б.В.Томашевским (см. публикацию его писем к В.Я.Брюсову, осуществленную Л.С.Флейшманом: Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 284 (Труды по знаковым системам. Т. 5). Тарту, 1971, с. 531-544), обогащает собственно ритмологические штудии Белого изучением словораздельных вариаций, существенно дополняя тем самым программу Ритмического кружка.

<sup>9</sup> Цитата из стихотворения Блока «Бледные сказанья» (А.Блок. Снежная маска. СПб., 1907, с. 53).

<sup>10</sup> См. обобщение этих наблюдений в статье «Согласные в стихе» (С.Бобров. Записки стихотворца. М., 1916, с. 82-92), далекое, однако, от научной фонологии по причине оперирования «буквами».

<sup>11</sup> Возможно, эта идея навеяна статьей Г.Гельмгольца «О физиологических основаниях музыкальной гармонии» (Г.Гельмгольц. Популярныe научные статьи. СПб., 1866, с. 67-114), где, в частности, представлена упоминаемая Бобровым гамма гласных. Звуку «си-бемоль», однако, в ней соответствует гласный «о».

<sup>12</sup> Речь идет о психодраме в одном действии «Путник».

<sup>13</sup> Книга статей А.Белого.

<sup>14</sup> Имеется в виду «Модернизм и музыка» — книга музыкально-ведческих статей Вольфинга (псевд. Э.К.Метнера, редактора-издателя «Мусагета»).

<sup>15</sup> П.Верлен. Записки вдовца. Пер. С.Я.Рубановича. Вступит. ст. В.Брюсова, М., 1911.

<sup>16</sup> Бобров неточно цитирует название статьи Д.Философова «Отрыжка фиалками» («Русское слово» <М.>, 11 (24) января 1911 г., № 7, с. 2).

<sup>17</sup> Неточная цитата из статьи Л.Козловского «Отклики жизни. Нарисованный огонь» (Русские ведомости <М.>, 6 января 1911 г., № 6, с. 3).

<sup>18</sup> Анна Алексеевна Тургенева (1890-1966) — художница, состоявшая с 1910 г. в гражданском браке с А.Белым.

<sup>19</sup> Рудольф Штейнер (1861-1925) — философ, историк культуры, основатель антропософии, оказавшей жизнеполагающее влияние на судьбу А. Белого после 1912 г.

<sup>20</sup> А.Рембо (1854-1891) — французский поэт-символист, оказавший на Боброва значительное творческое влияние (о его переводах из Рембо см. ниже). Бобров имеет в виду, очевидно, его африканское путешествие 1880 г.

## 12

27.I.1911

<Москва>

Дорогой Борис Николаевич!

Сегодня 27 — и по моим расчетам сегодня Вы должны были получить мое письмо. Какой ужасный день!

Ритм у нас начался — в понедельник прошлый заседание, как мне известно, не отличалось особым интересом. Вчера должно было быть второе (в нынешнем году), но его не состоялось — пришло слишком мало народу. У наших главных ритмиков: Сидоров, Шенрок и т.д. заготовлена масса ритмических законопроектов — их будут рассматривать в следующий поне-

дельник. Вводится довольно много нового — результат будет несколько печальный — придется снова переделывать все чертежи. Сейчас я плохо осведомлен о всех этих новшествах, а на той неделе я напишу Вам подробно.

Вчера же вечером в «Мусагете» Эллис делал маленький доклад об отношении католицизма к символизму — собственно, это предисловие к «Stigmata», которые все еще не вышли (как и Ваши «Арабески»...). Был Бердяев, Степпун. Степпун возражал Эллису — очень остроумно и весьма ядовито. И хоть на него набросились Эллис, Бердяев и Топорков, они с ним сделать ничего не могли<sup>1</sup>. Я думаю, Вам знакомо положение Льва Львовича «Poesia est ancilla theologiae...»<sup>2</sup>, он сам говорил, что Вы с этим вполне согласны, чему как-то не верится. Станным также кажется: в его «Русских символистах» — говорить о кризисе символизма невозможно<sup>3</sup>, а теперь он о нем говорит, как о чем-то уже свершившемся. Да, много он очень нехорошего говорит!

Дорогой Борис Николаевич, у нас — у меня и у Сидорова — зародилась мысль — нам очень дорогая и интересная. Мы думаем, что Вы нас поддержите: мы думаем некогда выпустить книгу переводов из новых немецких поэтов! У нас намечены: George, Rilke<sup>4</sup>, Hofmannsthal<sup>5</sup>, Mombert<sup>6</sup>, Dauthendey<sup>7</sup>, Schauckal<sup>8</sup> и Dehmel<sup>9</sup>. У нас уже переведено около 25 стихотворений. А к весне антология будет готова — предполагаем около 100 стихотворений. Что вы об этом скажете<sup>10</sup>?

Ваш С.Бобров.

<sup>1</sup> См. прямо противоположную оценку исхода прений в письме А.С.Петровского Г.А.Рачинскому от 30 января 1911 г.: «В среду было собрание в «Мусагете». Лев читал о символизме и католичестве, очень складно. Затем беседа между Степпуном, Львом, Бердяевым и отчасти Топорковым, прекрасно резюмированная Львом. Ваше сердце порадовалось бы: сильно Степпуна пощипали, и в то же время очень элегантно» (ЦГАЛИ, ф. 427, оп. 1, ед. хр. 2843, л. 17). Степпун Ф.А. (1884-1965) — философ, литературный критик, активный деятель издательства «Логос» и «Мусагет».

<sup>2</sup> Поэзия — служанка теологии (лат.).

<sup>3</sup> Бобров не совсем точно передает точку зрения Эллиса, писавшего: «Что же такое «кризис современного символизма», временное самопротиворечие или вырождение? Судорога или агония? Мы определенно заявляем, что именно — самопротиворечие понятное, неизбежное, временное и вполне условное» (Эллис. Русские символисты. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый. М., 1910, с. 325).

<sup>4</sup> Р.М.Рильке (1875-1926) — выдающийся австрийский поэт, интенсивно воспринятый современной ему русской культурой.

<sup>5</sup> Г. фон Гофмансталь (1874-1929) — австрийский писатель и драматург, близкий по эстетическим взглядам к С.Георге.

<sup>6</sup> А.Момберт (1872-1942) — немецкий поэт и драматург символистско-мифологической ориентации.

<sup>7</sup> М. Даутендей (1867-1918) — немецкий поэт, прозаик-нео-романтик.

<sup>8</sup> П. Шаукал (1874 — после 1928) — поэт, переводчик, драматург.

<sup>9</sup> Р. Демель (1863-1920) — немецкий писатель, поэт декадентской ориентации.

<sup>10</sup> Вероятно, реализация этого замысла возлагалась по преимуществу на А.А. Сидорова, более сведущего в немецкой литературе, — у Боброва к этому моменту было переведено лишь по одному стихотворению Георге и Рильке (см.: ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 237, л. 27; ед. хр. 238, л. 13). В 1913 г. вынашивавшийся Бобровым замысел был осуществлен В.Ю. Эльснером (см.: Современные немецкие поэты в переводах В. Эльснера <А>. М., 1913).

## 13

16. II. <1>911

<Москва>

Пречистенка, 33, кв. 20.

Дорогой Борис Николаевич!

Страшно Вам благодарен за Ваше письмо — сегодня я получил его! Спасибо Вам, спасибо, что Вы меня не забыли! Уж я боялся, что мои письма не дошли. Каждое Ваше письмо для нас для всех радость — как сойдемся — первый вопрос: кто следующий получил от Бориса Николаевича письмо? — немного ведь у нас пусто в «Мусагете» без Вас — Метнер бывает довольно редко, а Эллис... — тот совсем ушел в теософию и кроме как о Штейнере ни о ком и ни о чем не говорит и старается взять «Мусагет» приступом, дабы обратить его в гиблую квартиру теософов. У Крахта на лекциях он Бодлэра с теософской точки зрения комментирует и куда ни придешь — является Эллис и только и слышишь: «Акаша-Хроник — следующее воплощение — Девахон — астральное число» и так без конца! — Доктор Штейнер сказал так-то, доктор думает так-то, доктор любит то-то и то-то... доктор равен Франциску Ассизскому... Доктор пять часов в день беседует с иными существами и видит Христа...» Вы себе не можете представить, что это такое! Везде у Эллиса возникают постоянные перепалки из-за этого — это так неприятно! Сам он под влиянием этой — простите меня — абракадабры — странно разнервничался и производит впечатление человека психически нездорового. И от всего этого идет прескверный запах мертвечины и податливость... Эртелей<sup>2</sup>. Постоянное кивание назад — что там-де знают, а им дано доходить до изложения «тайных» доктрин, которые, к слову сказать, может узнать всякий, — сыпется такая околесица, что хоть святых вон неси! Беспрестан-



ное, нелепое, никчемное кощунство («доктор Штейнер, который все знает...»), постоянное смешивание теософии с христианством, объявление манихейства истинной религией, что не случайно<sup>3</sup>! — связь с магией, захватывание всего в мире и — ах, из этого всему конец! Недавно у Крахта — К.Ф. выступил против Эллиса — говорил довольно горячо, упрекал его в том, что он подменяет символ аллегорией, в мистическом позитивизме его, в подмене понятия бесконечное (для Эллиса в конечном счете нет бесконечности) и во многом другом. Эллис решил, что он в следующее воскресенье прочтет лекцию об отношении Штейнера к искусству. Но 13-го (в последнее воскресенье) вместо обещанного был прочтен им довольно длинный и бессвязный акафист Штейнеру, который во многом напоминал книжку Морозова об апокалипсисе<sup>4</sup>. Если бы Вы знали, Борис Николаевич, какое это на всех производит гнетущее впечатление! Недавно Эллис говорил мне и Рубановичу, что Вы ему признавались, будто бы и для Вас Штейнер есть идеал и т.д., я не верю этому совершенно, во-первых, Эллис очень любит говорить неправду, во-вторых, я помню Ваши замечания о теософии и теософах в «Символизме» и в «Весах». Мне бы очень хотелось, Борис Николаевич, чтобы Вы написали мне, что Вы думаете об этом «движении». Весной прошлого года у меня были очень тяжелые личные дела, кроме того, я не мог ходить в «Мусагет». У Эллиса я начал читать в первый раз «Божественную комедию» (простите, Борис Николаевич, что я исповедуюсь!!), потом купил себе и прочел. Вы понимаете — она произвела на меня колоссальное действие. Приблизительно в это время Эллис узнал о существовании Штейнера. Он дал мне его книжку «*Theosophia*» и убедил меня отчасти, ссылаясь на католическую символику Данте, что Штейнер ясновидящий, посвященный, розенкрейцер и т.д. В то время я был совершенно разбит, только что перенес тяжелый приступ сердечной невралгии и не мог защищаться влияниям извне — я стал искренно и пламенно верить в теософию, в ее назначение спасти мир и т.д. Как будто я воспрянул духом — но потом — уж не стану Вам описывать, что со мной сделала теософия — это очень длинно — только одно скажу — больше я никогда не мучился. Стало мне ясно в конце концов — что теософия не есть мирозерцание или религия — это — провал, небытие, дыра, могила!! Она как бы дает все, а на самом деле превращает все в ничто. Теперь мне удалось выкарабкаться из этого, и Эллис считает меня ренегатом и т.д. Все это печально, и в одном письме этого не расскажешь. Да я уж сейчас не могу об этом больше писать — очень все это уж тяжело.

Об ритме я Вам не буду писать — скоро Вы получите, если уже не получили, большое письмо Дурылина об ритме, одобренное ритмической секцией<sup>5</sup>. В нем описано все — все наши ритмические новости Вы там узнаете.

В прошлую среду в «Мусагете» Сергей Соловьев читал статью о Дельвиге. Статья оказалась очень маленькой и достаточно поверхностной. Было очень много народу. Был Вячеслав Иванов, Брюсов. После лекции Иванов говорил с Сергеем Михайловичем и совершенно уничтожил его (это не было пренебрежением). Потом читали стихи. Вяч.Иванов (хорошие стихи, но немного холодные), Бородаевский (слабо), Эллис, Любовь Столица (прекрасные стихи, но очень бесстыжие, «шалые» и «просто-волосые»), потом великолепное стихотворение прочел Брюсов. Давно уж мы от него таких стихов не слышали! Эпиграфом к стихотворению служит последняя строфа тютчевского стихотворения «Самоубийство и любовь» — Вы, конечно, его помните, только оно, кажется, не так называется<sup>6</sup>. После лекции произошел довольно неприятный инцидент: Вяч. Иванов подошел к Эллису и стал хвалить ему его стихи; на что Эллис неожиданно ответил: — К сожалению, не могу того же сказать и о Ваших стихах (т.е. похвалить, — С.Б.), — сплошная риторика<sup>7</sup>!

Иванов, кажется, был очень обижен. Это было 9-го, а 10-го в Политехническом музее был вечер, посвященный памяти Владимира Соловьева. Говорили Эрн, Бердяев, В.Иванов, Блок (собственно, он не говорил, а читали его доклад, сам он не приехал); я на этом вечере не был, а vox populi говорит приблизительно следующее: Эрн — бессодержателен был, Бердяев длинноват и больше о себе, чем о Соловьеве, Вяч.Иванов очень интересен, Блок тоже.

Вчера вышли наконец «Stigmata», очень приятная книга с внешней стороны, о внутренней не могу говорить, плохо знаю, одно скажу — в католических терцинах слишком много риторики. Вообще-то все это еще не окончательно я говорю — слишком мало литературы — а «так что-то». Ритм хороший. Ваши «Арабески» совсем готовы, но на последние листы не хватало бумаги и теперь задержка. В последней «Русской мысли» — февральской: продолжение прекрасной «Чертовой куклы» Гиппиус, чепуха Эртеля<sup>8</sup>, очень слабые стихи Бальмонта, переводы — интересные — из Даунтендея (проза), длинная рецензия Брюсова о 16 (!) поэтах (между прочим, о Сидорове, Клычкове и Цветаевой), довольно любопытная, но сухая и с кадетизмом<sup>9</sup>. В «Современнике» хулиганская статья Амфитеатрова о ритме<sup>10</sup>.

Ну, кажется, все покамест. Остальное все по-старому. Очень недостает Вас, Борис Николаевич! Заели нас теософы! Караул! И жаловаться некому! Ходят везде, бродят, о поэзии чепуху говорят и все шипят: Ш... Ш... Шт... Шт... Штейнер...!

Кончил я моего Римбо. В прошлое воскресенье читал его биографию (составленную мною) у Крахта. Кажется, все было довольно, но были упреки в академизме, — но это у меня нарочно, я ждал этих упреков. Это будет маленькая книжка — там будет статья о жизни и творчестве Римбо, и переводы: 1) стихотворений, 2) поэмы в прозе и его «Saison en Enfer»<sup>11</sup>. Очень похожий

на Ваши ранние симфонии и странным образом напоминающий... не пугайтесь, Бога ради, Борис Николаевич!.. Ницше — «Заратустра»<sup>12</sup>. Очень я боюсь об этом говорить, ибо Эллис и Нилендер, как я только скажу об этом слово, кричат, что это хулиганство... Очень простой метод отделяться...

Эту книжечку согласился издать Кожебаткин, но, к несчастью, это случится не раньше осени. Сейчас я работаю над Маллармэ, так фатально и нелепо забытым<sup>13</sup>.

Ну, до свиданья, милый Борис Николаевич, желаю Вам всего доброго и светлого. Передайте мой привет Анне Алексеевне.  
Ваш С.Бобров.

Р.С. Кожебаткин говорит, что слово «Мар Иолэн» нельзя напечатать в альманахе! Как это обидно!<sup>14</sup>

С.Б.

<sup>1</sup> Данный текст до нас не дошел.

<sup>2</sup> Речь идет, скорее всего, о М.А.Эртеле, активном участнике Теософского общества.

<sup>3</sup> Манихейство — виднейшее еретическое учение, возникшее в III в. и подвергавшееся ожесточенным гонениям со стороны ортодоксального христианства.

<sup>4</sup> Речь идет о книге известного деятеля революционного движения, ученого и поэта Н.А.Морозова (1854-1946) «Откровение в грозе и буре. История возникновения Апокалипсиса» (СПб., 1907), трактующей указанную тему с астрологических позиций.

<sup>5</sup> Вероятно, речь идет о письме С.Н.Дурылина от 15 февраля 1911 г. (ГБЛ, ф. 25.15.5, л. 1-2об.).

<sup>6</sup> Имеется в виду стихотворение В.Я.Брюсова «Демон самоубийства». Любопытно, что в мемуарных возвращениях к этому эпизоду Бобров в число присутствовавших при чтении включил и самого Белого, а «Демон самоубийства» считал обращенным персонально против него: «Казалось, что Брюсов прочел приговор "Мусагету" — а, верней, самому Белому, — то есть бросать Белому в лицо, что тот мало что изменил по отношению к искусству... но что он — еще хуже того — он самоубийца, он человек, который повесил за дверь на веревке того самого поэта, Андрея Белого, которого так старательно растили и пестовали не один год в "Весах" и "Скорпионе"» (С.Бобров. Записи о прошлом. II. — ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 266, л. 12; ср.: С.Бобров. Мальчик. М., 1976, с. 481-482).

<sup>7</sup> О данном происшествии Белый был также извещен М.И.Сизовым и Э.К.Метнером и попытался принести Иванову за Эллиса свои извинения: «Только что получил от Метнера обстоятельное и негодующее на Эллиса письмо о его поведении в "Мусагете". Верь и знай, что этой выходкой и рядом других «сумасшедших» поступков он себя как бы ставит вне "Мусагета"» (ГБЛ, ф. 109.12.29, л. 35). Эксцентричная выходка Эллиса, возможно, коррелирует с резким неприятием Эллисом в этот период личности В.Иванова и его роли в «Мусагете». «Иванов доказал 3 раза,

что не заслуживает доверия. Никто ему не доверяет. Он возможен только как гастролер», — писал Эллис Э.К.Метнеру в начале февраля 1911 г. (ГБЛ, ф. 167.7.31, л.2).

<sup>8</sup> Речь идет о продолжении романа Александра Ивановича Эртеля (1855-1906) «Урожденная Тибьякина».

<sup>9</sup> Намек на партийную принадлежность главного редактора журнала — Петра Бернгардовича Струве (1870-1944), видного конституционалиста-демократа.

<sup>10</sup> Речь идет о статье А.Амфитеатрова «Литературные впечатления («Современник», 1911, № 1, с. 319-349), в которой несколько страниц посвящены разбору стиховедческих глав «Символизма» с принципиально нигилистических позиций: «Нет ничего более не математического, как условное пользование внешними математическими приемами вне области точных исследований и наук. Насколько строга и безусловна математика у себя дома, настолько она податлива и уступчива в гостях. Хватило бы только букв в латинском и греческом алфавите, а то, при произвольности заданий, свободе допущений и капризе коэффициентов, ими можно вывести и утвердить все что угодно» (указ. соч., с. 322).

<sup>11</sup> «Сезон в аду» (фр.).

<sup>12</sup> В архивах Боброва сохранился практически полный перевод поэтических произведений Рембо (ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 239-241, ИМЛИ, ф. 429, оп. 1, ед.хр. 2-4); в это же время писалась и статья, о творческой истории которой сказано в предисловии (С.Бобров. Жизнь и творчество А.Рембо. — Русская мысль, 1913, № 10, с. 127-154). Как уже отчасти оговаривалось выше, жизнестроение Боброва в большей степени ориентировалось на Уайльда, Бодлера и Рембо; но даже в этом неслучайном сочетании Рембо играл особую роль (тема поэтически-биографического параллелизма обыгрывается и в воспоминании Б.Л.Пастернака о том, что увертюрой к его знакомству с Бобровым были «слухи, будто это новонародившийся русский Рембо» (Б.Л.Пастернак. Люди и положения. — Избр. в 2-х тт. Т. 2. Проза. Стихотворения. М. 1985, с. 246), и в строках мадригального стихотворения-акrostиха А.А.Сидорова, обращенного к Боброву — «Мар Иолэну: «Мой милый друг, тебя узнал я сразу //Алмазности не умилишь небес — //Рождающий смертельную заразу// Jean-Nicolas-Arthur Rimbaud воскрес» (ГММ, № 30348). В «Мусагете» идея издания Рембо не встретила поддержки: «Что касается Рембо — затрудняюсь что-либо сказать, почти совсем не знаю его, а то, что знаю, мне не нравится», — писал 15 сентября 1912 г. Боброву А.С.Петровский (ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед.хр. 569, л.2).То же мнение было высказано Э.К.Метнером А.Белому в письме от 17.11.1912 г. «Бобров предлагает свой перевод *Сезона в Аду* Рембо; книжка небольшая, гонорара не требует. Но мне не понравилась эта вещь; т.к. я французов и не люблю и не понимаю, то, запрашивая Вас и Эллиса, поступлю сообразно с вашим отзывом» (ГБЛ, ф. 167, 13.6, л. 51 (копия)). Вероятно, на этом обсуждение планов издания А.Рембо в «Мусагете» закончилось.

<sup>13</sup> В архиве Боброва сохранился перевод стихотворения французского поэта-символиста С.Малларме (1842-1918) «Появле-

ние», помеченный 10 февраля 1911 г. (ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 2, ед. хр. 236, л. 37).

<sup>14</sup> Речь идет о публикации стихов Боброва в «Антологии» книгоиздательства «Мусaget» (М., 1911), где ему поневоле пришлось воспользоваться псевдонимом «С.Рюмин».

## 14

2.VII.<1>911

Москва, Б.Афанасьевский, 17, 2.

Дорогой Борис Николаевич!

Очень мне жаль и очень перед Вами совестно, что не писал столько времени, обещав писать регулярно, но в жизни моей столько перемен и пертурбаций за последнее время случилось, что не мог я совсем никому писать. Говорю «за последнее время», так как я не писал Вам не очень уж долго: дело в том, что два мои письма не были Вами получены, — я их послал в Каир — Вы уже уехали, и они вернулись ко мне в Москву с прелестными египетскими штемпелями. А теперь уже не хочется посылать их Вам снова: теперь они мне не нравятся, да и новости, которые я Вам в них сообщал, уже утратили свою свежесть. Так что в неисполнении своего обещания я уже не так виноват.

Сейчас в Москве тихо и пусто, все замерло — наши все разъехались — Сидоров в Курской губ., Шенрок в Греции, Дурылин на Севере, в Архангельской губернии. Тихо, никого нет.

На осень проектов у нас много — самых разнообразных. Позвольте Вам изложить один — принадлежащий мне: видите ли, Борис Николаевич, как Вам известно, о наших ритмических работах ходят самые фантастические слухи, как и о самом ритме; в этом я очень основательно убедился во время зимнего в Москву приезда Вяч. Иванова. Он говорил о ритме (нашем) и работах наших с полным незнанием дела. Такое, по крайней мере, получилось впечатление — у нас — ритмистов. Говорил он о «ритме» как-то не так, не то. Припутывал совершенно обстоятельства посторонние<sup>1</sup>. — Так вот, мне и кажется, что для преуспевания ритма, для ознакомления с ним публики, кружков и т. д. необходимо что-либо предпринять. Вами было предложено весной издать наш учебник «на правах рукописи». Но не говоря о том, что это лишь паллиатив и что к учебнику *необходим* том комментариев, без чего он совершенно непонятен будет рядовому «интересующемуся», у нашего учебника такая масса слабых сторон и совершенно не разработанных пунктов, что он скорее запугает кого угодно, чем разрешит ему что-нибудь! Сразу вводя читателя *in medias res*<sup>2</sup>, он годен только для нас самих, а так как кое-где он расходится с «Символизмом», тот не может быть ему подспорьем. Все это, Борис Николаевич, привело меня к

мысли, что лучшим будет: заманить публику (и Петербург) исподволь, мне кажется, нам для этого необходим журнал. И не большой журнал вроде «Весов», который должен следить за всем и отзываться на все, а небольшой журнал: орган ритмической секции! Журнал, где будут *стихи и о стихах*, — журнал, посвященный поэзии в самом широком смысле слова и ритму в частности! Эту идею мою я излагал нашим и очень меня поддерживали Сидоров и Дурылин; Ларионов<sup>3</sup> не сказал ни да, ни нет, Шенрок, который, как Вам известно, соглашается лишь с тем, что он сам скажет, отнесся скептически, но, в конце концов, и он не представил ни одного серьезного возражения.

Средства для такого издания (ежемесячного) нужны небольшие, и они у нас будут. Все мы очень надеемся на поддержку в приветственном смысле от «Мусагета» и от Вас, Борис Николаевич, в частности!

Мне помнится, Вы не раз говорили, что Вам было бы интересно и казалось бы ценным видеть воплощенными на бумаге импровизированные рефераты, читавшиеся у нас на ритмических собраниях. — Вот для них и ими будет жить наш журнал, если ему суждено когда-либо увидеть свет.

Кроме «ритма» и «ритмической» критики новых стихов, исследований о поэтах и т.д. и стихи сами просят своего журнала. «Остров» шел не по той дороге — никто не знал — о чем он? Стихам предполагается уделять около 1/4 каждого №. Да и нужно продолжить дело нашей «Антологии» — продолжать говорить, что стихи, хорошие стихи ценностью представляют огромную, а то у нас скоро, кажется, вновь будут считать мове-тоном хорошие стихи писать.

Вот что я Вам хотел сообщить, Борис Николаевич, — страшно буду Вам благодарен, если Вы черкнете мне несколько строк, скажете, что Вы об этом проекте думаете! Сам я — всего себя этому делу отдаю, если оно не остановится в его теперешнем положении.

Как вам понравилась «Антология», Борис Николаевич? Мне думалось, почему-то, что она будет хуже, так что я ей был обрадован. Только тяжело мне: зачем там этот гаер Потемкин? Будь эти его стихи о теткинном портрете в «Сатириконе», они были бы прекрасны, здесь же они лишь шокируют. Не хороши Сизов и Волошин. Стыдно мне очень за первое мое стихотворение!

Блока «То не ели, не тонкие ели...» и Ваши стихи, Борис Николаевич, по-моему, лучшие вещи в альманахе. Кузмин прекрасен, как всегда. Очень, очень утешил меня Сергей Соловьев. Какая простота — и как хорошо! Из молодых Клычков, Рубанович — оба прекрасны. Да много хорошего!

В «Речи» недавно была статья Сергея Городецкого об «Антологии» под названием «Праздник поэзии». Он очень хвалит

Кузмина, Рубановича и Клычкова. Статьи этой я не видел — это все, что я о ней знаю — мне это рассказывал Кожебаткин, который тоже ее не читал.

По-моему, это так мило со стороны Городецкого! Да! — забыл — еще Волошина (?) и Вячеслава Иванова он очень хвалит.

Вот так и все. До свидания, Борис Николаевич! Напишите мне, хоть немного.

Ваш С.Бобров.

P.S. Простите, пожалуйста, пишу на каймах — совсем бумаги приличной нет!

Еще есть у меня к Вам, Борис Николаевич, одна просьба, которая, — боюсь, — Вам покажется смешной: не могли бы Вы мне подарить Вашу карточку фотографическую! В продаже есть Ваш портрет, но уж очень мало он Вас напоминает!

Не сердитесь, ради Бога, Борис Николаевич, на меня за это!  
С.Бобров.

<sup>1</sup> Ср. письмо С.Н.Дурылина к Белому от 15 февраля 1911 г.: «В минувшую среду в «Мусажете» был реферат С.М.Соловьева о Дельвиге; после реферата мне довелось беседовать с Вяч. И.Ивановым о ритме. Вяч. Ив<анов>ч указывает, что мелодия в стихе создается не одними ускорениями, но и замедлениями и даже чисто метрическими строками» (ГБЛ, ф. 25, карт. 15, ед. хр. 5, л. 2об.).

<sup>2</sup> В сердцевину темы (лат.).

<sup>3</sup> Арсений Иванович Ларионов — один из участников Ритмического кружка.

<sup>4</sup> Речь идет о статье: С.Городецкий. Пир поэтов («Антология» Мусажета). — Речь, 27.6/10.7/ 1911, № 173, с. 3.

Дорогой Борис Николаевич!

Через несколько дней Вы получите из «Мусажета» мою статью «О живописи современной»<sup>1</sup>. Она предложена мной для «Трудов и дней». В статье этой мной изложены довольно пространно причины, заставившие меня ее написать, и я не стану Вам их повторять. — Но, независимо от того, будет ли статья моя принята для «Тр<удов> и дн<ей>», мне было бы крайне интересно и нужно Ваше мнение о ней. Задача моя, как Вы сами увидите, была чрезвычайно сложная. И ниоткуда я ничего почерпнуть не мог.

Далее, Борис Николаевич, мне очень бы хотелось бы сказать кое-что о статье Вашей «Круг, линия и точка», которую недавно читали у Крахта<sup>2</sup>. Говорю «кое-что» потому, что могу сказать очень немногое; статья чрезвычайно сложная, часто приходилось напрягать свое внимание на отдельные фразы и сказать что-либо вообще — не могу. Когда она будет напечатана, ее можно будет разобрать на столе, — тогда другое дело.

Вот — о примере, которым Вы подтверждаете одно из главных своих положений (я думаю, «точных», ибо оно из стоящих в середине между «геометрическим» подходом и примером). Вы говорите о пирамиде и Венере Милосской. Мне кажется, пример Вы выбрали неудачный. Конечно, пирамида, в конце концов — только стереометрическое тело, это так; но (не странно ли?) оно имеет потомство, это «только тело», вся готика — его потомок и почти непосредственный (и примеров можно было бы привести много) и один из его потомков... Венера Милосская! Но не чистой крови, но по боковой линии! У Венеры — где ее потопки — <нрзб>? — Венера всегда представляется точкой, от нее некуда идти. Потом: где у пирамиды символ, там у Венеры риторическая метафора. У пирамиды Вам нечего бояться; около Венеры Вас испугает мысль — а вдруг это — танагрэтка? Вы никогда не сможете пересказать, что говорит пирамида; о Венере Вам придется прибегнуть к лирике; чтобы спасти тему, Вы объявите себя творцом Символики личных переживаний, объявите Венеру венцом этой Символики и только так удастся Вам выгородить ее. Таким образом, Вам придется поступать совсем неправильно: придется Символику объявить детищем Символики личных переживаний (раз Вы признаете Венеру), а эту Символику объявить единой; отчасти, значит, придется лирику свою объявить Символикой. — Далее Вы говорите — «сфинкс — символ звериного прошлого». Почему так? Сфинкс — женщина с телом льва, лев был посвящен солнцу, разве солнце — звериное прошлое? О женщине долго говорить, но, в конце концов, разве она — звериное прошлое? А не божественная ли гармония сфинкс? — солнце и луна? Впрочем, может быть, я здесь несколько механичен.

Одно удивительное я вынес впечатление от Вашей статьи, собственно, от конца ее. Ясной и бесконечной славой пахнули на меня эти слова! Не геральдическим великолепием, о котором столь много говорят, нет (этих говорунов легко, конечно, поймать, слово «геральдическое» тут — «epitheton ornans»<sup>4</sup> и сильней!), но великою славой (не мог подобрать другого слова), которую хотелось бы почувствовать в пышных намеках Вилье де Лиль-Адана<sup>5</sup> и еще кое-где. В несказанной Вашей <статье> апофеоз блеска, блеск был еще нигде мной не замечаемый (так яс-

<sup>2</sup> Ведь Вы живете с С.Соловьевым<sup>3</sup>? Покажите ему, пожалуйста, стихотворение «Venus», посвященное ему.



но), но — (дорогой Борис Николаевич, я ничего не утверждаю, я только спрашиваю) — не люциферически<й> ли? Помните, как Вы негативно определяли Символ в «Символизме»? — т.е. даже не Символ, а понятие о нем? Вы говорили, что он не Символ религиозный! (Символ можно ведь поставить рядом с Символом религии, разве он не символ.) Теперь Вы говорите: «теософия есть философия символизма». По отношению к «я» Символ есть вечнотворимое (к «я», становящемуся Логосом), на образе Логоса базируется теософия (значит, на образе образа «я»), но дальше Вы говорите, что, познавая, мы поднимаем всякую форму и всякое содержание символическим путем. Но теософия утверждает это бытие реальным. Если мы не подменим просто слово реальный словом символический (есть же между ними разница!), то — Символ рождается от образа «я», теософия от образа образа «я»; Символ раскрывается в символизациях, он суть цепь символов, утверждаясь в себе, они наделяют себя своим бытием, теософия санкционирует это бытие — результат самоутверждения. Человек утверждает себя в природе, скажем, но «земля есть подножье ног Моих», а, следовательно, он утверждает себя в Божестве. Или: его пафос: «Как ты прекрасно (напр.), Божество!» Но утверждать себя в себе, утверждать как Ding an Sich<sup>6</sup> можно или символически, или реально, но тогда — люциферизм, бунт. И совсем не нужный. И далее: мои символы обладают реальным бытием, в них раскрывается Символ, значит, он от этого самоутверждения в себе зависит, а если так, то он тоже бунт.

Мне так хотелось бы <знать>, Борис Николаевич, что Вы об этих мыслях моих скажете! Может быть, я где-нибудь спутался, но я не знаю, где. Да я не могу совершенно верно это выяснить, но я приведу Вам одно мое стихотворение, где я высказал, как мог, что знаю и думаю о символизме; рассказывая, мне этого никогда так не выяснить. Мне очень стыдно, что затрудняю Вас такими длинными письмами, но если Вы поверите в его искренность, Вам будет понятно оно. Вот стихотворение.

#### ЗАВЕТ

Душа! вотще ты ожидала  
В своей недремлющей молве,  
Любовь холодная сияла  
В ее нетленном торжестве, —

Но, опровергнув наши кущи —  
Как некий тяжкий катаклизм,  
Открыл нам берсга и пущи  
Благословенный символизм.

Всечасно изменяя лица  
Над ярым грохотом зыбей,

Он орли вперял зеницы,  
Тать богоравный, Прометей!

Воздвигнулась над городами  
Его единственная длань,  
И длань его была как пламя,  
Его таинственная дань.

Он, возлюбивший, возрадивший  
Сердце беспечное мое,  
Он, в смертной буре приютивший  
Мое ночное бытие,

Он, неисповедимой тучей  
Наш озаривший небосклон,  
Он непокорный, он могучий  
Он — жизнь, — любовь, — мечта и сон,

Над ясной старицей вселенной  
Он сердце жаркое открыл  
И огнекрылый, и блаженный,  
Как оный вестник Гавриил!

Душа! ты дней печальных — слово,  
Перегори в его огне,  
И жадно трепета ночного  
Вкуси — и встань в томящем дне!<sup>7</sup>

(«Воздвигнулась над городами» etc. — т.е., как осуждение.  
«Сердце» на первой стопе — хориямб<sup>8</sup> паузн<ой> формы «с»).  
Мне очень, очень хочется получить от Вас ответ, дорогой  
Борис Николаевич.

Ваш Сергей Бобров.

Лопухинский, 7, кв. 14.

<sup>1</sup> Сохранился беловой автограф статьи (ГММ, № 30253; датировка — 15.X.1912) с редакторскими пометками неизвестного лица. В редакционном портфеле «Мусагета» (ГБЛ, ф. 190) статья, однако, отсутствует, и, насколько известно, вопрос об ее издании не обсуждался. Статья отражает кратковременное увлечение Боброва теорией и практикой живописи, пик которого пришелся на 1912 год (подробнее см. комментарий к репринтному воспроизведению книги: С.Бобров. Вертоградари над лозами. М., 1913 — в печати).

<sup>2</sup> Бобров неточно указывает название статьи: цитатно-тематический комплекс, приводимый им при пересказе, соответствует статье «Линия, круг, спираль — символизма», написанной, по воспоминаниям Белого, как раз в октябре 1912 г. (см.: А.В.Лавров.

Андрей Белый. Хронологическая канва жизни и творчества. — Андрей Белый. Проблемы творчества. М., 1988, с. 787) и опубликованной несколько позднее («Труды и дни», 1912, № 4-5, с. 13-22).

<sup>3</sup> Сергей Михайлович Соловьев (1885-1942) — поэт, прозаик, переводчик, долгое время — один из ближайших друзей Белого. С 1893 г. семья Соловьевых жила в том же доме, что и семья Бугаевых, но, находясь в Швейцарии, Белый, разумеется, был лишен возможности исполнить просьбу корреспондента.

<sup>4</sup> Украшающий эпитет (*лат.*).

<sup>5</sup> Филипп Огюст Маттиас Вилье де Лиль-Адан (1838-1889) — французский писатель.

<sup>6</sup> Вещь в себе (*нем.*).

<sup>7</sup> Данное стихотворение было опубликовано дважды (Лирика. Первый альманах. М., 1913, с. 33-34. С.Бобров. Вертоградари над лозами. М., 1913, с. 96-97).

<sup>8</sup> Хориямб — «противоестественное» столкновение в стихе ямбической и хорейской стоп, дающее неожиданный ритмический эффект.

Дорогой Борис Николаевич!

Неоднократно пеняли Вы мне во время Вашего знакомства за желание печататься, со всеми доводами к пеням и с самыми Вашими пенями я всегда согласен. Но одно лишь возражение имею: если я пишу, — в конце концов, я утверждаю, что имею право писать, тем самым, заявляю, что мое творчество (конечно, может быть, это только «творчество» — этого я знать не могу) кому-то нужно, — и обратно: говоря, что мое творчество кому-то нужно, говорю, что имею право писать. Так: но неизменно всегда приду к алканию читателя, ко взысканию его, ибо я не писатель; если никто меня не читает, если нет читателя, который меня сотворит, который меня в моей лирике утвердит. Тогда, значит, я не писатель, тогда, значит, не имею права писать. Писание «для себя», поскольку оно выполнимо, есть безумное в себе самоутверждение. — Все эти рассуждения, может мне кто-либо возразить, очень хороши, но одно дело какой-либо писатель, другое дело я. И тут весь вопрос в том: осмелюсь ли я себя признать писателем. И я, с бесконечным количеством поводов (между прочим, я думаю про себя, что я не поэт, а только стихотворец), это делаю. И сделав это, я уже не могу отрекаться от печати.

Еще нам могут возразить (как не раз уж повторяли) фразу Ломоносова — если не ошибаюсь — о Хераскове: «Жалкое твое рифмачество!»<sup>1</sup>, не пускаясь в критику рифмачества, отвергать его как таковое, как *стишки*. И *стишкам* противопоставлять научную какую-либо работу. И будут правы до известной степени. Но не правы потому, что грань между *стишками* и «работой» никто не сумеет провести. И потом, в ответ на обвинение это, могу показать груды чертежей ямба, трехдольника, *хродои медои*<sup>2</sup>, инструментовки, строчных коэффициентов, строения образов, знаков препинания, — (весьма возможно, и недостойные) попытки мои теорий живописи и лирики. И еще мои переводы. (— Что могу, то и делаю! Другого не люблю и на *каторгу* бесконечную обрець себя не могу!). И поэтому думаю, что *стишками* (а они в моем понимании есть не стишки, стихи) смею заниматься.

И далее: себя выразить, свое выразить и мир во мне отраженный выразить могу я только стихами, — во всей остальной работе верно указание «мысль изреченная есть ложь», — лирика же меня от этих пут освобождает. Поэтому думаю, что могу заниматься поэзией.

И, все (вместе): думаю, что 1) могу заниматься поэзией, 2) могу заниматься *стишками*, 3) могу желать печати.

И теперь думаю выпустить книжку стихов. Для меня еще хорошенько неизвестно, случится это в скором времени или нет, т.к. не знаю, будут ли для этого в достаточном количестве у меня деньги, — но кажется, что будут. И вот, обращаюсь к Вам, первому приветившему мою Музу, — с бесконечной (для меня) просьбой. Как только стихи будут набраны, я пришлю Вам корректуру, попрошу Вас ее прочесть (это займет немного времени, — в книжке 60 стихотворений) и решить: может ли «Мусагет» дать мне свою марку. И еще — одна просьба: — бесконечно, несказанно я был бы Вам благодарен, если бы Вы написали для книжки моей две, три странички в виде предисловия, Вами мне когда-то обещанного<sup>3</sup>.

Примите, Борис Николаевич, лучшие мои пожелания и извините за длинное письмо.

Ваш Сергей Бобров.

Москва, Лопухинский, 7, кв. 4.

<sup>1</sup> Источник цитаты не выявлен.

<sup>2</sup> В греческой стиховедческой терминологии — пауза.

<sup>3</sup> Письмо явилось следствием разговора с Э.К.Метнером, зафиксированного Бобровым в дневнике. «Был Метнер. Спрашивал я его, даст ли марку. Он говорит, — как Белый. Написал я сейчас Белому письмо об этом. Боюсь, что в фельетонизме упрекнет. Попросил предисловие. И хочется и колется. Напишет он там. Штейнер, Штейнер, Штейнер ес. — хорошо будет, нечего сказать» (С.П.Бобров. Дневник, запись от 11 ноября 1912 г., л. 38 об.).

Впоследствии Бобров еще раз напомнил Метнеру о своей просьбе (письмо от 22 января 1913 г. — ГБЛ, ф. 167, карт. 13, ед. хр. 18, л. 2); но она, по-видимому, была оставлена без последствий — первая книга стихов Боброва («Вертоградари над лозами») вышла весной 1913 г. в издательстве «Лирика».



За помощь в работе с иноязычными текстами комментатор сердечно благодарит В.А.Мильчину и М.Л.Гаспарова.

# Д.С.Мережковский

## ПИСЬМА К О.Л.КОСТЕЦКОЙ

### Предисловие и публикация А.В.Лаврова

В одном из публикуемых писем Д.С.Мережковский сам предсказывал их позднейшее предназначение: «Если когда-нибудь будут писать мою биографию, то вспомнят и о Вашем таинственном образе, так странно промелькнувшем в моей жизни». Этот «таинственный образ», однако, мог из биографии писателя исчезнуть вполне бесследно: адресат писем и в пору случайной встречи — или, скорее, не встречи — с Мережковским, и в последующие годы была далека от литературных сфер, сам Мережковский иных свидетельств об этом «потаенном» эпизоде своей жизни, по всей вероятности, не оставил, и если бы О.Л.Костецкая в 1974 году, за год до кончины, не передала письма на хранение в Пушкинский дом, то предсказание их автора имело все шансы не осуществиться.

«Работа и зима 15—16-го года так утомили Дм. С., — вспоминает З.Н.Гиппиус, — что Д.В. предложил мне поехать на весну и начало лета в Кисловодск. Мы туда все трое и отправились <...> вернулись только в июне, жарким летом»<sup>1</sup>. В мае или июне 1916 г. Мережковский увидел в кругу курортных постояльцев молодую барышню, которая произвела на него настолько сильное впечатление, что невольно побудила к поступкам самым решительным: пятидесятилетний писатель раз узнал стороной имя и адрес незнакомой особы, стал настойчиво добиваться встречи с нею и после того, как ни одна из предпринятых попыток не увенчалась успехом, продолжал писать в Кисловодск объекту своего преклонения уже из Петербурга. Такая решительность поразительна вдвойне, если учесть, что по психологии поведения и стилю жизни Мережковский менее всего напоминал пылкого соблазнителя, светского жуира и любителя романических походов; сугубо книжный, «кабинетный» человек, погруженный в мир идей и далекий от тяготения к любым житейским непредсказуемостям, в данном случае он рискнул выступить заведомо не в своем амплуа. Желаемого знакомства так и не состоялось, и весь эпизод можно было бы определить как кратковременный роман в письмах, если бы эпистолярный контакт оказался двусторонним; на деле же героиня «романа» откликнулась на полученные послания лишь одним письмом — весьма сдержанным по тону, судя по реакции Мережковского, — и еще одной телеграммой (эти документы не обнаружены): видимо, душевные излияния маститого писателя либо

<sup>1</sup> З.Гиппиус-Мережковская. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951, с. 218. Д.В. — Философов.

оставили ее равнодушной, либо не сумели подвинуть к более откровенным признаниям и смелым поступкам.

Если о реакции О.Л.Костецкой на письма Мережковского можно только гадать, то более определенные предположения возникают о том, какие именно струны во внутреннем мире Мережковского затронул ее мимолетный «тайнственный образ». Литературные ассоциации для этого писателя, жившего литературой и мыслившего литературными образами, безусловно, всегда были на первом плане, а место, где мог начаться несостоявшийся «роман», было освящено именами Пушкина (замысел «романа на Кавказских водах») и Лермонтова («Герой нашего времени»): сочиния письма и назначая свидания, Мережковский, автор очерка «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (1908), думается, чувствовал за собой тень и Печорина, и Грушницкого, невольно соизмерял себя то с тем, то с другим персонажем. Примеряя личину «кисловодского Дон Жуана», писатель внутренне апеллировал к ушедшей романтической эпохе, с ее прекрасными порывами, возвышенным пафосом и безрассудством, которой он только что принес дань своей пьесой «Романтики»: не случайно в письмах к Костецкой он не раз упоминает об этом произведении. Столь же примечательно и попутное упоминание тургеневской «Клары Милич». Тургенев воспринимался Мережковским как «поэт вечной женственности» (именно так он озаглавил свою статью о нем, написанную почти одновременно с курортным «романом»): «Естество женское, от века безгласное, едва ли не впервые нашло свой голос в Тургеневе»; «Влюбленность есть «нечаянная радость», неземная тайна земли, воспоминание души о том, что было с нею до рождения. < ... > Что небесный звук влюбленности незаменим скучною песнею брака, — Тургенев знает, как никто»<sup>2</sup>. В том, что Мережковский явственно слышал этот «небесный звук влюбленности», предаваясь романтическим грезам, которые всколыхнул в нем образ кисловодской незнакомки, сомневаться не приходится. Потаенная влюбленность, не нашедшая отклика и, видимо, быстро угасшая, заставляла писателя вновь убеждаться в правоте и безукоризненной точности тех признаний, которые он некогда вложил в строки своего стихотворения «Одиночество» (я на которое, опять же не случайно, обращал внимание своей корреспондентки):

...вечно дремлет в тишине  
Вдали от всех друзей, —  
Что там, на дне, на самом дне  
Больной души твоей.  
Чужое сердце — мир чужой,  
И нет к нему пути!  
В него и любящей душой  
Не можем мы войти.

<. . . . .>

---

<sup>2</sup> Д.С.Мережковский. От войны к революции. Невоенный дневник. 1914 — 1916. Пг., 1917, с. 73, 74.

В своей тюрьме, — в себе самом,  
Ты, бедный человек,  
В любви, и в дружбе, и во всем  
Один, один навек!..<sup>3</sup>

Сведения об О.Л.Костецкой сообщила нам ее родственница И.В.Клеушева. Ольга Леонидовна родилась летом 1894 года; детские годы ее прошли в Литве (Ковно, Вильно), где она окончила гимназию. В период встречи с Мережковским постоянно жила в Петербурге, где после окончания гимназии работала банковской служащей. К литературе, поэзии, в отличие от многих своих современниц-сверстниц, большого интереса не испытывала. В Кисловодске Ольга Леонидовна была вместе со своим дядей, Петром Станиславовичем Козловским. Около 1920 года вышла замуж за Александра Петровича Клеушева, военно-артиллериста. В последующее время работала в системе детских дошкольных учреждений (заведовала детским садом, перед войной была инспектором по детским садам). Во время войны работала рентгено-техником в тыловых госпиталях. После разъездов по различным городам (Евпатория, Чкалов (Оренбург), Москва, Харьков) вновь обосновалась в Ленинграде в 1954 году, где и провела последние десятилетия своей жизни. Скончалась в 1975 году.

Письма Д.С.Мережковского к О.Л.Костецкой печатаются по автографам, хранящимся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (р. I, оп. 17, ед. хр. 535).

---

<sup>3</sup> Д.С.Мережковский. Полн. собр. соч., т. XV. СПб. — М., изд. Т-ва М.О.Вольф, 1914, с. 11.



<Кисловодск. 19 июня 1916 г.><sup>1</sup>

Если бы Вы захотели знать, от кого эти цветы, приходите завтра в понедельник, на Царскую Площадку, на поперечн<ую> дорожку ближе к Молочному домику (ресторану) — в 12 ча<сов> дня. Имейте в руках это письмо или белую розу — иначе не решусь подойти.

Я почти не надеюсь, что придете: на свете чудес не бывает. И все-таки буду ждать Вас, как чуда...

Вы простили бы невольную смелость этого письма, если бы знали, с какою благоговейною робостью оно написано... А если не простите, Вам так легко разорвать его, не дочитав, и выбросить мои бедные цветы...

Д.

<sup>1</sup> Датируется по связи с последующими письмами.

<Кисловодск. 22 июня 1916 г.><sup>1</sup>

Среда.

Вы не пришли. Я знал, что не придете, и все-таки ждал.

Просить ли мне у Вас прощения за это безумное ожидание чуда? Красоте свойственно внушать безумие. Красота не виновата в этом; но виноваты ли и те, кто безумствует?

А может быть, Вам и прощать нечего — Вы уже забыли о моем письме?.. Нет, не забыли: не правда ли, Вы женским чутьем поняли, что оно чем-то отличается от всех других писем в том же роде; что слова о «благоговейной робости» не даром сказаны? Вы угадали, что Вам писал это странное письмо странный человек, непохожий на большинство людей, которые Вас окружают?..

А если Вы этого сами не угадали, то я Вам прямо скажу, что мое желание Вас видеть, может быть, и безумно, но невинно.

Если бы художник попросил у Вас позволения изобразить Ваши черты в красках или ваятель — в мраморе, — Вы не удивились бы. Мне хотелось бы сделать то же; хотелось бы написать Ваш портрет, изваять Ваш образ — одно из совершеннейших явлений женской прелести, какие я когда-либо встречал, — но не в красках и в мраморе, а в *слове*. Как можно это сделать, я бы Вам объяснил, если бы Вам не было скучно...

Прекрасные женщины любят смотреться в хорошие зеркала, а глаза художника — лучшие из всех зеркал на свете. И чем

бы Вы ни были заняты, и как бы Вам ни было скучно, — я знаю, Вам было бы весело полюбоваться на себя в это зеркало.

И вот все так же невинно продолжаю мое «безумие». В тот раз Вы не пришли — может быть, в другой раз придете?

Четверг, 23-го июня, последний мой день в Кисловодске. Я уезжаю, и, вероятно, больше Вас никогда не увижу, а Вы меня совсем никогда не видели. Я для Вас призрак, и Вы для меня почти такой же призрак. И разве уже не «чудесно» это письмо от призрака к призраку?

Я знаю, что Вы опять не придете, и все-таки опять Вас буду ждать (в четверг, в 12 ч. на Царск<sup>ой</sup> Площ<sup>адке</sup>). С меня довольно и *напрасного ожидания*. С меня довольно и того, что, может быть, у Вас промелькнет мысль: «не пойти ли?» — потому что чужое безумье заразительно.

Вам смешно? Вы улыбнулись: «какой чудак!» А знаете ли, как это чудачество называется? Это — «романтизм». Это смешное — самое прекрасное, что есть в людях; без него скучно, холодно и страшно было бы жить на свете.

Если Вы когда-нибудь увидите на сцене «Романтиков» (эта пьеса пойдет зимою в Художественном театре, в Москве)<sup>2</sup>, то, может быть, поймете, о чем я говорю, — поймете и простите. А мне больше ничего и не надо...

Кто-то сказал: «Если одна только тень любви так прекрасна, что же такое сама любовь?» Но может быть, тень любви прекраснее, чем сама любовь?

Может быть, мне все равно, придете ли Вы или не придете... Нет, не все равно. Приходите.

Д.

P.S. Я не хотел посылать Вам этого письма. Но вот сейчас, когда я кончал, в комнату залетел голубь — и я счел это хорошей приметой — и посылаю.

<sup>1</sup> На письме позднейшая помета карандашом: «22 июня?»

<sup>2</sup> Пьеса Мережковского «Романтики» (Пг., «Огни», 1917), написанная на сюжет из семейной хроники Бакуниных (в тексте — Кубаниных), в центре которого — молодой романтик-максималист Михаил, была принята к постановке в Московском Художественном театре в 1915 г., однако в августе 1916 г. К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко пришли к решению отказаться от «Романтиков», найдя в пьесе «привкус спекуляции возвышенными идеями» (см.: К.С.Станиславский. Собр. соч. в 8 т., т. 7. М., 1960, с. 629, 769-770; Вл.И.Немирович-Данченко. Избранные письма, т. 2. М., 1979, с. 177). «Романтики» были поставлены осенью 1916 г. Александринским театром (премьера — 21 октября).

<Кисловодск. 22 (?) июня 1916 г.>

Сегодня я долго сидел около Вас. Но Вы меня не видели или не хотели видеть. Может быть, опять увижу сегодня вечером? Или завтра днем, в тот же час, как сегодня? Я уезжаю завтра вечером, но ведь до вечера целая вечность...

Как я хотел сегодня к Вам подойти, но не посмел и, кажется, никогда не посмею...

<Кисловодск. 23(?) июня 1916 г.>

Не могу уехать так, не поговорив с Вами.

Я Вас жду в парке\*.

Вчера вечером в 10 ч. сидел против Вас — Вы меня видели — я был в сером платье, в серой шляпе, в черном пальто, с белой розой в руке. Я хотел подойти, сесть рядом, заговорить — но Вы ушли.

Д.М.

<Кисловодск. 23 июня 1916 г.><sup>1</sup>

Четверг.

Вы опять не пришли и опять мое напрасное ожидание было так мучительно-сладко, что я бы поблагодарил Вас за него, если бы только смел благодарить. Но вот даже этого не смею...

Я уезжаю завтра, в пятницу (в 8 ч. 25 м. вечера — кур<sup>б</sup>ерский> поезд Кисл<sup>о</sup>водск> — Петроград). У меня к Вам последняя просьба. Всякий уезжающий — немного умирающий, потому что всякая разлука — немного смерть. Для Вас не будет разлуки, потому что не было свидания. Я для Вас несуществующий — не умирающий, а как бы уже мертвый. Но говорят, воля мертвых свята.

Так вот моя просьба: позвольте мне взглянуть на Вас в последний раз хоть издали. Ведь Вы могли бы *случайно* прийти на вокзал, и ведь, в самом деле, если Вы придете, я не буду знать *наверное*, что Вы пришли не случайно.

\* Было: Я Вас жду в парке сейчас.

Если Вы не придете, я буду думать, что Вы на меня сердитесь, и это будет для меня большое горе, а если придете, — большая радость.

Я даю Вам слово, — да Вы и сами знаете, что я не подойду к Вам, не осмелюсь этого сделать, без Вашей воли («благотворительная робость»). И никто не увидит, никто <не> узнает — Вы сами не узнаете, что я смотрю на Вас издали.

Вы меня никогда не видели, и я Вас больше, вероятно, никогда не увижу. Подумайте, — один только последний взгляд — ведь это так мало — можно ли в этом отказываться?

Доброта — великая прелесть в женщине. Доброта не хуже красоты. Я никогда не поверю, что прекрасное может быть не добрым. Доброта лучше добродетели. Будьте же доброю.

Д.М.

Р.С. Может быть, Вы уже догадались, кто Вам пишет эти странные письма? Немногие умеют писать так «сентиментально». Я этим не хвалюсь: я знаю, что большинству моих современников «сентиментальность» кажется просто «глупостью». Но неужели и Вам тоже?

<sup>1</sup> На письме — позднейшая помета карандашом: «23 июня?»

## 6

<Кисловодск> 24 июня 1916.

Это письмо, глубокоуважаемая Ольга Леонидовна, Вы получите, когда меня уже не будет в Кисловодске. Если что-нибудь не понравилось Вам в моих письмах, простите меня, не сердитесь.

Напишите мне, хотя бы только одно слово, что Вы на меня не сердитесь.

Не смею надеяться, что Вы мне позволите Вам писать. Но если позволите, — уезжая из Кисловодска, дайте мне Ваш адрес.

Я Вам пришлю на память некоторые мои книги (может быть, Вы знаете, что я писатель?). Если они Вам будут скучны, отдайте их кому-нибудь или выбросите, так же как мои бедные лилии...

А если Вы прочтете мои книги без скуки, то, может быть, в награду Вы пришлете мне Вашу карточку, т.е. Ваш портрет, который мне так не удалось написать, как об этом я мечтал...

Май-июнь 1916 г. в Кисловодске, благодаря Вашему образу, останется для меня навеки одним из самых светлых, чистых и благоуханных воспоминаний моей жизни...

Простите! Не смею сказать до свидания...  
С глубоким уважением и преданностью

Д.Мережковский.

Мой постоянный адрес: Петроград, Сергиевская, 83, кв. 17.  
Дмитр<ию> Сергеев<ичу> Мережковскому.

7

28.VI.1916. Петроград. Сергиевская, 83.

Глубокоуважаемая Ольга Леонидовна,  
нельзя быть дальше, чем я от Вас. Между нами не только тысячи верст, но и моя совершенная ненужность, неинтересность для Вас. Я никогда не слышал Вашего голоса и, вероятно, никогда не услышу. И вот все-таки чем дальше, тем ближе. Я никогда не забуду Ваш образ, и мне кажется, — простите, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что и вы не забудете моего «неуслышанного привета»...

Неужели не ответите мне хотя бы двумя словами? Скажите, по крайней мере, что нельзя, не надо писать — и я больше не буду. Если бы мне только знать, что Вы на меня не сердитесь...

Из этой почти безнадежной дали, кажется, можно сказать последнее, безумное слово: до свидания.

Д.Мережковский.

Я послал Вам некоторые из моих книг<sup>1</sup>. Может быть, по ним Вы поймете, кто Вам пишет. Если захотите, пришлю другие. А может быть, и этих читать не будете?

Если когда-нибудь будут писать мою биографию, то вспомнят и о Вашем образе, так странно промелькнувшем в моей жизни. Простите... Неужели не дождусь ответа? Нет, быть не может!

<sup>1</sup> Книги Мережковского, посланные О.Л.Костецкой, в ее домашнем собрании не сохранились.

8

29.VI.1916. Петроград. Сергиевская, 83.

Я так боюсь, что Вы уедете из Кисловодска, не написав мне Вашего адреса. Не будьте жестокой — напишите хоть два слова.

Осенью я буду опять на Кавказе. Если бы я знал, где Вы, я приехал бы, чтобы взглянуть на Вас опять хоть издали.

Как бы мне хотелось послать Вам билет на первое представление моих «Романтиков» (они пойдут осенью в Москве, в Художественном Театре)<sup>1</sup>.

Все жду письма. Неужели не дождусь? Не может быть. Ведь Вы же добрая? Нет, никогда не поверю, что прекрасное может быть недобрым.

Д.М.

<sup>1</sup> См. примеч. 2 к п. 2.

9

3 июля 1916. Петроград. Сергиевская, 83, кв. 17.

Глубокоуважаемая Ольга Леонидовна, кажется, пишу Вам последнее письмо. Не могу писать без ответа. Ваше молчание точно глухая стена. Если только мои письма доходят до Вас, если Вы их прочитываете — в чем я начинаю сомневаться, — Вы не могли не почувствовать, что я заслуживаю ответа. Если же не отвечаете, значит, мешает что-то внешнее, от Вас, может быть, не зависящее. Ведь я совсем не знаю Вашей жизни...

Так вот что мне хочется Вам сказать в этом последнем письме. В жизни каждого человека бывают минуты страшного одиночества, когда вдруг самые близкие люди становятся далекими, родные — чужими («враги человеку — домашние его»). Вот в такую трудную одинокую минуту вспомните обо мне, далеком, неизвестном. Вспомните, что где-то есть человек, который хочет Вам добра. Ведь всякий человек, искренне желающий добра другому, может сделать его.

Тогда напишите мне. И где бы я ни был, и что бы со мною ни было, я откликнусь на Ваш голос — тотчас же отвечу Вам. И если смогу служить Вам чем-нибудь, я буду счастлив.

Как видите, я до конца верю «чуду». Как ждал Вас в Кисловодске, на Царской Площадке, так и теперь жду здесь, за тысячи верст, в Петрограде — или все равно, где бы я ни был.

И так, наперекор всему — до свидания.

С глубоким уважением и преданностью

Д.Мережковский.

Мой постоянный адрес: *Петроград, Сергиевская, 83, кв. 17*. Если Вы напишете по этому адресу, — мне всегда перешлют Ваше письмо.

5.VII.1916. Петроград. Сергиевская, 83, кв. 17.

Глубокоуважаемая Ольга Леонидовна, вчера я Вам написал, что уже не жду от Вас ответа, — и вот сегодня получил Ваш бледно-зеленый листок, такой удивленный, недоумевающий... и ледяной (недаром бледно-зеленый, как лед).

Но все равно, *чтоб* Вы пишете, — важно, что это *Вы* пишете. Как странно, почти страшно!.. Я ведь до конца, до этого письма, не совсем верил, что *Вы есть*, что Вы не призрак, созданный моим «безумием».

Знаете, один мой приятель, великий русский поэт (Ал.Блок) сказал:

Навек останься легкой грезой,  
Не воплощайся никогда!

Но вот Вы не остались грезой, «воплотились», перестали быть «призраком»...

Как тоже странно и призрачно, что Вы меня уже видели раз, знали — и «не узнали». А у меня, наоборот, такое чувство, что я Вас всегда знал и сразу, только что увидел, — узнал...

Но лучше не буду писать об этом, а то опять, пожалуй, будете «иметь право сердиться». Да, Вы имели право сердиться на меня за первые «безумные» письма — но ведь вот не сердитесь? Вы поняли, женским чутьем угадали, что сердиться в сущности не за что. Я был неловок, слишком смел, оттого что слишком робок. Верьте, никто никогда не подходил к Вам с такой «благословенной робостью». Вы ни слова не пишете о моих стихах. А разве Вы не чувствуете, что они искренни?

Вы, конечно, знаете, что я буду ждать жадно следующего письма, хотя в письмах ничего не скажешь. Если бы я мог с Вами поговорить хоть несколько минут! Зачем я уехал из Кисловодска! Но ведь Вы сами не хотели со мной говорить. А может быть, так лучше? «Призрачнее», сказочнее, чудеснее? Нет, не хочу, чтобы Вы остались «легкой грезой», «призраком», — хочу, чтоб Вы «воплотились». Жадно жду еще письма. Но как долго, <как> страшно долго ждать!

Д.Мережковский.

Я велел Вам послать некоторые мои книги. Напишите, когда получите. Я с радостью послал бы Вам все мои книги, но их так много — целых 23 тома! И не знаю, куда *посылать*, потому что не знаю, сколько времени пробудете в Кисловодске и куда уедете.

Ваш адрес я узнал совершенно случайно от одного знакомого, который знает всех в Кисловодске. Но общих знакомых у нас, кажется, нет... О, если бы Вы написали мне что-нибудь о своей

жизни... Я ведь совсем *ничего* не знаю. А если Вы захотите что-нибудь обо мне узнать, — спрашивайте — я Вам на все отвечу. Но ведь меня и по книгам *отчасти* можно узнать.

А ведь надо было быть очень *доброю*, чтобы не рассердиться на меня и мне ответить. Я не ошибся — «прекрасное не может не быть добрым» — помните, я Вам об этом писал? Вы очень, очень строгая, суровая, «ледяная» (как Ваш бледно-зеленый листок), а все-таки, ведь, добрая? Да? Если и в этом письме Вам что-нибудь не понравится, Вы опять будете «иметь право сердиться», но не рассердитесь? Так <?> ведь и начинается хорошее в жизни, когда *не по «праву»*?

Письмо идет 6 дней — какой ужасный срок!

<sup>1</sup> Мережковский либо ошибается, либо осознанно вводит в заблуждение свою корреспондентку; цитируемые им строки заимствованы из стихотворения Ф.Сологуба «Не ужасай меня угрозой...» (1897). См.: Федор Сологуб. Стихотворения. («Библиотека поэта», большая серия). Л., 1975, с. 182.

<sup>2</sup> Подразумевается, видимо, Полное собрание сочинений Д.С.Мережковского в 24 томах (М., 1914).

## 11

6.VII.1916. Петроград. Сергиевская, 83, кв. 17.

Вчера написал Вам и вот опять пишу сегодня. Боюсь надоест Вам письмами, а то еще больше писал бы. А вообще я писем не люблю и редко их пишу — не умею. У меня всегда груды писем неотвеченных.

Тороплюсь Вам писать, потому что боюсь, что Вы уедете из Кисловодска, и я не буду знать, где Вы, и последняя связь между нами порвется.

Столько раз перечитывал Ваше письмо и в каждое слово вдумывался. «Я на Вас не сержусь, хотя и имею право сердиться». Чем больше вдумываюсь в эти слова, тем больше чувствую, какие они *пленительно-добрые*, женственные. «Кисловодский Дон-Жуан — с определенной целью»... О, Вы же теперь поняли, что это не так! Все, что хотите — только не это, только не это! Я бесконечно далек от этой грубой пошлости. То мое первое «безумное» письмо я написал с отчаянною храбростью — потому что был слишком робок, отчаянно робок. Ведь Вы это тоже поняли? Недаром же угадали в этом письме что-то «странное», на другие подобные письма непохожее...

Вы можете спросить: что мне нужно от Вас? зачем я к Вам подхожу? Если я — художник (каким меня считают некоторые, — а сам я, конечно, не знаю этого), если я художник, то так естественно, что мне хочется *видеть прекрасное* — толь-



ко видеть — больше ничего. А Ваш образ — один из прекраснейших, какие я когда-либо встречал в моей жизни. Разве это желание видеть красоту — грех? Разве можно за него «сердиться»? Я, разумеется, говорю не только о красоте внешней, физической, но и о внутренней, духовной. Я Вас не знаю, никогда не говорил с Вами, но и безмолвный образ Ваш для меня прозрачен: на то ведь я и «художник», чтобы угадывать по внешней красоте внутреннюю. Я угадал сквозь «прекрасное» — «доброе», и ведь вот не ошибся же: если бы Вы не были понастоящему добрая, Вы «рассердились» бы, не ответили бы мне.

Вы могли бы также спросить меня: на что я Вам нужен? Опять-таки, если я действительно художник, то я в некотором смысле «ясновидящий»; у меня есть такой опыт сердца, такое знание жизни, каких нет у других людей. Может быть, Вы могли бы воспользоваться когда-нибудь этим знанием и опытом? Мне кажется, я не ошибся, вглядываясь в Ваше лицо: Вы много испытали в жизни, Вы уже знаете, что в жизни есть горе. Недаром же красота — великий и страшный дар Божий, драгоценное и тяжелое бремя. И недаром Вы несете на себе это бремя. Может быть, Вам захочется когда-нибудь разделить Вашу грусть, Ваше одиночество (все прекрасное в жизни одиноко и затеряно и непонятно) с человеком, который поймет Вас так, как другие не поймут. Вот на что я Вам могу быть нужен...

Простите за это длинное и, может быть, скучное письмо. Мне так радостно говорить с Вами (ведь я в первый раз говорю с Вами и знаю, после Вашего ответа, что Вы меня слышите), что, кажется, я бы никогда не кончил, если бы дал себе волю. Но я все боюсь, что Вы, наконец, в самом деле «рассердитесь». И еще боюсь, что пишу в пустоту, что Вы уедете из Кисловодска и писем моих не получите.

Если хотите, чтобы я не боялся этого, напишите мне поскорее — очень, очень прошу. Вы же чувствуете, как я жду Ваших писем. И ради Бога, забудьте, что пишете «писателю Д.С.Мережковскому» — пишите просто, — чем проще, тем лучше. Я за каждое слово буду Вам благодарен — только пишите. О, как не хочется этого письма кончать!

Д.М.

В посланных книгах прочтите стихотворение «Одиночество»<sup>1</sup>. А также «Дафнис и Хлоя»<sup>2</sup>. Сегодня послал Вам еще «Александра I». Прочтите там «Дневник императрицы» Елисаветы<sup>3</sup>. Мне кажется, Вы на нее немного похожи не лицом, а более глубоко, внутренним сходством. Как бы мне хотелось, чтобы Вы увидели мою новую пьесу «Романтики». Если будете в Москве зимою, я Вам пришлю билет.

<sup>1</sup> Стихотворение «Одиночество» («Поверь мне, люди не поймут...») было впервые опубликовано в 1890 г. в журнале «Север-

ный вестник» и неоднократно перепечатывалось в авторских сборниках Мережковского.

<sup>2</sup> Имеется в виду буколический роман Лонга «Дафнис и Хлоя» (II-III вв.) в переводе Мережковского: «Дафнис и Хлоя. Древнегреческая повесть Лонгуса о любви пастушка и пастушки на острове Лезбосе», со статьей Мережковского «О символизме "Дафниса и Хлоя"» (СПб., 1895).

<sup>3</sup> Речь идет о главе 4-й IV части романа Мережковского «Александр Первый» (т. II. СПб.-М., 1913).

## 12

12.VII.1916.

Сегодня получил Вашу телеграмму. Не бойтесь, больше телеграфировать не буду. Простите — я ведь не знал...

Что значит: «письмо послано»? Какое — первое или второе? Должно быть, первое? И Бог знает, когда будет второе. А как я ждал все эти дни. Я уехал из города по Северн<ой> дороге, в имение, недалеко от Ладожского озера. Вот как далеко от Вас! Здесь страшная глушь — в каменных крутых берегах бурные речки с черной водой, мшистые тропинки под дремучими елями, бледно-зеленые непотухающие зори между черными стволами, запущенные усадьбы 30-х годов. По вечерам комната моя наполняется невыразимо-грустным, «рыдающим» (это мой эпитет) солнцем — и тогда почему-то я вспоминаю о Вас, и становится еще грустнее...

Нет, Вы не «воплотились» — Вы остались для меня «призраком», «легкою грезой», несмотря на письмо. Помните, у тургеневского героя, после видения Клары Милич — зажатая в руке прядь волос<sup>1</sup>; а у меня — клочок бумаги — Ваше письмо: по нем я только и знаю, что Вы не совсем призрак. И как мучительно хочется, чтобы Вы перестали быть призраком, чтобы воплотились. Это возможно, хотя бы отчасти, и в письмах. Но ведь Вы и писать не хотите — так скупое, так мало пишете.

Недавно я видел во сне, что я <в> Кисловодске, в парке, и что Вы идете навстречу — уже получили мои последние письма и знаете, кто я, и я могу с Вами заговорить, и вместе с тем чувствую, что опять не заговорю, опять не посмею, как тогда, в тот последний вечер, когда Вы сидели против меня, и можно было подойти, и я не подошел. И во сне мне было так же грустно, как сейчас, наяву.

А Вам не скучно читать мои странные, такие грустные, «рыдающим» солнцем озаренные, «призрачные» письма? Я все боюсь, что скучно...

Заодно я благодарен Вам — Вы обещаете написать Ваш адрес, когда уедете из Кисловодска: значит, не порвется последняя

связь, и я когда-нибудь увижу Вас, если только Вы этого захотите. Но захотите ли? Мне все кажется, что если бы я сумел выразить то необычайно прекрасное, таинственное, в самом деле, похожее на «чудо», что влечет меня к Вам, — Вы захотели бы, чтоб я увидел Вас. Но вот не умею этого выразить в письме — этого вообще нельзя написать — можно только сказать. Но чтобы сказать, надо, чтобы Вы захотели меня увидеть. Тут заколдованный круг. А все-таки у меня какая-то слепая безумная вера, что мы увидимся, и я Вам скажу, и Вы поймете все, что я сейчас не умею Вам написать — то, что влечет меня к Вам. (Перечтите «Клару Милич» Тургенева — там много похожего на то, что я чувствую, хотя, конечно, совсем иначе).

Совестно посылать такое длинное, нелепое и скучное письмо. Уж посылать ли, полно? Ну, все равно — может быть, и прочтете от нечего делать. Только не подумайте, что я не умею писать интереснее, — право же, умею. Может быть, Вы это уже поняли из моих книг. А кстати, получили Вы их? Кажется, должны были давно получить.

Неужели не напишете скоро? Если бы Вы знали, как я жду Ваших писем, Вы бы мне писали. Все равно что, о чем — *хоть ни о чем* — только, умоляю, пишите. Если и в этом письме что-нибудь опять «не так» — не сердитесь.

Д.М.

Хотя я сейчас не в городе, но пишите мне по городскому адресу: *Петроград, Сергиевская, 83*. Мне пересылают оттуда все письма тотчас же, где бы я ни был.

<sup>1</sup> Имеется в виду один из финальных эпизодов повести «Клара Милич (После смерти)» (1882) — предсмертный обморок Аратова: «Когда его подняли и уложили, в его стиснутой правой руке оказалась небольшая прядь черных женских волос. Откуда взялись эти волосы?» (И.С.Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 30 т. Соч. в 12 т., т. 10. М., 1982, с. 116).

## «ЗДЕСЬ ОБЩИЙ РОПОТ НА СОВЕТ...»

Письмо Б.Л.Модзалевского  
из Гатчины 1918 года

### Предисловие и публикация Т.Г.Любарской

Б.Л.Модзалевский (1874-1928) — один из создателей Пушкинского дома, первый ученый хранитель его бесценных коллекций, много сделавший для создания уникального собрания рукописей.

Публикуемое письмо Бориса Львовича адресовано его другу и соратнику, генеалогу, сотруднику Эрмитажа, затем Исторического музея в Москве Александру Александровичу Сиверсу (1866-1954), с которым он переписывался в течение десятилетий. Написано оно в Гатчине, куда, пытаясь спастись от царившей в Петрограде разрухи, Модзалевский с семьей переехал в конце января 1918 года. События, однако, развивались стремительно и неумолимо. В связи с отказом главы советской делегации Л.Троцкого подписать в Брест-Литовске тяжелые условия мира немцы возобновили военные действия и подошли к Пскову и Нарве. Гатчина стала прифронтовым городом. Мечта Модзалевского о благотворном гатчинском солнце, о спокойной жизни развеялась. В публикуемом письме — оно датировано 12 марта — Борис Львович делится своими невеселыми мыслями о будущем детей, о завтрашнем дне, об отсутствии логики и смысла в поведении новых хозяев жизни, уверенных в своем праве распоряжаться судьбами людей, предъявлять им нелепые требования, разрушать их привычный уклад жизни. Его рассуждения о «гниении и моральном и физическом», о «дисциплине — адской», о том, что за каждый проступок в армии — расстрел, перекликаются с тем, что писали и М.Горький в «Несвоевременных мыслях», и И.Бунин в «Окаянных днях», и В.Короленко в письмах к Луначарскому. У Модзалевского, всегда сдержанного в переписке, вырывается полная отчаяния фраза, поражающая провидением: «Грустно делается при мысли о том, к чему мы растим своих детей и внуков: на новый убой?..»

И все-таки есть у Модзалевского сфера, которая примиряет его с любыми внешними обстоятельствами, — привычные и любимые занятия. Здесь автор письма в своей стихии. В этом мире каждый человек, и живущий ныне, и живший раньше, — бесценен. Бесценно все, что связано с его единственной и неповторимой жизнью. Каждое обстоятельство этой жизни тщательно выясняется. Для этого в тяжкие дни восемнад-

цатого года перелистывается Модзалевским множество страниц, делают-ся вырезки из газет, сопоставляются свидетельства разных авторов.

В 1924 году Пушкинский дом по случаю пятидесятилетия своего старшего ученого хранителя Бориса Львовича Модзалевского поднес ему изданный отдельной книгой список его трудов<sup>1</sup>. Предшествовали списку такие строки: «Пусть эта книга напоминает ему о красоте его труда, о красоте жизни, отдаваемой на служение науке, при каких бы то ни было житейских обстоятельствах». В чрезвычайно сложных «житейских обстоятельствах» февраля-марта 1918 года, живя в Гатчине, Модзалевский работал над многим из того, что вошло позднее в этот юбилейный список. Он завершал подготовку к изданию архива декабриста князя С.Г.Волконского, занимался указателем к «Алфавиту декабристов», вычитывал корректуру своей статьи «Пушкин в донесениях агентов тайного надзора».

Письмо Б.Л.Модзалевского публикуется по автографу, хранящемуся в Центральном государственном историческом архиве (ЦГИА, ф. 720, оп. 1, ед.хр. 51, л. 23-26 об.).

12 марта (27 фев<аля>) 1918.

Гатчина.

Дорогой мой Александр Александрович.

Сейчас получил Вашу открытку от 10-го и очень Вас благодарю за нее: так соскучился без друзей, так хотелось бы вернуться к своим пенатам... Но теперь надо ждать, чем разрешится московский съезд<sup>2</sup> и что последует далее. Ехать теперь (м<ожет> б<ыть> и удалось бы теперь выпросить право выезда отсюда) в Петроград не считаю благоразумным, т<ак> к<ак> 1) там теперь гниение и моральное и физическое (на улицах, говорят, дохлые лошади и собаки), наверно, особенно сильно, а во 2) для моего сердца гатчинское солнце, лес и небо перед окном, где я пишу это письмо, все-таки полезнее, чем городская обстановка и вид толпы, которая на меня производит прямо убийственное впечатление. Впрочем, и здесь на улицах красногвардейцы и красноармейцы, возвращающиеся с фронта кучки солдат и хулиганская часть населения — навеселе; зато здесь я могу и сижу по 4 - 5 дней, не вылезая из комнат, а т<ак> к<ак> квартира выходит не на улицу<sup>3</sup>, а на соседнюю (теперь пустую) дачу, деревья и большую поляну, то я чувствую себя как на необитаемом острове, а обманывая себя так, утишаю и сердце. Сегодня, впрочем, я опять очень взволнован (что Вы видите, конечно, и по почерку): утром от нашей домоуполномоченной принесли заявление, что выданные ранее докторские свидетельства недействительны для освобождения от окопных работ у Войсковниц (за Гатчиной — к Нарве) и что надо подвергнуться освидетельствованию в какой-то военно-революционной комиссии (где есть свой врач-

большевик). Я заявился, по просьбе Варв<ары> Ник<олаевны><sup>4</sup>, больным и лежащим в постели, и она ходила в этот комитет об этом заявить и предъявить мои рецепты, доказывающие мою болезнь и род ее. Ей сказали прийти еще завтра, и я теперь не знаю, чем все кончится. Работать физически я все равно не могу, — зачем же меня зря мучить. Здесь общий ропот на Совет и идут добровольно только горожане, чтобы заработать на окопной работе по 8 р. (кажется) на харчах Совета. Мой знакомый ходил по наряду, пробыл 3 дня, измучился. Что за издевательство! И на что это!? Молодой Руммель (мичман бывший)<sup>5</sup> сейчас через Союз реальной работы получил занятие в Союзе Городов<sup>6</sup> по эвакуации с фронта пригоняемых лошадей в тыл, — так ему приходится видаться с «офицерами» красной армии и беседовать с ними: дело идет у них очень плохо, — мало идут на службу, хоть много записалось, дисциплина — адская; за каждый проступок — расстрел. Вот и поймите теперь, зачем же было разрушать нормальную дисциплину и нормальную армию...

Грустно делается при мысли о том, к чему мы растим своих детей и внуков: на новый убой? От политики перейду к делам, как более симпатичным. Относительно рисунков<sup>7</sup> могу только просить Вас принять на себя эту заботу по доверию от меня. Необходимо иметь в виду только:

1) Портр<ет> С.Г.Волк<онского><sup>8</sup> в старости — во главе издания, перед предисл<овием> или перед титулом.

2) Затем портреты: князя Сем<ена> Федор<овича> Волк<онского><sup>9</sup>, княжны Н.Федор<овны> Волк<онской><sup>10</sup> (молящейся).

3) Затем портреты и бюст Репниных<sup>11</sup>.

4) Затем — князя Григ<ория> Сем<еновича><sup>12</sup> и княг<ини> Ал<ександры> Никол<аевны><sup>13</sup>.

5) Затем — княгини Соф<ьи> Григорьевны<sup>14</sup> (помоложе и постарше — один за другим или вперемежку).

6) Затем молодого Сергея Волконского (с миниатюры) и его же — генералом.

7) Затем — снимок с письма Григ<ория> Сем<енови>ча (ep regard\* с печат<ным> текстом)<sup>15</sup>.

8) Затем — все остальное, как Вы заблагорассудите, а я спорить и прекословить не буду и буду за все благодарен. Будьте уж Вы с Верой Александровной<sup>16</sup> крестными отцом и матерью «Архива», т<ак> с<казать>, моими кумовьями.

За просмотр указателя<sup>17</sup> — большое спасибо. Надеюсь, что к нужному моменту я таки приеду в петроградскую Коммуну (!!??). Сейчас Ольденбург<sup>18</sup> меня уговаривает посидеть еще здесь, говоря, чтобы я не торопился. Письмо это посылаю с дочерью своею Шурой, которой удалось вчера утром без разрешения проскочить в Петрогр<ад>, а вечером вернуться сюда; она хочет и завтра утром сделать то же, чтобы потом остаться

\* параллельно (фр.)

в городе и догнать то, что она пропустила в гимназии; непременно хочет кончить свой курс и получить аттестат. С ней возвращаю корректуру из «Былого» (ею привезенную) — моей статьи «Пушкин в донесениях агентов тайного надзора»; прислали только 11 полос, — менее 1/2 всей статьи<sup>19</sup>. Что Вы подделываете? Двинулся ли Алфавит декабристов<sup>20</sup>? Написали ли предисловие—введение с исторической справкой о Верх<ов>ной> следств<енной> ком<иссии> и суде? Мне досадно, что я задерживаю доставленные Вами листки; авось-либо догоню и наверстаю пропущенное время. Прилагаю карточку о Гурко<sup>21</sup>, из которой, кажется, можно будет дополнить то, что я о нем написал: это я здесь нашел в книге, полученной от живущего на нашей лестнице отставного генерала Явида<sup>22</sup>, женатого на двоюродной сестре покойного Руммеля, разведенной Руммель же<sup>23</sup>. Заметки о Пушкине и Эссенах передайте милому Николаю Карловичу<sup>24</sup> с низким от меня поклоном и приветом. Что нового в его судьбе? Не уедет ли он теперь в Эстляндию (или Лифляндию)? Как удалось ему устроить с музеем полка? Однако, я заболтался, — боюсь, что Вам надоел. Кончаю пожеланием Вам здоровья и благополучия. Кланяйтесь общим друзьям. Варв<ара> Ник<олаевна> просит искренне Вас приветствовать; она очень поддерживает мой временами падающий дух — спасибо ей! Черкните два слова, когда получите это письмо.

Душевно преданный и любящий Вас  
Б.Модзалевский

Вспомнил вот какую просьбу к Вам: попросите госпожу Егерман подсчитать, сколько продано за год (т<о> е<сть> к настоящему времени) «Стишков»<sup>25</sup> и б<ыть> м<ожет> других моих книг в «Огнях» и сколько мне причитается получить денег: это мне очень важно, т<ак> к<ак> здесь жить мне очень дорого, и мои ресурсы не в блестящем состоянии, т<ак> ч<то> скоро может понадобиться подкрепление. Жалованье я получил, увы, не все! В месяц здесь проживаю уйму денег, прямо страшно и сказать, сколько! А только для того, чтобы себе и своим не дать умереть с голоду.

<sup>1</sup> Борис Львович Модзалевский. Биографические даты. Список трудов. Л., 1924.

<sup>2</sup> Речь идет о IV Чрезвычайном Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на котором 15 марта 1918 года большинством голосов был ратифицирован Брестский мирный договор.

<sup>3</sup> Б.Л.Модзалевский с семьей жил в Гатчине по адресу: Николаевская ул., д. 17, кв. 6.

<sup>4</sup> Варвара Николаевна Модзалевская (1871-1937). Жена Б.Л.Модзалевского, научный сотрудник Пушкинского дома (1915-1926).

<sup>5</sup> Лицо не установлено.

<sup>6</sup> Союз городов — организация, созданная на съезде городских голов в Москве в августе 1914 года с целью помощи царскому правительству в ведении войны. Ликвидирована советской властью в начале 1918 года.

<sup>7</sup> Имеются в виду иллюстрации для вышедшего под редакцией Б.Л.Модзалевского «Архива декабриста кн. С.Г.Волконского» (Пг., т. I, 1918).

<sup>8</sup> Сергей Григорьевич Волконский (1788-1865), князь, генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813-1814 гг., член Южного общества.

<sup>9</sup> Семен Федорович Волконский (1703-1768), генерал-аншеф, дед декабриста.

<sup>10</sup> Этот портрет в издание не вошел.

<sup>11</sup> В «Архиве декабриста кн. С.Г.Волконского» опубликованы: портрет князя Николая Григорьевича Репнина (1778-1845) — брата декабриста, по указу Александра I Сенату от 12 июня 1801 года принявшего фамилию деда (по матери); бюст Николая Васильевича Репнина (1734-1801) — деда декабриста, генерал-фельдмаршала.

<sup>12</sup> Григорий Семенович Волконский (1742-1824) — отец декабриста, генерал от кавалерии, сенатор, оренбургский военный губернатор.

<sup>13</sup> Александра Николаевна Волконская (1756-1834, урожд. княжна Репнина) — мать декабриста.

<sup>14</sup> Софья Григорьевна Волконская (1786-1868) — сестра декабриста.

<sup>15</sup> Снимок с части письма князя Григория Семеновича Волконского из Оренбурга от 23 сентября 1816 г. (воспроизведен в кн.: Архив декабриста кн. С.Г.Волконского).

<sup>16</sup> Вера Александровна Ляцкая — сотрудница кооперативного издательства «Огни». В этом издательстве вышел «Архив декабриста кн. С.Г.Волконского». Б.Л.Модзалевский входил в его редакционный состав. А.А.Сиверс являлся членом правления издательства.

<sup>17</sup> Речь идет об указателе к изданию: Восстание декабристов. Материалы. Л., 1925, т. VIII. Алфавит декабристов. Под ред. и с примеч. Б.Л.Модзалевского и А.А.Сиверса.

<sup>18</sup> Сергей Федорович Ольденбург (1863-1934) — ординарный академик, неперменный секретарь Императорской Академии наук, с 1931 г. — директор Института востоковедения Академии наук.

<sup>19</sup> См.: «Былое», 1918, № 1 (29), январь, с. 5-59.

<sup>20</sup> См. примеч. 17.

<sup>21</sup> В картотеке Б.Л.Модзалевского (ИРЛИ) занесены на карточки сведения и литература о нескольких представителях фамилии Гурко. Установить, о каком именно Гурко идет речь, не удалось.

<sup>22</sup> Анатолий Карлович Явид, отставной генерал-майор, гатчинский сосед Б.Л.Модзалевского.



<sup>23</sup> Мария Петровна Руммель, гатчинская соседка Б.Л.Модзалевского, двоюродная сестра барона Василия Владимировича Руммеля (1855-1902), генеалога, одного из редакторов «Русского биографического словаря», члена и секретаря Русского генеалогического общества.

<sup>24</sup> Николай Карлович фон Эссен — поручик лейб-гвардии Семеновского полка, затем полковник, член Историко-родословного общества. Заметки о Пушкине и Эссенах, видимо, предназначались для его занятий в обществе.

<sup>25</sup> Имеется в виду напечатанная Б.Л.Модзалевским в издательстве «Огни» книга отца, Льва Николаевича Модзалевского (Для детей. Стишки Льва Николаевича Модзалевского. Пг., 1916).

# Е.Я.Данько ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕДОРЕ СОЛОГУБЕ. СТИХОТВОРЕНИЯ

Вступительная статья, публикация и комментарии  
М.М.Павловой

Воспоминания о Федоре Сологубе и стихотворный сборник «Простые муки» — значительная часть небольшого по объему литературного наследия писательницы и художницы Ел.Данько. Ее творчество мало известно современным читателям и историкам литературы. Между тем личность Данько — и как мемуаристки, и как поэтессы, и как «последней любви» Федора Сологуба — несомненно заслуживает внимания.

Елена Яковлевна Данько родилась в Саратове 2 января 1898 года (21 декабря 1897 г. ст.ст.) в семье железнодорожного рабочего; детство провела в Вильне. В 1908 году поступила в киевскую гимназию Е.А.Крюгер, которую закончила в 1914 г. с золотой медалью. Подобно старшей сестре Наталье<sup>1</sup>, Елена обладала незаурядными способностями к живописи и лепке. Скульптурные работы Н.Данько уже в 20-е гг. получили широкое признание; творческая судьба Елены Яковлевны в изобразительном искусстве складывалась не столь гладко и определенно.

«Мне было семнадцать лет, когда я приехала в Москву учиться живописи, — вспоминала она в автобиографическом романе «Юность». — Искусство казалось мне собственным интересным делом в жизни, а ученье ему счастьем. Мое счастье длилось меньше года. А потом мне пришлось бросить ученье, искать заработка и надеяться во всем только на собственные силы»<sup>2</sup>. «Искать заработка» приходилось в сфере, далекой от искусства. В течение двух с лишними лет (1916-1918) Данько работала делопроизводителем в Инженерно-строительном управлении, затем перешла в Наркомпрос, где исполняла обязанности секретаря Отдела школьной политики. В 1917 году она познакомилась с Алексеем

<sup>1</sup> Наталья Яковлевна Данько (1892-1942) — скульптор-декоратор. См. о ней в публикации Ю.М.Овсянникова «Если бы Наталья Данько вела дневник...» — Панорама искусств, №6. М., 1983, с. 30-84. Н.Данько — автор широкоизвестной фарфоровой статуэтки А.А.Ахматовой (1923).

<sup>2</sup> Ел.Данько. «Юность. Эскиз романа, который никогда не будет написан». — ИРЛИ, ф. 679, ед. хр. 14, л. 8.

Алексеевичем Сидоровым (1891-1978) — искусствоведом, поэтом, критиком, часто бывала в его доме на диспутах и литературных чтениях, под его влиянием начала писать об изобразительном искусстве. Воспоминания о посещении кружка Сидорова, а также наиболее яркие эпизоды литературной жизни Москвы тех лет, свидетельницей которых довелось быть молодой художнице, впоследствии нашли отражение на страницах ее незавершенного романа. «Слушаю лекции Белого о символизме, о слове, о языке, попадаю на закрытое «евретическое» собрание, — вспоминала Данько. — Фигуры в белых хитонах ( — саванах?) с мертвыми глазами, движутся, взмахивают руками, медленно кружатся под ритмы стихов. Среди них Белый — череп на гусиной пее с легким пухом перелыных кудрей, под огромным, голым лбом. Я стою в дверях. И вдруг «череп на гусиной пее» разрывает цепь белых фигур и кидается ко мне с криком: «Сестра!». Он целует мне обе руки и радуется, что я пришла, что я «тоже с ними!» Девы-мироносицы, окружающие его, улыбаются ангельскими улыбками и смотрят на меня холодными, злыми глазами»<sup>3</sup>.

Московский период жизни Ел.Данько был непродолжителен — в конце 1918 г. она получила письмо от сестры из Петрограда, в котором Наталья Яковлевна предлагала ей устроиться живописцем на Петроградском фарфоровом заводе. Спасаясь от одиночества, неустроенности быта и от неразделенной любви к одному московскому литератору (из кружка Сидорова), Данько переезжает в Петроград. «...учусь всему — работаю с 6 ч. утра до 12 ночи — живопись по фарфору, рисование, офорт, кукольный театр, история революции», — вспоминала она об этих годах<sup>4</sup>.

В феврале 1919 г. Данько поступила работать к Кукольный театр «Студия» под руководством Л.В.Шапориной<sup>5</sup>. В дневнике Шапориной за 1950 г. содержится небезынтересный фрагмент воспоминаний о Елене Яковлевне тех лет: «...на днях пересчитывала оставшиеся у меня рукописи Ел.Як.Данько: ее стихи 21, 22 годов, воспоминания о Ф.Сологубе 27 года и автобиографическую повесть, захватывающую годы от 1916-19, называет она ее «Юность, или ключ к характеру одной немолодой особы. Эскиз романа, который никогда не будет написан». И правда — это ключ.

Я познакомилась с Е.Я. в 1919 году. Она присхла к сестре из Москвы, и Наташа устроила ее ко мне в Кукольный театр — она стала водить кукол. Высокая, худенькая, замкнутая и педантичная. Я сейчас не помню, в чем это выразилось, но хорошо помню мой с ней такой разговор:

— Вам, Е.Я., 19 лет, а мне 38, но у меня ощущение, что я гораздо моложе вас.

<sup>3</sup> «Юность», л. 49об. — 50.

<sup>4</sup> Там же, л. 58.

<sup>5</sup> Любовь Васильевна Шапорина (1877-1967) — художница, организатор Театра марионеток в Петрограде, автор пьес для кукольного театра; жена композитора Ю.В.Шапорина.



Г. Г. Шпет и Г. И. Челпанов. Лето  
1911 г. Берлин.



**Г. Г. Шпет. Середина 1910-х гг.  
Москва.**



**Г. Г. Шпет. Конец 1920-х — начало  
1930-х гг. Москва.**

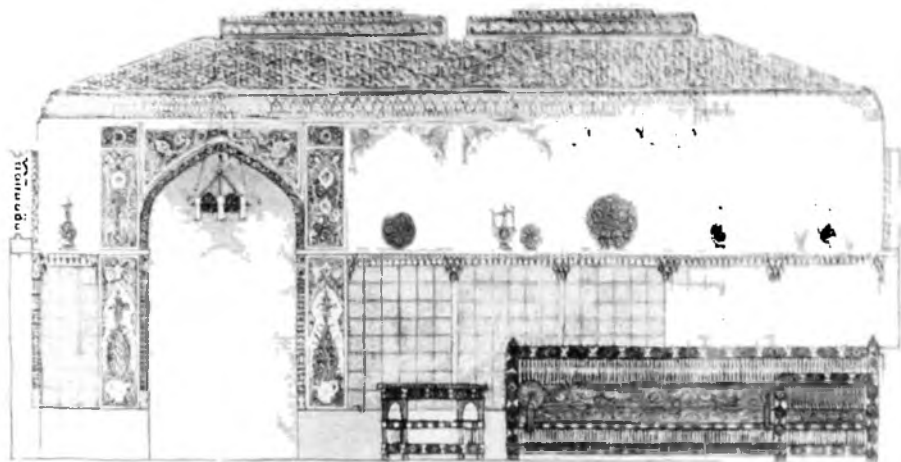


В. Н. Максимов. Фотография 1905 г.



**В. Н. Максимов. Фотография конца  
1930-х гг.**



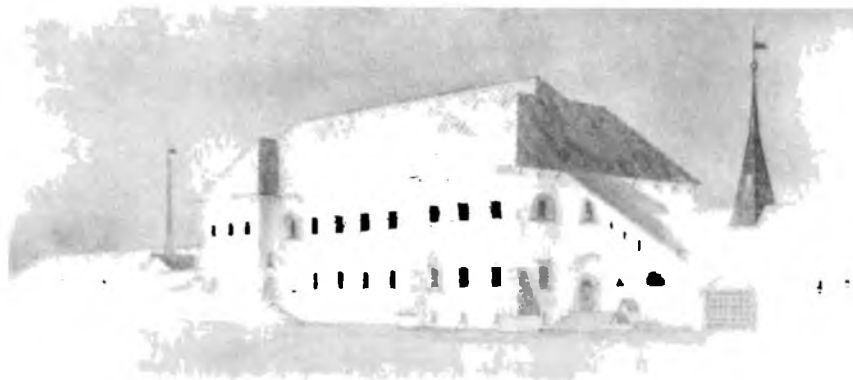


Гостиная в здании Офицерского  
собрания Конвоя. Продольный разрез.  
Проект 1911 г.



Архитектор В.М. Мухоморов

**Кабинет шефа в здании Офицерского  
собранин Конвоя. Продольный разрез.  
Проект 1911 г.**



**Здание Четвертой сотни  
Конвоя.  
Предварительный  
проект 1913 г.**

**Конюшни Конвоя.  
Проект 1915 г.**

**Здание Третьей сотни  
Конвоя. Проект 1914 г.**



**Перспективное изображение  
восточной части территории Конвоя.  
Неосуществленный проект 1915 г.**

**Общий вид гостиничного комплекса в Царском Селе.  
Неосуществленный проект 1916 г.**



**Здания двух рот железнодорожного полка. Неосуществленный вариант 1915 г.**

**Панорама застройки  
Железнодорожного полка.  
Неосуществленный проект 1916 г.**

**Общий вид Угличского гидроузла.  
Фоторепродукция панорамы, исполненной в 1938 г.**



Лев, Давид и Эсфирь Выгодские.



Справа налево: Д. И. Выгодский,  
Л. С. Выгодский, неустановленное  
лицо.



**Д. И. Выгодский.**





Давиду Выгодскому

на память от

А. Ахматовой

А. А. Ахматова. Фотография с  
дарительной надписью Д. И. Выгодскому.



С. П. Бобров. Не позднее 1909 г. На обороте надпись:

«Я не печалюсь — не тревожу  
Души изнеможенный сон,  
Проходит и приходит — то же:  
Плач засыпающих времен —  
Однако будет хныкать: — но же  
Примите мою злую рожу.  
Сергей Бобров».



О. Л. Костедкая.

У нее был очень тяжелый характер. Наташа очень от этого страдала, и они разъехались, Е.Я. поселилась где-то в городе. Маршак был ее крестным отцом в литературе, — он заставил ее писать, вывел, так сказать, в люди, но затем они поссорились: уж очень у нее ведьмистый характер — говорил мне Сам<уил> Як<овлевич>.

Позже, думаю, эта колючесть у Е.Я. сгладилась. Зажила боль оскорбленной любви — затвердела кожа, сестры опять стали жить вместе, и я никогда, бывая у них, не чувствовала между ними разлада. У меня с ней всегда были хорошие отношения, я очень ценила в ней кристальную честность и интеллектуальность. Два качества для женщины непригодные. Она увлекалась своей работой, своими героями, Вольтером, Ломоносовым до влюбленности, до самозабвения<sup>6</sup>.

В продолжение трех лет Данько работала в Петроградском Кукольном театре, спектакли которого проходили в Народном доме по три-четыре раза в неделю. Она писала инсценировки по сказкам. Наибольшим успехом из них пользовалась постановка «Красной Шапочки» с музыкой Ю.Шапорина и «Сказки о Емеле Дураке» в оформлении Е.С.Кругликовой. Интерес художницы к театру не ослабевал и в последующие годы. На сцене Кукольного театра, ТЮЗа и других ленинградских сценах в разное время шли инсценировки Е.Данько: «Пряничный домик», «Колобок», «Гулливер в стране лилипутов», «Дон Кихот», «Приключения Буратино» и др.

Увлечение куклами Елена Яковлевна совмещала с работой на фарфоровом заводе, живопись по фарфору стала для нее страстью и судьбой, в своем мастерстве Данько достигла подлинных высот. В одном из стихотворений, посвященных художнице, Ф.Сологуб, восхищенный ее искусством, писал:

Камни плясали под песни Орфея,  
Но для чего же такой хоровод!  
Каменной выюги любить не умея,  
Сердце иных плясунов призывает.

Близко прикинул к холодной и белой  
Плоскости остро внимательный взор,  
И расцветает под кистью умелой  
Выюгою красочных плясок фарфор.

В красках и формах содеяны чары  
Этой упорной работой очей,  
И улыбаются мудрые лары  
Тайне заклятий и силе огней.

А чародейка заплакать готова:  
Тайну заклятий скрывает узор,

---

<sup>6</sup> Л.В.Шапорина. Дневник (14 августа 1940 — 28 августа 1950 г.) — ГПБ, ф. 1086, ед. хр. 19, л. 19 об. — 20.

И сотворившей оттадного слова  
Выдать не хочет коварный фарфор.  
23 декабря 1925<sup>7</sup>.

В 1924 г. Елена Яковлевне пришлось оставить работу на фарфоровом заводе (из-за сокращения штатов). В справке, выданной ей заводской администрацией, удостоверялось: «Е.Я.Данько работала на фарфоровом заводе с 1918 по июль 1924. Первые три года в качестве рабочей Живописной Мастерской, а последние 2 года в качестве художника завода. Исполняла эскизы росписи фарфоровой посуды и модели фарфоровых фигурок и выполняла их на фарфоре. Работы тов. Данько фигурировали в качестве изделий завода на Российских и заграничных художественно-промышленных выставках (Москва, Ревель, Рига, Стокгольм, Лондон) и находятся в Музее Госуд. фарфорового завода и в Русском Музее в Москве»<sup>8</sup>. Завод ходатайствовал о поступлении Е.Данько в Академию художеств. Однако ее академические занятия продолжались недолго: «Елена Яковлевна сбежала из Академии из-за Петрово-Водкинской школы»<sup>9</sup>. «Душу воротит от необходимости рисовать коричневые листы бумаги синей краской», — признавалась она Шапориной<sup>10</sup>.

После ухода с завода многое в жизни Е.Данько изменилось, она начала профессионально заниматься детской литературой. Одна за другой появлялись ее тоненькие книжки для детей: «Фарфоровая чашка» (Л., 1925), «Настоящий пионер» (Л., 1925), «Ваза богдыхана» (Л., 1925), «Иоганн Гутенберг» (Л., 1926), «Шахматы» (Л., 1927), «Китайский секрет» (Л., 1928); в 1932 г. — повесть «Деревянные актеры». В 1925-1927 гг. Е.Данько работала секретарем Секции детской литературы, в 1926-м была избрана членом правления Ленинградского отделения Союза писателей.

Работа в Союзе сблизила Елену Яковлевну с ленинградскими поэтами, объединившимися в кружок «неоклассиков», — В.В.Смиренским, М.В.Борисоглебским, Л.И.Аверьяновой (1902-1942), А.Р.Палсем (род. в 1893), Н.Ф.Белявским (1902-1947) и др. Первоначально собрания кружка проходили в Союзе (Фонтанка, д. 50) и назывались «Вечера на Фонтанке». В ноябре 1925 г. участники объединения обратились с просьбой к Федору Сологубу: «Глубокоуважаемый Федор Кузьмич, мы, члены Ленинградской Ассоциации Неоклассиков, в заседании нашем 24-го сего ноября постановили избрать Вас почетным членом Ассоциации и председателем ее инициативной группы и обращаемся к Вам с просьбой принять это избрание. Верим и надеемся, что Вы не откажете нам в Вашей необходимой поддержке, благодаря которой мы сможем развить не только большую и серьезную литературную работу, но и

<sup>7</sup> Федор Сологуб. Стихотворения («Библиотека поэта», большая серия). Л., 1979, с. 483.

<sup>8</sup> ИРЛИ, ф. 679, ед. хр. 25, л. 9. Вероятно, в тексте документа опечатка — речь идет о Румянцевском музее в Москве.

<sup>9</sup> Л.В.Шапорина. Дневник, л. 42.

<sup>10</sup> Там же, л. 44.

создать в современной литературе крепкое и значительное ядро неоклассицизма. Ваши заслуги как писателя, поэта и драматурга, Ваш многолетний опыт и внимательное отношение к молодежи являются лучшим залогом выполнения задачи объединения неоклассиков. Примите уверения в нашем глубококом уважении и преданности. Мих.Борисоглебский, Е.Данько, А.Палей, Владимир Смиренский»<sup>11</sup>.

На просьбу молодых поэтов Сологуб ответил согласием.

В конце 1925 г. «неоклассики» стали собираться по вторникам в его квартире, их литературные вечера получили название «Вечера на Ждановке» (поэт жил на наб. Ждановки в доме № 3, кв. 22). На вечерах читали и разбирали стихи, знакомились с новыми произведениями прозаиков и драматургов. Для молодых поэтов тесное общение с Сологубом стало насущной необходимостью и серьезной литературной школой. «Вечера на Ждановке» посещали не только начинающие поэты, приходили к Сологубу Р.В.Иванов-Разумник, В.П.Калицкая, Л.В.Пумпянский, В.А.Сутугина, О.А.Судейкина, В.А.Щеголева, Ю.Н.Верховский, К.А.Федин, В.Я.Шишков и др. Центром всеобщего притяжения был, несомненно, хозяин дома. М.Борисоглебский вспоминал о сологубовских вечерах: «...главное для меня в них было то, что Ф.К. с истинно патриаршим спокойствием выявлял всю свою мудрость перед «зеленой молодежью». Речь его часто превращалась в лекции. «Между прочим» Федор Кузьмич мог говорить о чем угодно, о стиле, о философии, о грамматике, о законах произношения, о строительстве железнодорожных мостов, о росте городов, о религии, о школах, о торговле, о письмоводстве, говорил так, что знаниями его в этих вопросах поражались все. Слушая его, я часто думал: какие мы все маленькие»<sup>12</sup>.

«Вечера на Ждановке» и совместная работа с Сологубом в Союзе оставили глубокий след в душе Ел.Данько, о чем свидетельствуют ее воспоминания, публикуемые ниже. В свою очередь, присутствие на «вторниках» молодой поэтессы, в отличие от ее молчаливых сверстников смевшей возражать «учителю», придавало собраниям особую остроту. Возможно, поэтому участие Ел.Данько в вечерах стало необходимым для поэта, нуждавшегося в собеседниках, и не только для него. В мае 1926 г. Л.И.Аверьянова писала Сологубу: «Владимир Викторович Смиренский написал мне, что Вы больны и что вторник не состоится. Я очень много думаю о радости снова бывать у Вас на вторниках, но раз я не могу сказать Вам лично, позвольте написать Вам, Федор Кузьмич, как я благодарна за тот кружок людей, который Вы собрали вокруг себя, за возможность бывать на этих вторниках, и главным образом за то, что через Вас и Ваши вторники я узнала Елену Яковлевну — это самый большой подарок от жизни за все эти годы... Вы, зная Елену Яковлевну, поймете, что много отношения к ней со стороны знающих ее людей нет и не может быть. Иметь такого друга, как она, — это совершенно огромное счастье: в ней столько тишины — а это такое —

<sup>11</sup> ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 874, л. 59.

<sup>12</sup> М.В.Борисоглебский. «Последнее Федора Сологуба». — ГПБ, ф. 92, оп. 1, ед. хр. 140, л. 10.

ну, прямо животворящее качество! < ... > Если бы Вы знали, Федор Кузьмич, как мне ужасно хорошо бывать в Вашем доме и слушать за-  
поем каждое произнесенное здесь слово»<sup>13</sup>.

С 1926 по 1932 г. Данько работала секретарем правления Ленинградского отделения Всероссийского Союза писателей. В 30-е годы она постепенно отошла от литературного творчества (исключение составляет работа над жизнеописанием Вольтера)<sup>14</sup>. Художница погружается в изучение истории Фарфорового завода им. Ломоносова, занимается росписью фарфора. В 1932 г. в залах Русского музея была устроена выставка в честь пятнадцатилетнего юбилея Советской власти. На выставке экспонировались Г.С.Верейский, П.П.Кончаловский, Б.М.Кустодиев (посмертно), А.П.Остроумова-Лебедева и др. Особенно много скульптурных композиций выставила Н.Я.Данько в росписи сестры — Е.Я.Данько. Биографические сведения о жизни художницы в 30-е годы довольно скудные. В 1934 г. ее приняли в Союз писателей, в 1940 г. она начала работу над автобиографическим романом «Юность», в последние годы перед войной много болела (она страдала базедовой болезнью). В начале 1942 г. семья Данько вместе с рабочими фарфорового завода была эвакуирована на Урал, по дороге в Ирбит Елена Яковлевна скончалась.

«Воспоминания о Федоре Сологубе» — единственный сборник стихотворений поэтессы «Простые муки» сохранились в составе архива Данько (ИРЛИ, ф. 679). Архив поступил в Пушкинский дом частями — из библиотеки Государственного фарфорового завода им.Ломоносова в 1947 г., а также от Л.В.Шапориной и О.И.Рыбаковой в 1952 г.

Воспоминания о Сологубе были написаны в первые месяцы 1928 г. по просьбе Р.В.Иванова-Разумника и предназначались для сборника памяти поэта, скончавшегося в декабре 1927 г. Книгу предполагал издать Всероссийский союз писателей, ленинградское отделение которого возглавлял Сологуб в последние годы жизни (1926-1927). На просьбу Иванова-Разумника прислать стихи, заметки и мемуары о поэте откликнулись многие (сохранились воспоминания конца 20-х годов В.В.Смиренского, М.В.Борисоглебского, Л.И.Аверьяновой, П.Н.Медведева, В.П.Калицкой и др.). Однако идее сборника воплотиться было не суждено.

На фоне всех известных воспоминаний о Сологубе мемуары Ел.Данько занимают исключительное место: по содержанию, смелости и откровенности их можно назвать единственными в своем роде. Для Данько Сологуб — загадочное чудовищное антиэстетическое «явление». Создавая психологический портрет писателя, мемуаристка не жалеет самых дерзких и экспрессивно-негативных определений. С точки зрения здравого смысла ее легко упрекнуть в отсутствии объективности. Воспоминания были написаны сразу после кончины Сологуба под

<sup>13</sup> ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 4, л. 1.

<sup>14</sup> Работа над жизнеописанием Вольтера не была завершена; материалы, собранные Е.Я.Данько, сохранились в архиве (ИРЛИ, ф. 679, ед. хр. 12, 179 листов).

непосредственным впечатлением от недавних встреч с ним и разговоров, не всегда приятных для собеседницы. Однако сомневаться в правдивости мемуаристики не следует. «Образ» Сологуба по-своему мучает ее, она пытается объяснить себе «явление»; личность поэта, поразившая с первого дня знакомства, становится для нее этапом самопознания.

Кстати, поводом для встречи с Сологубом были ранние стихи Данько, собранные ею в сборник «Простые муки». Книга составлена из произведений 1920-1922 годов. Отдельные стихотворения отмечены отчетливым влиянием А.Ахматовой и А.Блока. В то же время отрицать дарования начинающей поэтессы не приходится, ее творчество было замечено современниками<sup>15</sup>. Книга входила в план изданий Вольной философской ассоциации, но была запрещена военной цензурой. На полях цензурного экземпляра сохранились пометы цензора, на титульном листе запись: «Разрешается печатать с изъятием предисловия». Автором предисловия был Р.В.Иванов-Разумник (текст в настоящее время не обнаружен)<sup>16</sup>. В последующие годы Ел.Данько писала не систематически, из напечатанных ею произведений наибольшей популярностью пользовалась стихотворная повесть для детей «Ваза богдыхана» (1925). В целом поэтическая судьба Елены Яковлевны повторила судьбу всех ленинградских «неоклассиков»: при несомненной значительности их лирических опытов ни один из них не стал самостоятельным, самобытным поэтом.

Тексты стихотворений и воспоминаний печатаются по рукописям (ИРЛИ, ф. 679, ед. хр. 1 и 16). Орфография и пунктуация подлинников приведены в соответствие с современными нормами.

---

<sup>15</sup> 30 октября 1922 года в Вольной философской ассоциации состоялся вечер поэтов: Е.Я.Данько, Деонесова, С. Колбасьева, Е.Полонской, Н.Тихонова.

<sup>16</sup> О содержании предисловия отчасти позволяет судить письмо Иванова-Разумника к Ф.Сологубу от 30 сентября 1925 года, написанное по поводу предстоявшего чтения Ел.Данько «Простых мук» в Бюро секции истории литературы и критики. А.Гизетти предложил Иванову-Разумнику сделать перед чтением Данько вступительное слово, но он от предложения отказался. «...думаю, что мое выступление может оказаться неудобным для Союза Писателей и для меня, — писал критик. — Не будучи формалистом — к стихам Данько отношусь тематически, и темой моего вступительного слова могло бы быть только одно: как большевики извратили революцию. Думаю потому, что лучше мне воздержаться. — Докладчиком более тактичным, чем я, может стать Гизетти, хорошо знающий стихи Данько. Жаль, что Д.М.Пинес не член Союза Писателей: у него как раз есть докладик на тему о «Простых муках» Данько, а выступал он у нас в Вольном филе всегда очень умно и талантливо» (ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 296).



Разумник Васильевич сказал мне, что Союз хочет издавать сборник памяти Сологуба<sup>1</sup>. Это меня смутило по двум причинам — во-первых, нужно ли это делать «теперь»? Не лучше ли было бы собрать материал и воспоминания современников и передать их в Пушкинский дом или еще куда-нибудь, где бы они могли лежать и мирно ждать, пока объективный историк присоединит их к характеристике Сологуба. Стоит ли подавать повод для собачьего лая и визга, хихиканья и самовосхваления — нашей современной прессе? Каждый рад будет прицепиться к какому-нибудь неосторожному слову в «воспоминаниях», чтобы написать статью для «Правды» или «Красной»<sup>2</sup> в 4 столбца — и заработать на памяти Сологуба. Не вышло бы вместо «увекочения памяти» поливания помоями могилы. А «неосторожные» слова в воспоминаниях, конечно, будут. Если уничтожить «неосторожные» слова, то «воспоминания» станут официальными некрологами, лишенными всяких черт, подлинно характеризующих Сологуба. А что будет много не только неосторожных, но прямо бестактных и целых страниц слов — в этом можно поручиться, посмотрев на состав пишущих воспоминания, — Борисоглебский<sup>3</sup>, который, когда Федор Кузьмич еще лежал в гробу в Союзе, уже нарисовал его портрет с чертом в изголовье, пошатнувшимся крестом и прочей бутафорией. Калицкая<sup>4</sup>, которая в ослеплении перед гением Федора Кузьмича и в уверенности, что его гениальность непреложна для всех на свете, потащила в прошлом году статью Сологуба о Чарской<sup>5</sup>, где он восхваляет Чарскую и называет ее чуть ли не великой писательницей-революционеркой (я не прусувеличиваю)<sup>6</sup>, прямо к Сейфуллиной<sup>7</sup> — с просьбой помочь напечатать эту статью в «Звезде»<sup>8</sup>, в уверенности, что Сейфуллина с руками оторвет это гениальное произведение.

Не описать удивления добрейшей Веры Павловны, когда Сейфуллина, побагровев, вытаращила глаза: «Чтобы я... статью Сологуба... о Чарской?» и т.п., что можно было ожидать от Сейфуллиной, и наконец — Елена Данько, которая или должна писать то, что она действительно думает — или не может писать вовсе. Одна надежда — на Замятина, который сможет найти верную и безупречно корректную линию и сказать много, не сказав ничего<sup>9</sup>.

Это во-первых. Во-вторых же, дело касается моих воспоминаний. Я знала Федора Кузьмича в годы наибольшего упадка, говорят, он был прежде иной. Надо ли писать об этих годах

разложения, о приступах старческого слабоумия? Сначала я сразу решила — конечно, нет. Я ненавижу людей, пишущих о больших писателях всякую гадость в своих воспоминаниях. Кому это нужно? Если не знаешь ничего хорошего — так и молчи.

Но потом мне пришло в голову и не дает покоя: Сологуб — настолько странное и загадочное явление — не должны ли мы говорить о нем, чтобы понять, откуда он и зачем? Для меня он до сих пор — мучительный вопрос. Я находила немало ответов, но они были так отрицательны, что успокоиться на них я не могу. Сколько раз мне хотелось раздавить эту гадину, в порыве отвращения и инстинкта самосохранения, который отталкивает нас от всего уродливого, болезненного и гнилого, заставляет зажимать нос, когда слышишь вонь. На таком ответе успокоиться нельзя, — это не ответ, это никак не исчерпывает большую личность Федора Кузьмича, это — моя собственная, инстинктивная реакция, а не настоящее понимание, которое всегда несет с собой оправдание.

Я бы хотела найти положительный ответ. Может быть, если я запишу все, что помню о Сологубе, «не мудрствуя лукаво» и не увлекаясь соблазном карикатуры или хлесткого словца, может быть, я нащупаю какое-то положительное отношение к нему как к писателю. Ведь, во-первых, Федор Кузьмич ужасно мучился собой, я это знаю, во-вторых, он по-человечески хорошо относился ко мне и к моим стихам и старался помочь, где мог. Я не могу успокоиться на отрицательном отношении. Уж очень чудовищным кажется Сологуб как явление.

Я попрошу прочесть эту тетрадку Разумника Васильевича, его недаром зовут «Разумник», и, может быть, он мне поможет. Кроме того, мне кажется, он один из редких людей, которые не тяготеют читать рукописи и берегут человеческие документы с «гарантией сохранения полной банковской тайны», как солидные банки. Это — не для печати.

## 1

Я пришла в Союз, чтобы подать анкету. Ко мне вышел, должно быть, секретарь — с квадратной головой, толстыми губами и глубоко посаженными глазками. Он понес мое заявление в соседнюю комнату, а я вспомнила — где тут стояла чугунка, когда здесь была Вольфила<sup>10</sup>? «Елена Данько? — сказал кто-то ворчливо. — Да разве у нее есть что-нибудь напечатанное?» — и вышел маленький старичок с одышкой. Я узнала его по бородавке и бесцветным острым глазкам, как на сомовском портрете<sup>11</sup>. «Сологуб», — сказал он, здороваясь. С перепугу я стала говорить, что у меня напечатано, но он не слушал:

— Два года тому назад Ольга Николаевна<sup>12</sup> принесла мне корректуру ваших стихов и расхвалила их до небес. А я думал

— ну, если расхваливают, значит, дрянь, плохие стихи, и читать не хотел. Потом смотрю — нет, к моему удивлению, стихи хорошие и даже очень хорошие. А будут они написаны?

Я передала разговор с Ионовым<sup>13</sup>, когда он меня вызвал. Сологуб советовал мне «пробиваться» — сначала в «благонамеренные журналы», а потом издать отдельной книжкой. Я отказалась. Сологуб настаивал:

— При всех объяснениях с современными стражами литературы надо убедить их в такой точке зрения — думать, что такие-то стихи — не для пролетариата, такие-то ему непонятны, когда мы имеем дело с изображением общечеловеческих переживаний, с печалью и радостью, — значит возводить поклеп на пролетариат, а возводить поклеп на пролетариат — это значит «оскорблять его величество», потому что пролетариат широк, чуток и всеобъемлющ, он — грядущее человечества. Поэзия должна служить пролетариату, «человеку», т.е. субъекту общечеловеческих эмоций. Суживать темы, давать только прописи — значит предполагать, что пролетариат туп, животен и недоступен чувству, что есть клевета, так как пролетариат — цвет человечества, класс, ставший у власти, совершивший революцию, идущий по пути все возрастающего прогресса. Поволжский голод, война и так далее давали пролетариату немало поводов для грусти: предполагать, что он не чувствовал тогда печали — значит думать, что он туп и бессердечен. Отражать самое интимное — грустное и радостное — задача поэта. Почему брать темой только «бодрость, радость, жизненность»? Жизнь состоит из радости, но также из печали. Попробуйте предложить пролетарским поэтам исполнить плясовую на могиле Наримана Наримановича Нариманова<sup>14</sup>. Пусть напишут веселый сборничек на тему смерти Нариманова. Что они скажут?

Речь лилась свободно и стройно. Я была зачарована стройностью ее, несмотря на парадоксальность.

Возражать не стала.

Сологуб сердито и грубовато сказал: «Почему до сих пор не пришли почитать мне стихи?»

Я взяла его телефон.

## 2. О моих стихах

В кабинете Сологуба я имела неосторожность прочитать ему стихи на 1-е мая, шуточные, написанные для детского журнала. Содержание — пионеры проходят по Марсову полю с песнями, и они так весело и бодро идут, что бронзовому Суворову хочется по старой памяти помаршировать вместе с ними.

Жаль, что бронзовые ноги  
К пьедесталу приросли —

Зашагать бы по дороге  
Вместе с теми, что прошли...

Цензура запретила его со строгим выговором по моему адресу. Но Сологуб пришел в еще большую ярость, чем цензура. Я оскорбила Суворова, этого гениального полководца. «Неужели вы думаете, что он пошел бы за этими хулиганами, за этими выродками, за этой дикой толпой!»

Я пробовала сказать, что у молодежи всегда есть какая-то захватывающая правота, уже потому, что они молоды и полны жизни. Суворову без всякой идеологии просто стало весело и захотелось размять ноги — надоест же стоять всегда на пьедестале, ведь он иногда чудачил и кричал петухом!

Нет, я поступила легкомысленно и дрянно — нельзя оскорблять память Суворова. У молодежи никогда нет никакой правоты, Сологуб учил мальчиков — он их знает. Нет такой гадости и подлости, которую бы они не проделали. Они — развратные злые звереныши. Вся молодежь такова. Дураки идеализируют молодежь, и я это знаю, я просто хотела подладиться, подольстить им (хулиганам), написала плохие стихи, и цензура меня разоблачила, так как цензура чувствует отлично, кто искренен, а кто «подлаживается». Подличающий всегда терпит наказание за подлости. Когда Блок «из подлости, из желания забежать вперед, как собачонка перед хозяином», написал свои «Двенадцать», его за это не погладила по головке та же власть, «перед которой он лбезил», — он понес наказание.

Сначала речи Сологуба показались мне «нарочными» — (нельзя же всерьез стрелять по воробьям из пушек) — но потом от крика лицо его покраснело, глаза стали мутными — он стал задыхаться, и я забеспокоилась, ощущая какую-то свою вину. Но когда я услышала неслыханную клевету на Блока, мне стало невтерпёж — огрызнулась.

Сологуб стал ругать мои стихи о Ленине и «Матрос»<sup>15</sup>, находя в них тоже подличанье и подлаживание. Волосы встали у меня дыбом. Язык у него был хлесткий и убедительный. С отчаяния я стала бормотать, что хочется, очень хочется многое оправдать, перекинуть какой-то мост между нашей правдой и ихней. Ведь невозможно жить и работать, если ничего, ничего отрадного и глубокого ни в чем нет, в жизни. Тут мне попало за «мосты». «Мосты» перекидывают только подлецы — идущие на компромисс. А жизнь вообще — ни на что не нужна для творчества. Поэт создает свой мир, до другого мира ему нет дела. Он должен заткнуть уши, закрыть глаза и слушать голос своего я. Вне меня мира нет. Я создаю мир, как хочу. Я вольный хозяин — я наслаждаюсь своей красотой. А что кругом — до этого дела нет. Из моих стихов — надо вытравить все, что было переживанием, отражением жизни в моих стихах — быт их губит. Исключив всякое реальное чувство и переживание из творчества, я стану

настоящим поэтом, а мои «Простые муки» — никуда не годятся, потому что в них чувствуется влияние жизни.

Я нашла это арелигиозным, безрелигиозным. Сологуб стал говорить похоже на Ницше и других индивидуалистов.

Так начался ряд наших споров, тянувшийся 2 года, о жизни, о Блоке, о художественном творчестве и религии, о детьях. В тот раз Сологуб скоро устал и начал читать другие мои стихи. Мне попало за «Настоящего пионера» — главным образом за то, что Петя, спасшись от наводнения в лодке, не забыл, проезжая мимо забора, снять с него свои ботинки, которые он перед тем повесил на забор.

«Какой мальчик в такую минуту, когда он недавно спас другого мальчика и сам сплелся из воды, вспомнит про какие-то ботинки? Станет снимать их с забора? Это клевета на мальчиков, неужели они так меркантильны?» (см. предыдущую страницу о молодежи). О литературных недостатках этого ужасно плохого моего стихотворения Сологуб не говорил вовсе. Без труда я поняла, что его раздражило заглавие «Настоящий пионер».

«Гутенберга» он очень хвалил, хотя нашел в одной строфе невольный, неприличный каламбур и сообщил мне еще несколько неловких каламбуров Лермонтова и др. «Ваза богдыхана» понравилась ему так, что он выразил желание меня поцеловать. Я ушла взволнованная этим причудливым человеческим, противоречащим себе на каждом шагу.

Позднее я поняла, во-первых, что Сологуб много говорит о чисто литературной ценности вещей и ее независимости от современности вообще и политики в частности — в каждой вещи он сам видит прежде всего ее политическую идеологию и в зависимости от этой идеологии говорит о литературной ценности. Поэтому бездарная вещь, отрицающая современность или дающая чисто отрицательное отношение — к себе ли, к жизни, к Богу, к людям, — сопровождалась не в меру расхолаемыми похвалами. Зато Блок, Есенин, Тихонов назывались не раз пачкунами, губошлепами и подлецами, причем относительно последних двух утверждалась их крайняя литературная бездарность.

Позднее сам Сологуб говорил мне: «Люблю, когда приходит ко мне молодой поэт, руки в боки, глаза — в потолок — море по колено. А я его так опозорю, продержу у себя 2 часа, так он потом на четвереньках от меня уходит и не знает, что ему лучше — повеситься или утопиться? Пусть знает».

Позднее я заметила, что каждое суждение Сологуба не имеет для него цены само по себе, а лишь применительно к данному случаю. Как в одном разговоре он успел сказать, что все мальчики развратны и подлы, и в то же время обидеться, что я клевету на мальчиков тем, что Петя не забыл взять ботинки, — так и во всяком другом случае — суждение произносилось то или иное в зависимости от впечатления, которое он хотел

произвести на собеседника. Этот человек жил и питал свои «я» впечатлениями, которые он производил на окружающих. Если не удавалось произвести желаемого сильного впечатления — приходил в ярость. Желаемые для него впечатления были иногда низменные, до гадливости.

### 3. Еще о моих стихах

Когда я в Союзе читала свои стихи и А.А.Гизетти<sup>16</sup> делал небольшой доклад о них, Федор Кузьмич взял слово, он говорил столько лестного, что я не помню почти ничего, так как это была неправда.

Запомнилось одно: «Я не согласен с А.А.Гизетти, что в стихах Данько есть какой-то послереволюционный Петербург, что она знает какую-то жизнь, слышала, что говорили и чувствовали люди.

Данько не имеет понятия о Петербурге, — она, как известно, киевская ведьма и в Киеве обучалась у О.Д.Форш<sup>17</sup>, как лстать на Лысую гору, она ничего не знает, не видит, не слышит. Но она говорит в стихах так убедительно, что мы начинаем верить в выдуманный ею Петербург, в выдуманные ею чувства и настроения, которых на самом деле нет».

Привожу это как пример суждения, прямо противоположного тому, что он говорил мне о моих стихах до того.

### О детях

Однажды в присутствии Федора Кузьмича я рассказала о маленьком сыне Маршака<sup>18</sup>, удивительно ласковым и приветливым ребенке.

«Не могу понять двух вещей на свете, — сказал раздраженно Федор Кузьмич, — как могут люди восхищаться солнцем и умиляться над детьми. И жарко на солнце, и гадко, и тошно — нет, дамочки закатывают глазки: «я обожа-аю солнце!», и дети — и грязны, и вороваты, и ничтожны — нет, надо умиляться: «ах, какой ласковый!»

Да знаете ли вы, почему этот мальчишка подошел к вам, улыбаясь, и стал карабкаться на колени — конечно, его приучили получать за это конфеты, как собачонку, только он хуже собачонки, потому что (я не помню аргумента). Иметь детей хотят только тупые ограниченные люди. Жидовская — трусливая черта. Замечали вы, как ходят жида? обязательно кагалом, так, чтобы тереться друг об друга.

Шел я однажды с (забыла фамилию). Так он все время мне на плечо налезал — говорит, а сам трется. Я ему сказал: «Да

прекратите эту жидовскую вашу манеру», — это у них от трусости, от боязни остаться одному, — и чадолюбие отсюда же.

Человек, который выявил себя в своей жизни во всей полноте, законченно проявил свою личность, не может любить детей или желать ребенка. Его круг закончен, к ребенку он отнесется только враждебно. Вот, например, Мережковский и Гиппиус — они сознательно говорили, что им детей не надо — они были сами в себе — во всей полноте».

«Ненормальные люди, — сказала М.А.Бекетова<sup>19</sup>, слышавшая это, — такие ненормальные — не пример».

Федор Кузьмич стал говорить о детях с ненавистью:

— Я знаю, как их заставить плакать в три ручья. Буквально в три ручья, потому что из одного глаза течет всегда две слезы, а из другого одна. Позовешь какого-нибудь такого мальчугана и начнешь его язвить словами, от стоит-стоит — и гляну — вот уже три ручья текут...

О.И.Капице<sup>20</sup>, слышавшей это, кажется, стало нехорошо. Она любит детей, и у нее — внуки.

— А что бы ни говорили, что бы ни делали наши власти — мальчиков и девочек все равно будут сечь, пока у них есть места, по которым секут, — весело сказал Федор Кузьмич и рассказал, как вскоре после революции, «когда провозглашены были все свободы», он в весенний ясный день сидел на каком-то бульваре и увидел мальчика, который грыз яблоко. — И у мальчика были очень короткие штанишки и босые ноги, и там, где штанишки кончались, я увидел такие хорошо известные красные полосы от розги, уходившие под штанишки. Ну вот, революция произошла, все свободны, а тебя, голубчик, все так же пороть будут, и крепко, должно быть, он был выпорот — полосы так и горели, — радостно говорил Федор Кузьмич, как будто утверждал какое-то положительное — «а все-таки».

«А все-таки» — и он рассказал еще несколько случаев, бывших недавно, когда почти взрослых девушек родители пороли и ставили на колени в наказание.

Нам было неловко за эту радостность. Однажды в Царском Федор Кузьмич рассказывал мне, как он сидел в парке на скамеечке с папиросой и мимо шли ненавистные ему пионерки в красных платочках, размахивая руками. И он нарочно держал на отлете папиросу, чтобы они, проходя мимо, наткнулись на нее рукой. «И ведь ни одна, подлая, не наткнулась», — говорил он, изображая досаду. Я видела Федора Кузьмича с его внучкой Олечкой<sup>21</sup> и другими детьми. Он был нежен и угощал их и разговаривал хорошо.

Я не верю, что все сказанное было искренне. Гораздо страшнее то, что человек находил удовольствие в том, чтобы так лгать. Зачем? Ведь его разговоры были сплошной бесцельной ложью. От этого (когда я поняла, что он все врёт) стало ужасно скучно разговаривать, все равно, как пасьянс раскладывать. Зе-

вая, разглядываешь потолок, и Федор Кузьмич часами врет что-нибудь и злится, что нет впечатления.

## В Союзе

Мне приходилось бывать у Федора Кузьмича по делам нашей детской секции. Он был ее председателем и не щадил своих сил, пока мог. Трогательно было, когда он из Царского приезжал на каждое наше заседание, не считая заседаний правления. Всегда был мудр в наших делах, строг и очень внимателен. Его председательства только и двигали у нас работу. Но не приведи Бог сделать что-нибудь самочинно — яростный скандал. А в другой раз придешь спросить что-нибудь: «Зачем спрашиваете, это ваше дело, вы секретарь».

Не приведи Бог сказать, бывало, о том, что Чуковский и Маршак могли бы нам быть полезны — яростный скандал.

Я не умела молчать и огрызалась, не стеснялась. К сожалению, это была благая часть. Огрызавшуюся Сологуб переставал ругать. Любил делать скандалы тем, кто от этого расстраивался. Дамы плакали иной раз. Я же — злилась и потому скандалов почти не видела. О писателях он говорил почти всегда ожесточенно.

Однажды он вызвал меня, чтобы я передала в Союз какие-то бумаги, я запоздала, извиняясь за опоздание, сказала: «Я ужасно спешила — я летела, как ругань, другая нога еще добегает в соседней улице»<sup>22</sup>. Узнав, что это Маяковский, Федор Кузьмич стал говорить, как ничтожен Маяковский и как недостойно его цитировать в присутствии Сологуба. Прошло полчаса, час — он все говорил, — заседание, к началу которого я должна была принести бумаги, уже кончалось, когда Сологуб кончил разбирать Маяковского, опять же не литературно, а с точки зрения его хулиганства и случаев невоспитанности.

Однажды я ушла из Союза с одним писателем, с которым мне давно хотелось поговорить об его книге. Мы условились пройти вместе по Невскому, чтобы поговорить. У Аничкова моста мы были окликнуты Сологубом, который, несмотря на одышку, спешил за нами и, догнав, очень грубо сказал, что мы его бросили. Я ответила, что хотела поговорить с К.А.<sup>23</sup> ...Он накинулся на того. Тщетно мы старались придать характер шутки его упрекам и нашим оправданиям. Он сказал, что я сейчас же сяду с ним в трамвай и поеду домой, и так задышался ужасно, что мне стало страшно, вдруг он себя плохо чувствует и боится ехать один? Почувствовала ответственность, усадила его в трамвай.

Он разозлился на мое беспокойство об его здоровье, заявил, что чувствует себя прекрасно, но не хотел позволить этому про-



хвосту со мной разговаривать, и так честил его на все корки всю дорогу и говорил, что его, Сологуба, будут читать еще через 100 лет, что Сологуб вечен — а того забудут через год.

Мне стало тошно, и я не удержалась высказать свое огорчение, что мне не удалось поговорить с человеком по интересующему меня вопросу. Я давно хотела, а больше случая не будет.

Через несколько дней Сологуб вызвал меня по телефону и спросил, не могу ли я отвезти один спешный пакет по союзному делу. Оказалось, что я в тот день должна была быть на той же улице, куда был адресован пакет. Я пришла за пакетом, оказалось, что его надо передать моему неудачливому собеседнику и спросить ответ. Я отвезла. Получатель прочел и спросил меня странно и серьезно: «Вам известно содержание?» — «Нет». Я ушла, чувствуя какую-то неловкость. Потом мне передали, что Сологуб писал обо мне; зачем? что? Мне так и не удалось поговорить с писателем об его книге, потому что, встречаясь, мы чувствовали долго какую-то ужасную неловкость и старались не разговаривать. До чего глупо!

О Федине он говорил, что это бездарный писака и, кроме того, написал подлую книжку «Города и годы». Только подлец мог написать о профессоре-старике, что тот принял революцию и у него на душе был мир, когда он рыл какую-то канаву. «Такого профессора быть не могло — это ложь, — шипел Сологуб. — Этому никто не поверит, поэтому вся книга так скучна своей лживостью, что я на которой-то странице уснул».

Горький, по его словам, «загромоздил литературу навозными кучами своих книг» — наукообразное мышление неотъемлемо от писателя — у Горького его нет — он не писатель.

О Блоке говорилось так плохо на вечерах «неоклассиков», что мне однажды стало дурно.

Опять темой было сначала — лирическое волнение или жизненный толчок, который заставляет поэта писать.

Сологуб отрицал его или требовал его минимальности. Попутно издевался над Блоком: «Этот губошлеп (он иначе его не называл) нанимал Ваньку за 3 рубля и тряся на острова, а потом писал — и тройки, и цыганки, и любви. Воображал, что на тройках мчится».

Этот пример только подтверждал Сологубово суждение о «минимальном толчке» или даже отсутствии толчка, я до сих пор не знаю, почему он с таким ехидством приводил этот пример.

Потом он стал говорить, что Блок был исключительно грубый, на редкость грубый и невоспитанный человек, и (обращаясь ко мне): «Вот вы таете от его стихов, а не знаете, какой это был дрянной человек». И опять о «Двенадцати», о подличанье, о забегании вперед, чтобы сделать карьеру, получить паек... Я крикнула: «Что?» Он спохватился: «Ну да, Блок, конечно, не за пайками гонялся, а за популярностью, затем,

чтобы про него говорили, — что он не отстал от современности, что он «живой» поэт — вот, принял революцию!»

Сологуб покраснел, жилы налились на лбу: «Да, да, — кричал он, стуча кулаком об стол. — Он исподличался, он опоганил свою душу этой поэмой, загрязнил — загадил! Это поэту даром не проходит! Он сломался на этом, и поделом, и поделом ему! С ума сошел за это! Собаке и смерть собачья!»

Мне стало дурно, и я ушла. Я знаю, что и это он лгал. Знал хорошо, что такое Блок и как далеко до него Сологубу, бесился и хотел, чтобы мы ему верили.

Какая-то очарованность его прежними стихами (молодыми, строгими), привычка уважать его и беречь, доставшаяся мне еще от О.А.Судейкиной<sup>24</sup> и Анны Андреевны, заставляли меня заходить к нему еще иногда и справляться о здоровье.

Однажды в Детском я пришла к Разумнику Васильевичу и застала у него Сологуба. Они играли в шахматы. Я читала Хлебникова про себя. Потом говорили о пьесе Шишкова<sup>25</sup>, и Сологуб рассказывал, как он однажды заговорил Вячеслава Иванова (кажется) разговорами о снах и недотыкомках до того, что тот забыл, что надо ехать куда-то на вечер, вернулся домой и залег спать, а его искали по всему городу<sup>26</sup>.

Когда я уходила, Федор Кузьмич стал звать меня зайти к нему выпить чаю, я не хотела, но, боясь обидеть (просьбы были настойчивы), зашла.

Почему-то в комнате горела не лампа, а свеча. Сологуб у самовара был ужасно похож на портрет Петрова-Водкина<sup>27</sup>. Он тоже стал меня заговаривать: я Илья или ты Илья, Настя — настешь, она — селениточка, а на селе — ниточка<sup>28</sup> и т.п. без конца. Меня мучило, в комнате было душно. Вдруг он стал говорить по-теософски о Великом Законе, в котором надо жить и работать. О том, что дающий становится богаче, когда дает людям, и т.п. теософские прописи, общие места<sup>29</sup>.

Я заметила тогда, что он почти всегда произносит пошлости и трафареты. Его оригинальность и парадоксальность речи происходила не от глубины или новизны мыслей, а от умения преподнести ополщенные трафареты, пустые места в неожиданном сочетании друг с другом.

Так и здесь — начал «за здравие» о Великом Законе и «оригинально» кончил «за упокой» о том, что любовь есть мучительство и счастлив тот, кто отдает себя на муки. Выходило это чуть ли не по Великому Закону. Сочетание действительно неожиданное. Представление о том, что любовь — это счастье, представление мелко-мещанское. Любить — это значит провести любимую по всем ступеням переживаний от мук физических и душевных до восторгов физических и душевных. Тогда — любовь богата, тогда жизнь богата, говорил он и еще многое в этом роде, что я не запомнила, и кончил, вспоминая стихи о

каких-то кольцах в полу и любимой, приходящей на истязание добровольно. На вопрос, что я об этом думаю, я ответила, что это равносильно добровольной прививке себе тифа. Такая любовь похожа очень на тиф или холеру. Кажется, комсомольский тон моих ответов очень рассердил Сологуба, он прочел мне стихи, где говорилось, что ему надоели комсомолки, пахнущие потом («комсомолка» рифмовалась с «телкой»), и интеллигентские профессорские дочки, и — «где вы — прекрасные, добрые, нежные — для которых работал Коти<sup>30</sup>?» (это же стихотворение он читал мне зимой при О.Н.Черносвитовой, нажимая на строчку о профессорских дочках)<sup>31</sup>.

Я собралась уходить, тогда он подошел и в волнении ударил меня изо всех сил по руке под локтем. Я взвизгнула, как полагается, и, сказав, что когда гости засиживаются — хозяйева сначала ругаются, а потом и дерутся, — спешно удрала на улицу. С радостью дышала свежим воздухом, пока шла домой.

Тогда О.Д.Форш зачастую приходила ко мне, чтобы идти вместе гулять. Она не поднималась ко мне на четвертый этаж, а стоя внизу, против окон, звала меня по имени. Я выглядывала из окна, чтобы показать, что я — дома, и, спешно собравшись, сбегала вниз.

Иногда Ольга Дмитриевна приходила, когда я брала солнечные ванны, и ей приходилось подождать внизу, пока я оденусь.

Ольга Дмитриевна, кажется, рассказала Сологубу о наших прогулках, потому что он сказал мне, что также зайдет за мной, чтобы идти в парк, и позовет меня с улицы. Я предупредила его, что когда у меня на окне висит розовая салфетка — это значит, что я принимаю солнечные ванны и не смогу сразу выглянуть в окно и не сразу спущусь вниз, но внизу есть скамейка, на которой он может посидеть, пока я приведу себя в порядок. Он спросил, в какие часы я принимаю солнечные ванны. Я, думая, что он не хочет отрывать меня от этого занятия, сказала, что принимаю с двенадцати до двух, но я с удовольствием прерву ванну и пойду гулять, если зайдет Ольга Дмитриевна или он.

Вскоре случилось, что я лежала на солнце у своего окна, повесив розовую салфетку, чтоб меня не было видно из церкви, когда ходили экскурсии. Мама ушла в конец коридора, где была раковина, за водой и не заперла за собой дверь на ключ, думая, что никто не придет, пока она возвратится. Вдруг я услышала, что кто-то пробует ручку двери, и затем, без стука, дверь открывается, и в переднюю входит Федор Кузьмич, поворачивается и быстро запирает за собой дверь на два поворота ключа, я вскочила и, накинув на себя что-то, бросилась, чтобы захлопнуть дверь из моей комнаты в переднюю, и в щель кричала Федору Кузьмичу, что ко мне нельзя, чтоб он прошел в соседнюю комнату и подождал, пока я выйду. Федор Кузьмич словно ог-

лох. Он ломился в ту дверь, которую я держала изнутри, и просовывал в щель свою палку. Я продолжала кричать то же самое, думая, что он не слышит и не понимает, а он все ломился. В это время мама вернулась по коридору к двери и, найдя ее запертой, стала стучать и звать меня, чтоб я ей открыла.

Федор Кузьмич быстро повернулся к двери в коридор, отпер ее ключом и, чуть не сбив маму с кувшинами с ног, не здороваясь, бросился на лестницу.

«Что такое?» — спросила мама, входя и увидев меня в одной простыне. «Федор Кузьмич вошел в комнату, я кричала, чтобы он пошел в соседнюю и подождал, а он, верно, обиделся...» — сбитая с толку, говорила я, думая только о том, что Федор Кузьмич, несмотря на одышку, поднялся на четвертый этаж, пришел в гости и наверно обиделся, по своей привычке. Мама выбежала на лестницу и стала его звать, извиняясь за меня и за то, что она сама его не узнала. Федор Кузьмич, очевидно, желая исправить неловкость — чинно вошел в соседнюю комнату и беседовал с мамой, пока я одевалась.

Позднее все это приключение предстало передо мной в совершенно ином, «фаблазовском» освещении, и я то помидала со смеху, вспоминая, как он зайцем проскочил мимо мамы, то готова было его избить от гадливости.

Позднее я поняла, что мои слова о солнечных ваннах были истолкованы как приглашение — и это подозрение до сих пор, как пощечина на моем лице. Только человек, до последней степени низменный и грязный, мог толковать так слова. Позднее я встретила и с другими подобными толкованиями его моих слов, и это было одной из причин мучительного отвращения, которое я испытывала, говоря с ним позднее.

Тогда же я, четко запоминая факты во всех подробностях, но никогда не умея сразу делать выводов, не придавала этому никакого значения и не раздумывала, почему он не позвал меня с улицы, как было условлено, почему вошел без стука, почему закрыл за собой дверь на ключ, а потом убежал, не здороваясь с мамой.

Я старалась исправить неловкость всеми силами. Федор Кузьмич стал говорить и очень долго говорил о том, что тело не следует скрывать, что только развратные люди скрывают тело и ощущают стыд, об эллинском отношении к наготы и т.д. и т.п. — что, бывало, говорили нам гимназисты на вечеринках, щеголяя своей «передовитостью» и желая поразить девочек смелостью своих суждений. Только они не говорили гадостей, свойственных Федору Кузьмичу.

Мама слушала с тоской и робко заметила, что все это она слышала в «Ледс» Анатолия Каменского<sup>32</sup>, в «Свободном театре»<sup>33</sup> в Москве, куда однажды занес ее несчастный случай и наивность провинциалки, верящей, что все московские театры подобны Художественному.

Федор Кузьмич разъярился — он стал ругать Анатолия Каменского и утверждал разницу между тем, что он говорил, и своими речами.

Разницы, впрочем, не было.

Федор Кузьмич просил меня проводить его домой. Зная, что к нему должна прийти Лидочка<sup>34</sup>, и намереваясь просить ее передать Ольге Николаевне, не знает ли она какой-нибудь комнаты для меня, так как я искала комнату в городе, — я охотно пошла его провожать. Федор Кузьмич спросил, правду ли, что мы хотели сделать посмертную маску Блока из фарфора<sup>35</sup> (ему кто-то рассказал это). Узнав, что правда и что это не вышло, так как Любовь Дмитриевна<sup>36</sup> находила черты Блока искажившимися после смерти, — Федор Кузьмич сказал, что этого никому было не нужно. У Блока было отвратительное лицо, дураки считали его красивым, а это было пошлое лицо. При жизни еще оно казалось «маской» — по своей бездушности и неподвижности. Я заспорила. Федор Кузьмич стал говорить, что вообще все лица — маски и задача художника срывать эти маски, показывать подлинное лицо. Отливать посмертные маски — бессмысленно, так как они воспроизводят только «маску». Нужна работа художника. Отлитые же маски, как и фотографии, просто документы, а не художественные произведения, и должны рассматриваться как документы. Мы спорили всю дорогу. Федор Кузьмич спрашивал, делались ли портретные бюсты из фарфора, и старался доказать, что никогда не делались до теперешнего времени, когда царящее хамство стало выпускать бюсты Марксов, Либкнехтов и т.д. Я давала исторические справки и никак не могла уловить причину его крайнего раздражения...

Федор Кузьмич заставил меня зайти к нему. В комнате было так невыносимо душно, что я, рискуя его рассердить, самочинно распахнула окна и села на окне. Лидочки еще не было. Федор Кузьмич сидел за столом очень злой, не отпускал меня уйти и говорил непрерывно.

Сначала о Пушкине. Пушкин не знал, что такое любовь, поэтому он не был поэтом, поэтому все, что написал Пушкин, — ни к чему, живи он сто лет и пиши столько же, все равно — одна бессмыслица, никому это не нужно. Если поэт не знает основного, на чем зиждется жизнь — любви, все его писания — пустая ненужная болтовня. Пушкин был просто арап, который кидался на белых женщин. Разве это поэт?

(Эту фразу позднее повторила мне и Анна Андреевна, он ей тоже это сказал.) Я устала спорить и спросила:

— Почему Пушкин не понимал любви?

— Потому что он вывел Татьяну и оклеветал женщину. Какая женщина, если она любит, может сказать такую ложь, такую гнусную неестественную ложь: «Но я другому отдана и буду век ему верна». Кто это сказал когда-нибудь? Это ложь, ложь!

Сологуб краснел и ярился с каждой минутой. Он еще долго говорил о гнусности Татьяны, о лжи Пушкина — я устала, хлопала глазами и измышляла способы прервать его речь и удирать. Я не могла понять, что заставляет его так говорить, ведь не мог же он в самом деле так думать о Пушкине?

Он говорил о дутых величинах, поддерживаемых всесветным мещанством. Во-первых, это — образ Татьяны, который по существу есть клевета на женщину, а мещанство перед ним преклоняется, во-вторых, Ромео и Джульетта. Почему-то люди умилились, стали проливать слезы и восхищаться этой пошленькой пьеской, и вот — все и до сих пор в восторге. Любовь Ромео и Джульетты — гаденская история — не лучше свадьбы собачек (непечатные эпитеты), потому что они глупы, инстинктивны и ничего не понимают. Умиляться проявлению неосознанного животного инстинкта могут только пошляки. Все равно, как умиляться на свадьбу собак. Ничего прекрасного, чистого и возвышенного в юношеской любви нет. Это просто неосознанный животный инстинкт. Настоящая — чистая и прекрасная любовь бывает только после 60-ти лет.

Мне стало неловко, что Федор Кузьмич ставит себя в смешное положение, но так как он ругался все больше и непристойнее по поводу «Ромео и Джульетты», то я не выдержала и озлилась. Вспомнив недавний разговор с Федором Кузьмичом и Разумником Васильевичем о том, что, начиная с эллинской литературы, идет кривая падения литературы до наших дней и греки остаются не только непревзойденными, но и недостижимыми в высоте искусства и литературы, я предположила, что человек повторяет в своем развитии пути развития культуры (сходство между детскими рисунками и рисунками дикарей и т.д.) и юношеский возраст Ромео и Джульетты, пожалуй, соответствует юности нашей культуры и пышному расцвету всего прекрасного — в эллинскую эпоху, а с того возраста начинается кривая падения.

Инстинкт в юности (неосознанный) настолько проникнут эмоциями, душевностью и ярко окрашивает собой и духовные переживания, что может быть сравним с одухотворенной плотью, одухотворенной землей греческой скульптуры.

К моему удивлению, Федор Кузьмич не очень стал спорить и довольно вяло продолжал ругать «Ромео и Джульетту». Я задумалась.

Вдруг он так ударил ладонью по столу и закричал, что я чуть не свалилась за окно с перепуга. Без всякого перехода от «Ромео и Джульетты» он стал говорить, что Сологуб — великий писатель, что его будут читать и через сто и двести лет. Что он скоро заведет себе книгу, в которой каждый приходящий будет писать, что он о нем думает. И на каждой странице будет написано, что он великий человек. Я хотела спросить, зачем ему это нужно, но он меня не понял и закричал: «По-

чему? Все понимают, “почему”, кроме вас! Потому что про стакан можно написать только “это стакан”, а про меня — только “великий писатель”!».

Потом он стал жаловаться, что его считают Передоновым. «Это Горнфельд написал статью, что Сологуб — это Передонов<sup>37</sup>, и с его легкой руки все так и считают с тех пор, — жаловался он. — А ведь большому писателю всегда приходится протащить своих героев через себя. И Шекспир протащил через себя короля Лира, и я, конечно, протащил через себя Передонова».

Мне стало его жаль, и я уверяла, что его никто Передоновым не считает. Вскоре я ушла, не дождавись Лидочки, и больше не заходила к нему в Детском Селе, то есть зашла один раз, но он уже уехал в город.

На первом заседании правления Союза после летнего перерыва Федор Кузьмич был, и разговор был только о том, как пополнить пустую кассу Союза. Он попросил, чтобы я проводила его до Михайловской, до трамвая № 23<sup>38</sup>. Мы пошли, он был в ужасном настроении. Я несколько раз забывала, что надо идти очень тихо, и летела вперед, он очень сердился. Рассказал, что недавно, идя по Невскому, он должен был закрыть лицо локтем, так как компания комсомольцев шла прямо на него и один держал в зубах папиросу с намерением ткнуть Сологуба ею в лицо. Если бы он не поднял локтя, так бы и было. Мне не поверилось; чтобы отвлечь его от этого, я стала рассказывать, что в Детском участиились грабежи и недавно около Большого Каприза<sup>39</sup> на знакомую девочку с гувернанткой напал оборванец и отобрал пальто и часы.

Федор Кузьмич спросил, что такое Большой Каприз и почему он так называется. Я рассказала. Федор Кузьмич стал возмущаться Екатериной и в непристойных выражениях говорил об ее романах, очень долго. Я робко сказала, что все это не исчерпывает Екатерину как личность. В ней было много хорошего. Федор Кузьмич пришел в ярость, он стал так кричать: «Значит, я — вижу одно плохое в людях? Значит, я — Передонов? Да как вы смеете? После моего отношения к вам и к вашим стихам? Как вы смеете?» Я стала оправдываться, что ничего подобного не сказала. Тогда он ответил: «Да я с вами после этого разговаривать не хочу!» — и повернулся, чтоб уйти. Тогда я тоже повернулась и ушла, тем более что мы были уже у его трамвайной остановки. На следующем заседании правления я подошла к нему с просьбой извинить меня, что я убежала тогда, не простившись. Федор Кузьмич очень мягко сказал мне: «Наоборот, ведь это я должен извиниться», о том, что идет «как по канату», и был в каком-то мягком лирическом настроении. В шутку я хотела подарить ему в знак примирения цветок, который был у меня в руках. «Я не люблю срезанных цветов, — отвечал Федор Кузьмич, — ведь, срезая, мы их ли-

шаем жизни. Однажды у меня стоял букет, и души убитых нами цветов пришли ночью ко мне и меня душили». Потом он стал говорить, как глупа современность, называя детей именами вождей и другими некрасивыми словами. Гораздо лучше было бы называть их именами цветов. Очевидно, не додумались, и надо подать эту блестящую мысль, он долго перечислял всякие имена цветов (нарцисса, гиацинта, сирени и так далее), а под конец вспомнил значительно: «Роза, лилия».

Он посоветовал мне написать по стихотворению на имя каждого цветка и для лилии взять звуки «ел», «ал», «ала», цитируя свое — «белей лилей, алее лала, была бела ты и ала»<sup>40</sup>. Потом он стал говорить, что вот, люди жалуются, когда приходится ходить босиком, считают это признаком большой нужды, а вот ему — всякая обувь кажется тяжестью, и он был бы рад ходить по теплой земле и травам босиком. Я заметила, что в нашем климате не больно много теплой земли и трав, тем более что была уже холодная осень, а мое испорченное воображение уловило в тот вечер в словах Сологуба какое-то игорессеверянинское кокетство — давно никому не нужное.

Между тем Александра Николаевна<sup>41</sup> нашла мне комнату в их доме, рядом с квартирой Ольги Николаевны<sup>42</sup>. Я ужасно замерзлась в своей предыдущей комнате и, узнав, что предлагаемая комната очень теплая, ни за что не хотела ее упустить. Я говорила всем знакомым, что нашла комнату, потому что перед тем всех просила сообщать мне, если где-нибудь сдается комната. Я в первую голову сказала об этом В.П.Калицкой, так как она очень деятельно искала для меня комнату. Тогда Вера Павловна пришла ко мне и сказала, что все говорят — я выхожу замуж за Сологуба. Я хохотала до боли в животе, так как никак не думала, что кому-нибудь может это прийти в голову. Тогда она стала меня убеждать, что сам Федор Кузьмич это думает и чтобы я «заглянула в свое сердце и честно решила, могу ли я дать ему то счастье, которого он достоин». Я ужасно перепугалась — сказала ей, что и не заглядывая знаю, что не смогу, и надеюсь, что Федор Кузьмич этого никогда не думал. Я знала Веру Павловну как человека очень неуравновешенного, экзальтированного и способного создавать ни с чем несообразные фантазии. Я была уверена, что ничего подобного Федор Кузьмич не мог думать, как умный человек.

На другой день после переезда я пила у них чай с Александрой Николаевной, и Федор Кузьмич спросил меня, что я ответила Вере Павловне, «когда она меня спросила, *как я смела переселиться в этот дом*? Я довольно резко ответила, что Вера Павловна такого вопроса не ставила и не было «такой ситуации или такой конъюнктуры», при которой она бы могла меня так спросить.

«Ситуация или конъюнктура» — это сказал Федин в речи на общем собрании в Союзе, и я повторила, просто пародируя



его. Тогда Федор Кузьмич стал определять, что такое «ситуация» и что «конъюнктура», и, недовольный своими определениями, стал искать в энциклопедическом словаре, а мы занялись всякой болтовней с Александрой Николаевной.

Начались вторники у Федора Кузьмича.

На одном из первых так ругали Блока, как я уже записала, что я ушла. На остальных — Борисоглебский читал большими дозами свой роман «Топь». Я редко слышала чисто литературные суждения Федора Кузьмича. В большинстве случаев это были парадоксальные «по поводу». Помню, как он говорил о «приеме скольжения», который характерен для прозы Пушкина, где писатель не останавливается на подробностях (толстовских морщинках и тому подобном), а скользит, не давая зрительных образов, он находил этот прием у Борисоглебского в рассказе «Про меня и про моего друга»<sup>43</sup> и подчеркивал ценность словесного образа над зрительным.

Когда я передала ему, что Маршак хочет прочесть ему главы из «Республики Шкид»<sup>44</sup> и что мальчики-авторы очень читали и ценили Сологуба, он сказал мне: «Ну, если мальчики читают Сологуба, сразу видно, что они дефективные. Нормальные люди читать Сологуба не станут».

Позднее он говорил мне, что ожидал больших ужасов от «Шкид», что это не дефективные мальчики, а какие-то примерные институтки, поэтому книга — фальшивая. То ли бывало в прежних училищах, да бывает, конечно, и теперь.

Помню, как Борисоглебский читал свою пьесу про современную молодежь и Федор Кузьмич очень ее хвалил за правдивость и умность характеристики современной молодежи и называл крупным произведением.

Он говорил очень долго о современной молодежи, а когда кончил, я задала вопрос Борисоглебскому, почему он написал четвертое действие, если развязка произошла уже в третьем. Кого надо — посадили в тюрьму, пары переженились, и перелом в душе героя произошел уже в третьем действии. А в четвертом только сидят за столом и обмениваются словами «передайте мне горчицу», «не откупорить ли бутылку?» и так далее, а действия уже никакого нет. Борисоглебский, который не выносит ни малейшего замечания, стал очень ругаться и с запалом говорил, что есть два типа художников, одни нарисуют картину, покроют ее лаком и тогда покажут публике, а другие говорят — «смотрите, как я работаю» и на глазах у публики кладут последние мазки и оставляют недоделанности, чтобы был ясен весь процесс работы.

Четвертое действие — это такие дополнительные мазки, заканчивание характеров, и в мелких словах «передайте горчицу» завершается обработка характеров. Действие — ни к чему, интерес пьесы чисто психологический. Тут я спросила, хорошо

ли, нарисовав портрет красками до пояса, приклеить к нему лист бумаги, на котором углем нарисовано продолжение туловища и ноги, и считать это целой картиной? Тут поднялась кутерьма, и я говорила о проблемах театральности. А Борисоглебский о том, что Юрьев<sup>45</sup> отказался играть в этой пьесе.

Суматоху, как всегда, кончил Федор Кузьмич. Он произнес великолепную, как всегда, речь о том, что русской драме не нужны принципы классического театра. Русская драма психологична — Л.Андреев и другие дали прекрасные образцы такой драмы. Русский зритель приходит в драму, чтобы проникнуться настроением и глубоко подумать, приходит в драму учиться. Ему не нужна динамичность действия.

Когда растолстевший пошлый француз-буржуа тащит в театр свою жирную тупую супругу, наевшись и напившись, и они только ждут конца, чтобы прийти домой и разлечься на перине, потешив свое зажившее воображение сальностями, которые видели на сцене, — тогда им, конечно, нужна завязка, развязка и развитие действия по актам, они не любят себя беспокоить, и четвертое действие у Борисоглебского, конечно, покажется или ненужным и скучным, как Елене Яковлевне (тут он сверкнул на меня глазами), но глубоко мыслящему русскому зрителю всегда хочется посидеть после пьесы и подумать, а не спешить на перину, и ему будет нужно это действие, чтоб еще раз просмотреть героев и задуматься над ними.

Я сказала, что над этими героями и думать не придется, так как их характеры никак не обозначены — только что один заикается, другой теряет очки ежеминутно, а третий картавит.

Борисоглебский стал говорить, что в жизни тоже так, — вот записать разговоры обыкновенных людей, и никакого характера ни окажется, будут такие же маленькие отличия. А его цель была дать живой кусок жизни, фотографию жизни, как она есть.

Я попробовала сказать, что по такому принципу художественное произведение не получается, но тут на меня обрушился Федор Кузьмич, утверждая, что пьеса Борисоглебского есть живое художественное произведение, и уличая меня в том, что я всегда стою за корни художественного произведения в жизни, а не во внутреннем мире художника, как он, а тут сама себе противоречу, и, хотя пьеса является точной копией жизни, я не называю ее художественным произведением из желания противоречить Федору Кузьмичу и спорить.

Мне стало грустно, что Федор Кузьмич передергивает карты, не более искусно, чем какой-нибудь Горбачев или Лелевич<sup>46</sup>, и я замолчала.

На «вторниках» становилось все мрачнее. Федор Кузьмич говорил о современности, все сгущая краски, все циничнее, выдумывая и клеветая, хотя факты современности таковы, что они разят и без «присочинения». Его выдумки были неестественны,

как история с комсомольцем, желавшим ткнуть его в лицо папирсой.

Я чувствовала ядовитую атмосферу, которую он распространял, тяжелым удушьем и запахом тления были проникнуты эти вечера. Я задыхалась, потом бывала как отравленная — и перестала ходить на «вторники». Я честно сказала Вере Павловне — почему, но просила ее не говорить об этом участникам вечеров, а сказать, что я очень занята, готовлюсь к докладам. Вера Павловна в тот же вечер пошла к Федору Кузьмичу, передала ему все, что я говорила о своем тяжелом впечатлении от «вторников», — и, кажется, была изумлена, когда Федор Кузьмич не разъярился на меня, не закричал: «Не люблю — пусть не ходит!» А просил Веру Павловну пригласить Пумпянского<sup>47</sup> для участия в вечерах, чтобы «освежить атмосферу».

Меня же Федор Кузьмич вызвал к себе на исповедь, передал, что ему рассказала Калицкая, предлагал изменить порядок литературных занятий, введя обязательные «занятия», которые должны были выполнять участники, и так далее. Меня он упрекнул, что я не люблю «вторники», а «вторники» меня любят, прочел стихи Лермонтова «Пустого сердца не жалея»<sup>48</sup> и Боратынского «Ни пола в вас — ни чувства нет»<sup>49</sup> (или что-то вроде) — но в общем был так кроток, что мне стало неловко, и я решила изредка ходить на «вторники».

Между тем Вера Павловна приходила ко мне и рассказывала свои жуткие отношения с Федором Кузьмичом. Сначала я думала — она притворяется, потом — что она сошла с ума, потом я стала умолять ее опомниться, освободиться от этой призрачной власти Сологуба над ее душой, выздороветь — старалась показать ей, что все его разговоры о его силе и власти над душами и многое другое — старческое слабоумие.

Тогда она решила, что я ревную и хочу женить его на себе и поэтому ее уговариваю, и стала со мной «бороться». Она ревновала ко всем. Ее рассказы о Сологубе еще тошнее сделали мне «вторники». Меня мучило от этой призрачной страсти, с которой она подставляла себя унижениям и обидам, теща его садические наклонности. Ах, не мое дело писать об этом. Худшей истории я не знавала, да и всю жизнь не узнаю больше. Сологуб хвалился ей властью над всеми женщинами.

С тех пор меня стало раздражать, когда он требовал, чтоб я ехала с ним в правление, или требовал, чтоб я уходила с ним из Союза, когда мне хотелось там поболтаться.

Я, правда, стала делать все наперекор, и один раз он меня вызвал к себе и говорил невесть о чем и крикнул: «Вы еще подчинитесь мне!» Я не могла его выносить больше! Иногда мне он казался просто ребенком, которому хочется поиграть в великого человека, он так жалобно обижался, что его мало чи-

тают, что не печатают, что, если бы не революция, он ездил бы в автомобилях, и другое.

Иногда ему хотелось поиграть во власть над людьми. Чтоб они плакали, если он рассердится, чтоб угождали, чтоб говорили всякие благоговейные вещи, а он бы чувствовал себя великим. Мне было жалко этого старика-ребенка.

Но ведь бывало и не так, бывало, что он хотел использовать свою воображаемую власть — чтобы мучить, чтобы истрепать, и это было отвратительно, тогда хотелось ему показать, что власть у него «воображаемая», что это по снисхождению взрослых ему позволяют играть с этой игрушкой, но она остается игрушкой, и ее никто не боится. Одна Вера Павловна принимала всерьез его желание быть эротически неотразимым и измываться над ней.

Мне он стал отвратителен с тех пор, как я поняла, что он, как умный человек, не мог не видеть, что перед ним психически больная женщина, ушибленная жизнью, совсем потерявшая равновесие с тех пор, как умер ее ребенок, — и, видя все это, — он усугублял ее болезнь вместо того, чтобы остановить, толкал на еще большие несчастья — на потерю семьи, на разрыв с мужем, к которому она была привязана и уважала. Радуюсь своей власти над нею, он толкал ее на оскорбления этого спокойного, принципиального человека.

Это было отвратительно.

Эти двое сумасшедших усугубляли болезни друг другу, потому что не было болезненной фантазии Федора Кузьмича, которую Вера Павловна не питала бы, не лелеяла.

Мне казалось, что иногда Федор Кузьмич высказывает какую-нибудь остроболезненную фантазию нарочно, чтоб его разубедили, и тогда успокаивался.

Я помню, как в больнице я его навестила и он стал озлобленно, мучительно жаловаться, что Ольга Николаевна отправила его в больницу, чтоб его уморить, что он никому не нужен и его выгнали из дома подыхать, чтобы избавиться от хлопот. «Какой хозяин выгонит собаку подыхать из дома? — горестно говорил он волнуясь, — а меня выгнали — подыхай в больнице». Про Татьяну Николаевну<sup>50</sup> — «Она сказала, мы избаловались и искиприжнялись последнее время — да как она смеет мне так говорить? Дойти до такого большевизма, чтобы мне это сказать? кто бы из них посмел так обращаться со мной 10 лет тому назад? Так сказать Сологубу? Они пользуются тем, что я болен и слаб. Татьяна Николаевна — садистка, ей доставляет садическое удовольствие тыкать меня иголкой, только для этого она приходит на всприскивание!» и так далее.

Я собрала всю твердость речи и сказала ему, что это фантазия, вызванная болезнью. Не сойдя с ума, нельзя подозревать Ольгу Николаевну в желании его уморить в больнице, а Татьяну Николаевну — в «садизме». В больницу его отвезли, желая

добра. Он не стал спорить, только сказал, что близкие не всегда знают, что для него «добро», и даже повеселел, и стал говорить весело, и даже сказал, что Ольга Николаевна, конечно, желает ему добра. А Вера Павловна повторяла за ним весь его бред и даже разносила по городу. Так было летом, когда он вообразил, что Ольга Николаевна противится его желанию переехать в Детское, боясь, что он женится на Вере Павловне и Ольга Николаевна потеряет его наследство.

Вера Павловна приезжала ко мне и, задыхаясь от ненависти, рассказывала, как семья Черносвитовых его обирает и охотится за его наследством. Она передавала точно его слова, его вечные жалобы на то, что его обворовывали и обирали всю жизнь. Я не знала, что с ней делать. Говорила, что наследство его — наверно, гроша стоит не будет — одни хлопоты. Говорила о высокой честности и душевной красоте Ольги Николаевны, о том, как она самопожертвенно с ним возится. Ничего не помогало.

Она была как замороженная злыми фразами, которые выкрикивал Федор Кузьмич уже в явном бреде, в помешательстве. Она питала эти фантазии, ненавидела Ольгу Николаевну, хотела спасти его от Черносвитовых. Дошло до того, что Федор Кузьмич в лицо оскорблял Ольгу Николаевну подозрениями в материальной заинтересованности. Но это все — было уже летом. А зимой было вот что — еще несколько разговоров, которые я хочу записать.

Федор Кузьмич о себе рассказывал мало — из прошлого, один раз про то, как пьяный угнал лошадь у мужика, потом про то, как он занимался фотографией, будучи инспектором в школе, и разводил огурцы в ящике с землей.

Это он рассказывал много раз, очень подробно, и какой был ящик, и где находилась дверь, и где электрическая лампочка. Рассказывал с довольством, как бы вспоминая какой-то порядок, какую-то организованность, которой теперь нет.

К своей наружности относился чрезвычайно серьезно, сердился, когда говорили, что у кого-нибудь правильное лицо, и старался дать понять, что у него — Сологуба — действительно правильное.

Говорил, что бородавка его «всегда портила», но он не хотел ее снять, так как она отличала его от других. Уже очень больной подходил к зеркалу при мне и говорил: «Да как же я подурнел, то ли дело было — раньше». Очень боялся показаться смешным, никогда над собой не шутил и говорил мне, что люди, которые над собой шутят, — не уважают себя. Как пример рассказывал, как он однажды поскользнулся и упал, а мальчишки, видевшие это, «хотели расхохотаться», но смех застрял у них в горле, так как он посмотрел на них таким «серьезным, уничтожающим» взглядом, что они сразу почувствовали ничтожество своего смеха над человеком, который упал. Я не удержалась сказать, что меня всегда разбирает смех, когда кто-ни-

будь свалится, и я перестаю смеяться, только если вижу, что человек ушибся. Сама, если упаду, то от смеха иногда не могу встать и предпочитаю, чтобы мальчишки смеялись, чем уничтожать их взглядами.

Федор Кузьмич говорил, что я это делаю из самозащиты, и очень меня пронибал за недостаток уважения к себе. «Дрянные люди только не относятся к себе серьезно. Как же вы требуете, чтобы другие к вам серьезно относились, если у вас нет серьезного отношения к себе».

Федор Кузьмич любил рассказывать, как он жил в Костромской губернии в доме, где помещалась школа. Как школьники, узнав, что здесь живет Сологуб, пришли к нему и говорили, что его стихи нравятся им больше пушкинских, так как у Пушкина стихи «знатные», то есть дворянские, непонятные, а у Сологуба — простые<sup>31</sup>. Он много раз повторял рассказ, утверждая какое-то «а все-таки» и подчеркивая, что дети были правы и инстинктивно чувствовали правду. Я не вполне этому верила. Вероятно, детей кто-нибудь подучил.

В последние годы — наоборот, Федор Кузьмич часто говорил, что его книги читают только истерички и дефективные подростки. Он очень рассердился на Чарскую, когда она сказала ему, что он был ее любимым писателем, что «Навыи Чары»<sup>32</sup> были ее евангелием, настольной книгой и так далее и в Александринском театре так уж и говорили: «Чарская опять занавьеча-рилась»<sup>33</sup>. Он оборвал ее и сказал, что эту книгу могут читать только истерички.

Однажды на «вторнике» заговорили о Луначарском как о талантливом писателе, я с чего-то обозлилась и начала разбирать Луначарского как эстета дешевой марки, псевдомистика, псевдосимволиста, заменяющего символ натянутой аллегорией, любителя дешевых эффектов и так далее (разбиралась его «Василиса Премудрая»)<sup>34</sup>. Не помню, что я еще говорила. Федор Кузьмич слушал, слушал и вдруг сказал: «Да ведь все, что Вы говорите, и к Сологубу отнести можно. И эстетство, и псевдомистику, и смакование. Уж говорите прямо, что это про Сологуба». Это было сказано очень кротко, и я ужасно сконфузилась.

В другой раз я имела несчастье возвратить ему книгу рассказов, которую он мне дал, разрезав ее только до половины. Это было на «вторнике», и Федор Кузьмич стал меня позорить перед всеми, как я читаю его вещи. Мне нечего было сказать. Я думаю, все-таки, что Сологубу было здорово трудно иметь дело с такими увальнями, как я и другие посетители «вторников». Но я, правда, не дочитала его книгу рассказов и, вызванная им на откровенный разговор, честно сказала, что многое из той формы, в которую он облекает свои мысли, — неприемлемо для меня — тут жестокий закон: каждое сегодня относится к вчерашнему дню, не принимая его. Тут жестокий закон смены поколений. *Он не рассердился, а понял и никогда*

больше меня в этом не упрекал. Даже просветлел и повеселел, когда я сказала: «Ведь можно восхищаться и преклоняться перед большим произведением, но не чувствовать его близким и родным. А мы сейчас так слабы и усталы, что даже и близкое и родное иногда нет сил читать».

Один раз Федор Кузьмич сказал, что оптимизм английских романистов происходит от их здоровья. «Как же такому не быть добрым? грудь колесом, спортом занимается, зубы крепкие. А посмотреть на русского интеллигента (Федор Кузьмич произносил «интэллигента») — голова у него лысая, зубов нет, сидит сутулясь, в очках — на весь мир злобится, да как ему не быть желчным? Готов весь мир желчью залить». При этом он смотрел на себя, сидя за столом и отражаясь в зеркале напротив. Он часто говорил о том, что русские писатели не умеют работать систематически, а работают нахрапом. Приводил в пример Золя.

Однажды он меня вызвал сверху, чтобы поговорить о чем-то. Когда я пришла, он сказал: «Я хочу вам дать совет и объяснить, почему он нужен». Я приготовилась слушать. «Вчера на заседании я заметил, что вы сидели, сняв ваши очки. Я хочу предложить вам не носить их вовсе. Они вам не нужны, работать вы можете без них, они утомляют глаза — они делают ваше лицо злым и напряженным». Я рассмеялась, так как не ожидала никак такого совета, судя по серьезному его тону. Я объяснила, что хотя могу обходиться без стекол, но все же хуже без них. А мне хочется видеть все ясно и подробно. Без привычных зрительных впечатлений — мне очень скучно. Поэтому я не расстанусь с ними, а заведу себе новые, более сильные.

Федор Кузьмич сказал блестящую речь о том, что поэту не нужны зрительные впечатления. «Поэту не надо смотреть на мир, внешний мир только коверкает и затемняет его внутренний мир. Помните, как у Чехова — один писатель, все, что ни увидит — в книжечку записывал<sup>55</sup>. Увидит, что облако похоже на рояль, и записывает: «облако похоже на рояль» — к чему это? Это не творчество. Сам Чехов и страдал тем же — записывал, какие бывают облака. Зрительный образ только мешает словесному. Когда я изображал моих героев, я не записывал какие-то подсмотренные в жизни черты лиц и выражений, а у меня вырастала внутренняя убежденность, что герой должен быть таким. Когда я писал диалог, я не знал, естественно ли, чтобы люди так разговаривали, или нет. Я знал, что так, как я пишу, — *должно быть*. И становилось. Никто же не скажет, что у меня диалоги неверны, а между тем — они не подслушаны в жизни, а вытекли из моей внутренней необходимости. Я давно, когда-то, понял, что на лица людей смотреть не стоит. Я был мальчиком, шел с сестрой по улице, дошел до угла, а на углу стоял торговец-еврей с мелким товаром, и вот я посмотрел на его лицо и понял, что на людей смотреть не нужно, не стоят они этого вовсе. С тех пор и не смотрю на людей.

Зрительными впечатлениями живет тот, у кого внутри пустота. Дрянные людишки. Да я могу всю жизнь просидеть в комнате без окон, не видя ни одного человека, ни солнца, ни природы (от природы тошнит), и мой внутренний мир будет от этого только богаче. Неужели внешний мир может соперничать в богатстве с тем, что я вижу в воображении, с теми прекрасными образами, которые я творю? Смешно об этом говорить. А вот кому думать нечего, у кого нет творческого воображения, у кого не душа, а пустышка, — тем, конечно, нужно занимать себя зрительными впечатлениями».

Я стала возражать — о законности желания глаза получать впечатления, о том, что зрительная чувствительность — первая ступень к восприятию изобразительных искусств. Без постоянного раздражения глаза, без воспитания его становится недоступным восприятие изобразительных искусств. Неужели жизнь обеднеет, если мы включим изобразительное искусство в цепь наших восприятий? Я стала рассказывать Федору Кузьмичу о случаях зрительной тупости и о разговорах, которые у меня бывали с школьными работниками и библиотекарями, когда я им читаю свою «историю иллюстрации в детской книге»<sup>56</sup>. Федор Кузьмич, как всегда, очень заинтересовался рассказом, сам подсказывал мне выводы, уже не спорил.

Вопрос об очках был ликвидирован. Каково же было мое удивление, когда через несколько дней Вера Павловна пришла ко мне в ужасном расстройстве, что Федор Кузьмич на нее накричал и чуть ли не выгнал из-за пустяка, из-за того, что она сказала, что с трудом ходит с мужем в театры и кино, так как когда на душе тяжело, то очень устаешь от зрелищ. Он наговорил ей, что только тупые люди и бездельники вроде нее могут копаться в своей душе и забывать весь мир. Только идиоты нечутки к зрительным впечатлениям. Ее мужу — после дня упорной работы — зрительные впечатления дают отдых, а ей, конечно, — усталость, потому что она ничего не делает, а копается в себе. У меня волосы стали дыбом, и я, рассказав ей, что он только что изругал меня за противоположное, умоляла ее не принимать всерьез его слов. Ясно, что все это — и мне, и ей — говорилось с целью обидеть, сделать больно. Мне же не стало ничуть больно, поэтому он со мной согласился.

Но убедить ее нельзя было. Она чувствовала себя несчастной, тупой, и все, что он говорил, принимала на свой счет серьезно.

В сочельник Ольга Николаевна просила меня зайти к Федору Кузьмичу, так как я уезжала на все праздники. Федор Кузьмич лежал больной, у его кровати сидела какая-то девушка в кожаной куртке и валенках, читавшая ему свои стихи.

Федор Кузьмич говорил о стихах опять очень парадоксально, путая нарочно, то так, то этак. Девушка посмеивалась и говорила: «Что ж — вам виднее», — но видно было, что понимала



очень мало. Это была типичная комсомолка с подчеркнутой непринужденностью по-сейфуллински. Мне стало обидно, что, придя к своим, она станет говорить о Федоре Кузьмиче как о чуде, — так нелепо и нежизненно было все, что он говорил о задачах поэта в пролетарском государстве. Фыркала в рукав. Когда она ушла, Федор Кузьмич сказал, что у нее живой язык и острый глаз, это поэт, который живет и видит живое. «Я почувствовал, какой я мертвый», — сказал он. Он рассказал мне одно ее стихотворение о беспризорном, который торчит у дверей клуба и подбирает «окурки, кем-то развратно обсосанный». «Каков у нее глаз, а? — говорил он. — Уж если заметила, что окурки — развратно обсосанный, значит, ярко видит и умеет сказать. Хорошие стихи. А вы видали «окурки, развратно обсосанные»? и понимаете, какие это?»

Я подумала и сказала: «Должно быть, недокуренная папироса, так — раз, два затянулся кто-нибудь и бросил, потому что закурил не от желания курить, а из баловства».

«Нет, — сказал Федор Кузьмич досадливо, — вы ничего не понимаете. Это окурки, из которого все высосано, до последнего. И он уже весь мокрый и сплюснутый, так его высасывали. Я как-то не поверила. Потом он стал жаловаться на нарочитую естественность этой девушки. Я говорю: «Это от Сейфуллиной пошло у девушек». А он говорит: «Нет, это всегда было в провинции. Когда я с матерью жил в уездном городишке<sup>57</sup>, там люди уж до того, до того опрошались и фамильярничили, что меня звали не Федор Кузьмич, а «уж ты приходи чай пить, Федорушка Кузьмичевушка», — вот до чего доходили».

Я опять чего-то не поверила. Тогда Федор Кузьмич сказал, что он написал пьесу рождественскую и хочет предложить ее Мейерхольду (перед тем я рассказала ему о «Ревизоре»<sup>58</sup>, и он согласился, что нет указания на желания Гоголя относительно реализма постановки. Я говорила об отрицательном отношении Гоголя к иллюстрациям Агина)<sup>59</sup>.

Он прочел стихи<sup>60</sup>, которые начинались, кажется, так:

Хор праведников:

...Мы Бога славим,  
а скрижали валим,  
Божия скрижаль, —  
Стоя — нам нужна ль?

Они лезли на небо, а ангелы (альты, дисканты и бас) их не пускали, они препирались четверостишиями.

И запели альты —  
«Этакая шваль ты!»  
...отвечает бас  
Вот я ... вас!»

А кончалось дискантами —

«а мы сверху вниз —  
На вас — пис-пис!»

Федор Кузьмич спросил моего мнения и сам очень хвалил эту вещь, я не могла понять — в шутку или серьезно. Он был очень доволен рифмами, которые назвал остроумными и едкими.

В шутку я сказала, что в Сочельник все-таки, пожалуй, не следует писать такие стихи. «Почему? — ведь я не над настоящими праведниками издеваюсь, над лицемерами».

После Рождественских каникул я опять зашла к нему. Он опять лежал. Я рассказала ему, что режиссер К. спер у меня сценарий, я его обругала, и теперь будет третейский суд. Федор Кузьмич сказал, что он не признает обвинения в плагиате<sup>61</sup>. Он плагиатировал всю жизнь, и 2 раза его судили. Один раз за какой-то рассказ, который был помещен в маленьком провинциальном журнале, а он его прочел и использовал. «Читаю я книгу, — говорил он, — и вижу, вот это описание замка мне нужно». И он сказал, откуда какой-то замок (кажется, из Бальзака), а трагедию иронии из другого места. Эти сведения, я знаю, были бы очень ценны для историка, но я забыла, так как не могла запомнить ни источника, ни его вещи — я не знала.

Мне важен был принципиальный вопрос оправдания плагиата и, кроме того, характерное — для Сологуба — использование не жизненных материалов и наблюдений, а литературных, уже созданных, уже готовых образов.

Потом Сологуб почему-то заговорил о Максимилиане Волошине<sup>62</sup> и об рае.

«Рай — это такое место, где будет все земное, вовсе не значит, что там будут бестелесные духи, — там будет все, как не земле, но только лучше. Все желания будут удовлетворяться». «Магометанский рай», — пошутила я, он почему-то рассердился. «Нет, не магометанский, а настоящий. Вот попадет какой-нибудь старец вроде М.Волошина или Вячеслава Иванова<sup>63</sup> в рай — фонтаны бьют, мраморные дворцы, пальмы райские. А везде — отроки летают в самых что ни на есть легких, спортивных костюмчиках. И ведет старца в рай какой-нибудь такой Коля или Володя кудрявый, и старец с вождением смотрит на его стройный торс. Но не успеет старец «вождельнуть» (слово понравилось ему, и он повторил его несколько раз), как уже — пришли. И старец пожелает любви — и в раю все желания исполняются. Володя ведет его в покой, уготованный для любви, но не успел старец «вождельнуть», а Володя уже скрылся — распаивается занавеска, и входит Бабелина — в каждой груди 22 апельсина. И приходится старцу творить с ней любовь». Федор Кузьмич был страшен, жилы опять налились на лбу, глаза мутные, губа отвисла, руки шарили вокруг судорожно, он весь дрожал так, что тряслась кровать. Я хотела

уйти, но он сказал: «Подождите, я расскажу вам, как две женщины ссорятся. Дерутся, дерутся — ах, ты такая-сякая — и разорвут друг друга на две половинки вдоль, потом бросятся на диван и срастутся не теми половинками. Давай опять драться, опять друг друга разорвут — и так далее». Я думала, что он бредит, и пошла к двери. Он задыхался, слова вылетали с шипением. «Что ж, уходите?» — спросил он с насмешкой, которую я не поняла. Глаза его пытливо и вполне сознательно смотрели на меня, я поняла, что он старается уловить силу произведенного впечатления на меня.

Я невольно выпрямилась и, поклонившись, вышла. Идя по коридору, я вспомнила, как ползла слюна из-под отвисшей губы на подбородок, и меня (прошу извинить грубость) вырвало в носовой платок. Не успела я справиться с этой бедой, как вошла в переднюю Вера Павловна. Я поднялась наверх. Через час пришла Вера Павловна. Я встретила ее с раздражением, у себя в комнате я уже успела забыть про Федора Кузьмича, занялась делом, а тут опять: трясущиеся губы и несчастные глаза и вопль: «не захотел разговаривать — сказал грубость!» Я озлилась. Я сказала, что не могу больше его выносить, он надоел своими гнусностями, и так уж слишком много приходится о нем вспоминать, черт меня дернул поселиться в этом доме — не один, так другой тащится говорить со мной о Сологубе, что я им за исповедник?!

Вот сейчас только что вырвало из-за него. «Да почему, да как? Что он вам говорил?» (Вера Павловна спрашивала каждый раз подробный отчет о наших разговорах.) «Вот что говорил: про рай гнусный, про всю гадость», — и рассказала ей все, озлившись и еще содрогаясь от отвращения. Через минуту с Верой Павловной сделался сердечный припадок у меня на диване. Еще не легче! Но было еще хуже. Плача, она стала говорить, что неужели я не поняла его иносказания (с ней он всегда говорил притчами) — ясно как день, что стройный Володя — это я, а Бабелина — это она. И она рыдала от отчаяния. Я думала, она сошла с ума, я уговаривала ее, что он не смеет так говорить, не посмел бы, что это ее болезненная фантазия — ничего не помогало. Тут меня стало рвать не физически, а душевно. Я, кажется, кричала, чтоб они оставили меня в покое, мне никакого нет дела до них. Зачем они заставляют меня выслушивать все эти гнусности? Я сказала, что если Федор Кузьмич действительно позволил себе такое иносказание, то моей ноги больше у него не будет. Вера Павловна сказала, что она проверит. Через несколько дней она пришла ко мне взволнованная, с трагическими глазами и сообщила, что проверила. Она принесла Федору Кузьмичу апельсины, и он стал строить рожи, хохотать сатиром, заигрывать с ней и твердил: «А я — двух зайцев убил, двух зайцев убил». Я хохотала и плакала над ней. Моя способность превращать все в фарс помогла мне не очень злиться. Но Вера

Павловна ревновала к Сутугиной<sup>64</sup>, к Александре Николаевне, даже к В.А.Щеголевой<sup>65</sup>. Она подхватывала сказанные случайно слова и старалась найти в них скрытый смысл, освещающий их отношения с Федором Кузьмичом. Еще раньше, чтоб уничтожить хоть один призрак из мучивших ее призраков и уверить ее в моей незаинтересованности — я рассказала ей, что у меня есть милый друг, милый, хоть и очень беспокойный. Возможно, что я буду его женой. Я думала, она хоть насчет меня и Сологуба успокоится. Она стала меня торопить, не откладывать нашего брака и готова была собственными руками убирать встретившиеся препятствия. Однажды мы поссорились, и я сдуру рассказала ей это. Она переполошилась и, не сказав мне ни слова, поехала к нему объясняться за меня и просить примирения. Я ничего не знала. Абракадабра наступила полная. Вышло то, что *in vulgaris* называется — «теща в дом — все вверх дном». Мой друг бесился, что я недобросовестно «напускаю на него истеричных баб» — я ничего не понимала, но не оставалась в долгу по части упреков и горьких слов.

Потом все выяснилось. Я хохотала так, что не могла на нее сердиться. Я больше не бывала у Федора Кузьмича. Один раз нечаянно зашла к Черносвитовым — там был Федор Кузьмич. Верховский<sup>66</sup> читал стихи, а потом просили меня. Я стала читать, мы сидели так, что я была ближе к гостям, а за моим плечом сидел Федор Кузьмич. Когда я стала читать стихи, посвященные одному другу, я услышала шипение: «Как вы смеете?» — и, оглянувшись, увидела неистовые, уничтожающие глаза Федора Кузьмича. Я не поняла, чего я «не смею»? Неужели при нем нельзя было читать стихов, посвященных другим? Эта мысль привела меня в бешенство.

В марте было заседание правления у Федора Кузьмича. Он сам звонил мне и просил обязательно быть. На беду, я пошла. Я была в таком напряженном раздражении на него, что на одно шутливое замечание разразилась грубым ответом. К вмешательству и смеху правления.

Я хотела, чтоб он оставил меня в покое, и не сдержала раздражения.

Позднее Федор Кузьмич говорил Вере Павловне, что я злая ведьма киевская и он видел, как у меня от злости перекашивается лицо. Это правда — у меня от злости перекошено бывает лицо, а последнее время я всегда злилась на Федора Кузьмича.

Вскоре он меня вызвал по телефону — опять сказал, что у него ко мне есть дело. Я пришла, но не извинилась за грубость, хотя была виновата. Тогда Федор Кузьмич сказал, что он не сердится на собачонок, когда они лают. Не пристало ему сердиться. Если собака на него лает, он говорит: «Ну что, собаченька, чего лаешь?» — не драться же ему с собаками.

Я молчала, перекосив лицо. Тогда Федор Кузьмич стал рассказывать мне о трагедии, которую собирается написать, «о

близнецах»<sup>67</sup>. Он говорил об этой теме в греческой литературе, потом у Шекспира и находил, что до сих пор делали из этого комедию из ошибок и недоразумений, между тем как это трагедия, и глубокая. Перенести эту тему в обстановку современности и дать глубокую трагедию — мысль, которая может сделать трагедию мировой значимости. На столе лежали раскрытые «Два веронца»<sup>68</sup>.

Он стал рассказывать свой сюжет: два брата-близнеца, совершенно одинаковые, такие одинаковые, как человек и его отражение в зеркале. Они переживают трагедию, так как влюбляются в одну женщину, и каждый знает, что он может влюбиться только в ту же, что и брат. Зависимость от брата для каждого становится трагедией. Каждый теряет себя. В одной сцене брат стоит перед зеркалом и чувствует, что его отражение начинает жить подлинной жизнью, а он становится отражением. Ужас этого.

Началось все это с греха, а трагедия развивается как возмездие.

Первый грех — слишком сильная любовь их родителей. Это — грех. Они так любили друг друга, так хотели слиться в одно, что судьба сказала им: вот вам, пожалуйста, — два существа совсем одинаковые — и родились два близнеца. «Почему же тогда два, а не один?» — спросила я. Федор Кузьмич раздраженно сказал: «Потому что два совершенно одинаковых. Но родители должны были понести наказание за грех, и они трагически умирают. Продолжается линия греха и продолжается возмездие». Не помню как, но на протяжении всей пьесы грешили и были наказаны смертью 7 персонажей. В последнем акте последний герой умирал под занавес. Федор Кузьмич говорил об этой трагедии с большим увлечением и жалел, что у него слишком мало сил, чтобы ее написать.

Предлагал мне воспользоваться сюжетом. Я сказала, что, кроме него, никто не мог бы справиться с таким сюжетом.

Это был последний длинный разговор со мной. Перед отъездом в больницу я к нему зашла с Верой Павловной. Она стала рассказывать о пьесе «Потоп»<sup>69</sup>. Он ужасно ругал пьесу, хотя ее не читал и не видел. Говорил, что она для горняшек и парикмахеров, которые любят пускать слезу.

О том, что близость смерти заставляет всех героев взглянуть на мир живыми глазами, сказал: «До чего это унижительно. Жалкие душонки. Неужели я, если буду знать, что смерть близка, вдруг изменю свое отношение к миру и к людям? Да с какой стати? Каким жил, таким и умру. Очень нужно — почувяли смерть — и сразу изменились!» Он долго ворчал.

Вера Павловна, которой я по обыкновению рассказала весь разговор о «собачке» и «о близнецах», мучительно искала в «близнецах» какого-то иносказания, но, к счастью, ничего придумать не могла. Еще я видела Федора Кузьмича в больнице

один раз и один раз летом, заходила на 5 минут вместе с Верой Павловной. Федор Кузьмич сидел за столом и читал «Новую Элоизу» по-французски<sup>70</sup>. Тут же лежала книжка стихов Смиренского<sup>71</sup>. Он стал показывать мне книги, но они рассыпались из уже слабых рук.

Больше я его не видела.

Вера Павловна продолжала бывать у меня и рассказывать. Я очень устала от невозможности ей помочь и махнула на нее рукой. Все знали, что Сологуб доживает последние недели.

Однажды она сказала, что он стал давить на нее, чтобы она покончила с собой. Говорил, что женщина, так запутавшаяся между семьей и страстью, должна кончить с собой. Рассказал о каких-то княжнах, которые заперлись, напустили угару и померли, читая стихи Сологуба. Она в первый раз озлилась и сказала, что ради его тщеславия она с собой не покончит.

Я, сколько могла, рассказывала ей о том времени, когда процветал Сологуб, об истеричках, изнемогавших около «великих писателей», о том, почему (по-моему) Сологуб пользовался такой широкой известностью. Оказывается, она ничего не знала о той эпохе, и выверты и чудачества «Бродячих собак»<sup>72</sup> и еще один «король умов» того времени — Брюсов, и Вяч.Иванов — и весь культ порочности ей был совершенно неизвестен. Я же ругалась, обзывая их мешанами, становившимися на ходули порока, чтобы возвышаться над «толпой», чтобы проявить свою личность наиболее «остро». Мне приходило в голову, что Сологуб — цветок, взлелеянный именно той почвой, тем временем, когда в другом кругу царил Распутин. Сологуб всю жизнь копался и смаковал самые темные, самые гаденькие стороны человека. Это сразу заимело успех. Успех опасен, так как он заставляет человека культивировать то, что имело успех, и подставляет ему личину, от которой он потом боится отступить всю жизнь.

Сологуб никогда не останавливал, должно быть, своих желаний, считая, что этим он погрешил бы против своей индивидуальности, против своего «великого» — «я». Область самых гаденьких вещей должна была расцвести махровым цветом при таком гипериндивидуализме. Поэтому ему так трудно было в последние месяцы отказаться от любимых блюд, а в последние годы вообще отказываться от самодурства над истерическими женщинами и сознавать, что он совсем не «неотразим» эротически.

Надо отдать справедливость Вере Павловне: она потешила старика перед смертью. Мое отвращение к Сологубу было так велико, что, даже узнав об его смерти, — я не чувствовала оправдания. Плохо, когда умирает человек, к которому хорошо относишься. Но еще хуже, когда умирает человек, которого в душе засудила. Прямо места не найти, хочешь его оправдать, а как? Только увидав его в гробу, такого спокойного и мирного, я как-то простила (вернее, начала прощать), что этот человек так долго отравлял своим зловонием мир, и встреча с ним —

как ничто другое — показала мне всю гаденькую, грязную, низенькую человеческую природу.

Я бы хотела, чтоб у меня осталось воспоминание только об его лице в гробу да об снежном Смоленском кладбище.

<sup>1</sup> Иванов-Разумник (псевдоним Разумника Васильевича Иванова, 1878-1946) — критик, историк литературы; неоднократно писал о Сологубе (см., например, его кн. «О смысле жизни. Федор Сологуб. Леонид Андреев. Лев Шестов», СПб., 1908). В последние годы жизни Иванов-Разумник был особенно дружен с Сологубом. Наиболее тесным их общение было в 1925-1927 гг. — весной и летом Сологуб жил в том же доме в Детском Селе (ул. Колпинская, д. 20), в котором постоянно проживал Иванов-Разумник. После смерти Сологуба Иванов-Разумник участвовал в разборе архива писателя.

В январе 1928 г. О.Н. Черношвинова, свояченица Сологуба, сообщила Ю.Н. Верховскому: «Предполагается издание сборника Памяти Ф.К. и статьи о нем. Образован Комитет с этой целью — Ахматова, Замятин, Ив. Разумник» (ИРЛИ, ф. 289, оп. 6, ед. хр. 99).

<sup>2</sup> «Красная газета»; издавалась ежедневно в Ленинграде (1918-1939); в 1927-1929 гг. выходило приложение к ней — «Литературная неделя».

<sup>3</sup> Михаил Васильевич Борисоглебский (наст. фам. — Шаталин; 1896-1942) — писатель, художник, автор сборников рассказов и романов: «Топь» (Л., 1927), «Рождение корабля» (М., 1931) и др.; с 1924 г. — председатель Бюро Секции прозаиков и поэтов при Всероссийском союзе писателей; автор воспоминаний «Последнее Федора Сологуба» (ГПБ, ф. 92, оп. 1, ед. хр. 140).

<sup>4</sup> Вера Павловна Калицкая (Абрамова, в первом браке Гриневская — жена писателя А.С. Грина; 1882-1951), работала в Секции детской литературы Союза писателей; автор воспоминаний «Федор Сологуб в Вытегре» (ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 89).

<sup>5</sup> Лидия Алексеевна Чарская (наст. фам. — Чурилова; 1875-1937) — писательница. Статья Сологуба о Чарской написана 30 ноября 1926 г. (ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, ед. хр. 571). Вероятно, поводом написать статью послужило обсуждение тяжелого материального положения писательницы на «вторнике» 16 ноября 1926 г. Л.И. Аверьянова вспоминала: «Е.Я. Данько, а за нею В.П. Калицкая перевели разговор на тему о пособиях членам Союза Писателей. В.П. рассказала, что снова посетила Чарскую — и нашла ее в положении ужасном. У Чарской туберкулез в третьей степени, муж безработный и тоже туберкулезный, средств к существованию никаких. Она все время лежит, оживляется редко, и оживление это нездоровое, нервное» (ИРЛИ, ф. 355, ед. хр. 3, л. 3).

<sup>6</sup> В статье (рукопись без названия) Сологуб писал: «Популярность Крылова в России и Андерсена в Дании не достигла такой популярности и пылкости. И эта популярность была вполне заслужена Чарскою. ...Можно даже удивляться тому, как мало заметно в ее книгах, что их писала женщина, столь энергичен и

тверд ее стиль, совершенно чуждый свойственной почти всем писательницам нерешительной распылячатоности. < ... > Понятно недоброжелательное отношение русской критики к Лидии Чарской. Уже слишком не подходила она к унылому ноющему тону русской интеллигентской литературы. Чеховские настроения, упадочные фантазии, декадентские и футуристические странности, болезненные уклоны, свойственные дореволюционной буржуазии и интеллигенции, — от всего этого было далеко жизнерадостное, энергичное творчество Чарской. Русская художественная литература на все лады тянула одну и ту же волюнку: «Мы с тараканами», а Чарская уверенно говорила подросткам: «А мы хотим великих дел, подвигов, опасностей, катастроф во имя высшей социальной справедливости» (ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, ед. хр. 571, л. 1 об.). Свой взгляд на творчество писательницы Сологуб подтверждал в письме к Чарской от 2 июля 1927 г.: «...мне хочется Вам сказать, что мой отзыв является вполне искренним и правдивым выражением моего мнения о Вас и Вашей литературной работе: именно Вы и есть такая писательница, о которой я говорю в своей статье...» (ИРЛИ, ф. 289, оп. 2, ед. хр. 14).

<sup>7</sup> Лидия Николаевна Сейфуллина (1889-1954) — прозаик.

<sup>8</sup> «Звезда» — ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал, издававшийся в Ленинграде с 1924 г.

<sup>9</sup> Евгений Иванович Замятин участвовал в юбилейном чествовании Сологуба в Александринском театре, по случаю 40-летней литературной деятельности писателя (11 февраля 1924 года). Речь, произнесенная Замятиным, была опубликована. См.: Евг. Замятин. Белая любовь. — В кн.: Современная литература. Л., 1925, с. 77-81. В ней автор высказал ряд наблюдений, существенно важных для понимания творчества Сологуба.

<sup>10</sup> «Вольфила» — Вольная философская ассоциация (1919-1924), находилась в доме № 50 на Фонтанке.

<sup>11</sup> Портрет Ф. Сологуба работы К. А. Сомова (1910) хранится в Государственном Русском музее; многократно репродуцировался.

<sup>12</sup> Ольга Николаевна Черносивтова (в девичестве — Чеботаревская; 1872-1943) — сестра жены Сологуба Анастасии Николаевны Чеботаревской (1876-1921).

<sup>13</sup> Илья Ионович Ионов (Бернштейн; 1887-1942) — поэт, зав. издательством Петроградского Совета.

<sup>14</sup> Нариман Нариманов (1870-1925) — председатель Совста народных комиссаров Азербайджанской республики и председатель Союзного Совета Закавказских республик; скоропостижно скончался в Москве 19 марта 1925 г.

<sup>15</sup> См. в наст. издании с. 226-227.

<sup>16</sup> Александр Алексеевич Гизетти (1888-1938) — литературный критик, публицист.

<sup>17</sup> Ольга Дмитриевна Форш (1873-1961) в 1920-е годы была дружна с Сологубом. В образе поэта, потерявшего жену, Сологуб выведен в романе писательницы «Сумасшедший корабль» (1931); Форш рассказала о наиболее трагическом моменте жизни Соло-



губа — гибели А.Н.Чеботаревской (см.: Ольга Форш. Сумасшедший корабль. Л., 1988, с. 95-96). В мае 1919 г. Форш была направлена Наркомпросом в Киев во Всеукраинский центр, в 1920 отозвана в Москву. Е.Я.Данько бывала в Киеве у своей матери.

<sup>18</sup> Вероятно, речь идет о младшем сыне поэта — Якове Самуиловиче Маршаке (1925-1946).

<sup>19</sup> Мария Андреевна Бекетова (1862-1938) — писательница, переводчица, тетка А.А.Блока и его биограф.

<sup>20</sup> Ольга Ивановна Капица (1866-1941) — собирательница детского фольклора, преподавала в Институте дошкольного образования; при институте была собрана специальная детская библиотека, в которой часто работали детские писатели — С.Я.Маршак, Б.С.Житков, В.В.Бианки, Е.Я.Данько.

<sup>21</sup> Речь идет о внучке О.Н.Черносвитовой, внучатой племяннице Ф.Сологуба, — Ольге Николаевне Черносвитовой.

<sup>22</sup> Цитата из трагедии «Владимир Маяковский» (1913). См.: Владимир Маяковский. ПСС, т. 1. М., 1955, с. 163.

<sup>23</sup> Имеется в виду Константин Александрович Федин (1892-1977). В 1924 г. был напечатан его роман «Города и годы». В период председательства Сологуба в Союзе писателей Федин был членом правления Союза, отношения между ними складывались напряженно. Борисоглебский вспоминал о Сологубе: «Он был сторонником строго замкнутой профессиональной группы союза и не сочувствовал выходу на политическую арену. < ... > Сопротивление Ф.К. политиканству восстановило против большую часть правления, настолько, что последний год мне стоило больших усилий уговорить лидеров враждебного крыла Федина и др. пойти на избрание Ф.К. в правление. < ... > Поведение Федина для меня ясно говорило: "Хочу быть председателем. Довольно деспотизма Сологуба..."» (ГПБ, ф. 92, оп. 1, ед. хр. 140, л. 7).

<sup>24</sup> Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина (1885-1945) — драматическая актриса, танцовщица, ранее — жена художника С.Ю.Судейкина. Поэт был горячим поклонником таланта Судейкиной, посвятил ей несколько стихотворений и экспромтов: «Всегда отрадно и темно...», «Оля, Оля, Оля, Оленька!», «Под луною по ночам...», «Его жена тебя лобзает...», «Не знаешь ты речений скверных...», «Какая прелесть Ольга Афанасьевна!», «Какая тварка Оленька Судейкина!...», «Куколки любите», «И я порой глядел не мрачно...» (ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, ед. хр. 554); «Остальных цветов не слаже...» (Федор Сологуб. Незданное и несобранное. Составитель Г.Пауэр. Мюнхен, 1989, с. 131) и др. Судейкина была дружна с А.А.Ахматовой, в 1920-е годы они часто навещали Сологуба. Подробнее см. в публикации Р.Д.Тименчика и А.В.Лаврова «Материалы А.А.Ахматовой в Рукописном отделе Пушкинского дома». — Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 год. Л., 1976, с. 56-57, а также в кн.: E.Moch-Bickert. Olga Glebova-Soudeikina, amie et inspiratrice de poètes. Paris, 1972, p. 214-223.

<sup>25</sup> Вячеслав Яковлевич Шишков (1873-1945) — прозаик. Речь идет о пьесе «Сковорода — рыжая борода» по рассказу В.Шишкова «Настюха» (инсценировка И.Дальского. М.-Л., 1928).

<sup>26</sup> Подробно эпизод «исчезновения» Вяч.Иванова описан в книге З.Н.Гиппиус «Живые лица» (Прага, 1925, т. 2, с.104-105). История, происшедшая с Ивановым, наделала много шума, о чем свидетельствует записка З.Гиппиус, отосланная Сологубу: «Федор Кузьмич. Когда был у вас Вячеслав Иванович и куда девался от вас? Лидия Дмитриевна у нас страшно беспокоится, в самом деле страшно, нигде его нет, ни дома, — ждем немедленно вестей от вас, все, что знаете. З.Мережковская» (ЦГАЛИ, ф. 482, оп. 2, ед. хр. 21, л. 22).

<sup>27</sup> Имеется в виду иллюстрация К.С.Петрова-Водкина к «Мелкому бесу» — «Игра в карты» или «Передонов за картами» (Бум., 26,8 × 34,8). Хранится в частном собрании (Санкт-Петербург).

<sup>28</sup> См. рассказ Ф.Сологуба «Два готика» в его сб. «Истлевшие личины». М., 1907, с. 41-42.

<sup>29</sup> Теософия отчасти входила в круг интересов Сологуба, в составе библиотеки писателя (ИРЛИ) сохранилась книга: М.Коллинз. Идиллия белого Лотоса. Пг., «Вестник Теософии», 1918. На обложке в библиографическом перечне книг по теософии имеются пометы Сологуба.

<sup>30</sup> Цитата из стихотворения «Я люблю элегантных развратников...» (ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, ед. хр. 7, л. 27).

Я люблю элегантных развратников,  
Понимающих то, что творят,  
Люциферова воинства ратников,  
Никогда не считавших утрат.

Но прелестные где же развратницы,  
Искушенные в таинстве зла,  
Люциферова воинства латницы,  
Без которых и жизнь не мила?

Не хочу я галдеть с комсомолкою,  
Косопузою, злобно-тупой,  
Что идет толстоногою телкою  
Перед сильно-вспотевшей толпой.

Не милы мне и барышни бойкие  
Из профессорских кислых семей,  
Закаленные очень и стойкие  
В истребленье буржуев и вшей.

Я услышать боюсь от красавицы  
Гневный окрик: «А мне наплевать!»  
Комсомолке коль что не понравится,  
Изругает из матери в мать.

Где вы, добрые, смелые, милые,  
Для которых работал Коти?

В эти дни безнадежно-унылые,  
Над Невоею мне трудно идти.

Вы по родине, знаю я, тужите,  
Вам шампанское не на что пить,  
В кабаках вы лакеями служите,  
Чтобы денег немного добыть.

Вы, прелестные, милыми шутками  
Забавляете пьяных кутил,  
И живете себе проститутками,  
Чтобы грех ваши дни сохранил.

12 (25) февраля 1926.

<sup>31</sup> Муж О.Н.Черносвитовой — Николай Николаевич Черносвитов (1870–1937) был профессором Политехнического института.

<sup>32</sup> Анатолий Павлович Каменский (1876–1941) — прозаик, наибольшей известностью пользовался его рассказ «Леда» (1907), осуждавшийся в критике за проповедь наготы и воспевание свободной любви.

<sup>33</sup> Свободный театр — основан в Москве в 1913 К.А.Марджановым, существовал один сезон; задуман как синтетический театр, охватывающий все виды сценического искусства. В труппу входили А.Коопен, Н.Ф.Монахов, художник — К.А.Сомов.

<sup>34</sup> Лидия Николаевна — дочь О.Н.Черносвитовой.

<sup>35</sup> Посмертную маску из фарфора с лица А.Блока намеревалась изготовить Н.Я.Данько. См.: Ю.М.Овсянников. Если бы Наталья Данько вела дневник... — Панорама искусств, 6, М., 1983, с. 52.

<sup>36</sup> Любовь Дмитриевна Блок (1881–1941) — жена А.Блока.

<sup>37</sup> Аркадий Георгиевич Горнфельд (1867–1941) — литературовед, критик, переводчик. Вероятно, речь идет о статье Горнфельда «Федор Сологуб» в кн.: Русская литература XX века (под ред. С.А.Венгеровой). Т. II, ч. I. М., 1915. В статье критик отмечал: «Логин был для Сологуба реальностью истории, реальностью пережитого, реальностью настоящего оказался Передонов...» (с. 51).

<sup>38</sup> Трамвай № 23 в то время ходил через Михайловскую пл. (пл. Лассалья, ныне пл. Искусств), далее по ул.Лассалья (Михайловской), по Невскому и к дому Сологуба (до угла пр. Добролюбова и пр. К.Либкнехта — Большого пр. Петроградской стороны).

<sup>39</sup> Большой Каприз — ворота при въезде в Царское Село по старой Петербургской дороге, увенчанные Большой Аркой с китайской беседкой (1771, архитекторы В.И.Неелов и Герард).

<sup>40</sup> Цитата из стихотворения Сологуба «Любовью легкою играя...» (Федор Сологуб. Стихотворения, с. 248).

<sup>41</sup> Александра Николаевна Чеботаревская (1869–1925) — переводчица; сестра А.Н.Чеботаревской.

<sup>42</sup> Квартира Ф.Сологуба находилась во втором этаже (наб. Ждановки, д. 3, кв. 22), квартира Черносивитовых — на четвертом (кв.26).

<sup>43</sup> Рассказ был напечатан в сборнике М.Борисоглебского «Осколок» (Л., 1927).

<sup>44</sup> См.: Г.Белых, Л.Пантелеев. «Республика ШКИД». Л., 1927. Вероятно, речь идет о рукописи произведения.

<sup>45</sup> Юрий Михайлович Юрьев (1872-1948) — драматический артист.

<sup>46</sup> Георгий Ефимович Горбачев (1897-1942) — критик и литературовед, представитель «напостовства». Г.Лелевич (псевд.; настоящим — Лабори Гигелевич Калмансон, 1901-1945) — критик, поэт, один из редакторов журнала «На посту» и руководителей ВАПП.

<sup>47</sup> Лев Васильевич Пумпянский (1894-1940) — литературовед.

<sup>48</sup> Цитата из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Завещание» («Наедине с тобою, брат...»).

<sup>49</sup> Неточная цитата из стихотворения Е.А.Боратынского «Сердечным нежным языком...», у Боратынского «Ни сердца в ней, ни пола нет».

<sup>50</sup> Татьяна Николаевна Черносивитова — дочь О.Н.Черносивитовой, врач.

<sup>51</sup> С 1915 г. Сологуб арендовал усадьбу Набатовых (Княжино) под Костромой, где проводил лето; под Костромой поэт отдыхал и в начале 1920-х годов. В архиве писателя сохранился альбом с рисунками к его стихам, подаренный ему костромскими школьниками (ф. 289, оп. 6, ед. хр. 111).

<sup>52</sup> «Навыи чары» — так называлась трилогия Ф.Сологуба «Творимая легенда» (1907-1913) при первой публикации.

<sup>53</sup> С 1898 г. по 1924 г. Чарская была артисткой Александринского театра.

<sup>54</sup> А.В.Луначарский. «Василиса Премудрая. Драматическая сказка», Пг., 1920.

<sup>55</sup> Имеется в виду монолог Тригорина из драмы Чехова «Чайка». См.: А.П.Чехов. ПСС, т. 13. М., 1978, с. 29.

<sup>56</sup> См. статью Е.Данько «Проблемы художественного оформления детской книги» в сб. «Детская литература» (под ред. А.В.Луначарского). Госиздат, 1931, с. 209-231. Наиболее значительной практической работой Данько по оформлению книг является барельефный портрет А.С.Пушкина для академического собрания. См.: Пушкин. ПСС, т.7. М.-Л., 1935.

<sup>57</sup> После окончания Санкт-Петербургского Учительского института в 1882 г. Сологуб служил в провинции: в Крестцах Новгородской губ. (1882-1885), в Великих Луках (1885-1889), в Вытегре (1889-1892).

<sup>58</sup> Премьера «Ревизора» состоялась 9 декабря 1926 г. в Москве в Государственном Театре им. Вс.Мейерхольда. Сценический текст композиции вариантов В.Э.Мейерхольда и М.Коренцева, художник — Мейерхольд, музыка — М.Ф.Гнесина. Постановка была решена не в комедийном, а в трагическом ключе.

<sup>59</sup> Александр Алексеевич Агин (1817-1875) — родоначальник русской реалистической иллюстрации. Самой значительной работой Агина являются иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя. Агин был вынужден издать свои рисунки отдельным альбомом, так как Гоголь категорически возражал против иллюстрирования его поэмы.

<sup>60</sup> Фрагмент миниатюры «Тебя, Бога, хвалим...» (ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, ед. хр. 4, л. 1637):

— Тебя, Бога, хвалим,  
Заповеди валим, —  
Божия скрижаль,  
Стоя, нам нужна ль!

— Тебя, Бога, славим,  
Пред тобой лукавим,  
Ладаном кадим,  
Адом все смердим.

Бога величаем,  
И спасенья чаем, —  
Богу всякий грош,  
Видимо, хорош.

Славьте и хвалите,  
Величайте, ждите, —  
Отвечает бас, —  
— Будет шиш для вас.

Тенор продолжает:  
— Бог вас не желает  
В светлый рай впустить,  
Чистоту смутить.

И поют сопраны:  
— Печки уж убраны,  
И дудит в дуду  
Черт для вас в аду.

Дисканты и альты  
Зазвенели: Шваль ты!  
Убирайся вниз!  
Сверху мы пис-пис!

16 (29) декабря 1926.

<sup>61</sup> В эстетике Сологуба «плагиат» был по-своему оправдан. Вероятно, не без иронии он утверждал: «Вся наша русская литература — сплошной плагиат. А если бы это было не так: у нас не было бы великих поэтов, точно так же как не было бы ни Шекспира, ни Гете, которые, как известно, всегда работали на чужих материалах», — или: «Гениальные поэты только и занимаются подражанием и перепевом. А оригинальные образы и формы — создают слабые поэты. И это — естественно. Зачем человеку — как грибу — пытаться неорганическими соединениями, над чем-то думать, что-то изобретать? Надо обирать предшественников поэтов — самым бессовестным образом», «Я когда что-нибудь воровал — никогда печатно не указывал источников» и др. (В.Смиренский. Воспоминания о Федоре Кузьмиче Сологубе и записи его высказываний. — ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 146).

Сологуб был обвинен в плагиате критиком А.Е.Редько в статье «Еще проблема» (Русское Богатство, 1910, №1, отд. II, с. 130-144). Редько указал на источники некоторых текстов Сологуба — рассказа «Снегурочка» (восходит к рассказу Н.Готорна «Девочка из снега») и др.

<sup>62</sup> Знакомство Ф.Сологуба с М.А.Волошиным состоялось в 1906 г. Подробнее об их отношениях см. в публикации В.П.Куп-

ченко «Письма М.А.Волошина и Ф.Сологуба» и «Заметка М.А.Волошина "Федор Сологуб"» в кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 год. Л., 1976, с. 151-164.

<sup>63</sup> Возможно, в высказывании Сологуба содержится намек на отношения В.Иванова и С.Городецкого летом-осенью 1906 г. (см. комментарий О.Дешарт в кн.: Вячеслав Иванов. Собр. соч., т.2. Брюссель, 1974, с. 756-764).

<sup>64</sup> Вера Александровна Сутугина (1892-1969) — секретарь издательства «Всемирная литература» (1918-1924).

<sup>65</sup> Валентина Андреевна Щеголева (рожд. Богуславская, 1878-1931) — драматическая артистка, жена историка литературы Павла Елисеевича Щеголева; в 20-е годы Щеголевы были связаны дружескими отношениями с семьей Черносвитовых и Ф.Сологубом, часто бывали у них.

<sup>66</sup> Юрий Никандрович Верховский (1878-1956) — поэт, историк литературы, в 20-е годы друг Ф.Сологуба и семьи Черносвитовых.

<sup>67</sup> В архиве писателя сохранился план к этому произведению (ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, ед. хр. 539а), датированный 8 февраля 1926 г.: «Близнецы. Драма. Шекспир. Комедия ошибок. Андрей и Григорий — близнецы, трагедия которых в необходимости избегнуть обезличивания. Это возможно только при исчезновении одного из них. Гражданская война помогает. Григорий-монархист расстрелян, Андрей-коммунист ничего не делает для спасения брата, жена Григория становится женой Андрея. Мать не выдерживает и кончает самоубийством, застрелилась, узнав о том, что Андрей предал брата», л. 5-7. Сохранились стихотворные фрагменты драмы, помеченные 12 февраля 1927.

<sup>68</sup> Комедия Шекспира «Два веронца» (1594-95).

<sup>69</sup> «Потоп» — драма шведского писателя и драматурга Ю.Х.Бергера (1872-1924); в 1926-27 шла на сцене Ленинградского Театра Строителей.

<sup>70</sup> «Новая Элоиза» (Julie, ou Nouvelle La Héloïse, 1761) — роман Ж.Ж.Руссо.

<sup>71</sup> Владимир Викторович Смиренский (псевд. — Андрей Скорбный; 1902-1977) — поэт. Вероятно, речь идет о сб. «Осень» (Л., 1927). Книга была подарена автором Сологубу. Автограф: «Дорогому Федору Кузьмичу Сологубу в знак искренней любви и уважения — Владимир Смиренский (Библиотека ИРЛИ, шифр: Бр 486/12).

<sup>72</sup> «Бродячая собака» — литературно-артистическое кабаре («подвал») в Петербурге 1912-1915 гг.

Е.Я.Данько <Пояснительная записка><sup>1</sup>

Мы пишем воспоминания о человеке Федоре Кузьмиче Сологубе. О поэте Сологубе напишут историки.

Федор Кузьмич Сологуб — носитель огромного человеческого страдания. Теперь, когда его уже нет в живых, мне кажется, что только эти слова могут до некоторой, до очень малой степени оправдать и примирить те противоречия, изломы и странности этой сложной, мучительной и все же необычайно крупной личности, которые озадачивали, сбивали с толку и мучили нас, близко его знавших.

Прочтите «Мелкого беса» — это Сологуб, прочтите стихи об Алетее<sup>2</sup> — это тоже Сологуб. Будущий исследователь творчества Сологуба остановится в недоумении, затаив дыхание перед многообразием его творческого образа, перед колоссальной силой художника и перед непримиримыми противоречиями — и он найдет объединяющее все звено. А мы перед человеком Сологубом стояли в таком же недоумении — и то, что я смогла найти, — это «человек большого страдания».

Сологубов было несколько. И каждый из них до конца осознал другого, и каждый из них был беспощадным судьей всем другим и себе самому. Я буду писать только об одном Сологубе, о том, который казался мне лучшим и человечнейшим из них.

<sup>1</sup> Текст, условно названный в публикации «пояснительной записью», помещен в тетради Ел.Данько вслед за текстом воспоминаний; печатается по автографу (ИРЛИ, ф. 679, ед. хр. 16, л. 38).

<sup>2</sup> Имеется в виду стихотворение «В багряные ткани заката...» (29 июня 1922), посвященное памяти погибшей А.Н.Чеботаревской (23 сентября 1921 г. она покончила с собой). В стихотворении поэт называет ее Алетея (древнегреч. — правдивая, справедливая). «Сологуб, возможно, толковал слово как «незабвенная», т.е. неподдающаяся Лете — река забвения в царстве мертвых» (М.И.Дикман. Примечания. — В кн.: Федор Сологуб. Стихотворения, с. 630).

Письмо Е.Я.Данько к О.А.Судейкиной<sup>1</sup>

4.VIII.1928 г.

Дорогая Ольга Афанасьевна, я узнала от Анны Андреевны, что Вы хотели бы знать о последних неделях Федора Кузьмича.

Постараюсь написать Вам, что помню сама и что слышала от его близких, хотя писать о Федоре Кузьмиче очень трудно. Даже точная запись его слов не может быть правдива, так как ускользает выражение, с которым он их произносил, и они теряют свою жизненность. Сам он был настолько многообразен, что казалось, мы знаем не одного Сологуба, а несколько, находящихся в постоянной вражде друг с другом. Я постараюсь писать Вам о том Сологубе, который казался мне лучшим и человечнейшим из них.

Летом 1926 года, встретившись с Федором Кузьмичом в Детском Селе после большого перерыва, я почувствовала большую перемену в нем. Мне кажется, он ощущал надвигающуюся болезнь.

Его ласковая веселость и мудрое подшучивание над жизнью, беззлобность и веселое спокойствие, которое было так очаровательно, стали появляться реже. Он помрачнел. В шутках была едкость и желчь. В разговорах о жизни — страстность, тоска по молодости и непримиримость с судьбой.

Вспоминались старые обиды, с страстной тоской вспоминались прежние радости. Казалось, наступающая болезнь уже обостряла все впечатления и воспоминания, хорошие и дурные.

Он еще шутил, бывало, когда приходил ко мне с Разумником Васильевичем, живо интересовался моими марионетками и фарфором. У него был обычай сказать какое-нибудь явно парадоксальное суждение, нелепое суждение.

Но в этом уже не было прежнего спокойствия. Он во все вкладывал суждение о мире, о том, как жизнь прекрасна и как ненавистны люди.

Прошлой зимой я слышала от него такие чудесные стихи:

Открыл меня создавший Ты  
Ларец лазоревой эмали.  
И подарил мне три мечты,  
Три шороха и три печали<sup>2</sup>.

Рассказывал, волнуясь, как о чудесном, что проснулся утром с этими строками на языке — встал и написал стихи, сам не зная, что они значат. Или: «Стихи мои, как ряд амфор, Простых для невнимательного взгляда, Наполнены нектаром сладше яда, Нектар мой пьян и мой стилет остер»<sup>3</sup>. Он читал стихи, в которых мы видели воспоминанье о Вас, «где вы прекрасные, добрые, нежные, для которых работал Коти?»

И такие стихи — шаловливые — о даме и паже, и сатане, который вошел «во фраке, в лакированных туфлях».

С золотым сияньем в лаке  
От широких пряжек-блях.  
Ручку нежную целую  
У хозяйки — в шорох лент,



Бросил он, ее волнуя,  
Очень тонкий комплимент<sup>4</sup>.

Теперь и стихи были другие<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Черновик письма Е.Я.Данько к О.А.Судейкиной печатается по автографу (ИРЛИ, ф. 679, ед. хр. 16, л. 39-39 об.).

<sup>2</sup> Строфа стихотворения «Открыл, меня создавший, Ты...» (ИРЛИ, ф. 289, оп. 1, ед. хр. 3, л. 116б):

Открыл, меня создавший, Ты  
Ларец лазоревый эмали,  
И подарил мне три мечты,  
Три шороха и три печали,

Я сплел в пылающий венок  
Твои дары, скрепил их кровью.  
Один я, но не одинок  
С моей бессмертной любовью.

Приходят и проходят дни,  
Слабеют страсти и желанья,  
Но мой венок в ночной тени  
Хранит безмерные пыланья.

*13 (26) декабря 1925.*

<sup>3</sup> Неточная цитата из стихотворения, адресованного Ел.Данько (Федор Сологуб. Стихотворения, с. 482-483).

*Е.Данько*

Я не люблю строптивости твоей.  
Оставь ее для тех, кто смотрит долу.  
Суровую прошел я в жизни школу  
И отошел далеко от людей.

Противоборствуя земному гнету,  
Легенду создал я и опочил.  
Я одного хотел, Одну любил,  
Одну таил в душе моей заботу.

Солгу ли я, но все же ты поверь,  
Что крепче всякой здешней правды это  
Мое самовластительство поэта,  
Эдемскую увидевшего дверь.

Сомкну мои уста, простивши веку  
Всю правду тусклую земных личин.  
Я жизни не хочу, и я один,  
Иное возвестил я человеку.

Страницы книг моих, как ряд амфор,  
Простых для невнимательного взгляда,  
Наполнены нектаром, слаще яда.  
Нектар мой пьян, и мой стилет остер.  
4 декабря 1925.

<sup>4</sup> Неточная цитата из стихотворения Сологуба «Сатана вошел во фраке...», 25 января 1926 (Федор Сологуб. Стихотворения, с. 483-484).

<sup>5</sup> На этой фразе текст письма обрывается.

Стихи Е.Данько, посвященные Ф.Сологубу<sup>1</sup>.  
ФЕДОР СОЛОГУБ. «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА ЗМЕЙ»<sup>2</sup>

Носила я фартук холщовый,  
Платком покрывала косы,  
И ноги в тот год суровый  
Нередко бывали босы.

Вставала с гудком фабричным  
И шла над рекой к заводу,  
За милым трудом привычным  
Легко забывать невзгоду.

Тогда я книгу читала,  
А в ней рассказывал кто-то,  
Как девушка чашки писала  
И любила свою работу.

Мне стало сладко и больно,  
Свой долгий день вспоминая,  
Заплакала я невольно,  
Откуда он это знает.

Теперь же, встретив поэта,  
О том не спрошу с тоскою, —  
Он знает не только это —  
Он знает — сердце людское.

1 января 1926.

\*\*\*

Уж листья, рдея позолотой,  
Скользят в озерное стекло,

Уж осень ласковой дремотой  
Сошла на Царское Село.

А в доме — книги и портреты  
И растворенное окно,  
И беспечальным тихим светом  
Уже лицо озарено.

Седой хозяин так спокойно  
Со мной о жизни говорит  
И мудрой шуткой, речью стройной  
Заворожит он боль обид.

Лукаво слушает рассказы  
С душою, чуткой ко всему,  
А я — печали и проказы  
Несу, как девочка ему.

Года и слава — груз немалый,  
Но ясен духом он всегда —  
Большое сердце не устало  
Еще от жизни и труда.

И что времен полет орлиный  
И дней нетленная печать —  
Тому, кто с мудростью змеиной  
Сумел улыбку сочетать.

*Август 1925 г.*

<sup>1</sup> Стихотворения «Заклинательница змей» и «Уж листья, рдея позолотой...» печатаются по автографам: ИРЛИ, ф. 679, ед. хр. 16, л. 7.

<sup>2</sup> «Заклинательница змей» — название последнего романа Ф.Сологуба (1921).

**Ф.Сологуб. Стихотворение, посвященное Е.Я.Данько<sup>1</sup>**

**Е.Я.ДАНЫКО**

Девушка в темном платье  
Пришла ко мне, и я думаю:  
Какое на нее заклатье  
Положила жизнь угрюмая?

Закрыв глаза, и мне кажется:  
Она хорошо размерена,

Злое к ней не привяжется,  
Ее заклатье — уверенность.  
*3 (16) декабря 1925.*

<sup>1</sup> Печатается по тексту авторизованной машинописи — ИРЛИ,  
ф. 289, оп. 1, ед. хр. 2, л. 426.

Е.Я.Данько

ПРОСТЫЕ МУКИ

I

Прилетел ко мне чернокрылый,  
Невеселые песни пел, —  
Чтобы стала еще постылей  
Для тех, кто силен и смел.

И про то, что вихрь беспощадный,  
И про то, что ждала конца, —  
Чтоб казался еще неприглядней  
Покосившийся крест лица.

Суждено мне горьким законом  
Еще муку одну узнать, —  
Над стихами, слезами, звоном  
Усмешку твою угадать.

II

Горели, падали, губили  
Дни, и дела, и наважденья.  
О том, какие боли были,  
Не знать другому поколенью.

Пустыня — прежняя столица,  
Где жизнь текла — там горсть камней,  
И страшно изменились лица  
От верениц голодных дней,

И лег пожарищ горький пепел  
На губы тех, кто отпылал...  
А нам усталым — Ангел светел  
Сокровища простые дал.

Так небо ясное желанно,  
Так просто стало умирать,  
Весна — как в детстве долгожданна,  
А хлеб — господня благодать.

И в ночи близкой канонады,  
В тоске дневных очередей,  
Так сердцу плакать стало надо  
Над скорбной участью людей.

А красотой развалин мнится —  
Глаза навек просветлены,  
И мнится Господа десница  
За зримой силой сатаны<sup>2</sup>.

### III

#### На Невском

Еще безвременны кончины,  
Еще черно, черно вдали...  
А здесь — лукавые витрины  
Огни кощунственно зажгли.

Я знаю — морок непробудный  
Покой и сытость принесут,  
И наши будущие будни  
Постылой ложью оплетут.

Но не сотрется лет виденье:  
Мы в огневом смятенье дней  
Живого тела зрели тленье,  
Равнялись равенством скорбей.

Нам пламенели серп и молот —  
И стала жизнь — как боль проста.  
Глазела смерть. Дыбился голод.  
Свершалось таинство креста<sup>3</sup>.

### IV

Облака несутся дождевые,  
Резкий ветер поднимает пыль,

И священник приступил к литии,  
Рваную надев епитрахиль.

И над гробом, как дыханье Божье,  
Благодатны ладан и мольба,  
«Батюшка, ты слышал ли, в Поволжье  
Солнцем выжжены хлеба?»

Беспощаден, безысходен зной,  
Ни одной травинки не растет...  
Ты о всех, кто в августе умрет,  
Не успеешь спеть за упокой».

*Июнь 1921.*

## V

### Легенда

Горше горького время терпим,  
Но Ленин — не виноват.  
Он знает, что жизнь — хуже смерти,  
Помочь бы людям и рад.

Говорит он своим законам:  
«Товарищи, время идет!  
Напряжем последние силы,  
Пока не издох народ!»

Говорят, ума он такого,  
Что знает все наперед.  
Не успеешь вымолвить слова,  
А он — уж ответ дает.

Скрывать от него напрасно,  
И каждый ему — сквозной.  
А с виду он коренастый,  
И лоб у него большой.

Из Кремля он видит единый  
Всю землю — до самых окраин.  
Дай Бог ему перед кончиной  
Святых причаститься таин<sup>4</sup>.

## VI

...Знать, котомка холщевая  
Для бессильных плеч тяжка...  
«Аль не слышишь звон трамвая,  
Окаянная башка!

Привезли их, мутноглазых,  
(Хошь ругайся, хошь жaley).  
Из степей несут заразу  
Миллион казанских вшей.

Обложили город болью.  
Доконает их зима...  
А у нас — гляди приволье,  
Так и сыплются дома.

С каждым днем звереют люди,  
От тоски — хоть волком вой!»  
«Ай, матрос, что дальше будет?»  
«Будут — дыры в мостовой!

Уж теперь видны провалы,  
В них — бездонная вода.  
А весной, как не бывало,  
Все провалимся туда».

Взгляд безумный, смех скрипящий...  
Равномерный стук колес...  
Церковь Матери Скорбящей.  
«Перекрестимся, матрос?»

«Что наплел я, как старуха, вам, —  
Проживу и не крестясь.  
Как в заводе-то Обуховом  
Сам Зиновьев был вчерась.

Близок нам конец победный,  
Пусть победа нелегка!»  
А в кармане крестик медный  
Вижу — стиснула рука<sup>5</sup>.

*Октябрь 1921.*

## VII

Огневой зарей палима  
Даль за городом светла,

Трубы стройные без дыма  
В небо тихо вознесла.

И спокойно, будто вечная,  
Отразила их Нева.  
А за нею — влага млечная —  
Белой ночи синева.

И на травы по развалинам  
Пала теплая роса.  
Ты на берег отуманенный  
Выходи, моя краса.

Над пустынною столицей  
Лишь гармоника слышна,  
И восходит круглолицая  
За Обуховом луна.

Будет время, будет скоро,  
Дымы небо заплетут.  
Иностранные матросы  
Над Невою пыль взметут,

И возьмут себе унылые  
Все — за звонкий золотой,  
Да не купят ночи белые  
И гармошку над рекой.

*Июнь 1921 г.*

## VIII

Сгинь, проклятая, душу пусти,  
Что пристала ко мне опять?  
О дневном, безбожном пути,  
Знаю — любо ночью рыдать.

Для чего же по воле твоей  
Снова ночи мне быть без сна?  
Али мало слез матерей,  
Али вдовья скорбь не черна?

Над тобой ли, беспутной нищей,  
Я всю душу в ночь изолью?  
Отпусти и меня на кладбище,  
Дай оплакать юность мою.



«Не гони. Я тебя не покину.  
Ты печали свои схорони.  
Я судьбу тебе, девочка, выну, —  
Жемчужовые слезные дни.

Чтобы плакать стало в обычай  
Над пожаром моих равнин —  
Я украшу твой лоб девичий  
Драгоценным крестом морщин.

Пропаду ль, обрету ль дорогу —  
Уж тоской-то с тобой поделюсь.  
Ты желей да жалуйся Богу  
За меня, безбожную Русь!»<sup>7</sup>

## IX

### Простые муки

#### 1

Вьюга путала дорогу,  
До зари я шла в завод.  
Шла и спрашивала Бога:  
«Что ж весна не настает?

Видишь, Господи, — нет силы,  
Злей мороза — муки нет».  
О весне его молила,  
У окна ждала рассвет.

Утро долго не светало,  
Ночи не было конца...  
Мне сосед сказал устало:  
«Потемнела ты с лица,

Поспешай, пока без тления  
В зсмяю чистая пойдешь,  
А придет пора весенняя,  
Ждавши гроба — загниешь.

Все равно не жить без хлсба,  
По морозцу и помри».  
За окном светлело нсбо,  
Не видала я зари.

В закопченные, мокрые стены,  
В тусклый пар гнилых половиц,  
Побежал народ оглашенный,  
Из-под сажи не видно лиц.

Вот последний гудок ревуший,  
И змеей завился черед.  
Я — звено этой цепи ждущей,  
Все сильнее голод грызет.

А уж там, котлы задымились,  
И змея проползла на шаг.  
Вот уж два каталя сцепились —  
Не поделят ложку никак.

И нагнулся над лавкой низко  
Бледный мальчик с большим животом,  
Подбирает кость, да огрызки,  
И сосет загнивающим ртом.

Али мать спосылала такого?  
«Ты откуда пришел да чей?»  
Отвечает несслыханным словом,  
Ускользает в толпу как в щель.

Я смотрю в померкшее небо...  
Вдруг — настойчивым взглядом схвачу:  
«Эй ты, длинная, хочешь хлеба?»  
И нельзя ответить «хочу».

Ах, уйти б. Да как без обеда  
На полночи в завод пойдешь?  
По плечу моего соседа  
Проползает лениво вошь.

И над каждой миской свинцовой  
Жалкий трепет поспешных рук...  
Как в аду, не видал столовой  
Итальянec, подсчетчик мук?

Знать, уж скоро, усталое тело  
Успокоишь Ты, Боже мой!  
Лишь позволь, чтоб в глазах не темнело,  
Пока не дойду домой.

1920 г.

В кумачах фабричных зданий  
Солнцем светлая река.  
Не обманет ожиданий  
Белый дым паровика.

Мне б на солнышке сидеть здесь,  
Как алмазный воздух чист.  
Ах, помедли на разъезде,  
Милый, черный машинист.

Не спеши свистать дорогой,  
Светлым берегом реки.  
Для убогой, хромоногой,  
Ах, ступеньки высоки!

А в вагоне многолицем  
Говор летнего пути.  
К остановке у больницы  
Мне помогут ли сойти?

За окном мелькают закаты,  
И город голодный — тих.  
По нему я бродила когда-то —  
До последних болей моих.

А теперь, следить мне покорно, —  
Светлый луч скользнет по стене,  
И покажет старый придворный  
Четкий профиль в темном окне.

Желтый череп, провал височный,  
Знамениты седые усы...  
По движениям бессмысленно точным  
Я проверить могу часы.

С каждым днем ему свет напрасней,  
Мертвых глаз — не греет заря,  
А, может быть, он — лишь басня  
О слуге, пережившем царя?

Вот и мне — была смерть не страшна,  
Вот и я — живу, как во сне,

Сижу весь день у окна,  
Чужое платье на мне.

Со стены лучи убежали,  
Желтый профиль поник вдали,  
Ах, чужие меня подобрали,  
Нелюбимые жизнь спасли...

1920 г.

## Х

### Фарфоровый завод

#### 1

Здесь время проходит нескоро,  
Да никто не считает минут.  
Над белым блеском фарфора  
Только месяцы в счет идут.

Только знают кирпичные стены, —  
Одуванчик сменит снега,  
Ненадолго запахнет сеном,  
И опять — над Невой пурга.

Выводи свой рисунок мелкий, —  
Пусть горячая стынет кровь.  
Для живых украшай тарелки,  
Для усопших урны готовь.

А уста статуэтки зыбкой  
Сохранят розоватый цвет.  
Улыбнутся мой улыбкой  
Антиквару грядущих лет.

И старик, мой покорный пленный,  
Осторожно пыль оботрет  
И назначит высокую цену, —  
Роковой прочитавши год.

Ведь за то, что от мук холодея,  
Мы любовно слагали узор,  
Краше Мейссена, Севра милее  
Знатокам наш убогий фарфор.

Май 1921 г.

Устав диктуют непреложный  
 Стекло, и глина, и металл  
 Тому, кто жизнь неосторожно  
 С их тайной волей сочетал.

Различной пылью губы кроют,  
 Усталость разную дают,  
 И незаметно душу строит,  
 Овладевает телом труд.

В сухих мазках, в миниатюре,  
 Мы обострили чуткий глаз,  
 А от светящейся глазури  
 Улыбки ясные у нас.

Проходит день неторопливый,  
 Слежу лучи на облаках...  
 Мне мил товарищ молчаливый  
 С привычной нежностью в руках<sup>8</sup>.

Я в заводе опустелом  
 Мрак холодный сторожу,  
 Над моим фарфором белым  
 Тихой кистью ворожу.

Чтобы пурпур вышел ярок,  
 Тускло золото, как мед, —  
 Будет обжиг рьян и жарок,  
 Верный конус упадет.

Ах, для нежного фарфора  
 Огневой не страшен круг.  
 Выйдет — радостный для взора,  
 Выйдет — ласковый для рук.

Я судьбу спросить не смею,  
 Кто распишет душу мне?  
 Чей узор запечатлею  
 В неизбежном злом огне?

Ах, фарфор я заклинаю:  
 «Невзначай не выйди брак».

Над судьбой моей гадая,  
Сторожу холодный мрак.

4

Стекают сети легких линий  
С неспешной кисточки моей.  
Здесь, за заставой — вечер синий,  
А ночи — тише и темней.

Лишь от мотора зайчик светел  
Скользит по темноте реки,  
Я знаю: вот, вдыхая ветер,  
Спешат куда-то седоки.

Ни тягость лет, ни ярость встречи  
Еще не тронули меня.  
Мне наступает тихий вечер  
Задолго до прихода дня<sup>9</sup>.

5

Посвящается фарфору А.В.Щекатихиной<sup>10</sup>

К нам бурей небывалою  
Жар-птицу занесло,  
Зарей червонно-алою  
Взметнулося крыло.

Валетели звезды странные.  
Горит, горит Стожар,  
И радуги нежданные  
Отрадный взору дар.

Цветут цветы причудные,  
Плетет листов узор,  
Сквозь ветви изумрудные  
так снежно-бел фарфор.

Сапфир с рубином плавится  
И яхонт с бирюзой,  
Ах, кинула красавица  
Свой терем золотой!

Ах, вышла принаряжена  
В свой садик погулять,  
Ах, вздумал леший ряженный  
Красавицу пугать!

Пусть будет леший хмурый  
Цветами заплетен.  
Твой мальчик белокурый  
О нем увидит сон.

Увидит, улыбнется,  
Дремота глубока.  
А кисть твоя взметнется  
Для нового мазка.

О мать, его в какие  
Ты ризы облечешь?  
Одежды ль парчевые  
Шелками разошьешь?

Подаришь ли ему ты  
Узорный поясок?  
— Пойдет он необутый.  
С тобою в путь далек.

Но в путь ему далекий  
Дай цветик голубой,  
Чтоб был голубокий  
Царевич милый твой.

Ночь. Спит твой сын пригожий.  
Кончаешь ты узор.  
И крылья Ангел Божий  
Над вами распростер.

*Май 1921 г.*

## XI

Как красе твоей не подивиться?  
Не поднять глаза от книжных строк?  
Сведенборга строгую страницу  
Шелестя, позолотил песок.

Над дугой широких побережий  
Не исчислить солнечных утех.

Вот и мне доносит ветер свежий  
Навзикаи беспечальный смех.

Ненаглядной прелестью одеты  
Ты и море, тело и струя.  
Ах, на пляже золотистом нету  
Некрасивей девушки, чем я.

Людам, травам, небесам и водам  
Не нарушить радостного сна,  
Только нам — калескам да уродам  
Их краса воочию ясна.

Только нищие-слепцы богаче,  
Просветленное глазастых нас.  
Велико сокровище незрячих,  
Неизведанная радость глаз<sup>11</sup>.

*Сестрорецк. 1921.*

## XII

### Кукольный театр

Здесь, меж картонными домами,  
Когда фонарики зажгут,  
Моими легкими стихами  
Марионетки речь ведут.

Мир заколдованный минутой  
Не страшен — кроткий и смешной, —  
Лишь сердце — ниток не запутай,  
Тебе назначенных судьбой.

Не скучный жребий, не тяжелый,  
Не перечислить всех затей.  
Ах, революций шум веселый!  
Ах, легкость кукольных страстей!

И ты, — творец иль разрушитель,  
Свое усердие удвой.  
И не гадай, кто тихий Зритель,  
Следящий за твоей игрой<sup>12</sup>.



### XIII

Мой костер в тумане светит...

Вот, три года я промолчала.  
Лишь теперь слова обрела.  
Мы простились. Ночь наступала.  
Пересилена боль была.

Первый иней, как я невинный,  
Из земли подняла зима,  
А в моем переулке длинном  
Хрусталем обросли дома.

Стал и ты для меня хрустальный,  
Холодней твоей мысли — нет.  
Я застыла тогда печальной.  
А было мне — двадцать лет.

Что же солнце? — пробуй согрей меня.  
Что ж весна? — выходи на крыльцо.  
Как легко, что увяло до времени  
Молодое мое лицо<sup>13</sup>.

### XIV

Чтоб тебя многодневный голод  
Истребал мучительной дрожью!  
Чтоб забыл, — ты стар или молод,  
Звал бы смерть, как вестницу Божью.

Чтоб свои не расслышал стоны  
В болевом стотысячном реве!  
Чтоб простые принял законы —  
Святость хлеба — жгучесть любви.

Я улыбки твоей не хотела,  
Что ищу — того не найти в ней.  
Мне твое нестрадавшее тело  
Шелудивого пса противней!<sup>14</sup>

### XV

Греховное слово слетело  
С моих легкомысленных губ.

О Господи, я не хотела,  
Не слыхала я ангельских труб.

А тот — про кого сказала,  
Уж лежит, — лежит неживой.  
Гробовая печаль настала.  
Со святыми его упокой.

Нам, безумным, за шумом и криком  
Не расслышать таинственный зов.  
Узнаем перед страшным ликом  
Тяжкий грех легкомысленных слов<sup>15</sup>.

## XVI

Схоронили мое богатство  
Злые зимы в сугробах вьюжных.  
Я вступила в нищее братство  
Калек и тяжко-недужных.

И грядущий покой полюбился,  
Я сказала: «Живите, люди»...  
Да видно, кто-то молился, —  
Помолился тогда о чуде.

И в бескровных жилах зардело,  
И пропала мертвенность взора,  
И мир — золотой и смелый —  
Закричал: «Не уйдешь так скоро!»

Ах, я смерти пою славословья,  
Уж к иным уставам привычна,  
Что мне делать с ликующей кровью,  
С буйным телом девки фабричной?<sup>16</sup>

## XVII

Моей сестре

Как на милое солнышко Божье,  
На твои любуюсь черты.  
Я ведь знаю: сейчас в Заволжье  
Умираешь другая ты.

Пусть лохмотьями грудь завернула,  
Пусть дитяти сирому мать...  
Не мешают татарские скулы  
Мне голубку мою узнать.

Сколько мук прошло над тобою!  
— Уж не голод — а смертный бред.  
Я иссохшее тело омою,  
Заровняю могильный след.

Обойду я весь край убогий,  
Где до осени съеден мох.  
Чтоб в избе, на мосту, на дороге  
Вновь услышать твой тихий вздох.

И опять, от мук лихолетья  
На руках моих отойдешь.  
А под вечер — ударит плетью  
И меня последняя дрожь.

Мы пойдем тогда — дни и ночи  
Возносящийся к нему глас,  
Многотысячный тихий: «Отче,  
Почто оставляешь нас?»<sup>17</sup>

## XVIII

Татарчонок в шапке косматой...  
(Вот один — а ехали пять).  
На рукав цветные заплаты  
Перед смертью нашила мать.

«Не подох. Посильней немного».  
Углубился на скулах круг.  
А из глаз поглядела строго  
Безнадежная мудрость мук.

Ах, какого неба алмазы  
Окупили скорби земле б?  
Ты куда глядишь, темноглазый,  
Аль докучен мой черный хлеб?

Да не слышит, замолк, не оглянется,  
Да не солнце рвет облака, —  
— Вот к фарфоровой кукле тянется,  
Дотянулась жадно рука.



О. Л. Костецкая.



Е. Я. Данько. 1915 г. .



Е. Я. Данико. Конец 1920-х гг.



Е. Я. Данько в мастерской. Конец  
1930-х гг.



Федор Сологуб. 1926 г.



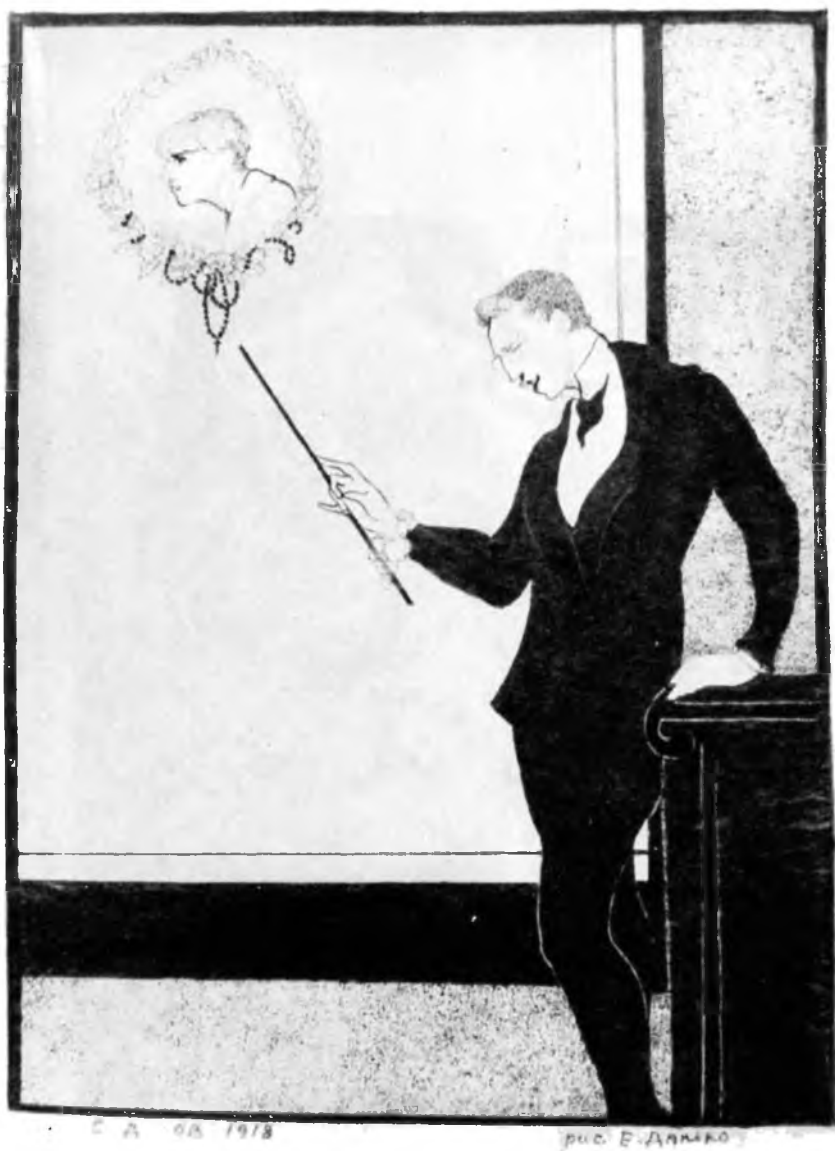


Федор Сологуб в гробу.



**Е. Я. Данько. Автопортрет. Бумага,  
карандаш.**





Е. Я. Данько. Портрет А. А. Сидорова.  
1918 г. Бумага, тушь, перо.



Слева направо: М. А. Кузмин, К. С. Козьмин, А. Д. Гоголицын, О. Н. Гильдебранд-Арбенина, Ю. И. Юркун, Е. И. Кршижановская. Крайняя справа — Г. В. Панова-Арбенина. Фотография А. Н. Савинова. 8 января 1933 г.



**В. И. Гедройц.**



Н. Н. Пунин с дочерью Ириной.  
Февраль 1927 г. Фонтанный дом.

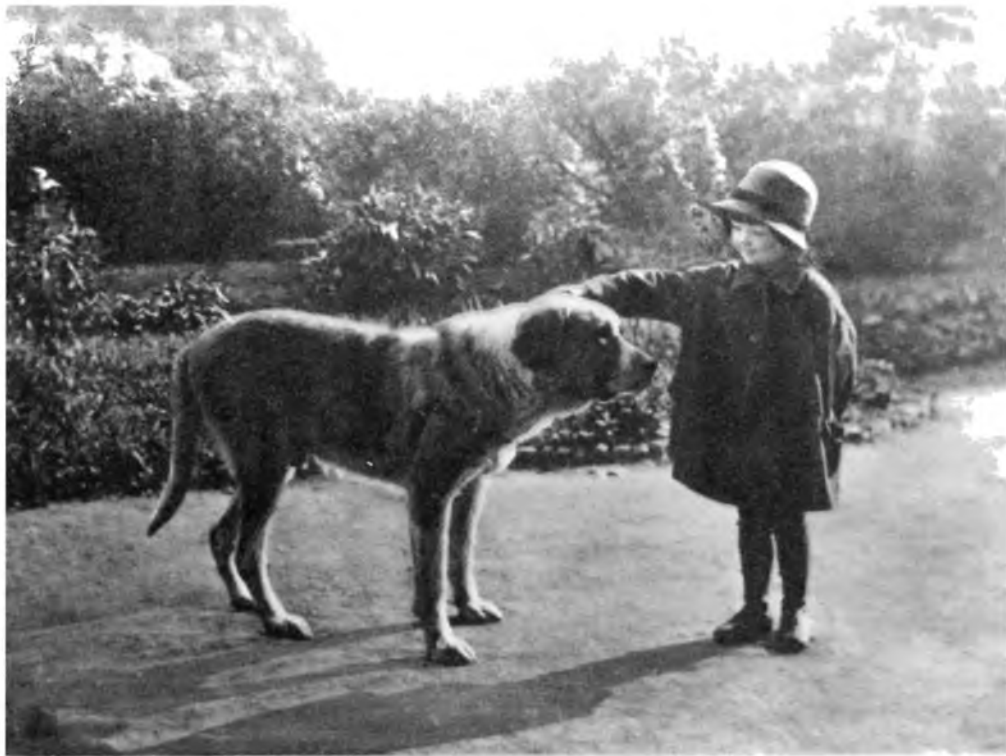


**Н. Н. Пунин в купе вагона поезда  
Москва — Владивосток после  
крушения. Камышлов, апрель 1927 г.**





**В. К. Шилейко и сенбернар Тапа.  
Рис. М. А. Фармаковского. 1923 г. В  
правом верхнем углу надпись:  
«Торжество разума над природой. Sive  
maledictor celeberrimus».**



**Ира Пунина и сенбернар Тапа в саду Фонтанного дома.  
Середина 1920-х гг.**



**Слева направо: Н. Н. Пунин, В. Н. Аникиева, П. И. Нерадовский, В. В. Лебедев. На персональной выставке В. В. Лебедева в Государственном Русском музее. 1928 г.**

Чтоб ласкать, да трепетно гладить,  
Наглядеться на белую вещь.  
И никак ему не наладить,  
И улыбку, и вздох, и речь.

Это светлая мудрость Господня  
Так чудесно меняет взор.  
Небывалой любви сегодня  
Удостоился мой фарфор!<sup>18</sup>

*Февраль 1922*

## ХІХ

Высоки под окном сугробы.  
Зимний свет. Под снегом река.  
А над краем узкого гроба —  
Желтоватый камень виска.

Прорыдал печалью и звонко  
Наших дней напев колдовской,  
Принесла святая иконка  
Долгожданный брату покой.

Не вернуть вздыхающей груди  
Ни сиянья буйных знамен...  
В темный мир заброшены люди,  
Страшен бег Господних времен!

Что несется? — дни аль столетья,  
Эх, гляди, не выдержишь путь.  
Да слетит к тебе перед смертью  
Золотой мотылек на грудь.

Благоверен ельник зеленый,  
Запах тленья лишь тот поймет,  
Кто последний, творя поклоны,  
Сам последнего звона ждет.

## ХХ

Благая весть, что сумерки короче,  
И вековой, таинственный обряд...  
Безветренны рождественские ночи,  
И звездно небо, и огни горят.

У церкви над рекой — в снегу ракиты.  
Там ждут младенца, бродят средь могил.  
Да сжалится Господь. Глаза мои открыты.  
Канун свершения — сочельник наступил<sup>19</sup>.  
*Январь 1922 г.*

## XXI

Как гонял меня ветер беспутный  
Между стен проклятых домов —  
— Потеряла в памяти смутной  
Я значенье семи цветов.

И канон позабылся строгий...  
Но жива обретенная боль.  
Богородицу всех убогих —  
Для тебя написать позволю.

Знаешь Ты — печаль лихолетья  
И огромной земли красу  
Сквозь сугробы, дни и столетья  
Я — одна на плечах несущу.

Пусть не примут трудные люди  
Скудной думы тусклую плоть,  
Ведь живой души не осудишь  
За убожество — Ты, Господь.

Стихотворения, не вошедшие  
в последнюю редакцию сборника

Незримая битва страшна,  
Железом окованы дни,  
Вся жизнь — молитва одна:  
Господь его сохрани.

Позволь на костре сгореть,  
Пошли несказанные боли,  
Не дай ему умереть  
От злой человеческой воли.

Я плачу о всех убитых,  
Мне родное — каждое тело,  
Господь, его сохрани ты,  
Спаси от расстрела!

1918.

Напряженно боится ухо —  
Вот опять донесется глухо —  
Залп чрез стены.  
Громче грома — хоть слышен едва,  
Каждой ночью — всегда ровно в два —  
Залп неизменный.  
Не помнить, не слышать,  
Душа б улетела,  
Тише,  
Не бейся, лежи, не дыши —  
За домом опять латыши  
Взяли к прицелу.  
Залпом отмечены два часа,  
Кровянеют зарей небеса,  
Кровавая всходит роса,  
Проступает на мертвом теле...  
Кому мне боль прорыдать,  
Кому «не надо» кричать,  
О, Боже, Тебе ли?

1918.

<sup>1</sup> В архиве Данько сохранились два варианта авторской рукописи сборника «Простые муки» (хранятся в одной папке — ИРЛИ, ф. 679, ед. хр. 1). В ранней редакции сборник состоял из 26 стихотворений, два из них — «Незримая битва страшна...» (1918) и «Напряженно боится ухо...» (1918) в позднюю редакцию сборника не вошли. Основу обеих редакций составляют 24 стихотворения; тексты их идентичны (за исключением незначительных разночтений в пунктуации). В поздней редакции (цензурный экземпляр) была изменена композиция сборника, были включены стихотворения: «Облака несутся дождевые» (1921), «К нам бурей небывалою...» (1921), «Высоки под окном сутробы...», «Как гонял меня ветер беспутный...». В данной публикации тексты печатаются по цензурному экземпляру.

<sup>2</sup> В раннем экземпляре стихотворение датировано — 1921 г. Далее, в случае отсутствия (или их несовпадения в разных редакциях), даты приводятся по раннему экземпляру.

<sup>3</sup> Осень 1921.

<sup>4</sup> 1921.

<sup>5</sup> Озаглавлено «Матрос».

<sup>6</sup> 1921. Осень.

<sup>7</sup> 1920.

- <sup>8</sup> 1920. Осень.  
<sup>9</sup> 1921. Осень.  
<sup>10</sup> Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая (1892-1967) — мастер росписи по фарфору, живописец, график.  
<sup>11</sup> Август 1921.  
<sup>12</sup> 1921.  
<sup>13</sup> 1921. Ноябрь.  
<sup>14</sup> Декабрь 1921.  
<sup>15</sup> Осень 1921.  
<sup>16</sup> Декабрь 1921.  
<sup>17</sup> Зима 1921. Декабрь.  
<sup>18</sup> Зима 1921.  
<sup>19</sup> 1921, 2 декабря.

Стихотворение Е.Я.Данько, посвященное С.Я.Маршаку

#### ПОЭМА О МАРШАКЕ<sup>1</sup>

*И если спросишь: почему  
Бегущий паровоз?  
Тебе ответят: потому  
Бегущий паровоз,  
Что паровоз, пары клубя,  
Пуская дым трубой,  
Несет по рельсам сам себя  
И поезд за собой.*

*С.Маршак*

Была счастливая страна  
(Тому немало лет).  
Над чашей старого вина  
Дремал король Адмет.  
И если спросишь:  
Почему  
Был счастлив этот край?  
Тебе ответят:  
Потому  
Был счастлив этот край,  
Что был Адмет мудрее всех,  
Любил стихи и резвый смех,  
И за строку дороже всех  
Платил король Адмет.  
Спешит безрадостный певец  
В страну нездешних грез,

Там Аполлон пасет овец  
И королевских коз.

И если спросишь:

Почему

Пасет овец и коз?

Тебе ответят:

Потому

Пасет овец и коз,  
Что Аполлон скромнее всех,  
Слагает песни лучше всех,  
Бренчит на лире громче всех  
В простом венке из роз.

Стремит струи поток времен,  
Всков неслышен шаг,  
Ушли Адмет и Аполлон,  
Пришел поэт — Маршак.

Трубите, трубы, о певце,  
Нам — утешенье он,  
Поэт Маршак в одном лице  
Адмет и Аполлон.

И если спросишь:

Почему

Адмет и Аполлон?

Тебе ответят:

Потому

Адмет и Аполлон,  
Что, как Адмет, мудрее всех,  
Как Аполлон, скромнее всех,  
Бренчит на лире громче всех  
О Днепрострое он.  
Поэту ЛАПП<sup>2</sup> рукоплескал,  
За подвиги в награду:  
Маршак догнал и перегнал  
Английскую балладу.

И если спросишь:

Почему

Английскую балладу<sup>3</sup>?

Тебе ответят:

Потому

Английскую балладу,  
Что с детства сердцем возлюбя  
Баллад английских строй,  
Заткнул за пояс сам себя  
Маршак своей «Доской».

И неспроста дивится мир,  
Глядит завистник косо,



Идет за Киплингом<sup>4</sup> Шекспир,  
За Блэйком<sup>5</sup> — Генри Чосер<sup>6</sup>.  
Идут, терзая струны лир, —  
Ударная бригада,  
Маршак над ними бригадир  
На стройках Ленинграда.

<sup>1</sup> Печатается по автографу (ИРЛИ, ф. 679, ед. хр. 2, л. 5).

<sup>2</sup> Ленинградская ассоциация пролетарских писателей.

<sup>3</sup> Маршак перевел двадцать народных английских баллад, первая подборка переводов была напечатана в журнале «Северные записки» (1916, № 10).

<sup>4</sup> Редьярд Киплинг (1865-1936) — английский поэт и художник. Для издания «Сказок» в переводе К. Чуковского, 1923 г. Маршак перевел восемь стихотворений; переводил из Киплинга и в последующие годы.

<sup>5</sup> Вильям Блейк (1757-1827) — английский поэт и художник. Первые публикации переводов Маршака «Из Вильяма Блейка» были помещены в «Северных записках» (1915, №10; 1916, №3).

<sup>6</sup> Ошибка в имени: Джефри Чосер (1340?-1400) — английский поэт. Среди опубликованных переводы Маршака из Чосера отсутствуют.

# О.Н.Гильдебрандт

## М.А.КУЗМИН

### Предисловие и комментарии Г.А.Морева Публикация и подготовка текста М.В.Толмачева

Личность Ольга Николаевна Гильдебрандт (1897-1980) в последнее время все чаще оказывается в поле зрения историков искусства. Книга М.А.Немировской, посвященная истории и деятельности художественной группы «Тринадцать» (1929-1931)<sup>1</sup>, одним из активнейших участников которой была О.Н.Гильдебрандт, «открыла» Гильдебрандт-художницу; здесь же впервые было сказано и несколько сочувственных слов о художническом таланте прозаика Юрия Ивановича Юркуна (1895-1938) — на протяжении 16 лет ближайшего для О.Н. человека. В истории литературы Ольга Арбенина<sup>2</sup> была известна как адресат лирических шедевров Мандельштама<sup>3</sup> и Гумилева<sup>4</sup>, дружеских стихотворных посланий Кузмина и Бенедикта Лившица<sup>5</sup>. Но лишь в самое последнее время О.Н.Гильдебрандт предстает перед нами как талантливая и своеобразная мемуаристка; сохранились (и недавно стали доступны исследователям) дневники О.Н., которые она вела всю жизнь<sup>6</sup>, — пронзительное свидетельство времени и бесценный источник информации о людях, в чьих судьбах «тенью» (по ее собственным словам) осталась О.Н.: Кузмине и Юркуне, Гумилеве, Мандельштаме, Л.Каннегисере и др.

<sup>1</sup> Художники группы «Тринадцать». Из истории художественной жизни 1920-1930-х годов. Автор вступ. ст. и сост. М.А.Немировская. М., 1986.

<sup>2</sup> Арбенина — сценический псевдоним О.Н.Гильдебрандт, в 1919-1923 гг. выступавшей в составе труппы Александринского театра.

<sup>3</sup> К О.Арбениной обращены стихотворения Мандельштама «В Петербурге мы сойдемся снова...», «Чуть мерцает призрачная сцена...», «Возьми на радость из моих ладоней...», «За то, что я руки твои не сумел удержать...», «Мне жалко, что теперь зима...», «Я наравне с другими...», написанные в ноябре-декабре 1920 г.

<sup>4</sup> См. стихотворения «Телефон» (1916), «Ольга» (1920), «Сентиментальное путешествие» (1920) и «О.Н.Арбениной» (1920). См. также воспоминания О.Н.Гильдебрандт о Гумилеве в сб.: Творчество Н.Гумилева: Исследования. Материалы. Библиография. СПб., 1992 (публикация М.В.Толмачева, комментарии Т.Л.Никольской) и письмо Гумилева к ней, опубликованное в кн.: Н.Гумилев. Неизданное и несобранное. Paris, 1986. С. 132, 270 (комм.).

<sup>5</sup> См. опубликованные посмертно стихотворения Кузмина «Сколько лет тебе скажи, Психея...» (1930; М.Кузмин. Собрание стихов. München, 1977, т. III, с. 509) и Б.Лившица «Что это: заузная Флорида?...» (1931; Б.Лившиц. Полуголголазый стрелец. Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989, с. 127).

<sup>6</sup> К сожалению, часть дневников (за 1920-30 гг.) утрачена вместе с архивом О.Н.Гильдебрандт в годы блокады; об этой потере, ставшей для О.Н. поистине трагедией, подробнее см. в ее «посмертном» письме Ю.И.Юркуну (13.02.1946), опубликованном нами в сб.: Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990, с. 244-256.

О.Н.Гильдебрандт, принадлежавшая к поколению, по ее выражению, «сформированному "Аполлоном"»<sup>7</sup>, почти 14 лет провела вблизи М.А.Кузмина — художника, отношение к которому, выраженное ее современницей, она безусловно бы разделяла: «Я принадлежу к тому поколению средних интеллигентов, которые почти учились читать по произведениям Ваших знаменитых современников и Вашим. Первыми поэтами, по которым мы познавали искусство, были Александр Блок, Вы и Гумилев. Вы едва ли можете себе представить то безграничное влияние, которое в свое время оказывали на нас Ваши книги. Конечно, сначала восхищение Вашим творчеством напоминало восхищение простенькой девочки утонченным западником в Вашем рассказе "Косая бровь": в нем было больше удивления широте и глубине Вашей эрудиции. Но вот воспоминание о той полной и глубокой радости, которую мне доставили Ваши "Подвиги Великого Александра", живет во мне до сих пор!»<sup>8</sup>

Уже 1936 год — год смерти Кузмина — послужил, в какой-то мере, пределом счастлившей эпохе в жизни О.Н. Несомненно, Кузмин был формирующим центром того довольно обширного круга, к которому принадлежали О.Н. и ее молодые друзья, литераторы и художники: Л.Л.Раков, А.А.Степанов, Вс.Н.Петров, И.А.Лихачев, К.С.Козьмин и многие другие, кто упоминается в ее мемуарных заметках<sup>9</sup>. Смерть Кузмина положила конец существованию этого уникального содружества, а судьба многих его членов определила трагическую тональность воспоминаний о нем. «Мне надо было умереть в 1934 году. Как много народу плакало бы обо мне! Кузмин написал бы трогательные строчки обо мне. А Юрочка, как Данте после смерти Беатриче, вырос бы до настоящей своей вершины. <...> И мне не надо было бы самой оплакивать всех, кого я люблю, — и себя саму ...»<sup>10</sup>

Изъятие органами НКВД 8 октября 1938 г. архива Кузмина и Юркуна и, в особенности, гибель спасенной от конфискации части бумаг в блокаду мучили О.Н. всю жизнь: она считала себя виновной в том, что не сумела сохранить прежде всего рукописи Юркуна, лишенного возможности печататься с 1923 г.: «Леонид Соболев получил орден и какие-то грандиозные эпитеты, а Юрочка мой сгинул в безвестии. И я не только не помогла ему спастись, но не сумела спасти его рукописи. Сгинувшие Гумилев и Рембо не погибли, как поэты, и их ждет посмертная слава!»<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Дневник, 18 июня 1958 г. — Центральный Государственный архив литературы и искусства, Ленинград (далее — ЦГАЛИЛ), ф.436, оп.1, ед.хр.22, л.6.

<sup>8</sup> Из письма Н.Сенецкой М.А.Кузмину, 25.02.1934 — ЦГАЛИЛ, ф. 437, оп. 1, ед. хр. 167, л. 13-16.

<sup>9</sup> Драматическая судьба людей этого поколения 1890-1900 гг. «с особой формацией нерва», по словам одного из ярчайших его представителей — художника В.А.Милашевского, друга О.Н., — только становится предметом исследовательского внимания; см.: М.О. Чудакова, М.В.Левин, Е.А.Тоддес. К вопросу о поколении 1890-х годов и его месте в современной отечественной культуре: биография и творчество М.Б.Вериги. — Четвертые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1988, с. 187-195.

<sup>10</sup> Дневник, 18 марта 1946 г. — ЦГАЛИЛ, ф. 436, оп.1, ед. хр. 11, л. 43.

<sup>11</sup> Дневник, 18 июня 1958 г. — ЦГАЛИЛ, ф. 436. оп. 1, ед. хр. 22, л. 40б.

Печальная судьба рукописей Кузмина (в числе изъятых 8 октября 1938 г. значатся и «воспоминания»<sup>12</sup>), а также необычная для крупнейшего поэта скудность мемуарных материалов о нем<sup>13</sup> заставляют с особым вниманием отнестись к свидетельствам О.Н.Гильдебрандт. Публикуемые воспоминания рождались под пером О.Н. не «для печати», а, скорее, как последнее свидетельство человека, сознающего, что «все мои современники уже в земле...»<sup>14</sup>, но лишь отчетливее ощущающего от этого непрерываемость сформулированного для себя императива: «Говорить (или писать) надо или правду, или молчать»<sup>15</sup>. Тем острее реагировала О.Н. в 1970-е гг. на содержащиеся, по ее мнению, в прочитанных ею тогда же воспоминаниях Н.Я.Мандельштам, И.Одоевцевой, в записях Л.К.Чуковской искажения фактов или пристрастно-недоброжелательный тон в отношении любимых ею людей: записи в ее дневниках, да и отдельные места публикуемой рукописи<sup>16</sup> являются своеобразным полемическим «комментарием» (по большей части он касается книг Н.Я.Мандельштам и Л.К.Чуковской). Дневниковый характер записей О.Н. Гильдебрандт обусловил их конспективность и, так сказать, пунктирность: подчас О.Н. ограничивается констатацией вспомнившихся фактов, имен, событий. Такие места — и это хорошо видно на примере публикуемых воспоминаний о Кузмине — требуют «расшифровки». К сожалению, не во всех случаях это оказалось возможным в должной мере. Многого, надеемся, прояснится в будущем. Мы считаем своим приятным долгом поблагодарить всех, чье участие помогло нам в работе над комментарием; и в особенности — А.Г.Петрову, П.В.Дмитриева и Р.Б.Попова.

\* \* \*

Я знала его так много лет, что «прошлое» как-то подернулось туманом — годы слились в одно, и внешний облик в памяти — почти без изменений.

Я начну с данных им (в сотрудничестве с кем-то, но главное, все же его инициатива) комических прозвищ:

*Вяч.Иванов — батюшка.*

<sup>12</sup> Подробнее см. сообщение С.В.Шумихина «Дневник Михаила Кузмина: архивная предыстория». — Михаил Кузмин и русская культура XX века, с. 145-146.

<sup>13</sup> В особенности это относится к периоду 1922-36 гг. Нам известны лишь три позднейших мемуарных свидетельства о Кузмине в эти годы: воспоминания Вс.Н.Петрова (1970; полностью — Новый журнал, 1986, кн. 163), Б.В.Горнунга (1976; Пятые Тыняновские чтения. Рига, 1990) и — частично — Р.Ивнева (1970; Звезда, 1982, №5); отдельные страницы посвящены Кузмину в воспоминаниях В.А.Милашевского «Вчера, позавчера...» (М., 1989).

<sup>14</sup> Дневник, 7 июня 1960 г. — ЦГАЛИЛ, ф. 436, оп. 1, ед. хр. 23, л. 15.

<sup>15</sup> Дневник, 1978 г., без даты — ЦГАЛИЛ, ф. 436, оп.1, ед. хр. 26, л. 15.

<sup>16</sup> Воспоминания О.Н.Гильдебрандт печатаются по копии, снятой публикатором с автографа, хранившегося после ее смерти у А.М.Шадрина.

К.Сомов — приказчик из суконного отделения (для солидных покупателей).

К.Чуковский — трубочист.

Репин — ассенизатор — трусит на лошаденке, спиной к лошади.

Ал. Блок — присяжный поэт из немецкого семейства.

Анна Ахматова — бедная родственница.

Н.Гумилев и С.Городецкий — 2 дворника; Г. — старший дворник-паспортист, с блямбой, С.Городецкий — младший дворник с метлой.

Анна Радлова — игуменья с прошлым.

О.Мандельштам — водопроводчик — высовывает голову из люка и трясет головой.

Ф.Сологуб — меняла.

Ал.Толстой, С.Судейкин и еще кто-то (Потемкин?) — пьяная компания — А.Толстой глотает рюмку вместе с водкой за деньги, Судейкин (хриплым голосом): «Мой дедушка с государем чай пил».

Ю.Юркун — конюх.

А.Ремизов — тиранщик.

Г.Иванов — модистка с картонкой, которая переносит сплетни из дома в дом.

В.Дмитриев — новобранец («Мамка, утри нос!»).

Митрохин — Пелагея («Какóво?»).

Петров — Дон Педро большая шляпа.

Когда я стала бывать у К.<sup>1</sup>, «посетители» были другие, большинство из них переменялись потом.

Бывал Чичерин (ст<арший> брат)<sup>2</sup> — высокий человек с высоким голосом, почти смешным. Говорил о музыке. Помню, рассказывал о своих собаках — «Тромболи» и «Этна».

Бывал «Паня» Грачев, тогда очень худой (потом превратился в очень полного, Пантелеймона)<sup>3</sup>. Иногда играл в 4 руки с М<ихаилом> Ал<ексеевичем> Божерянов<sup>4</sup>. — Потом мы бывали в гостях у его бывшей жены, Иды, и ее подруги, Н.Н.Евреиновой<sup>5</sup> — юристки, сестры Н.Н.Евреинова<sup>6</sup>. Я встретила как-то у них доктора, кот<орый> рассказывал о последних днях Ленина. — Также в гостях у самого Евреинова и его жены — мосей б. подруги, Анны Кашиной<sup>7</sup>, — где часто играли в petits-jeux, и Мих.Ал. узнал меня по «желтой» чашке (он узнавал чашки, а я знала, что он любит розовый и желтый цвет).

Бывали у Радловых — на Васильевском острове<sup>8</sup> тогда — ходили всюду пешком. У них часто бывал Смирнов<sup>9</sup> и Н.Султанова<sup>10</sup>. — Молодые художники — красивый Эрбштейн<sup>11</sup> — брюнет с синими глазами — и Дмитрисв<sup>12</sup>, тогда неприемный — к удивлению мосму, большое увлечение М.А. — потом, через несколько лет, он очень похорошел, стал интересным. Я с ним говорила раньше о балете, и — увы! —

М.Ал. сердился на мою дружбу! Юра тянул меня подальше: я ничего не могла понять.

Бывали мы в доме (временами очень красивой, но претенциозной) дамы, где я познакомилась с И.А.Лихачевым<sup>13</sup> — у нее бывали 2 моряка — Леонида — один из них<sup>14</sup> оказался потом вторым мужем Ольги «Иосиповны» Михальцевой-Соболевой. Юра потом очень разочаровался в ее внешности — она краснела, как в бане, что искажало ее черты Доменико Венециано — и потом она сама городила какие-то пошлости. Главным посетителем у нее был Канкарович<sup>15</sup>, которого потом переманила другая Ольга — наша будущая подруга, — очень хороший человек, — Ольга Ельшина-Черемшанова<sup>16</sup>.

Она и ее муж потом стали бывать, но чаще бывали у них. Канкаровича часто разыгрывали. С Ольгой Ч. дружба у него была до конца. М.Ал. дружил с Анной Радловой<sup>17</sup>, немножко посмеивался над Сережей<sup>18</sup> (что он за режиссер? Любит простоквашу и манную кашу!). — Вероятно, настоящим режиссером в его глазах был Мейерхольд<sup>19</sup> — хотя к нему, как к человеку, у него тоже были некоторые претензии. Вообще я не знала никого, даже обожаемого им Сомова<sup>20</sup>, у кого он не увидел бы каких-то смешных черт. Единственное для него идеальное существо была Карсавина<sup>21</sup>. Он спорил всегда за ее приоритет над А.Павловой — и говорил о ней почти восторженно, и не позволял ни другим, ни себе ни одного плохого слова. Юра говорил, что когда они бывали у Мухиных, Юра говорил с Мухиным<sup>22</sup>, а М.А. сидел у больной Карсавиной, и она говорила с ним доверительно. Вероятно, М.А. и Юре не рассказав об их разговорах. (Я предполагаю, после ее воспоминаний<sup>23</sup> — не говорила ли она о своей тайной любви к Дягилеву?)

М.А. больше всех из дома Радловых ценил Корнилия П.Покровского, очень высокого, и с очень плохой дикцией, человека. Он был очень благородный, «настоящий» человек. М.Ал. жалел его за то, что он поддался требованию Анны — заключить нелепый брак с нею<sup>24</sup>. Впрочем, разговоры велись с легкой иронией, как всегда — но К.Павл. нельзя было не уважать. Его брата «Володю»<sup>25</sup> больше вышучивали. Он с «мальчиками» вел балетные разговоры. Мих.Ал. жалел Покровских, когда Радловский дом перекочевал к ним на Чайковскую<sup>26</sup> и «гнездо» Покровских распалось. Впрочем, симпатии К. к Радловым всегда были теплыми.

Бывали у художника Арапова на Мойке<sup>27</sup> (Пушкинский вид из окна), — но его у К. я не помню!

Бывал у него Шапорин<sup>28</sup>. Позднее — Стрельников<sup>29</sup> (если говорить о композиторах).

Не помню Кроленко<sup>30</sup> и вообще «редакторских» людей. Изредка К. ездил к Ал. Толстому<sup>31</sup>. Бывали: [пропуск в тексте]. Я вспоминаю, отгалкиваясь от записок Вс.Петрова<sup>32</sup>, там многое не совсем-то правильно.

Мих.Ал. иногда играл и «свое». Очень мне понравилось (почти до слез), как будто, «шимми» из «Эугена Несчастливого»<sup>33</sup>, — которое я услышала по возвращении из поездки.

Больше всего в искусстве он любил Моцарта — просто молитвенно. Я долго не могла понять в Моцарте ничего, кроме 18 века — вроде Гретри, Гайдна и т.п. — Я поняла только (отчасти), услышав «Дон-Жуана». М.А. Бетховена считал «протестантом» (в его устах — почти осуждение), но в религиях ему больше всего нравилось православие («теплее» всего). Я не замечала особой нежности к Шопену. Любил Бизе, Делиба (я вполне понимала), — Дебюсси. Не так уж пламенно — Равеля. Из русских — Мусоргского (я не понимаю!), даже больше Бородина. Слегка насмешливо — к Чайковскому. Рассказывал со смехом о Римском-Корсакове<sup>34</sup>. Как он стал писать «римскую» оргию. Кто-то спросил его: «Но ведь вы же не пьете?» — он объяснил, что выпил как-то немного портвейна или мадеры. Нравился Стравинский — и Шостакович будто на 2-м месте, до Прокофьева. Чрезвычайно любил Веберна. Был заинтересован Альбаном Бергом<sup>35</sup>. Сейчас забыла фамилию — [пропуск] «Бразильские танцы». — Ему нравились некоторые дирижеры — на концертах бывал часто. Нравились некоторые немецкие романсы («Füg dich»), — любил оперетты Жильбера, Легара. Меньше Кальмана.

Милашевский зря пишет<sup>36</sup>, что Феона<sup>37</sup> и Ксендзовский<sup>38</sup> — вроде по доброте — подкармливали К. Зная театральную публику, думаю, что его «скорее умасливали» за статьи. Он писал откровенно — многое ему нравилось, — но, помню, выругал Тиме и даже талантливого Утесова<sup>39</sup>. Помню, что «мучился» с критикой Ольгиной — жены Феона, — кажется, удалось «помягче» написать<sup>40</sup>. Феона он ценил. Кино он любил — особенно немецкий экспрессионизм. «Мабузо», «Индийская гробница», не говоря уж о «Калигари»<sup>41</sup>. Фейт, В.Краус, — больше, чем Янингс<sup>42</sup>, Пауль Рихтер в роли Гуля — несколько похожий на Льва Лъвовича<sup>43</sup> — которого он окрестил «Новым Гулем». Нравился режиссер Гриффитс («Интолеранс») <sup>44</sup>. Из женщин нравилась американка Лотрис Джой («Вечно-чужие») — и он обрадовался, узнав, что у нее немецкое происхождение. Эрик ф.Штрөгем, Чаплин и Б.Китон (позже Гарольд Ллойд). Нравилась Аста Нильсен<sup>45</sup>. Из русских актеров любил Варламова, К.Яковлева — во МХАТе — Леонидова<sup>46</sup>. Первой красавицей считал Лину Кавальери<sup>47</sup> (красота равна гению, и ее он ставил, как Шаляпина в опере). Он, конечно, не возносил ее, как певицу — хотя она и была не так уж плоха! — Ценил Фокина; как балетмейстера. Вспоминал — увлеченно — Дягилева. Говорил о балерине Смирновой<sup>48</sup>: «У нее выходка» (это не значит, что он ее любил). Талантливую Лидочку Иванову назвал будущей балериной из «Петрушки»<sup>49</sup> — что слегка огорчало ее отца — он, после ее страшной

смерти, ждал, что ее назовут будущей лебедью или Жизелью. Кажется, не был потрясен Спесивцевой — «выше Павловой», как говорил Дягилев — м~~ожет~~ б~~ыть~~», любовь к Карсавиной не допускала таких похвал!

О стихах: Пушкин<sup>50</sup> — Батюшков — не слишком Лермонтов<sup>51</sup> и даже Тютчев; из писателей — Лесков<sup>52</sup>, Достоевский<sup>53</sup>, Гоголь<sup>54</sup>; — Диккенс (больше Теккерея), Шекспир<sup>55</sup>, конечно, и Гете<sup>56</sup>, — Гофман (род зависти, что тот выдумщик на сюжеты, что, в какой-то мере, мог, но не доканчивал Юра), д'Аннунцио, Уайльд<sup>57</sup> (больше Шоу), — одно время Ренье<sup>58</sup> (потом ослабел), так же и Франс<sup>59</sup> (сильно, но со спадом), — немцы — Верфель? — Очень роман «Голем»<sup>60</sup>. — Считал талантливым Введенского (больше Хармса)<sup>61</sup>, не слишком [пропуск в тексте], — Пастернака (особенно проза)<sup>62</sup>, — но как будто не клюнул на обожаемого Пастернаком Рильке. К Блоку относился прохладно, хотя не судил<sup>63</sup>! Вячеслава в свое время, верно, любил, — но после пошли контры<sup>64</sup>. Хорошо — к Ремизову<sup>65</sup> и к (даже) Зошенко; к Сологубу<sup>66</sup>. Стали нравиться первые вещи Хемингуэя.

Когда я впервые попала в дом К. (и Юры), больше всего нового услышала о живописи. Я еще не рисовала, но любила живопись и бывала с детства в музеях и на выставках. Из художников (на репродукциях) увидела Синьорелли, Содому, дель Кастаньо, Кривелли, Б.Гоццолли, — всех «прерафаэлитов» (настоящих) К. очень любил. Он подарил мне довольно скоро картину Боттичелли «Венера и Марс», — в рамке. После войны она у меня пропала. У Юры было пристрастие к Гизу, кот~~орое~~ сразу я не поняла — у них были не во всем одинаковые вкусы, — но, думаю, что К. как-то «покорно» воспринимал «новые» увлечения Ю. в живописи (напр~~имер~~ Дюфи). — Он всегда говорил, что любит Клода Моне больше, чем Э.Мане (мы спорили), вероятно, п~~отому~~ ч~~то~~ Клод поразил его на первой фр~~анцузской~~ выставке, кот~~орую~~ он видел в жизни, — и потом, в Клоде была сюжетность, а посетителям нравится сюжет в картине.

Ему нравились русские иконы; из «Мира Иск~~усства~~» выше всех ставил Сомова. Судейкин<sup>67</sup> ревновал к этому отношению к Сомову! Не помню особого восхищения Врубелем. Посмеивался (в жизни) над болтливым Бакстом. Нравились немцы: — Менцель — Вальзер (маленькие немцы), — Гофман, — и особенно — Ходовецкий.

Удивительно, К., хотя у него была фр~~анцузская~~ кровь, не мечтал о Париже. Он предпочитал Германию, — и особенно Италию. Но свое отношение к Италии он «вполне» выразил в своих стихах<sup>68</sup>.

Цветы любил: розы, жасмин, левкой. «Сухие» — запахи. Любил: духи, пудру, — а не одеколон, мыло. — Цвет: розовый, желтый; теплые тона.



Под влиянием Ю. стал любить клетку. Но м<ожет> б<ыть>, любил и раньше. Увлечение «американизмом» у Ю. (и в литературе) — перешло во «Вторник Мэри»<sup>69</sup>.

Я не помню, как относился К. к Головину (в то время); но раньше — он просто благоговел за «Орфея и Евридику»<sup>70</sup>.

Далекое прошлое! Но почти все осталось, как было — во вкусах. Я очень любила Кузмина (до знакомства) за мажорную певучесть и мажорную эстетичность (то, что бывает у Бизе). В прозе мне очень нравилась историческая тема. Но «русская» провинция и особенно русские Ванечки мне казались не совсем приличными. Я удивлялась, но не смела говорить об этом — из уважения к его возрасту и таланту. Ведь у Шекспира были женские характеры (как мужские) — даже Джульетта в своей героической стойкости. Совсем не надо было «любовь» облачать в штаны банщика. Ведь это так испортило память о большом поэте!

О К. много написано, много, м<ожет> б<ыть>, будет, еще нового сказано, но, конечно, было бы не только осторожнее, но просто умнее завуалировать некоторые вещи. Я никогда в жизни не видала и не слыхала ничего непристойного ни в поведении, ни в словах (в жизни) М. Ал. Он как будто сам на себя «клепал» какие-то непристойности в некоторых произведениях. Как будто хвастался — наоборот — Чайковскому, кот<орый> так всего боялся и стеснялся! Я думаю, его трагедия была в том, что влюблялся в мужчин, которые любят женщин, а если шли на отношения с ним, то из любви к его поэзии и из интереса к его дружбе. Свои «однокашники» (что ли?) ему не нравились, даже в прелестном облике.

Главное, что стало его горем, — это желание иметь семью, свой дом, — и что «почти» становилось с Юрой, — но Юрина тюрьма<sup>71</sup> разделила временно, — а потом сблизила, хоть и печально — настала бедность и всякие страхи! Юра не был близок с матерью<sup>72</sup>, это были какие-то перегородки — я же — не виновата! Я нисколько не старалась ничего у них изменять, — я была бы рада «побегать на стороне», — но Юре казалось, что «скоро все кончится» — (16 лет?! ) — и держал меня при себе. Почти насильно. Я не смела сопротивляться.

Жить жизнью искусства в «наши» годы (в молодости) — очень трудно! Я, конечно, это счастьем не считаю.

Могла ли я вырваться тогда? — В единственном случае, когда мне этого реально захотелось, — это было бы бесстыдно. Юре было и так очень трудно, просто невыносимо. Мы все как-то «внешне» весело — несли свой крест.

Читая Ахм<атову> (вернее, Лидию Ч<уковскую>), поражаешься ее отпением к Кузмину<sup>73</sup>. Я никогда не слыхала плохого от К., от Юры — да — он был возмущен «неблагодарностью» А. за предисловие к «Вечеру»<sup>74</sup>. («Путевка в жизнь» — сказали бы теперь!)

Самое нелепое — это страх А. перед Радловой... «Большой дом»<sup>73</sup>! Что за чушь! Кого можно было заподозрить — это актриса Ф. И певица (фамилию забываю). Я говорила об этом (потом — с Олей Ч<еремшановой>) — ею увлекался отец Оли.

Но Радлова восторженно говорила о власти, Юра смеялся, что она в честь Грозного — С. назвала «Иваном». Но в их доме ничего «страшного» не было. И кто бывал у М.А.? Люди, совершенно приличные с точки зрения гомосекс. — художники: Верейский<sup>76</sup>, Воинов<sup>77</sup>, Костенко<sup>78</sup>, Митрохин<sup>79</sup>, Добуж<инский><sup>80</sup> (без меня); — Н.Радлов<sup>81</sup>, Шведе<sup>82</sup>, Ходасевич<sup>83</sup> (он у нее; я не была, она, за ее остроумие, была любимицей М.Ал.) — Осмеркин<sup>84</sup>, «13»<sup>85</sup> — Милаш<евский>, потом Кузьмин<sup>86</sup>, Костя К.<sup>87</sup> с Люлей<sup>88</sup>; Домбровский<sup>89</sup> с женой; Кузнецов<sup>90</sup>; в начале — Орест Тизенгаузен<sup>91</sup> с женой Олей Зив<sup>92</sup>; Дмитриев (вначале. Это главное «увлечение». До Л.Л.), потом Л.Л. женился на Наташе С<ултановой> (что всех удивило, очень. Он любил полных), Жения Кр.<sup>93</sup> (приведший Костю и Люлю). Я могу удостоверить, что ничего неприличного я не только в «действии», но и в словах не видела; самое неприличное было в рассказах (м<ожет> б<ыть> в некоторых стихах). И какие сплетни?! Болтали обо всем, как у всех. Но «специфичности» не было.

Да, люди. Федя Г. (я привела, по просьбе Кости, но потом направила его к Косте и Люле — более молодая компания). — Вс. П<етров>, красавец Корсун<sup>94</sup>, красавец Ст., «мой» Б.<sup>95</sup> — из Москвы, — Лихачев, Ш.<sup>96</sup>, Егунов<sup>97</sup> (с Юрой на «ты»); Скрыдлов (в начале; потом он уехал)<sup>97а</sup>; Юрины «барахольщики» — Михайлов, Дядьковский; еще с кем-то «по обликам»; Лавровский («мой поклонник», он потом женился на очень красивой женщине)<sup>98</sup>. Почти все эти люди к г<омосексуализму> никакого отношения не имели! — и какой «общий» для посетителей «Салона» язык? Люди все были разные, и никакого общего языка не было!

Даже Юра и М.А. совершенно разные люди!

А я осталась тенью в чужих судьбах. Меня берегли, спасали... Немного мелочей (и неправильных) у глупой О. и умной Нади<sup>99</sup>.

...Очень неверно о внешности А.Радловой. Какая она жаб<sup>100</sup>? С моей «балетно-классической» формулировкой красоты — Анна была очень красивая. Если бы у нее был рост Рыковой<sup>101</sup>, ее можно было бы назвать красавицей. Красавица — кариатида. Но это мешало ей — недостаточная высота. Она была крупная, но надо было бы еще! Ее отверстые глаза и легкая асимметрия — конечно, красивы. Но в ней не было воздушности и женской пикантности.

Я думаю, М.Ал. «сочинял» эмоционализм, и Радловский дом был ему симпатичен — и полезен — а недостатки он видел везде и всюду! Он был насмешник!

Был ли он добр? Думаю, что нет. Г. был прав: «Мишеньке — 3 года»<sup>102</sup>. Тут и застенчивость, и неполноценность

(в чем-то!), и неумение устраиваться самому. Но зла он не делал; просто больше ценил тех людей, которые были или вдохновительны в литературе, или любили его литературу, а не тех, которые сделали ему доброе. Что-то помню о какой-то доброй тетке, кот<орой> он не слишком благодарен.

Не любил ходить на похороны — например не пошел на похороны мамы Л.Л.<sup>103</sup>, — а она была очень хорошая; и мне неудобно было пойти. Конечно, у Юры было больше доброты (и благодарности).

Я думаю, он к Юре был особенно привязан, считая его очень талантливым. Он очень хотел продвинуть его вперед. Но жизнь мешала этому. Вероятно, дружба с Радловыми укрепилась за то, что они любили и ценили Юру.

*Похороны М.А.* Раньше — его смерть. Я, увы! не пошла его навещать — думая, что его больница ближе — я поехала к больному Осмеркину — против Витебского вокзала.

М.Ал. говорил перед смертью — о балете — сказал: из Лермонтова — «любить? Но на время не стоит труда, а вечно любить — невозможно» — но это — между строк — он казался спокойным.

Сколько помню, отпевали его (заочно) в Спасском соборе. Я думала, какую икону можно будет положить в гроб? М.Ал. любил Богородицу, как мать, а не как Святую Деву! Кто с нами был — не помню. С утра — в больницу, — первым, кого я увидела, был... я забыла фамилию — Гибшман? — Или нет? — Гамлетовский шут?!. — Он и ушел сразу. Гриша Левитин<sup>104</sup> говорит, что он раньше всех привел худ<ожника> Константиновского, кот<орый> делал зарисовку М.Ал. в гробу<sup>105</sup>. М.Ал. умер и был похоронен вскоре после Горького<sup>106</sup> — и поэтому не было роз. Я не знала, будут ли цветы, и заказала большой вснок — зеленый, с цветочками, — но цветы были.

Я помню, большой букет сирени, который положил Голлербах<sup>107</sup>. Народу — казалось — было много. Я беспокоилась, как осторожно всунуть иконку. Во дворе двигались люди — помню — Володя Лебедев пришел с Саррой<sup>108</sup>; мелькнул Дмитриев — Юра ему что-то сказал, почти шутливо; Костя — с Женей? — отдельно от Люли, что меня очень удивило! Когда люди прощались — помню — подходила Катя Чернова (с Дм.Прок.?)<sup>109</sup> — А потом — Любовь Дм.Блок<sup>110</sup>, — поцеловала руку Мих.Ал. —

Комическое явление (развеселило бы М.Ал.) — Аннушка с Вовой, — почти опаздывающая — с домашним цветком — вроде красной лилии и заголосившая — М.Ал. бы посмеялся! Я ему потом мысленно рассказывала эту сценку.

Когда двинулись на кладбище, играла музыка, но я не помню, Шопена или что-то другое. В общем, было торжественно. Люди как-то чередовались.

Лев Л<ьвович> захватил Нат<алью> Вл<адимировну>, с которой уже развелся. Анна Дм<итриевна> держалась за Ренэ Никитину<sup>111</sup>. Сергей был, но не на кладбище. Я шла с Юрой, но не все время. Одно время шла — с красавцем Корсуном посередине — с Ек.Конст. (Бена в городе не было)<sup>112</sup>. С другой стороны Ек.Конст. шла румяная натурщица Осмеркина, которая несла в руках румяные цикламсы в горшочках (Осмеркин был болен). Моя мама<sup>113</sup> ехала в карете, и там же Вероника Карловна. Юра подумал — как всегда, тактично — умолчать о смерти М.Ал. Тане, которая должна была идти на танцульку с Наташей<sup>114</sup>, а если б знала о смерти, постеснялась бы идти на танцы! Лина Ив.<sup>115</sup> — не знаю, верно, была на работе!

На кладбище — было прекрасное место — на горке, и под укрытием — прямо по дороге в церковь — солнечное. Рядом могила Антона Успенского с очень индивидуальным маленьким памятником.

Говорили: Всев.Рождественский<sup>116</sup> — очень вяло, и что-то, как о предшественнике Блока? — потом — наш друг Спасский<sup>117</sup> — тоже как-то никак, — и замечательно — Саянов<sup>118</sup>. Я очень плакала, и Саянов потом подошел ко мне, обнял и крепко держал. Потом говорил Юра, я испугалась, но потом его хвалили за его речь. На похороны приезжал Ауслендер<sup>119</sup>, но на кладбище я его не помню. Подходило много народу, — Никитина, Слонимский<sup>120</sup>, все были очень очень добры к нам.

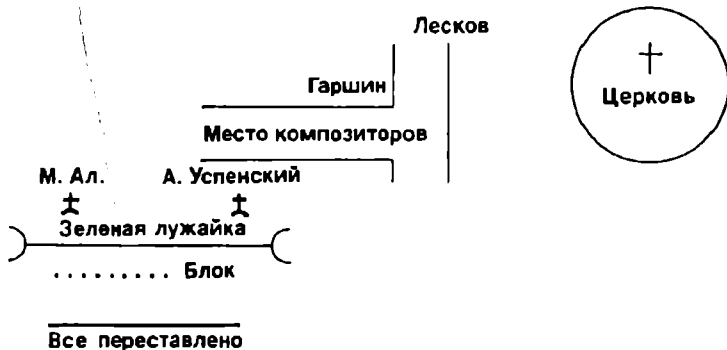
Подошел Пунин<sup>121</sup>, просил прощения за отсутствие больной Ахматовой — очень похвалил Юру за его речь, а мне поцеловал руку и улыбнулся... косыми глазами Гумилева — и да простит меня Юрочка — радуга мелькнула на плачущем небе!

При разезде что-то нелепое, как всегда, проявил Ельшин — наша милая Ольга Черемшанова была больна.

Я не помню, в этот вечер или в другой Юра давал читать Сергею Ауслендеру дневник М.Ал.

На панихиде на кладбище на другой день, о которой пишет Вс.Петров<sup>122</sup>, была Радлова и еще несколько человек. И тут, действительно, батюшка пожелал долгой жизни и — жить весело. Было февральское жаркое солнце, цветы на могиле лежали в порядке. Вероятно, нет — я наверное «зсмяю» сказала Юрочке положить потихоньку в гроб — здесь же была только панихида, заупокойная была в церкви до погребения.

Когда я после войны приехала в Л<енингра>д, могила была на месте, но без креста. Крест я ставила, и цветы носила. Потом была на кладбище перестановка — по-моему, «часовни» все сняли, и я долго не могла найти могилу. Потом она оказалась в другом месте, но опять рядом с А.Успенским. Вблизи Блока. По прямой от родных Ленина.



27 мая (14 по ст.ст.) <1978 г.>

Вчера был Сол.Д.<sup>123</sup>, сказал, что умерла Карсавина, 93 лет<sup>124</sup>. Мне жалко, что я не «понатужилась» добиться ее адреса и написать ей. Я думаю, ей было бы приятно узнать, как ее любил и ценил Михаил Алексеевич. Как-то особенно. Старался склонить любовь к ней поклонников Павловой. Я не решилась. Давно мне все утомительно. Страшно быть не могло! А ей «на старости лет» была бы радость. Я должна это понимать — особенно теперь. Вероятно, виной — моя инертность. Я еще помню ее на сцене. Голубовато-лиловый костюм (Клодид? Виолант?) — и ветка в руках... И какой красавицей она была на «щитах» — царь-девицей! Кто еще помнит? Мало кто!!! Простите меня, Тамара Платоновна! *Теперь* это, м<ожет> б<ыть>, никому не нужно! А славы ей хватало. И жизнь — внешне — счастливая.

А что-то ее сын? В честь «Серебряного»? — Мне не нравилось это имя. Сын В.В.Мухина? Или он записан на англичанина? плохого писать не хочу. Да это мелочи. — Рашевская<sup>125</sup> брякала, Красовская<sup>126</sup> (первая — мне, вторая — через других). Третий «минус» — фр. журнал (у меня).

М.А. думал (т.е. говорил), что она почти святая. Так говорила и «Шурочка» (не помню фамилии), уславшая в Италию, со слов Бруса<sup>127</sup>, у кот<орого> был роман с Шурочкой и кот<орый> эту Шурочку звал «la princesse pensBe»<sup>\*</sup>.

\* «принцесса мысли» (фр.).

Г. сказал про культурную балерину: «это — наша дама». Она была прелестная балерина. Я, конечно, завидовала (бадисту!).

[Из рассказов О.Н.  
25 января 1979 г.]\*\*

М.А. считал, что человека можно уважать за красоту (Л.Кавальери); гений (Шаляпин); богатство; ученость (А.А.Гвоздев)<sup>128</sup>.

«Вы были бы лучше, если бы больше врал. Что у Вас за немецкая черта — прямота? Лотта!»<sup>129</sup> [М.А. об О.Н.].

#### КОММЕНТАРИИ

<sup>1</sup> О.Н.Гильдебрандт познакомилась с Ю.Юркуном и «стала бывать» в доме Кузмина в конце 1920 г. См. ее заметку «Немного о себе» (Художники группы «Тринадцать». М., 1986, с. 153, 201).

<sup>2</sup> Николай Васильевич Чичерин (1865-1939) — композитор, старший брат Г.В.Чичерина, близкого друга Кузмина в 1890-1903 гг., в 1918-1930 гг. наркома иностранных дел РСФСР и СССР.

<sup>3</sup> Пантелеймон Владимирович Грачев (1889-1966) — в 1920-х гг. сотрудник Государственного Института истории искусств (ГИИИ), музыковед.

<sup>4</sup> Александр Иванович Божерянов (1882-?) — художник. Оформил обложки «Собрания сочинений» Кузмина (в изд. М.И.Семенова, Пг., 1914-1918, т.1-9), автор силуэтного портрета Кузмина и графических украшений в кн. «Лесок» (Пг., 1922). С 1925 г. в эмиграции (см. его письмо Кузмину из Парижа от 28 декабря 1925 г. — ЦГАЛИЛ, ф. 437, оп. 1, ед. хр. 17).

<sup>5</sup> Наталья Николаевна Евреинова — в 1920-е гг. — член Ленинградской городской коллегии защитников.

<sup>6</sup> Николай Николаевич Евреинов (1879-1953) — режиссер, теоретик и историк театра, драматург.

<sup>7</sup> Анна Александровна Кашина-Евреинова (1899-1981) — автор книги о своем муже: «Николай Евреинов и мировой театр XX века». Париж, 1964.

<sup>8</sup> В начале 1920-х гг. А.Д. и С.Э.Радловы жили по адресу: Васильевский остров, 1 линия, д.40. В 1927 г. Радловы переехали к К.П.Покровскому (см. прим. 24), на Сергиевскую (с 1923 г. — ул. Чайковского) ул., 16, кв.7.

<sup>9</sup> Александр Александрович Смирнов (1883-1962) — литературовед, переводчик.

<sup>10</sup> Наталья Владимировна Султанова — в начале 1930-х гг. жена Л.Л.Ракова.

<sup>11</sup> Борис Михайлович Эрбштейн (1901-1964) — художник. В начале 1932 г. арестован по «делу» детского сектора Ленгосиздата и до 1936 г. находился в ссылке; см.: Б.Эрбштейн. Письма оттуда. — Искусство Ленинграда, 1989, № 6, с. 70-81.

\*\* Записано М.В.Толмачевым

<sup>12</sup> *Владимир Владимирович Дмитриев* (1900-1948) — театральный художник. Оформил постановку пьесы Эрнста Толлера «Эуген Несчастный» («Hinkemann», 1922), осуществленную С.Радловым (хореография Г.Баланчивадзе [Дж.Баланчина], музыка Кузмина) в Гос.акад. Малом театре. Премьера спектакля состоялась 15 декабря 1923 г.

<sup>13</sup> *Иван Алексеевич Лихачев* (1902-1972) — литературовед, переводчик и поэт. Подробнее о нем см. в воспоминаниях Вс.Н.Петрова (Новый журнал, 1986, кн.163), а также Т.Л.Никольской («Из воспоминаний об И.А.Лихачеве». — Русская мысль, 1991, 27 сент., № 3897, с. 12).

<sup>14</sup> Имеется в виду *Леонид Сергеевич Соболев* (1898-1971) — советский писатель; в 1918-1931 гг. служил в Красном Флоте.

<sup>15</sup> *Анатолий Исаакович Канкарович* (1885-1956) — композитор и критик, автор музыки к «театрально-музыкальной сюите» Кузмина «Прогулки Гуля» (1924; впервые опубли.: М.Кузмин. Собрание стихов. Т. III. München, 1977, с. 559-567).

<sup>16</sup> *Ольга Александровна Черемшанова* (Ельшина) (1904-1970) — поэтесса, актриса, чтец-декламатор. Характеризуя поэзию Черемшановой в предисловии к ее сб. «Склеп» (Л., 1925), Кузмин писал: «Стихи ее все, как и народные песни, не для чтения глазами, а для произношения вслух» (с. 5-6). Некоторые биографические подробности, неопубликованные стихи и анализ ее творчества см.: Т.Л.Никольская. Тема мистического сектантства в русской поэзии 20-х годов XX века. — Уч. зап. Тарт. ун-та, вып. 883, Тарту, 1990, с. 157-169. Воспоминания Черемшановой (доведенные до 1917 г.) хранятся в собр. М.С.Лесмана (Петербург). Черемшановой посвящен цикл «Пальцы дней» (1925) в кн. «Форель разбивает лед». В 1927 г. в день рождения Черемшановой (26 апреля) Кузмин преподнес ей «портрет в стихах» — посвященное ей стихотворение «Был бы я художник, написал бы...» (автограф в собр. Лесмана; см.: Книги и рукописи в собрании М.С.Лесмана. М., 1989, с. 302; стих. впервые опубли.: Лит. Грузия, 1971, № 7).

<sup>17</sup> *Анна Дмитриевна Радлова* (урожд. Дармолатова; 1891-1949) — поэтесса, переводчик, адресат нескольких стихотворений Кузмина и цикла «Форель разбивает лед» (1927). Восторженная оценка творчества Радловой Кузминым, называвшим ее «подлинным и замечательным поэтом с большим полетом и горизонтами» («Письмо в Пекин». — Абракасас, П., 1922, октябрь, [вып. 1], с. 60), а ее литературный дебют — «поэтическим событием» («Парнассские заросли» — Завтра.1. Берлин, 1923, с.118), имплицитное противопоставление творчества Радловой ахматовскому в литературно-критических статьях Кузмина, а также кружковая близость (ср. подписанную вместе с Анной и Сергеем Радловыми «Декларацию эмоционализма») обернулись острым неприятием Радловой и ее «салона» рядом современников и позднейших мемуаристов (ср., например: Н.Мандельштам. Вторая книга. М., 1990, с. 106, 371).

<sup>18</sup> *Сергей Эрнстович Радлов* (1892-1958) — театральный режиссер, член группы «эмоционалистов»; ему посвящена пьеса

Кузмина «Смерть Нерона» (1929). О режиссерской деятельности Радлова см.: Håkan Lövgren. Sergei Radlov's Electric Baton: the «Futurization» of Russian Theater. — Theater and Literature in Russia. 1900-1930. Stockholm, 1984.

<sup>19</sup> Начало многолетнего сотрудничества В.Э.Мейерхольда и Кузмина было положено постановкой в конце 1906 г. «Балаганчика» Блока в театре В.Ф.Комиссаржевской: Кузминым была написана музыка к спектаклю. В 1910 г. Кузмин принимал участие в деятельности «Башенного театра»: играл в спектакле по пьесе Кальдерона «Поклонение кресту» (19 апреля), был одним из авторов коллективного послания «Рехидору Башенного театра» — Мейерхольду (см.: Н.Волков. Мейерхольд. М.; Л., 1929, т. 2, с. 100-101). Ранее, при организации Дома Интермедий, Кузмин вместе с Мейерхольдом и Н.Н.Сапуновым составили его Художественный комитет; ко многим постановкам Дома Интермедий Кузмин написал музыку, ему же принадлежит и идея использовать имя гофмановского персонажа — Доктор Дапертутто — в качестве псевдонима Мейерхольда, который тот сохранил и при издании в 1914-1916 гг. журнала «Любовь к трем апельсинам». Принадлежавший, по мнению Мейерхольда, к «зачинателям нового театра» (Н.Волков, указ. соч., с. 190) Кузмин посвятил режиссеру «Чудесную жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» (1916). Перечень совместных постановок см. в кн.: В.Э.Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы. Т. 1-2. М., 1968, по указателю.

<sup>20</sup> Константин Андреевич Сомов (1869-1939) познакомился с Кузминым летом 1905 г.; автор двух портретов Кузмина (1909, ГТГ, акв., гуашь), его постоянный корреспондент (обширный свод писем Кузмина к Сомову см. в Секция рукописей ГРМ; письма Сомова Кузмину — ГПБ, ф.124). Творчество Сомова — одна из самых ранних и глубоких привязанностей Кузмина в сфере «Мира искусства». Свидетельство их дружбы в 1905 — нач.1910-х гг. — посвящение «Дорогому Сомову» «Приключений Эме Лебефа» (СПб., 1907) — книги, оформленной художником, а также письма Сомова Кузмину, опубликованные частично в кн.: Константин Андреевич Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979, с. 94-96. Некоторое охлаждение этих отношений во второй половине 1910-х гг., во всяком случае со стороны художника, не помешало Кузмину в предисловии к его альбому (Пг., 1916) констатировать выход творчества Сомова «на мировую арену гения» (без паг.).

<sup>21</sup> «Т<амаре> П<латоновне> Карсавиной» посвящено стихотворение Кузмина (1914), написанное в связи с выступлением балерины на «вечере танцев XVIII века» 26 марта 1914 г. в «Бродячей собаке». Ср. также упоминание о «другой Тамаре» в стихотворении Кузмина «Поручение» (1922) и мемуарное свидетельство И.Одоевцевой в ее кн. «На берегах Невы» (М., 1988, с. 288).

<sup>22</sup> Василий Васильевич Мухин — первый муж Т.П.Карсавиной (их брак был заключен в 1907 г.). В нач.1930-х гг. был выслан и жил за «стеной» в Малой Вишере. По свидетельству О.Н.Гильдебрандт, видимо, погиб в годы войны (см.: Михайл Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990, с. 250; далее это издание обозначается сокращенно: МК и РК).



<sup>23</sup> Русский перевод воспоминаний Т.П.Карсавиной, изданных по-английски (New York, 1931): Театральная улица. Л., 1971.

<sup>24</sup> *Корнилий Павлович Покровский* — инженер, адресат посвящения цикла «Лазарь» (1928) в кн. Кузмина «Форесть разбивает лед» (Л., 1929). Покончил с собой в июле 1938 г. Его брак с А.Д.Радловой (видимо, непродолжительный) был заключен в 1926 г. (см. письмо к нему С.Э.Радлова от 8 сентября 1926 г. и ответ Покровского 21 сентября того же года — ОР ГПБ, ф. 625, ед. хр. 345, 462).

<sup>25</sup> *Владимир Павлович Покровский* — инженер-гидролог, адресат стихотворения А.Д.Радловой «С Запада приезжают люди...» из ее сборника «Крылатый гость» ([Пб.], 1922, с. 28-29). См. также стихотворный экспромт Кузмина В.П.Покровскому (Книги и рукописи в собрании М.С.Лесмана, с. 121; инициалы ошибочно — «В.Н.»).

<sup>26</sup> См. прим. 8.

<sup>27</sup> *Анатолий Афанасьевич Арапов* (1876-1949) — живописец и театральный художник, жил на Мойке, 18.

<sup>28</sup> *Юрий (Георгий) Александрович Шапорин* (1887-1966) — композитор. В 1919-1920 гг. и в 1922-1928 гг. заведующий музыкальной частью Большого Драматического театра (в 1919-1924 гг. делил этот пост с Кузминым и Б.В.Асафьевым).

<sup>29</sup> *Николай Михайлович Стрельников* (Мазенкампф) (1888-1939) — композитор, музыкальный критик и дирижер. В 1922-1928 гг. заведовал музыкальным отделом газеты «Жизнь искусства».

<sup>30</sup> *Александр Александрович Кроленко* (1889-1970) — издательский работник, книговед и редактор, руководитель издательства «Academia» (1921-1929). В 1924 г. в этом издательстве вышел сборник Кузмина «Новый Гуль»; в «Academia» был анонсирован (но не вышел) и сборник «Параболы», изданный в 1923 г. в Берлине «Петрополисом», но запрещенный к ввозу в СССР.

<sup>31</sup> О встречах Кузмина с А.Н.Толстым вспоминает редактор московского машинописного журнала «Гермес» Б.В.Горнунг: в 1923 г. он был свидетелем «очень интересного» разговора Кузмина с Толстым, в котором «затрагивалась позиция журнала «Абракасас» в сравнении с < ... > «Гермесом», причем «Толстой ругал позиции обоих журналов, несмотря на их огромное различие» (Б.Горнунг. Из воспоминаний о Мих. Ал. Кузмине. — Пятое Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990, с. 175). 26 октября 1925 г. на заседании Ленинградского общества bibliофилов, посвященном 20-летию литературной деятельности Кузмина, Толстой прочел «вступительное слово» (см.: К XX-летию литературной деятельности М.А.Кузмина. [Л., 1925]).

<sup>32</sup> *Всеволод Николаевич Петров* (1912-1978) — искусствовед, познакомился с Кузминым в 1933 г. Написанные в 1970 г. его воспоминания о Кузмине были с сокращениями опубликованы в сб. «Панорама искусств» (М., 1980, вып. 3); полностью напечатаны Г.Г.Шамаковым; см.: Вс.Петров. Калиостро. Воспоминания и размышления о Михаиле Кузмине. — Новый журнал, 1986, кн. 163, с. 81-116.

<sup>33</sup> См. прим. 12. «Шимми (из “Эугена Несчастливого”)» Кузмин предполагал исполнить на своем вечере в московском кружке «Антиной» 12 мая 1924 г. (см. письмо В.В.Руслову от 17 марта 1924 г., опубликованное А.Г.Тимофеевым: МК и РК, с. 184).

<sup>34</sup> В 1893-1895 гг. Кузмин учился в Петербургской консерватории, в том числе у *Н.А.Римского-Корсакова* (контрапункт и fuga).

<sup>35</sup> *Альбан Берг* (1885-1935) — австрийский композитор-экспрессионист, корреспондент Кузмина. Их отношениям посвящена специальная работа: С.Волков, Л.Флейшман. *Альбан Берг и Михаил Кузмин*. — *Russian Literature Triquarterly*, 1976, № 14, p. 451-456.

<sup>36</sup> *Владимир Алексеевич Милашевский* (1893-1976) — художник, один из основателей группы «Тринадцать» (см. прим. 92), меценат (см. его «воспоминания художника» «Вчера, позавчера...» [М., 1989]). Автор иллюстраций к «Занавешанным картинкам» Кузмина («Амстердам <Пг.>, 1920»). О.Н.Гильдебрандт полемизирует с утверждениями Милашевского о необходимости «подкармливать стареющего поэта» в 1920-е гг. (см.: В.Милашевский. Дом на Мойке. — *Звезда*, 1970, № 12, с. 199).

<sup>37</sup> *Алексей Николаевич Феона* (1879-1949) — актер и режиссер оперетты. В начале 1920-х гг. работал в Музыкальной комедии, в 1928 г. организовал Театр музыкальной комедии. В 1919-1927 гг. был также режиссером Малого оперного театра.

<sup>38</sup> *Михаил Давыдович Ксендзовский* (1886-1963) — артист, с 1920 г. выступал в Музыкальной комедии.

<sup>39</sup> Имется в виду статья Кузмина «“Баядерка” по оригиналу» (*Жизнь искусства*, 1923, 1 мая, № 17, с. 12-13) с критикой постановки Палас-театром оперетты Кальмана «Баядерка» с *Е.И.Тиме* и *Л.О.Утесовым* в главных ролях. Резкий тон Кузмина вызвал протест «коллектива Палас-театра» (см.: *Жизнь искусства*, 1923, 15 мая, № 19, с. 24; там же см. ответные разъяснения Кузмина).

<sup>40</sup> *Ольга Михайловна Ольгина* (1889-1968) — театральная актриса. Критике Кузмина подверглась постановка А.Н.Феоны в Музыкальной комедии оперетты Кальмана «Дочь Сильвы», где Ольгина исполняла роль Лоры, хористки (см.: М.Кузмин. «Дочь Сильвы». — *Жизнь искусства*, 1923, № 19, 15 мая, с. 9).

<sup>41</sup> «*Доктор Мабузе — игрок*» (1922, реж. Фриц Ланг), «*Индийская гробница*» (1921, реж. Дж.Май) и «*Кабинет доктора Калигари*» (1919, реж. Роберт Виппе) — классические фильмы немецкого экспрессионистского кинематографа. «Кабинет доктора Калигари», просмотренный Кузминым не менее четырех раз (12 февраля и 2 марта 1924 г., 13 февраля и 19 января 1926 г.), послужил одним из основных источников цикла «Форель разбивает лед» (подробнее см.: М.Г.Ратгауз. Кузмин — кинозритель. — *Киноведческие записки*, 1992, № 13). Внешнее сходство Пауля Рихтера (1895-1961) — исполнителя роли Гуля в фильме «Доктор Мабузе — игрок» и Л.Л.Ракова (см. прим. 43) стало основой для создания образа «нового Гуля» в творчестве Кузмина и в «бытовой» мифологии поэта.

<sup>42</sup> *Конрад Фейдт* (1893-1943) — немецкий киноактер, исполнитель роли Сомнамбулы Чезаре в фильме «Кабинет доктора Калигари». *Краус Вернер* (1884-1959) — немецкий актер, исполнитель роли Калигари в фильме «Кабинет доктора Калигари». *Эмиль Яннингс* (1884-1959) — немецкий актер, исполнитель роли Нерона в фильме «Камо грядеши» (1925).

<sup>43</sup> *Лев Львович Раков* (1904-1970) — историк, музейный работник и писатель. Будучи студентом университета, осенью 1923 г. познакомился с Кузминым. В конце 1923 — 1924 г. Кузмин переживает бурное увлечение Раковым, оставившее значительный след в его творчестве: Ракову («Л.Р.») посвящены цикл «Новый Гуль» (отд. изд.: [Л.], 1924) и несколько «примыкающих» (по определению Г.Г.Шмакова) к нему стихотворений (см.: Часть речи. Альманах литературы и искусства. Нью-Йорк, 1980, № 1, с. 98-102, 299; см. также стих. «Намек на жизнь, намеки на любовь...», впервые опубликованное в кн.: М.Кузмин. Стихотворения. Поэмы. Ярославль, 1989, с. 325, неточный текст).

<sup>44</sup> Имеется в виду фильм американского кинорежиссера *Д.У.Гриффитса* (1875-1948) «Нетерпимость» (1916).

<sup>45</sup> *Джой Лотрис* (1901-1984) — американская киноактриса, снималась в фильме реж. С. де Милля «Субботняя ночь» (прокатное название — «Вечно-чужие», 1924). *Эрик фон Штрогейм* (1885-1957) — американский режиссер, актер, сценарист и писатель. *Чарльз Спенсер Чаплин* (1889-1977) — американский актер, режиссер и сценарист. *Бестер Китон* (1896-1966) и *Гарольд Ллойд* (1893-1971) — американские киноактеры, крупнейшие комики немого кино. *Аста Нильсен* (1881-1972) — датская киноактриса.

<sup>46</sup> *Константин Александрович Варламов* (1848-1915) и *Кондрат Николаевич Яковлев* (1864-1928) — актеры Александринского театра. *Леонид Миронович Леонидов* (Вольфензон) (1873-1941) — актер, с 1903 г. — во МХАТе.

<sup>47</sup> *Лина Кавальери* (1874-1944) — итальянская оперная певица и киноактриса.

<sup>48</sup> *Елена Александровна Смирнова* (1888-1934) — балерина, жена танцовщика и хореографа Б.Г.Романова.

<sup>49</sup> *Лидия Александровна Иванова* (1903-1924) — балерина, погибшая 16 июня 1924 г. при столкновении в Финском заливе моторной лодки, в которой она находилась, с пассажирским судном «Чайка». Написанный Кузминым некролог «Лидия Иванова» появился спустя два дня после ее гибели (Красная газ., № 135, веч. вып.). В сб. «Лидия Иванова» (Л., 1927) Кузмин поместил статью «Две стихии» и стихотворение «Памяти Лидии Ивановой» (1927). Ранее обстоятельства ее гибели и предположения о причастности ГПУ к катастрофе в Финском заливе отразились, как впервые показал Дж.Мальмстад, в стихотворении «Темные улицы рождают темные мысли» (1926; вошло в состав цикла «Панорама с выносками» в кн. «Фореель разбивает лед». См.: J.E.Malmstad. The Mystery of Iniquity — Slavic Review, 1975, vol.34, №1; также см. статью Г.Г.Шмакова «Загадка Лидочки Ивановой» [Русская мысль, 1986, 13 июня, № 3625, с. 10-11]). Первое стихотворение

из трех, посвященных памяти Л.Ивановой, написанное в декабре 1925 г., опубликовано Н.Г.Князевой в сб.: МК и РК, с.176. См. также некоторые существенные уточнения А.Г.Тимофеева к недавней публикации Дж.Мальмстада («Two Elements» — two versions» — Studies in the Life and Works of Mixail Kuzmin. Wien, 1989): Русская мысль, 1990, 2 ноября, № 3852. Лит.прил. №11, с. IV. В некрологе, опубликованном в «Красной газете», Кузмин, характеризуя творческую манеру Л.Ивановой, в частности, писал: «Роль балерины в "Петрушке" Стравинского ждала ее» (с. 3).

<sup>50</sup> Любовь к Пушкину и пиетет перед ним многократно запечатлены в автобиографических признаниях и стихах Кузмина; см.: письмо В.В.Руслову 1907 г. (Блоковский сб., 2. Тарту, 1972, с. 344), автобиография 1923-27 гг. (ОР ГПБ, ИРЛИ), стих. «Пушкин» (1921) и «Пушкин едет на дуэль» (1927). Исследовательская традиция (работы В.М.Жирмунского, К.В.Мочульского, В.Ф.Маркова, Г.Г.Шмакова) связывает художественные поиски Кузмина периода «кларизма» с пушкинской поэтикой. Используя пушкинский подтекст, Кузмин выражает подчас свое творческое и нравственное кредо (как, например, в программном рассказе «"Высокое искусство"» [1910]: см. наши «Заметки о прозе Кузмина» [Русская мысль, 1990, 2 ноября, № 3852, Лит.прилож. № 11, с. 5]). «Пушкинский слой» в цикле «Форель разбивает лед» и в позднем творчестве Кузмина проанализирован И.Паперно (Двойничество и любовный треугольник: поэтический миф Кузмина и его пушкинская проекция. — Studies in the Life and Works of Mixail Kuzmin, p.57-82).

<sup>51</sup> О восприятии творчества М.Ю.Лермонтова Кузминым см. статью Т.Л.Никольской: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 236. Ср. также прим. 63.

<sup>52</sup> Произведения Н.С.Лескова Кузмин упоминает (наряду с «эпосом Пролога, <...> Шекспиром, "Д<он> Кихотом", Мольером и <... > Пушкиным») среди тех, которые он ценит «всегда и во всяком виде» («Histoire édifiante de mes commencements»; публ. С.В.Шумихина. — МК и РК, с. 153). См. также наблюдения М.М.Кенигсберга (Корабль, 1923, №1-2 (7-8), с. 29) и Б.М.Эйхенбаума (Жизнь искусства, 1920, 29 сент.) о связи прозы Кузмина с Лесковым.

<sup>53</sup> Роль творчества Достоевского и восприятие его Кузминым — от ранних дневниковых записей (1905) с осуждением «досто-евщины» (см.: Блоковский сб. 2, с. 346) до прямого следования сюжетным схемам Достоевского в прозе 1910-х гг. и постоянного упоминания имени писателя в числе любимых авторов в автобиографиях 1920-х гг. — лишь в последнее время привлекают внимание исследователей: некоторые ценные наблюдения см. в работе В.Н.Топорова «К "петербургскому" локусу Кузмина» (МК и РК, с. 22-23).

<sup>54</sup> Ср. наблюдения Дж.Барнстеда о связи кузминской образности с «гоголевским топосом» и его трактовку повести Кузмина «Капитанские часы» (1910) как «пародии на Гоголя»: John A. Barnstead, Mandel'stam and Kuzmin. — Wiener Slawistischer Almanach, 1986, Bd 18, S. 64, 75.

<sup>55</sup> Творчество *Шекспира* и его театральные интерпретации постоянно привлекали Кузмина (см. анализ шекспировских постановок в его кн.: *Условности*. Пг., 1923., с. 59-69; «Шекспировский лесок» в книге: «Лесок». Пг., 1922, с. 11-16). В конце 1920-х гг. Кузмин приступает к шекспировским переводам; им переведено восемь пьес («Трагедия о короле Лире» [опубл.: М., Л. 1936; остальные переводы публиковались посмертно], «Укрощение строптивой», «Два веронца», «Много шума попусту», «Веселые виндзорские кумушки», «Бесплодные усилия любви», «Король Генрих IV» [совместно с В.Э.Морицем], «Буря») и 110 сонетов (рукопись пропала при конфискации архива после ареста Ю.И.Юркуна 3 февраля 1938 г.). Подробнее см.: А.Н.Горбунов. Кузмин, переводчик Шекспира. — В кн.: *Уильям Шекспир*. Пьесы в переводе Михаила Кузмина. М., 1990, с. 5-14; в составе книги М.В.Толмачевым впервые публикуется перевод «Бури» (1930). Об издательской судьбе переводов из Шекспира см. также в письме Кузмина в издательство «Academia» от 28 мая 1935 г. (Новый журнал, 1991, кн. 183, с. 361-362; публ. Ж.Шерона).

<sup>56</sup> Интересно, что здесь мемуаристка непреднамеренно следует интонации кузминских строк с перечислением его привязанностей в немецкой культуре:

Если будешь, странник, в Берлине,  
У дорогих моему сердцу немцев,  
где были Гёфман, Моцарт и Ходовецкий  
(и Гете, Гете, конечно) < ... >

(из стих. «Поручение» [1922]: Параболы. Пб.-Берлин, 1923, с.73-74; выделено нами. — Г.М.). Ср. также стих. «Гете» (1916), поздние переводы, вошедшие в Собрание сочинений Гете (т.1, М.; Л., 1932) и в его «Избранную лирику» (М.; Л., 1933), а также свидетельство О.Н.Гильдебрандт: «Первым подарком мне от Мих.Ал. была книга «Гетевский календарь», со всеми его возлюбленными, книжка, которую я берегла всю жизнь < ... > Юрочка подарил мне целый ряд тетрадок с Веймарскими комнатами» (Дневник, 17 декабря 1945 г.; ЦГАЛИЛ, ф. 436, оп. 1, ед. хр. 11, л. 20).

<sup>57</sup> Стихотворные переводы Кузмина см. в «Полном собрании сочинений» *Уайльда* (СПб., 1912, т. IV).

<sup>58</sup> В предисловии к роману *Анри де Ренье* «Встречи г-на де Брео» Кузмин аттестовал себя как «поклонника и переводчика» творчества писателя (Л., 1927, с. 9). В Собрании сочинений Ренье, выходявшем в издательстве «Academia» в 1923-1927 гг. под редакцией Кузмина, А.А.Смирнова и Ф.Сологуба, Кузминым переведены 5 томов: романы «По прихоти короля» (т. IV), «Встречи г-на де Брео» (т. VII), «Живое прошлое» (т. VIII), «Амфибена» (т. XII) и рассказы из сб. «Дымка времени» (т. X). Ранее Кузмин перевел «Семь <любовных> портретов» Ренье (Пг., 1921).

<sup>59</sup> Свое отношение к творчеству французского писателя Кузмин вполне выразил в некрологической статье «Анатоль Франс», опубликованной в журнале «Россия» (1925, № 4).

<sup>60</sup> «Голем» («Der Golem») — роман австрийского писателя Густава Мейринка (1915, рус.пер.1922).

<sup>61</sup> Знакомство Кузмина с *А.И.Введенским* (16 марта 1924 г.) и — чуть позднее — с *Д.И.Хармсом* положило начало их интенсивному общению. Интерес Кузмина к их творчеству отразился в его прозе — «кафельных картинках» «Печка в бане» (1926) и рассказе «Пять разговоров и один случай» (1925). О взаимовлиянии Кузмина и обэриутов см. работу Ж.Шерона (G.Cheron; Wiener Slawistischer Almanach, 1983, Bd 12, S. 87-106). По свидетельству И.В.Бахтерева, «Кузмин говорил о Введенском как о крупнейшем поэте XX века, поэте такого же значения и масштаба, как Хлебников <... >» (см. комментарии М.Мейлаха к Полному собранию сочинений А.Введенского, т. 2, Анн-Арбор, 1984, с. 346).

<sup>62</sup> Чрезвычайно высокая оценка прозы *Б.Л.Пастернака*, сохранившаяся в статье Кузмина «Говорящие» (Условности, с.158-161), где повесть «Детство Люверс» называлась «самой значительной и свежей русской прозой», была, во многом, определена общностью эстетических позиций, на которую впервые указал Л.С.Флейшман (См.: Л.Флейшман. Неизвестный автограф Б.Пастернака. — Материалы XXVI научной студенческой конференции. Тарту, 1971, с. 37; ср.также письмо Пастернака Юркуну от 14 июня 1922 г.: Глагол, 1. App-Arbor, 1977; [публ. Г.Шмакова]; то же: Вопросы литературы, 1981, №7; публ. Н.Богомолова). Пастернак посвятил Кузмину рассказ «Воздушные пути» (1924); см.: Е.Толстая. Пастернак и Кузмин. К интерпретации рассказа «Воздушные пути». — Russian Literature and History. In honour of prof. Ilya Serman. Jerusalem, 1989, p. 90-96.

<sup>63</sup> О биографических и литературных связях Кузмина и *А.А.Блока* см.: Г.Г.Шмаков. Блок и Кузмин (Новые материалы). — Блоковский сб. 2, с. 341-360; Письма М.А.Кузмина к Блоку и отрывки из дневника М.А.Кузмина. Пред., публ. и комм. К.Н.Суворова. — Александр Блок. Новые материалы и исследования. Лит.наследство, т. 92, кн. 2, М., 1981, с. 143-174. Ср. также письмо О.Н.Гильдебрандт В.А.Милашевскому: «<... > М.Ал. был несравним с Блоком, как несравним розовый и голубой цвет, роза и лилия, утро и вечер. Я была на этом вечере и за столом в Доме Искусств» <имеется в виду празднование 15-летия литературной деятельности Кузмина в 1920 г.; речь Блока см.: Собр.соч. в 8 т. М., 1962, т. 6, с. 439. — Г.М.> Я очень мало знала тогда М.Ал., но как поэта всегда очень его любила; там было маленькое чествование, и среди других выступал Блок, причем так трогательно, что я чуть не заплакала от умиления! Он любил К., как поэта. Но что меня удивляло, К. Блока не любил, как не любил Лермонтова, Баратынского и даже не особенно Тютчева. Вероятно, другая стихия» (1972, собр. А.И.Милашевской).

<sup>64</sup> Отношения с *Вяч. Ивановым* — важнейшая глава в жизни и литературной судьбе Кузмина. В 1906-1912 гг. Кузмин живет в одном доме с Ивановым, принимая самое непосредственное участие в культурной и интимной жизни «Башни»: участвуя в «средах» и — под именем Антиноя или Харикла — в кружке «друзей Гафиза» (подробнее см.: Н.А.Богомолов. Эпизод из петербургской

культурной жизни 1906-1907 гг. — Блоковский сб. VIII. Тарту, 1988, с. 95-111). Однако, называя Иванова в рецензии на «Сог Ardens» «одним из главных наших учителей и руководителей в поэзии» (Труды и дни, 1912, № 1, с. 49), Кузмин, далекий от направления его общественной и теоретической деятельности, в то же время дистанцируется от него. Иванов, в свою очередь, стремился подчеркнуть принадлежность Кузмина к «кругу религиозно-художественного значения нашей народной души», настаивая на «общественном значении» творчества Кузмина (см. его статью «О прозе М.Кузмина» [Аполлон, 1910, № 7, с. 46-51]). Нельзя не заметить черты полемической демонстративности в манифестации Кузминым в начале 1910 г. принципа «прекрасной ясности», если учесть, что самый термин «кларизм» был «выдуман» Ивановым, сколько можно судить по его дневниковой записи 7 августа 1909 г., в сугубо ироническом контексте (см.: Вяч.Иванов. Собр.соч., т. 2. Брюссель, 1974, с. 784-785; о связи статьи Кузмина «О прекрасной ясности» с идеями Иванова ср. также: John A.Barnstead. Mixail Kuzmin's «On Beautiful Clarity» and Viacheslav Ivanov: a Reconsideration. — Canadian Slavonic Papers, 1982, Mar., 24(1), p. 1-10). В последовавшей вслед за этим полемике, вызванной статьями Иванова «Заветы символизма» и А.Блока «О современном состоянии русского символизма» (Аполлон, 1910, № 8), Кузмин безоговорочно принимает сторону их оппонента — В.Брюсова с его пафосом автономии искусства и свободы от «тенденции», выразившимся в статье «О «речи рабочей» в защиту поэзии» (Аполлон, 1910, № 9; см. письмо Кузмина Брюсову от 27 августа 1910 г.: Лит. наследство, т. 92, кн. 3. М., 1982, с. 370). Личный конфликт между поэтами весной 1912 г. послужил причиной окончательного разрыва (подробнее см.: Н.А.Богомолов. К одному темному эпизоду в биографии Кузмина. — МК и РК, с. 166-169).

<sup>65</sup> Творчество А.М.Ремизова неизменно выделялось и высоко оценивалось Кузминым, по крайней мере в те годы, когда он — в амплуа критика — имел доступ к печатному станку: см., например, его «Раздумия и недоумения Петра Отшельника» (Петроградские вечера. Пг., 1914, кн. 3) и статьи из книги «Условности». В очерке о Рерихе Кузмин называет Ремизова «тончайшим знатоком, мелочным исследователем и мудрейшим отгадчиком древних запечатленных тайн» (Рерих. М., [1922], с.15). Ремизов откликнулся на смерть Кузмина — «музыканта обезьянсьей великой и вольной палаты» (А.Ремизов. Взвихренная Русь. Париж, 1927, с. 511) — мемуарным очерком «Послушный Самокей» (вошел в его кн. «Пляшущий демон» [Париж, 1949, с. 42-50]) и позднее вспоминал о его «бескредитной» могиле в России (см.: А.Ремизов. Иверень. Berkeley, 1986, с. 19).

<sup>66</sup> О взаимоотношениях Кузмина и Ф.Сологуба в 1910-х гг. см.: G.Cheron. F.Sologub and M.Kuzmin: Two letters. — Wiener Slawistischer Almanach, 1982, Bd.9, S.369-375. К 40-летию литературной деятельности Сологуба Кузминым была написана статья «Сумеречная Дульцинея», в которой юбиляр характеризуется как «один из задумчивейших и подлиннейших поэтов» (Театр, 1924, 22 января, с. 4).

<sup>67</sup> Сергей Юрьевич Судейкин (1884-1946) — художник, автор карандашного портрета Кузмина (1910-е гг., ГРМ), один из «героев» повести «Картонный домик» (1907; выведен под именем Мятлева) и сопутствующего ей цикла стихов «Прерванная повесть». Оформитель книг Кузмина (см., например: Куранты любви. М., 1910) и театральных постановок его произведений: в 1911 г. — оперетты «Забава дев» в Малом театре, в 1914 г. — пьесы «Венецианские безумцы» (выполненные Судейкиным эскизы костюмов см. в книге Кузмина: Венецианские безумцы. М., 1915). Адресат стихотворения «Балет» (1912) (с подзаголовком «Картина С. Судейкина»), описывающего одноименную картину (1910, ГРМ), и «Чужой поэмы» (1916).

<sup>68</sup> См. специальную работу В.Ф.Маркова: Italy in Mikhail Kuzmin's Poetry. — Italian Quarterly, 1976, №77-78, p. 5-18.

<sup>69</sup> Имеются в виду рассказ Юркуна «Игра и Игрок» (Абракас, [вып.1], Пб., 1922, октябрь, с. 20-30; первоначально планировался к публикации в альманахе «Стрелец» — см.: Новая русская книга, 1922, № 7, с. 47 — однако не был напечатан «за отсутствием бумаги и по другим техническим затруднениям» [письмо А.Э.Беленсона Юркуну от 29 июня 1922 г. — ЦГАЛИЛ, ф. 436, оп. 2, ед. хр. 9]) и американские мотивы в пьесе Кузмина «для кукол живых или деревянных» «Вторник Мэри» (Пг., 1921). По свидетельству П.Сторицына, автора отчета о «Втором вечере современной драматургии» в ГИИИ (Красная газета, веч.вып., 1923, 16 марта, с. 4), в Америке происходило действие и в неопубликованной пьесе Юркуна «Маскарад слов».

<sup>70</sup> Александр Яковлевич Головин (1863-1930) — художник, автор портрета Кузмина (1910, ГТГ) и воспоминаний о нем (см.: А.Я.Головин. Встречи и впечатления. Л.; М., 1960, с.100-106). Образы из оперы К.-В.Глюка «Орфей и Эвридика», оформленной Головиным (Мариинский театр, 1911), отразились в стихотворении Кузмина «Орфей» (1924; впервые опубл. в сб.: 31 рука. Л.; М., 1927; републиковано Э.Ф.Голлербахом с ошибочной датировкой [5 июня 1930 г.] и послесловием «А.Я.Головин и М.А.Кузмин» [Литературный современник, 1941, № 4, с. 59]; вновь републиковано [с правильной датировкой и с посвящением Л.Л.Ракову] Г.Г.Шамаковым [Часть речи. Альманах литературы и искусства. Нью-Йорк, 1980, № 1, с. 98]). Головину, предполагаемому иллюстратору второго тома «Нового Плутарха» Кузмина (издание не состоялось), посвящен рассказ «Златое небо. Жизнь Публия Виргилия Марона, Мантуанского кудесника» (Абракас., Пг., 1923, февраль, [№ 3]).

<sup>71</sup> Ю.И.Юркун был арестован в начале сентября 1918 г. по делу Л.А.Каннегисера (1897-1918) — поэта, застрелившего 30 августа 1918 г. председателя Петроградской ЧК М.С.Урицкого (подробнее об этом см.: Леонид Каннегисер: Статьи Г.Адамовича, М.А.Алданова, Г.Иванова. Из посмертных стихов Л.Каннегисера. Париж, 1928). Проведенные в связи со следствием по делу Каннегисера аресты в первую очередь коснулись посетителей дома его отца, инженера А.С.Каннегисера (Саперный пер., 10, кв. 5; описан в посвященном Кузмину очерке М.И.Цветаевой «Нездешний вечер» [1936]). Среди постоянных посетителей дома в Са-



перном пер. были Юркун и О.Н.Гильдебрандт (см. ее мемуарные заметки 1977-1978 гг. «Саперный пер., 10»: ЦГАЛИЛ, ф. 436, оп. 1, ед. хр. 26, л. 10-11). Из воспоминаний двоюродной сестры Л.Каннегисера Н.Н.Каннегисер известно, в частности, что одним из арестованных был ее отчим, переводчик И.Б.Мандельштам, познакомившийся с Юркуном в тюрьме (см.: Нина Каннегисер. О М.А.Кузmine. — Искусство Ленинграда, 1990, № 9, с. 65). Арестованные содержались (в течение 4 месяцев) в т.н. Дерябинских казармах на Финском взморье, что нашло отражение в стихотворении Кузмина из посвященного Юркуну цикла «Северный всер» (1925), которое в составе кн. «Фореель разбивает лед» по цензурным причинам было заменено точками (впервые опубли.: Кузмин М. Собрание стихов, т. III, с. 695).

<sup>72</sup> *Мать* Ю.И. Юркуна — Вероника Карловна Амброзевич (ум.1938). См. о ней в письме О.Н.Гильдебрандт Ю.И.Юркуну от 13 февраля 1946 г.: МК и РК, с. 247-248.

<sup>73</sup> Имеются в виду «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Корнеевны Чуковской (т. 1, Париж, 1976) и, в частности, запись от 8 августа 1940 г., передающая негативное отношение Ахматовой к Кузмину. Попытку истолкования этой записи и, в целом, ахматовского неприятия Кузмина см. в работе Р.Д.Тименчика, В.Н.Топорова и Т.В.Цивьян «Ахматова и Кузмин» (Russian Literature, 1978. Vol. VI, №3, p. 252).

<sup>74</sup> Кузмин написал предисловие к первой книге Ахматовой «Вечер» (СПб., 1912).

<sup>75</sup> Подозрения А.А.Ахматовой о связи А.Д.Радловой с «Большим домом» Л.Чуковская зафиксировала в «Записках об Анне Ахматовой» (т.1, с. 55).

<sup>76</sup> *Георгий Семенович Верейский* (1886-1962) — художник, автор портрета Кузмина (1929, частн. собр.; воспроизведен: Наше наследие, 1988, № 4, с. 71).

<sup>77</sup> *Всеволод Владимирович Воинов* (1880-1945) — художник, автор графического портрета Кузмина (1921) и соавтор его в написании очерка о Д.И.Митрохине (опубл.: М., 1922).

<sup>78</sup> *Константин Евтихievич Костенко* (1879-1956) — график, аквалерист, ксилограф, в 1930-х гг. — сотрудник Русского музея.

<sup>79</sup> *Дмитрий Исидорович Митрохин* (1883-1973) — художник, друг Кузмина, автор обложки книги «Новый Гуль» ([Л.], 1924), оформитель несостоявшейся постановки его пьесы «Кот в сапогах» (1923). Кузмин дважды специально обращался к творчеству Митрохина, участвуя (вместе с В.Воиновым) в написании монографии о нем (М., 1922) и написав текст к каталогу выставки «Рисунки и гравюры Д.И.Митрохина» (Казань, 1925); статьи Кузмина опубликованы в сб.: Книга о Митрохине. Статьи. Письма. Воспоминания. Л., 1986; там же помещена посвященная Митрохину заметка О.Н.Гильдебрандт «Воспоминания о белизпе» (с. 378-381).

<sup>80</sup> *Мстислав Валерианович Добужинский* (1875-1957) — художник, познакомился с Кузминым в 1906 г. на «Башне» Вяч.Иванова и, согласно позднейшим воспоминаниям Добужин-

ского, «очень часто встречался» с ним до своего отъезда в Литву в 1924 г. (см.: М.В.Добужинский. Воспоминания. М., 1987. С. 278-279). Добужинский проиллюстрировал книгу Кузмина «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» (Пг., 1919) и выполнил обложки к пьесе Кузмина «Вторник Мэри» (Пг., 1921) и к книге стихотворений «Нездешние вечера» (Пб., 1921).

<sup>81</sup> *Николай Эрнестович Радлов* (1895-1944) — художник, автор портретов Кузмина (1926; ИРЛИ, ГРМ).

<sup>82</sup> *Надежда Константиновна Шведе-Радлова* (1895-1944) — художница, автор портрета Кузмина (нач. 1930-х гг., ИРЛИ).

<sup>83</sup> *Валентина Михайловна Ходасевич* (1894-1970) — художница, мемуаристка (см. ее кн.: Портреты словами. М., 1987). Статьей Кузмина о творчестве Ходасевич открывался посвященный ей сборник: Валентина Ходасевич. Статьи М.Кузмина, Сергея Радлова, С.Мокульского, А.Мовшенсона. Л., 1927 (Современные театральные художники. Вып. 1). В.Ходасевич — автор обложки последней книги Кузмина «Форель разбивает лед» (Л., 1929).

<sup>84</sup> *Александр Александрович Осмеркин* (1892-1953) — художник.

<sup>85</sup> «Тринадцать» — группа художников (по преимуществу графиков), возникшая в 1929 г. Идейными вдохновителями и организаторами группы «Тринадцать» были московские художники В.А.Мялешевский и Н.В.Кузьмин, пригласившие к участию в выставочной деятельности группы О.Н.Гильдебрандт и Ю.И.Юркун (его работы экспонировались лишь на 1-й выставке «Тринадцать», открывшейся 17 февраля 1929 г. в Москве). О.Н.Гильдебрандт — участница всех трех выставок «Тринадцать» (1930, не была открыта; 1931). Подробнее об истории группы и о ее участниках см.: Художники группы «Тринадцать». Автор вступ. ст. и сост. М.А.Немировская. М., 1986.

<sup>86</sup> *Николай Васильевич Кузьмин* (1890-1987) — художник, один из организаторов группы «Тринадцать», мемуарист (см. его кн.: Давно и недавно. М., 1982).

<sup>87</sup> *Константин Сергеевич Козьмин* (1906-1988) — художник. В собрании М.С.Лесмана сохранился экземпляр сб. «Форель разбивает лед» с дарственной надписью Козьмину: «Милому Косте Козьмину <sic> в благодарность за его дружбу, за его рисунки, за его любовь к Юрочке, за его молодость и ласковость искренне любящий его М.Кузмин. 1935. Сентябрь» (Книги и рукописи в собрании М.С.Лесмана, с. 122). См. также фотографию нач. 1930-х гг.: Ю.И.Юркун, О.Н.Гильдебрандт, К.С.Козьмин и Кузьмин: Русская мысль, 1990, 2 ноября, № 3852, Лит. прил. №11, с. V.

<sup>88</sup> «Люля» — Елена Ивановна Кршижановская — сестра Е.И.Кршижановского (см. прим. 93), в 1930-х гг. жена К.С.Козьмина.

<sup>89</sup> *Вячеслав Ромуальдович Домбровский* (1895-1937) — работник НКВД и его жена Генриетта Давыдовна Левитина (1903-1961) — секретарь редакции детских журналов «Еж» и «Чиж».

<sup>90</sup> *Паавел Варфоломеевич Кузнецов* (1878-1968) — художник, оформитель постановки пантомимы Кузмина «Духов День в Толедо» (1915). В 1917 г. готовилось, но не было осуществлено ро-

скошное издание «Подвигов Великого Александра» Кузмина с иллюстрациями Кузнецова (см.: К XX-летию литературной деятельности М.А.Кузмина [Л., 1925], без паг.). Возможно, однако, что имеется в виду *Евгений Михайлович Кузнецов* (1900-1958) — критик и театровед, с 1919 г. работавший в Петроградском отделе театров и зрелищ и в «Красной газете».

<sup>91</sup> *Орест Тизенгаузен* — литератор, «пианист» (Н.Чуковский. Литературные воспоминания. М., 1989, с. 104), принимал участие в подготовке первого сборника «Абраксас» (октябрь 1922), значился его официальным редактором. Ему принадлежат напечатанные там же «Декларация форм-либризма» и обзорная статья «Салоны и молодые заседатели петербургского Парнаса». После конфликта с другими участниками «Абраксаса» был отстранен от редактирования (см. письмо Н.Кубланова А.Григорьеву от 16 ноября 1922 г.: ЦГАЛИЛ, ф. 436, оп. 2, ед. хр. 26). При переиздании в кн. «Параболы» (Пб.-Берлин, 1923) стихотворений «Артезианский колодец» и «Муза-орешина», впервые опубликованных в первом выпуске «Абраксаса», Кузмин снял посвящения Тизенгаузену. В 1923 г. Тизенгаузен развелся с О.Зив (см. прим. 92) и уехал из Петрограда (см. его письмо Кузмину от 28 июня 1924 г.: ЦГАЛИЛ, ф. 437, оп. 1, ед. хр. 133, там же сведения о «совершенном в сотрудничестве» с Б.М.Лапиным переводе романа К.Эдшмида «Die Angel mihden Spleen», который не был издан). По свидетельству А.И.Вагиновой послужил прототипом для героя романа К.Вагинова «Бамбочада» (Л., 1931) — Фелипфлеина (см.: Конст. Вагинов. Козлиная песнь. Романы. М., 1991, с. 572 [комм. Т.Л.Никольской и В.И.Эрля]).

<sup>92</sup> *Ольга Максимовна Зив* (Вихман; 1904-1963) — печатала стихи в «Абраксасе» (вып. 1-3, 1922-1923), с 1924 г. — сотрудница редакций газет, позднее деятельная советская писательница.

<sup>93</sup> *Евгений Иванович Кршижановский* (1903-1972) — художник, автор портрета Кузмина (1931, ГЛМ; воспроизведен: Лит.наследство, т. 27-28. М., 1937, с. 47; ныне местонахождение неизвестно).

<sup>94</sup> *Андрей Иванович Корсун* — поэт и переводчик.

<sup>95</sup> *Юрий Алексеевич Бахрушин* (1896-1973) — историк балета, сын А.А.Бахрушина, друг О.Н.Гильдебрандт. В начале 1930-х гг. был одним из помощников В.Д.Бонч-Бруевича по сбору материалов для Литературного музея и, в частности, вел переговоры с Кузминым относительно продажи его архива в ГЛМ в 1933 г.; см. опубликованную С.В.Шумихиным «Стенограмму обследования Центрального Музея художественной культуры <...>» — Тыняновский сб. Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990, с. 317.

<sup>96</sup> *Алексей Матвеевич Шадрин* (1911-1983) — переводчик, литературовед, поэт. Подробнее о нем см. в письме О.Н.Гильдебрандт Ю.И.Юркуну: МК и РК, с. 247-254.

<sup>97</sup> *Андрей Николаевич Егунов* (1895-1968) — филолог-классик, переводчик, поэт и прозаик (псевдоним Андрей Николаев). Познакомился с Кузминым и Юркуном в 1926 г. и до 1933 г., когда Егунов был арестован и выслан в Томскую обл., был одним

из близких Кузмину людей; по некоторым свидетельствам, чрезвычайно высоко оценивался им как писатель. Дарственная надпись Кузмина на «Нездешних вечерах» об этом свидетельствует: «Милому Андрюше Егунову, который так дружески и значительно для меня возник посредине (уж не середине, а три четверти) моей жизненной дороги и, надеюсь, не улетучится из нее. Нежно любящий его М.Кузмин. Июль 1930» (Книги и рукописи в собрании М.С.Лесмана, с. 122). В последние годы жизни работал, в частности, над статьей, посвященной выявлению параллелей между циклом «Форель разбивает лед» и шубертовским квинтетом «Форель». Подробнее о нем см.: Часть речи. Нью-Йорк, 1980, № 1, с. 102-107; Искусство Ленинграда, 1990, № 6, с. 76-78; Континент, 1990, № 64, с. 323-330, а также: Андрей Николев. Собрание произведений. Wien (в печати).

<sup>97а</sup> Алексей Скрьдлов — композитор, автор романсов (см., в частности, изданные — на слова Ф.Сологуба «Не лги» и С.Зубова «Три мелодекламации»; оба — СПб., 1914). Внебрачный сын вел.кн. Алексея Александровича, воспитывался матерью — женой адмирала Н.И.Скрьдлова. После 1926 г. — в эмиграции.

<sup>98</sup> Лауровский — коллекционер. Об отношении к нему Кузмина см. в дневнике Э.Ф.Голлербаха (24 января 1938 г.): МК и РК, с. 229.

<sup>99</sup> Имеются в виду мемуары И.Одоевцевой «На берегах Невы» (Вашингтон, 1967) и «Вторая книга» Н.Мандельштам (Париж, 1972).

<sup>100</sup> Ср.: «Жабой в разговорах со мной А.А. <Ахматова> называла Анну Дмитриевну Радлову» (Л.Чуковская, указ.соч., с.55).

<sup>101</sup> Надежда Януарьевна Рыкова (р.1901) — литературовед и переводчик.

<sup>102</sup> Г. — Н.С.Гумилев. Ср. об отношениях Кузмина и Гумилева в воспоминаниях Вс.Н.Петрова (со слов О.Н.Гильдебрандт): «Гумилев сердечно любил Кузмина, как человека, и <...> разглядел в нем нечто очень существенное и характерное. У Гумилева была теория, согласно которой у каждого человека есть свой истинный возраст, независимый от паспортного и не изменяющийся с годами. Про себя Гумилев говорил, что ему вечно тринадцать лет.

— А Мишеньке (т.е. Кузмину) — три. Я помню, — рассказывал Гумилев, — как вдумчиво и серьезно рассуждал Кузмин с моими тетками про малиновое варенье. Большие мальчики или, тем более, взрослые так уже не могут разговаривать о сладком — с такой непосредственностью и всепоглощающим увлечением» (Новый журнал, 1986, кн. 163, с. 91).

<sup>103</sup> Мать Л.Л.Ракова — Елизавета Дмитриевна Ракова (1874-1933).

<sup>104</sup> Григорий Моисеевич Левитин (1914-1982) — врач, увлечавшийся коллекционированием, впоследствии искусствовед. О нем и его собрании см.: Т.Бруни. Он рыцарски служил искусству. — Нева, 1983, №12.

<sup>105</sup> Александр Иосифович Константиновский (1906-1958) — театральным художник и график. Местонахождение рисунка, о котором идет речь, неизвестно.

<sup>106</sup> Ошибка памяти мемуаристки — М.Горький умер 18 июня 1936 г., Кузмин — 1 марта того же года.

<sup>107</sup> *Эрих Федорович Голлербах* (1895-1945) — искусствовед, литератор и коллекционер, входивший (особенно в последние годы) в круг ближайших друзей Кузмина. О его отношении к Кузмину см. свидетельства самого Голлербаха: его дневники 1935-1941 гг. (М.А.Кузмин в дневниках Э.Ф.Голлербаха. Пред. и публ. Е.А.Голлербаха. — МК и РК, с. 220-236) и опубликованное нами письмо Ю.И.Юркуну 5 марта 1936 г. (там же, с. 236-238).

<sup>108</sup> Художник *Владимир Васильевич Лебедев* (1891-1967) и его жена *Сарра Дмитриевна Лебедева* (урожд. Дармолатова; 1892-1967) — скульптор, сестра А.Д.Радловой.

<sup>109</sup> *Екатерина Александровна Чернова* (ум.1966) и *Дмитрий Прокофьевич Гоголицын* — иными сведениями о них не располагаем.

<sup>110</sup> *Любовь Дмитриевна Блок* (урожд. Менделеева; 1881-1939) — вдова А.А.Блока.

<sup>111</sup> *Рэнэ Ароновна Никитина* — жена писателя Н.Н.Никитина.

<sup>112</sup> *Екатерина Константиновна Лившиц* (урожд. Скачкова-Гуриновская; 1902-1987) — жена поэта, переводчика и мемуариста Бенедикта Константиновича Лившица (1887-1938; расстрелян 21 сентября вместе с Ю.И.Юркуном, В.О.Стеничем и В.А.Зоргеи-фреем). Письмо Б.К.Лившица Кузмину см.: Минувшее: Ист. альманах. Вып. 8. Paris, 1989, с. 186-187; публ. П.Нерлера и А.Парниса.

<sup>113</sup> *Мать О.Н.Гильдебрандт* — Глафира Викторовна Панова (1869-1943), актриса.

<sup>114</sup> *Татьяна Ивановна Саламатина* — племянница О.Н.Гильдебрандт, дочь ее сестры М.Н.Арбениной и И.А.Саламатина, драматурга и режиссера — и ее подруга по Библиотечному техникуму в Ленинграде *Наталья Васильева*.

<sup>115</sup> *Лина Ивановна Тамм* (ок.1875-1941) — родственница и близкий друг семьи Арбениных-Гильдебрандт. См. о ней в мемуарном очерке О.Н.Гильдебрандт «Мама. Папа. Лина Ивановна» (ЦГАЛИЛ, ф. 436, оп. 1, ед. хр. 28).

<sup>116</sup> *Всеволод Александрович Рождественский* (1895-1977) — поэт. О его отношениях с Кузминым см.: М.В.Рождественская. Михаил Кузмин в архиве Вс.Рождественского. — МК и РК, с. 212-220.

<sup>117</sup> *Сергей Дмитриевич Спасский* (1898-1956) — поэт, прозаик. Групповая фотография — Кузмин, Юркун, О.Гильдебрандт, С.Спасский и др. — опубликована: Книжное обозрение, 1988, № 15, 8 апреля, с. 7.

<sup>118</sup> *Виссарион Михайлович Саянов* (1903-1959) — поэт и прозаик.

<sup>119</sup> *Сергей Абрамович Ауслендер* (1886-1937) — прозаик и драматург, после 1922 г. — детский писатель. Племянник Кузмина (сын его сестры Варвары Алексеевны, во втором браке — Мошковой). В 1937 г. репрессирован.

<sup>120</sup> *Михаил Леонидович Слонимский* (1897-1972) — писатель, в начале 1920-х гг. член группы «Серапионовы братья», печатался в выходившем под редакцией Кузмина, Е.Замятина и М.Лозинского альманахе «Завтра» (Берлин, 1923).

<sup>121</sup> *Николай Николаевич Пунин* (1888-1953) — искусствовед, критик, в 1924-1938 гг. муж А.А.Ахматовой.

<sup>122</sup> В воспоминаниях Вс.Н.Петрова панихида 6 марта 1936 г. описана как происходившая в Спасо-Преображенском соборе; см.: *Новый журнал*, 1986, кн. 163, с. 113.

<sup>123</sup> *Соломон Давидович Цирель-Спрингсон* (1900-1988) — инженер-геолог, друг О.Н.Гильдебрандт (с 1930-х гг.). В 1920-е гг. — один из устроителей музея в квартире Пушкина на Мойке, 12.

<sup>124</sup> *Тамара Платоновна Карсакина* умерла 25 апреля 1978 г. в Лондоне.

<sup>125</sup> *Наталья Сергеевна Раиевская* (1893-1962) — актриса театра им.Пушкина и режиссер.

<sup>126</sup> *Вера Михайловна Красовская* (р.1915) — историк балета, критик.

<sup>127</sup> *Генрих Брус* (Брюс) — сотрудник английского посольства в Петербурге, второй муж Т.П.Карсавиной.

<sup>128</sup> *Алексей Александрович Гвоздев* (1887-1939) — театровед, литературовед и критик, с 1920 г. — сотрудник ГИИИ. Автор статьи о Кузмине в «Северных записках» (1915. №11-12, с. 233-239). Вместе с Кузминым и Я.Н.Блохом редактировал альманах «Зеленая птичка» (Пг., 1922).

<sup>129</sup> Имеется в виду Шарлотта Кестнер (урожд. Буфф) — подруга Гете, прототип *Лотты* в «Страданиях юного Вертера».

# НОВОЕ О СЕРГЕЕ ГЕДРОЙЦ

## Предисловие, публикация и комментарии А.Г.Меца

На ухоженном и чистом кладбище близ лежащей в развалинах Спасо-Преображенской церкви (сейчас оно называется Корчеватским<sup>1</sup>) покойся прах Веры Игнатьевны Гедройц. В одной ограде с ним — могилы архиепископа Ермогена (Голубева; 1896-1978) и его родственницы. Смотрительница рассказала нам историю этих могил: молодой священник Спасо-Преображенской церкви, человек необыкновенной доброты и духовной стойкости, был спасен ее руками от тяжкого недуга и, в благодарность, после ее смерти ухаживал за ее могилой, завещал и себя похоронить рядом. Во все праздники приезжают сюда из Черновца, бывшей епархии отца Ермогена, служат над могилами службу. Хотела епархия установить памятник над могилой врача, как на соседних двух, да никто не знал ее имени — табличка на кресте совсем почернела<sup>2</sup>.

В.И.Гедройц родилась 7 апреля (нов.стиля?) 1876 г. в Киеве. Росла в родовом поместье отца, происходившего из литовского княжеского рода, — селе Слободище Брянского уезда Орловской губернии, вместе с братом и двумя сестрами. Училась в Брянской женской прогимназии, где учителем ее был Василий Васильевич Розанов, впоследствии известный писатель (позднее, поселившись в Царском Селе, Гедройц навещала Розанова<sup>3</sup>). В гимназии, вероятно, Гедройц училась в Орле. Пятнадцати лет поступила на курсы П.Ф.Лесгафта в Петербурге и здесь, через знакомых в Орловском землячестве, быстро вошла в среду революционно настроенной молодежи, посещала нелегальные собрания

<sup>1</sup> Корчеватое — поселок на южной окраине Киева, ныне вошел в городскую черту.

<sup>2</sup> Впоследствии была установлена новая табличка, но, к сожалению, с неточной датой смерти (ее еще долго не удавалось установить). Здесь мне хотелось бы упомянуть моего отца, Григория Борисовича Меца (1921-1988), много сил отдавшего разысканию архива и знакомых В.И.Гедройц и обновившего эту табличку на ее могиле. Пользуюсь случаем поблагодарить всех, кто помогал при поисках биографических материалов: доцента Киевского мединститута Л.Г.Заверного, В.Я.Мордерера, И.М.Конева, В.Я.Радзиевскую, Ф.Ф.Пирода и, особенно, Э.Г.Недорослова, предоставившего для публикации материалы личного архива И.Д.Авдиевой.

<sup>3</sup> В фонде Розанова сохранилось ее письмо от 6 августа 1909 г.: «Многоуважаемый Василий Васильевич. Встречаясь с Вашими статьями, захватывающими меня, мне захотелось возобновить знакомство с Вами, если только Вы тот самый учитель Брянской женской прогимназии, о которой у меня, Вашей ученицы, осталось самое светлое воспоминание. Теперь я доктор, пересекаю жить в Царское Село хирургом Царскосельского придворного госпиталя и была бы очень

кружка В.А.Вейнштока<sup>4</sup>. После разгрома кружка (1892) была выслана в поместье отца под надзор полиции, но вскоре бежала, с паспортом на чужое имя, за границу. Вскоре Гедройц оказалась в Лозанне и поступила на медицинский факультет университета, который окончила в 1898 году. В университете проявились ее способности к хирургии и вкус к научной работе. Хирургией она занималась под руководством европейски известного Цезаря Ру, у него и выполнила свою первую научную работу. Жила Гедройц в среде революционно настроенной молодежи — некоторые были знакомы ей по Петербургу или Орлу — и политэмигрантов. Среди ее знакомых был С.Я.Жеманов, входивший в окружение Г.В.Плеханова; была она вхожа в семью А.А.Герцена<sup>5</sup>.

Блестяще окончившая университет со степенью доктора медицины и хирургии, Гедройц была оставлена ординатором при терапевтической клинике, затем перешла в клинику своего учителя Ц.Ру, сначала младшим, затем старшим ассистентом и уже вскоре читает один из спецкурсов на правах приват-доцента. Какая-то причина заставила ее прервать столь блестяще начатую карьеру. Гедройц возвращается в Россию, и ей нужно было подтвердить свой иностранный диплом и степень доктора. В 1902 году она с успехом держит экзамен при Московском университете (при нем в 1912 году Гедройц защитила и докторскую диссертацию) и получает место хирурга в больнице Мальцевских заводов порландцемента (пос.Людиново Калужской губернии). И здесь Гедройц работала много и плодотворно, и как хирург-практик, и как организатор, принимала участие в работе губернских медицинских обществ, помещала работы в научных журналах. В 1905 году она была назначена главным хирургом больницы Мальцевских заводов и главным врачом Людиновской больницы, сохранив эти должности до 1909 года. Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. она проявила свой талант хирурга-организатора в качестве ведущего хирурга Московского земства на театре военных действий<sup>6</sup>. Имя Гедройц становится все более известным, и в 1909 году она получает место ординатора Царскосельского дворцового госпиталя.

Тяга к литературе у Гедройц проявилась с юношеских лет (одно из стихотворений, вошедшее в ее первый сборник, датировано 1887 годом).

рада увидеть моего незабвенного учителя. Ответьте мне, пожалуйста, по следующему адресу: Царское Село, Жуковско-Волынская улица, дом Борисова.< ... >\* (ГБЛ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 404). Позднее Гедройц консультировала жену Розанова, см.: Розанов В. Сочинения. Л., 1990, с. 232. О посещениях Гедройц вспоминает и дочь Розанова, Татьяна Васильевна, в своих мемуарах (Русская литература, 1989, № 4, с. 161).

<sup>4</sup> После ареста по делу «О гектографировании в Петербурге преступных воззваний к рабочим» Вейншток показал, что познакомился с Гедройц летом 1891 года в Орле, «но в особенно близких отношениях не был» (ЦГАОР, ф. 102, 7 д-во, 1892 г., д. 43, л. 51об.).

<sup>5</sup> О родителях, детстве и юности Гедройц и годах ее учения в Лозанне известно почти исключительно по книгам ее воспоминаний: «Кафтанчик» (Л., 1930), «Лях» (Л., 1931), «Отрывы» (Л., б.г.).

<sup>6</sup> Впечатления этой войны легли в основу ее «Китайских рассказов» (Заветы, 1913, № 11; Современник, 1914, № 10) и повести «Дракон» (Современник, 1915, № 10).



Оказавшись в Царском Селе, она искала литературных знакомств и связей. Так она знакомится с Н.С.Гумилевым, Р.В.Ивановым-Разумником, А.М.Ремизовым, возобновляет, как уже было сказано, знакомство с Розановым, сближается с семьей художника Ю.Ю.Клевера. С 1910 года ее произведения помещают журналы «Светлый луч», «Новый журнал для всех», «Вестник теософии», «Северные записки», «Заветы», «Современник». В 1910 году Гедройц издает свой первый сборник «Стихи и сказки» (СПб.). Вошедшие в него стихи и своими темами, и стилистически следуют народнической традиции. Есть в нем «подражания» Апухтину и Некрасову, повесть в стихах «Страницы из жизни заводского врача» — основанная, как и более поздний цикл стихов «Красный ангел»<sup>7</sup>, на впечатлениях от жизни рабочих Мальцевских заводов<sup>8</sup>. В сборнике есть стихи, посвященные В.В.Розанову, и «На смерть профессора П.И.Дьяконова» (под его руководством Гедройц готовила диссертацию). Посвящение «С.Г.» над одним из стихотворений, вероятно, относится к ее рано погибшему брату, Сергею Гедройцу, чье имя она избрала для своего литературного псевдонима и неизменно им пользовалась. Книга оказалась слабой и несамостоятельной. Н.Гумилев в своей рецензии (Аполлон, 1910, № 9) назвал автора «не поэтом». Жизнь вскоре свела их ближе: в конце 1911-го или 1912 году Гедройц была принята в «Цех поэтов» и оказала ему неоценимую услугу, внося половину необходимой суммы при основании журнала «Гиперборей», в котором также печатала стихи (№ 1, 6, 9-10). Она посещала собрания «Цеха», о чем вспоминал в своих, рассеянных в эмигрантской периодике, гротескных очерках Георгий Иванов<sup>9</sup>, и, под издательской маркой «Цеха поэтов», издала свою вторую книгу стихов «Вег» (СПб., 1913). Название книги, по-видимому, связано с немецким *Der Weg* — путь, что мотивировано, с одной стороны, эпиграфом из «Вед» и мистическими мотивами ряда стихов (как можно судить по факту публикаций в журнале «Вестник теософии», Гедройц отдавала дань этому, модному в то время среди столичной интеллигенции, псевдофилософскому увлечению), с другой — совпадением с начальными буквами ее имени и фамилии. В своем очень сдержанном отклике на книгу С.Городецкий отметил лишь то, что Гедройц пленяет в народной душе «ведовское, темное и страшное» (Речь, 1913, 25 ноября). Другой товарищ по «Цеху поэтов», Г.Иванов, отнесся к книге более взыскательно: «Несомненные успехи, сделанные Сергеем Гедройц за <...> три года, отделяющих его первую книгу от второй, все же слишком недостаточны, чтобы отозваться с похвалой об этой последней. Сгладились недостатки техники, выработались кой-какие приемы, подбор слов стал строже, вкус уравновешенней — но как мало значат такие частичные «усовершенствования» для лирика, не сумевшего преодолеть главный свой недостаток — анемичную вялость. Бескровность стиха и словаря совершенно уби-

<sup>7</sup> Заветы, 1914, № 5.

<sup>8</sup> По агентурным сведениям полиции, Гедройц в 1907 году состояла членом социал-демократической Людиновской организации (ЦГАОР, ф. 102, 4 д-во, 1908 г., д. 121, т. 2, л. 24).

<sup>9</sup> См., например: Звено (Париж), 1924, 7 июля; Дни (Париж), 1926, 21 февраля.

вают те из стихотворений, где автор хочет быть смелым и красочным. Особенно неприятны в этом отношении стихи Сергея Гедройц на былинно-русские темы. И только в пьесах интимно-лирических попадают строфы и строки, волнующие подлинным поэтическим чувством» (День, 1913, 21 октября). Следует отметить перекличку со стихами А.Ахматовой «Помолись о нищей, о потерянной...» в одном из стихотворений книги — «Наказание Божье — милость велия...», предваренном эпиграфом из ахматовских стихов (в оглавлении оно значится как «Ответ Анне Ахматовой»). Из более поздних выступлений в печати укажем на ее поэму «Дон-Жуан» в «Альманахе муз» (Пг., 1916).

С началом войны В.И.Гедройц работает над переоборудованием Царскосельского госпиталя, подготавливая его к приему раненых, обучает императрицу и ее дочерей работе медицинской сестры (об этом говорится ниже в материалах публикации). После Февральской революции, в мае 1917 года, она едет на фронт и становится корпусным хирургом 6-й Сибирской стрелковой дивизии. На Октябрь откликнулась сочувственными стихами «Искушение Святого Антония» (Знамя труда, 1918, 14 января). По впечатлениям войны ею написаны «Галицийские рассказы» (Знамя труда, 1918, 2 июля). После ранения эвакуирована в Киев (8 января 1918 г.). С этого времени живет в Киеве. После выздоровления работала в детской поликлинике, с 1921 года — в факультетской хирургической клинике мединститута. В 1923 году избрана профессором<sup>10</sup>. В 1930 году она увольняется со службы<sup>11</sup>.

На середину 1920-х годов приходится пик творческой активности В.И.Гедройц. Она печатает статьи в хирургических журналах по вопросам хирургии, онкологии, эндокринологии, участвует в работе хирургических съездов. Продолжает она и свой литературный труд, пишет стихи, а, приблизительно, с 1926 года — мемуарную прозу на материале своих обширных дневников (их, уже после смерти Гедройц,

<sup>10</sup> К этому времени относится отзыв о ней выдающегося русского хирурга В.А.Оппеля. В разделе о женщинах-хирургах своей «Истории русской хирургии» (Вологда, 1923) он аттестовал Гедройц как «настоящего хирурга, хорошо владеющего ножом» (с. 372).

<sup>11</sup> 24 июля 1930(?) года она писала С.Д.Мстиславскому: «Молодой литератор Ирина Дмитриевна Авдеева едет в Москву, и я пользуюсь этим, чтобы восстановить наше с Вами прерванное знакомство и напомнить Вам о себе, и узнать о Вас, как живете. За Вашей литературной деятельностью я очень слежу и с удовольствием читала те Ваши вещи, которые дошли до Киева. Все это время профессорствовала в Киеве, теперь кафедра моя закрывается; как-то так вышло, что за 33 года непрестанной работы осталась без пенсии и живу только литературным трудом, а это, как говорят на Украине, не дуже солодко. Я просила Ирину Дмитриевну передать Вам рукопись моих китайских рассказов под названием «Старого Дракона». Думаю, что в то время, когда молодой Китай борется со старым, хорошо показать особенности последнего. Не сосватаете ли Вы эту вещь в какое-нибудь издательство, буду благодарна; если же не подойдет, то, пожалуйста, сохраните и верните рукопись. Пишу я по-прежнему под именем Сергея Гедройц — может, показались Вам мои книжонки? Есть у меня еще рассказы и вещи из современной войны и жизни. Если Вы мне напишете, буду очень рада; будьте добры не полнитесь!» (ЦГАЛИ, ф. 306, оп. 8, ед. хр. 278). На закате своей хирургической деятельности, в 1929 г., Гедройц оперировала Н.Я.Мандельштам (письмо О.Э.Мандельштама М.А.Зенкевичу. — ГЛМ, ф. 247).

безуспешно разыскивал Иванов-Разумник) и, с помощью К.Федина, готовит их к печати в «Издательстве писателей в Ленинграде». Было задумано издание цикла повестей под общим названием «Жизнь». Издательство выпустило три из них: «Кафтанчик» (Л., 1930), «Лях» (Л., 1931), «Отрыв» (Л., б.г.)<sup>12</sup>. В архиве Р.В.Иванова-Разумника сохранились машинописи повестей «Шамань» и «Смерч», вторая из них в виде наборного экземпляра, с предисловием «От издательства», в котором «Шамань» названа в числе вышедших книг Гедройц<sup>13</sup>.

В 1931 году В.И.Гедройц тяжело заболела. Болезнь привела ее к преждевременной смерти в марте 1932 года.

Ближайшими друзьями Гедройц в ее последний, киевский период жизни были художники Ирина Дмитриевна Авдиева (1904-1984) и ее муж Леонид Семенович Поволоцкий (ум.1953?). В архиве Авдиевой сохранились альбом Гедройц<sup>14</sup> и школьная тетрадка с двумя дневниковыми записями 1914 года — все, что удалось разыскать из некогда обширного личного архива Веры Игнатьевны. В 1960-е (1970-е?) годы И.Д.Авдиева написала воспоминания, извлечения из которых мы присоединяем к настоящей публикации стихов из альбома В.И.Гедройц и ее дневника<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> Начало подготовки книг в издательстве определяется по внутренней рецензии К.Федина, датированной 22 августа 1929 г. (ГПБ, ф. 709, оп. 1, ед. хр. 56). Судя по сохранившимся в архиве И.Д.Авдиевой дарственным надписям, «Кафтанчик» вышел в середине 1930 г. (инскрипт Авдиевой и Поволоцкому с датой 6 июня 1930 г.), две остальные — в конце 1930 или начале 1931 г. (инскрипты с одной датой — 28 января 1931 г.).

<sup>13</sup> ИРЛИ, ф. 79, оп. 4, ед. хр. 52, 53. В этом фонде сохранились также ее повесть «Старый дракон» (ед. хр. 54), пьеса в стихах «Трясание золотой ветки» (ед.хр.51), переписка Р.В.Иванова-Разумника с И.Д.Авдиевой (оп. 1, ед. хр. 189, 217).

<sup>14</sup> В альбоме записаны стихи 1924-1928 гг., незаконченная поэма «Великий Андрогин (старец Досифей или Дарья)», автобиографическая проза «Куски людей», рассказ неназванного лаврского старца, конспекты лекций.

<sup>15</sup> В тексте дневника сделаны сокращения (за счет длиннот), несущественные в смысловом отношении.

СТИХОТВОРЕНИЯ

НЕ НАДО

Не надо — нет — не разжимай объятий,  
Не выпускай меня — не надо слов.  
Твой поцелуй так жгуче ароматен,  
И, как шатер, беззвезден наш альков.  
Еще — опять — вска изжить в мгновенье,  
Дай умереть — сама умри со мной.  
Ночь молчаливая льет чары исступленья,  
Росою звонкою на землю сводит зной.  
Вот распахнулись звездные палаты,  
В лобзании слившись жизнью одной,  
Не надо — нет — не разжимай объятий,  
Дай умереть! Сама умри со мной!

23.VI.1925. *Преображение*<sup>1</sup>.

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ВОКЗАЛ

Вокзал таинственный, и низкий  
Звук громыхающих колес.  
Где Царскому Селу бросает  
Свистками вызов паровоз,  
И дерзко клубами плюется  
В лицо под каску иль плюмаж,  
И смехом огненным несется.  
Рукою придержав палаш,  
Скосив изящно треуголку,  
Паж, лицеист иль камергер,  
Любуясь дамой втихомолку,  
Плывут в застекленную дверь.  
Там глуби мягкие диванов,  
Лакеев фраки и буфет,  
А у подъезда ряд рыдванов,  
Дворцовых дрожек и карет.  
Нет шума — тишина немая,  
Нсвольно гаснет громкий смех...

Сам в горне жизненном пылая,  
Кузнец налаживает мех,  
Сердито искры раздувает.  
Он близок, мировой пожар,  
И перья алые роняет,  
Плывет в высотах птица-жар.

21.II.1926. *Киев*.

### ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ДВОРЕЦ

Пустынный, белый, одинокий,  
С красой раскинутых крылец,  
Средь тьмы ночной зимы жестокой,  
Как прежде, высится дворец.  
Как встарь, решетка вдоль ограды  
Покой бывшего сторожит,  
Мороза щедрого награда,  
Сугробом снег вокруг лежит.  
Молчанье реет злее вьюги,  
Не слышен часового шаг,  
И только филин — солнца враг  
С безумным смехом в час досуга  
Напомнит о ушедшем круге,  
В котором скрылися года,  
Что не вернутся никогда.  
О том, что более не будет,  
О том, что мозг не позабудет.  
Повсюду звезд огнистый мак  
И реет гордо алый флаг.

27.XII.<1925> Детское Село.

### ПАМЯТНИК ПУШКИНУ

Книжка отложена, полно,  
Ах, не до чтения теперь.  
Жизни огнистые волны  
Выбили дверь.  
Грани решеток измяли,  
Нету ворот.  
Крепкие цепи печали  
Сбросил народ.  
Где ты бродил одиноко,  
Молод и сир,  
Грозный и жгучий сирокко  
Сжег старый мир.

29.XII.1925. Детское Село.

### ГОСПИТАЛЬ

Квадрат холодный и печальный  
Среди раскинутых аллей,  
Куда восток и север дальний  
Слал с поля битв куски людей.  
Где крики, стоны и проклятья  
Наркоз спокойный прекращал,  
И непонятные заклятья

Сестер улыбкой освещал.  
Мельканье фонарей неясных,  
Борьба любви и духов тьмы,  
Где трех сестер, сестер прекрасных  
Всегда привыкли видеть мы.  
Молчат таинственные своды,  
Внутри, как прежде, стон и кровь,  
Но выжгли огненные годы —  
Любовь.

29.XII.1925. Ц<арское> С<ело><sup>2</sup>.

#### ДОМИК АЛЕКСЕЯ

Перекошённые столбы,  
Снегов декабрьских аметисты,  
Избы, что строили рабы,  
А разрушали коммунисты.  
И нет остатков, ни следа,  
Того, что ты воздвиг когда-то.  
Снесли огнистые года  
Валы, что были возле хаты.  
Воспоминанье, унеси  
Тот труд, покрытый легкой мглою,  
Где лед колол перед толпою  
Последний царь всея Руси.

29.XII.1925. Ц<арское> С<ело><sup>3</sup>.

#### ГУМИЛЕВУ

На Малой улице зеленый, старый дом  
С крыльцом простым и мезонином,  
Где ты творил и где мечтал о том,  
Чтоб крест зажегся над Ерусалимом.  
Где леопард тебе напоминал  
Былые подвиги, востока оргий,  
А грудь бесстрашную как уголь прожигал  
В боях полученный Георгий.  
Где в библиотеке с кушеткой и столом  
За часом час так незаметно мчался,  
И акмеисты где толпились кругом,  
И где Гиперборей рождался.  
Ты жил весь в будущем, таинственная нить  
Служенья твоего лишь намечалась.  
Того, за что не захотел ты жить,  
За то, что, как мечта блеснув, умчалось.  
30.XII.1925<sup>4</sup>.

Я тебя помню в голубой рубашке  
 Под сенью радушного крова.  
 Ты пил из фарфоровой чашки  
 Чай у Разумника Иванова.  
 Точно лен, волнистые пряди  
 По плечам твоим спускались,  
 Из-под длинных ресниц ограды  
 Глаза смеялись.  
 Ты был молод, почти ребенок,  
 Смех звучал безмятежно,  
 И был ты странно робок  
 И странно нежен.  
 Через годы, рдяные годы  
 Выросли крылья-руки,  
 Ты стал певцом свободы,  
 Тоски и муки.  
 Не узнать нам, что бушевало  
 В груди могучей,  
 Какие страсти сердце рвали,  
 Свивались тучи.  
 И теперь мы встретились снова.  
 На устах твоих смерти загадка.  
 И бровей скорбная складка  
 Мира иного.  
 Глаз полузакрыт-полувиден,  
 Певец сёл и темного бора.  
 Покой твой мне завиден.  
 Встретимся скоро.  
 30.XII.1925<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Название села, в котором Гедройц жила летом на даче, а с 1930 г. поселилась, купив здесь дом.

<sup>2</sup> О «трех сестрах» (милосердия), упоминаемых в стихотворении, см. ниже в дневнике Гедройц.

<sup>3</sup> В стихотворении речь идет о домике, построенном близ Александровского дворца в Царском Селе для сына «последнего царя всея Руси», Николая II. Домик до наших дней не сохранился.

<sup>4</sup> О знакомстве Гедройц и Гумилева см. в предисловии к настоящей публикации. Помимо «Цеха поэтов», они могли встречаться на заседаниях «Общества ревнителей художественного слова» и «Всероссийского литературного общества», членами которых оба состояли. В стихотворении названы реалии: дом на Малой ул., № 63, в котором жил Гумилев; Георгиевскими крестами он был награжден дважды — в 1914 и 1915 годах; «...где мечтал о том, // Чтоб крест зажегся над Ерусалимом» — реминисценция из стихотворения Гумилева «Память» (из сборника «Огненный столп»):

Сердце будет пламенем палимо  
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,  
Стены Нового Иерусалима  
На полях моей родной страны.

<sup>5</sup> Стихотворение написано под впечатлением от самоубийства поэта; как можно судить из текста, Гедройц, находившаяся в это время в Ленинграде, была на гражданской панихиде по Есенину 29 декабря 1925 г. В доме Р.В.Иванова-Разумника Гедройц могла видеть Есенина в 1916 г.

## В.И.Гедройц ДНЕВНИК

20.VIII.<1914>. Эти дни точно в чаду. Работы всегда было много, а теперь, когда в короткий срок нужно открыть большое количество госпиталей, хотелось бы, чтобы день был вдвое. У меня ежедневно не менее пяти полостных операций в Дворцовом госпитале, где я состою и<сполняющей> о<бязанности> главного врача. Госпиталь этот только, что называется, хранит это название, а собственно говоря, просто городской госпиталь с отделениями хирургическим и акушерско-гинекологическим, которое веду я, и терапевтическим и заразным бараками, которые только наблюдаю, а ведут их ординаторы Деревенько, Арбузов и Будназ. Т<ак> к<ак> это единственная лечебница Царского Села, то она вечно переполнена, а считая, что нижний подвальный этаж занят призреваемыми, несчастными стариками и старухами, то попросту нужно сказать, что народу в нем набито, как сельдей в бочке, и вести дело при таком ограниченном количестве рук трудно.

Коллегия постановила для нужд военного времени занять хирургическое отделение госпиталя, устроив в нем солдатское отделение, новый же барак в саду приспособить для офицерского госпиталя.

Открыть его предполагалось в сентябре, и за такое короткое время если и удалось выполнить это задание, то только благодаря тому состоянию внутреннего подъема, который охватил, казалось, все слои населения. И в самом деле, какие-то незнакомые купцы с жирными животами приходили и привозили мед для раненых, жертвовали муку, папиросы, конфеты, белье; раненых еще не было, но пожертвования сыпались точно из рога изобилия.

Более 30 дачевладельцев предложили свои особняки и полное оборудование для лазарета. Другие жертвовали деньгами, и в короткое время, при энергии Евгения Сергеевича Боткина, Сергея Николаевича Вильчиевского и моей скромной помощи 30 ла-



заретов в Царском Селе были готовы к принятию раненых, а чтобы не томить их пересылкой через Петербург, был устроен Царскосельский эвакуационный пункт, начальником которого был назначен Вильчиевский. Нужно отдать справедливость его энергии и умению использовать все идущие навстречу силы. А работа все прибывала, и нужно сказать, что на полумерах не останавливались. Так, с первых же дней началась подготовка санитарных поездов имени Императрицы и Великих княжон, которые должны были привозить раненых прямым маршрутом в Царское с позиций. Поезда эти обставлены просто, но снабжены всем необходимым; благодаря быстрой и целесообразной доставке раненых для операций спасли жизнь не одному из этих страдальцев.

Все придворные автомобили и экипажи были отданы для перевозки раненых. < ... > Цветы из оранжерей, сладкое придворных кондитеров — все это направлялось в лазареты для раненых. Казалось, чугунная решетка Александровского дворца раскрылась и дыхание народной жизни обожгло душу ее обитателей.

И ежедневно черное ландо с тремя сестрами милосердия<sup>1</sup> скользило по заросшим зеленью улицам мирного городка, останавливаясь то перед одним, то перед другим лазаретом.

Мне часто приходилось ездить вместе и при всех осмотрах отмечать серьезное, вдумчивое отношение всех трех к делу милосердия. Оно было именно глубокое, они не играли в сестер, как это мне приходилось потом неоднократно видеть у многих светских дам, а именно были ими в лучшем значении этого слова.

27.VIII.<1914>. Началось мое чтение лекций в Александровском дворце. Хочу написать подробно, как все это было в первый день, чтобы выяснить свои собственные впечатления и воспоминания. Условлено было, что читать я буду от 6 до 7 вечера ежедневно и ездить буду просто в собственном экипаже, а не в придворном. У меня в ту пору была маленькая умная крестьянская лошадка, называемый Сашка, запряженная в длинные оглобли дрожки; она имела очень непрезентабельный вид. Немудрено поэтому, что когда мой милый Сашка, скакавший где-то в конце оглобель, кучер Яков, гордый тем, что едет во дворец, и, наконец, я, в английском костюме, мужской шляпе, с разборным анатомическим манекеном и хирургическими чертежами, появилась перед решеткой мирно дремавшего в своем величии дворца, то околоточный надзиратель отказался нас пропустить. Только после длительного разговора по телефону ворота открылись и Яков, растопырив локти и потрясая синими новыми вожжами, подъехал к левому крыльцу, на котором ожидал великолепный в своей неподвижности швейцар с булавой, мешавшей ему подтащить мой хирургический груз.

Сознаюсь еще, что перед началом первой лекции меня интересовал вопрос совсем отвлеченный, а именно — увижу ли я

арапа. Арапа, занимавшего очень мое воображение в детстве. Дело в том, что матушка моя, окончив Смольный институт, часто рассказывала нам, детям, о посещении ею дворца, где большое впечатление на все произвели прислуживавшие там арапы в красных одеждах. И в наших детских беседах эти арапы играли большую роль, каждый представлял их себе по-своему, даже ссорились мы, помню, из-за них. < ... > И его самого я увидела, как только вошла в обширную переднюю с камином, стены которой были убраны рогами убитых на охоте лосей. И арап был как раз соответствовавший моему детскому представлению, очень черный, с темными губами, в яркой алой куртке и таких же панталонах, с длинным ятаганом у пояса.

Я бы долго смотрела на этого героя моей детской сказки, но он заговорил, и хорошим русским языком, и этим нарушил очарование. < ... > Поражает тишина дворца, такая тишь, что скрипенье моих новых сапог казалось мне чуть ли не громом. И чего они вздумали так скрипеть.

<sup>1</sup> Имеются в виду императрица Александра Федоровна и великие княжны Татьяна и Ольга.

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И.Д.АВДИЕВОЙ

Андрей Белый спросил однажды Разумника Иванова: «Принимая во внимание, что Россию угнетали Романовы в течение 300 лет, сколько лет может продлиться большевистский террор?»

Разумник Васильевич ответил: «Конца мы не увидим, ибо нас уже не будет».

Конца не видно. Где-то за рубежом умер Разумник. Угасла большая интеллектуальная сила. Не стало совести русской литературы.

Я встречалась с ним в разное время, и каждая встреча была откровением, озарением этой могучей мыслью и преклонением перед его сверкающей человеческой чистотой.

В 1927, 1928 годах литература еще существовала. Был Бабель, Олеша, Тынянов, жив был Маяковский, Леонов писал лучшие свои вещи, начинал сверкать Федин. Тогда еще писатели были разными. Существовали литературные споры. Пильняк и Замiatин еще печатались. Разумник жил в Царском Селе, и в скромный его дом стекался весь литературный Ленинград, ибо только Разумник, нигде официально не работающий, не числящийся ни за какой редакцией или издательством, мог безгрешно определить достоинство литературного произведения, открыть молодой талант, указать недостатки и помочь в работе как-то удивительно тактично. Невероятное обаяние струилось от всего образа Разумника, то обаяние, которое превосходит любую кра-

соту и делает уродливость только характером\*. Такая была и Бронислава Нижинская, но о ней потом. Разумник косил, обладал отвратительными зубами, и кожа у него на лице красно бугрилась какой-то шелудивой эритемой. Он носил черную ермолочку и мягкие сапожки. Речь его отличалась кованностью слов и удивительным богатством лексики. Юмор разил наповал; слух его не выносил надругательств над русским языком. В столовой за самоваром и блюдами с бутербродами всегда былолюдно.

Жена Разумника брёлловским портретом украшала комнату<sup>1</sup>. Все в ней было женственно и изящно. В этой столовой запомнились Алексей Толстой и Вячеслав Шишков. Толстой жадно и неряшливо ел бутерброды, говорил сумбурно и, теснимый железной логикой Разумника, махнул рукой и сдал свои позиции. Шишков был одет в нечто напоминающее вицмундир. Очень застегнутый человек — высокий, сухощавый. Возле него вилась пышущая темпераментом женщина из «Угрюм-реки», гораздо моложе Шишкова, и почему-то делалось как-то неловко от его замкнутости и от ее развязности. Шишков говорил метко. Это его замечания заставили меня усомниться в моем писательском даровании.

Я приехала в Ленинград вместе с Верой Игнатьевной Гедройц, которая привезла свои книги по договору с издательством, а кстати прихватила и меня, считая, что Киев может подарить русской литературе не только Ольгу Форш. Было у меня написано несколько маленьких рассказиков, но Разумник Иванов, большой друг Веры Игнатьевны<sup>2</sup>, прочел их пристально — уединился со мной, полумертвой от волнения, в своем громадном кабинете и сказал слова бичующие о том, что анекдот литературной темой быть не может, что писать надо только тогда, когда невозможно вытерпеть, чтобы не писать, и когда есть свой, незаимствованный язык, и свое видение, и собственное отношение. Я была уничтожена до полной серости. В горле стоял ком, и приходилось смотреть на люстру, чтобы слезы не выкатились. И тогда Разумник засмеялся и сказал: «Это я, голубчик, как присяжный критик, готов во все въедаться. Нам ведь только дай поживу — вдребезги разнесем. Но дело-то ведь в том, что разношу я только тогда, когда есть что разносить. Рассказики Ваши все же литература художественная, но очень, очень посредственная. Поначалу посредственная она бывала у многих больших, у Чехова, например. Мастерством писательским овладевают, как и музыкальной техникой. Белый вот Андрей литературные натюрморты ежедневно по часу пишет. Поставит подсвечники на столе и описывает, как стоят, на чем стоят, какие — пока эти подсвечники не станут на столе в литературной форме. Очень важно, что умеете видеть, литературу любите — продолжать на-

---

\* Так в тексте

до. В среду у меня народ литературный соберется — им почитаете — может, я в чем и ошибся».

Так вот и случилось, что, посидев в кресле, где сидели Гумилев, Белый, Ахматова, с душой растерзанной я на ватных ногах пришла в среду и читала свои жалкие рассказы. Толстой даже хвалил, но как-то обидно. «Да оно ведь у нее не хуже того, что в некоторых журналах толстых печатать стали. Без соли и перца, а есть можно».

И вот тогда-то очень тихо сказал Шишков. «Произведения эти суть любовь к литературе и подражание многим и многим писателям излюбленным — бессознательное. Хороший вкус литературный, одаренностью не назовешь. Тут я вижу читателя больше, чем писателя». И стало мне тогда так, как бывает от разгаданной тайны, стыдно до предела, что это правда. И сколько ни было в тот вечер сказано других ободряющих слов Разумником, Верой Игнатьевной, незнакомыми мне писателями, я чувствовала, что только Шишков прав. В следующую среду Вера Игнатьевна читала главы из своего «Ляха», принятого к печати. Ей сказали много горького, а Разумник сердито укорял за недоработанность, за неряшливость и советовал переписывать заново. Совет его не был исполнен — вещи Веры Игнатьевны были напечатаны, и сейчас, перечитывая их, я вижу, как они художественно слабы и маловыразительны.

Через полгода в Киеве я получила от Разумника письмо. Он спрашивал, работаю ли я, и сообщал, что советовал ленинградскому издательству напечатать мои рассказы и что надо их послать издательству<sup>3</sup>. В то время я училась писать шрифт, стала зарабатывать деньги. Группа художников брала большой заказ и дружно работала. Муж, у которого было архитектурное и художественное образование, делал большой оформительский проект-эскиз, рисовальщики делали свою часть — ко мне поступали карты, диаграммы, плакаты для надписей. Порой я писала шрифт часов по 16 в день, писала все лучше, и заменить меня было невозможно. Свои литературные попытки я считала ошибкой, и вот пришло это письмо. Жизнь моя представилась мне убогой. Ночами я правила рассказы и писала повесть. Мужества бросить шрифт не хватило, как и времени довести литературную работу до приличного состояния. До сих пор не пойму, почему это беспомощное рукоделие приняли к печати<sup>4</sup>. Я еще раз была в Ленинграде, снова сидела в историческом кресле у Разумника Иванова. Мне стало легко говорить с ним о себе.

Я рассказывала ему самое заветное, то, что вынашивалось и болело во мне, то, о чем тогда уже писать было нельзя. Это была история Спасо-Преображенской пустыни, Досифеевой горы, отца Вассиана, кражистого деда Сергея и гибели плодового сада.

В то время начали уничтожать монастыри. Монахов, схимников и священников ссылали. Лавру закрыли. В Голосеевском

лесу под Киевом были лаврские филиалы — Спасо-Преображенская пустынь, Китаевский монастырь, Феофания, Церковщина. От Китаева до Преображения на много гектаров тянулся плодовый сад. Каждое дерево было благородно и плодоносило плодами райского вкуса. Были такие сорта груш, выведенные монахами, что их перевозить из-за сочности было невозможно. Подъезжали коляски. Груши ели в саду. Неправдоподобной красотой веснами цвел этот сад. Из пруда в пруд переливалась вода. Рыба и раки были нипочем. В глинище жил огромный древний сом. Иногда он всплывал, бил хвостом и поднимал большую волну. Это была благословенная земля, ибо на горе Досифеевой много лет в пещере-норе жил схимник Досифей. Изнурял себя великим постом. В старости обрел силу исцеления. На страждущих возлагал легкую руку. Утихала боль. Досифеева могила была в ограде Китаевского монастыря. Теперь плита уничтожена, как и Досифеева пещера — куда приходили верующие в горе. На плите была странная надпись: «Схимник Досифей, во иночестве Ефросиния». Только смерть открыла тайну Досифея — это была женщина. Я пыталась собрать у монахов материалы о Ефросинье и познакомилась с интереснейшими людьми. Узнала и полюбила схимника Вассиана, который никогда не ложился и ночи проводил в полудреме, сидя в жестком деревянном кресле. Широкая, всепонимающая терпимость отличала верующих, духом и умом, от ханжей и догматиков. Вассиан не пытался обратить меня — он считал, что стремление человека к хорошему, добруму и есть Бог. Он благословлял гонителей церкви за то, что, подвергая людей гонениям и преследованиям, — им дана была возможность претерпеть испытания, закалить свой дух, проверить силу веры своей, чистоту совести.

А гонения были великие. Священников арестовывали и ссылали. Монастыри закрывали. В Голосеевском лесу монахи рыли пещеры-норы, жили в чащобине и зимой — голодали. Летом мы с мужем сняли у деда Сергея маленькую хатенку-сторожку и приняли на жительство отца Спиридона, одичавшего лесного схимника. Спал он на рогоже прямо на полу, спал часа по три в сутки. Помолившись, уходил на заре в лесничество корчевать пни. Вечером варил на треноге странное хлебово из огурцов-желтяков и вики. Все, что мы давали ему, он прятал в холщовый мешок и не ел. Выяснилось, что под Церковщиной в дремучих лесах укрываются ветхие старцы — к труду уже не способные. Им относил Спиридон «пищу деликатную». Себе разрешал он «чревоугодие чайком», пользуясь микроскопическим кусочком сахара. Рассказы его были удивительные. В Спасо-Преображенскую пустынь Спиридон пришел мальчишкой — убсжав от злобной махечи. Помнил он, как жгли монахи лесную заросль — сажали сад. Рыли землю и ровняли ее. Находили клады монет, мечи и шлемы, разрыли древнее кладбище с людьми целыми и твердыми, нетленными басурманами. Служил Спиридон схим-

никам большого подвига, знал ясновидцев, провидящих будущее. Любил плодовые деревья и людей. Похож был на деревянную скульптуру Коненкова, и не отличить было от коры темных, узловатых его рук, делающих прививку дичкам. Деревьям он отдавал лирическую нежность, лечил их и холил — людям нес утешение и помогал трудом. Считал себя имущим и всегда находил еще более нищего, чем он, и одаривал. Горько корил себя за привязанность к маленькому, смешному самоварчику, погнутому, с кривым носиком, и однажды сказал мне: «Возьми себе мое удовольствие, нельзя человеку роскошествовать и к обременительному, бездушному привязываться. Духом грубеешь. Легкости нет. Тебе еще через многое проходить — тебе можно, а я приготавлиюсь и должен без всего быть». Смерть свою Спиридон предчувствовал, обрядил свое истощенное старое тело в чистое, им же и постиранное, сам отходную прочел. Случилось это зимой. Дед Сергей знал, что была у Спиридона опухоль «як здоровий гарбуз у животі і муки він терпів страшні, але не видавав». Дед Сергей похоронил Спиридона своими руками в своей «дубині», и дуб обнял своими корнями то, что осталось от человека с кристально чистой душой. Разумник готов был слушать эти рассказы без конца, он звал жену и приговаривал: «Послушай, ты только послушай — ее записывать надо, как Пришвина, Михал Михалыч так же творит и наговаривает, только он часто одно и то же рассказывает, вроде правит, наизусть выучит — ну и запишет, а тут сразу получается. Тут актерская школа помогает — зрительно рассказывает, а получается литература, и настоящая — надо Вас с Замятиным познакомить, — он ведь старцами одержим, и то, что Достоевским в «Карамазовых» поднято — продолжает, и талантливо».

С Замятиным я познакомилась. Над его талантливой головой уже собирались грозные тучи. Было опубликовано «Красное дерево»<sup>5</sup>. Внешность у Замятина была не очень примечательна. Говорил сдержанно и суховато. Было ощущение, что ему знакомиться со мной неинтересно, а рассказывала я ему без всякого вдохновения, была у него мало времени и дала свой киевский адрес на случай, если он приедет в Киев. Из Ленинграда я поехала в Москву и, вернувшись домой, узнала, что без меня приезжал Замятин. Муж водил его по схимникам и старцам. Показывал ему киевские древности и провел с ним несколько дней, незабываемых по значимости. Замятин говорил мужу, что перед ним только два выхода — самоубийство или побег за границу — я до сих пор не знаю, что он выбрал<sup>6</sup>. Был ведь еще и третий — стать единицей среди миллионов узников и помереть где-нибудь в Дудинке, как принято теперь писать о замученных в лагерях — «от инфаркта миокарда». < ... >

Да, Разумник Васильевич < ... > Вы говорили мне в Москве перед началом Отечественной войны: «Закон живописи — свет и тень — есть и закон для литературы. Литература перестала

быть художественной после того, как тень была запрещена; когда один свет — формы нет, а голое содержание искусством быть не может». Мы бродили с Вами по Арбату — это было в 1941 году летом<sup>7</sup>. Вы прошли через тюрьмы и лагеря — Вам было запрещено жить в больших городах. Вы жили у Пришвина. О перенесенном Вы не говорили — не потому, что были запуганы или не доверяли мне, а потому, что не хотели показаться мучеником и вызвать жалость. Об очень страшных, кровавых делах Вы говорили вскользь и с тем отвращением, с которым говорят, стыдясь, что довелось соприкоснуться с омерзительным. Ограничивались характеристиками исключительной краткости. «Садист без фантазии», «Эдакий гумилевский серый человек», «Коммунист-жандарм», «Распоясавшийся вешатель», «Палач-любитель», «Верный сын отечества — следователь». Еще Вы говорили о гибели Клюева, страданиях Заболоцкого, о том, что видели избитых, изуродованных украинцев — поэтов и писателей, актеров и художников. Потом мы пошли к Пришвину. Старая собака лежала на коврике в передней — посмотрела на нас внимательно — не залаяла. «Человека уважает и человеку доверяет», — сказал Пришвин и стал рассказывать про весну света и про то, как ему фотография часто помогает понять природу. У Пришвина жизнь в этот период была сложна. Он оставлял свою жену Берендеевну и хотел жить наново с другой женщиной<sup>8</sup>. Взрослые его сыновья стыдили и корили его, грозили позорными разоблачениями. Пошел и материальный раздор. «Вот пишут мне письма женщины и спрашивают меня про любовь и как узнать настоящую, а я вот не отвечаю — думаю, моя-то настоящая?»

Разумник смущенно покашливал и перевел разговор на другое — рассказал, как критики сединой покрываются, пока не пронюхают, что Сталин изрек. И вот попались-таки впросак на просмотре Петра Первого в театре<sup>9</sup>. < ... >

Мы простились с Вами, Разумник Васильевич, у Чувиляева, Богом одаренного скульптора-самоучки, по прозвищу «лесовика»<sup>10</sup>. Чувиляев худой, черный, бородатый — из корней деревьев, из наплывов, коры создавал скульптуру сказочной выразительности, ценители и знатоки называли их «чувилями». Жил Чувиляев на Чистых прудах, говорил бкая и охотно показывал свои работы.

Были у него скульптурные иллюстрации к пришвинским повестям, к стихам Клюева. Разумник и Пришвин называли его ласково «Куприяныч». С Куприянычем я подружилась, и он однажды откровенно поговорил со мной. «Читал это я речь вашего украинского в газете, эдакая грациозная, одно вижу — честолобцы и стяжатели, в леса бы уйти, глаза не глядели бы на обман и мерзость, да слаб я — язвенник. Покажу свой портретик — глядите, — и он вынул из ларя наплыв и показал мне профиль головы энергичной, устремленной — с волосами, вихрящимися надо лбом, и пояснил: «Такой на людях, петуш-

ком-бодрячком, приукрашенный, а вот как один останусь, — и он перевернул наплыв — так, что видны стали усталые черты той же головы — опущенный подбородок, рот в гримасе боли и падающие пасмы волос, — так на одре скорбном, стенающий, ошипанный, горемычный. Язва, что шашель дерево точит, в середине труха». < ... > Куприяныч погиб на крыше своего дома, он тушил немецкие зажигательные бомбы и в него угодили осколки зенитного снаряда. Разумник Васильевич во время войны был в Ленинграде, в Царском Селе. В 1947 году я вдруг услышала кусок передачи из Лондона на русском языке о смерти Разумника Иванова, о его книге, напечатанной в Лондоне<sup>11</sup>.

Хорошо, что есть эта книга, и хорошо, что не в этой России покоится прах одареннейшего русского мыслителя, литературоведа, бесконечно мною любимого и почитаемого.

Все, что пишу сейчас, и напишу еще, посвящаю светлой его памяти, как и благодарность духа, им направленного.



Думаю, что смерти полной нет — пока есть преемственность. Существо мое духовное состоит из множества частиц, заимствованных у людей любимых. Даже и внешне иногда немножко подражаешь понравившемуся жесту, интонации, делаешься незаметно для себя слегка похож на близкого друга. < ... > Я сама знаю, что, любя Веру Игнатьевну Гедройц, научилась у нее любить все то, что поднимает жизнь над уровнем обывательщины, что красит будни в праздники. Вся ее жизнь была увлекательнейшим романом, и долгая дружба с ней во многом изменила меня. Она жила в том же доме, что и мы с мужем<sup>12</sup>, и была старшим хирургом города. Большая, немного грузная, она одевалась по-мужски. Носила пиджак и галстук, мужские шляпы, шубу с бобровым воротником. Стриглась коротко. Для ее роста руки и ноги у нее были малы, но удивительно красивы. Черты лица — суховатые и слишком тонкие для грузной фигуры — при улыбке молодели.

Было ей тогда лет пятьдесят пять. Она пришла к нам и сказала, что хочет познакомиться с художниками, что она не только хирург, но и писатель. На стол она положила стихи, изданные в Ленинграде до войны под псевдонимом Сергей Гедройц. Стихи были неважные. Жила она в большой квартире с Марией Дмитриевной Нирод и ее детьми, Федором и Мариной. Вера Игнатьевна была княжна, Марья Дмитриевна графиня. Отношения у них были супружеские. Обе очень близки были к царской фамилии и бежали из Царского Села в Киев, где скрывались долго в Киево-Печерской Лавре у монахов. Потом поселились в нашем доме, много раз арестовывались<sup>13</sup>, но каждый раз выпускались по просьбе власть имущего чекиста-ленинградца, которому во время войны четырнадцатого года Вера Игнатьевна сделала в царкосельском госпитале сложнейшую операцию.



В этом госпитале у Веры Игнатьевны работала императрица Александра Федоровна с дочерьми — работали медицинскими сестрами. Общение с царской семьей было довольно частым и близким. Для Веры Игнатьевны царственная Александра прежде всего была хорошей, исполнительницей медицинской сестрой.

Мне запомнился рассказ о семье последнего русского царя, Распутине и Вырубовой<sup>14</sup>. Николай Второй был глуп, нерешителен, податлив влияниям чужой сильной воли. Детей своих любил очень, а Александру боялся. Царица могла бы быть царицей, если бы не мрачная мистичность ее духа и странное предчувствие обреченности, захлестнувшее темным потоком разум, честолюбие, волю. Внешне холодная и выдержанная, царица жила в состоянии ожидания ужаса грядущего. < ... >

### «Визион»

Приходила к нам в 1928 году Зоя Николаевна Родзянко. Давала мне, мужу и Аленушке<sup>15</sup> уроки французского языка. Бесплотной худобы. Тень, привидение — по-французски «визион».

Жила одна-одинешенька в коммунальной квартире возле кухни, вернее, в кладовке. Старый фокстерьер Дик понимал, что лаять нельзя, привередничать в еде нельзя.

Неподалеку от Родзянко в такой же жалкой комнатенке жила Мария Николаевна Игнатьева, графиня. Из тех Игнатьевых, состояние которых было одним из крупнейших в дореволюционной России. Писатель Игнатьев<sup>16</sup> приходился Марии Николаевне двоюродным братом и принадлежал к ветви бедных Игнатьевых. Свое огромное состояние, поместье, ценности всех видов — единственная наследница Мария Николаевна не сохранила. Больницы, приюты, церкви, учрежденные ею, поглотили весь капитал.

Она приняла «белое монашество» — дала обет безбрачия и посвятила жизнь свою Богу и людям. Творить добро — значило для Марии Николаевны то же, что молиться. К 1917 году от состояния ничего не осталось, кроме двух драгоценностей: драгоценной белой кружевной косынки «мамы», которую Мария Николаевна надевала на Пасху, и черной кружевной косынки, которую она носила ежедневно в зной и холод. С Марией Николаевной жила горбунья Любочка, бывшая ее горничная — существо необыкновенной кротости и молчаливости.

Никакого подобия кровати в комнате не было. Стояло деревянное кресло, в котором бывшая графиня спала сидя. Дома ее застать было трудно, т.к. она всегда находилась там, где кто-то тяжело хворал, умирал. Уход за больными был ее схимой в миру. Если могли — платили за бессменное дежурство, и на эти деньги существовала Любочка, которая спала на полу и стегала одеяла.

Во всем облике Родзянко и Игнатьевой было что-то такое, что определялось лучше всего словом «визион».

Они были нереальны. Неправдоподобны. Их походка, движения, манера говорить — как отзвук, как нечто потустороннее. И такой же был Шредер. Осколок. Жил в такой же щели. Один. Старый. В прошлом занимал видный пост в Сенате. Часто бывал на придворных приемах. Чудом уцелел. Бежал из Ленинграда вместе с Родзянко, княжной Гедройц, графиней Нирод и Игнатъевой, когда начали уничтожать оставшихся в России аристократов. Бежали они потому, что отцы церкви настаивали на том, чтобы «белые монахини», графини Нирод и Игнатъева<sup>17</sup>, переправлены были под покровительство Лавры и были от смерти спасены. Шредеру поручили их сопровождать из Ленинграда в Киев, а Гедройц семью Нирод считала своей и поехала с ними. Самое опасное время они пересидели у лаврских монахов, тогда еще существовавших. Когда же с аристократами было покончено, в Киеве появились просто Гедройц, Нирод, Игнатъева, Родзянко, Шредер. Гедройц Вера Игнатъевна — первая женщина-хирург, окончившая в Женеве. Любимая ученица профессора Ру. Человек сложный и одаренный. Это она на фотографиях в «Ниве» вместе с царской семьей в 1906 году<sup>18</sup>. В те времена по России гремели подвиги генерала Гурко<sup>19</sup>, его ранение и смелость хирургической операции, которую сделала Гурко В.И.Гедройц и спасла ему жизнь. Война с Японией выдвинула Гедройц как блестящего организатора прифронтовых госпиталей и умного дипломата. Среди пленных японцев оказался раненый японский принц — попал в госпиталь к Гедройц, и по окончании войны Вере Игнатъевне воздавали благодарственные почести. В киевской квартире у нее висели шелковые, ручной вышивки, панно, на письменном столе стояли божки благополучия из слоновой кости. Принц японский прислал дары русским монархам и написал высокопарные слова о «дарительнице жизни, обладательнице рук исцеляющих, Гедройц». Царица Александра Федоровна вызвала Веру Игнатъевну в Царское Село, и с тех пор Вера Игнатъевна стала близким человеком в семье последних Романовых. То, что она рассказывала о царской семье, общеизвестно. Николай был глуп, робок, косноязычен. Александра была умна, достаточно образованна и вместе с тем одержима мистическими страхами. К дочерям была равнодушна, зато к наследнику питала любовь неистовую, по словам Веры Игнатъевны, патологическую. Наследника держали буквально под стеклянным колпаком. Малейшая царапина кровоточила у него месяцами. Есть такая болезнь, когда кровь не сворачивается. Императрице все время представлялось, что болезнь символична, что династия Романовых обречена, обрушится удар и последний Романов истечет кровью. Этим ее страхом умело пользовался Распутин. «Мама, — говорил он царице, — пока я с Вами, ничего не случится — живы будете, не бойся».

Вера Игнатъевна решительно опровергала слухи о том, что Александра в войне с немцами четырнадцатого года участвовала

в изменническом заговоре на стороне Вильгельма против России. Немка по происхождению, она по суеверию своему к войне относилась как к чему-то predetermined и не желала вмешиваться в судьбы свершения. Ум ее был занят анализом снов, предчувствий, прорицаниями старца. Все действия были мелки, все крупное проходило мимо, и царица Алексея-царевича была для нее значимее войны, поражения, бедствия всенародного.

Гедройц стала в 1914 году лейб-медиком царскосельского госпиталя. Царица и великие княжны работали в этом госпитале сестрами милосердия. Вера Игнатьевна во время сложных хирургических операций покрикивала на императрицу российскую, и та сносила; могла бы быть, по словам Веры Игнатьевны, хорошей хирургической сестрой — хладнокровной и точной. Великих княжон Гедройц расценивала как девушек недалеких, для которых флирт с выздоравливающими офицерами был смыслом жизни. Несчастный царевич Алексей был стеклянным мальчиком — тихий и послушный, осторожный, молчаливый.

У Гедройц годы, проведенные в Женеве, вытравили монархические убеждения<sup>20</sup>. Она считала революцию неизбежной и необходимой.

Под псевдонимом брата Сергея Гедройц она писала новеллы, которые изредка печатались в журналах, редактируемых символистами. Гумилев, Гиппиус, Ремизов были для Гедройц той средой, где свободомыслие Женевы находило сочувствие, где шли споры о будущем России.

Когда это будущее наступило, стало настоящим, взбурлилось, вздыбилось революцией — вся беспочвенность и наивность предвидений была опрокинута кровью террора, местью восставших, ненасытным разгулом вырвавшегося народного гнева.

Свершилось то, что предчувствовала царица, — последние Романовы вместе с ранее убитым Распутиным, престолом и коронами канули в вечность. Революция выкосила аристократов. Точно взмахивала косой — сначала скосила венценосные созвездия на длинных стеблях, потом подрезала высокие травы, снова размахнулась и косила у самой земли, и только ползущая травка, цепкая, не цветущая, однообразная, не смочила соком своим безжалостное лезвие. Те, кто уцелел, были «визион» — тени. Сознали, что жить не должны, а живут. Шредер приходил обедать к Вере Игнатьевне раз в неделю. Он был настолько неимущ и беспомощен, что немногие его друзья были вынуждены по очереди кормить Шредера той скудностью, которую потребляли сами. В понедельник он обедал у Гудим-Левкович, во вторник у Гедройц, в среду у Родзянко. Дня два в неделю не у кого было обедать, и он ничего не ел. Приходил к Гедройц за час до обеда. С палочкой. Белоснежный воротничок, жестко накрахмаленные манжеты. Безукоризненные ногти. Прямой, изысканно-вежливый. Входил, склонялся к руке Марии Дмитриевны Нирод, называл ее «*princesse*», Веру Игнатьевну «*la comtesse Vera*». Не-

лепо выглядел красиво сервированный стол с хрусталем и серебром. Подавался пшенный суп с тюлькой, пшенная каша, слегка политая постным маслом, а на третье странное пойло из буряков, которое разливали в японские пиалы. Все это ели особым образом, на разных тарелках. Выглядело так, будто едят суп из черевахи, гурьевскую кашу, ананасы в вине.

Шредер вел разговор светский, легкий. О революции не говорили. Однажды только Шредер сказал, что он вечерами раздваивается. «Я прихожу в свою, свою... — и он затруднился назвать щель, в которой он жил, комнатой, — excuse moi, конуру и делаюсь Жаном — это был у меня в Петербурге лакей, и стараюсь делать все так, как делал Жан: стелю постель, приготавливаю шлафрок, мою стакан и наливаю в него чистой воды. Потом ухожу, гуляю, и когда вхожу в свою, excuse, конуру — я уже не Жан, я воображаю, что это мне приготовил для сна мой лакей».

Вскоре Шредер умер, и Вера Игнатьевна подозревала, что ему удалось достать сильнодействующее снотворное и умертвить себя и Жана в себе.

Родзянко, Шредер, Игнатьева были «визион», они жили только воспоминаниями или отрешенностью подвига. Вера Игнатьевна прошлым не жила, ее активная натура требовала деятельности. Она стала главным хирургом города, оперировала, читала лекции.

Она жила в том же доме, что и мы с мужем. Однажды она пришла к нам и сказала, что скучает без общения с художниками. Мы быстро сблизились и очень полюбили ее.

Грузная, с лицом — похожа на французского аббата, с маленькими руками и ногами, она одевалась по-мужски и о себе говорила в мужском роде: «Я пошел, я оперировал, я сказал». Фактически Мария Дмитриевна Нирод была не подругой Гедройц, а женой. Дети Нирод Марина и Федор чувствовали к ней неприязнь, и не зря, ибо мать их сильно пренебрегала своими материнскими обязанностями, отдавая все свои помыслы и время Гедройц, медицинской работе (она была у Веры Игнатьевны хирургической сестрой) и делам церковным. Мы очень часто с мужем поднимались вверх к Гедройц и, к восторгу Веры Игнатьевны, создавали обстановку литературной богемы. Читали стихи, писали буримэ, Гедройц играла на скрипке, я ей аккомпанировала на фортепиано. Порой мы расходились на три-четыре такта, но это не смущало нас. Мы играли, не замечая, что слушатели забились в самую дальнюю комнату, чтобы не слышать какофонии. Вместе с Верой Игнатьевной мы написали сценарий: «Профилактика рака». Его приняли к постановке, даже аванс нам выдали, но почему-то сценарий так и не пошел в производство. Гедройц много писала научных статей о раке и отвергала теорию вирусного происхождения рака. Она считала, что это патологический рост остаточных зародышевых клеток.

Рак, с которым она боролась хирургическим ножом, жестоко отомстил ей. В 19<32>-ом году она погибла от рака брюшины с метастазами в печень, через год после перенесенной операции (удаление матки). До своей болезни ей удалось написать трилогию мемуарного характера: «Кафтанчик», «Лях», «Отрыв». Книги были изданы. Я помогала ей править корректуры, и она заставила меня заняться литературой.

На гонорары за книги она купила дом в пригороде Киева, оставила хирургическую деятельность и решила заниматься только писательской. Купила себе корову, которая упорно не давала молока, старалась оградить себя от нашествия служителей церкви, монахов, богоискателей, странников.

В доме всегда находился кто-нибудь в черной рясе, поучающий и указующий путь совершенствования. Церковники шли к Нирод, писатели, художники, садоводы и просто пьяницы группировались вокруг Веры Игнатьевны.

Из Ленинграда пришло письмо. Союз писателей просил Веру Игнатьевну помочь Федину, который заболел туберкулезом, и содействовать его помещению в лечебницу Дюсеранвиля в Давосе. Дюсеранвиль, как и Вера Игнатьевна, был учеником Ру и на ее просьбу ответил немедленно и утвердительно. Федин поехал в Давос<sup>21</sup>.

У Гедройц начался рецидив раковый, и она сказала мне: «Давай напьемся в последний раз и кстати поставим эксперимент. Замечала ли ты, что собаки, кошки едят всегда одну и ту же травку — вот эту остренькую. Нарезь этой травки, носи сулею с широким горлом — заливай траву спиртом, пусть постоит недельку». Сидели мы с ней под грушей, пили через неделю ядовито-зеленую жидкость отвратительного вкуса, выпили много, и когда нас вывернуло наизнанку и мы поплыли в обморочное беспамятство — Вера Игнатьевна слабым голосом сказала: «Для собак годится, для людей плохо, думала — рак в себе убью, резать уже бесполезно — везде он». Умирала долго, мучительно. Писала стихи. Соборовали ее. За день до смерти, ночью, вынула из-под подушки сафьяновую папку, достала письмо. «Леня, — зашептала, обращаясь к мужу, — возьми, сохрани. Это Ру мне пишет, что кафедру женевскую хирургическую мне завещает. Это для русской хирургии честь, понимаешь? Надо, чтобы это в истории осталось. Время придет — отдашь кому следует. Обещай. Это след мой, в этом жива буду. И еще знайте, когда оперируют рак, надо избегать иглы, нельзя прокалывать больную клетку, не понимают. У моих потому и метастазов не было, что я это знала».

В 1937-м, когда арестовывали мужа, при обыске нашли это письмо Ру на французском языке. При допросах размахивали письмом, как доказательством шпионской деятельности. Переводом не интересовались. «Шифром написано, признавайся, сволочь, мы и Верку найдем. Вы заговорите, гады...»

Не осталось следа.

Дом продали. Нирод поселилась у монахинь Введенского монастыря. В войну пропал сундучок с дневниками и архивом интереснейшим Веры Игнатьевны. < ... >

Родзянко во время войны перебралась за границу. Любочка и фокстерьер Дик во время немецкой оккупации скончались. Мария Николаевна Игнатьева до последнего вздоха несла свою схиму — когда кончилась война, она сидела в своем кресле, бес-телесная, все та же черная кружевная косынка на голубовато-серебряной голове. От слабости не могла встать. Голодала. Молчала. Я написала ее двоюродному брату писателю Игнатьеву, что Мария Николаевна умирает от дистрофии — он прислал 25 рублей — по теперешним деньгам 2 р. 50 коп. Хватило на два стакана пшена и литр молока. Так, сидя в кресле, и умерла. Похоронили ее в белой кружевной косынке мамы.

<sup>1</sup> Речь идет о Варваре Николаевне Ивановой (урожденной Оттенберг, 1881-1946).

<sup>2</sup> С Р.В.Ивановым-Разумником Гедройц познакомилась, видимо, в 1909 или 1910 г. 17 апреля 1911 г. он писал А.М.Ремизову: «Была у меня сегодня известная Вам д-р Гедройц. Узнав, что Вы едете «покорять сердце Европы за полтора рубля с огурцами» (завидую я Вам и очень рад за Вас, что попадете Вы в Париж) — она советует Вам и предлагает Вам следующее: *Непременно* быть у проф. Ру (в Лозанне), главного специалиста по лечению болезней желудка. Она даст Вам письмо к Ру, и визит к нему будет стоить 5 франков. Если Ру найдет (что почти несомненно), что никакого хирургического вмешательства не надо, то он направит Вас к проф. Бурже — в той же Лозанне. К этому Бурже она тоже даст Вам письмо. Бурже — специалист по желудочным болезням и, по ее словам (кое-что я слышал и раньше) — величайший европейский авторитет в этой области» (ГПБ, ф. 634, оп. 1, ед. хр. 115; в кавычках обыгрывается эпизод из «Крестовых сестер» Ремизова, где один из героев снял угол «за полтора рубля с огурцами» [гл.1]).

<sup>3</sup> Возможно, речь идет о письме от 24 февраля 1931 г. (архив И.Д.Авдиевой):

«Милая Ирина Дмитриевна, мне очень жаль, что не могу порадовать Вас хотя бы сообщением, что прочел Ваш сборник. Мог уделить ему лишь один час «во едино от утр» — и прочел лишь «Половодье». Совсем неплохо, хотя немного и анекдотично, а возвращение коровы с приплодом немного и комично. Но все приемлемо. Однако — много пометок на полях сделал, читая. И вот, пока буду читать остальное («медленно спеша») — посылаю Вам сегодня обратно «Половодье» заказной бандеролью. Пометки на полях, без словесных объяснений — конечно, сплошной ребус; но поломать над ним голову Вам будет если и не приятно, то полезно. А когда разберетесь (или не разберетесь), то верните мне обратно этот перемеченный экземпляр — и сообщите, что непонятно осталось для Вас в этих пометках.

В течение марта думаю понемногу дочитать и весь сборник, причем уже без всяких пометок на полях: «сам разум имаше», сама писала, сама и отвечай. А насчет того, что весной придете пешком в Питер — спросите у Веры Игнатьевны о некоем поэте, который лет пять тому назад пришел ко мне пешком из Ялты с тетрадкой стихов. Пешком ли, железным ли путем — милости просим; к тому времени я, вероятно, уже сдам Ваш сборник в издательство, так что лично побывать для деловых разговоров с оным Вам будет весьма полезно.

Привет. Ваш Р.Иванов.

P.S. Только что я написал Вере Игнатьевне и послал (заказным) по ее деревенскому адресу. Если она в Киеве — скажите ей об этом. Она еще не знает, что в этот сезон — она самый знаменитый человек в Питере» (имеется в виду успех трех вышедших книг Гедройц).

<sup>4</sup> Ошибка памяти Авдиевой: сборник был лишь сдан в издательство. 10 сентября 1931 г. Иванов-Разумник писал ей: «Взаимно должен огорчить и Вас — делом с «Половодьем». Сборник был передан Изд-ву Писателей с хорошим отзывом тем самым членом правления, с которым Вы, кажется, знакомы, и которому в прошлом году давали на прочтение 2-3 рассказа. Несмотря на этот хороший отзыв — сборник Правлением не принят. Советую Вам не очень огорчаться этой первой неудачей, может быть, она и к добру: напишите еще несколько вещей, пересмотрите старые — и сделаете сборник много лучше первого, в котором сами Вы теперь видите немало недостатков. Мои загадки по поводу разных мест «Половодья» Вы разгадали далеко не все — да и трудно с непривычки. < ... > Значит — не унывайте и работайте. А Кавказ и Донбасс, о которых Вы мне пишете — ни к чему: давно известно, что там лучше, где нас нет; но если даже мы попадем к антиподам, то сразу же антиподы эти станут тем местом, где мы есмь. Материалы для художника всех родов искусств — всегда лежат у него под руками; надо только суметь их взять» (архив И.Д.Авдиевой).

<sup>5</sup> Это ошибка памяти И.Д.Авдиевой: автором повести «Красное дерево», вышедшей в 1928 г. в Берлине, был Б.Пильняк; но, действительно, объектом шумной газетной травли, развернувшейся в основном в августе 1929 г., вместе с Пильняком стал и Замятин, которому припомнили его роман «Мы», вышедший в Англии в 1924 г.

<sup>6</sup> Замятин уехал за границу в ноябре 1931 г., о его отъезде официально не сообщалось.

<sup>7</sup> Несточность мемуариста: Авдиева приезжала в Москву и виделась с Ивановым-Разумником летом 1940 г. В 1939 г. Иванов-Разумник возобновил переписку с ней и заручился ее помощью в разысканиях дневников Гедройц, хранившихся у М.Нирод. Ими настойчиво интересовался В.Д.Бонч-Бруевич, директор Литературного музея.

<sup>8</sup> Женой Пришвина в то время была Ефросинья Павловна Смогалева (1883-1953); «другая женщина» — вероятно, Валерия Дмитриевна Лебедева, будущая жена писателя.

<sup>9</sup> Подразумевается генеральная репетиция пьесы А.Н.Толстого «Петр I» (1934) в МХАТе 2-м, о которой Иванов-Разумник позднее рассказал в очерке «Лакейство» (Иванов-Разумник Р.В. Писательские судьбы. Нью-Йорк, 1951, с. 39-43). См.: «Возвращение», вып. 1. М., 1991, с. 340-344.

<sup>10</sup> Ф.К.Чувилев (ум. 1942) — ученый-лесовод, друг М.Пришвина.

<sup>11</sup> Иванов-Разумник, живший в 1941 г. в Детском Селе, оказался на оккупированной территории и был помещен в лагерь для перемещенных лиц под Данцигом. Умер в Мюнхене 9 июня 1946 г.; его книга (см. прим. 9) вышла не в Лондоне, а в Нью-Йорке. Подробнее о его биографии см. во вступительной статье А.В.Лаврова к переписке Иванова-Разумника и Блока (Александр Блок. Новые материалы и исследования. — Литературное наследство. М., 1981. Т. 92, кн. 2, с. 366-385).

<sup>12</sup> Киевский адрес Гедройц: Круглоуниверситетская, д. 7а, кв. 25.

<sup>13</sup> Эти сведения неточны. По свидетельству Ф.Ф.Нирода, сына М.Д.Нирода, его мать стала медсестрой после смерти мужа, полковника Ф.Ф.Нирода, в 1913 г. В Киеве они жили при госпитале, развернутом в помещениях Киево-Печерской лавры. Сведениями об арестах Гедройц мы не располагаем.

<sup>14</sup> Анна Александровна Вырубова (урожд. Танеева, 1884-1964), фрейлина императрицы Александры Федоровны и посредница в ее отношениях с Г.Распутным, также была медсестрой Царскосельского госпиталя во время войны, о чем писала в своих воспоминаниях (Новый журнал, 1978, кн. 131, с. 153). По сообщению Ф.Ф.Нирода, у Гедройц был с нею какой-то конфликт.

<sup>15</sup> Аленушка — дочь Авдиевой и Поволоцкого.

<sup>16</sup> Граф Алексей Алексеевич Игнатьев (1877-1954) — военный дипломат и писатель, автор мемуаров «50 лет в строю».

<sup>17</sup> Эта часть воспоминаний И.Д.Авдиевой основана, по-видимому, на сведениях легендарного характера. Гедройц была военным врачом и в то время в Петрограде не находилась; вряд ли М.Нирод могла быть «белой монахиней» и т.д.

<sup>18</sup> Здесь неточность: на фотографии, помещенной в журнале, В.И.Гедройц снята в группе медиков Дворянского передового госпиталя (из Москвы) в Тавагоузе (близ Мукдена) — Нива, 1905, № 6, с. 110.

<sup>19</sup> Вероятно, речь идет о Василии Иосифовиче Гурко (Ромейко-Гурко; 1864-1937), в то время имевшем чин капитана.

<sup>20</sup> Это не так: к революционному движению Гедройц приобщилась еще до Лозанны (см. вступительную заметку).

<sup>21</sup> Уже находясь в Швейцарии, Федин писал Е.Замятину 21 июня 1932 г.: «Был я в Лозанне, заходил к Цезарю Ру — учителю В.Гедройц. Кстати, знаете ли Вы, что Гедройц умерла в марте? Она в свое время дала мне письмо к Ру, и он помог моему въезду в Швейцарию» (Новый журнал, 1968, кн. 92, с. 189-190).



**V**aria



## МЕРЕЖКОВСКИЕ В ПАРИЖЕ (1906-1908)

Специфика культурной ситуации начала XX века диктует необходимость рассматривать практически любой элемент биографии писателя по крайней мере в двух планах: в фактографическом (когда анализу подвергаются преимущественно документальные источники, современные исследуемому событию) и историко-культурном, при котором особое внимание должно быть уделено заданному метафизическому смыслу действия и его месту в сознательно осуществляемой биографии писателя. Эту зримую черту эпохи выразительно охарактеризовал В.Ходасевич: «Мы жили в реальном мире — и в то же время в каком-то особом, туманном и сложном его отражении, где все было «то, да не то». Каждая вещь, каждый шаг, каждый жест как бы отражался условно, проектировался в иной плоскости, на близком, но неосязаемом экране. Явления становились видениями. Каждое событие, сверх своего явного смысла, еще обрело второй, который надобно было расшифровывать»<sup>1</sup>.

Пребывание Дмитрия Сергеевича Мережковского, Зинаиды Николаевны Гиппиус и Дмитрия Владимировича Filosofova в Париже, продлившееся болсе двух лет (с 25 февраля 1906 года до второй декады июля 1908 года), стало для всех троих важнейшим этапом биографии. Своеобразный тройственный союз, закрепленный этим совместным уединением, явился уникальным явлением культурной жизни эпохи: известен интерес, который проявляли к образу жизни Мережковских и Filosofova Андрей Белый, А.Блок, Вяч.Иванов.

В годы жизни в Париже Мережковским удавалось, при внешнем отъединении, принимать активное участие в литературной жизни России. Все эти годы писатели (особенно Гиппиус и Filosofov) напряженно следят за происходящими там событиями и регулярно откликаются на появление новых книг и имен. Рецензии Гиппиус и ее большие обзорные статьи из номера в номер появляются в «Весах» и «Речи», Filosofov регулярно публикуется в газетах «Товарищ», «Страна» и других. С другой

<sup>1</sup> В.Ф.Ходасевич. Некрополь. Paris, 1976, с. 102.

стороны, за это время Мережковских посещали в Париже многие люди, бывшие в центре событий русской культурной жизни. Так, в 1907 году их навещают Л.Бакст, Н.Бердяев, В.Нувель, долгое время по соседству с ними живет Андрей Белый. Таким образом, пребывание Мережковских и Filosofova в Париже может и должно быть описано не только как значительный этап их биографии и истории их союза, но и как немаловажный эпизод русской культурной жизни начала XX века.



Отъезд Мережковских и Filosofova в Париж вечером 25 февраля 1906 года явился закономерным завершением долгой цепи событий. Решению об отъезде предшествовала череда неудач, постигавших все без исключения общественные проекты Мережковских. Первым по времени и наиболее значительным эпизодом их деятельности были Религиозно-философские собрания, происходившие в Петербурге в 1901-1903 годах. Эти собрания, предназначенные «для свободного обсуждения вопросов Церкви и культуры»<sup>2</sup>, несмотря на свое недолгое существование, оставили глубокий след в истории русской философской мысли начала XX века. Значение их было прежде всего в том, что именно с трибуны этих собраний прозвучали многие мысли, оказавшиеся магистральными для развития русской культуры. В частности, там состоялись первые публичные выступления самих Мережковских по религиозным вопросам. Первоначально в планы организаторов собраний входил регулярный и свободный обмен мнениями между представителями духовенства и интеллигенции. План этот был нарушен уже в самом скором времени, прежде всего из-за серьезного сопротивления церковного мира, консервативность которого была явно недооценена организаторами. Сама Гиппиус позже вспоминала о первых встречах с духовенством: «Знакомясь ближе с «новыми» людьми, мы переходили от удивления к удивленью. Даже не о внутренней разности я сейчас говорю, а просто о навыках, обычаях, о самом языке; все было другое, точно другая культура»<sup>3</sup>. Спокойный тон поздних воспоминаний (через сорок лет после описываемых событий) дает слабое представление о действительной картине. На самом деле противостояние было нешуточным и равноправного диалога не получалось. Кроме того, и горячность Мережковских способствовала росту недоверия со стороны официальной церкви. Над собраниями встала угроза запрета еще в середине 1902 года — первым знаком ее оказалось недовольство высших церковных кругов тем, что собрания регулярно посещались молодыми слушателями Духовной

<sup>2</sup> З.Н.Гиппиус-Мережковская. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951, с. 90.

<sup>3</sup> Там же, с. 92.

Академии (позже, в годы участия в журнале «Новый Путь», близким друзьям Мережковских, профессорам Академии А.Карташеву и В.Успенскому приходилось писать под строго утаиваемыми псевдонимами). Надо сказать, что и Гиппиус, отчасти разочарованная явным несоответствием ее планов и реальности, сама провоцировала высшие церковные круги на репрессивные меры, шокируя своим поведением почтенных старцев. Так, известен рассказанный В.Злобиным с ее слов эпизод, когда она пришла на заседание собрания в черном глухом платье, у которого при каждом движении расходились складки, обнаруживая розовую подкладку, — создавалось впечатление, что она голая<sup>4</sup>. Забегая вперед, стоит сказать, что ко времени «Нового Пути» надежды на широкий обмен мнениями с духовенством окончательно исчезли, и теперь выступления большинства священнослужителей в собраниях и журнале воспринимались как ненужный балласт. Да и выступлений этих становилось все меньше и меньше. «Теперь наша смелость начинает возрастать (а попы от нас, слава Богу, отрещиваться)», — пишет Гиппиус Ф.Сологубу 10 августа 1903 года<sup>5</sup>. Кроме того, существенным моментом явилось и общее ужесточение церковной политики, наметившееся к 1903 году. Свою роль сыграла и значительная разобщенность интеллигентской части собраний. Пути их организаторов (Мережковские, В.Тернавцев, Н.Минский, В.Розанов, Д.Философов, Л.Бакст, А.Бенуа) быстро разошлись, и совместная позитивная программа выработана не была. Как вспоминает Бенуа, «постепенно увлечение нашей основной группой религиозно-философскими собраниями стало ослабевать и интерес к тому, что говорилось (именно говорилось) в собраниях, — падать. Но интерес к самим обсуждавшимся вопросам едва ли не становился при этом еще более жгучим»<sup>6</sup>. Реально оценивая опасность грозящей разобщенности, Гиппиус предпринимает ряд энергичных попыток «“более домашним”, более интимным образом войти в религиозное общение»<sup>7</sup>, то есть собрать небольшую группу единомышленников, создав таким образом организационное ядро собраний, которое могло бы направлять ход обсуждений и реально противостоять ораторам враждебных направлений. Сохранились документальные сведения по крайней мере об одной попытке Гиппиус определить таким образом ход собрания. Бенуа, приглашенный Мережковскими в гости 23 марта 1902 года, записал на обороте их письма: «в 10 1/2 приехал к Мережковским. Там были: Минский, Карташев, Розанов, Тернавцев, Успенский, другой профессор, Егоров, И.П.Шербов. < ... > Оказывается, нас собрали

<sup>4</sup> См.: В.Злобин. Тяжелая душа. Вашингтон, 1970, с. 22.

<sup>5</sup> ЦГАЛИ, ф. 482, оп. 2, ед. хр. 21, л. 18.

<sup>6</sup> А.Бенуа. Мои воспоминания. Т. 2. М., 1990, с. 291.

<sup>7</sup> Там же.

для того, чтобы выработать программу будущих прений и не позволять риторам отвлекать в сторону»<sup>8</sup>. Энтузиазм Мережковских вызывал неудовольствие, явно звучащее в этой записи, не только у Бенуа. Постепенно от участия в собраниях отходят Минский и Розанов. Все меньше становится сторонних слушателей, все строже — контроль за собраниями со стороны властей. Наконец, 2 апреля 1903 года деятельность Религиозно-философских собраний была запрещена указом Синода.

Уроки, вынесенные Мережковскими из истории организации Религиозно-философских собраний, были ими учтены при создании в 1908 году (после возвращения из Парижа) Религиозно-философского общества. Но прежде всего опыт собраний подготовил возможность издания журнала и во многом определил его направление (известно, что среди первоначальных планов был вариант издания журнала исключительно для публикации отчетов собраний).

История «Нового Пути» в настоящее время тщательно описана<sup>9</sup>, и поэтому нет особой нужды останавливаться здесь более подробно на фактической стороне этого этапа общественной деятельности Мережковских. Укажем лишь, что угроза закрытия из-за нехватки денег или высочайшим указом висела над журналом со времени выхода первых его номеров, что заставляло постоянно размышлять о дальнейших путях деятельности, которой к этому времени Мережковские твердо решили посвятить всю свою жизнь. Первоначальные средства, которые удалось изыскать на журнал, истощились еще в конце 1903 года — первого года его существования. Конец этого года проходит в отчаянных попытках достать денег, в ходе которых Мережковский обращается к известным меценатам Морозову и Хлудову. В письме от 22 сентября 1903 года Перцов (редактор «Нового Пути») рассказывал жене: «<...> как решено с самого начала, журнал не будет продолжаться дольше трех лет, т<о> е<сть>, считая без этого года, дольше двух лет. <...> Но и это все еще в сущности под вопросом, ибо неизвестно насчет денег. Выяснилось только, что на Морозова и Щукина нельзя рассчитывать. Остается один Хлудов. Он в такой дружбе с М<ережковским>и (пишет, например, что считает их к<ак> родными себе, что хотел бы навсегда быть с ними в дружбе и т.п.), что невозможно представить себе, как он будет им отказывать»<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> ГРМ, ф. 137, ед. хр. 1211, л. 110б.

<sup>9</sup> См.: Д.Е.Максимов. «Новый Путь». — В кн.: В.Евгеньев-Максимов и Д.Максимов. Из прошлого русской журналистики. Статьи и материалы. Л., 1930, с. 129-254; А.В.Лавров. Архив П.П.Перцова. — В кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1973 год. Л., Наука, 1976, с. 25-50; И.В.Корецкая. «Новый Путь». «Вопросы жизни». — В кн.: Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890-1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1982, с. 179-233.

<sup>10</sup> ЦГАЛИ, ф. 1796, оп. 2, ед. хр. 67, л. 54-54об.

С другой стороны, и цензура нещадно преследовала журнал, вымарывая в религиозной части все, что так или иначе расходилось с официальным православием. Против ожидания, ощутимого покрытия расходов не дала и подписка. Начиная с 1904 года, когда Мережковский, чтобы спасти журнал, отдал туда без гонорара свой роман «Петр и Алексей», все сотрудники, которые и раньше часто отдавали даром свои работы, вообще отказались от оплаты. Несмотря на эти жертвы, положение продолжало ухудшаться. Одним из самых сильных ударов стал уход Перцова, на деньги которого, в основном, был начат журнал. Объясняя мотивы своего поступка в письме к отцу от 25 апреля 1904 года, Перцов, в частности, говорит: «Я вижу, что теперь у журнала нет серьезного будущего и надо из него уходить. Подписка после весны совсем остановилась, но Мережковские, видимо, достанут денег, чтобы кончить год и может быть начать следующий»<sup>11</sup>. Последней отчаянной попыткой спасти журнал стал союз с группой философов-идеалистов. Д.Философов, стоявший вместе с Мережковскими у истоков «Нового Пути», сообщал Перцову 11 сентября 1904 года: «Велись долгие переговоры с Булгаковым. Г.И.Чулков<sup>12</sup> ездил к нему в Крым, затем я был у него в Москве, и наконец в четверг он приезжал сюда, для свидания с Мережковскими. Дело, по-видимому, устроится и мы будем выходить при «обновленной редакции»<sup>13</sup>. Непрочное соединение очень скоро обернулось полным разрывом: Г.Чулков наложил вето на материал, предложенный Гиппиус. Сам он вспоминал через много лет: «На мою сторону стал не только Булгаков, но и вся редакция. Дело было в том, что Булгаков не мог жить в Петербурге и только на меня надеялся, как на блюстителя политической и социальной программы, а Мережковские тяготились этою опекою»<sup>14</sup>.

Личная обида, ощущение вынужденной бездеятельности и невыплаченные долги тяготили Мережковских весь 1905 год. Тяжба по «Новому Пути» продолжалась вплоть до весны этого года, и дело становилось все запутанней: П.Перцов и В.Тернавцев, финансировавшие журнал в первый год его издания, требовали вернуть им их пай, сами Мережковские требовали возврата своей доли, особенно напирая на то, что в первые два года существования журнала они работали в нем бесплатно, «идеалисты» же (это имя прочно закрепилось за группой новых сотрудников), издавая на базе «Нового Пути» журнал «Вопросы жизни», отказывались отдавать прибыль на выплату долгов. Для

<sup>11</sup> ЦГАЛИ, ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 76, л. 4об.

<sup>12</sup> В то время — секретарь редакции «Нового пути».

<sup>13</sup> ИРЛИ, р. III, оп. 2, ед. хр. 1474-1476, л. 14об.-15.

<sup>14</sup> Письмо Г.И.Чулкова Д.Е.Максимову от 9 января 1929 г. — ГПБ, ф. 1136, ед. хр. 44, л. 1-1об.

«окончательного оформления дела с Нов<ым> Путем» пригласил Д.Философов П.Перцова 13 января 1905 года<sup>15</sup>, но и это собрание (среди приглашенных на него Философов упоминает еще и В.Тернавцева) не решило дела окончательно.

Несмотря на это, Мережковские предпринимают ряд попыток изыскать средства на издание нового журнала. В октябре 1905 года в печати появляется сообщение о возобновлении «Нового Пути» и «Мира искусства». Еще одна возможность журнала могла осуществиться через недавних противников — «идеалистов», «Вопросы жизни» которых тоже закрылись. «Пора в Петербург. Там бесконечные дела. Приехал Булгаков, Волжский — хотят устроить новый журнал. Зовут нас», — писал Мережковский 14 января 1906 года Л.Вилькиной<sup>16</sup>. Но и этому плану не суждено было осуществиться.

Издание «Нового Пути» и поиск возможностей для основания нового журнала было последним, что давало Мережковским ощущение живого дела. В начале 1905 года это ощущение исчезло. Выбравшись из тьмы будничных журнальных забот — корректур, гонорарных выплат, хлопот с цензурой, бесед с авторами, — Мережковские оказались в некоторой растерянности. Нельзя забывать и о том, насколько это были бурные годы и как быстро менялась жизнь. События первой революции, русско-японская война — все это должно было либо быть отражено в той системе философских воззрений, которая была выработана Мережковскими, либо сломать ее изнутри. Таким образом, в области творческой и общественной основные предпосылки долгого отъединения сложились уже к середине 1905 года, а к началу 1906 (время крушения последней надежды на журнал) были налицо. Параллельно с этим аналогичный процесс шел и в другой, столь же важной для Мережковских области — в сфере их личных взаимоотношений с более или менее близкими им людьми.

Сознательно формировать круг своего общения Мережковские начинают в самые первые годы XX века. До этого спектр их знакомых достаточно широк: в 1890-е годы среди них преобладали писатели старшего поколения: Я.Полонский, А.Половцов, К.Случевский, А.Суворин, И.Ясинский и другие. А.Л.Слоцкий вспоминал: «Тогда она <З.Гиппиус. — А.С.> начинала печататься в «Вестнике Европы», кокетничала со старичками, и, так как она была замечательно красива, с зелеными глазами, бойкая страшно, она очаровывала их»<sup>17</sup>. В середине 1890-х годов среди петербургских писателей реалистического направления даже формируется определенный круг поклонников лите-

<sup>15</sup> ИРЛИ, р. III, оп. 2, ед. хр. 1474-1476, л. 22.

<sup>16</sup> ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 882, л. 71.

<sup>17</sup> Стенограмма воспоминаний на заседании сектора дооктябрьской литературы 28 июня 1945 г. — ЦГАЛИ, ф. 2281, оп. 1, ед. хр. 47, л. 32.



ратурного таланта Мережковского (и, добавим, женского обаяния З.Гиппиус) — А.Половцов, активный пропагандист его творчества, А.Кони, П.Якубович. Сыграло здесь определенную роль и то, что Мережковский долгое время оставался практически единственным писателем-символистом, которого охотно печатали журналы, настроенно относящиеся к новым литературным течениям в целом.

Другую часть окружения Мережковских составляли писатели из числа петербургских символистов, группировавшихся вокруг журнала «Северный вестник». В начале 1890-х годов их постоянными гостями были критик А.Волынский и поэт Н.Минский, но оба они оказались в ситуации разрыва с Мережковскими уже к началу века.

В первый же год двадцатого века ситуация решительно переменялась. Мережковские, доведя до четкой определенности свое мировоззрение, меняют и свое окружение. Теперь все старые знакомства пересматриваются на предмет возможного единомыслия и, в соответствии с этим, подбираются новые. Среди новых знакомых изрядную роль играют представители духовенства. «К нам в дом стали приходить священники, лавриты, профессора Духовной Академии, и между ними два, молодые, чаще других»<sup>18</sup>, — вспоминала Гиппиус о начале дружбы с А.Карташевым и В.Успенским. Основу их круга общения с этого времени составляют люди, так или иначе причастные к сфере религии или философии, — В.Розанов, В.Тернавцев и другие. Чисто литературные знакомства явно отступают на второй план. Мережковские ищут в людях, вне зависимости от их профессиональной ориентации, тех же ощущений, которые испытывают они сами. К 1902 году спектр знакомых Мережковских в общих контурах определился — это, в основном, молодые богословы, художники и писатели, отмеченные общим предчувствием и убежденные в необходимости совместного религиозного поиска. Именно эти люди образуют ядро Религиозно-философских собраний и основной круг авторов «Нового Пути».

6 декабря 1901 года Мережковские, ненадолго приехав в Москву, знакомятся с Андреем Белым, в котором сразу угадывают потенциального союзника. 26 марта 1902 года происходит знакомство с А.Блоком. В обоих случаях за знакомством стоит прежде всего чувство объединения во имя общего дела, ощущение сопричастности. Под знаком этой своеобразной метафизической утилитарности стоит большая часть знакомств Мережковских этих лет.

Начиная с 1904 года, со времени закрытия «Нового Пути», дружеские связи начинают постепенно распадаться. Люди, про-

<sup>18</sup> Зинаида Гиппиус. *Contes d'amour*. — Возрождение (Париж), 1969, № 212, с. 45 (Публикация Т.Пахмусс).

шедшие вместе с Мережковскими эпоху Религиозно-философских собраний и участвовавшие в работе журнала, отходят от увлечения религиозными поисками. Кроме того, здесь сказывается и известная авторитарность Мережковских, претендовавших на полновластный диктат в собраниях и журнале. Многие из участвовавших в проектах, возглавляемых Мережковскими, могли бы повторить вслед за Андреем Белым: «...когда я писал для «Нового Пути», я находился в положении гимназиста, пишущего сочинение»<sup>19</sup>. Еще в 1903 году от них отходят А.Бенуа и прочие участники «Мира искусства» (кроме Д.Философова, о котором речь ниже) — в этом случае сыграла свою роль и явная конкуренция двух журналов. В марте 1905 года, после очередного отказа Блока участвовать в одном из их начинаний, Гиппиус пишет ему письмо, которое, по сути, лишь формально завершало очевидный уже к этому времени разрыв: «Мы оба, и я и Дм<итрий> Серг<еевич>, считаем ваш отказ просто некрасивым ломаньем. Боясь потерять ваше декадентское достоинство — вы весьма вредите человеческому, ибо у всякого из нас, я думаю, должно быть некоторое чувство солидарности, той общности, взаимопонятия и взаимопомощения, которые делают нас людьми»<sup>20</sup>.

В отношениях Мережковских с Андреем Белым, которые были несравненно более близкими, нежели с Блоком, нота взаимного недоверия появилась еще раньше. Так, в 1904 году, ожидая приезда Мережковских, Белый писал Э.Метнеру: «В феврале пригласят Мережковские в Москву, с Философовым и надолго. Чувствую, что С<анкт>—П<стер>бургские мистики едут сюда не без задних мыслей. Держу ухо востро. Любовь к Мер<ежковским> остается любовью, но и осторожность есть осторожность» (письмо от 23 января)<sup>21</sup>. С другой стороны, и Гиппиус в ряде личных писем резко высказывается о личности Белого. Окончательной изменой Мережковские посчитали две статьи Белого, критикующие творческий метод и идеологию Достоевского, бывшую одним из фундаментальных источников для их собственных философских построений<sup>22</sup>. 19 февраля 1906 года А.Петровский, близкий друг Белого, писал Э.Метнеру: «М<ережковск>ие были очень поражены статьей Б<ориса> Н<и-

<sup>19</sup> Письмо В.Брюсову от 23 сентября 1903 года. — В кн.: Литературное наследство, т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976, с. 369.

<sup>20</sup> З.Г.Минц. А.Блок в полемике с Мережковскими. — В кн.: Наследие А.Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник IV. Тарту, 1981, с. 150.

<sup>21</sup> ГБЛ, ф. 167, карт. 1, ед. хр. 31, л. 5.

<sup>22</sup> Статьи «Ибсен и Достоевский» (Весы, 1905, №12, с. 47-54) и «Достоевский. По поводу 25-летия со дня смерти» (Золотое руно, 1906, №2, с. 89-90). Содержательную интерпретацию этих статей см.: А.В.Лавров. Достоевский в творческом сознании Андрея Белого (1900-е годы). — В кн.: Андрей Белый. Проблемы творчества. М., 1988, с. 131-150.

колаевича» об Ибсене и Достоевском, <...> которую они поняли, как окончательный разрыв с ними <...><sup>23</sup>.

Итак, к 1906 году Мережковские лишились многих прежних союзников и единомышленников — да и с теми, с кем не было «манифестированного» разрыва (как, например, с Розановым), — общение становится значительно менее интенсивным. Одновременно в орбиту Мережковских попадают новые люди, которые, не будучи сами по себе личностями выдающимися, признают решительное духовное господство Мережковских и становятся их верными союзниками. Это Серафима Павловна Ремизова-Довгелло (жена А.Ремизова), сестры Зинаиды Николаевны Татьяна и Наталья Гиппиус. Кроме того, в 1905 году наступает перелом в долгих и сложных взаимоотношениях Мережковских с Философовым. Поскольку именно эти отношения в основном определили цели и задачи парижского паломничества Мережковских, на этом сюжете стоит остановиться подробнее<sup>24</sup>.

Знакомство Мережковских с Философовым относится к декабрю 1893 года. 18 декабря Философов, путешествовавший по Италии, сообщал А.Бенуа, своему гимназическому товарищу: «Познакомился здесь с м-ме Башкирцевой. Она живет здесь в собственной вилле с сестрой своей. <...> Обедал у них вместе с Мережковским. Вот хам-то и гадина. Разговор только о том, как он разговаривал с разными дюками и дюкессами»<sup>25</sup>.

Несколько случайных встреч в первой половине 1890-х годов ничего к этому знакомству не прибавляют, разве что первоначальное впечатление Философова несколько сглаживается. Среди писем Философова к Бенуа сохранилась записка Мережковского к Философову, которая позволяет установить приблизительную дату по крайней мере одной из встреч (вторая декада января 1895 года): «Вчерашний вечер у вас мне очень понравился. Долго вы еще сидели? Надюсь, до скорого свидания»<sup>26</sup>. Ситуация меняется лишь с началом активного сотрудничества Мережковских в журнале «Мир искусства», где Философов заведовал литературным отделом. В начале 1898 года начинается переписка Гиппиус и Философова. В одном из первых писем Философов, отвечая на просьбу Гиппиус рассказать о себе, подробно анализирует их отношения, сравнивая их с принятыми в кругу «мирискусников»: «Мы всегда почти при встречах сохраняем ду-

<sup>23</sup> ГБЛ, ф. 167, карт. 16, ед. хр. 28, л. 14.

<sup>24</sup> Здесь дается лишь общая канва этих отношений. Более подробные сведения о них содержатся в дневнике З.Гиппиус «О Бывшем» (Зинаида Гиппиус. О Бывшем. — Возрождение (Париж), 1970, № 218, с. 57-75 и № 219, с. 52-70) (публикация Т.Пахмусс) и в предисловии Т.Пахмусс к публикации писем Гиппиус к Философову. — Intellect and ideas in action. Selected correspondence of Zinaida Hippus. München, 1972, p. 59-60.

<sup>25</sup> ГРМ, ф. 137, ед. хр. 1671, л. 29об.-30.

<sup>26</sup> Там же, л. 32-32об.

шевное равновесие и в нас нет друг к другу чувства — «жалости», что так вредит свободе духа. <...> И вот в моих отношениях с Вами — я это тоже ценю. Конечно я с Вами несравненно менее близок, чем с Сережей Дягилевым, Шурой Бенуа etc.; но несмотря на это, я ценил всегда Вас и Дм<итрия> Серг<еевича>. <...> Так, напр., я никогда не интересовался Вашими отношениями с Дм<итрием> Серг<еевичем>, мне это абсолютно безразлично, и что бы мне по этому поводу не рассказывали (и чего только про Вас не говорят!), я всему поверю, но тотчас же пройду мимо: не все ли мне равно. Я больше Вам скажу. Когда знаешь взаимную биографию — то требуешь искренности, и всякая ложь после этого нестерпима. Когда же ничего друг про друга не знаешь — то искренность не так необходима. Даже и фальшивая мысль — мысль, если же перевирают факт — это скучно. <...> Наши отношения никогда не будут переживать те факты, которые переживала Ваша дружба с Флексером<sup>27</sup>. Вы не смейтесь и не сердитесь. Эта холодная дружба прошла на моих глазах, и я не совсем лишен наблюдательности <...>. Я с Вами всегда был дружен, но влюблен в Вас *никогда* не был (не сердитесь!) и никогда в мои отношения к Вам не вкрадывалась нотка чувственности. Не знаю, как с Вашей стороны»<sup>28</sup>.

Если в самый момент получения этого письма чисто дружеские отношения, предложенные Философовым, могли восприниматься как закамouflированный отказ от дружбы вообще («“Злой мальчик” от Сологуба» — записывает в раздражении Гиппиус на полученном письме<sup>29</sup>), то уже через несколько месяцев именно такой род связи между людьми становится в понимании Мережковских идеальным. В это время отношения Мережковских со всем кружком «Мира искусства» вступают в новую фазу.

В 1899-1900-х годах «Мир искусства» был, по сути, единственным журналом, который мог принять на свои страницы теоретические работы Мережковского. С другой стороны, ряд сотрудников журнала решительно возражал против их печатания. Вообще положение Мережковских в журнале было весьма неопределенным: никоим образом не влияя на общее направление, они, с одной стороны, мирились с неподобающим соседством серьезных текстов Мережковского с фривольными стилизациями «мирискусников», а с другой — постоянно чувствовали на себе угрозу вовсе лишиться этой реальной возможности публикации. Из круга участников «Мира искусства» ближе других они сходятся с Л.Бакстом, А.Бенуа и В.Нувелем. Именно к последнему обращается Мережковский в 1901 году (письмо от 14 ян-

<sup>27</sup> Настоящая фамилия Аким Лвовича Волинского (1861-1926), с которым Гиппиус поддерживала близкие отношения в середине 1890-х гг.

<sup>28</sup> Письмо от 7/19 апреля 1898 года. — ГПБ, ф. 481, ед. хр. 94, л. 1-3.

<sup>29</sup> Там же, л. 4.

варя) с просьбой привлечь Философова к реальному участию в религиозно-общественных проектах: «Дорогой Вальтер Федорович, думаю, что мы все уже не то что не должны, а просто не можем, если бы и хотели, покинуть Философова. Именно со вчерашнего дня он не только Вам, но и нам стал как родной, и чем больше он отталкивает нас, тем сильнее мы его любим, даже не жалею, а именно *любим*. Но я почувствовал вчера, что Вы его любите особенно, потому что Вы лучше нас его знаете. Если кто может его спасти, то именно Вы, и он весь на Вашей ответственности. Мало того, мне кажется, что и он Вас любит, хотя сам этого *пока* не знает, но непременно когда-нибудь узнает. Вас, впрочем, трудно узнать, это я по себе испытал. Но Философов для этого достаточно внутренне тонок и чуток, несмотря на свою внешнюю (притворную иногда и даже неискренне притворную) грубость и глухоту. <...> Я почти уверен, что без Вас никогда не придет к нам Философов. Вы неизбежный путь его к нам. И мы все уже настолько любим его, что без него нельзя нам быть»<sup>30</sup>.

С этого времени Философов становится самым близким другом Мережковских и непременным участником всех их начинаний. Но при этом с его стороны часто ощущается некоторое внутреннее сопротивление, так что внешнее единомыслие всех троих время от времени оборачивается серьезным разногласием в самых важных вопросах. Да и горячность, с которой Мережковские относятся к нему, первое время настораживает. Так, 7 марта 1902 года Философов жалуется своей близкой родственнице, Е.В.Дягилевой: «С Мережковскими я просто не знаю, как быть, тем более, что, увы, и у меня теперь начинают быть сильные подозрения, что З.Н. была просто в меня влюблена»<sup>31</sup>. Положение коренным образом меняется лишь в начале 1905 года, когда Мережковские резко сокращают круг своих знакомых и, следовательно, близость с Философовым начинает играть для них особенно важную роль. 5 января 1905 года все трое переходят на «ты» (письмо Философова Е.Дягилевой от 25 марта 1905 года<sup>32</sup>). По всей вероятности, в это же время впервые обсуждается вопрос о своеобразном совместном паломничестве.

Таким образом, мысль о парижском путешествии явилась следствием, с одной стороны, разрушения большей части личных и общественных связей Мережковских, а с другой — перелома в отношениях с Философовым, который сделал более реальной идею (первоначально, видимо, принадлежавшую Гиппиус) о «тросебратстве» как форме нового религиозного союза.

Мысль о совместном уединении первоначально появляется именно у Философова. Еще в июле 1904 года он писал Гиппиус:

<sup>30</sup> ЦГАЛИ, ф. 781, оп. 1, ед. хр. 9, л. 1-1об.

<sup>31</sup> ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 189, л. 4.

<sup>32</sup> Там же, л. 42.

«С Чулковым вчера мечтали. Мечтали об эмиграции и об издании журнала за границей. Он, конечно, с политической точки зрения, а я с религиозной. И мечтать было сладко, и эти мечты засели во мне... Мы все волнуемся, как бы внешняя жизнь более совпала с внутренней... Думаю, что самое «практичное» это именно внешний отъезд одновременно с внутренним. Для меня такой отъезд очень труден. Подвиг. Но это был бы подвиг с результатом»<sup>33</sup>. Эти чаяния облекаются в конкретную форму лишь в январе 1905 года. 3 января Философов пишет Дягилевой: «Мережковские — мои братья. Мы столько пережили с ними глубоких, несказанных мечтаний, столько пострадали в искании Бога, что вряд ли когда можем при жизни разойтись. <...> Жизнь моя идет в суете, в работе, в житейских страданиях. Думаю, Бог даст сил в скором времени удалиться в пустыню, конечно, не одному, а с моими сомолитвенниками и, конечно, не навсегда, а на "40 дней"»<sup>34</sup>.

Источник этой мысли Философова может быть назван с абсолютной уверенностью — это пример поэта Александра Добролюбова. В том же письме от 3 января Философов рассказывает о встрече с ним: «Недавно мне пришлось встретиться с человеком в полном смысле слова святым. Я говорю про Александра Добролюбова. Он из хорошей семьи. Был знаменитым поэтом-декадентом, а теперь бросил все, ходит в полушубке и валенках, работает на барках и исходил пешком всю Россию, насаждая среди людей веру в Бога. То, о чем Толстой говорит, — он сделал. Мысль у него стала плотью. Три года он провел в Саратовской и Оренбургской губерниях среди мужиков, претерпевал гонения за веру, сидел в тюрьме. Но он ничего не боится, всех называет братьями и сестрами, говорит Ты, питается одним чаем и хлебом»<sup>35</sup>. Известно, что Философов видел Добролюбова, когда тот заходил к Мережковским во время пребывания в Петербурге; память А.Слонимского сохранила, вероятнее всего, с чужих слов, любопытную деталь этого посещения: «...он <Добролюбов. — А.С.> стал странником, являлся к Мережковским в виде какого-то мужичка. <...> Приходя к Мережковским, он садился и говорил: "— Здравствуй, брат Дмитрий!"»<sup>36</sup> Но при всей значительности впечатления, произведенного Добролюбовым на Философова, влияние его на Мережковских, с которыми он был знаком уже давно, вряд ли было столь же существенным. И если для Философова пример Добролюбова оказался решаю-

<sup>33</sup> Цит. по: В.Злобин. Тяжелая душа, с. 59-60.

<sup>34</sup> ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 189, л. 36об., 37.

<sup>35</sup> Там же.

<sup>36</sup> А.Л.Слонимский. Стенограмма воспоминаний на заседании сектора докт-  
тябрьской литературы 28 июня 1945 г., л. 28. Возможно, что здесь мемуарист  
пересказывает аналогичный эпизод из статьи: Д.Мережковский. Революция и ре-  
лигия. — Русская мысль, 1907, №3, отд. 2, с. 26-28.

щим и именно благодаря ему появилось намерение «уйти в пустыню», то Мережковские пришли к этому же решению путем совершенно противоположным.

Любовь Мережковских к заграничным путешествиям, их своеобразное «западничество» было неотъемлемой принадлежностью их облика, каким он представлялся широкому кругу читателей и критиков. Характерна ирония одного из них: «Помню, осенью в литературных кружках часто можно было слышать разговор на тему о Мережковском в таком стиле: — Сейчас Мережковский в Париже: изобретает новый гвоздь сезона, новую «моду». В прошлом году он привез богоискательство, что-то привезет нынче?»<sup>37</sup> Заграничные поездки, начиная с первой совместной в 1891 году — всегда становились в полном смысле слова фактами биографии, этапами духовной и литературной эволюции. Любопытно, как в сознании Мережковских выезд за границу ассоциируется с открытостью, всеохватностью художественной и философской, противопоставляясь, соответственно, замкнутости бытовой и литературной. Интересно в этом смысле, что в 1890-е годы Гиппиус, старавшаяся обратить Вл. Гиппиуса от декадентства к символизму и, в частности, пресечь его близость с А. Добролюбовым, бывшим для нее в ту пору олицетворением декадентства, среди прочих рекомендаций замечает: «Если бы вам случилось прокатиться в Европу, отдохнуть от нездорового и неблагоприятного петербургского ветра — вы бы еще глубже и бесповоротнее поняли, как жалко то, чем вы прежде увлекались» (письмо от 8/19 апреля 1896 года)<sup>38</sup>.

Через десять с лишним лет Гиппиус вновь оказывается в такой же ситуации — но в этот раз она предостерегает Е. Иванову от чрезмерного увлечения мистическими чаяниями писателей блоковского круга. И здесь аргументация практически та же: «Какой вы городской и петербургский. Боитесь неба непривычного и заграничных «басурманов». Вот и придется опять говорить: «Иванов, вам надо в Европу!» Потому что никаких тут «басурманов» нет, а все люди — человеки»<sup>39</sup>. Несмотря на очевидное сходство этих двух отзывов, причины, их породившие, различны. Для Мережковских 90-х годов (особенно для Д. Мережковского) Европа противопоставлена России, как «область культуры» — «царству бескультурия», и маршруты поездок выбираются ими в это время так, чтобы иметь возможность осмотреть, прикоснуться к максимальному количеству культурных памятников разных эпох. Характерно и демонстративное пренебрежение в этих поездках современной жизнью

<sup>37</sup> В. Ф. Боцяновский. Кто болен? — В его кн.: Богоискатели. СПб. -М., 1911, с. 248.

<sup>38</sup> ГПБ, ф. 481, ед. хр. 38, л. 7.

<sup>39</sup> Недатированное письмо. — ГЛМ, ф. 104, оф. 3331.

страны. Любопытен в этом отношении отзыв А.Плещеева, который наблюдал Мережковских во время их первой заграничной поездки в 1891 году: «...Мережковский делается все скучней и скучней — он не может ни гулять, ни есть, ни пить без того, чтобы не разглагольствовать о бессмертии души и о разных других столь же выпренных предметах. <...> Искание Бога — вещь очень хорошая, но оно не должно быть столь шумно — ибо тогда заставляет сомневаться в его искренности... Я побаиваюсь, чтобы в конце концов он не надоел своей жене. <...> В Париже он довел ее до изнеможения — таская по три, по четыре раза в день по музеям... и разглагольствуя о Венере Милосской. <...> Здесь — он кажется задался мыслью посетить все места, прославленные Жан-Жаком в его Новой Элоизе... Это тоже — я вам скажу — стоит музеев»<sup>40</sup>. Но на рубеже веков в понимании Мережковскими Европы происходит резкий перелом, ознаменовавшийся прежде всего изменением отношения к России. Характерно, что ощущение мессианства России связано в сознании Мережковского именно с положением изгнанника: «Здесь, на чужбине, особенно чувствуешь, до какой степени не хотелось бы родиться ни в какой иной стране, кроме России. И Достоевский (который вообще был очень умен) не был так уж глуп, когда говорил свои безумные речи о великом предназначении России», — пишет он 11/24 июля 1904 года А.Бенуа<sup>41</sup>.

В связи с этим по-другому осознается и положительная сторона заграничного путешествия — теперь его смысл видится не в приобщении к ходу мировой истории и культуры, а в уединении, насильственном отторжении себя от России, призванном подчеркнуть и углубить духовное родство с ней. Кроме того, влияние современности, которое Мережковские все больше и больше начинают ощущать (что выражается, в частности, в их возрастающем интересе к публицистике и литературной критике), заставляет их даже помимо своей воли замечать в европейском быте не только реликты богатой культуры прошлого. И оценка, которую они дают современному быту Европы, оказывается резко отрицательной — дух мещанства, восторжествовавший там, по их мнению, грозит не оставить камня на камне от культурных завоеваний прошлых веков. В европейской жизни Мережковских: прежде всего пугает ее размеренность, механистичность, безжизненность: «Один и тот же мотив свистит и пробегающий мальчишка, и наигрывают внизу на рояли, одна и та же шляпка надета на всех женских головах, другая — на мужских; один голос ревет из каждого, правильно и одинаково воняющего автомобиля, и как будто одна громадная, рассыпавшаяся на сорок

<sup>40</sup> Недатированное письмо к А.С.Суворину. — В кн.: Письма русских писателей к А.С.Суворину. Л., 1927, с. 131.

<sup>41</sup> ГРМ, ф. 137, ед. хр. 1212, л. 9-9об.



тысяч мелких, проститутка, ходит вечером по одному длинному бульвару, повторяя одно и то же слово. Вещи, и деньги, и люди — все движется по кругу, потому что всё (и все), без остановки, покупается, продается, и вновь продается, и опять покупается. Не важно, кто и что: все решительно покупается; как всё и все решительно продаются. Вверх и вниз, справа налево, завод длинный, очень длинный...»<sup>42</sup> Несовпадение с этим ритмом как раз и дает ощущение одиночества и отшельничества, столь ценимое в это время Мережковскими.

Наиболее подробное и исчерпывающее объяснение мотивов, побуждающих Мережковских и Философова к отъезду из России на длительное время, содержится в письмах Гиппиус к Е.Дягилевой. Впервые тема предстоящей поездки затрагивается, очевидно, при личном разговоре; кроме того, Гиппиус известно содержание писем Философова к тому же адресату (часть их мы цитировали выше). Среди сохранившихся писем впервые упоминание о предстоящей поездке встречаем в письме от 8 июля 1905 года: «Еще хотелось вам о Париже написать. Но это длинно очень, а я совсем не знаю, как вы на это смотрите. Из письма Димы <Д.Философова. — А.С.> немножко выходит, будто он только от старой жизни бежит, а мы с ним. Это и так, и не так. Я теперь думаю, хотя не всегда говорю, что мы не оттого едем, что слишком слабы сейчас, чтобы оставаться тут, и в старых условиях завоевывать новую силу и новую жизнь, — а потому, что, чувствуем, открывается нам: новая жизнь должна быть запечатлена, освящена минутой всеотречения. Тут даже не расчет (иначе не удастся, мол, новая жизнь!), нет, это просто влечение, повеление сердца, почти без мысли — такое простое! Ну как букет цветов ставят к иконе или свечку зажигают. Хочется этого от любви — значит нужно и верно»<sup>43</sup>. В следующий раз Гиппиус возвращается к этой теме только через месяц, в письме от 11 августа 1905 года: «Кажется, для очень внешнего взора, что мы теперь (я, Дима и Д.С.), уезжая из России, от всех людей, с которыми были более или менее близки, оставляя их (я сестер своих оставляю, с которыми у меня совсем не сестринская связь, а внутренняя связь у всех нас с ними) — кажется, что мы отдаляемся от людей, уходим от них в себя, хотим замкнуться, что нам довольно нас самих. Но это не монастырь, не вечный затвор, а именно пустыня, которую неизбежно перейти, чтобы *прийти*. И пустыня не одинокая, потому что каждый из нас «сам-один» никогда не сможет и не будет действовать, а совместная пустыня, устройство крепкого *стана* для возможностей будущей победы нашего «во-Имнии». Надо крепко иметь в себе это «во-Имя», чтобы открывать его другим. Иметь не только в голове и сердце, но и во всей жизни, в каждом

<sup>42</sup> З.Гиппиус. Бедный город. — Весы, 1906, №8, с. 36.

<sup>43</sup> ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 118, л. 14-14об.

действии, в наших взаимоотношениях, надо, чтобы оно не только было, но и проявлялось. Этого без усилий и страданий нельзя достичь, конечно; но страдание нужно лишь принимать по пути, а не изменять им верность пути: где больше страдания, там, мол, и путь вернее. <...> Так что мы хотим выбрать путь не непременно самый тяжелый, а непременно самый действительный, по нашему разумению. Пережить полосу *совместного* уединения и для совместного обращения к Богу, приближения реального к Нему — вот что нам сейчас нужно. И уединения внутреннего, а не внешнего (т<о> е<сть> если бы в деревенский мы скит удалились), — уединения среди самой жизни, завить нашу ячейку посреди нее. Там все люди будут к каждому из нас в равном отдалении, на одинаковом расстоянии, и если кто приблизится — то уже опять сразу к нам *трем*, к нашему союзу, т<о> е<сть> по-новому; здесь у каждого из нас есть свои старые связи, прежние, и общаясь с ними, — каждый из нас со своими близкими в отдельности, — неизбежно уходит в свое же прошлое, делается на это время «ветхим человеком». И как «трое» — мы в это время перестаем существовать. Это не значит, что мы навеки должны порвать со всеми, к кому только были близки прежде; но надо укрепить в себе и друг в друге новую точку зрения, новый взгляд на мир, так, чтобы это уже всегда, во все минуты и везде присутствовало, незабываемое, чтобы от него уже исходило все. <...> Мы многого совсем не знаем, не представляем себе с полной ясностью всего, что будет там, в нашей совместной жизни около Парижа. Но верим, что после первого шага тверже откроются нам и следующие. Старые нитки, связывавшие нас с далекими и близкими, с Россией, хотим порвать — для того, чтобы крепче связаться новыми. И сначала будем желать связаться этим новым между собою. Чтобы они действительно были, реально, фактически. Ощущать их всегда. <...> Если ничего не выйдет, если и уединения так не выйдет, если и там мы начнем раскалываться и общаться с людьми каждый отдельно и *только* по-человечески, по старой жизни, — если и между собой не дойдем до той любви сознательной веры, о которой знаем, что она есть и что она — Сила, — это да будет наша вина, наша слабость, наша ответственность «за себя и друг за друга»<sup>44</sup>.

В обстоятельном объяснении мотивов и плана отъезда, содержащемся в данном письме, отсутствует одна немаловажная деталь, которая, вероятно, обсуждалась при встрече или в несохранившемся послании. Это — выбор места, где предполагалось жить. В письме к Дягилевой говорилось о «жизни около Парижа». По неизвестной причине план этот не удался (хотя первые недели Мережковские действительно провели в пригороде Парижа), и оба года они и Филосовы прожили в самом

<sup>44</sup> ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 118, л. 18об.-20об.

городе. Закономерен вопрос: почему был выбран именно Париж? С одной стороны, Париж представлялся Мережковским своеобразным конгломератом характеристических черт современной Европы, наиболее «европейским» городом. При этом, как подчеркивает Гиппиус в статье «Бедный город», Париж представляется в значительной степени выключенным из общей картины мира: «Мне кажется иногда <...>, что страны могут разрушиться, народы исчезнуть, далекие горы сдвинуться и пасть в море, Европа опустеть — а Париж, не заметив, будет все так же, совершенно так же, изо дня в день, жить, шуметь и веселиться <...>»<sup>45</sup>. С другой стороны, Париж — традиционное место путешествия русских писателей. По словам Г.Чулкова, «русские часто бранят Париж. Но жить без Парижа русские не могут. И время от времени каждый совершает свое паломничество в этот пленительный город»<sup>46</sup>.

Эта традиция, начатая еще XVIII веком, особенно углубилась в XX, когда к потоку людей искусства, путешествующих по собственной воле, прибавился не меньший поток политических эмигрантов и лиц, административно высланных из России. В первое десятилетие века в Париже подолгу жили А.Бенуа и М.Волошин, Е.Кругликова и К.Бальмонт, Н.Минский и Л.Бакст. События революции 1905 года существенно повлияли на состав русской колонии во Франции, увеличив, в частности, ее население до 80 000 человек, из которых большую часть составляли люди, опасавшиеся политического преследования в России. Эта атмосфера, безусловно, привлекала Мережковских, в это время особенно интересовавшихся перспективами русской революции.

Таким образом, решение об отъезде было принято в середине 1905 года и окончательно сформировалось к августу. Но еще в первой половине 1905 года Гиппиус, осознававшая необходимость кардинального изменения образа жизни и впервые задумавшаяся о возможности уединения втроем, по собственной инициативе проводит два любопытных опыта, которые должны были подтвердить или не подтвердить целесообразность такого уединения.

Первым из этих опытов стал совместный отъезд на несколько дней в Крым в начале 1905 года. Мысль об этой поездке, судя по всему, появилась в начале марта этого же года. 12 марта Гиппиус писала Дягилевой: «А теперь вот что: мы имеем серьезное намерение недели через две выехать в Крым, — все трое. Мы измучены, устали, особенно я, — иногда буквально не стою на ногах, и такое ощущение, точно мелькаешь, как перегорающая электрическая лампочка. Мне хочется, да и нужно, да и всем нам нужно, — хоть два-три мгновения тихого отдыха

<sup>45</sup> Веса, 1906, №8, с. 38.

<sup>46</sup> Париж накануне войны в монотипиях Е.С.Кругликовой. Пг., 1916, с. 25.

под небом у моря»<sup>47</sup>. В качестве места этого пробного уединения недаром был избран малолюдный в это время года Крым — требовалось максимально воспроизвести атмосферу будущей жизни, чтобы проверить свои силы, а также то, что сейчас бы называли «психологической совместимостью». Кроме того, первобытная природа Крыма более подходила для создания ощущения реальной, не «метафизической» пустыни. И в подробном отчете, посланном Д.Философовым Е.Дягилевой из Ялты 30 апреля 1905 г. (отъезд из Петербурга состоялся, по всей вероятности, 26-го), желание ассоциаций с бытом отшельников заставляет своеобразно интерпретировать внешне мало-заметные детали крымской поездки: «Второй день *Ореанда*. Древняя Греция. Ничего бархатного, пахкающего, ничего *русского*, бытового. Строгость линий, даль горизонта, классическая красота. Сидели внизу, у самого моря, которое шумливо плескалось у наших ног. Дмитрий прочел главу из Апокалипсиса (10, 20 и 21). И было хорошо. Чувствовалось, что Иоанн писал свою таинственную книгу на острове, у моря, и по морю порою неслись божественные тени. Потом взобрались высоко на гору, в ротонду, состоящую из полукруга колонн, дивно совпадающего с полукругом горизонта. Прочли по очереди три псалма (103, 23 и 148). Было радостно, величественно. Потом Дмитрий прочел 6-ю гл. от Матфея. Вернулись домой поздно, усталые, но просветленные»<sup>48</sup>.

Вторым опытом подобного рода явилась попытка литературного разрешения проблем, стоявших перед Мережковскими, то есть моделирование жизненной ситуации и поиск выхода из нее с помощью чисто художественных методов. Надо сказать, что такое «утилитарное» использование литературы, как возможность проигрывать различные ситуации и их оценка с точки зрения перспективности того или иного решения, необычайно характерна для философии и литературной манеры Гиппиус. Как было замечено еще В.Брюсовым в рецензии на книгу ее рассказов «Алый меч» (1906), холодная рассудочность и «тенденциозность» ее прозы происходят прежде всего от желания писать «не столько по побуждениям чисто художественным, сколько с целью выявить, выразить ту или иную отвлеченную мысль»<sup>49</sup>. При таком подходе к прозаическому творчеству специальной переоценке подвергаются и традиционные типы взаимодействия жизни и литературы. Опыт двадцатого века принес в литературу два принципиально новых типа художественного преобразования действительности. Один — наиболее последовательно представленный в творчестве Андрея Белого — состоит в том, чтобы «элементы мемуарной

<sup>47</sup> ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 118, л. 3-3об.

<sup>48</sup> ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 189, л. 46-46об.

<sup>49</sup> Валерий Брюсов. Среди стихов. М., 1990, с. 218.

хроники» вкраплять «в заведомо сфантазированное «мелодическое» повествование»<sup>50</sup>. Другой, связанный прежде всего с именем Кузмина, характеризуется эстетизированным переложением биографических фактов и сюжетов. Подход Гиппиус к проблеме нельзя отнести ни к одной из этих систем. Дело в том, что фрагменты быта и собственной биографии, которые писательница достаточно щедро вводит в свои рассказы, не принадлежат, за редким исключением<sup>51</sup>, к числу фактов общеизвестных и даже более или менее известных. Так, автобиографичность рассказа «Голубое небо» из сборника «Новые люди» (1896) внешне ничем не обозначается. Но сравнение портрета одного из героев рассказа, Антона Зайцева, почтового служащего и бездарного поэта («Все написанное он знал наизусть. Первая встреча с Людмилой четыре года тому назад была описана у него в беллетристической форме под заглавием «Розовое видение» <...> У него была такая фраза: «...Чу... появилось виденье...»)<sup>52</sup>, с одним из поздних писем Гиппиус, адресованных Ходасевичу, убедительно доказывает биографическую основу и, следовательно, проецированную образа главной героини на автора: «Когда мне шел 17-й год — первый, предложивший мне руку и сердце, был начальник почты в Боржоме (гимназисты не могли). Он мотивировал дело так (был латыш): «Вы «sila» и я «sila»: вместе — мы горы сдвинем»<sup>53</sup>. Писал «стихотворения в прозе», вроде: «Чу! появилось розовое виденье!»»<sup>54</sup>. Естественно, что этот эпизод не мог быть известен сколь бы то ни было широкому кругу читателей. Как представляется, эта характерная черта прозы Гиппиус является одним из проявлений общесимволистской тяги к «двойному зрению»; разница лишь в том, что возможность увидеть один и тот же факт с двух различных сторон имеет не читатель, а сам автор, а также те люди, которых он захочет посвятить в свою тайну. Характерно, с каким энтузиазмом современники принимали эту игру, предложенную им Гиппиус. Так, в первом ее крупном произведении — повести «Злосчастная» («Простая жизнь») — рассказана история новой горничной Гиппиус, Прасковьи<sup>55</sup>. В череде ее злоключений есть любопытный эпизод, опущенный при переизданиях: служба Паши у молодого писа-

<sup>50</sup> А.В.Лавров. Мемуарная трилогия и мемуарный жанр у Андрея Белого. — В кн.: Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М., 1990, с. 11.

<sup>51</sup> См., напр.: А.Г.Тимофеев. Полемика контекст некоторых «Заметок о русской беллетристике» М.А.Кузмина. — В кн.: Михаил Кузмин и русская культура XX века. Л., 1990, с. 50-56.

<sup>52</sup> З.Н.Гиппиус. Новые люди. СПб., 1896, с. 140.

<sup>53</sup> Эта фраза есть в рассказе, см.: там же, с. 150.

<sup>54</sup> Письмо от 4 или 5 ноября 1926 г. — Зинаида Гиппиус. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ed. by Erika Freiburger Skelkholeslami, Ann Arbor, 1978, с. 71.

<sup>55</sup> Впервые: Вестник Европы, 1890, № IV, с. 32-54.

теля. Многочисленные мелкие детали, ничего, естественно, не говорящие читателю, позволяют с большой долей достоверности утверждать, что прототипом писателя явился Н.М.Минский, в то время — близкий друг З.Гиппиус. В рецензии на этот рассказ А.Л.Волынский, безусловно, посвященный во все перипетии отношений между Минским и Гиппиус, бросает мимоходом: «Крошечная главка, изображающая жизнь Паши у сочинителя, просто превосходна. Это грациозный набросок, освещенный самым безобидным комическим светом»<sup>56</sup>. И здесь же: «...автор пишет с натуры, ни на йоту не отступая от оригинала», — то есть в столь же двусмысленной форме Волынский дает понять, что ему известен «жизненный» источник повести, и таким образом тоже оказывается «посвященным».

Таким образом, для проверки идеи совместного паломничества в Париж литературными методами был накоплен достаточный опыт. Надо сказать, что парижская тема на периферии художественного пространства рассказов Гиппиус проявляется довольно часто, но центральное место она занимает впервые в произведении, написанном, по всей вероятности, в 1905 году, — заглавном рассказе сборника «Алый меч», давшем название всей книге. Герои этого рассказа прошли путь, намеченный Мережковскими, — прожили втроем несколько лет в Париже в уединении. Действие рассказа начинается с их возвращения в Россию. Точнее, возвращаются двое, два друга, а сестра одного из них (отчетливая аллюзия на демонстративно «братско-сестринские» отношения супругов Мережковских) приезжает в Петербург на несколько месяцев раньше. Брат пишет ей письмо, разительно напоминающее лексикой и интонациями стиль писем Философова (отчасти, впрочем, и Мережковского — недаром же наблюдательный С.Аскольдов считал, что Философов пишет «словами, взятыми у Мережковского»<sup>57</sup>): «Мы три года жили все вместе за границей, у нас была общая работа, общие мысли, общие надежды; тем драгоценнее это было, что мы все-таки — три разных человека, с различными душами. И ты не могла не знать, как ты нам была нужна, и даже не нам, а этим нашим общим мыслям и надеждам»<sup>58</sup>. Несмотря на реальную опасность разрушения единства, нависшую над этими тремя людьми, все оканчивается благополучно, и общее дело, ради которого они объединились, не страдает из-за минутных разногласий. Вероятно, Гиппиус сочла результат эксперимента достаточно убедительным и посчитала возможным сделать план отъезда, который до этого держался в глубокой тайне, известным кругу ближайших знакомых. Так,

<sup>56</sup> Северный вестник. 1890, №10, отд. II, с. 155.

<sup>57</sup> Письмо к А.Глинке-Волжскому от 27 декабря 1906 года. — ЦГАЛИ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 181, л. 47об.

<sup>58</sup> З.Н.Гиппиус. Алый меч. СПб., 1906, с. 3.

3 октября 1905 года помечена в дневнике А.Ремизова запись: «Была у нас Зинаида Николаевна и Т<а>тьяна Н<иколаевна> <...> Мережковские собираются за границу»<sup>59</sup>. С другой стороны, Е.Иванов, в это время с Мережковскими напряженно общавшийся, впервые упоминает в дневнике об их планах, насколько можно судить по опубликованным записям, лишь 14 февраля 1906 года, то есть совсем незадолго до самого отъезда<sup>60</sup>. Так что не исключено, что известия о предстоящем путешествии для широкого распространения были все-таки запрещены. Характерно в этом отношении письмо Философова А.Бенуа, отправленное 7 февраля 1906 года: «...я уезжаю на днях за границу и буду в Париже около 4-5 марта нового стиля. <...> Сколько времени я пробуду в Париже — не знаю. Может быть до сентября, а может быть и 2-3 года»<sup>61</sup>.

Еще в начале февраля 1906 года А.Белый сообщил Блоку, что хотел бы съездить в Петербург попрощаться с Мережковскими перед их отъездом<sup>62</sup>. 14 февраля Белый приехал. Философова, у которого внезапно переменились семейные обстоятельства, он уже не застал — тот отбыл 10-го. В этот день Гиппиус сообщала Е.Дягилевой: «Дима уехал сегодня, уехал светлый, сильный, с великим праведным страданием за страдающих, но с крепкой верой и надеждой. <...> Мы уедем через 10 дней, встретимся с Димой в Париже. Очень торопимся встретиться»<sup>63</sup>. Через несколько дней после отъезда Философова Гиппиус отправляет ему письмо, которое находит его уже в Париже: «Очень, очень прошу тебя, ничего не начинать в Париже без нас, никаких людских связей, даже самых внешних, это очень важно, этим ты мне поможешь внутренне»<sup>64</sup>. Все это время в квартире Мережковских продолжались лихорадочные сборы. Белый оставшиеся до отъезда дни неуклонно их сопровождал, помогая собираться. Позже он вспоминал: «В эти дни мы разгуливаем по Невскому: с Зинаидою Гиппиус; на ней короткая, мехом вверх шубка; она лорнирует шляпы дам и парфюмерию в окнах; мы покупаем фиалки и возвращаемся в красную комнату укладывать открытый сундук; она бросает в него переплетенные книжечки, дневники, стихи, чулки, духи, ленточки; я — сижу около; Мережковские едут в Париж отдыхать от

<sup>59</sup> Алексей Ремизов. Кукха. Розановы письма. Нью-Йорк, 1978, с. 24. Ср. письмо Вяч. Иванова к В.Брюсову от 31 июля 1905 года. — Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов, с. 476.

<sup>60</sup> Воспоминания и записки Евгения Иванова об Александре Блоке. Публикация Э.П.Гомберг и Д.Е.Максимова. — В кн.: Блоковский сборник. <I>. Тарту, 1964, с. 399.

<sup>61</sup> ГРМ, ф. 137, ед. хр. 1672, л. 29.

<sup>62</sup> Недатированное письмо. — В кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Письма. М., 1940, с. 173.

<sup>63</sup> ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 118, л. 26об.

<sup>64</sup> Intellect and Ideas in action. Selected correspondence, p. 90.

прений: Пирожков уплатил»<sup>65</sup>. За несколько дней до отъезда, 22 февраля, Мережковские устраивали прощальный вечер для ближайших друзей. Хозяйка конкурирующего салона, Л.Д.Зиновьева-Аннибал, писала своей близкой подруге некоторое время спустя: «...в прошлую *среду* Мер<ежковск>ие нарочно устраивали вечер у себя! Зазывают Блока, Рем<из>ов<а>, Карташева, удерживают Арбатского святошу Белого — это все их *fidèles*»<sup>66</sup>. Разве так поступают «друзья»?»<sup>67</sup> (больше всего ее рассердило, что прощание было назначено на день, традиционный для сборов на «башне» Вяч.Иванова). Поздним вечером 25 февраля 1906 года Мережковские экспрессом отбывают в Париж. На вокзале их провожают Андрей Белый, Николай Бердяев, Антон Карташев, Татьяна и Наталья Гиппиус.

\* \* \*

Философов, уехавший, как уже говорилось, раньше Мережковских на несколько дней, направился не сразу в Париж — собственно, и уехать так рано ему пришлось неожиданно из-за того, что внезапно тяжело заболела его сестра и надо было сопровождать мать, торопившуюся к ней в Швейцарию. В Париже он оказался за несколько дней до приезда своих единомышленников. Несмотря на то, что внешне Философов был едва ли не вдохновителем всего предприятия, он болезненнее Мережковских переживал предстоящее отлучение от привычного мира. Пассивный и неуверенный и в петербургской жизни, в этой обстановке он совсем растерялся. 15 марта (я.ст.)<sup>68</sup> он писал А.Бенуа: «В Париже я уже семь дней. Не писал тебе, потому что мне было очень трудно, и после Петербурга мне хотелось быть некоторое время в одиночестве. Вчера приехали Мережковские и я несколько пришел в себя»<sup>69</sup>. Уладив необходимые формальности и еще ни с кем не встречаясь, ровно через неделю после приезда все трое уезжают в курортный городок Сен-Рафаель, расположенный на побережье Средиземного моря (Лазурный берег). Через несколько дней Мережковский пишет оттуда Андрею Белому: «Ужасно хотелось бы, чтобы Вы к нам сюда приехали. Верю, что это устроится и что мы вместе с Вами будем здесь. А здесь хорошо — в Париже, этом чужом и, однако, родном, всемирном городе — пустыня человеческая; а здесь, на берегу

<sup>65</sup> Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990, с. 72. Пирожков Михаил Васильевич (1867-1926 или 1927) — постоянный издатель Мережковских.

<sup>66</sup> верные (фр.).

<sup>67</sup> Письмо Л.Д.Зиновьевой-Аннибал к М.М.Замятинной от 27 февраля 1906 г. — В кн.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 3. М., 1982, с. 238.

<sup>68</sup> Далее даты, кроме специально оговоренных случаев, приводятся по старому стилю.

<sup>69</sup> ГРМ, ф. 137, ед. хр. 1762, л. 30.



моря — пустыня Божья. Мы смотрим на горы, на солнце, на небо, на море — и молимся о всех нас и как будто вечно идем куда-то — идем вместе с вами, со всеми, к последней цели наших пустынных скитаний: там все соединимся, чтобы уже никогда не разлучаться»<sup>70</sup>.

В какой-то мере это пребывание в Сен-Рафаэле явилось тоже проверкой возможности выполнения намеченной программы. Три недели совместного уединения (на этом месте они прожили до 15 апреля) определили некоторые специфические черты их жизни. Так, например, сразу стало понятно, что живая связь с Россией, которую не собирался терять ни один из троих, будет прежде всего осуществляться через письма друзей. «...Вы не можете себе представить, как письма тут на чужбине дороги. Хочется длинных, длинных и фактических, даже *анекдотических* писем», — писал Мережковский Белому 20 марта<sup>71</sup>. Общим было и необыкновенное ощущение творческой свободы и творческого подъема. «Я чувствую, что много буду вам писать (если захотите)»<sup>72</sup>, — сообщает Гиппиус В.Брюсову 25 марта и еще определеннее высказывается в письме к нему же от 26 марта: «Знаете, я вижу теперь, что петербургские «действия», которые все время наплывали на меня, заставляли совершать себя, — чрезвычайно парализовали мои литературные вожделения. Хорошо это или дурно для «вечности» — другой вопрос. Знаю одно, что здесь эти вожделения вспыхнули во мне с недолимой силой, и я почти мечтаю о дождливом дне, чтобы успеть больше написать. Прямо раж какой-то»<sup>73</sup>. Нечто подобное переживали тогда и Мережковский, и Философов.

В это же время в основном определяется круг предстоящих знакомств каждого из них. Интересы Гиппиус лежат в основном в области французских политических партий. «Французские синдикаты мне любопытны, — пишет она Брюсову. — «Эс-де» — с анархистической физиологией. Вообще — анархизм любопытен. Не «мистический чулкизм»<sup>74</sup>, конечно, — нет, я просто реальную историю наблюдаю, и любопытно. Уже и не Бакунин и даже не «Vive le son, vive le son...»<sup>75</sup> — эти не интересны, а новые, социалистические анархисты, не называющие себя анархистами, а между тем явные «с-а». Ведь какой внутренний абсурд, это соединение! — Не думайте, что я, от старости, начала политикой особенно заниматься; нет, я верна

<sup>70</sup> Письмо от 20 марта 1906 года. — ГБЛ, ф. 25, карт. 19, ед. хр. 9, л. 34об.-35.

<sup>71</sup> Там же, л. 39 об.

<sup>72</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 38, л. 6.

<sup>73</sup> Там же, л. 9-10об.

<sup>74</sup> Иронический намек на созданную и пропагандируемую Г.И.Чулковым идейно-эстетическую доктрину — «мистический анархизм».

<sup>75</sup> Да здравствует грохот, да здравствует грохот... (фр.)

по-прежнему своей милой метафизике и не пойду по дорожке Минского»<sup>76</sup>. Мережковский и Философов разделяли, хотя и не в такой сильной степени, энтузиазм Гиппиус по поводу разнообразных деятелей левых политических партий, но в то же время у каждого были и свои интересы. Мережковского, например, очень привлекало знакомство с представителями католического духовенства, чьи обряды и история очень интересовали его в это время. Философов же, сохранивший от прежних лет ряд знакомств среди парижских художников и писателей-модернистов, был склонен и к общению с людьми этого круга. Таким образом, идея «пустыни» удавалась мало, и это становилось все более ясно с каждым днем. Но религиозное содержание первоначального проекта Мережковские стремились перенести в другие области своей деятельности. Все же, несмотря на разнообразие интересов, они сохранили обычай еженедельной совместной молитвы в домашней церкви или вообще на природе — тем более, что их пребывание там (вероятно, не случайно) совпало с Пасхой. 2 апреля Гиппиус писала Е.Дягилевой: «Мы Страстную неделю старались провести в молитве, всегда думали и вспоминали о вас, такой далекой и близкой. Хотелось, чтоб и вы чувствовали, что мы с вами. А Пасху встретили — уехали далеко на ночь в горы, там смотрели, как солнце встает, и молились. Одиноко было очень, но бодро. Верили, что это одиночество наше не навсегда, а нужное сейчас, пустыня наша, которую пройдем, если Бог пошлет сил и будет Его воля. До сих пор, как ни бывало тяжело, ни единой минуты не случалось, которая не доказывала бы, как нужен и важен был этот наш отъезд. Все мы одинаково чувствуем»<sup>77</sup>. В этом же письме Гиппиус сообщает, что в ближайшие дни они переезжают в Канны.

В этой постоянной смене мест проживания (Философов в письме к Бенуа от 30 августа 1906 года по новому стилю перечисляет шесть пунктов, в которых они побывали за лето<sup>78</sup>, — на самом деле их было еще больше) была своя логика. С одной стороны, нигде не останавливаясь надолго, проживая по полторы-две недели в гостиничных номерах, Мережковские могли препятствовать образованию каких бы то ни было человеческих связей, способных подточить их тройственное единство. С другой — такой способ жизни обещал массу новых впечатлений. Да и не было особых причин спешить в Париж. Летний сезон 1906 года собрал там огромное число людей именно того круга, общения с которыми Мережковские старались избежать уже в последние годы петербургской жизни. В письме от 20 марта Гиппиус сообщает Брюсову: «Все в Париже: Бальмонт, Бенуа, Во-

<sup>76</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 38, л. 11-110б.

<sup>77</sup> ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 118, л. 29-29об.

<sup>78</sup> ГРМ, ф. 137, ед. хр. 1672, л. 34.

лошин, Рябушинский... Как хорош Париж тем, что там можно ни с кем не встречаться!»<sup>79</sup> Таким образом, почти весь 1906 год проходит в разъездах по стране. Был, впрочем, и довольно долгий период, с 3 мая до середины июля, когда Мережковские уединенно жили в самом Париже. За это время происходит постепенная адаптация, мысль о скором отъезде, которая не раз появляется у них (особенно часто у Философова), окончательно отвергается, и строятся определенные общественные программы на ближайшие два года. Правда, было время, когда желание уехать сделалось особенно сильным, — в дни, когда была разогнана Дума и стала реальной возможность революции. Некоторое время спустя Мережковский писал Л.Н.Вилькиной: «Вы спрашиваете, как я живу? Уныло. Можно ли жить иначе во время того, что теперь происходит в России? Это уже не революция, а что-то гораздо более страшное и небывалое в истории. И всего мучительнее, что нужно на это смотреть и бездействовать. Ибо все-таки наше дело слово и мысль, а тут никакие слова, никакие мысли ничего не сделают. Тут какое-то стихийное разрушение всего. Когда закрыли Думу, мы хотели было вернуться в Россию. Думали, вот когда «начнется»... Но теперь наступила такая безнадежность, что не имеешь силы думать о том, что будет...»<sup>80</sup> В это время отчетливо сокращается переписка Мережковских с их оставшимися в России друзьями. Это не было еще одним проявлением демонстративного уединения и явилось скорее следствием недобросовестности корреспондентов Мережковских, а не их самих. Спровоцированный ими процесс собственного выключения из общественно-литературного контекста принес свои плоды. С другой стороны, и надежды на укоренение в колонии русских эмигрантов оказались преждевременными — отношения Мережковских с этими людьми складывались далеко не идиллически.

В один из первых дней после возвращения в Париж из французской провинции, 11 мая 1906 г., Гиппиус пересказывала в письме к Брюсову свои впечатления. «Теперь мы в Париже, пока радуемся ему и нашему оригинальному новому хозяйству (квартира дорогая и громадная, а мебели всего — 3 постели, несколько кухонных столов и 3 соломенных кресла!) и похожи, по настроению, на молодоженов. Новый способ троебрачности. Видели «эмигрантов». Одинокого романтика, злобного идеалиста от мзонов — Минского и Бальмонта <...> Бальмонт без игры и тоже злобноват. Уж французы лучше, по крайней мере знаешь, что шаромыжники и ничего не ждешь»<sup>81</sup>. «Сколько смешного и любопытного происходило здесь в кружке иностранцев!»

<sup>79</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 38, л. 12об.

<sup>80</sup> ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 882, л. 95-95об.

<sup>81</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 38, л. 17об.

— пишет ему же Гиппиус в недатированном письме<sup>82</sup>. С самого начала разочаровавшись в русских эмигрантах (тем более, что со многими из них — в том числе с двумя, названными выше, — их связывали долгие и непростые личные отношения) — Мережковские начинают мало-помалу знакомиться с французами. Среди первых визитов, нанесенных ими, было посещение салона А.М.Аничковой (более известной под псевдонимом Иван Странник), где произошла задуманная задолго до этого встреча с Анатолем Франсом. Свои впечатления от беседы с именитым писателем Мережковский изложил через год в статье «Цветы мещанства»<sup>83</sup>. Непосредственный (через несколько дней после встречи) отзыв Гиппиус в письме к Брюсову от 3 июля 1906 года представляется более характерным для их умонастроения того времени: «Очень много внутренне-любопытного видели и видим в Париже. Ап. France — очень характерный мертвец (и не в смысле каких-нибудь наших идей, а объективно)»<sup>84</sup>. В этом же письме Гиппиус делится впечатлениями от встречи с представителями одной из политических партий: «...знаете ли вы любопытнейшую <...> ну, скажем, «фракцию» — анархистов-либертистов? Это анархисты *не* бомбисты, а вместе с тем не кропоткинцы и не толстовцы. Много наивного, но так молодо, живо, огненно, и столько *движения*, что нельзя устать их созерцать. Сознаюсь, есть у меня, в отношении к ним, нечто сходное с отношением к светлоозерским сектантам<sup>85</sup>, очень «наблюдательное», но очень приятно-наблюдательное. Я им сочувствую, я их понимаю, я признаю все, что они признают, все принимаю, но... но... мне жаль даже — и однако мне этого «всего» до такой степени мало, что и говорить не о чем. <...> И все-таки эти люди самые интересные и живые. Их и «литературу» их теперь мы изучаем»<sup>86</sup>.

К этому же времени относится знакомство Мережковских с только начинающим приобретать известность Рудольфом Штейнером. В одном из майских писем к Брюсову Гиппиус описывает это знакомство: «...Штейнер, окруженный сто пятью прилипшими к нему девами и женами (из которых 9/10 старые рыла) — держит себя, как подобает пророку. На квартире, где происходят лекции и где он живет со своими женами и девами, — подозрительно (порою) пахнет ладаном из внутренних комнат. Ду-

<sup>82</sup> Там же, л. 7об.

<sup>83</sup> Речь, 1908, №35, 10 февраля.

<sup>84</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 38, л. 19об.

<sup>85</sup> Гиппиус упоминает свою поездку на озеро Светлояр (в Новгородской губернии), где в ночь с 22 на 23 июня происходили ежегодные собрания представителей различных религиозных сект. Дневник Гиппиус, который она вела в этой поездке (продолжавшейся с 15 июня по 8 июля 1903 года), был ею напечатан в «Новом пути» (1904, №1, с. 151-180 и №2, с. 16-47).

<sup>86</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 38, л. 20-20об.

мается, пророк там, среди верных, совершает служения — ему кадят»<sup>87</sup>. Свидетельница встречи Мережковских со Штейнером вспоминала через много лет: «Мережковский оказался предубежден против Штейнера. Зинаида Гиппиус, восседая на кушетке, надменно лорнировала Учителя, как некий курьез. Мережковский допрашивал Штейнера возбужденно и, в буквальном смысле слова, инквизиторски. «Мы бедны, мы наги и жаждем! — возглашал он. — Мы томимся по истине!» <...> «Откройте нам последнюю тайну!» — кричал Мережковский, на что Штейнер парировал иронически: «Сначала откройте мне предпоследнюю!» Спутники Штейнера негодовали»<sup>88</sup>.

К осени 1906 года положение Мережковских в Париже в основном определилось. Объездив многие города Франции, они окончательно поселяются в столице, в собственной квартире на улице Теофила Готье (дом 15<sup>bis</sup>). Сведя к минимуму число контактов с русской колонией, они начинают заводить знакомства среди французов, причем основной интерес лежит в области политических партий социалистического направления и представителей французской новой литературы. При этом, из-за разрыва большинства связей с российскими журналами и газетами, выяснилась значительная проблема: практически нигде стало печататься. «Вы не можете себе представить, до чего у нас наболела душа без своего журнала, то есть без органа не только чисто-литературного», — писал 5 августа Философов Брюсову<sup>89</sup>. Вообще к концу 1906 года проблема обнародования всего написанного и запланированного встала необычайно остро.

Среди издательских проектов Мережковских, задуманных и осуществленных в 1900-х годах, одно из первых мест по праву занимает сборник «Le Tzar et la Révolution», вышедший в 1907 году в Париже на французском языке. Вероятно, идея сборника или журнала, издаваемого за границей, появилась у Мережковских после первых столкновений с цензурным ведомством при издании «Нового Пути». Во всяком случае, к моменту принятия решения об отъезде в Париж идея сборника уже существовала, и проект этот явился одной из основных причин отъезда. С просьбой о финансировании издания решено было обратиться к политическому и религиозному деятелю И.Бунакову-Фондаминскому. В середине 1905 года было получено его принципиальное согласие, и перед организаторами встал вопрос о подборе авторов. Поскольку сборник предназначался для своего рода консолидации сил, состав его должен был быть весьма пестрым. Первые попытки определить этот состав мы находим в письме

<sup>87</sup> Там же, л. 8-8об.

<sup>88</sup> М.В.Сабашникова. Из книги «Зеленая змея». — В кн.: Воспоминания о Максимиллиане Волошине. М., 1990, с. 115 (перевод Ф.Гринберг). Ср.: Андрей Белый. Воспоминания о Штейнере, Paris, 1982, с. 72.

<sup>89</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 106, ед. хр. 32, л. 23.

Философова к А.Глинке-Волжскому от 13 июля 1905 года, написанном непосредственно после того, как издание сборника стало делом реальным: «На днях я мирно сижу дома, как вдруг звонок, и говорят, что меня желает видеть барышня. Выхожу — и вижу очень милую девушку (Вы ее знаете), которая мне приносит 1500 р. от Ф<ондаминского> на сборник.

Таким образом сборник стал приобретать почву под ногами. Я не знаю, все ли это, что мы получим, или еще есть надежда на дополнительный взнос, но во всяком случае решили немедленно приступить к делу, 1500 р. думаем истратить на гонорары, а печатать сборник в кредит. <...>

Теперь дело за статьями. Посмотрев список участников, составленный Вами с З.Н., — я обращаюсь к Вам с просьбой *взять на себя С.Н. Булгакова*. Голубчик, напишите ему, попросите его что-нибудь для сборника. Ваш голос будет авторитетнее моего. Флоренского статью я получил. Карташева, Успенского, Белого и К<sup>о</sup>, Бердяева, Вяч.Иванова, Розанова мы берем на себя. Что-то у меня появилось сомнение насчет Аскольдова и Лосского. В случае если признаете желательным их участие, переговоры с ними возьмите также Вы на себя. А, главное, выясните дело с Булгаковым.

У Мережковских существует предположение пригласить Шестова. Они его видели теперь в Киеве, подружались, и говорят, что он мог бы, если бы захотел, дать что-ниб<удь> интересное<sup>90</sup>.

На первый взгляд, позиция, отраженная здесь, выглядит не последовательной. Через недолгое время после скандального ухода Мережковских из «Вопросов жизни» они намереваются приглашать в сборник основных участников этого журнала, то есть тех самых людей, идейные разногласия с которыми вынудили их уйти из редакции. Но, с другой стороны, ряд событий 1905 года (в частности, приглашение «идеалистами» Мережковских в свой несостоявшийся журнал) показали, что разногласия, казавшиеся непримиримыми, на самом деле не так уж и велики. Кроме того, в идейной терпимости, которая, несомненно, не укрылась бы от глаз читателей сборника, Мережковские склонны были находить особую добродетель.

Да и чисто количественно превосходство было явно не на стороне «идеалистов», к которым, кроме Булгакова и Бердяева, мог быть причислен еще только Глинка-Волжский (показательно в этом смысле сомнение Философова на предмет Аскольдова и Лосского, которые в случае редакционного конфликта могли стать на сторону «идеалистов»). В случае же успеха подобного симбиоза под одной обложкой удалось бы собрать богатейшую плеяду религиозных мыслителей.

<sup>90</sup> ЦГАЛИ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 299, л. 1-3.

Идея Мережковских об издании книги за границей была настороженно встречена большинством потенциальных участников. В то же время Мережковские, переживавшие в первые дни совместного путешествия необычайный духовный подъем, строили все более глобальные планы: на месте одного сборника появились уже два, а то и несколько, а то и регулярный журнал, посвященный тем же проблемам. В конце марта 1906 года Мережковский пишет Глинке-Волжскому: «...мнение наше о необходимости издания этого Сборника — неизменно. Мы ведь в значительной мере, с этой именно целью присхали сюда и поселились здесь на целый год — уже квартиру наняли в Париже и даже собираемся открыть редакцию «Анархии и Теократии», этот первый сборник должен был послужить началом целого ряда периодических изданий и сборников, а может быть и целого журнала на эту тему»<sup>91</sup>. Между тем Глинка-Волжский, который был посредником между Фондаминским и Мережковскими, не спешил давать санкцию на подобное использование полученных денег. Лишь после повторной просьбы (на этот раз — в письме Философова от 12/25 марта 1906 г.)<sup>92</sup> он ответил согласием. С этого времени начинается конкретная деятельность Мережковских по укомплектованию первого сборника. 26 июля Мережковский пишет Белому: «Несмотря ни на что, мы здесь в Париже издадим Сборник «Анархия и Теократия». Очень просим Вас: пришлите Вашу статью поскорее; пишите, о чем хотите, но чем конкретнее, чем ближе к реальным политическим событиям, происходящим теперь, — тем для нас лучше. Хотелось бы, чтобы наш Сборник был криком призывным, обращенным не только к русскому обществу, но и ко всему русскому народу. Очень ждем Вашей статьи. <...> Хотелось бы получить статьи не позже 15 сентября (русского). Боря, это Вы должны сделать, во что бы то ни стало, во имя прошлого и будущего»<sup>93</sup>. Те участники, которые не были связаны, как Белый, с Мережковскими напрямую, должны были передавать свои статьи через В.В.Успенского, их близкого друга. Через него же передавались и очередные коррективы относительно срока сдачи и оформления работ. Так, 21 августа Успенский сообщал Глинке-Волжскому: «Я <...> списывался с Мережковскими, которые указали мне пред отъездом на 15 августа, как на «крайний срок». Теперь они смиловались и откладывают еще на месяц. По ихним расчетам, сборник должен выйти в январе-феврале. Я, потому, думаю, что можно заложить статью даже на конец сентября. Хотя, конечно, я был бы очень рад, если бы Вы прислали свое именно к половине сентября. Кроме того, просьба к Вам от Мережковских. Они предполагают дать о

<sup>91</sup> ЦГАЛИ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 253, л. 1 об.

<sup>92</sup> Там же, ед. хр. 299, л. 6.

<sup>93</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 19, ед. хр. 9, л. 42-43.

каждом из участников сборника биографические сведения («годы рождения, главнейшие этапы литературно-й и общественно-й деятельности») и портрет. Я сам не сочувствую этой идее и не понимаю, зачем это. Но передаю их просьбу — выслать краткие материалы для биографического очерка и фотографическую карточку»<sup>94</sup>. Просьба о биографиях и фотокарточках — малозаметная деталь, заставившая возмутиться скромного Успенского, — на самом деле одно из первых внешних проявлений нового этапа самосознания Мережковских и, в частности, понимания ими задач сборника. Принципиальная позиция Мережковских в середине 1900-х годов выражена в ответе Гиппиус на просьбу М.Гофмана дать автобиографию для подготавливаемой им «Книги о русских поэтах последнего десятилетия»: «Никакой автобиографии я вам не дам. Никогда ее не даю. Меня знают, как человека, те, кого я знаю, как людей. В литературе же мы должны говорить о «своем», а не о себе»<sup>95</sup>. С другой стороны, декларируемый Гиппиус в философских статьях 1906-1907 годов субъект религиозного действия — религиозная общественность, манифестом которой и должен был стать парижский сборник, прежде всего должен был быть конкретен. Сыграла свою роль и обращенность сборника к западному читателю — по примеру нелюбимого ими журнала «Золотое руно», Мережковские на определенном этапе решили печатать параллельно русский и французский текст, поскольку широкие слои западной читающей публики были практически не знакомы с современной русской литературой и философией. Таким образом, нужно было представить конкретных мыслителей, живых людей, а не только их идеи (не случайно непосредственное общение начинаст играть такую роль в жизни Мережковских) — для этого и потребовались портреты.

В процессе работы над сборником решено было еще расширить его объем за счет привлечения новых авторов. 15 августа Мережковский писал Белому: «Попросите Флоренского о статье. Не даст ли чего-нибудь и *Сергей Соловьев*? Очень просим его об этом — тему пусть выберет сам. <...> Ждем статей, *как можно скорее*, потому что уже пора приступить к изданию»<sup>96</sup>. В начале августа к списку потенциальных авторов присоединяется еще и Брюсов. 11 августа Философов пишет ему: «Издание сборника нашего подвигается постепенно к своему осуществлению. С октября надеемся приступить к его печатанию. Он будет состоять из статей наших, затем Розанова, Бердяева, Бенуа, Булгакова, Белого, Успенского, Карташева, Волжского, Минского, вероятно Вяч.Иванова. Очень бы хотелось и Вашу статью. <...> Имейте в виду, что он будет издан на французском языке».

<sup>94</sup> ЦГАЛИ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 296, л. 4.

<sup>95</sup> Книга о русских поэтах последнего десятилетия. СПб. - М., <1909>, с. 173.

<sup>96</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 19, ед. хр. 9, л. 47об.



ке, т.е. преследует «вселенские» цели, а следовательно и сами статьи должны быть общего характера»<sup>97</sup>.

К началу осени (вероятно, к этому времени некоторые статьи уже были получены) первоначальный план претерпевает некоторые изменения. 1 сентября 1906 г. Успенский передает Глинке-Волжскому новые замыслы Мережковских: «Теперь они предполагают издать не один, а два сборника, вернее, две части одного сборника с такими подзаглавиями: 1) «Самодержавие и русская революция»; 2) «Анархия и теократия». Общее заглавие осядется прежнее — «Меч».

Первый сборник будет посвящен злободневным вопросам; второй — более теоретическим и метафизическим. Общая цель обеих частей «Меча» — одинаковая, но первый должен иметь боевой характер. Мережковские просят и Вас (кроме обещанной) дать еще новую статью в первый сборник: что-нибудь из отношения православия и самодержавия, политики и религии и т.п. Можно бы написать статью — размер ее небольшой: 1/2 листа, 10 страниц, а можно и меньше — в виде воззвания, обращения и подобного. Сборники выходят приблизительно в одно время»<sup>98</sup>.

В октябре Мережковские приступают к переводу готовых статей первого сборника на французский язык. «...Мы надеемся выпустить его никак не позже Рождества», — пишет Гиппиус Брюсову 8 октября 1906 года<sup>99</sup>. В то же время Мережковскими овладевают сомнения в правильности решения выпускать сборники на французском языке (что будет только французский текст, без параллельного русского, решилось в середине лета). Ведь таким образом терялась одна из основных задач сборника — его обращенность к широким слоям русского общества. Сборник как бы заранее оставался без читателя — в России он заведомо не будет популярен из-за того, что издан на чужом языке, а за границей неактуальны проблемы, составившие его основу. 10 октября 1906 г. Мережковский сообщал Л.Вилькиной: «Мы издаем наш сборник у Perrain'a. Выйдет, должно быть, в январе. Но неизвестно, кто его здесь будет читать. Французам ничего не нужно кроме того, что у них есть»<sup>100</sup>.

Несмотря на эти колебания, Мережковские активно составляют второй сборник. 22 октября Мережковский пишет Белому: «Отчего Вы думаете, что мы не хотим Вашей статьи для Сборника? Очень хотим и просим, присылайте поскорее. У нас есть для этого *второго* Сборника (*первый* уже готов и переводится) — статьи Розанова, Бердяева («Мистика и Религия»), моя статья, Зины «о полсе», Дм<итрия> Вл<адимировича> «о социа-

<sup>97</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 106, сд. хр. 32, л. 25.

<sup>98</sup> ЦГАЛИ, ф. 142, оп. 1, ед. хр. 296, л. 5-50б.

<sup>99</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 38, л. 36.

<sup>100</sup> ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 882, л. 109.

лизме и анархизме», Булгаков тоже обещал статью. Не бойтесь даже и отрицательной критики христианства — наш Сборник — исследование, а не догматическое утверждение. Итак, ждем Вашей статьи»<sup>101</sup>.

Это письмо — хронологически последнее из известных нам писем Мережковского, в которых упоминается первоначальный состав парижских сборников. Из них вышел в свет только один — под заглавием «Le Tzar et la Révolution», с датой на обложке «1907». Сборник этот содержит статьи Мережковского, Гиппиус и Filosofova. Статьи, приготовленные к печати для второго сборника, ждала разная судьба: «О поле» Гиппиус — это, скорее всего, статья «Зверобог», напечатанная уже после возвращения из Парижа<sup>102</sup>; приготовленная Белым работа «Социал-демократия и религия» была прочитана им в виде лекции 7 февраля 1907 года в Париже<sup>103</sup> и позже опубликована с посвящением Мережковскому в журнале «Перевал»<sup>104</sup>; статья Розанова, упомянутая здесь, — «О вере русских» — отложились в архиве Мережковских и увидела свет совсем недавно с обстоятельным рассказом о ее судьбе<sup>105</sup>. Вероятно, дело обстояло так — в последний момент перед сдачей в печать первого сборника Мережковские и Filosofov решили (или так получилось, что из-за изменения первоначального плана никто не успел прислать статью для «боевого» номера), чтобы первый сборник был еще одним доказательством действительности и неразрывности троестратного союза — и включили туда лишь свои статьи. Может быть, такое решение было принято, чтобы не допустить неизбежной разногласия в философских концепциях многочисленных авторов, а, задав главенствующее направление, поместить их статьи во второй сборник лишь с оговоркой типа «редакция не всегда разделяет мнение...» или что-нибудь в этом роде. Для невыхода же второго сборника могли быть тысячи причин — от финансового неуспеха предприятия до разочарования Мережковских в этом проекте. Но, несмотря на кажущийся провал идеи сборника, издание «Le Tzar et la Révolution» ознаменовало собой важный этап идейной эволюции Мережковских.

Из всех дружеских связей Мережковских за годы их пребывания в Париже крепче других сохранялась их дружба с Андреем Белым. Он был, в частности, единственным человеком,

<sup>101</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 19, ед. хр. 9, л. 50-50об.

<sup>102</sup> Зинаида Гиппиус. Зверобог. — Образование, 1908, №8, отд. III, с. 18-27.

<sup>103</sup> См. информационную заметку о ней М.Семенова. — Утро, 1907, №54, 16 февраля.

<sup>104</sup> Андрей Белый. Социал-демократия и религия. Из лекции, читанной в Париже. — Перевал, 1907, №5, с. 23-35.

<sup>105</sup> В.Розанов. О вере русских. — Русская литература, 1991, №1 (публикация М.М.Павловой).

которого они звали к себе, настаивая на его приезде едва ли не в каждом письме. 20 марта 1906 года, в первом же письме, отправленном из-за границы Белому, Мережковский пишет: «Ужасно хотелось бы, чтобы Вы к нам сюда приехали. Верю, что это устроится и что мы вместе с Вами будем здесь»<sup>106</sup>. Весь 1906 год, в течение которого денежные и личные обстоятельства не позволяли Белому приехать, это нота постоянно звучит в письмах Мережковского и Гиппиус. 15 августа Мережковский пишет: «Вы давно хотели ехать за границу. Если есть малейшая возможность, то сделайте это и приезжайте к нам в Париж. Вам нужно быть с нами — в этом Ваше спасение, — нельзя Вам теперь быть одному. Если не сможете надолго, то хоть на две-три недели приезжайте. <...> Ведь мама Вас любит с нежностью и поймет, как теперь для Вас было бы полезно уехать, хотя бы ненадолго из России, и сделает все, что может, чтобы помочь Вам»<sup>107</sup>. 22 октября он повторяет свою просьбу еще более настойчиво: «Боря, мальчик мой родной, любимый, как бы хотелось, чтобы Вы приехали к нам сюда в Париж. Если сейчас нельзя, то потом, через несколько месяцев. А если Вам будет страшно и одиноко, то напишите мне, я к Вам приеду, несмотря ни на что»<sup>108</sup>. Ему вторит Гиппиус в письме от 8 ноября: «Написали бы, как живете, как устроились, когда думаете приехать в Париж, каких людей видите вокруг. А когда к нам приедете — увидите, какая у нас трезвость, и простота, и стремление к известному «смирennemудрию»; может быть, даже скучно вам покажется, но наверно будет, как раз вам, небесполезно»<sup>109</sup>.

С 21 сентября 1906 года Белый находится в Мюнхене, уехав из России после тяжелого объяснения с Блоками, что заставляло его еще больше ценить глубокую дружескую связь с Мережковскими. Болезненность его состояния в это время достигла такой степени, что стоило его близкому другу С.Соловьеву пошутить в письме по поводу намерения Белого отправиться в Париж: «Недоумеваю относительно твоей перекочевки. Что в Париже привлекательного, кроме Мережковских?»<sup>110</sup> (письмо от 25 ноября 1906 года), как Белый немедленно вспылал, и в следующем письме (от 14 декабря) Соловьеву пришлось оправдываться: «Боюсь, что ты немножко не понял моего последнего письма. В этом виновата моя лаконичность. Мне кажется, что тебе почудилась критическая нотка в моем вопросе, отчего ты в Париже. Уверяю тебя, это только стилистический промах. Мне просто было интересно знать, есть ли кроме Мережковских что-

<sup>106</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 19, ед. хр. 9, л. 34об.

<sup>107</sup> Там же, л. 45об.-46.

<sup>108</sup> Там же, л. 49об.-50.

<sup>109</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6, л. 44-45.

<sup>110</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 6, л. 12.

нибудь притягивающее тебя к Парижу. Доброму отношению ко мне Зинаиды Николаевны я очень рад и отвечаю ей тем же»<sup>111</sup>. 1 декабря 1906 года Белый приехал в Париж и поселился недалеко от Мережковских. В ближайшие три месяца (за исключением времени его тяжелой болезни) он принимал непосредственное участие во всех предприятиях Мережковских и виделся с ними буквально каждый день.

Белый писал матери в один из первых дней своего пребывания в Париже: «Неоценимо то, что здесь почти рядом со мной Мережковские и Философов. Я бываю у них каждый день от 3 до 6 часов. Иногда мы предпринимаем путешествия по Парижу с Философовым или Зин<аидой> Николаевной. Они ведут тихую уединенную жизнь, отдыхают после России, издают на французском языке сборник статей, который уже переводится и на немецкий. В этом сборнике я буду участвовать.

Они заботятся обо мне (Д.С. рекомендовал мне *пансион*, в котором я нахожусь) и в то же время не нарушают моего одиночества и отдыха. Зин<аида> Ник<олаевна> просит меня передать тебе свой поклон, а также и Д.С. Они просят тебя не беспокоиться обо мне, потому что я не один в Париже, а окружен друзьями. Оба они < ... > не советуют торопиться в Россию, где ждет истерия, ужас, как от кружка декадентов и невврастеников вроде Левы, так и от мучений на почве общественности»<sup>112</sup>.

Новости российской литературной жизни, привезенные Белым, подтвердили худшие опасения Мережковских и углубили их решение остаться во Франции еще на неопределенный срок. «Иногда мне кажется, что лучше временная пустыня, нежели вечная кружковщина. Увы! Кузьмины, Нувел и Вячеславы думают, что создают новый эллинский мир, — а создают не более, чем то, что уже есть и в Париже — в салоне Кругликовой», — пишет Гиппиус 8 января 1907 года Брюсову<sup>113</sup>. Между тем и парижское уединение не может полностью их избавить от контактов с петербургскими литераторами. В первые дни января 1907 года приходит знакомиться с ними Н.С.Гумилев, незадолго до того сообщавший Брюсову, что у него «есть ркомендательное письмо к г-же Гиппиус (Мережковской)»<sup>114</sup>. В цитированном письме к Брюсову Гиппиус, рассказывая о его посещении, пишет: «О, Валерий Яковлевич! Какая ведьма «сопряла» вас с ним? Да видели ли вы его? Мы прямо пали. Боря <А.Белый. — А.С.> имел силы издеваться над ним, а я была поражена параличом.

<sup>111</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 26, ед. хр. 6, л. 14.

<sup>112</sup> Недатированное письмо. — ГЛМ, ф. 7, оп. 1, ед. хр. 30, л. 2 (машинописная копия). Лева — Эллис (Лев Львович Кобылинский).

<sup>113</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 39, л. 4.

<sup>114</sup> Письмо от 30 октября 1906 г. — ГБЛ, ф. 386, карт. 84, ед. хр. 18, л. 80б.

Двадцать лет, вид бледно-гнойный, сентенции — старые, как шляпка вдовицы, едущей на Драгомиловское. Нюхает эфир (спохватился!) и говорит, что он один может изменить мир. «До меня были попытки... Будда, Христос... Но неудачные»<sup>115</sup>.

Изменение политической ориентации Мережковских в первые месяцы 1907 года становится еще более явным. Вообще, их явное «полевение» и соответствующая персориентация Религиозно-философского общества в 1908-м и следующих годах в сознании современников прочно связывались с их парижским кругом общения<sup>116</sup>. Это был склонен утверждать и сам Мережковский — в частности, в автобиографии 1913 года он писал (этот фрагмент вычеркивался цензурой при всех ее публикациях): «В Париже я сблизился с русскими эмигрантами-революционерами. Мне казалось и теперь мне кажется, что это лучшие русские люди, каких я встречал за всю свою жизнь. Сближение наше произошло на почве не только общественной, но и религиозной. Здесь я увидел воочию, как бы осязал руками, связь русской революции с религией. В схождении с ними я пережил то, что потом часто высказывал, возможность новой религиозной общественности, глубочайшую связь русского освобождения с религиозными судьбами России»<sup>117</sup>. В конце 1906 года к эпизодическим пока встречам с представителями французских политических партий (любопытно, как Гиппиус стремилась афишировать эти встречи, не только рассказывая о них в письмах знакомым, но и опубликовав отчет об одной из них под названием «Парижские фотографии» в «Весах» — 1907, № 2) прибавляются два существенных знакомства, серьезно повлиявших на политические пристрастия Мережковских, — с лидером социалистического движения во Франции Жаном Жоресом и знаменитым анархистом Петром Кропоткиным. Первое из них состоялось через посредничество Андрея Белого, который по случайности познакомился с Жоресом в пансионате, где тот имел привычку завтракать. Через некоторое время Белый, уступив просьбам Мережковских, согласился познакомить с Жо-

<sup>115</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 39, л. 4-4об. Ср. отзыв об этом посещении самого Гумилева в письме к В. Брюсову от 8 января 1907 г. (приведен в комментариях А. В. Лаврова: Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990, с. 492-493), а также рассказ Белого об этом же эпизоде: там же, с. 156-157.

<sup>116</sup> Ср. мнение В. Розанова, высказанное им в письме к А. Блоку от 16(?) февраля 1909 года: «Дорогой мой, что же это за цыганство и что же за лакейство, что за «российский нигилизм» (не лучше Пуришкевича), приехав из Парижа, где они жали руку «может быть самому Азефу» (тогда еще «террористу»), сказать в сердце своем: «Теперь мы довольно высоко поднялись, нас все читают, романы идут, Пирожков торгует, на лекции сбегаются: все это пойдет еще лучше, если мы оттолкнем синодского чиновника Тернавцева и нововременца Розанова, которые решительно нас компрометируют <Так! — Ред.>» (С. А. Беляев, Л. С. Флейшман. Из блоковской переписки. — Блоковский сборник II. Тарту, 1972, с. 403).

<sup>117</sup> ИРЛИ, № 24384.

рессом и их. Белый оставил минимум две версии этой встречи: в очерке «Из встреч с Жоресом», написанном «по горячим следам», и в позднейших воспоминаниях<sup>118</sup>. В последнем тексте утверждается, в частности, что при встрече Жореса с Мережковским присутствовала и Гиппиус, что опровергает она сама в мемуарной книге о Мережковском, приводя этот случай как пример обычной недобросовестности Белого-мемуариста<sup>119</sup>. Между тем известное представление о подробностях встречи дает и газетный очерк: «Жорес был неподдельно мил и с интересом расспрашивал русских об их религиозных взглядах, об отношении мистического построения Мережковского к общественным вопросам вообще, об отношении его к социализму и анархизму, наконец расспрашивал о России. Он обещал всяческое содействие русскому писателю в нужном ему деле, и они расстались, по-видимому, довольные друг другом; по крайней мере, Д.С.Мережковский потом говорил о Жоресе с большой теплотой и сердечностью»<sup>120</sup>. О том, что это было за дело, нужное от Жореса русскому писателю, выясняется из параллельного места поздних воспоминаний: «...он <Мережковский. — А.С.>, сходясь с Жоресом, мечтал о совместном с ним митинге; под председательством лидера социалистической партии проголосит Мережковский; Жорес — это имя <...>»<sup>121</sup>. Из идеи совместного митинга с Жоресом ничего не вышло, но эта встреча заняла свое место в эволюции политических взглядов Мережковских.

Встреча с Кропоткиным также произошла в конце 1906 года. В длинном письме-отчете, отправленном Брюсову 8 января 1907 года, Гиппиус рассказывает: «А знаете, кто самый мирный и добрый человек на свете? Кропоткин. Это такой славный и безобидный дядя, что его только по лысинке хлопать, да чай с ним пить. Все о муравьях, да о пчелках, и дочку, главное, свою любит, «Сашок» ее зовут. Наряжает, вселит. Вот так анархист! Пожалуй, мистические наши, и те страшнее»<sup>122</sup>. С встречи с Кропоткиным начинается серия знакомств Мережковских с представителями русского освободительного движения, находящимися в эмиграции. А.Бенуа, встречавший Мережковских в Париже, позже вспоминал: «Это было время, когда З.Гиппиус изящно кокетничала с разными «парламентскими заговорщиками», и среди них и с самим Савинковым, и тогда же в их салоне на улице Теофиль Готье образовалось нечто вроде штаб-квартиры революции, куда заходили все-

<sup>118</sup> См.: А.Белый. Из встреч с Жоресом. — Час, 1907, № 2, 4 августа; Андрей Белый. Между двух революций, с. 147-149.

<sup>119</sup> З.Гиппиус-Мережковская. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951, с. 171-172.

<sup>120</sup> А.Белый. Из встреч с Жоресом. — Час, 1907, № 2, 4 августа.

<sup>121</sup> Андрей Белый. Между двух революций, с. 146.

<sup>122</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 39, л. 50б.-6.

возможные персонажи революционного вероисповедания. Кажется, тогда же у них установилась связь с Керенским. Впрочем, я там бывал редко, и мне претила вся эта отдававшая легкомыслием и любительством суэта»<sup>123</sup>. По субботам у Мережковских начинают устраиваться еженедельные собрания, на которых присутствуют, в основном, революционеры-эмигранты. В письме к Белому (который в конце февраля уехал обратно в Россию) от 21 марта 1907 г. Гиппиус описывает два таких вечера — «литературный» и «политический»: «Вечер со стихами прошел как-то глупо. Минский кривлялся, Бальмонт полу-пьяный, духота. Вечер с продолжением прений лучше. Народу мало. Кричевский с Вундтом, но ничего у него не вышло. А этот Рыбакидзе или Кабакидзе оказался очень ничего, дельно говорил; называл себя индивидуалистом, идеалистом и учеником Риккерта. Вчера в субботу у нас вышла целая «дискуссия», когда лишний народ убрался. И Кричевский, и Кабакидзе, и Ветров и Камелецкий. <...> Минский ушел раньше, он больше занят мерзостным «трепетом нерв» своего Монмартра... и только и делает, что старается соблазнить меня на экскурсии с собой, но я отвергаю... Был еще товарищ группы «с.р.» и звал на лекцию какого-то Лодзинского об эмпириокритицизме, за Д.С. Согласилась. Дима тоже говорил»<sup>124</sup>. Лекция Лодзинского, которой Мережковские остались недовольны (на другой день Гиппиус писала тому же адресату: «...этот с.-р. Лодзинский, невероятным дураком оказался. Прямо старая каша. Так уж нельзя теперь. Авенариус, эмпириокритицизм... сумасшествие! Д.С. говорит, что он ничего не может возражать. Что это какое-то «дуракоборчество»<sup>125</sup>), неожиданно выявила некоторую теоретическую неподготовленность Мережковских к полемике на равных с идеологами новейших философских течений и политических партий. 1 апреля, накануне второй встречи с Лодзинским, Философов писал Белому: «Вы не можете себе представить <...> до чего серьезное философское образование необходимо для отстаивания нашего дела. Завтра у нас прения с Лодзинским. Он ученик Авенариуса. И мы пасуем. Не по существу, а потому, что мы недостаточно знакомы с предметом. Конечно, здешняя аудитория для нас только школа. Когда вернемся в Россию, другое дело»<sup>126</sup>. Вероятно, отчасти этой неподготовленностью объясняется стремление Мережковских обеспечить себе союзническую поддержку со стороны некоторых молодых философов, проживавших в то время в Париже. Одним из них становится Григорий Робакидзе (фамилию которого Гиппиус не могла вспомнить в цитированном письме),

<sup>123</sup> А.Бенуа. Мои воспоминания, т. 2. М., 1990, с. 440.

<sup>124</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6, л. 51-52.

<sup>125</sup> Там же, л. 49.

<sup>126</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 24, ед. хр. 16, л. 22об.-23.

в будущем крупнейший грузинский писатель. Весь 1907 год он — постоянный гость субботних собраний; позже, рекомендуя его Брюсову, Философов писал: «Робакидзе я знаю по Парижу. Три года он помогал нам в нашей борьбе с хулиганами»<sup>127</sup>. Расширяются и контакты Мережковских с французскими социалистами. В начале июня Гиппиус сообщает Брюсову: «Вообще мы теперь заводим сношения с «избранными» французами. Любопытен Prof. Vache, тонкий диалектик, философ-анархист. Другого сорта Лагардель... Хотим познакомиться на днях с Леруа (не Болье!). С будущей осени хотим собирать преимущественно французов. Д.С. уж поставлен на каких-то французских курсах, где они тоже все читают (не русская школа!). Но и с русской колонией порывать я все-таки не буду. Хотя нельзя исключительного сидеть в ней»<sup>128</sup>.

Как видно из приводимых писем, и среди французов Мережковских прежде всего интересуют люди, принадлежащие к радикальным политическим партиям. В письме к Брюсову от 18 марта 1907 года Гиппиус подробно рассказывает о причинах этого интереса: «Здесьние «отбросы» (где, где не отбросы?) меня пока занимают. Читать им лекции, ей-Богу, любопытнее сейчас, нежели ходить в приемные дни в *Mercure de France* (посмотрела бы я на вас, долго ли выдержали бы вы там!), сидеть в кафе с Жаном Мореасом или даже, под эгидой старожила Монмартра — Минского — изучать «трепет нерв» этих «новых Афин» — Парижа. Я достаточно сильно вкусила от всех сих плодов: и Меркюра, и Мореаса, и Монмартра. Остановилась на «товарищах». Сумасшедший, психопатический язык — но язык; убогие люди — но все же теплится что-то страшное — человеческое. А там везде — нечленораздельность речи, дикая невозможность мысли, скучное «трепетанье» все тех же нерв, — тончайшая из форм уродства! Я, впрочем, не осуждаю окончательно никого; я только говорю, что *сейчас* все эти грубые «Кайны» и «Помпеи», юные жидки, приходящие к нам с какими-то безумными мессианскими мечтами, эс-эры с эмпириокритицизмом», матросы-мошенники, анархисты-идеалисты и т. д. — сейчас они мне любопытнее»<sup>129</sup>. Мережковский в своих отзывах был более сдержан, хотя тоже признавал, что «здесь, в Париже <...> сближение с «товарищами» продолжается. Они нам все больше нравятся, и чувствуется, что какие-то мосты-радуги могут перекинуться через те пропасти, которые отделяют их от нас» (недатированное письмо к Андрею Белому)<sup>130</sup>.

<sup>127</sup> Письмо от 20 ноября 1910 года. — ГБЛ, ф. 386, карт. 106, ед. хр. 33, л. 18.

<sup>128</sup> Письмо от 14 июня 1907 года. — ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 39, л. 18об.-19.

<sup>129</sup> Там же, л. 8-8об.

<sup>130</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 19, ед. хр. 9, л. 61.



Между тем в первые месяцы 1907 года целостность и единомыслие тросбратственного союза снова оказались под угрозой. Как и прежде, угроза эта исходила от колебаний Философова, который опять начал сомневаться в собственных силах. Примечательным симптомом этого служит появление в его письмах слов, убеждающих в обратном, то есть стремление уверить адресата в нормальном и даже благоприятном положении вещей. Вообще, в начале года становится очевидной необходимость частичной ревизии принципов, которые ставились в основу планируемого парижского быта. 1 апреля Философов в письме к Белому подробно расписывает удачу и выгоды совместной поездки: «Если бы я был одинок, как Вы в данную минуту, я бы сам впал в сон. Это со мной и теперь, тут, в Париже, бывает. <...> Помогла мне наша тройственность, то есть укрепление ее, ощущение некоторого воплощения, перехода от сознания к действию»<sup>131</sup>. При этом еще 14 февраля он отправил Е.Дягилевой длинное отчаянное письмо, в котором старался убедить ее (да, вероятно, и себя) в необходимости продолжать «паломничество»: «Перед нами становится теперь вопрос о возвращении в Россию. Возвращаться или нет? По совести говоря, мы совершенно одичали. Дм<итрий> Серг<еевич> говорит, что все наше занятие состоит в том, что «мы просиживаем кресла Дервицких» (одна знакомая, Дервицкая, дала нам на подержание кушетку и два кресла. Мы сидим на них целыми днями и говорим о таких отвлеченных вещах, что даже сами утомляемся. <...> Но это одичание дело нужное, необходимое. Помните 40 дней пустыни, о которых я вам как-то писал? Что мы из этой пустыни вынесем? Не знаю, да и не нам судить. Одно только знаю, что внутренне во многом изменились. На себе не замечаешь, но я вижу на Дм<итрии> Серг<еевиче> и на Зин<аиде> Ник<олаевне>. Мы очень смирились. Может быть, это главный итог последнего года. Нет больше той судорожной тоскливости, нет тех строгих требований к другим, как были раньше. В Россию по-одному хочется возвращаться, а по-другому — не хочется. За себя я чувствую, что мне рано, потому что я не могу вернуться с той свободой, с какой хотелось бы. Чувствую, что если вернусь — будет еще фальшь, т<о> е<сть> я не естественно встану в новые отношения к старому, а с надрывом. И это меня пугает. Зин<аиду> Ник<олаевну> это тоже пугает. Мне хочется, возвращаясь в Петербург, вернуться в *Россию*, а не в старую петербургскую родственно-декадентскую среду»<sup>132</sup>. Чтобы отойти от бездействия и вернуться к «смирномуудрию», уединению и молитве, Мережковские и Философов решают ужесточить свой режим, тем более, что приближалась Пасха (в 1907 году она была 22 апреля), а празднование этого дня у них всегда на-

<sup>131</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 24, ед. хр. 16, л. 22.

<sup>132</sup> ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 189, л. 71об.-72.

полнялось особым, личным смыслом. 18 апреля Философов отчитывается перед Дягилевой: «В эти дни чувствуешь себя особенно одиноким и затерянным. Не к кому приехать. В церковь идти для нас невозможно, особенно здесь. Вне церкви с одной стороны революционеры, одержимые своей религией без Бога, с другой нигилисты. <...> По субботам днем у нас собирается довольно много народа, всякого. И вот мы сказали, что уезжаем на неделю из Парижа, и потому следующую субботу приема не будет»<sup>133</sup>. Той же Дягилевой он пишет в Светлое Воскресенье, оговаривая тайну письма: «Последний год мы встречали Пасху высоко на горе, на восходе солнца, над океаном. Было жутко и одиноко до ужаса. Тогда мы только что уехали, усталые, и показалось, что ввалились в безысходное одиночество.

Нынче было гораздо легче и радостнее. У нас была пасха, кулич и крашеные яйца (достали в церкви). Страстную провели в тишине, без суеты, в любви, и встретили праздник хорошо, как могли. <...> В пятницу вечером были у всенощной в церкви, приложились к плащанице. В четверг вечером прочли 12 евангелий, господи, владыка живота и нашу молитву, друг наш, брат наш, сын человеческий (Вы ее кажется знаете). На Великую Пятницу Дмитрий написал молитву «Великая Пятница», я ее как-нибудь Вам пришлю»<sup>134</sup>. К этому же письму приложено совместное послание троих к Дягилевой, основная мысль которого выражена в словах Гиппиус: «Мы много пережили за это время, и тяжелого, и хорошего, но важного. И все время было чувство, что так хорошо, надо было — уехать. Дима писал Вам, что мы не из внешних причин, а из внутренних решили еще остаться, и хотим верить, что так будет лучше»<sup>135</sup>.

В начале мая 1907 г. Мережковским вновь пришлось окунуться в атмосферу петербургских литературных сплетен, которой они старательно избегали все время жизни в Париже. Из России приехал Вальтер Нувель, давний приятель Философова и общий знакомый их еще по «Миру искусства». Нувель принадлежал к той особенной, весьма характерной для начала XX века породе людей, которые, не участвуя в литературе непосредственно, то есть не создавая художественных произведений, являются неотъемлемым атрибутом литературного фона, постоянно появляются в списках сотрудников журналов и газет, посещают литературные вечера, составляют и подписывают письма в редакции и письма-протесты. В первый раз в парижской эпистолярной Нувель упоминается Философовым среди тех, от чьего посещения Мережковские хотели избавиться в субботу на Страстной неделе: «Нувель (нигилист) подумал, что мы со-

---

<sup>133</sup> Там же, л. 73-74об.

<sup>134</sup> Там же, л. 76-77.

<sup>135</sup> Там же, л. 78об.-79.

чинили, чтобы от него отделаться»<sup>136</sup>. Но к следующему приходу петербургского гостя уже оказались готовы и разыграли перед ним своеобразный спектакль, который должен был показать Нувелю (а через него и всем прочим), что Мережковские не нуждаются в литературном обществе. Через несколько дней после этого посещения Нувель писал М.Кузмину: «У Мережковских был позже всего один раз. Вел очень тонкую политику, приведшую к тому, что они должны были признаться, что я со своей точки зрения вполне последователен и прав. Отношения хорошие. В субботу буду у них на товарищеском five-o'clock'e. < ... > Мережковские ругательски ругают всех наших поэтов и писателей: Сологуба, Иванова, Блока, Городецкого, Ремизова, Вас, за исключением одного — как бы Вы думали — Сергеева-Ценского!»<sup>137</sup> Но в то же время посещение Нувеля и разговор с ним помогли Мережковским точнее определить свою собственную литературную позицию, что видно из письма Гиппиус Брюсову от 13 мая 1907 года: «Меня наиболее огорчает в современном литературном движении — элемент «хулиганства» (что так пришлось по Нувелю, он этим хулиганством особенно восторгается). Элемент все ярче выступающий, несомненный, и удивительно мне, как вы его не замечаете. Не менее удивительно, если замечаете — и поощряете»<sup>138</sup>. Впрочем, желания внимательнее изучать предмет, то есть это «литературное хулиганство», у Мережковских не появляется, в том же письме Гиппиус сообщает: «Дряни здесь российской так здесь понабилось, что мы даже субботы наши прикрываем. Ей-Богу, «товарищи» на Чухломе приятнее «декадентов» из Петербурга»<sup>139</sup>. И именно под эгидой борьбы с «литературным хулиганством» «декадентов из Петербурга» проходит большинство критических выступлений Гиппиус в годы жизни в Париже.

Борьба Мережковских с декадентством, последовательно проводившаяся ими в годы существования «Нового Пути», естественно, несколько поутихла после его закрытия. Несмотря на это, в письмах к своим новым друзьям они время от времени повторяют свои старые предостережения. Так, узнав от Е.Иванова о его участии в альманахе «Белые ночи», Гиппиус 15 мая 1907 года спрашивает его: «В каких еще Белых Ночах вы пишете? Поберегитесь декадентов, и не заметишь, как беса утешит с ними. Этого вы, дорогой мой, не забывайте. Вы хоть и просты душой, и много вам за это отпустится, однако и на вас искушение живет»<sup>140</sup>. В годы же пребывания Мережковских во Франции происходят события, которые именно Париж дела-

<sup>136</sup> Письмо к Е.Дятлиевой от 18 апреля 1907 года. — Там же, л. 74об.

<sup>137</sup> ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 19, л. 110б.-12.

<sup>138</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 39, л. 11-110б.

<sup>139</sup> Там же, л. 130б.

<sup>140</sup> ГЛМ, ф. 104, оф. 3331.

ют на некоторое время одной из арен русской литературной полемики.

Речь идет о появлении 16 июля 1907 года в журнале «*Mercur de France*», в котором сотрудничала и Гиппиус, заметки журналиста Е.Семенова, в которой излагалась в упрощенном виде концепция «мистического анархизма» Г.Чулкова и давалась классификация современной русской литературы на основе этой концепции. Там же было помещено и интервью с самим Чулковым. Московские писатели, близкие к журналу «*Весы*», давно уже с неприязнью следили за теоретизированием Чулкова и откликнулись на появление этой заметки рядом насмешливых реплик. Даже Блок, близкий друг Чулкова, направил в редакцию «*Весов*» письмо, в котором протестовал против произвольной классификации Семенова и против причисления себя к «мистическим анархистам»<sup>141</sup>. Одновременно с этим в письме в редакцию газеты «*Товарищ*» о своей непричастности к «мистическому анархизму» заявил Вяч.Иванов<sup>142</sup>, что было особенно примечательно, ибо именно он был автором предисловия к книге Чулкова «О мистическом анархизме». Естественно, что Мережковские, прежде всего Гиппиус, которая со страниц «*Весов*» уже долгое время вела ожесточенную борьбу с «мистическим анархизмом», да и вообще с новой модернистской литературой<sup>143</sup>, не могли не откликнуться на статью Семенова. Это представлялось тем более важным, что появление этой статьи создавало у зарубежного читателя превратные представления о современной русской литературе. Прочитав возмущившую ее заметку, Гиппиус пишет Брюсову (письмо датировано «июль 1907»): «Кажется мне и нам, во-первых, что Семенов — простой идиот, в самом обыденном смысле слова, и не злостный даже. Разинул рот и ему туда повалилась всякая дрянь, которую он и выплевывает, и даже без своего рода добросовестности. <...> С Чулковым дело обстоит несколько иначе. Невероятное нахальство этого беспомощно-глупого человека идет оттого, что он по природе рекламист. С рекламистом же надо бороться умеючи, осторожно, и без всякого идеализма, ибо такой господин сумеет многое обратить в рекламу. Бороться же без выставления «знамен правды», — чтобы он из знамени не сшил себе же пиджака. И у нас такое реальное соображение (учитывая местные условия, атмосферу *Mercur'a* и т.д.) — что если мы теперь напишем письмо

<sup>141</sup> Александр Блок. Собр. соч. в 8 т., т. 5, М., 1962, с. 675-676. Письмо это было написано Блоком по инспирации Андрея Белого. См.: Литературное наследство, т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 4, с. 401.

<sup>142</sup> Товарищ, 1907, № 379, 23 сентября.

<sup>143</sup> См. ее статьи: Товарищ Герман. Золотое руно. — *Весы*, 1906, № 2, с. 81-83; Антон Крайний. Иван Александрович — неудачник, — *Весы*, 1906, № 8, с. 48-51; Антон Крайний. Человек и болото. На острие. — *Весы*, 1907, № 5, с. 57-64 и мн. другие.

в *Mercure* с возражениями против Семенова и Чулкова, или хоть последнего, — *Mercure*, конечно, напечатает, но Чулков непременно обернет это, как «возражение одной группы литературной против другой, против того доминирующего течения, во главе которого стоит он» — и не преминет, через Семенова, напечатать свое «возражение и разъяснение мист<ического> анархизма», после чего редакция сделает, как водится, примечание, что «дело исчерпано», и последнее слово, таким образом, останется за Чулковым. <...> Во всяком случае, я очень боюсь, что всякое теперь выступление *по поводу* Чулкова (этого его интервью) — послужит к его процветанию и убедит европейцев, что борются две «школы». А соображение мое такое: не лучше ли будет написать мне, в течение этого месяца, *как будто* независимую статью о русской литературе, причем я постараюсь коснуться остро — и небрежно статьи Семенова и объяснить в нескольких словах, *что такое* Чулков, тихо пожалев Семенова, что он попал не туда и этого не замстил»<sup>144</sup>. Первым шагом к исполнению этого плана (одобренного Брюсовым) стала статья Философова «Дела домашние», где он объединял (подготавливая почву для статьи Гиппиус) термином «мистические анархисты» практически всех более или менее крупных символистов, сводя смысл полемики вокруг мистического анархизма к тому, что «декаденты страшно боятся, как бы их не перепутали»<sup>145</sup>.

Гиппиус работает над статьей все лето. В письме к Брюсову («август 1907») она сообщает: «...все еще пишу эту надоевшую мне статью в *Mercure*, и никак не могу кончить. Мне казалось, что по-французски легче писать, потому что проще, слов меньше, не из чего выбирать, а ошибки — поправят. Какой там! Труднее. Точно спеленут. Да и внутренне труднее: как им говорить. Ведь они про нас аза не знают. Я представить себе не могла, что они *так* ничего не знают!»<sup>146</sup> Статья была закончена только в конце августа («Чертову статью французскую едва кончила, да и то меледа какая-то», — писала Гиппиус Брюсову 26 августа<sup>147</sup>) и появилась в первом январском номере «*Mercure de France*» 1908 года<sup>148</sup>. Параллельно с этой статьей Гиппиус успевает делать еще немало самых разнообразных дел. В письме от 1/14 июля она пишет Брюсову: «Свалив с себя труды <...> хочу приняться за борзописание всюду, где можно»<sup>149</sup>. На это время прекращаются еженедельные субботние собрания в доме Мережковских, да и сами они реже выбираются на лекции и

<sup>144</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 39, л. 32-33.

<sup>145</sup> Д. Философов. Дела домашние. — Товарищ, 1907, №379, 23 сентября.

<sup>146</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 39, л. 37-37об.

<sup>147</sup> Там же, л. 36об.

<sup>148</sup> Z. Ippius. Notes sur la littérature russe de notre temps. — *Mercure de France*, 1908, vol. LXXI, p. 71-79.

<sup>149</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 39, л. 16об.

диспуты. Среди мероприятий этого периода — собравшая большую аудиторию лекция Мережковского (в последних числах июня), текст которой был подготовлен и написан за него Гиппиус (в этом и заключались «труды», препятствующие «борзописанию»). Точнее, лекций было две. Гиппиус рассказывала Брюсову в том же письме: «Первая, «О насилии», тоже была из моей статьи. Мы их для чтения вместе чистим и правим. Дм<итрий> Серг<еевич> занят драмой о Павле, а меня очень интересует теперь вопрос общественности (так же, впрочем, как вопрос пола и вопрос личности) — и я с увлечением писала мою парадоксальную статью. Вас не удивляет, конечно, что я не читаю ее сама, а Дм<итрий> Серг<еевич>. Моя юбка и звание декадентки — помешали бы чистоте опытов, не позволили бы наблюдать действия христианских парадоксов на толпу здешних евреев»<sup>150</sup>.

В начале июля 1907 г. Мережковские подумывают о том, чтобы отправиться на лето куда-нибудь из города. «Мы все еще в Париже, — пишет Философов 10 июля А.Бенуа. — Холод, дождь. На днях, впрочем, уезжаем, вероятно, в Швейцарию»<sup>151</sup>. Неизвестно, попали ли в этот раз Мережковские в Швейцарию или нет. Зато совершенно точно, что в третьей декаде июля они уже были в Германии, в Баден-Бадене, где прожили несколько месяцев. Переезд в Германию снова поставил их перед теми проблемами, которые возникли после отъезда из России. Вновь им приходилось, оторвавшись от привычного круга общения, разрушив налаживающийся быт, обживать новое место и заводить новые знакомства. 24 июля Гиппиус пишет Дягилевой: «Последнее время у нас все как-то боласти и горести. Ездим, устали, никак не устроимся на месте. Хочется в Россию, — и ужасно Россия и печалит, и страшна. В Париже есть люди, близкие нам по взглядам и вере, — но не вполне близкие. <...> Нам еще многое нужно здесь — рано возвращаться. Дима иногда разваливается, а чаще бодро-смиренен, и в общем он гораздо деятельнее меня: я все только говорю, а сама беспомощна, вечно что-нибудь болит, глядишь — на кушетке лежу. Очень благодарна Диме и Д.С., что они меня часто обличают и я стала смиреннее, хотя в главном упорства и не потеряла»<sup>152</sup>. Философов, вообще более «консервативный» и, как обычно, меньше верящий в успех всего предприятия, переживал все это еще тяжелее. В письме к Андрею Белому, с которым он очень сблизился за время пребывания последнего в Париже, он говорит: «Оба Ваши письма доставили нам истинную радость. Все больше и больше чувствуешь себя забытым и ненавидимым, и когда свой человек откликается, как-

<sup>150</sup> Там же, л. 17-17об.

<sup>151</sup> ГРМ, ф. 137, ед. хр. 1637, л. 6об.

<sup>152</sup> ИРЛИ, ф. 102, ед. хр. 118, л. 33-34об.

то легче на душе становится»<sup>153</sup>. В этом же письме Философов сетует на то, что все бывшие союзники Мережковских малопомалу отходят от них: «Свенц<ицкий> извещает, что он идет в монастырь. Жутко как-то стало. Булгаков льнет к монастырю. Бердяев говорит, что революция — «дурной тон», Добролюбов — в тулупе, Тернавцев — самодержец, Карташев — в какой-то злобе против нас»<sup>154</sup>. Все усиливающееся чувство одиночества заставляет Мережковских еще больше ценить оставшихся у них верных друзей, прежде всего — Андрея Белого. Снова каждое письмо к нему наполняется просьбами о приезде. «Голубчик, если бы, если бы вы могли еще к нам в Париж приехать! Вы не знаете, как это для всех нас, именно в эту зиму, было бы важно!» — пишет ему Гиппиус в августовском письме<sup>155</sup>.

Несмотря на тяжелое эмоциональное состояние, лето для Мережковских становится очень насыщенным в плане литературной работы. Мережковский за необыкновенно короткий срок пишет драму «Павел I». Характерно, что драма эта не понравилась ни Философову, ни Гиппиус. Философов, отвечая на письмо Бенуа, содержащее резкую критику «Павла», писал ему 24 ноября 1907 года: «Вчера получил твое письмо и спешу тебе сообщить, что я целиком его прочел Дм<итрию> Серг<еевичу>. Дело в том, что я почти во всем с тобой согласен, и почти теми же словами говорил это Дм<итрию> Серг<еевичу>, когда он нам читал свою трагедию, по мере ее написания. Даже более, с этим согласна и Зин<аида> Ник<олаевна>. Твое письмо было кстати. Оно могло послужить новым доводом, чтобы Дм<итрий> Серг<еевич> образумился бы и исправил хотя бы самые кричащие места. <...> В исторической драме, особенно из эпохи, столь хорошо изученной, необходимо вести параллельную интригу с главной. <...> Я <...> только хочу сказать, что нельзя в пяти действиях трактовать само событие, надо было показать и как оно отражалось на обыкновенной, бытовой жизни. А то весь быт, весь запах эпохи свелся к рассказам действующих лиц о Павле. Сцена на балу — невозможна. Символизм же настолько неясен, что я даже считаю трагедию какой-то черносотенной. Если она даже не черносотенная, то сводится к проблеме отцеубийства, для чего не стоило городить исторического огорода. Словом, мое отношение к трагедии самое отрицательное»<sup>156</sup>. В этом развернутом отзыве особенно любопытен упрек в отсутствии «символизма», столь неожиданный в устах Философова. Как представляется, негативная оценка драмы, данная Гиппиус и Философовым, происходит прежде всего из-за сопоставления «Павла I» с создавав-

<sup>153</sup> Письмо от 9-22 августа 1907 года. — ГБЛ, ф. 25, карт. 24, ед. хр. 16, л. 27.

<sup>154</sup> Там же, л. 27об.

<sup>155</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6, л. 55.

<sup>156</sup> ГРМ, ф. 137, ед. хр. 1673, л. 11.

шейся почти одновременно пьесой Мережковского, Философова и Гиппиус «Маков цвет».

К сожалению, история создания пьесы практически не документирована, поскольку само известие о ее писании держалось в секрете. Не исключено, что может помочь в датировке эпизод в мемуарах Белого, где он, рассказывая о своей жизни в Париже, вспоминает, что «забрав Философова, Гиппиус его даже заставляла писать с нею «Маков цвет» (драму)»<sup>157</sup>. Поскольку пребывание Белого относится к рубежу 1906-1907 годов, логично предположить, что пик работы над драмой приходился именно на это время. Впрочем, зная Мережковских, Белый мог восстановить обстоятельства работы уже из соседства трех фамилий на титульном листе. Понятно, что, по замыслу Гиппиус (безусловно, именно она была инициатором этого проекта), пьеса должна была стать еще одним, на сей раз — художественным свидетельством жизнеспособности тройственного союза. Напомним, что к этому времени существовали аналогичные свидетельства публицистические (парижский сборник) и «личные» — ряд писем (к Дягилевой и Белому), подписанных втроем. К этому ряду, бесспорно, можно прибавить и само совместное уединение, — расцениваемое как факт, имеющий особое, метафизическое, по любимому выражению Гиппиус, значение. Таким образом, драма должна была стать своеобразной параллелью к сборнику, попыткой художественными методами выразить те идеи, которые в статьях «Le Tzar et la Révolution» были высказаны в публицистической форме.

Подобная параллель — не первая в творчестве Гиппиус. Для нее драма из всех родов литературы могла представлять наибольший простор для свободного изложения определенной идеи. Именно из-за этого каждое из немногих выступлений Гиппиус на этом поприще хронологически совпадает с моментом наибольшей ее критической и философско-публицистической активности. Непосредственным предвестником «Макова цвета» может считаться небольшая драматическая миниатюра «Да и нет. Грубые сцены», написанная еще в России и напечатанная в первые месяцы пребывания Мережковских в Париже. Любопытно, как мысли, составившие костяк статьи Гиппиус «Бедный город» (и в менее концентрированном виде рассеянные по другим ее критическим выступлениям этого времени) — мысли о механистичности человеческого бытия, фатальной разъединенности людей в большом городе (и в «Бедном городе», и в «Да и нет» описывается Париж, хотя очевидно стремление представить его городом символическим) задаются в репликах этой миниатюры, оставаясь на периферии философской проблематики произведения:

<sup>157</sup> Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990, с. 154. Ср. также упоминание о замысле драмы в письме Гиппиус В. Брюсову от 12(25) августа 1906 года. — ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 38, л. 25.



*Лило.* Здравствуйте, м-г Дюфи. Что это вы так торопитесь?  
*Дюфи* (задыхаясь, не подавая руки). Я не тороплюсь... Я три дня ищу вас везде. Три ночи не спал. Наконец нашел. Я должен вас оскорбить и убить.

*Лило.* Неужели? Но сядьте, пожалуйста, дорогой мой. И говорите просто, с веселым видом. У вас трагичное лицо. Это дурной тон.

*Дюфи.* Но почему дурной тон?

*Лило.* Потому что трагедий больше нет. Они изъяты из общественного употребления.

*Дюфи.* Но вы не знаете...

*Лило.* Чего бы я такого не знал?

*Дюфи.* Моя жена умерла.

*Лило.* Вот как! Ну что ж. Если с вами еще случаются подобные вещи, тем более надо иметь веселый и обычный вид. Никому нет до этого дела. Человек с личным, единичным несчастьем только смешон. Общие, массовые бедствия еще имеют право на некоторое внешнее обнаружение. Но это не ваш случай. Сдержитесь жс»<sup>158</sup>.

Кроме того, в годы жизни в Париже в творчестве Гиппиус наблюдается своеобразное сращение драматургии и публицистики, ярче всего проявившееся в цикле с характерным названием «Парижские фотографии», где Гиппиус использует художественные средства драматургии для достоверного описания реальности, то есть для достижения цели, обычно ставящейся перед публицистикой.

Таким образом, драма «Маков цвет» прежде всего должна была еще раз подчеркнуть единомыслие трех ее авторов. Кстати, характерным здесь выглядит и привлечение Андрея Белого к написанию драмы — его перу принадлежит неподписанное стихотворение, предваряющее собственно текст пьесы и многократно повторяемое ее героями — по ходу действия выясняется, что оно написано одним из них, тоже Андреем. Любопытно, что Гиппиус здесь буквально повторяет схему отношения «троебратства» и Белого, предложенную гораздо раньше — в 1902 году, когда она, посылая ему специально скопированное стихотворение «Числа», где математически (на основании дат рождения) доказывалась мистическая связь Гиппиус, Мережковского и Философова, отдельно приводит аналогичные вычисления, показывающие, что и сам Белый связан с ними тремя теми же невидимыми нитями<sup>159</sup>. Так же получается и здесь — не являясь формально автором пьесы (его имени нет на титульном листе), Белый незримо присутствует и среди авторов и среди героев.

<sup>158</sup> З.Гиппиус. Да и нет. — Золотое руно, 1906, № 7-9, с. 142.

<sup>159</sup> См.: ГБЛ, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6, л. 18-19.

Фигуры действующих лиц пьесы весьма характерны в целом для творчества Гиппиус. Необычно лишь четвертое действие пьесы (события в нем происходят в Париже), двое из героев которого несомненно сразу узнали себя. Их имена в пьесе — Максим Самойлович Коген и Иван Иванович Гушин. Прототипами для этих героев послужили поэты Николай Максимович Минский и Николай Степанович Гумилев<sup>160</sup>. Минский-Коген выступает как пропагандист сомнительных развлечений:

*Коген.* <...> Профессор, я переселился на Монмартр. В самый центр кабачков. Жизнь кипит вокруг меня, всю ночь кипит.

*Борис.* Интересная?

*Коген.* А вот приходите как-нибудь ко мне, вместе пойдем. Я вам такое покажу... Совершенные Афины. Культурная демократия. Наипоэтичнеешие формы порока<sup>161</sup>.

Декадентский поэт Гушин-Гумилев является на сцене в том же действии — он приходит к профессору, одному из главных действующих лиц, чтобы выспросить его про культы Митры и Астарты, которыми он занимается. Гушиным и Когеном практически исчерпывается круг общения главных героев, бежавших из России после событий революции 1905 года. При этом в их облике время от времени появляется нечто, роднящее их с авторами пьесы. Так, например, Борис в одной из реплик высказывает мысль, характерную для Мережковских этого времени: «Неужели идеал России — Париж, с равноправием, кокотками, автомобилями, цилиндрами, да свободой... чтобы все это иметь? Страшно мне как-то...»<sup>162</sup> (ср. цитировавшееся выше мнение Гиппиус, высказанное ею в статье «Бедный город»). Финал пьесы, конец жизни этих «лунных муравьев» (ставшее нарицательным название рассказа Гиппиус) незавиден — двое из них кончают жизнь самоубийством. Таким образом, создав в пьесе ситуацию, в которой в известной мере авторы находятся сами, Мережковский, Философов и Гиппиус показывают ее фатальную гибельность. Значит, их общественная и литературная деятельность этого времени должна быть воспринята как попытка преодоления подобной ситуации, поиск возможности выхода из нее. Таким образом, пьеса «Маков цвет» сообщает немало существенного о деятельности Мережковских за годы жизни в Париже.

<sup>160</sup> О Гумилеве как прототипе Гушина впервые сказано Г.Г.Суперфинном и Р.Д.Тименчиком в работе «Письма А.Ахматовой к В.Я.Брюсову» (Cahiers du Monde russe et soviétique, v. XV, 1974, №1-2, p. 190).

<sup>161</sup> З.Гиппиус, Д.Мережковский, Д.Философов. Маков цвет. СПб., 1908, с. 176. В письме к Брюсову от 8 января 1907 г. Гиппиус среди прочих поностей парижской жизни передает, что Минский на Монмартре «ужасно вкусно забавляется и утверждает, что это все новая Александрия» (ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 39, л. 4). Ср. тоже характеристику подобных пристрастий Минского в цитировавшемся выше письме Гиппиус к Брюсову от 18 марта 1907 года.

<sup>162</sup> З.Гиппиус, Д.Мережковский, Д.Философов. Маков цвет, с. 170.

Совершив в конце сентября—начале октября недолгий круиз по городам Германии, Мережковские в первых числах октября возвращаются в Париж. На этот раз они не спешат возобновить субботние приемы, ограничиваясь поддержанием лишь нескольких знакомств. Круг их общения в это время несколько меняется, и среди их новых знакомых начинают преобладать священники и религиозные философы. «У нас только начинают открываться глаза на религиозную Европу, мы только что начинаем видеть значение католичества в истории и всю важность философии современных нео-католиков», — пишет Гиппиус Белому в сентябре 1907 года<sup>163</sup>.

К середине ноября 1907 года относится посещение Мережковских еще одним гостем из России — Львом Бакстом, с которым они были довольно близки в годы «Мира искусства», (ему принадлежит самый, пожалуй, известный портрет Гиппиус). Неделю спустя Бакст описал свой визит во всех подробностях в письме к Нувелю, к тому времени уже вернувшемуся в Петербург: «Дима обедал у меня <...> был «задушевен», добрый русский барин — сердечный, *faux ou vrai — il m'a plus comte-ça*<sup>164</sup>. Черт возьми, право, тьмы низких истин нам дороже наш возвышающий обман: сказал, что Д.С. и З.Н. рады будут видеть меня: в субботу от 5—7-ми и только намекнул, что «салон Д.С., З.Н., Д.В. — *est la rendez-vous de toutes les tentances*» <...><sup>165</sup>. Я облизнулся и надел сюрук *«enrubanmé»*<sup>166</sup> — попер в прошлую субботу к ним, *me trassant*<sup>167</sup> мысленно *u ne belle ligne de conduite envers Anatol France, Paul Adam <...> et autre sommités*<sup>168</sup>. Как я вошел в «салон» — сразу понесло калошами, Литейным проспектом, Пирожковым и черт знает какую проксию петербургскою дрянью. Француза ни одного. Сознаясь, я злорадно посматривал на Диму, и *publicum*<sup>169</sup> был просто по старому, опостылевшему и ободранному расписанию. Был, конечно, *l'incévitale*<sup>170</sup>, «бездарный русский профессор» (черт его знает, как его зовут), косматый, грязный, ядовито уверявший, что «революция надосела в Петербурге», была, тоже *l'incévitale*, отроковица-пиздюха, конечно, влюбленная в Зиночку, *tu la vois d'ici*<sup>171</sup>, вставлявшая глупые фразы на скверном французском языке и, к моему изумлению, не явив-

<sup>163</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6, л. 97об.

<sup>164</sup> лживый или правдивый — он мне все-равно нравится (фр.).

<sup>165</sup> место встречи всех направлений (фр.).

<sup>166</sup> украшенный лентами (фр.).

<sup>167</sup> прикидывая (фр.).

<sup>168</sup> наилучшую линию поведения относительно Анатоля Франса, Поля Адама, <...> и прочих знаменитостей (фр.).

<sup>169</sup> публично читаемые университетские курсы (лат.).

<sup>170</sup> неизбежный (фр.).

<sup>171</sup> ты можешь себе ее представить (фр.).

шаяся на Диму (*très vieux, mais très beau*)<sup>172</sup>, который очевидно уже откровенно «*decliné*». *Hoppy soit qui bien y pense*<sup>173</sup>!

Вонь в разговорах шла нестерпимая: *tout ce que d'état auprès de la maison Mourus*<sup>174</sup> старательно обсиралось соединенными усилиями Д.С. З.Н. Д.В. <...>

Д.С. (чуть не написал ДСС — а следовало бы — чин этот уже давно написан на просветленном лбу)<sup>175</sup>, Д.С. по матери ругал Вячеслава Иванова (жалкий, методичный немецкий фармацевт, профессор, развивающий в скрупуле классицизм), Городецкого (хулиганом), Кузмина (приказчик, говорящий об Александрии и Флоренции), и только из естественного чувства неловкости перед кое-кем из присутствующих не ругал бедного Михаила Алексеевича другим словом...

Ругали всех молодых за самостоятельность, за заносчивость, за дерзость, за молодость, и все кончилось тем, что «вот, походите, выйдет Димина ругательная статья — все узнаете». И по оскаленному лицу Зиночки (в этот миг собачьему, она часто похожа на собаку) я понял, *qu'elle y est pour quelque chose*<sup>176</sup> и что второй, после Белого, полишинель дернет в такт Зиночке ядовитый памфлетик.

Только на один момент бедная Истина, *et combien laide, malheureuse*<sup>177</sup>, выглянула робко из-за просто выравшегося замечания Зиночки: «а ведь мы, как старики, все твердим, право, в старину было лучше». Но этот возглас все еще очень умной женщины был принят холодно и «*comme déplacé*»<sup>178, 179</sup>.

Большинство сведений, сообщаемых в этом предельно резком письме, так или иначе подтверждается другими, более бесстрастными документами. Действительно, во многих, даже принципиальных пунктах позитивной программы Мережковских в конце 1907 года намечается бесспорный кризис. Отсутствие видимого прогресса в отношениях с французами начинает их серьезно удручать. Мережковские оказываются в странном положении — демонстративно порвав с большинством русских литераторов, они не смогли органически влиться в европейский литературный мир и в результате оказались вовсе исключенными из общественного процесса.

На преодоление последствий этого отчуждения Мережковские направляют ряд энергичных мер, вплоть до компромисса со мно-

<sup>172</sup> очень старого, но очень красивого (фр.).

<sup>173</sup> «идет к упадку». Да будет стыдно тому, кто хорошо об этом подумает! (фр.).

<sup>174</sup> все, что происходит за пределами дома Мурузи (фр.).

<sup>175</sup> ДСС — в общепринятом сокращении — действительный статский советник.

<sup>176</sup> что она к этому тоже причастна (фр.).

<sup>177</sup> и насколько она, несчастная, безобразна (фр.).

<sup>178</sup> как неуместный (фр.).

<sup>179</sup> ЦГАЛИ, ф. 781, оп. 1, ед. хр. 2, л. 13-14об.

гими изданиями, печататься в которых раньше они посчитали бы недостойным. Так, Гиппиус с воодушевлением откликается на предложение сотрудничества в левокадетской газете «Товарищ». 14 февраля 1908 года Философов просит К.Чуковского передать туда ее фельетон, лежащий в редакции газеты «Свободные мысли», присовокупляя: «Так как мы считаем, что для наших целей очень важно, чтобы декадентское имя З.Гиппиус появлялось в «оппозиционной» печати, то мы и решили как можно скорее воспользоваться предложением «Товарища» < ... >»<sup>180</sup>. При том, что в результате подобных мер положение Мережковских в российских журналах и газетах несколько упрочивается, разрыв с русской колонией во Франции становится все явственнее. Да и сами Мережковские сознательно идут на обострение отношений, допуская (особенно это касается Гиппиус) ряд резких выпадов в адрес русских эмигрантов в критических статьях<sup>181</sup>. Заметно сокращается и объем их переписки в друзьями, оставшимися в России. Почти затухает переписка Гиппиус с Белым и Дягилевой. В письме к Брюсову от 7 апреля 1908 года Гиппиус с грустью констатирует, что «переписка не может жить более двух лет — максимум»<sup>182</sup>. Это оказывается тем более тяжелым, что именно через Брюсова до Мережковских доходили основные новости русской литературной жизни. Несклько скрасило жизнь в первые месяцы 1908 года посещение Н.Бердяева, который некоторое время прожил в Париже, постоянно встречаясь с Мережковскими. Уже после возвращения в Россию Бердяев рассказывал Вяч.Иванову (письмо от 28 июня 1908 года): «Прожил четыре месяца в Париже, а теперь опять вернулся в деревню. В Париже жизнь была внутренне интересной, особенно важно и значительно было мое общение с Мережковскими. Все почти время мы очень жестоко полемизировали друг с другом, спорили и даже ссорились, но это было поучительным столкновением людей, которые находятся в одной плоскости и живут одними интересами. Обзывали они меня и православным, и консерватором, и индивидуалистом, а я их ругал за пошлое отношение к революции, за разрыв с религиозным прошлым, за склонность к сектантскому самоутверждению. Но эти споры и ссоры были значительны и много дали. Была минута, когда я думал, что

<sup>180</sup> ГБЛ, ф. 620, карт. 72, ед. хр. 16, л. 1-1об.

<sup>181</sup> Так, например, в статье «Реп» Гиппиус рекомендует не поправившийся ей сборник «Новое слово» «отдать в парижскую русскую библиотеку. Там только хороших книг нет, а то есть всякие. Эмигранты любят читать. Все сложит с благодарностью» (Антон Крайний. Реп. — Веса, 1908, № 2, с. 76). Ср. также в письме Гиппиус к В.Брюсову от 11 мая 1908 года: «В Париже очень стали читаться «Веса». Между прочим — и досталось мне за непочтительный отзыв об эмигрантах! Но нечего, и они не ангелы» (ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 40, л. 6).

<sup>182</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 40, л. 3.

мы окончательно и бесповоротно расходимся с Мережковским. Особенно трудны были взаимоотношения с Философовым и с ним у меня были частые столкновения. Но все-таки взаимодействие наше должно продолжиться и, быть может, что-нибудь из него выйдет»<sup>183</sup>.

Вскоре после отъезда Бердяева решение было принято бесповоротно — возвращаться в Россию. 7 апреля Гиппиус пишет Брюсову: «Совсем еще не знаю, какой *train*<sup>184</sup> жизни возьмем мы в России: будем ли жить «в свете» или в уединении. Хочется то одного, то другого. В общем, должна признаться, — вовсе не хочется в Россию. Но, однако, этот вопрос решенный — мы возвращаемся»<sup>185</sup>. Точная дата отъезда определяется в начале мая — когда Мережковские ликвидируют все свои парижские дела и отправляются в заключительную поездку по Франции и Германии. «Мы возвращаемся в Россию в первых числах июля», — пишет Гиппиус Брюсову 17 мая 1908 года<sup>186</sup>. В это время возникает еще одно обстоятельство, заставляющее Мережковских поторапливаться с возвращением: цензура конфискует отпечатанный тираж отдельного издания драмы Мережковского «Павел I», и автору ее грозит судебное преследование. «Мы возвращаемся в Петербург к 1 июля (по русск. стилю)», — подтверждает Мережковский в письме к Розанову 7 июня<sup>187</sup>. За несколько дней до предполагаемого срока отъезда Гиппиус тяжело заболела — внезапно обострилась ангина и в горле образовался нарыв, так что необходима была мучительная операция. Болезнь Гиппиус не только заставила отложить отъезд, но обусловила подавленное настроение всех троих, поскольку была воспринята как дурное предзнаменование. 2 июля Мережковский писал Белому: «С тяжелым и жутким чувством мы возвращаемся в «обновленную Россию». Что-то ждет нас там? Жалко милого Парижа. Там теперь у нас близкие родные люди. А все-таки тянет в Россию. Нужно *собственными глазами* увидеть, что там такое. Можно ли что-нибудь делать? И что именно? Лекции? Не позволят. Журнал? С кем? Нас так мало. И денег нет. И говорить о нашем главном или рано или нельзя...

Но все-таки нужно попытаться. Нужно собраться, стесниться покрепче нам всем. Сжиться. Даст Бог, и новые примкнут. Только где они? Что-то не видно. Одиночество страшное. Какие-то мы отверженные. Не ко двору в высшей степени...»<sup>188</sup>

<sup>183</sup> ГБЛ, ф. 109, карт. 13, ед. хр. 17, л. 20. Ср. также: Письма Николая Бердяева (Публ. В.Аллоя). — Минувшее. Исторический альманах, вып. 9. Paris, 1990, с. 294-325.

<sup>184</sup> образ (*фр.*).

<sup>185</sup> ГБЛ, ф. 386, карт. 82, ед. хр. 40, л. 30б.

<sup>186</sup> Там же, л. 8.

<sup>187</sup> ГБЛ, ф. 249, карт. 3872, ед. хр. 1, л. 35.

<sup>188</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 19, ед. хр. 9, л. 63об.-64об.

Такое подавленное настроение оставалось все время пути в Россию. 12 июля Мережковский, Гиппиус и Философов ступили после более чем двухлетнего отсутствия на землю Петербурга.

Тяжелое время было ими выбрано для возвращения. В Петербурге свирепствовала эпидемия холеры. «Кажется, на всем Петербурге, как на склянке с ядом, появилась мертвая голова», — писал Мережковский в одной из первых статей, опубликованных после приезда в Россию<sup>189</sup>. На разных этапах дальнейшей биографии у Мережковских менялось отношение к описанному периоду их жизни.

Так, например, в 1910 году Гиппиус вычеркнула из наборной рукописи 2-й книги своего «Собрания стихов» почти все упоминания французских городов под стихотворениями 1906-1908 годов, убирая вовсе «географический» подтекст этого сборника<sup>190</sup>.

В Париж Мережковским суждено было вернуться еще не раз — недаром они, уезжая, оставляли за собой полюбившуюся им квартиру, сохраняя в ней обстановку и часть архива. Они неизменно включают Францию в маршруты долгих поездок 1910-х годов и именно в Париже проходят последние годы жизни Дмитрия Сергеевича Мережковского и Зинаиды Николаевны Гиппиус.

---

<sup>189</sup> Д.С.Мережковский. Зимние радуги. — В его кн.: Павел I. Александр I. Большая Россия. М., 1989, с. 599.

<sup>190</sup> См.: ГБЛ, ф. 190, карт. 19, ед. хр. I (сняты пометы под стихотворениями «Нелюбовь», «Мудрость», «Час третий», «Камень», «Земля», «Так ли?», «Он — сий», «Тварь»).

## ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО НЕОКАНТИАНСТВА (журнал «Логос» и его редакторы)

1910-е гг. внесли серьезные изменения в картину интеллектуально-духовной жизни России. Так, в сфере философии усиливается влияние современных западных течений, прежде всего неокантианских. Активными проводниками этих идей стали молодые ученые, получившие образование в европейских, преимущественно немецких, университетах<sup>1</sup> и группировавшиеся вокруг русского издания «Логоса» — международного журнала по философии культуры. В России он выходил с 1910 г. под редакцией Сергея Иосифовича Гессена (1887-1950), Эмилия Карловича Метнера (1872-1936) и Федора Августовича Степуна (1884-1965). В 1911 г. в состав руководителей журнала вошел Борис Валентинович Яковенко (1884-1948).

Идея издания «Логоса» принадлежала «гейдельбергскому философскому содружеству» — группе молодых единомышленников (Н.Н.Бубнов, С.И.Гессен, Рихард Кронер, Георг Мелис, Ф.А.Степун), которые в 1909 г., вскоре после сдачи докторского экзамена, вступают — при поддержке своего учителя Генриха Риккерта — в переговоры с издателем Паулем Зибеком о выпуске немецкого «варианта» журнала. Гессен и Степун — будущие редакторы русского «Логоса» — обещают Зибеку «найти в Москве столь щедрого мецената, от которого будет перепадать и ему», и подписывают «довольно выгодный контракт»<sup>2</sup>. С 1910 г. немецкое издание «Логоса», редактируемое Кронером и

<sup>1</sup> Н.О.Лосский называет их представителями «трансцендентально-логическо-го идеализма» (см.: N.O.Lossky. History of Russian Philosophy. New York, 1951, p. 318), понимая этот термин, быть может, слишком широко: в число основоположников течения он включает не только Г.Когена и П.Наторпа (собственно «трансцендентально-логическое» направление в неокантианстве), но и В.Виндельбанда и Г.Риккерта («трансцендентально-психологическое» направление), а также Э.Гуссерля. Ср. воспоминания Андрея Белого о разделении московских неокантианцев на когенианцев и риккертianцев (см.: Андрей Белый. Начало века. М., 1990, с. 280; Его же. Между двух революций. М., 1990, с. 451), а также следующее свидетельство в мемуарах самого Лосского: «...одни из них были последователями Риккерта, другие — Когена» (Н.О.Лосский. Воспоминания: Жизнь и философский путь. München, 1968, с. 148).

<sup>2</sup> Ф.Степун. Бывшее и несбывшееся. 2-е изд. London, 1990, т. 1, с. 174, 132. Работа по организации русского «Логоса» активно ведется, по-видимому, уже в начале 1909 г. Так, 15 апреля 1909 г. Гессен писал А.Г.Горнфельду из Фрейбурга: «К сожалению, не удалось мне перед отъездом лично Вам рассказать об успехах международного философского журнала. За последнее время мне уда-



Мелисом, выходит в Тюбингене у Зибек (Verlag von I.C.V. Mohr)<sup>3</sup>, а русское — в символистском книгоиздательстве «Мусагет»<sup>4</sup>, которым в то время руководили Э.К.Метнер, Эллис (Л.Л.Кобылинский) и Андрей Белый.

В опубликованных мемуарах последнего портреты «логосцев» сильно отретушированы, «лица» ретроспективно превращены в «личины». Чтобы получить более точное представление о характере отношения «мусагетцев», прежде всего самого Белого, к «логосцам» в пору их знакомства и сближения, следует обратиться к тексту так называемой «берлинской» редакции воспоминаний «Начало века» (здесь мемуарист, по его признанию, «старался писать исторически, зарисовывая людей, кружки, устремления, не мудрствуя и не деля людей на правых и виновных — такими, какими они были до 12-го года; и свои отношения к ним старался рисовать такими, какими они были в 12-ом году»<sup>5</sup>):

«Степун появился у нас франтоватый и полный, такой самодушный<sup>6</sup> с актерским, немного насмешливым бритым лицом

лось привлечь в качестве ближайших сотрудников С.Франка, Лосского, Лапшина, Лаппо-Данилевского, а также заручиться сотрудничеством и «моральным сочувствием» местного молодого «Филос. Общества». На Вашу статью мы весьма расчитываем. Осенью же в связи с собранием петерб. сотрудников надеемся на личный Ваш для нас очень ценный совет» (ГПБ, ф. 211, ед. хр. 448). Горнфельд в «Логосе» не печатался; философ и психолог И.И.Лапшин не вошел в число ближайших сотрудников, более того, уже 5 ноября 1909 г. Гессен сообщал Метнеру, что предложенная Лапшиным статья не годится для журнала: «Мы <...> ее отклонили, как ни неприятно это для меня как петерб. редактора «Логоса»: Лапшин крайне влиятельное лицо в филос. сферах и может обидеться, а также восстановить здешних философов против *Musagetes*, однако «Логос» не может в угоду философам принимать плохие статьи» (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 2, л. 1; здесь и далее авторские графические выделения любого типа передаются курсивом). Вместе с тем «тактические» соображения не всегда игнорировались редакцией «Логоса» при оценке рукописей. Так, Степун, обсуждая в письме к Метнеру от 21 августа 1910 г. состав второй книжки журнала и называя статью С.Л.Франка («Природа и культура») слабой, замечал: «Однако отклонить ее нельзя, ибо Франк ближайший сотрудник. Ссориться с ним опасно» (там же, ед. хр. 45, л. 5).

<sup>3</sup> Издание «Logos: Intern. Ztschr. für Philosophie der Kultur» прекращено в 1933 г. на 22-м томе; с 1953 г. взамен выходил журнал «Zeitschrift für Deutsche Kulturphilosophie: N.F. des Logos».

<sup>4</sup> Собственной полиграфической базой «Мусагет» не располагал, его книги печатались в разных московских типографиях, главным образом Русского товарищества и Товарищества А.А.Левенсона. Что касается «Логоса», то в 1910 г. его выпуски набирались в типографиях Русского товарищества и «Печатного дела» Ф.Я.Бурче, а с 1911 г. — Товариществом Левенсона. В 1914 г. журнал перешел от «Мусагета» к Товариществу М.О.Вольфа и печатался типографией последнего. Многие материалы «Логоса» за «мусагетский» период сохранились в архиве издательства «Мусагет» (см.: ГБЛ, ф. 190, карт. 44, ед. хр. 1-43; карт. 45, ед. хр. 1-19; карт. 46, ед. хр. 1-16; и др.).

<sup>5</sup> Андрей Белый. Письма к П.Н.Медведеву /Предисл., публ. и примеч. А.В.Лаврова. — В кн.: Взгляд: Критика. Polemika. Публикации. М., 1988, с. 432.

<sup>6</sup> От штейнеровского понятия *Gelstselbst* («самодух»).

и с зачесанными волосами, помахивая, точно веткой сиреневой, мистикой, но полагая границу меж нею и логикой (*«ценности состоянья одно, положенья — другое»*<sup>7</sup>); сошелся с Э.К.<Метнером> и с редакцией; он исходил самосевами слов, говорил очень смачно, легко и красиво, вставая со стула, закидывая с характерным кокетством логический лоб, говоря своим видом:

— Да, да: несмотря на логический лоб, — понимаю романтику, ветку сирени, люблю рудотворные силы природы; не удивляюсь чудачествам Эллиса; не удивляюсь в Москве ничему: это — *ценности состоянья*; мы *ценностями положенья* все быстро оформим!

Он очень нам нравился.

С.И.Гессен, явившийся потом, — был иной: очень сдержанный, небольшого росточка, худой, походящий слегка на японца; всегда в сюртуке; и, блистая строжайше очками на нас, очень выглядел — мальчиком; выговаривал он положительно, сухо и веско, оформливая простые житейские обстоятельства разговора лишь терминами философа Ласка<sup>8</sup>, преодолевшего Риккерта и Москве неизвестного; и — расширяли глаза на него <...>

Действительно: девятиэтажные термины Гессена нас напугали сперва; но, прислушавшись, поняли: в трудном сплетении слов пробивается сильная, честная, оригинальная мысль; скоро Гессена мы полюбили за удивительную прямоу, благородство, уравновешенность, справедливость; и — да: за действительную культурную широту понимания наших задач; но и кроме того: оказалась прекрасным товарищем; было в его строгой сухости что-то простое и милое: детское<sup>9</sup>.

Платформы «логосцев» и «мусagetцев» во многом совпадали. «Нас объединяло, — писал Степун, — стремление духовно срастить русскую культуру с западной и подвести под интуицию и откровение русского творчества солидный, профессионально-технический фундамент»<sup>10</sup>. Андрей Белый вспоминал: «...их с нами сближала одна очень важная тема: проблема культуры; проблему отчетливо выдвинуло издательство «*Musaget*»; в «*Скорпионе*», в «*Весax*» символизм был представлен скорее как школа в искусстве, — часть целого <...> стремились мы перекинуть мосты от течения, школы в искусстве к широкому горизонту проблем философии; и совершенно понятно, что линия учеников Виндельбанда и Риккерта, уделяющая внимание проблемам культуры, эстетики (Кон, Христиансен), была наиболее близкой нам в пафосе яркой борьбы за проблему куль-

<sup>7</sup> Различение, восходящее к аксиологии Виндельбанда и Риккерта — училел Степуна.

<sup>8</sup> Эмиль Ласк (1875-1915) — немецкий философ, переосмысливший риккертганскую теорию ценностей в духе феноменологии Гуссерля.

<sup>9</sup> ГЛБ, ф. 60, ед. хр. 13, л. 89-90.

<sup>10</sup> Ф.Степун. Бывшее и несбывшееся... т. 1, с. 282.

туры: мы не были вовсе идейными братьями; но троюродными братьями — были; расхождение подымалось, — в ориентировке проблем; риккертянцы, естественно, ориентировали проблемы культуры в теоретической философии; мы ж самую философию ориентировали в культуре (и — кто перетянет!)<;> с Э.К.<Метнером> стоворились о том, что желательно сблизиться с «Логосом»; и издавать в «Muscagete» его...»<sup>11</sup>

«Расхождение <...> в ориентировке проблем» выявилось уже в период заключения договора между Метнером как главою издательской фирмы «Muscagete» и Гессеном и Степуном как представителями международного редакционного комитета «Логоса»<sup>12</sup>. Сборник «германизма» в музыке, Метнер выступал против музыкального модернизма, понимая последний как извращение арийского искусства евреями-виртуозами<sup>13</sup>, вынашивал план борьбы «Muscagete» с «юдаизмом»<sup>14</sup> и определенные надежды возлагал в этой связи на альянс своего издательства с «Логосом». Однако уже 5 ноября 1909 г. Гессен, незадолго до того выслан из Петербурга подписанный им текст контракта и ожидая подписания его Метнером, сообщал последнему, что держится иного мнения относительно задач и принципов «Логоса»: «Вы не правы <...> полагая, что *Логос* может стать в музыке партийным органом. Я глубоко вместе с Вами не симпатизирую «модернизму» музыкальному, но не могу согласиться с Вами, что в *Логосе* не может быть помещена статья, его защищающая (вполне или отчасти). Нужно только, чтобы статья удовлетворяла требованиям философской критики <...> Ведь ни Фед.Авг. <Степун>, ни я не согласны с Bouteux<sup>15</sup>, а особенно с Бергсоном. Я крайне враждебно отношусь к Лосскому — но все же нам в голову не пришло бы отказать этим авторам в помещении их статей, раз они будут толково и серьезно написаны. *Логос* должен быть внепартийным журналом, иначе он лишается всякого смысла. В особенности же не может он быть партийным музыкальным органом. Нужно, чтобы сотрудники исповедовали

<sup>11</sup> ГПБ, ф. 60, ед. хр. 13, л. 88.

<sup>12</sup> См. приложение 1 к настоящей статье.

<sup>13</sup> Впервые эти взгляды были высказаны Метнером (под псевд. Вольфинг) в статье «Эстрада» (Золотое руно, 1908, № 11-12; 1909, № 2-3, 5) и в книге «Модернизм и музыка: Статьи критические и полемические (1907-1910). Приложение (1911)» (М., 1912). Разбор «антисемитических ламентаций» Метнера см.: Л.Сабанеев. Музыкальные беседы. — Музыка, 1912, №107, с. 1044-1051.

<sup>14</sup> Метнер рассчитывал, что в этой борьбе примет участие Андрей Белый, который в статье «Штемпелеванная культура» (Песы, 1909, №9, с. 72-80) экстраполировал выводы, сделанные в метнеровской «Эстраде», на ситуацию в отечественной словесности. Однако Белый вскоре раскаялся в своем выступлении и в союзники не годился. Подробнее см.: М.Безродный. Андрей Белый о своей «юдобязни» (в печати).

<sup>15</sup> Эмиль Бутру (1845-1921) — французский философ, учитель Бергсона. Работа Бутру «Наука и философия» была помещена в первых книжках немецкого и русского «Логосов».

основные принципы, общее настроение *Логоса* — какие абстрактные философы они будут защищать, надо предоставить им самим. <...> Надеюсь, Вы сознаете необходимость, налагаемую на всех нас — редакторов «Логоса» — его своеобразными универсальными целями. В поисках настоящего всеобъемлющего синтеза каждый из нас должен не останавливаться перед некоторым самоотречением: слишком уж не лична и не партийна общая, объединяющая нас задача, чтобы мы могли требованиями безусловного проведения личных наших взглядов ставить преграды общему и без того нелегкому нашему делу. Мне кажется, Вы не будете настаивать на Вашей позиции. По существу она не так уж решающа. Ведь сколько сможет «Логос» отвести места музыке!»<sup>16</sup>

Как видно из этого письма и других документов, от идейного руководства «Логосом» Метнер был с самого начала отстранен — корректно, но решительно. Цена административные дарования партнера, Гессен и Степун без пиетета относились к его выступлениям по проблемам философии культуры. Ученикам Виндельбанда и Риккерт был чужд, в частности, пафос излюбленных (и любительских, восходящих к идеям Х.С.Чемберлена) рассуждений Метнера о детерминированности культуры расово-антропологическими факторами. Так, Степун, ознакомившись с метнеровской книгой статей «Модернизм и музыка», писал автору: «Введение <...> натуралистических понятий в историко-культурный цикл проблем крайне опасно. Особенно там, где они вводятся с таким сильным акцентом, как у Вас»<sup>17</sup>.

Не участвуя в выработке стратегии философского журнала и терпя убытки от его издания, Метнер все же не сомневался в разумности своего решения заключить союз с неокантианцами: «...мусagetирование *Логоса* медленно, но подвигается, — писал он Белому 27 июня 1912 г., — и уверяю Вас, что совсем иную еще картину являл бы собой этот ежегодник, если бы он попал в лапы Лурье»<sup>18</sup>. Уже одно то, что мы, приняв Логос,

<sup>16</sup> ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 2, л. 10б.—20б. Музыкальной проблематике «Логос» места не уделал, причем в значительной степени по вине самого Метнера, который, отвечая за «эстетический отдел» журнала (о чем Гессен напоминал ему в письме от 9 марта 1911 г. — Там же, л. 19об.), сам в «Логосе» не печатался, несмотря на неоднократные приглашения (см., напр., письма к нему: Гессена от 2 ноября 1910 г. и 18 октября 1912 г. и Яковенко от 21 июня 1913 г. — Там же, л. 12об., 26; ед. хр. 63, л. 23), и настоял на снятии перевода статьи Леопольда Циглера о Вагнере (опубликованной в немецком «Логосе»), хотя Яковенко в письме от 7 июля 1911 г. предлагал ему, признанному знатоку вагнеровского творчества, сопроводить публикацию этой работы своей «контр-статьей» (там же, ед. хр. 63, л. 1). Метнер ограничился тем, что в своих «Набросках к комментарию» (музыкальных драм Вагнера), напечатанных в 1912 г., отозвался о работе Циглера как «новейшем образчике антивагнерианской литературы» (Труды и дни, 1912, №4-5, с. 28).

<sup>17</sup> Письмо от 24 июля 1912 г. (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 45, л. 9об.-10).

<sup>18</sup> О Семене Владимировиче Лурье (1867-1927), сотруднике журнала «Русская мысль» в 1908-1911 гг., Белый вспоминал: «...среди нас он ходил, как акула,

хотя и с большими издержками, но исполнили катоновское *Delenda est Carthago*<sup>19</sup> и титовское *Delenda sunt Hierosolyma*<sup>20</sup>, ибо главное, не надо допускать юдаистической штаб-квартиры. Степпун — «слаби», как говорит Эллис; Гессен — сын крещеных евреев; Яковенко — слишком абстрактен и не вполне еще свободен от когенианства<sup>21</sup>, и вот старый и хитрый Лурье постепенно юдаизировал бы *Логос*<sup>22</sup> до последней буквы<sup>23</sup>.

Оценка обоснованности опасений Метнера за судьбу журнала «в лапах Лурье» не входит в задачи настоящей статьи, как и выяснение вопроса о том, насколько заслуженно он гордился спасением «Логоса». Стоит лишь заметить, что стремление предотвратить создание «юдаистической штаб-квартиры» не было единственным мотивом, побудившим главу «Мусгета» заключить контракт с Гессеном и Степуном: как следует из письма Метнера от 1 ноября 1909 г. к Ядвиге Фридрих, финансировавшей издательство, в числе главных причин союза с неокантианцами была надежда Метнера на то, что это обеспечит его другу Андрею Белому возможность публиковать свои философские сочинения на Западе; кроме того, выпускаемая «Логос», издательство наглядно демонстрировало свой общекультурный, а не сугубо литературный характер<sup>24</sup>.

В редакционной статье, открывавшей первый номер журнала<sup>25</sup>, «логосцы» указывали на то, что, не являясь приверженцами определенного философского направления, они считают одну из центральных своих задач подведение итогов пред-

готовясь всех слопать; и вел уже переговоры с редакцией «Русской мысли» <... > чтоб купить этот орган и стать во главе его; он хотел создать орган ценой ликвидации «Весов», «Золотого руна», «Еженедельника», «Критического обозрения» и прочих московских журналов...» (Андрей Белый. Между двух революций, с. 217). «Еженедельник» — газета «Московский еженедельник» (см. примеч. 43).

<sup>19</sup> Карфаген должен быть разрушен (*лат.*) — слова Катона Старшего, по преданию, венчавшие каждое его выступление в сенате; вошли в фонд крылатых выражений как символ неустанный призыва к активному действию.

<sup>20</sup> Иерусалим должен быть разрушен (*лат.*) — выражение, образованное по аналогии с предыдущим. С именем римского императора Тита связаны осада Иерусалима и разрушение второго храма.

<sup>21</sup> Когенианство Метнер считал «сдвинутым со своих арийских скреп кантианством» (ГБЛ, ф. 25, карт. 20, ед. хр. 7, л. 5), т.е. «юдаизированной» германской философией.

<sup>22</sup> О «символизме семитическом» Лурье см.: Андрей Белый. Начало века, с. 436.

<sup>23</sup> ГБЛ, ф. 25, карт. 20, ед. хр. 7, л. 11.

<sup>24</sup> См.: Г.А.Толстых. Издательство «Мусгет». — Книга: Исследования и материалы. М., 1988, сб. 56, с. 117-118.

<sup>25</sup> Это развернутое выступление, написанное Гессеном и Степуном (см. приложение 2 к настоящей статье), в основных своих тезисах совпадало с краткой редакционной заметкой, открывающей первую книжку немецкого «Логоса» (см.: *Logos*, 1910, Bd 1, H.1, S.I-IV), отличаясь от последней тем, что включало конкретизацию общих положений программы журнала применительно к задачам его русского издания (вытекающих из изложенных здесь же соображений о современном состоянии и путях развития отечественной философской мысли).

шествующему развитию разных философских школ. Этим «Логос» должен был отличаться от «уже существующих философских журналов (так называемых «архивов»), обслуживающих повседневную школьную работу»<sup>26</sup>. Адогматические установки сочетались со стремлением обеспечить союз философии с другими науками, и к ближайшему сотрудничеству в «Логосе» приглашались, помимо философов, представители разных отраслей знания<sup>27</sup>. Предметом обсуждения в журнале должны были стать также «мотивы остальных областей культуры — общественности, искусства и религии»<sup>28</sup>.

Поскольку «Логос» был журналом интернациональным, вставал вопрос о сходстве и отличии национальных его изданий, т.е., собственно, о соотношении материалов оригинальных и переводных<sup>29</sup>. Предполагалось, что «основные статьи» будут печататься параллельно в национальных изданиях<sup>30</sup>, а «специальные статьи», призванные «обслуживать более детальные философские проблемы», перепечатываться не будут. Видя своей целью систематическое ознакомление русского читателя с достижениями зарубежной философской мысли, редакция русского «Логоса» собиралась уделять преимущественное внимание материалам немецким<sup>31</sup>. Что же касается отечественной философии, то,

<sup>26</sup> Логос, 1910, № 1, с. 10.

<sup>27</sup> В первой книжке «Логоса» (1910, № 1) объявлялось, что он издается при ближайшем участии В.И.Вернадского, И.М.Гревса, Ф.Ф.Зелинского, Б.А.Кистяковского, А.С.Лаппо-Данилевского, Н.О.Лосского, Э.Л.Радлова, П.Б.Струве, С.Л.Франка. В следующих номерах этот список пополнился именами А.А.Чупрова (1910, № 2) и А.И.Введенского (1911, № 1). О первом Гессен писал Метнеру 6 сентября 1910 г.: «А.А.Чупров примкнул к «Логосу» в качестве ближайшего сотрудника — очень ценное приобретение» (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 2, л. 11); о втором — 2 ноября 1910 г.: «А.И.Введенский очень теперь благоволит к нам и хочет примкнуть к «Логосу». Это очень удачное приобретение: какой афронт для Хвостова, Челпанова и К<sup>о</sup>» (там же, л. 13). В.М.Хвостов и Г.И.Челпанов — представители московских академических философских кругов; о выступлении Хвостова против «Логоса» см.ниже. В дальнейшем список ближайших сотрудников сократился: с № 2-3 за 1912-1913 гг. в нем отсутствуют имена Лосского и Франка. Сотрудничество Введенского, Вернадского, Гревса, Лаппо-Данилевского и Чупрова было чисто номинальным: в «Логосе» они не печатались, хотя статьи им, вероятно, заказывались; так, в письме от 2 ноября 1910 г. Гессен просил Метнера убедить Вернадского дать статью в журнал (там же, л. 12об.). Труды Введенского и Чупрова рецензировались в разделе «Библиография» (1910, № 1, 2; 1912-1913, № 1-2); в разделе «Заметки» было помещено сообщение о юбилее научной деятельности Введенского (1913, № 3-4).

<sup>28</sup> Логос, 1910, № 1, с. 11.

<sup>29</sup> Имена переводчиков в «Логосе» не указывались; применительно к первым четырем книжкам журнала эти сведения дает документ, публикуемый в приложении 2 к настоящей статье.

<sup>30</sup> Степун в письме от 13 июля 1910 г. информировал Метнера о собрании во Фрейбурге в конце июля руководителей немецкого и русского «Логосов»; среди прочих должен был решаться вопрос «приуроченья друг к другу появления немецких и русских выпусков» (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 45, л. 1). План синхронизации изданий не был осуществлен.

<sup>31</sup> Логос, 1910, № 1, с. 12, 15.

скептически оценивая ее нынешнее состояние, «логосцы», тем не менее, не отказывали ей вовсе в способности к развитию и даже влиянию в будущем на мировую философскую традицию, однако при условии глубокого усвоения западного опыта<sup>32</sup>. Редакция журнала собиралась подвергнуть «научно-философскому освещению оригинальные мотивы русского философского развития», но подчеркивала при этом, что будет «резко отмежеваться от всякой ненаучной философии»<sup>33</sup>.

Последний тезис знаменовал возобновление старинного спора о путях отечественной культуры. Молодые философы-неозападники бросали вызов неославянофилам<sup>34</sup> — прежде всего деятелям московского Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Г.А. Рачинский, кн. Е.Н. Трубецкой, В.Ф. Эрн и др.), которые объединились вокруг основанного тогда же, в 1910 г., издательства «Путь»<sup>35</sup>. Утверждая идею самобытности русской философской мысли, неославянофилы видели ее развитие лишь на путях религиозного ренессанса. Полемика между «путейцами» и «логосцами» была неминуема: и те и другие стремились к созданию «правильной» русской философии, но если для первых синонимом «правильной» было определение «религиозная», то для вторых — «научная». «Для вас, — говорил Бердяев Степуну, встретившись с ним вскоре после выхода в свет первой книжки «Логоса», — религия и церковь проблемы культуры, для нас же культура во всех ее проявлениях внутрицерковная проблема. Вы хотите на философских путях прийти к Богу, я же утверждаю, что к Богу прийти нельзя, из Него можно только исходить; и лишь исходя из Бога можно прийти к правильной, т.е. христианской философии»<sup>36</sup>.

<sup>32</sup> Ср. платформу «Мусагета» в изложении Метнера: «... в тесном единении русской культуры с германской (в особенности с немецкой) лежит залог дальнейшей процветания первой...» (ГБЛ, ф. 25, карт. 20, ед. хр. 7, л. 18об.).

<sup>33</sup> Логос, 1910, №1, с. 15.

<sup>34</sup> См., напр.: Б.Яковенко. Очерки русской философии. Берлин, 1922, с. 107-124.

<sup>35</sup> Деятельность «Пути» (1910-1917) субсидировала московская меценатка М.К. Морозова (урожд. Мамонтова), в особняках которой проводились заседания Религиозно-философского общества.

<sup>36</sup> Ф. Степун. Бывшее и несбывшееся... т. 1, с. 281. Ср., впрочем, пропигандное наблюдение прот. Г. Флоровского, касающееся, в частности, позиции «логосцев»: «Русское «неозападничество» предвоенных лет было сильно именно <... > религиозным пафосом, хотя бы и потаенным и блуждающим. <... > «неозападники» ищут синтеза в общем чувстве жизни и творчестве культуры, а не в исторической и конкретной религии. Но и самое чувство жизни у них уже становится религиозным» (Г. Флоровский. Пути русского богословия. 4-е изд. Paris, 1988, с. 485, 488). В свою очередь, религиозно-философским исканиям начала XX в. не были указаны «западнические» пути, и, скажем, у Степуна имелись все основания утверждать, что, если Вяч. Иванов «по историософскому содержанию своих взглядов и близок славянофилам», то «по глубине своих связей с европейской культурой, по своему чувству формы и меры он не только русский западник, но и человек Запада» (Ф. Степун. Встречи. München, 1962, с. 151-152).

С резкой критикой на «Логос» обрушился В.Ф.Эрн<sup>37</sup>. Уязвленный «презрительно-пренебрежительным» отношением «логосцев» к русской философии, которая, по его глубокому убеждению, «должна раскрыть Западу безмерные сокровища восточного умозрения», он писал о необоснованности притязаний редакторов журнала сделать его «новым важным фактом в историческом самосознании России»<sup>38</sup>. Рассматривая всю историю мысли как вековую и непримиримую борьбу «*ratio*» (механистичной западноевропейской философии) и «логоса» («живого» восточно-православного умозрения, уходящего корнями в античность)<sup>39</sup>, Эрн обвинял рационалистов-«логосцев» в непонимании истинного смысла «священного имени Логос» и распространял свой критицизм не только на журнал, но и на всех «современных немецких властителей... маленьких дум»<sup>40</sup>.

Б.В.Яковенко увидел в инвективах Эрна «образец подлинного непонимания культурных задач философской критики»<sup>41</sup>. Э.К.Метнер писал Белому, что в конфликте между «Логосом» и «Путем» он «на стороне Когена», а не «наших обскурантов»<sup>42</sup>. Белый, который в октябре 1910 г. сообщил Блоку: «...у нас в „*Musagete*“ дружба с Религиозн.-Филос. Обществом и с издательством „Путь“...»<sup>43</sup>, в то время также был склонен поддер-

<sup>37</sup> См.: В.Эрн. Нечто о Логосе, русской философии и научности: (По поводу нового философского журнала «Логос»). — Московский еженедельник, 1910, №29-32. В расширенной редакции (с полемическими ответами автора на критику) эта статья вошла в книгу: В.Эрн. Борьба за Логос: Опыты философские и критические. М., 1911, с. 72-119.

<sup>38</sup> Там же, с. 87, 75.

<sup>39</sup> Несколько лет спустя Эрн увидит отражение борьбы этих двух начал в военном конфликте Германии и России. О взглядах Эрна этого периода см., напр.: Ю.Шеррер. Неославянофильство и германофобия: Владимир Францевич Эрн. — Вопросы философии, 1989, № 9, с. 84-96.

<sup>40</sup> В.Эрн. Борьба за Логос... с. 76, 119. Ср. тезис Бердяева: «Русская земля, полная мистической жажды, тянется к большому Разуму церковному, а не к малому разуму гносеологическому (т.е. неокантианскому. — М.Б.)» (Русская мысль, 1910, №11, отд. II, с. 111). В «Самопознании» Бердяев вспоминал: «Я боролся с многими течениями, между прочим, и с попыткой насадить в России чисто немецкое течение. Это был философский журнал «Логос», а также «*Musagete*» <...> Сам я вышел из Канта и многим ему обязан, но господство неокантианства (Коген, Риккерт) вызывало во мне бурное сопротивление и это выразилось в воинственных спорах» (Н.Бердяев. Собр. соч. Paris, 1989, т. I, с. 188).

<sup>41</sup> Логос, 1911-1912, № 2-3, с. 296.

<sup>42</sup> Письмо от 19 февраля 1911 г. (ГБЛ, ф. 25, карт. 20, ед. хр. 7, л. 5).

<sup>43</sup> Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940, с. 241. В этой дружбе Белый видел продолжение «соединенья тактического» двух групп — символистов-«аргонавтов», сотрудничавших в «Весах», и философов из «Московского еженедельника», издававшегося под редакцией кн. Е.Н.Трубецкого, финансировавшегося М.К.Морозовой и прекратившегося в 1910 г.: «...возникла, естественно, переключка меж группой Трубецкого и «аргонавтами», нами; оформилась после она — отношениями двух издательств («Пути» к «*Musagete*»); в «Пути» же, издательницей которого состояла Морозова, соединилась группа деятелей религиозно-философского общества; а в «*Musagete*» — сошлись «аргонавты» (ГПБ, ф. 60, ед. хр. 12, л. 165).



живать «Логос»: в статье «Неославянофильство и западничество в современной русской философской мысли» он брал «логосцев» под защиту от резкой критики, которой они подверглись на страницах «Московского еженедельника» — в заметке В.М.Хвостова<sup>44</sup> и в упоминавшейся работе Эрн. Первую Белый назвал «недопустимой по тону», о второй писал, в частности: «Точка зрения нео-славянофилов <...> стала бы неуязвимой, если бы религия открыто в ней была бы противопоставлена философии; но чистой философии противопоставлена философия смешанная (как бы полурелигия или рационализированная религия); *крайне* Западу противопоставлен все еще *средний* Восток»<sup>45</sup>.

И даже из лагеря философов, в целом разделявших отношение Эрн к неокантианству, прозвучал голос в защиту нового журнала: «...худо ли, или хорошо его редакция поняла и выполняет его задачу, — писал С.Л.Франк, — сама эта задача — содействие развитию в России философской культуры в тесном общении с философской жизнью Запада — заслуживает безусловного одобрения и всяческого поощрения»<sup>46</sup>.

Выполнению этой задачи «логосцы» посвятили пять лет интенсивной работы. С 1910 по 1914 г. свет увидели одиннадцать выпусков журнала (из них восемь — сдвоенных), куда вошло 67 статей, принадлежащих перу 41 автора. Круг зарубежных участников почти целиком составляли немцы: Г.Зиммель и Г.Риккерт (по пять работ), Й.Кон, Р.Кронер и К.Фосслер (по две работы), Г.Вельфлин, В.Виндельбанд, Н.Гартман, П.Наторп и др. Итальянская школа была представлена Б.Вариско и Б.Кроче, французская — Э.Бутру. Среди русских авторов лидировал Б.В.Яковенко, поместивший восемь статей. Г.Э.Ланц, Н.О.Лосский и Ф.А.Степун выступили с тремя статьями каждый, С.И.Гессен с двумя. Были опубликованы также работы Б.А.Кистяковского, Э.Л.Радлова, П.Б.Струве, С.Л.Франка (все они,

<sup>44</sup> Московский еженедельник, 1910, №17, стб. 57-60. Заметка подписана криптонимом «В.Х.». В письме к Гессену от июня 1910 г. Б.А.Кистяковский назвал эту заметку «ничтожной» (цит. по письму Гессена к Метнеру от 21 июня 1910 г. — ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 2, л. 9). См. также примеч. 27. Белый вспоминал о Хвостове как «дилетанте в философии» (Андрей Белый. Начало века... с. 382).

<sup>45</sup> Утро России, 1910, 15 окт.

<sup>46</sup> Русская мысль, 1910, № 9, отд. II, с. 171. См. продолжение полемики: В.Эрн. Культурное непонимание: Ответ С.Л.Франку. — Там же, №11, отд. II, с. 116-129; С.Франк. Еще о национализме в философии: Ответ на ответ В.Ф.Эрна. — Там же, с. 130-137. Гессен 6 сентября 1910 г. писал Метнеру: «Статья Эрн против «Логоса» в «Москов. Ежен.» и очень резкая отповедь Эрну Франка (в «Рус. Мысли»), в которой Франк побивает ученика Соловьева словами его учителя, как нельзя на руку «Логосу». По поводу «Логоса» возгорается оживленная и интересная полемика, затрагивающая глубочайшие вопросы современности. Белый тоже хочет ответить Эрну в «Утре России». Яковенко — в «Рус. Ведом.». Мы, конечно, лучше промолчим, делая дальше свое дело» (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 2, л. 11). Говоря «мы», Гессен имеет в виду учредителей русского издания «Логоса».

как и Лосский, входили в число принимающих ближайшее участие в издании<sup>47</sup>), Н.А.Васильева, И.А.Ильина, С.О.Марголина, М.М.Рубинштейна и др.<sup>48</sup>

В соответствии с заявленной программой тематический спектр этих статей был очень широк: теория познания, психология, логика, политическая экономия, право, религия, этика, эстетика и пр. Тематическая пестрота сочеталась с жанровым многообразием: помимо работ, излагавших собственные взгляды авторов по тем или иным вопросам, публиковались статьи реферативного и обзорного плана. Так, на страницах журнала давались разборы учений Фихте и Ф.Шлегеля, Маха и Авенариуса, Бергсона, Дильтея, Когена и др.; Яковенко выступил с тремя обзорами современного состояния западной философии — немецкой, итальянской и американской. Вопреки обвинениям в полном небрежении «логосцев» к отечественной философской традиции редакция поместила ряд статей о русских мыслителях (Б.Н.Чичерине, Л.Н.Толстом, В.С.Соловьеве, Л.М.Лопатине) и изложение лингвистической доктрины А.А.Потебни.

Значительная часть издания отводилась под библиографический раздел, целью которого было регулярно знакомить читателей с новинками философской литературы, преимущественно зарубежной оригинальной. Рецензировались также переводные издания трудов классиков (Гераклита, Аристотеля, Секста Эмпирика, Спинозы, Дидро, Канта) и современных авторов. Среди оригинальных отечественных работ особым вниманием рецензентов были отмечены книги, которые издавал «Путь»: если в разделе «общих» и «специальных» статей «логосцы» не снисходили до дискуссий с оппонентами<sup>49</sup>, то в «Библиографии» они давали волю своему полемическому темпераменту. Это, впрочем, относилось не ко всем изданиям «путейцев»: работы М.О.Гершензона и Г.А.Рачинского (заклюച്ചавшиеся преимущественно в подготовке к изданию трудов русских мыслителей — И.В.Кириеевского, В.Ф.Одоевского, В.С.Соловьева, П.Я.Чаадаева), а также сочинения Л.М.Лопатина, Н.О.Лосского и кн. Е.Н.Трубецкого оценивались весьма положительно, хотя и не всегда без оговорок. Что же касается трудов С.А.Аскольдова (Алексеева), Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова и, особенно, В.Ф.Эрна, то они, за редкими исключениями, подвергались критике

<sup>47</sup> Имена Лосского и Франка фигурируют в этом списке только в первых пяти книжках «Логоса». См. примеч. 27.

<sup>48</sup> См. приложение 3 к настоящей статье.

<sup>49</sup> Впрочем, в первой книжке «Логоса» за 1911 г. была помещена работа Яковенко «О Логосе», явившаяся своего рода ответом на обвинения Эрна в непонимании «логосцами» значения этой категории. Степун, оценивая первый номер «мускетского» журнала «Труды и дни», писал Белому, что в «головном отделе» издания не следует уделять место полемике и что «нужна сильная, догматическая, авторитетная критика всего текущего художественного материала в отделе рецензий» (ГБЛ, ф. 25, карт. 27, ед. хр. 24а, л. 66б.), — совет, явно основанный на опыте издания «Логоса».

острой и придирчивой. (Так, Бердяеву как автору монографии о А.С.Хомякове доставалось не только за «приблизительность своего анализа отношения Хомякова к современной ему философии», но и за многочисленные композиционные недочеты<sup>50</sup>.) Типовыми были обвинения религиозных философов в догматизме, схематичности, произвольности выводов и, разумеется, поверхностном знакомстве с западной литературой. Критика звучала даже в комплиментарных отзывах: так, если второй сборник статей «путейцев» оценивался выше, чем первый, то потому, в частности, что он «не отягчен малосильной полемикой против мнимого врага, рассудочно-научной философии»<sup>51</sup>. А отчет отнюдь не близкого «логосцам» П.А.Флоренского о кандидатском сочинении, посвященном Когену, превозносился за то, что автор, «несмотря на свое принципиальное расхождение с Когеном, высказывается об его философии в чрезвычайно лестном для нее тоне» и тем самым «дает прекрасный пример идеального отношения к своим идейным противникам и наставительный урок тем, кто, не потрудившись изучить Когена, тем не менее позволяет себе говорить и о нем, и о всем современном неокантианстве что попало»<sup>52</sup>.

Другой группой изданий, которые привлекали к себе внимание рецензентов «Логоса», были сборники «Новые идеи в философии», выходившие неперiodически с 1912 по 1914 г. под редакцией Н.О.Лосского и Э.Л.Радлова в петербургском научном издании «Образование». «Логосцы» сочувственно отнеслись к этому культуртрегерскому начинанию (хотя и видели в нем «некоторую конкуренцию „Логосу“»<sup>53</sup>) и сами приняли участие в сборниках.

Говоря в редакционной статье о философских журналах, от которых «Логос» будет отличаться, Гессен и Степун имели в виду зарубежные издания. В годы выхода «Логоса» с ним в России мог соперничать только один «специальный» журнал — «Вопросы философии и психологии», издававшийся в 1889-1916 гг. под редакцией Л.М.Лопатина Московским психологическим обществом при содействии Петербургского философского общества<sup>54</sup>. Поэтому, затеяв в дополнение к «Библиографии» раздел «Обзор журналов», «логосцы» уделяют основное внима-

<sup>50</sup> Логос, 1911-1912, № 2-3, с. 282-284.

<sup>51</sup> Там же, с. 307.

<sup>52</sup> Там же, 1912-1913, №1-2, с. 412.

<sup>53</sup> Из письма Гессена к Метнеру от 29 марта 1913? г. (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 2, л. 39).

<sup>54</sup> Ни московская «Мысль» (1910-1911), ни преемственное ей петербургское «Просвещение» (1911-1914) не были собственно философскими журналами, а издание В.В.Битнера «Научная библиотека. Отдел философский» имело популярный характер, к тому же представлено за эти годы только тремя выпусками. Несколько номеров «Записок Санкт-Петербургского религиозно-философского общества» и других столичных и провинциальных изданий также можно не принимать в расчет.

ние именно этому изданию, давая подробный обзор помещенных здесь материалов.

В последний год издания «Логоса» в нем был реформирован библиографический раздел: теперь вся рецензируемая литература подразделялась на четыре тематические группы: 1. Классики. История философии. Современные философы; 2. Теоретическая философия; 3. Этика. Философия права; 4. Эстетика. Впрочем, в обоих выпусках журнала за 1914 г. в последние два подраздела не набиралось больше чем по одной рецензии. Всего же за пять лет существования «Логоса» в нем помещено было свыше полтора ста рецензий.

Помимо статейного и библиографического материала, в каждой книжке «Логоса» имелись «Заметки». Здесь публиковались сообщения разного рода — о юбилеях научной и педагогической деятельности зарубежных и отечественных философов, о конгрессах, защитах, лекциях, докладах, издательских планах и пр. Так, несколько раз печатались объявления о проекте издательства «Мусагет» расширить свою деятельность по линии «Логоса», а именно: подготовить ряд серий, в первую очередь серию монографий о великих философах Запада. В самом скором времени обещалось опубликовать три книги: Б.В.Яковенко о Канте<sup>55</sup>, Г.Э.Ланца о Фихте<sup>56</sup> и Ф.А.Степуна о Шеллинге. Эти замыслы (возникшие, вероятно, не без влияния аналогичного начинания «путейцев», которые издавали серию монографий «Русские мыслители»), не осуществились<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> В конце 1911 г., узнав, что средств на расширение книгоиздательской деятельности «Мусагета» по линии «Логоса» нет, Яковенко убеждал Метнера постараться напечатать монографию о Канте и тем заложить финансовую основу для выпуска следующих изданий (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 63, л. 5–6); 21 июня 1913 г. Яковенко сообщал Метнеру, что получил аванс за эту монографию и завершит работу над ней к апрелю 1914 г. (там же, л. 23); в июле 1914 г. возвращается к вопросу об издании книги (там же, л. 30об.). Выпустить монографию не удалось; 1 августа 1915 г. Метнер писал С.П.Боброву: «Мусагет должен приостановить свою деятельность до окончания войны. Даже книга Яковенки не выйдет, которая была почти готова» (ИГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 49, л. 3). Возможно, впрочем, что в последнем письме речь идет о других работах Яковенко (см. примеч. 57, 58).

<sup>56</sup> В письме к Метнеру от 21 июня 1913 г. Яковенко предлагал выпустить книгу Ланца к столетию со дня смерти Фихте, подчеркивая, что это «наш кантианский долг в России» (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 63, л. 22об.-23). Узнав, что долг этот, по-видимому, не будет исполнен даже с опозданием, Яковенко 3 июля 1914 г. писал Метнеру: «Вы, кажется (так мне показалось), относитесь несколько скептически к Ланцу. Но он — действительно знаток Фихте...» — и выражал надежду, что монография о Фихте все же увидит свет (там же, л. 30). Книга Ланца не вышла; столетие со дня смерти Фихте было отмечено первой книжкой «Логоса» за 1914 г., которая открывалась портретом философа и двумя статьями о нем — Ланца и Яковенко.

<sup>57</sup> Не были изданы и неоднократно обещавшиеся «Мусагетом» монография Яковенко «О сущности философии: Введение в трансцендентализм» и «Люцинда» Ф.Шлегеля в переводе и со вступительной статьей Степуна.

В книгоиздательской деятельности «логосцы» не только не составляли никакой конкуренции «путейцам», но даже проигрывали им, так сказать, на собственной территории. Не удалось, например, издать в «Мусагете» запланированную на 1914 г. работу Яковенко об итальянском философе и теологе Антонио Розмине-Сербати<sup>58</sup>, тогда как «Путь» в 1914 г. выпустил в свет книгу «Розмини и его теория знания», написанную Эрном — давним оппонентом русских неозападников.

Среди причин, воспрепятствовавших реализации книгоиздательских планов «логосцев»<sup>59</sup>, было осложнение их отношений с руководством «Мусагета». Если конфликт с неославянофилами, вызванный запальчивой критикой Эрна<sup>60</sup>, не отразился на деятельности «Логоса», по крайней мере напрямую, то трения между редакторами журнала и «мусагетцами», постепенно переросшие в серьезную внутрииздательскую борьбу, завершились отпадением «Логоса» от «Мусагета».

С самого начала идея Метнера (поддержанная Белым) об альянсе символистов и неокантианцев не получила единодушного одобрения «мусагетских» сотрудников. Эллис, третий руководитель издательства, отнесся к этому союзу без воодушевления.

<sup>58</sup> С предложением ее издать Яковенко обратился к Метнеру в письме от 21 июня 1913 г.; в следующих письмах к издателю — от 26 ноября 1913 г. и 3 июля 1914 г. — он обещал завершить работу над рукописью в феврале 1914 г., затем в конце сентября 1914 г. и предлагал покрыть этим изданием часть выданного ему «Мусагетом» аванса (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 63, л. 22-22об., 25, 30-30об.).

<sup>59</sup> В их числе замысли опубликовать: книгу Риккерт «Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft» в переводе Гессена (предложение выпустить ее в «Мусагете», в частности для рекламы «Логоса», содержится в письме Гессена к Метнеру от 11 мая 1910 г. — ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 2, л. 6-7), сочинения «романтического Гегеля» и Дильтея о романтизме (письмо Гессена к Метнеру от 2 ноября 1910 г. — там же, л. 12об.), известный труд Б.Кроче «Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale» (в письме к Метнеру от 8 мая 1911 г. Яковенко убеждал издать эту работу, «т.к. у нас эстетик совсем нет», и обещал отредактировать ее перевод с итальянского и написать предисловие — там же, ед. хр. 63, л. 3об.-4об.). В письме от 3 октября 1913 г. Яковенко предлагал Метнеру выпустить отдельной брошюрой свой обзор американской философии (опубликованный в № 3-4 «Логоса» за 1913 г.) — с тем, чтобы покрыть этим изданием часть долга «Мусагету» (там же, л. 24-24об.). В переработанном виде и под заглавием «Очерки американской философии» обзор Яковенко вышел отдельным изданием в Берлине в 1922 г.

<sup>60</sup> Конфликт был улажен благодаря М.К.Морозовой и кн. Е.Н.Трубецкому, и между «логосцами» и «путейцами» установились «прекрасные отношения» (Ф.Степун. Бывшее и несбывшееся... т. I, с. 260). Белый, впрочем, характеризовал это «соседство», кажется, более точно — «натянuto-дружественное, но тайно-враждебное (по устремлениям)» (Андрей Белый. Начало века... с. 507). Как бы то ни было, острая идейная борьба не переносилась в сферу личных контактов неозападников и неославянофилов. Е.К.Герцык, хорошо знавшая последних, писала об Эрне: «...был бойцом, но, яростно споря, чужд был и тени личной неприязни» (Е.Герцык. Воспоминания. Paris, 1973, с. 157). Ср. также в мемуарах Степуна: «Личных отношений эта война почти не затрагивала» (Ф.Степун. Бывшее и несбывшееся..., т. I, с. 177).

ления, а впоследствии назвал его «ложным браком», переходящим в «добрую ссору»<sup>61</sup>. Противодействие «логосцам» оказывали члены «мусагетского» редакционного совета — Г.А.Рачинский, бывший одновременно деятельным «путейцем», и Н.П.Киселев, А.С.Петровский и М.И.Сизов, занимавшиеся изданием серии памятников мистической литературы (выходила под знаком «Орфей»). «Метнер, — вспоминал Белый, — боялся преобладания «мистики» (я — то же самое). «Логосом» мы попытались заранее бронировать «Мусагет» от засилья возможного религиозного и литературного догматизма; Рачинский — тот явно, где можно, вел курс на религию (на православие) < ... > Петровский, Сизов, Киселев, — ожидая возможности «внутренней линии», думали наш «Мусагет» превратить в орган будущей «лжи»; носились с мечтой об издании мистиков; логику, литературу, искусство они умаляли; с Э.К.Метнером мы составляли естественный центр, платформируя твердо: ни слишком налево, ни слишком направо: не Кант и не Экхарт<sup>62</sup>, а — тот и другой в центре нашей проблемы < ... > в платформу издательства влили различные линии, их собирая в триаду: Орфей — Мусагет — Логос; в центре стоял «Мусагет» (символизм и культура); направо он, — «Логос» (ведь ионийская философия — есть аполлоново дело<sup>63</sup>; налево — «Орфей»: дионисийское развоплощение<sup>64</sup> ставшего в мире становления»<sup>65</sup>.

Три направления деятельности издательства обосновывались в первом номере «мусагетского» журнала «Труды и дни»: линии собственно «Мусагета» была посвящена статья Метнера, линии

---

<sup>61</sup> Цит. по: А.В.Лавров. «Труды и дни». — Русская литература и журналистика начала XX века, 1905-1917: Буржуазно-либеральные и модернистские издания. Л., 1984, с. 204.

<sup>62</sup> Майстер Экхарт (ок. 1260 — кон. 1327 или нач. 1328) — средневековый немецкий философ-мистик. В 1912 г. «Мусагет» издал его «Проповеди и рассуждения» в переводе М.В.Сабашниковой.

<sup>63</sup> Здесь мемуарист использует популярность у русских символистов эстетическую терминологию, восходящую к книге Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» («аполлоновское» начало бытия и культуры как логическое, созерцательное, гармоническое, «светлое» противопоставляется «дионисийскому» — иррациональному и экстатическому), и обыгрывает название издательства: «Мусагет» (по древнегреч. «водитель муз») — прозвище бога Аполлона. Ср. объяснение, которое дает названию издательства Метнер, формулируя его программу: «...это имя подчеркивает аполлинизм (вовсе не отрывая его, однако, от дионисизма) и отмежевывается от эстетства, ибо означает объединение всех видов творчества в согласном служении цели создания культуры» (Труды и дни, 1912, № 1, с. 55). Говоря об «эстетстве» (т.е. «аполлинизме», оторванном от «дионисизма»), Метнер имеет в виду сугубо эстетическое направление в русском символизме 1910-х гг., которое отстаивали сотрудники и авторы петербургского журнала «Аполлон» и которому «мусагетцы» противопоставляли свое — «синтетическое» — понимание культуры. О противостоянии «Аполлона» и «Мусагета» как двух культурных и издательских центров символизма см., напр.: D.Mickiewicz. *Apollo and Modernist Poetics*. — Russian Literature Triquarterly, 1971, №1, p. 238-242 et al.

<sup>64</sup> См. примеч. 63.

<sup>65</sup> ГПБ, ф. 60, ед. хр. 13, л. 88-89, 91.

«Орфея» — статьи Вяч.Иванова и Белого, «Логоса» — статья Степуна. По мысли последнего, линии «Орфея» и «Логоса» переплетались следующим образом: «...переживания наши, отмеченные знаком Орфея», должны быть отданы «организующей силе Логоса»<sup>66</sup>. Такое решение вопроса о сосуществовании не устраивало «орфейцев»; Н.П.Киселев, в частности, указывал на «неспособность специалистов-философов понять гносеологию и психологию мистики»<sup>67</sup>. По воспоминаниям Белого, на заседаниях редакционного совета издательства Степун «препирался» с Петровским «за место «Орфея» и «Логоса»; Петровский же смякно выслушивал истины логики <...> и, когда удавалось Киселеву пред Метнером что-нибудь проташить для «Орфея», — он цвел...»<sup>68</sup>; «...стоило Степуну раскрыть рот, — делался багровым Рачинский...»<sup>69</sup>; «...мистик Н.П.Киселев постоянно противился влиянию Степуна, Яковенко...»<sup>70</sup>

«Логосцы» занимали в «Мусагете» особое положение. Когда М.А.Волошин, сообщая читателям «Аполлона» о новом московском книгоиздательстве, назвал «Логос» органом его философской секции<sup>71</sup>, Метнер выступил с возражением: «...«Логос» журнал международный, и лишь русское издание его связано с «Мусагетом», редактор которого (т.е. сам Метнер. — М.Б.) является членом редакционного комитета («Логоса». — М.Б.)»<sup>72</sup>. Но если Метнер почти не оказывал влияние на проводимую «Логосом» линию, то Гессен, Степун и Яковенко, в свою очередь кооптированные в члены редакционного совета издательства, не только стремились обеспечить суверенитет своему изданию<sup>73</sup>, но и проявляли активность в вопросах, не связанных непосредственно с реализацией его программы. Так, Степун выступил с рядом предложений по организации материалов в «Трудах и днях» и с критикой курса, взятого этим журналом<sup>74</sup>. Далеко не все устраивало «логосцев» и в книжной продукции «Мусагета». Из пяти отрецензированных ими «мусагетских» изданий безоговорочно высокую оценку получило только одно — перевод «Проповедей и рассуждений» Экхарта<sup>75</sup>. С некоторыми замечаниями была принята книга П.Дейссена «Веданта и Платон в

<sup>66</sup> Труды и дни, 1912, №1, с. 73.

<sup>67</sup> Там же, №6, с. 63.

<sup>68</sup> ГПБ, ф. 60, ед. хр. 13, л. 126.

<sup>69</sup> Андрей Белый. Между двух революций... с. 343.

<sup>70</sup> Андрей Белый. Воспоминания о Блоке. — Эпопея, 1923, №4, с. 212.

<sup>71</sup> Аполлон, 1910, №12, отд. II, с. 17.

<sup>72</sup> Там же, 1911, №2, с. 76.

<sup>73</sup> В текст машинописного проекта «Домашних правил книгоиздательства «Мусагет»» вписано (вероятно, рукою Гессена) следующее: «При рассмотрении в совете вопросов, касающихся издания журнала «Логос», в состав его приглашается с правом голоса один из редакторов «Логоса»» (ГБЛ, ф. 167, карт. 17, ед. хр. 23, л. 2).

<sup>74</sup> См., напр.: ГБЛ, ф. 25, карт. 27, ед. хр. 24а, л. 9, 10; см. также примеч. 49.

<sup>75</sup> Логос, 1912–1913, №1–2, с. 356–357.

свете Кантовой философии»<sup>76</sup>. Критиковались особенности перевода «Фрагментов» Гераклита и концепция, положенная в основу предисловия к изданию<sup>77</sup>. Рецензия Степуна на «Символизм» Белого (эта книга статей мыслилась чем-то вроде «мусagetского» манифеста) кончалась несколько двусмысленной похвалой: «Безусловно, «Символизм» книга, написанная дилетантом в философии. Но, читая ее, начинаешь минутами соглашаться с известным утверждением, что всякое творчество сопряжено с дилетантизмом. Раскрывая скобки профессионализма, мы невольно меняем все минусы труда Белого на плюсы его как творца»<sup>78</sup>. И наконец, по поводу книги Элліса «Русские символисты» говорилось, что «ее философская сторона крайне слаба»<sup>79</sup>.

На страницах «Логоса» появилось только три работы «мусagetцев»: в № 1 за 1910 г. — рецензия Белого на издание перевода книги Э.Бутру «Наука и религия в современной философии», в № 2 за 1910 г. — его же статья «Мысль и язык (Философия языка А.А.Потебни)»<sup>80</sup> и в № 1 за 1911 г. — статья Вяч. Иванова «Л.Толстой и культура»<sup>81</sup>. В свою очередь, «Труды и дни» печатали «логосцев» редко (три выступления Степуна и одно Яковенко) и недолго (только в 1912 г.). Уже при фор-

<sup>76</sup> Там же, 1911-1912, №2-3, с. 288.

<sup>77</sup> Там же, 1910, №2, с. 291-292.

<sup>78</sup> Там же, №1, с. 281. Оценку Белым этой рецензии см.: Труды и дни, 1912, №6, с. 21.

<sup>79</sup> Логос, 1911, №1, с. 231.

<sup>80</sup> В письме от 6 сентября 1910 г. Гессен информирует Метнера о том, что Белый «с энтузиазмом пишет для «Логоса» и обещал через две недели представить статью («Мысль и язык». — М.Б.) к печати», и замечает в этой связи: «Пусть Эрн и tutti quanti видят, что *gallo* нашего «Логоса» нужно не только узким ученым, но и художникам и мистикам в настоящем смысле» (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 2, л. 10). О восприятии Белым лингвофилософских идей Потебни см.: Е.Белькинд. А.Белый и А.А.Потебня: (К постановке вопроса). — Тезисы I Всесоюзной (III) конференции «Творчество А.А.Блока и русская культура XX века». Тарту, 1975, с. 160-164; О.П.Пресняков. А.А.Потебня и русское литературоведение конца XIX — начала XX века. Саратов, 1978, с. 156-159.

<sup>81</sup> Гессен 9 марта 1911 г. писал Метнеру: «Необходима в нем. «Логос» статья о Толстом. Я очень стою за перевод на нем. статьи Иванова (Лосский, по известиям, оказался безнадежно слаб). Если Иванов подходит, то насыдите на Степуна, заставьте его скорее перевести, ибо немцы спешат» (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 2, л. 19; в №1 1911 г. за статьей Вяч.Иванова «Л.Толстой и культура» следовала статья Лосского «Нравственная личность Толстого»). Степун осуществил перевод (см. приложение 2 к настоящей статье), однако Метнер остался недоволен равнодушным отношением Вяч.Иванова к предложению публиковаться в русском и немецком «Логосах»: «...Вячеслав, пишущий по-немецки, как по-русски, — сообщил он Белому 27 июня 1912 г., — не дал до сих пор статьи в немецкий Логос, а для русского дал популярную лекцию о Толстом...» (ГБЛ, ф. 25, карт. 20, ед. хр. 7, л. 11). Метнер упрекал и самого Белого в том, что тот не воспользовался возможностью напечатать в немецком «Логосе» заказанную ему «статью мировоззрительную по философии», а в русском издании «отписался под Фосслера» (там же; имеется в виду проблематика трудов Карла Фосслера, основателя школы «идеалистической неологологии»).



мировании первого номера «мусagetского» журнала Петровский писал Метнеру: «...обилие Степнунов меня ужасает»<sup>82</sup>, а Белый, к тому времени изменивший свое отношение к «логосцам»<sup>83</sup>, указывал, что «предстоит выбор: между Ивановым и Гессеном — Яковенко»<sup>84</sup>; он был сделан в пользу Вяч. Иванова, который поддерживал линию «Орфея» и боролся с «засилием» неокантианцев в «Мусагете»<sup>85</sup>.

Скрытая конфронтация вскоре переросла в прямой конфликт — из-за отказа печатать в «Трудах и днях» статью Яковенко «Донкихотство», представляющую собой критический отклик на бердяевскую «Философию свободы». Статья была принята к печати Метнером, однако другие «мусagetцы» (Белый, Киселев, Петровский, Рачинский) высказались против публикации<sup>86</sup>, и Белый, не желая ссоры с Бердяевым и Булгаковым, которых предполагалось привлечь к участию в «Трудах и днях»<sup>87</sup>, настоял на снятии этого материала. Из беседы Яковенко с Рачинским «выяснилось, что «Донкихотство» не идет потому, что «не подходит к программе журнала». А не подходит в нем, главным образом, отрицание возможности религиозной философии»<sup>88</sup>. Но это, возражал Яковенко, «центр для моей философской точки зрения»<sup>89</sup>; «Тр. и Дни», — писал он Метнеру, — являются журналом «Мусagета»; в этот последний входит «Логос»; стало быть, моя статья, как голос одного из логосцев,

---

В недавно появившейся заметке Г.М.Фридлендера «О Ф.А.Степуне» утверждается, что «Логос» возник «при участии Вяч.Иванова, А.Белого» (Русская литература, 1989, №3, с. 109). Очевидно, что упоминание этих имен в заметке о Степуне имело единственной целью придать вес его издательскому начинанию — средство тем более негодное, что Иванов и Белый не только не были инициаторами и активными авторами «Логоса», но и отрицательно относились к союзу «логосцев» и «мусagetцев» (см. об этом дальше).

<sup>82</sup> Письмо от 21 января 1912 г. (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 35, л. 10об.).

<sup>83</sup> Еще осенью 1911 г. Белый определял свои отношения с «логосцами» как «сложные» (ГТБ, ф. 634, ед. хр. 57, л. 20) и амбивалентные: «одновременные союз и борьба» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка... с. 274).

<sup>84</sup> Литературное наследство, 1982, т. 92, кн. 3, с. 394.

<sup>85</sup> См.: Андрей Белый. Начало века... с. 359.

<sup>86</sup> Впоследствии Метнер вспоминал, что статья Яковенко «была набрана и представлена литературному комитету в корректурах. Большинство голосов было решено эту статью не печатать» (ГБЛ, ф. 167, карт. 9, ед. хр. 11, л. 9). Судя по письму Яковенко к Метнеру от 18 октября 1912 г., автору «Донкихотства» первоначально предлагалось внести в статью изменения (там же, карт. 14, ед. хр. 63, л. 10).

<sup>87</sup> О предполагаемом (ограниченном) участии Бердяева и Булгакова в журнале Белый писал в марте 1912 г. Блоку (см.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка... с. 288). Комментаторы письма сообщают, что этот замысел не осуществился (см.: там же, с. 290; Литературное наследство, 1982, т. 92, кн. 3, с. 395) — указание не совсем точное: в последней (8-й) тетради «Трудов и дней» (1916) была опубликована работа Бердяева «Гносеологические размышления об оккультизме».

<sup>88</sup> Из письма Яковенко к Метнеру от 20 ноября 1912 г. (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 63, л. 14).

<sup>89</sup> Там же, л. 14об.

не может принципиально противоречить задачам «Тр. и Дней» <...> Если мои взгляды противоречат целому ряду членов «Тр. и Дней», то это ведь еще не значит, что они противоречат самому журналу. Ведь несогласные могут опровергать, ниспровергать и т.п.»<sup>90</sup>. Тогда же, в ноябре 1912 г., Яковенко случайно узнает, что в № 4-5 «Трудов и дней» будет печататься статья Белого «Круговое движение (Сорок две арабески)» — резко полемическое выступление против неокантианства. Глубоко возмущенный готовящимся выпадом, Яковенко просит Метнера задержать выход этого номера журнала до тех пор, пока не выяснится, можно ли будет здесь же поместить свои возражения Белому: «То, что Белый наложил запрет на «Донкихотство», есть признак отрицательный. <...> «Донкихотство» для меня случайно, и я за него *совсем* не держусь... Но ведь будет нелепо и необъяснимо <...> если Белый будет ругать дорогое мне в органе, с которым я тесно связан; я же не буду в состоянии защищать это дорогое мне и ругать Белого»<sup>91</sup>. Ситуация была чревата разрывом с «логосцами», чего Метнер ни в коем случае не мог допустить: уход неокантианцев из «Мусагета» упрочил бы в нем позиции антропософов. (Многие ведущие «мусаетцы» в это время находились под сильным влиянием доктрины Р.Штейнера, и Метнер, который еще осенью 1910 г. был обеспокоен усилением среди единомышленников толков о превращении издательства в мистическое братство<sup>92</sup>, делает все, чтобы предотвратить «штейнеризацию» платформы «Мусагета» Белым и Элисом<sup>93</sup>.)

Инциденты со статьями Яковенко и Белого явились подходящим формальным поводом для устранения последнего от редактирования «Трудов и дней», т.е. для ослабления антропософского крыла в издательстве<sup>94</sup>. «Бугаев, не разрешая *Донкихотство* и предлагая *Арабески*<sup>95</sup>, — писал Метнер в редакцию «Мусагета», — поступил как непримиримый в своей

<sup>90</sup> Там же, л. 15.

<sup>91</sup> Письмо от 13 ноября 1912 г. (там же, л. 11-13). Вместе с тем Яковенко признавал, что статья Белого — «художественное произведение, и не опубликовать ее <...> грех великий, несмотря на всю наполняющую ее собою ругань...» (письмо к Метнеру от 20 ноября 1912 г. — там же, л. 15 об.).

<sup>92</sup> В письме к Белому от 17 сентября 1910 г. Метнер высказывал опасение, «как бы не стали говорить, что мусаетчики новая секта...» (там же, ф. 25, карт. 20, ед. хр. 6, л. 2об.).

<sup>93</sup> См., напр.: А.В.Лавров. «Труды и дни»... с. 204-205.

<sup>94</sup> Нужно учесть к тому же, что Метнер очень дорожил сотрудничеством Яковенко в издательстве: так, 21 марта 1911 г. он писал Белому, что «аннексию» Яковенко, «чистейшего рожденного философа», считает «огромным культурным приобретением» для «Мусагета» (ГБЛ, ф. 25, карт. 20, ед. хр. 7, л. 6об.), а в письме к В.Ф.Ахромовичу от 16 ноября 1912 г. (по сути дела это было письмо в редакцию «Мусагета») называл Яковенко «очень большой ценностью» (там же, ф. 167, карт. 13, ед. хр. 6, л. 25).

<sup>95</sup> Так в переписке «мусаетцев» сокращенно называлась статья Белого «Круговое движение (Сорок две арабески)».

эгокоммуникативности сектант. < ... > Личные симпатии к гениальному, милому, но беснующемуся Бугаеву должны уступить справедливости и принципу толерантности, без которых Мусaget я себе не представляю»<sup>96</sup>. В тот же день Метнер сообщает Яковенко, что даст ему «возможность реваншироваться ответной статьей»<sup>97</sup>, и выговаривает Белому: «Вашего протеста против статьи Яковенко о Бердяеве я не ожидал. < ... > Вы сами позволили себе ряд эксцессов против ныне Вам ненавистного кантианства»<sup>98</sup>; я полагал, что Вы сохраните толерантность к резкой отповеди противной стороны, которая в лице Яковенки имеет своего представителя в *Мусagete*, достаточно широком, чтобы вместить и ценное в неокантианстве»<sup>99</sup>.

Принятое Метнером решение в окончательном виде сводилось к следующему: в № 4-5 «Трудов и дней» помещаются, во-первых, объявление о том, что Белый из-за «частых переездов» слагает с себя обязанности редактора журнала, во-вторых, статья Белого против неокантианства и, в-третьих, открытое письмо Степуна к Белому, подвергающее эту статью «весьма почтительной, очень доброжелательной, но основательной < ... > критике» (письмо Степуна было одобрено Метнером, Киселевым, Рачинским и должно было, по мнению автора, удовлетворить Гессена); в № 6 «Трудов и дней» могут быть помещены, во-первых, ответ Белого Степуноу и, во-вторых, отклик Яковенко на статью Белого<sup>100</sup>.

10 декабря 1912 г. Метнер писал Белому: «Прошу Вас не обижаться на статью Степуна; она должна быть напечатанной; Вы можете ему ответить! Но он Вас *очень* любит и страшно высоко уважает»<sup>101</sup>; 29 декабря вновь просил Белого не сердиться на ответ Степуна<sup>102</sup>, а в письме к Гессену выражал надежду, что этот ответ удовлетворит его «за истерику Бугаева, направленную на ненавистное Штейнеру неокантианство»<sup>103</sup>. Вероятно, форма разрешения конфликтной ситуации удовлетворила и Яко-

<sup>96</sup> Письмо к В.Ф.Ахрамовичу от 16 ноября 1912 г. (ГБЛ, ф. 167, карт. 13, ед. хр. 6, л. 25-26).

<sup>97</sup> Там же, л. 27.

<sup>98</sup> Ср. в письме Метнера к Белому от 20 декабря 1912 г.: «Вы < ... > обрушиваетесь на все кантианство (кот. защищали несколько месяцев тому назад) только потому, что штейнеровская вода крещения смысла с Вас кантианство и что последнее прямо ненавистно Штейнеру» (там же, л. 56).

<sup>99</sup> Там же, л. 29.

<sup>100</sup> Там же, л. 51-52.

<sup>101</sup> Там же, л. 91.

<sup>102</sup> Там же, л. 95.

<sup>103</sup> Там же, л. 93. Добрые отношения с Гессеном Метнеру нужно было сохранить, в частности, потому, что, собираясь опубликовать свой критический этюд, направленный против штейнерианства, он рассчитывал на связи Гессена с петербургскими издателями: «Мне важно, — писал он Гессену 19 февраля 1913 г., — чтобы *Этюд* вышел не в Мусagете, но в каком-нибудь солидном издательстве. Работу свою я проведу сквозь философскую цензуру Яковенки и Степуна; конечно, прошу и Вашей критики» (там же, ед. хр. 7, л. 33). Пере-

всего: его отклик на статью Белого не появился ни в № 6 «Трудов и дней», ни позже; таким образом, со стороны «логосцев» печатная полемика по поводу неокантианства началась и завершилась репликой Степуна.

Больше «логосцы» в «Трудах и днях» не печатались, а в 1914 г. этот журнал оповестил своих читателей о том, что контора «Мусгета» не принимает подписки на «Логос» ввиду перехода последнего к Товариществу М.О.Вольфа<sup>104</sup>.

Степун, признававший определенную правоту «мусгетцев», отказавшихся от издания философского журнала («Наши громоздкие кирпичи < ... > не только по содержанию, но и стилистически мало гармонировали с устремлениями «Мусгета»<sup>105</sup>), вспоминал, что на невозобновлении контракта настоял Белый, который «ненавидел всякое культуртрегерство»<sup>106</sup>. Ох-

говоры Гессена по поводу книги Метнера с издательством «Образование» (см. письма Гессена к Метнеру от 25 февраля и 2 марта 1913 г. — там же, карт. 14, ед. хр. 2, л. 36-37) успеха не имели, и в августе 1914 г. метнеровские «Размышления о Гете. Кн. 1: Разбор взглядов Р.Штейнера в связи с вопросами критцизма, символизма и оккультизма» увидели свет в «Мусгете».

<sup>104</sup> О том же «Логос» уведомлял своих подписчиков в №3-4 за 1913 г.

<sup>105</sup> Ф.Степун. Бывшее и несбывшееся... т. 1, с. 283. Ср. размышления Степуна о языке и стиле его собственных работ эпохи «Логоса»: «Приняли ли бы Вы, — писал он Л.Я.Гуревич, — такой фельетон, как «Философия Ландшафта», или нет? Немцы напечатали его в «Frankfurter Zeitung». Но, быть может, он был бы для России все же слишком труден и, так сказать, «жаргонен» (ИРЛИ, 20.094/СХХХV 164, л. 7). Вместе с тем эта статья («К феноменологии ландшафта») оценивалась им самим как удачная (там же, л. 130б.). В русском варианте она была помещена в №2 «Трудов и дней» за 1912 г. (в письме к Метнеру от 24 июля 1912 г. Степун просил извинения за то, что поместил ее во «Frankfurter Zeitung» без разрешения Метнера как редактора «Трудов и дней» — ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 45, л. 7), и тем более не делалось уступок неискренности отечественного читателя в новейшей философской проблематике и терминологии («жаргоне») при написании и отборе работ для «Логоса». Главным критерием здесь был (за редкими исключениями — вроде случая со статьей Г.А.Ландау, о чем см. ниже) уровень философского профессионализма авторов; ср. мотивировку отклонения редакцией «Логоса» статьи К.Эрберга (в письме к нему Метнера от 3 мая 1912 г.): «...Логос Вашей статьи напечатать не может, ибо она по изложению своему, точнее по диалектической форме своей, не отвечает требованиям ежегодника научной философии; несомненно, если бы Вы написали на ту же тему и изложили бы те же мысли, но — имея в виду специализм написали на ту же тему и изложили бы те же мысли, но — имея в виду специализм Логоса, то Ваша статья вполне подошла бы» (ИРЛИ, ф. 474, ед. хр. 193, л. 1-2). В этом же письме Эрбергу обещалось, что другая его статья — «Искусство — вожатый», написанная для «Трудов и дней», будет опубликована (там же, л. 2-2об.). Руководители «Трудов и дней» оценили ее невысоко: «не ахти-что» — таков был отзыв Метнера (цит. по: А.В.Лавров. «Труды и дни»... с. 206), «не ахти какая» — отзыв Белого (цит. по: А.Блок. Письма к Конст. Эрбергу (К.А.Сюннербергу)/ Публ. С.С.Гречишкина, А.В.Лаврова. — Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979, с. 156), однако в №3 за 1912 г. статья все-таки была напечатана — пример, хорошо иллюстрирующий разницу в принципах отбора материалов для двух «мусгетских» журналов.

<sup>106</sup> Ф.Степун. Бывшее и несбывшееся... т. 1, с. 283-284. Ср. также в его эссе о Белом: «...он азвивался против философии кантианского «Логоса» в отместку

лаждение, а затем враждебное отношение Белого к «Логосу» имело, однако, и другие, более частные и личные основания: с 1911 г. писатель все больше сближается с «путейцами»<sup>107</sup>, а кроме того, борьба с «засилием» неокантианцев, которых он уже в апреле 1912 г. считал «врагами символизма»<sup>108</sup>, во многом велась им в пику Метнеру, поддерживавшему журнал<sup>109</sup>.

Разрыв «логосцев» и «мусаетцев» был предreshен и факторами внеидеологического и внеличного порядка. Расходы по «Логосу» за первые два года издания<sup>110</sup> могут показаться скромными, но следует принять в расчет, что, во-первых, «Мусает» с самого начала своей деятельности был сильно стеснен в средствах (так, на все финансовые операции 1910 г. ему было отпущено всего 22 тыс. р.<sup>111</sup>) и, во-вторых, журнал расходился плохо. В письме к Метнеру от 6 сентября 1910 г. Гессен, сообщая об успехе первой книжки «Логоса» у специалистов, отмечал: «Только одно неудачно: малое количество проданных экземпляров. Я это приписываю позднему выходу и плохому представительству «Мусаета» в Петербурге (где продано только 50 экз.!) и провинции. С.В.Лурье тоже удивляется: он думал, что мы продали по меньшей мере тысячу экземпляров»<sup>112</sup>. В дальнейшем, возвращаясь к этому эпизоду, Гессен писал Метнеру: «Оказывается, через два месяца (даже меньше) после выхода первой книжки «Логоса» она в довольно значительном количестве экземпляров появилась у букинистов», которые предлагали ее по сниженной цене, чем внушали «недоверие к изданию»<sup>113</sup>. «Вы должны, мне кажется, — заключал Гессен, — провести серьезное расследование. Не находится ли это обстоятельство в связи с историей с бесплатными экземплярами?»<sup>114</sup>. В соответствии с договором между «Логосом» и «Мусаетом» часть тиража журнала должна была рассылаться бесплатно<sup>115</sup>,

за то, что, наскоро усвоенная им в особых, прежде всего полемических целях, она исподтишка начинала мстить ему, связывая по рукам и ногам его собственное вольно-философское творчество» (Ф.Степун. Встречи... с. 166-167).

<sup>107</sup> Еще в конце 1910 г. предполагалось, что Белый примет участие в первом сборнике «Пути» (см.: Литературное наследство, 1982, т. 92, кн. 3, с. 375).

<sup>108</sup> Там же, с. 395.

<sup>109</sup> Впоследствии Белый вспоминал: «...Метнер, оставшийся за рубежом без всякого культурного дела <...> мог бы работать у нас, если б вовремя аял он мне, дал бы возможность нам развернуть «наше» дело — по-нашему, не прицепляя «последышей» Зиммеля в виде троечки «настоящих» философов: Федора Степуна, Яковенко и Гессена...» (Андрей Белый. Между двух революций... с. 342).

<sup>110</sup> См. приложение 2 к настоящей статье. Аналогичные документы за последующие годы нами не обнаружены.

<sup>111</sup> См.: Г.А.Толстых. Издательство «Мусает»... с. 117.

<sup>112</sup> ГБЛ, ф.167, карт.14, сд.хр.2, л.11. В письме к Метнеру от 2 ноября 1910 г. Гессен предлагал поправить дела журнала организацией с 1911 г. подписки (там же, л. 12).

<sup>113</sup> Письмо от 20 июня 1912 г. (там же, л. 25об.).

<sup>114</sup> Там же, л. 24а.

<sup>115</sup> См. приложение 1 к настоящей статье.

однако на практике это условие нарушалось. «От Степуна получил известие, — сообщал Гессен Метнеру 28 мая 1912 г., — что *немецкие редактора* до сих пор не получили последней книжки «Логоса». Думаю, что при 350 даровых экземплярах это по меньшей мере странно. Между прочим, эта странность повторяется регулярно при каждой книжке. Многих обыкновенно усилий стоит выключивать редакторам причитающиеся им экземпляры. Напоминаю на всякий случай адрес Кронера < ... > куда следует послать 2 экз. (для него и Мелиса) < ... > Эту просьбу я повторяю относительно последней книжки по меньшей мере в 5-й раз. Подсчитайте, сколько труда, чернил, хлопот должно было уйти, чтобы подвигнуть на рассылку 350 даровых экземпляров. Поистине — труд, достаточный для сотворения новой Вавилонской башни»<sup>116</sup>. В небрежении к судьбе журнала (если не в прямых злоупотреблениях) «логосцы» винули секретаря «мусagetской» редакции А.М.Кожебаткина<sup>117</sup>. Так, 22 декабря 1912 г. Гессен писал Метнеру: «Кожебаткин хочет послать «Логос» в Петерб. лишь после 10-го января. Я считаю этот план ни на чем не основанным и возмутительным с точки зрения интересов «Логоса». Надо «Логос» послать *немедленно*, т.к. дни от 27-го дек. до 31-го самые бойкие в торговом отношении»<sup>118</sup>.

Просчеты и промахи в организации рекламы, доставки, торговли и пр. не шли, однако, ни в какое сравнение с главными причинами малого спроса на журнал — высокой ценой за номер<sup>119</sup> и чрезмерно большим для столь специального издания тиражом. В последней книжке «Логоса», вышедшей в 1914 г., сообщалось о продаже в магазинах Товарищества М.О.Вольфа полных комплектов журнала за 1910-1913 гг. и о возможности для подписчиков приобрести старые номера со скидкой в 10%.

Финансовые взаимоотношения «Логоса» и «Мусagета», небезмятежные уже в первые годы их сосуществования (так, «логосцам» регулярно выговаривали за увеличение производствен-

<sup>116</sup> ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 2, л. 11.

<sup>117</sup> Уже 6 декабря 1910 г. Б.А.Кистиковский жаловался Гессену, что Кожебаткин прислал ему меньше, чем положено, авторских оттисков статьи в «Логосе» (там же, ед. хр. 19); 23 февраля 1912 г. Яковенко просил Метнера повлиять на Кожебаткина с тем, чтобы М.М.Рубинштейну был выплачен обещанный гонорар (там же, ед. хр. 63, л. 8-9). Нерадивость и небескорыстный авантюризм Кожебаткина — постоянная тема переписки «мусagetцев». В конце 1912 г. его отстраняют от должности, чему, как писал Метнер Блоку 6 декабря 1912 г., «рады, кажется, все, кроме него самого, хотя он и делает вид, будто ушел вполне по своей воле» (там же, карт. 13, ед. хр. 6, л. 75).

<sup>118</sup> Там же, карт. 14, ед. хр. 2, л. 27-28. Метнер 29 декабря 1912 г. писал Гессену, что Кожебаткина, возможно, «*нарочно* не отослал *Логос*», и сообщал об отставке Кожебаткина (там же, карт. 13, ед. хр. 6, л. 93).

<sup>119</sup> Первые книжки «Логоса» стоили по 2 р. (1910, № 1, 2; 1911, № 1), следующие (сдвоенные) — 2 р. 50 к. (1911-1912, № 2-3; 1912-1913, № 1-2) и 3 р. 50 к. (1913, № 3-4). После перехода к Товариществу М.О.Вольфа была установлена годовая подписная цена — 6 р. для подписчиков в России и 7 р. для зарубежных подписчиков.

ных расходов на издание вследствие превышения планового объема номеров), ухудшаются к 1913 г. Лейтмотивом переписки редакторов журнала становится вопрос об источнике средств на погашение долгов издательству и на выпуск очередного номера. Дело доходит до того, что Гессен, прежде решительно чуждавшийся каких бы то ни было компромиссов при оценке материалов для журнала, соглашается опубликовать в №3-4 за 1913 г. слабую статью Г.А.Ландау, имея виды на материальную помощь автора «Логосу»: «Во-первых, — пишет Гессен Метнеру, — Ландау все равно оплачивает половину своей статьи тем, что не берет за нее *никакого* гонорара<sup>120</sup>. Во-вторых, это человек очень мнительный. < ... > я действительно рассчитываю на его финансовую поддержку (потому я, собственно, и рекомендовал — *contre coeur* — поместить его статью). Я очень надеюсь, что он даст на «Логос» несколько сот рублей»<sup>121</sup>.

В этом же письме Гессен сетовал на то, что из всей редакции он один занят поиском средств для издания «Логоса»<sup>122</sup>. Понимая, что с «Мусагетом» придется расстаться, Гессен уже в начале 1913 г. сообщает Метнеру, что обдумывает предложение выпускать «Логос» в издательстве «Образование»<sup>123</sup>, а 29 октября 1913 г. пишет, что ведет переговоры с Товариществом М.О.Вольфа, согласным заключить двухгодичный контракт на следующих условиях: журнал выходит четырежды в год (15 января, 15 марта, 15 сентября и 15 ноября) выпусками по 10 листов<sup>124</sup>; Товарищество дает ежегодно 3600 р. на издание и 675 р. на гонорары, остальные 700 р. достает сама редакция, участвующая в прибылях в размере 3600 : 700; Товарищество не вмешивается в программу журнала, «требуя только большей популярности и отсутствия чрезмерно обширных и тяжеловесных статей». Гессен выражал надежду на то, что возможный

<sup>120</sup> Имеется в виду примерное равенство сумм, расходуемых на вознаграждение автору за статью в «Логосе» и на ее издание: 1 печ. лист — 40 р.

<sup>121</sup> Письмо от 29 октября 1912 г. (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 2, л. 43об.-44).

<sup>122</sup> Там же, л. 44.

<sup>123</sup> «Образование», — писал Гессен Метнеру 4 января 1913 г., — предлагает мне издавать «Логос» как журнал — 4 раза в год по 10 листов, — требуя только в качестве гарантий на два года 3000 рублей. Эти деньги должны быть даны не наличными, а *верными* обязательствами, и будут они требовать фактически лишь соответственно сумме действительных убытков. Буде убытки превысят эту сумму, все же все, что выше ее, покрывает «Образование». Хотя 3000 обязательствами, а не наличными легче найти; хотя «Образование» несомненно значительно расширит круг читателей «Логоса», — все же мы решили пойти на эти предложения в самом крайнем случае, а пока искать, где только можно, денег для передачи их «Мусагету». Я предпринимаю кое-какие шаги. Между прочим, собираюсь обратиться к Терещенко. < ... > Больше всего желаю сохранения «Логоса» в «Мусагете» (там же, л. 31-31об.). Промышленник М.И.Терещенко в октябре 1912 г. основал в Петербурге издательство «Сирин»; о намерениях связаться с ним Гессен сообщал Метнеру также 17 и 25 февраля 1913 г. (там же, л. 35об.-36).

<sup>124</sup> Ср. условия, предлагавшиеся «Образованием» (примеч. 123).

доход пойдет на погашение долгов «Мусажету» и что спустя два года «Логос» вернется к этому издательству. Склоняясь к заключению контракта, Гессен писал: «Я вполне понимаю, что условия Вольфа тяжелые (хотя я из его расчета вижу, что Вольф не ищет и не надеется на прибыль, а только не хочет рисковать слишком многим). Но условия Вольфа — единственные. Несмотря на усиленные поиски, мне не удалось нигде найти лучших условий. (Я не говорю о том, что — в смысле пространства — лучшего издателя для «Логоса» нельзя придумать). Так что вопрос стоит: или Вольф, или «Логос» вообще гибнет. Но ведь этого нельзя допустить. Это было бы ведь позорно»<sup>125</sup>.

Договор был подписан, и 12 декабря Гессен извещал Метнера: «Новый «Логос» в полном ходу. Уже набирается половина №-а. Он выйдет ровно 15 января. Степуну поручено мною осведомлять Вас о всем, касающемся нового «Логоса», в качестве члена редакции»<sup>126</sup>.

Сменив марку издательства, «Логос», однако, просуществовал недолго: свет увидели лишь два первых выпуска, сброшюрованные в один том с общей пагинацией. Причины прекращения издания не установлены, но главной была, вероятно, чисто внешняя: вступление России в войну с Германией делало невозможным выпуск русского журнала, пропагандирующего идеи современной немецкой философии.

Метнер, чье имя, несмотря на разрыв «Логоса» с «Мусажетом», сохранилось в списке руководителей журнала<sup>127</sup>, в начале войны оказался в Германии, был интернирован, переехал в Цюрих и больше в Россию не вернулся. За границей остались и другие редакторы «Логоса»<sup>128</sup>. В 1929 г., узнав адрес Метнера, Гессен писал ему из Парижа: «Я очень и очень часто о Вас вспоминаю. «Мусажет» и Вы — одни из самых дорогих воспоминаний в моей жизни»<sup>129</sup>.

Серьезное изучение истории усвоения в России идей баденской и марбургской школ, философии жизни Дильтея и Зим-

<sup>125</sup> ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 2, л. 44об.-45.

<sup>126</sup> Там же, л. 47. В письмах от 29 октября, 12 и 22 декабря 1913 г. Гессен предлагает Метнеру ускорить выход в свет последней «мусажетской» книжки «Логоса» (там же, л. 45, 47-49) и обещает уговорить Товарищество М.О.Вольфа задержать до тех пор появление «нового «Логоса»»; правда, пишет он, «задача эта — чрезвычайно трудная, т.к. Вольф искренне убежден, что срок выхода нового «Логоса» совершенно безразличен для успеха или неуспеха старого. Ведь центр тяжести нового «Логоса» в подписке, а рассылка подписчикам нового «Логоса» не отразится ничуть на покупке старого. Розничную продажу Вольф во всяком случае задержит на более или менее долгий срок» (там же, л. 48-49).

<sup>127</sup> В 1914 г. в их число вошел также В.Э.Сеземан.

<sup>128</sup> В 1925 г. была предпринята попытка возобновить издание журнала в Праге. Об изменении дореволюционной платформы «Логоса» см.: А.А.Ермичев. Трансцендентализм «Логоса» и его место в истории русского идеализма начала XX века. — Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 6. 1986, вып. 3, с. 35.

<sup>129</sup> Письмо от 19 августа 1929 г. (ГБЛ, ф. 167, карт. 14, ед. хр. 2, л. 50).



меля, феноменологии, эмпириокритицизма и пр. вряд ли возможно без активного обращения к материалам, опубликованным на страницах «Логоса» (и к выступлениям «логосцев», помещенным в других изданиях того времени)<sup>130</sup>.

Эти работы — переводы, обзоры, рецензии — не только знакомили русского читателя с достижениями современной западной мысли, но и, стимулируя дискуссии, содействовали самоопределению отечественной философии. В полной мере оценить вклад русских неокантианцев в процесс становления философской культуры в России еще предстоит. Настоящая статья, посвященная не столько уяснению «духовной» роли «Логоса», сколько описанию в самом общем виде его «материальной» истории, может считаться лишь скромным подступом к этой большой теме.

---

<sup>130</sup> См., например.: А.Ю.Тооль. К восприятию философии В.Дильтея в России. — Учен. зап. Тарт. гос. ун-та, 1987, вып. 787, с. 116–131; Ю.Й. Матьюс. К истории восприятия феноменологии Э.Гуссерля в России. — Там же, с. 132–165.

**<ДОГОВОР ОБ ИЗДАНИИ ЖУРНАЛА «ЛОГОС»  
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «МУСАГЕТ»><sup>1</sup>**

Москва, 2-15 ноября 1909 г.

С.И.Гессен (СПб.) и Ф.А.Степпун (Москва) в качестве представителей международного редакционного комитета «Логоса», с одной стороны, и Э.К.Меттнер (Москва) в качестве представителя издательской фирмы «Мусагет», с другой, заключили между собой соглашение о следующем:

§1. Фирма «Мусагет» в Москве берет на себя издание периодического органа под названием:

«Л о г о с»  
международные периодические сборники  
по философии культуры  
Русское издание  
При ближайшем участии:

Лосского, Лапшина, Франка, Лаппо-Данилевского, Струве, Кистяковского, Зелинского, Гревса, Вернадского<sup>2</sup>

Редакторы: С.И.Гессен (СПб.)

Ф.А.Степпун (Москва)

Издатель-редактор: Э.К.Меттнер (Москва)

имеющего целью в доступной для широких кругов форме способствовать созданию и укреплению научно-философской культуры в России путем ознакомления России с философской традицией Запада, а также развития самостоятельных философских начинаний.

§2. Русская редакция «Логоса» во всех редакционных делах пользуется полной самостоятельностью, будучи связана лишь международным редакционным комитетом. Она состоит из следующих лиц: С.И.Гессена (СПб.), Ф.А.Степпуна (Москва) и Э.К.Меттнера (Москва). Каждое из названных лиц равно пользуется всеми правами члена русской редакции. В случае разногласия между членами русской редакции как по вопросу принятия рукописей, так и по другим редакционным делам<sup>3</sup>, спор, согласно статутам международного редакционного комитета, решается этим последним большинством голосов. Из трех названных членов русской редакции Э.К.Меттнер, кооптированный в члены ее лишь русской редакцией, не является впредь до кооптации его всеми членами международного комитета членом последнего. Вопрос о кооптации его в члены международного ко-

митета должен быть решен при ближайшей к тому возможности на основании личного знакомства его со всеми членами названного комитета.

§3. Настоящее соглашение не устанавливает для международного редакционного комитета «Логоса» никаких ограничений в вопросе об основании в течение ближайших лет каких-либо иных изданий «Логоса», кроме уже существующих русского и немецкого.

§4. «Логос» выходит в России 2 раза в год (весною и осенью) книжками по 15 печ. листов каждая (печ. лист заключает в себе 40 000 букв). По особому соглашению с издательством «Мусагет» редакция может участить выход русского издания «Логоса» в случае, если к тому представится надобность.

§5. Шрифт, формат, бумага и обложка русского издания «Логоса» должны соответствовать немецкому. Помещаемые в каждой книжке «Логоса» обзоры иностранной филос. литературы печатаются шрифтом более мелким. Издательство может, исходя из соображений изящества и удобства, уменьшить количество букв печ. листа. В таком случае, однако, соответственно уменьшается количество печ. листов каждой книжки.

§6. Первая книжка «Логоса» выйдет в свет не позже 1-го марта (ст. ст.) 1910 года. Она печатается в количестве 3000 экземпляров. Количество экземпляров последующих книжек устанавливается в зависимости от условий распродажи первой книжки. Для переиздания какой-нибудь книжки «Логоса» в случае ее полной распродажи необходимо соглашение на то русской редакции. Условия переиздания вырабатываются особо.

§7. Издательство передает в распоряжение редакционного комитета еще до выхода в свет соответствующей книжки «Логоса», а именно немедленно по сдаче рукописей<sup>4</sup>, сумму по расчету 60 руб. за печ. лист (в 40 000 букв) — словами: шестьдесят рублей. Определение и выплата гонорара предоставляется всецело редакционному комитету. Кроме указанного в §7 денежного обязательства, издательство «Мусагет» не несет на себе никаких денежных обязательств по отношению к редакторам «Логоса».

§8. Каждый сотрудник «Логоса» может получить по 25 оттисков своей статьи без особой нумерации страниц и не непременно отпечатанных на той же бумаге, что и книжки «Логоса». Дополнительные оттиски в случае желания издательство печатает по цене в \_\_\_\_\_ коп.<sup>5</sup> за печатный лист в 40 000 букв.

Количество даровых экземпляров, предоставляемых редакции, а также количество рецензионных экземпляров устанавливается совместно редакцией и издательством. Каждый член русской редакции получает не менее 3, остальные члены редакционного комитета не менее одного дарового экземпляра.

§9. Установление подписной платы предоставляется издательству. В случае основания философского общества «Логос» редакции предоставляется право выписывать экз. «Логоса» для членов названного общества по удешевленной цене (– 25%). В таком случае на обложке «Логос» будет обозначен органом названного общества.

§10. Издательство несет на себе все возможные убытки по изданию «Логоса». В случае если по истечении 2-х лет с начала издания чистый доход с издания за 2 года превысит сумму 2000 рублей, редакции предоставляется 50% чистого дохода. В противном случае самому издательству предоставляется определить долю участия редакции в доходах с издания «Логоса».

§11. Набор, клише, отпечатанные экземпляры и т.п. составляют собственность издательства.

§12. Настоящее соглашение действительно в течение 2-х лет. До выхода последней книжки «Логоса» на основании настоящего соглашения стороны решают вопрос о возможном продолжении его на новый срок. При этом издательство «Мусaget»<sup>6</sup> обязано перед редакцией полной финансовой отчетностью (на основании подлинных документов, как счетов, книжных записей и т.д.) по изданию «Логоса». На основании этого материала редакция может искать лучших условий издания.

Идея «Логоса» составляет достояние редакции. Редакция может передать издание «Логоса» по истечении 2-летнего срока какой-либо иной фирме. В случае, однако, если условия, предложенные этой иной фирмой, не выгоднее предложенных издательством «Мусaget», за последним (или за его правопреемниками) остается право издания «Логоса». В случае если право издания «Логоса» перейдет в иные руки, издательство «Мусaget» не может издавать никакого издания под тем же названием<sup>7</sup>.

В пар.7 вписано: «а именно немедленно по сдаче рукописей».

В пар.2 вписано: «как по вопросу о принятии рукописей, так и по другим редакционным делам».

Сергей Осипович Гессен  
Федор Августович Степпун  
Эмилий Карлович Метнер

<sup>1</sup> ГБЛ, ф. 167, карт. 17, ед. хр. 27. Текст документа отпечатан на машинке на трех листах (два первых заполнены с обеих сторон); имеются рукописные вставки черными чернилами и исправленные опечатки простым карандашом. Название документа в его тексте отсутствует, здесь дается условное. Исправления опечаток (за исключением авторского) не оговариваются; пунктуация и ор-

фотография текста приводятся в соответствие с современными нормами; написание собственных имен сохраняется и не унифицируется.

<sup>2</sup> Под астериском примечание авторов документа: «Список ближайших сотрудников может быть пополнен или изменен русской редакцией «Логоса»».

<sup>3</sup> Текст со слов «как по вопросу...» вписан от руки черными чернилами.

<sup>4</sup> Текст со слов «а именно...» вписан от руки черными чернилами.

<sup>5</sup> В тексте публикуемого экземпляра документа (другие не обнаружены) размер цены не проставлен.

<sup>6</sup> В тексте — «Музагет», на полях напротив — карандашное исправление.

<sup>7</sup> Весь последующий текст написан от руки черными чернилами.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### ОТЧЕТ РЕДАКЦИИ «ЛОГОС» за 1910–1911 года<sup>1</sup>

#### №1

Р.Кронеру . . . . .	150,00
Перевод редакц. статьи на немецк. яз. через Ф.Степпуна . . . . .	20,00
С.Гессену (редакц. статья, перевод статьи Риккерта и отчасти Бутру, статья «Мистика и метафизика») . . . . .	238,00
Ф.Степпуну (редакц. статья, «Трагедия творчества») . . . . .	118,25
Б.Кроче . . . . .	41,00
Э.Бутру . . . . .	76,00
Б.Яковенко (статья «Г.Коген», обзор немецк. философии) . . . . .	122,98
И.Штрауху (перевод статей Фосслера и Кронера) . . . . .	62,10
Редакционные расходы (переписка на машине, почта и др.) . . . . .	34,40
Поездка С.Гессена в Москву . . . . .	26,00
	<hr/>
	888,73

## №2

Г-же М.Степпун (перевод статьи И.Кона)	50,00
С.Гессену (" - Виндельбанда)	27,75
Ф.Степпуну (" - Иоэля и Зиммеля)	33,00
Г-же Грюнвальд (" - Кроче)	18,50
С.Франку	83,00
Б.Яковенко (перевод статьи Трольча и обзор итал. фил.)	68,50
Г.Гордону (перевод статьи Циглера)	61,10
Б.Кистяковскому	82,60
Г-ну Бугаеву	42,00
Р.Кронеру	185,92
Поездка С.Гессена в Москву	15,00
Редакционные расходы (переписка, почта)	23,75
	<hr/>
	619,12

## №3

Гордону (перевод части статьи Гуссерля)	37,50
Яковенко (" - и статья «О Логосе»)	142,20
В.Сеземану (статья)	81,43
(перевод собств. статьи на немецк. яз.)	45,80
П.Струве (статья и перевод собств. статьи на немецк. яз.)	102,00
Ф.Степпуну (перевод статьи Зиммеля)	34,00
В.Иванову	39,00
Н.Лосскому	32,50
Н.Алексееву	59,00
Ф.Степпуну (перевод ст. В.Иванова на немецк. яз.)	19,75
С.Гессену (перевод собств. статьи на нем. яз.)	20,00
Почта	4,00
Переписка на машине (также и 4-й №)	15,00
	<hr/>
	632,18

## №4

Ф.Степпуну (перев. статьи Зиммеля)	41,00
С.Гессену (" - Риккерта)	89,00
Б.Яковенко (" - Вариско и статья «Что такое философия»)	105,25

Г.Ланцу . . . . .	67,80
Ф.Степпуну (статья) . . . . .	100,00
Рубинштейну . . . . .	80,00
Грюнвальд (перевод статьи Кона) . . . . .	10,00
Поездка С.Гессена в Москву . . . . .	20,00
	<hr/>
	513,05
	<hr/>

**Вознаграждение редакторам и рецензентам:**

С.Гессену (100 марок + 3 м.×19 = 57 мар. за рецензии) . . . . .	73,80
Ф.Степпуну (100 мар. + 3 м.×14 = 42 м. за рецензии) . . . . .	66,75
Б.Яковенко (100 мар. + 3 м.×33 = 99 м. за рецензии) . . . . .	93,50
Гордону (за рецензии в №№2, 3 и 4 3 м.×6 = 18 м.) . . . . .	8,50
	<hr/>
	242,55

Издательству «Мусагет» за лишние листы . . .	150,00
Общая сумма расходов за 1910-11 гг. . . . .	3117,63
Остаток от 1910-11 гг. . . . .	482,37 <sup>2</sup>
	<hr/>
	3600,00

**Авансы<sup>\*3</sup> к 20 марта 1912 г.**

М.Грюнвальд . . . . .	1,50
Б.Яковенко . . . . .	105,45
Рубинштейну . . . . .	25,00
Гордону . . . . .	19,00
Федотову . . . . .	20,00
	<hr/>
	170,95
	<hr/>

Не выплачено гонорару к 20 марта 1912 г.  
(из означенного в отчете)

Н.Алексееву . . . . .	0,40
Ф.Степпуну . . . . .	39,75
С.Гессену . . . . .	0,80
	<hr/>
	40,95
Кассовая наличность . . . . .	352,73 <sup>4</sup>
	<hr/>
С у м м а (352,37 + 170,95 - 40,95) =	482,37

<sup>1</sup> ГБЛ, ф. 167, карт. 17, ед. хр. 26. Текст документа отпечатан на машинке на двух листах (заполнены с обеих сторон); имеются рукописные карандашные графические выделения (подчеркивания) и надпись «Э.К.Метнеру» в левом верхнем углу на л. 1. Исправления опечаток и опилок, а также случаи унификации графического оформления текста не оговариваются; орфография текста приводится в соответствие с современными нормами; написание собственных имен сохраняется.

<sup>2</sup> Эта сумма подчеркнута синим карандашом.

<sup>3</sup> Под астериском примечание автора документа: «Сюда входит также гонорар переводчикам за представленные ими переводы, имеющие быть помещенными в следующих номерах».

<sup>4</sup> Эта сумма подчеркнута красным карандашом.

## П Р И Л О Ж Е Н И Е 3

### РОСПИСЬ СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА «ЛОГОС»<sup>1</sup>

#### 1910. Кн.1

От редакции

Г.Риккерт (Фрейбург). О понятии философии

Э.Бутру (Париж). Наука и философия

Р.Кронер (Фрейбург). Философия «Творческой эволюции»:

(А.Бергсон): Изложение и критика

С.И.Гессен (Петербург). Мистика и метафизика

К.Фосслер (Вюрцбург). Грамматика и история языка: К вопросу об отношении между «правильным» и «истинным» в языкознании



- Ф.А.Степун (Москва). Трагедия творчества: (Фридрих Шлегель)  
 Б.В.Яковенко (Рим). Теоретическая философия Г.Когена  
 Б.В.Яковенко (Рим). О современном состоянии немецкой философии

#### 1910. Кн.2

- В.Виндельбанд (Гейдельберг). Философия культуры и трансцендентальный идеализм  
 К.Йозель (Базель). Опасности современного мышления  
 Б.Кроче (Неаполь). О так называемых суждениях ценности  
 Г.Зиммель (Берлин). К вопросу о метафизике смерти  
 С.Л.Франк (Петербург). Природа и культура  
 Э.Трёльч (Гейдельберг). О возможностях христианства в будущем  
 Й.Кон (Фрейбург). «Страннические годы Вильгельма Мейстера»: (Их смысл и значение для нашего времени)  
 Л.Циглер (Карлсруэ). Об отношении изобразительных искусств к природе  
 Б.А.Кистяковский (Москва). Реальность объективного права: Критико-методологический этюд  
 Андрей Белый (Москва). Мысль и язык: (Философия языка А.А.Потебни)  
 Б.В.Яковенко (Москва). Итальянская философия последнего времени: Обзор

#### 1911. Кн.1

- Э.Гуссерль (Геттинген). Философия как строгая наука  
 Б.В.Яковенко (Москва). О Логосе  
 В.Э.Сеземан (Петербург). Рациональное и иррациональное в системе философии  
 П.Б.Струве (Петербург). Современный кризис в политической экономии: Его философские мотивы и проблемы  
 Г.Зиммель (Берлин). Микель Анжело: К метафизике культуры  
 Вяч.И.Иванов (Петербург). Л.Толстой и культура  
 Н.О.Лосский (Петербург). Нравственная личность Толстого  
 Н.Н.Алексеев (Москва). Русский гегельянец: Борис Николаевич Чичерин

#### 1911-1912. Кн. 2-3

- Г.Зиммель (Берлин). Понятие и трагедия культуры  
 Б.В.Яковенко (Москва). Что такое философия?: Введение в трансцендентализм  
 Б.Вариско (Рим). Субъект и действительность

- Ф.А.Степун (Москва). Трагедия мистического сознания:  
(Опыт феноменологической характеристики)  
Г.Риккерт (Фрейбург). Одно, единство и единица: (К вопросу о логической сущности числа)  
Й.Кон (Фрейбург). Ганс фон Марз: Несколько слов к проблеме стиля  
Г.Э.Ланц (Марбург). Философия Рихарда Авенариуса  
М.М.Рубинштейн (Москва). Очерк конкретного спиритуализма Л.М.Лопатина

#### 1912–1913. Кн. 1–2

- Г.Риккерт (Фрейбург). Ценности жизни и культурные ценности  
Г.Зиммель (Берлин). Истина и личность: (Из книги о Гете)  
Н.А.Васильев (Казань). Логика и металогика  
Н.О.Лосский (Петербург). Логическая и психологическая сторона утвердительных и отрицательных суждений  
Б.В.Яковенко (Москва). Об имманентном трансцендентализме, трансцендентном имманентизме и дуализме вообще: Второе, более специальное введение в трансцендентализм  
С.И.Гессен (Петербург). Философия наказания  
В.Вайцзеккер (Штутгарт). Неовитализм  
К.Фосслер (Мюнхен). Отношение истории языка к истории литературы  
Г.Мелис (Фрейбург). Формы мистики  
Д.Лукач (Будапешт). Метафизика трагедии  
А.Г.Змиев (Москва). Значение Отечественной войны в истории русского самосознания  
Э.Л.Радлов (Петербург). Гносеология Вл.Соловьева  
М.Фришгейзен-Келер (Берлин). Вильгельм Дильтей как философ

#### 1913. Кн. 3–4

- Н.Гартман (Марбург). Систематический метод  
Р.Кронер (Фрейбург). К критике философского монизма  
Ф.А.Степун (Москва). Жизнь и творчество  
Г.А.Ландау (Петербург). Объектные мотивы философских построений  
Г.Риккерт (Фрейбург). Суждение и процесс суждения  
С.О.Марголин (Петербург). К критике основных мотивов исторического материализма  
Г.Вельфлин (Мюнхен). О понятии живописности  
Г.Э.Ланц (Марбург). Вопросы и проблемы бессмертия  
Б.В.Яковенко (Москва). Современная американская философия

1914. Т.1, вып.1

Г.Э.Ланц (Москва). Свобода и сознание: (К столетию со дня смерти Иоганна Готтлиба Фихте: 29 янв. 1814 — 29 янв. 1914)

Б.В.Яковенко (Москва). Путь философского познания

Г.Риккерт (Фрейбург). О системе ценностей

П.Наторп (Марбург). Философия и психология

Ф.Ф.Зелинский (Петербург). Харита: Идея благодати в античной религии

1914. Т.1, вып.2

Н.О.Лосский (Петербург). Восприятие чужой душевной жизни

Г.Зиммель (Страсбург). Индивидуальный закон: К истолкованию принципа этики

И.А.Ильин (Москва). Учение Гегеля о сущности спекулятивной мысли

М.Н.Шварц (Петербург). Теория познания Эрнста Маха

<sup>1</sup> Ввиду ограниченности объема настоящей статьи в роспись не включено содержание разделов «Библиография», «Обзор журналов» и «Заметки». Написание имен собственных (за исключением фигурирующих в названиях работ) приведено в соответствии с позднейшей традицией или, если таковой не существует, с правилами современной транскрипции: так, личное имя венгерского философа Лукача «György» передается инициалом «Д.», т.е. «Дьердь», а не «Г.», т.е. «Георг», как это в тексте. Имена русских авторов приводятся с двумя инициалами (второй, в случае его отсутствия в тексте, восстанавливается по справочной литературе).

## С.Я.ПАРНОК И М.А.ВОЛОШИН К истории взаимоотношений

### 1

В 1915 г., когда Максимилиан Волошин находился в Париже, в письмах к нему с родины раз за разом стало упоминаться имя поэтессы и литературного критика Софьи Парнок — до этого в его переписке не встречавшееся. 6 марта это имя назвала М.П.Кювилье, 18 марта — мать поэта, Елена Оттобальдовна Кириенко-Волошина. В последующих ее письмах — от 10 мая, 15 июня, 22 июля 1915 г. — сообщалось о намерении С.Парнок (вместе с М.И.Цветаевой) приехать в Коктебель и о ее пребывании здесь. Дважды упомянула о Парнок в своих письмах Аделаида Герцык. И вот, 26(13) августа Волошин (в письме к матери) отзываясь: «Хотелось бы знать, кто это Парнок. Я ее видел когда-то давно в Петербурге мельком: она тогда бывала всегда именно с Тусей Крандиевской и была с нею, кажется, очень дружна»<sup>1</sup>.

Когда произошла эта встреча? Скорее всего, в 1906-1909 годах, когда Волошин жил, в основном, в Петербурге. Парнок же приезжала туда из Москвы в 1906 г. и жила в 1907-1908 гг., будучи замужем за литератором В.М.Волькснштейном<sup>2</sup>.

Настоящее знакомство с поэтессой произошло у Волошина в 1916 году, когда она отдыхала в Крыму. Приехав в Судак с актрисой Л.В.Эрарской в начале июня, Софья Яковлевна намеревалась пробыть здесь два месяца<sup>3</sup>. В феврале 1916 г. вышла из печати ее первая книга «Стихотворения» — и 9 июня Парнок надписала ее Волошину. Дарственная надпись довольно сдержанна: «Максимилиану Александровичу Волошину от автора»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 63.

<sup>2</sup> См.: С.Парнок. Собрание стихотворений. Вступ.статья, подготовка текста и примеч. С.В.Поляковой. Анн Арбор, 1979, с. 10. Это издание является наиболее полным посмертным собранием произведений С.Парнок. Далее: Собр. стих.

<sup>3</sup> См. ее письмо к В.А.Зайцевой от 26 мая 1916 г. (ИМЛИ, ф. 245, оп. 1, ед. хр. 11).

<sup>4</sup> Книги С.Я.Парнок, подаренные ею М.А.Волошину, хранятся в библиотеке Дома-музея М.А.Волошина в Коктебеле.

Но то, что вскоре после приезда в Крым поэтесса вспомнила «властителя Киммерии», говорит о его тогдашней популярности в Феодосии и ее окрестностях.

Возможно, Парнок собиралась посетить Коктебель тогда же, но поездка эта откладывалась. Находившийся в Коктебеле В.Ф.Ходасевич, видимо, в июле получил от Софьи Яковлевны письмо из Судак — и 22 июля, в ответном письме, одобрял ее обещание приехать в Коктебель<sup>5</sup>. Волошин, в свою очередь, не раз в то лето собирался выбраться в Судак (куда его, в частности, звали сестры Герцык), и в его записной книжке вписан тамошний адрес Парнок: «Судак, дача священ<ника> Степура-Сердюкова»<sup>6</sup>.

Встреча Парнок и Волошина состоялась, судя по всему, лишь 6 августа, уже по пути поэтессы из Судак в Москву (через Феодосию). На другой день о ее визите сообщал жене В.Ф.Ходасевич: «вчера ко мне заезжала София Яковлевна»<sup>7</sup>. В письме же к М.С.Цетлин в Париж Волошин сообщал, что «из поэтов» видел еще С.Парнок, причем «мельком»<sup>8</sup>. Однако и встреча, и стихи, по-видимому, произвели на Волошина сильное впечатление — и в следующем, 1917 году их отношения становятся все дружественнее.

Во-первых, поэт встречался с Парнок в Москве: судя по его записной книжке, был у нее на Садовой-Сухаревской (дом 2) 21 и 23 февраля<sup>9</sup>. Во-вторых, вернувшись в Коктебель, он написал статью «Голоса поэтов», посвященную С.Парнок и О.Мандельштаму. Считая, что «смысл лирики — это голос поэта», Волошин от их книг («Стихотворения» и «Камень») испытывает «волнение голоса, в который хочется вслушиваться, который хочется остановить»... В стихах Парнок он слышит «гибкое и разработанное женское контральто», в котором ноты любовного «исступления и боли» сочетаются с уклонами «грации и нежности», достойными древнегреческой «Антологии»<sup>10</sup>.

Статья была опубликована в газете «Речь» 4 июня 1917 г. — и 20 июня Софья Яковлевна, находившаяся в имении М.В.Книпер в Тульской губернии, обратилась к поэту с просьбой прислать ей газету<sup>11</sup>. А 14 августа, благодаря «за присланную заметку и за стихи», Парнок писала Волошину: «Не говоря

<sup>5</sup> ЦГАЛИ, ф. 537, оп. 1, ед. хр. 43.

<sup>6</sup> Архив Дома-музея М.А.Волошина.

<sup>7</sup> ЦГАЛИ, ф. 537, оп. 1, ед. хр. 45, л. 69.

<sup>8</sup> Собрание А.Ф.Маркова (Москва).

<sup>9</sup> Скопировано мною в 1970-х в архиве М.С.Волошиной (Коктебель). Пыне — в ИРЛИ (ф. 562).

<sup>10</sup> См.: М.Волошин. Лики творчества. Л., 1988, с. 543, 769-774 (комментарий Т.Л.Никольской и Г.А.Левинтона).

<sup>11</sup> Письма С.Я.Парнок к Волошину хранятся в фонде Волошина в ИРЛИ (ф. 562, оп. 3, ед. хр. 931).

уж о том, как мне дорога похвала из уст такого мастера стиха, как Вы, я бесконечно обрадовалась тем неподдельным человеческим дружелюбием, которое Вы проявили ко мне и которое я ценю превыше всего, — быть может, потому, что мало им избалована. Я не только польщена, но и тронута душевно Вашим поэтическим и человеческим вниманием к моей книге. Ваши мысли о незабываемости голоса — для меня очень увлекательны и я представляю себе ее развитие в блестящей статье-предисловии к целому сборнику характеристик поэтов». (К слову, Волошин думал о такой работе — и даже набросал ее план с тезисами характеристик ряда поэтов-современников).<sup>12</sup>

Какие стихи Волошин послал поэтессе? По-видимому, — «Подмастерье» (написанное 24 июня) и «Материнство» (8 июля); возможно — «Ветер с неба клочья облак вытер...» (20 июня). «Все они хороши, — отмечала Парнок, — потому что содержание их не мыслится в ином выражении, чем в найденном Вами. Они — великолепно-тяжки, — «целокупны» <...>. Милы они мне тем, что чувствую в них любовь художника к материалу, из которого он творит. Материал Ваш — упорный, грузный, — его нужно не разбивать, а *взрывать*: недаром Вы все время слышите море».

Не проходит и месяца, и Парнок (вместе с Л.В.Эрарской) снова оказывается в Крыму. 9 сентября 1917 г. она пишет из Судака В.А.Зайцевой, жене писателя Б.К.Зайцева: «Если бы не газеты, жизнь была бы совсем райская. В природе вдвойне невысказано то, что происходит сейчас». Предлагая подумать о переезде Б.К.Зайцева — «до окончания нашей славной войны» — в Феодосию, поэтесса прибавляет: «У Макса большие знакомства в Феодосии — подумай об этом»<sup>13</sup>. 16 сентября Софья Яковлевна сообщает свой адрес («Судак, дача К.Попандопуло») Волошину — одновременно посылая ему на суд «несколько стихотворений». 17 декабря А.К.Герцык упоминает в письме к Волошину, что «Соф<ья> Яковл<евна> поглощена Арменией»<sup>14</sup>; Парнок в это время начала работать — по заказу А.А.Спендиарова — над либретто оперы «Алмаст»<sup>15</sup>.

В конце 1917 года Волошин обращается в своей поэзии к теме революции, связывая ее с историей России (стихотворения «Святая Русь», «Мир», «Москва», «Петроград» и т.д.). Друзья поэта приветствовали этот поворот — порой не без радостного удивления. 14 января 1918 г. А.К.Герцык писала Волошину: «Мы с сестрой горячо сочувствуем Вашей идее издать книжку стихов о революции, — думаю, что Вы можете написать ее

<sup>12</sup> См.: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 313.

<sup>13</sup> ИМЛИ, ф. 245, оп. 1, ед. хр. 11.

<sup>14</sup> ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 409.

<sup>15</sup> Александр Спендиаров. Статьи и исследования. Ереван, 1973, с. 187; Собр. стих., с. 22.

всю сразу, и она будет заклинанием действительности, противопоставлением ей, ибо углубит ее эзотерически». Своебодное впечатление произвела на поэтессу поэма «Дмитрий Самозванец», но одновременно она находила в ней «архитектурный» недостаток. «Читала ее на днях Парнок, — добавляла Аделаида Казимировна, — она согласилась с моим впечатлением и думает, что размер должен был быть более нервный; этот ямб чересчур спокоен и повествователен». 25 января 1918 г., высказывая свое мнение о стихотворениях «Пресуществление», «Из бездны», «Демоны глухонемые», А.К.Герцык сообщала: «На этот раз Соф<ья> Як<овлевна> пишет Вам подробно свое мнение»<sup>16</sup>. Однако похоже, что это намерение не осуществилось: такого письма в волошинском архиве нет.

Лишь одна личная встреча Парнок и Волошина зафиксирована в 1918-1920 годах: 6 августа 1918 г. они оба были на вечере в доме графа Р.Р.Капниста в Судак. По воспоминаниям Григория Капниста (1908-1976), на этой встрече присутствовал А.А.Спендиаров; Волошин привез показать серию своих акварельных пейзажей<sup>17</sup>. В эти годы Софья Яковлевна не раз пользовалась библиотекой Волошина: книги пересылались с описаниями, просьбу о них Парнок «телефонировала». По-видимому, с оказией доставлялись к Волошину новые стихи поэтессы — и он не раз высказывал свое, неизменно высокое, мнение о ее творчестве.

16 мая 1918 г. Максимилиан Александрович горячо рекомендует Софию Парнок (и Аделаиду Герцык) харьковскому издателю П.Б.Краснову для альманаха «Камена»: «И ту, и другую я очень ценю, как поэтов». 19 октября 1918 г., набрасывая план лекций о русской лирике «в первые десятилетия XX века», Волошин включает С.Парнок в раздел «женская лирика» — наряду с З.Гиппиус, П.Соловьевой, А.Герцык, Черубиной де Габриак, А.Ахматовой, М.Цветаевой, М.Моравской, М.Шагинян. (Лекции, увы, не были написаны.) В более позднем наброске (видимо, январь 1921 г.) о женской поэзии Волошин, в частности, отмечал: «В женск<ом> творчестве ро<sup>е</sup>жает интуиция, оплодотворенная логикой. Отсюда необычайное совершенство формы в женск<ой> поэзии (но — не созд<ание> новых форм) и необычайн<ая> четкость подробностей: Ахматова (в среду, в три часа), Черубина («Исповедь»), Парнок («Разве мыслимо рысь приручить?»)<sup>18</sup>. 25 ноября 1919 г. в письме к молодой поэтессе Вере Сгуриди (в Екатеринодар) Волошин советовал ей учиться у «последних поэтов» — С.Парнок,

<sup>16</sup> ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 409.

<sup>17</sup> Г.Р.Капнист. Листья. — Архив Дома-музея М.А.Волошина.

<sup>18</sup> Стихотворение Парнок, вошедшее в ее книгу «Музыка» (М., 1926, с. 15; Собр. стих., с. 186). — Все используемые документы 1918-1920 гг. скопированы в архиве М.С.Волошиной (Дом-музей М.А.Волошина).

О.Мандельштама, М.Цветаевой: «В них есть новые завоевания, которые необходимо знать». Вместе с Волошиным Парнок приняла участие в альманахе «Ковчег», выпущенном в Феодосии 19(6) апреля 1920 г.

2

С приходом советской власти положение творческой интеллигенции в Крыму резко ухудшилось: каждый из ее представителей автоматически оказался на подозрении и должен был доказывать свою лояльность и нужность рабоче-крестьянскому государству. Благодаря своему умению «пленять сердца», высокой контактности, Волошин успевал в этом больше других. 19 ноября 1920 г. он был назначен заведующим по охране памятников искусства и науки в Феодосийском уезде — и в течение зимы много ездил по уезду, всячески стараясь облегчить тяжелое положение местных деятелей культуры. В его архиве сохранилось 10 анкет-удостоверений художников и литераторов, предназначавшихся, видимо, для устройства на службу (и для получения пайка). Среди них — «удостоверение» С.Я.Парнок: «Поэт, критик. Печатается с 1906 года, в журналах «Образование», «Журнал для всех», «Мир Божий», «Северные Записки». В 1916 собственн<sup>ый</sup> сборник стихов. Оперные либретто»<sup>19</sup>. Подписанное С.Парнок, это удостоверение написано рукой Волошина; поручителями указаны Волошин и Евгения Герцык. Сама Парнок выступила поручителем Е.К.Герцык и художников-судакчан Н.А.Коровина и А.А.Феррейна. В одном из волошинских черновых списков деятелей культуры (видимо — начало 1921 г.) Парнок значилась как «библиотечкарь», в другом — среди «писателей», в третьем прочилась в делопроизводители Судакского Отдела народного образования<sup>20</sup>.

Между тем тучи сгустились над самим Волошиным — и 24 января 1921 г. он уезжает на время в Симферополь. Вернуться в Феодосию ему привелось лишь 21 мая. Перед возвращением он, очевидно, написал Парнок: в ответном письме от 12 мая 1921 г. она делилась радостью «скорой встречи» с ним, уведомляла, что «теперь у нас все благополучно» (имелась в виду работа со Спендиаровым), и жаловалась: «у меня туберкулез легких и я еле волочусь от слабости». Здесь же поэтесса вспоминала их последнюю — видимо, январскую — встречу: «Как Вы мне милы душевно стали при последней нашей встрече в Судак». Однако похоже, что до самого конца года выбраться в Судак Волошину не удалось...

<sup>19</sup> Скопировано в архиве М.С.Волошиной.

<sup>20</sup> Там же.



А осенью засобиралась из Крыма в Москву сама Парнок. Хлопоча об этом (на отъезд нужно было особое разрешение), Софья Яковлевна в конце ноября ездила в Феодосию. 30 ноября 1921 г. Волошин отправил с ней в Коктебель письмо своей матери, указав, что поэтесса передаст его в Коктебеле «проездом <...> кому-нибудь для передачи тебе». Сам же он начал хлопотать об отъезде Парнок, — одновременно готовя для отправки с ней в Москву стихи и письма. Так, 9 декабря Волошин уведомлял И.А.Новикова, что «письмо это и мои стихи» передаст ему Парнок и что он дает ей «полную уверенность на издание» нового своего сборника стихов о революции «Неопалимая Купина»<sup>21</sup>. А 10 декабря Максимилиан Александрович извещал мать: «Эти дни помогал отъезду С.Я.Парнок в Москву. Только что отправил»<sup>22</sup>.

И Парнок не подвела оставшегося в голодном Крыму, страдавшего от полиартрита поэта. Уже 4 марта 1922 г. она посылает ему с оказией 5 миллионов рублей — «результат литературного вечера, устроенного <...> в «Салоне» Евдоксии Федоровны Никитиной и посвященного писателям Крыма». (Были также посланы деньги актрисе Е.А.Бутковой, Е.К.Герцык и Т.А.Спендиаровой, дочери композитора.) О волошинском же сборнике Софья Яковлевна писала: ««Неопалимая Купина» пока не может быть издана. Я размещаю отдельные стихотворения по альманахам».

Благодарственное письмо Волошина (от 18 марта), отправленное с оказией, дошло до Парнок лишь в начале апреля. 7 апреля 1922 г. она сообщала, что выхлопотала для семьи Герцык и Е.А.Бутковой с матерью разрешение «на право бесплатного проезда в Москву». И добавляла: «Я знаю, Вы сделаете все, что нужно, так же хорошо и быстро, как Вы делали все, что я Вас просила, для меня, когда я Вас мучила в Феодосии. Чем старше становлюсь, тем яснее мне, что творчество (только творчество, а не суета <...>) в человеческих отношениях — явление более редкое, чем творчество во всех областях науки и искусства, и за Ваше тройное творчество втройне Вы мне милы!» Подробно рассказав о неудаче с «Неопалимой Купиной» в издательстве «Костры» («вследствие соображений о цензуре»), Парнок просила еще стихов, которые намеревалась предложить в альманахи «Шиповник» и «Жизнь»<sup>23</sup>.

Видимо, в апреле или в мае до Парнок дошла рукопись посланного с оказией волошинского сборника «Selva oscura» — лирика 1910-1919 гг., впервые собранная в книгу. Волошин меч-

<sup>21</sup> Скопировано в архиве М.Н.Новиковой-Принц (Москва).

<sup>22</sup> ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 64.

<sup>23</sup> «Шиповник» — сборник литературы и искусства под редакцией Ф.А.Степуна, вышел в Москве в 1922 г.; стихи Волошина туда не вошли. Альманах «Жизнь» издан не был.

тал выпустить ее с иллюстрациями художника К.Ф.Богаевского, своего друга-феодосийца. По-прежнему изводимый болезнью, он затем выезжает на лечение в Саки и Севастополь: несколько месяцев сведения от Парнок до него не доходят. А Софье Яковлевне, между тем, удается кардинально продвинуть его литературные дела! 3 августа 1922 г. она сообщила Волошину: «Вчера подписала с Госиздатом договор на издание «Selva oscura» <...> 25 к<опеек> золотом за строчку (= 300 тысячам руб<лей> за строчку. Строк 1480, след<овательно> — 440 милл<ионов>. Госиздат покупает издание на 5 лет. Авт<орских> экземпляров — 25 шт<ук>». Миндлин, которому Вы имели неосторожность доверить рукопись «Неопалимой Купины», ужасно меня компрометирует. Все, что я продала «Свитку» из Ваших стихотворений, то и дело появляется в разных альманахах».

Поблагодарив Волошина за любовь к ее стихам («особенно теперь, когда никому до них нет дела»), Парнок переходила к волошинской «Неопалимой Купине»: «Очень многие здесь согласны со мною в том, что это — единственная книга о русской революции, другие же эстетически шокируются ею (безвкусие, «вещественность»!), третьи не приемлют политически. Но как бы то ни было, это — книга, которую русское общество имеет благодаря Вам, и за которую оно когда-нибудь с благодарностью произнесет Ваше имя. «Путями Каина» еще не читала. <...> Милый М<аксимилиан>н А<лександрович>ч! Я не преувеличу, если скажу, что факт Вашего существования очень часто компенсирует для меня многое, что отвращает меня от жизни <...>, есть человек, который владеет самым высоким талантом — талантом дружбы <...>. Для меня — радость быть Вам полезной».

9 августа 1922 г. следует новое письмо: «Дорогой М<аксимилиан>н А<лександрович>ч! Мне повезло: Кандаурова<sup>24</sup> еще здесь, едет в Феодосию либо в субботу 12-го авг<уста>, либо во вторник 15-го. Она охотно взялась передать Вам деньги (342 миллиона 410 тысяч рублей). Если она Вас не застанет в Феодосии, то оставит деньги Богаевскому <...>. Так как я отвечаю перед Госиздатом за вручение денег Вам, я взяла с Кандауровой расписку <...>. Здесь из графиков: Вышеславцев, Куприянов, Фаворский, Фалилеев. Здесь Альтман. Кого Вы знаете и кто был бы Вам приятен для Вашей книги<sup>25</sup>? Жду подробного разбора моих стихов <...>. На свой риск сделала Ге-

<sup>24</sup> Анна Владимировна Кандаурова (?–1962) — первая жена художника К.В.Кандаурова, племянница астронома В.К.Цераского.

<sup>25</sup> Имеется в виду художественное оформление книги «Selva oscura». Упоминаются Николай Николаевич Вышеславцев (1890–1952), Николай Николаевич Куприянов (1894–1933), Владимир Андреевич Фаворский (1886–1964), Вадим Дмитриевич Фалилеев (1879–1948) — художники, работавшие в области книжной графики. Натан Исаевич Альтман (1886–1970) — живописец и скульптор.

ликону<sup>26</sup> предложение издать «Неопалимую Купину». Напишите мне, одобряете ли Вы это? На всякий случай вот адрес Геликона: Berlin. W 50. Bamberger Strasse, 7 (Ходасевичу можно писать по этому адресу).

Однако уже 4 сентября Софья Яковлевна предупреждала об изменении обстановки: «Ни под каким видом не следует печатать за границей то, что здесь не разрешается цензурой <...> Евгения Казимировна<sup>27</sup> расскажет Вам о последних московских событиях». (Имеется в виду, скорее всего, высылка за рубеж большой группы религиозных мыслителей и ученых и общее ужесточение «идеологического фронта».)

Тем временем в Москве в издательстве «Творчество» (в августе 1922 г.) был выпущен маленький (в 32 страницы) сборник «антологических стихов» Парнок «Розы Пиерии». 22 октября 1922 г. она надписывает его: «Дорогому Максимилиану Александровичу Волошину с глубокой нежностью. Софья Парнок». И 10 ноября отправляет с К.Ф.Богаевским (приезжавшим в Москву) Волошину. В сопроводительном письме поэта сообщает, что альманах «Шиповник» готов дать статью о ее творчестве «размером приблизительно в 1/2 печатного листа» и просит прислать такую статью не позднее, чем через 3 недели.

Находясь в разъездах, Волошин долго не получал всех этих писем — и, ничего не зная о состоянии своих литературных дел в центре, 20 ноября 1922 г. писал в Севастополе В.В.Вересаеву: «От С.Я.Парнок я ничего не имею уже больше полугода. Она мне писала, что кое-что помещала из моих стихотворений в отдельных изданиях (письмо, где она мне писала, что и где, и гонорары — все это пропало, как обычно водится). Но у нее должно оставаться еще очень многое (цикл о терроре, цикл «Личины»). Я посылаю в этом же письме записку ей, чтобы она передала Вам все, что у нее осталось»<sup>28</sup>. Получив эту записку от Вересаева, Софья Яковлевна 30 ноября отправила ему все оставшиеся у нее волошинские произведения, так поясняя ситуацию: «Думаю, что литературными делами М.А.Волошина занимается, кроме нас с Вами, еще кто-то, а может быть и не один человек, к тому же существо и политически, и художественно крайне неустойчивое, п.ч. имя М.А.Волошина появляется в печати в самых неожиданных комбинациях. <...> Знаю только, что, имея от М.А.Волошина официальную доверенность на издание его стихов, я бывала зачастую поставлена в очень щекотливое положение, ибо по неведению продавала стихи, уже когда <то> кем-то напечатанны»<sup>29</sup>...

<sup>26</sup> Подразумеваются русское берлинское издательство «Геликон» и его основатель Абрам Григорьевич Вишняк (1895-1943).

<sup>27</sup> Е.К.Герцык (1878-1944) — переводчица, критик; сестра А.К.Герцык.

<sup>28</sup> Собрание А.Ф.Маркова (Москва).

<sup>29</sup> ИМЛИ, ф. 45, оп. 1, ед. хр. 25.

Вернувшись, наконец, в декабре 1922 г. в Коктебель, Волошин нашел дома все письма Парнок и, видимо, чувствуя некоторую вину за проявленное им сомнение в своем «литературном агенте», засел за исключительно подробное и доверительное письмо к ней. Оно датировано 22 декабря 1922 г. и напечатано на машинке (благодаря чему и дошла до нас его копия)<sup>30</sup>.

«Дорогая Софья Яковлевна, как мне Вас благодарить за всю заботу, хлопоты и память обо мне? За Ваши бесконечно дружеские (английской — действительной дружбой) письма?

В июле я уехал на полтора месяца на грязелечение. Но после Сак меня отправили еще в Севастополь. Меня лечили долго, старательно — одним словом, я вернулся в Феодосию только 1 декабря, т.е. через шесть месяцев, и тотчас же снова заболел припадком астмы: 16 суток ни лечь, ни заснуть не мог. Еще не вполне оправившись, был вызван в Коктебель письмом о том, что Пра<sup>31</sup> очень плохо. Застал ее лежащей в постели, еле дышащей. Она бесконечно слаба, ничего не ест, говорит о смерти. Если бы не Маруся Заболоцкая (новая моя приятельница этой голодной зимы)<sup>32</sup>, которая поехала со мной в Коктебель и ухаживает за Пра, — не знал бы, что и делать. Но Пра бесконечно капризна, требовательна и доводит ее ежедневно до слез. В сущности, положение физическое Пра далеко не так безнадежно: идет постепенное ухудшение эмфиземы легких, плюс легкая простуда. Но она уже две недели ничего не хочет есть (это у нее и раньше бывало) и, кроме того, вполне уверена, что уже не встанет и говорит о себе, как об умирающей, что заставляет опасаться самого худшего. Кроме того, бесконечно тяжела для окружающих.

Летнее и осеннее мое лечение было настолько утомительно, что я совершенно не мог работать, ибо находился все время в тяжелом полудремотном состоянии: и грязь, и электричество крайне действуют на нервы. Мой план был: вернувшись в Коктебель, усиленно проработать всю зиму, кончить «Путями Каина», написать цикл о голоде и ряд давно задуманных и несущественных стихов, подготовить к изданию несколько книг и со всем этим материалом приехать весною в Москву месяца на два. Но теперь это все снова усложняется. Несмотря на то, что я как будто и не связан принудительной работой из-за хлеба, ни хозяйством, — все, тем не менее, слагается так, что я никак не могу дорваться до работы: болезни, лечение, санаторская обстановка, а в городе бесконечные человеческие дела.

<sup>30</sup> Архив Дома-музея М.А.Волошина.

<sup>31</sup> Прозвище матери Волошина — Елены Оттобальдовны Кириенко-Волошиной (1850-1923).

<sup>32</sup> Мария Степановна Заболоцкая (в замужестве Волошина; 1887-1976) — вторая жена М.А.Волошина (официально — с 1927 г.).

С Богаевским мы съехались в Феодосии одновременно. Таким образом, все Ваши письма, написанные за лето, я получил сразу. Для меня было неожиданным и радостным сюрпризом издание «Сельва оскура», так как я считал эту рукопись давно потерянной. Особенно было радостно издание ее с рисунками Богаевского и заставками Пискарева<sup>33</sup>. Глубоко благодарен Вам, Софья Яковлевна, за создание и осуществление этого издания. Что касается корректур, то я, конечно, буду Вам глубоко благодарен, если Вы не откажетесь их сами провести, что, впрочем, должно быть теперь-то уже осуществлено.

С деньгами, к сожалению, конечно, вышла ерунда: но это, очевидно, моя обычная судьба. Мне только досадно, что все Ваши хлопоты обо мне прошли даром.

Мне Богаевский привез от Кандауровых теперь 300 миллионов, а Анна Владимировна Кандаурова в августе оставила у жены Богаевского лекарства, ею для меня купленные, и 33 миллиона, даже не предупредив Богаевскую о том, что в пакете для меня деньги, так что они так и не были переданы Пра. Словом, то, что равнялось по рыночной цене золота в августе 133 золотым рублям, теперь оказалось 22 рублем. А между тем для почты, для посылок, для денег все доверенности были мною оставлены М.Заболоцкой, которая все лето каждое воскресенье ходила в Коктебель и заботилась о Пра.

Все, даже малые суммы, что шли весной через меня другим, я сейчас же менял на продукты и золото и отдавал в соответственно большем количестве. Неужели в Москве этого не понимают? Я говорю о Кандауровых. Софья Яковлевна, ради Бога, не подумайте, что я упрекаю Вас чем-нибудь: напротив — мне досадно, что все то, что Вы своими стараниями добыли для меня, так бессмысленно-глупо развеялось и утекло.

Никаких изданий с моими стихами я не получал — ни единого. Досадно, но Бог с ними! Только пришлите мне, пожалуйста, список, где мои стихи помещались и которые: я нашел у себя целый ряд запросов от разных издательств и телеграмму Версасева. Поэтому я, отвечая ему, приложил записку к Вам с просьбой передать ему все неиспользованные стихи из «Неопалимой купины», предполагая, что ему легче будет придерживаться, и в будущем буду посылать ему стихи общественного характера, а Вам — лирические. Хорошо? Что же касается изданий книг (у меня есть общее предложение от Госиздата), я попрошу его, так как при его положении, это ему гораздо проще делать и быстрее.

<sup>33</sup> Николай Иванович Пискарев (1892-1959) — художник-график, в 1918-1921 гг. жил в Феодосии. Выполнял «акцидентные украшения» для книги Володина в 1923 году (см.: И.А.Горленко. Николай Иванович Пискарев. М., 1972, с. 101).

Мне Г<ос>И<здат> предлагает переслать мои старые книги стихов. Относительно заграницы и Берлина мне летом передавали, что мои стихи там очень распространяются, всюду печатаются и переводятся, а мест<ная> военная цензура мне сообщала, что мое имя значится как имя постоянного сотрудника на обложках всех эмигрантских журналов от эсеровских до черносотенных. Этот диапазон мне определенно нравится, как конкретное выражение моего неуважения к политике.

Ввиду всего этого я послал в Берлин полную доверенность на ведение всех моих литературных дел за границей моему старому школьному товарищу профессору Яценко<sup>34</sup>, издающему там журнал «Новая русская книга», а теперь жду от него ответа, согласен ли он. К сожалению, с такими доверенностями постоянные недоразумения. В двадцатом году я дал такую же моему другу кн<язю> Шервашидзе вместе с тогдашним текстом «Неопалимой Купины»<sup>35</sup>. Но он то и другое оставил без употребления, и я ровно никаких объяснений об этом от него не имею и не знаю, не произойдут ли из этого в конце концов недоразумения. Во всяком случае, имею в виду при первой возможности переслать текст «Неопалимой Купины» на имя Яценко.

Миндлин меня очень смущает: я позволил ему переписать мои стихи и давать переписывать их другим<sup>36</sup>. Помнится, был еще вопрос о каком-то харьковском журнальчике, но относительно Москвы я не давал ему никаких разрешений, о чем прилагаю удостоверение.

Прилагаю и доверенность на Ваше имя на издание «Сельва Оскура». Но не знаю, удастся ли его официально засвидетельствовать.

Теперь относительно Ваших стихов: написать статью и большую о Вас, Софья Яковлевна, — радость. Вы знаете, как я их люблю, удивляюсь и учусь мастерству. Но я до сих пор имею только «Розы Пиерии» и рукопись 1922 года. Но от Евгении Казимировны еще ничего: она в Судак. Так что о статье к Рождеству нечего и думать. Писать же только о «Розах Пиерии» и о невышедшей книге не имеет смысла: я хочу о Вас

<sup>34</sup> Александр Семенович Яценко (1877-1934) — юрист, автор работ по государственному праву, литератор; товарищ Волошина по Московскому университету. Живя с 1919 г. в Берлине, организовал там в 1921 г. издание критико-библиографического журнала «Русская книга» (в 1922 г. переименован в «Новую русскую книгу»). См. публикацию писем Волошина к Яценко (1922-1923) в кн.: Л. Флейшман, Р. Хьюз, О. Раевская-Хьюз. Русский Берлин 1921-1923. Paris, 1983, с. 69-80.

<sup>35</sup> Александр Константинович Шервашидзе (1867-1968) — художник. При его отъезде в Лондон Волошин дал ему рукопись сборника своих стихотворений «Пламена».

<sup>36</sup> Эмилий Львович Миндлин (1900-1981) — поэт и прозаик, в 1919-1920 гг. живший в Феодосии. Протест лично ему против распространения своих стихов Волошин написал 24 февраля 1923 г. См.: «Воспоминания о Максимилиане Волошине». Сост. и комм. В.П. Купченко и З.Д. Давыдова. М., 1990, с. 694-695.

целиком писать. Может, возможно мою статью о Вас отложить до следующей книги «Шиповника»? Я Евг<енин> Каз<имировне> написал, но Вы сами знаете, как трудно в Крыму докликаться друг друга, и поэтому я сам еще не знаю, когда весь материал соберется в моих руках.

«Розы Пиерии» прекрасная и благоуханнейшая книга. Но Вы правы: среди запаха казармы и смазных сапогов — она слишком не ко двору. «Сны Сафо» и «Пенфесилея»<sup>37</sup> мне ближе всего. «Мудрая Венера»<sup>38</sup> мне была и остается чужой, не могу еще определить, отчего. Может быть, это двойное сочетание классического мрамора и классического быта холодят меня? Область Вашего мастерства — это трибрахия, рифмы и синтаксические интонации, опирающиеся на размер («Да, сестра моя, вот так она — зацеловывает любовь»)<sup>39</sup>. Ваши сапфические строфы прекрасны всюду. Но меня удивила Ваша нелюбовь к дактилической цесуре. Она так хорошо звучит в русских сапфич<еских> строфах. Из стихов 22 года меня бесконечно волнует типографическая четкость и закликательность «Дирижера»<sup>40</sup>. Я очень люблю «В толпе», которое останется одной из Ваших формул. И горжусь, что у меня есть одна близкая ей строфа («Раскрыв ладонь, плечо склонила... Я не видал еще лица, Но я уж знал, какая сила В чертах Венерина кольца»)<sup>41</sup>. Совершенно поразительно по тютчевским нарушениям размера «Который час?». Очень люблю «Сугдейскую Сивиллу», «30 июля», «Израиль»<sup>42</sup>. Но где моя любимая «Агарь»?<sup>43</sup> окончена ли она? Мне очень хочется «Орган» и «Тоску»<sup>44</sup>, которые я прочел раз, но не имею сейчас на руках.

Как я понимаю Вашу тоску по Крыму. Сейчас, в эти теплые и тихие морские дни, по утрам, уходя вдаль по побережью, я чувствую как никогда вновь обретенный Коктебель. Не по Вашим только письмам Москва представляется мне отвратительной. Я никогда не терпел «литературного быта» в России, теперь

<sup>37</sup> Разделы в книге Парнок «Розы Пиерии» (М.-Пг., 1922, с. 10-22).

<sup>38</sup> Раздел в той же книге (с. 22-30).

<sup>39</sup> Петочная цитата из стихотворения С.Парнок «В толпе», включенного в следующий ее сборник «Лоза. Стихи 1922 года» (М., «Шиповник», 1923, с. 13).

<sup>40</sup> Там же, с. 10-11.

<sup>41</sup> Первая строфа стихотворения Волошина, написанного 3 декабря 1910 г. и, по-видимому, обращенного к М.И.Цветаевой (см.: М.Волошин. Стихотворения. М., «Книга», 1989, с. 149).

<sup>42</sup> Из упоминаемых стихотворений С.Парнок «“Который час?” — Безумный. Смотри, смотри...», «Там родина моя, где восходил мой дух...» (с заключительной строкой: «хотя во снах мне снился, Сугдейская Сибилла!»), «30-е июля» были опубликованы в ее сборнике «Лоза» (с. 21, 7, 18). Стихотворение «Не на хранение до поры...» (со строками «И оттого твой древний свет// Пад миром всходит вновь», «Израиль») впервые опубликовано в Собр. стих. (с. 179-180).

<sup>43</sup> Стихотворение «Агарь» впервые опубликовано там же (с. 177-178).

<sup>44</sup> Стихотворения «Орган» и «Тоска» вошли в сборник «Лоза» (с. 8, 12).

он мне представляется нестерпимее, чем когда-либо. Мне хочется в Москву, но лишь на краткий срок, повидать друзей, устроить свои дела и испытать напряженность своих стихов над большой толпой. И скорей обратно.

За 1/2 года лечения я посетил все города Крыма. Нет города более разоренного, более вымирающего, чем Феодосия и ее область. И террором, и голодом здесь были взяты самые высокие ноты. В этом я убедился собственными глазами. В то время как другие города оживлены призраком торговли и суетой курортов, в Феодосии (и, пожалуй, в Евпатории) подлинный трагизм последнего разрушения. Его-то я и люблю.

Голод и эту весну будет, и едва ли не в больших размерах. В татарских деревнях начали умирать уже с ранней осени. Татарский внепартийный съезд вынес летом ПРОКЛЯТИЕ Крымскому правительству. Положение писательских пайков в Крыму вообще смутно и не выяснено. В то время как профессора получают паек аккуратно, мы, припиленные к ним, висим в воздухе в полной зависимости от Симферополя. Последние пайки были получены за июль-август — с тех пор все замерло. В это время я отсутствовал и кое-кто из феодосийских академистов разъехались. Некоторые (Новицкие, Галабуцкий, Вигонд-Маркс, Цераские)<sup>45</sup> совершенно, Богасевский уезжал временно и вернулся так же, как Евг<ения> Каз<имировна>. Словом, теперь список академистов в Феодосии таков: Богасевский, Спендиаров, Волошин, Е.Герцык, Буткова, Манасина, Соловьева и к ним прибавляется уже официально утвержденный по ходатайству Веры Ник<олаевны> Фигнер Зелинский Иос<иф> Виктор<ович> (народоволец)<sup>46</sup>.

В августе от всех академистов Симферополь потребовал новых анкет. Я свою сдал немедленно в Симферополе, а в Феодосию написал. Но многие уже были в отсутствии, другие посылали, но каждый самостоятельно. О судьбе их не знаю.

Если возможно что-нибудь сдвинуть, то очень прошу.

---

<sup>45</sup> Новицкие — семья искусствоведа Алексея Петровича Новицкого (1862-1934), имевшего в Коктебеле дачу. Позднее (с 1926 г.) А.П.Новицкий — академик Украинской Академии наук. Юрий Андреевич Галабуцкий (1863-1928) — педагог-феодосиец. Екатерина Владимировна Вигонд (ок. 1877-?) — вторая жена профессора-палеографа Н.А.Маркса (умершего в 1921 г.). Цераские — Витольд Карлович (1849-1925) и Лидия Петровна (урожд. Шелехова, 1855-1931), астрономы.

<sup>46</sup> Евгения Александровна Буткова — актриса Малого театра и театра Корша, с 1921 г. жившая в Судакe. Наталья Ивановна Манасина (1869-1930), писательница, и Поликсена Сергеевна Соловьева (1867-1924), поэтесса (псевд. Allegro), — имела в Коктебеле дачу. И.В.Зелинский (ок. 1857-1928) — народоволец.



Теперь хочу рассказать о себе.

Это лето очень богато для меня впечатлениями и людьми. Из письма Вашего с радостью узнал, что Вы познакомились с Соф<ьей> Зах<аровной> Федорченко. Меня пленяет в ней сочетание французской четкости формы с абсолютным слухом русской народной речи. Ее «Народ о войне» представляется мне документом первостепенной исторической и художественной важности<sup>47</sup>. За это лето мы с ней очень сошлись и подружились.

Мне очень много приходилось читать лекций и стихов, и здесь я смог конкретно убедиться в их нужности и в силе впечатления, ими производимого. Особенно лекции на тему «Пути Каина» со всеми написанными стихами. Самым интересным были для меня лекции специально для коммунистов с последующ<ими> прениями, длившимися иногда по два, по три дня. Мне думается, что как поэтическое произведение для Вас «Пути Каина» не будут приемлемы. (А я, пишучи их, не раз думал о Вашем суде). Но *нужность* их для меня оправдывает их ритмическую форму — паспорт, с которым они могут переступить границы запретного.

Из моих боевых курьезов — Вам, вероятно, София Захаровна рассказывала о моей стычке с евпаторийским военным цензором (тем, что запрещал исполнение романса на пушкинские слова «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной», — «потому, что отношения Советской России и Грузии еще не выяснены»), — расспросите ее об этом эпизоде. Так вот — они окончательно разрешились только теперь в ноябре, когда предс<едатель> КрымЦИК-а<sup>48</sup> приказал его арестовать, вопреки представительству Глав-воен-цензуры.

В Севастополе я был приглашен Полит-Управлением читать лекции в дискуссионном Клубе, куда допускались только коммунисты и то по особому выбору или за моим личным поручительством в их коммунистической лояльности. Согласитесь, что и то, и другое достаточно пикантно.

Курортная жизнь приучает к изысканно гигиеническим формам жизни: там в Севастополе в санатории все белье — постельное, столовое, полотенца — было снабжено выразительным штемпелем: «венерическое»; обед и чай сервировались в старых плесательницах. Сиделки имели хороший стаж в психиатрических лечебницах и, в силу долголетней привычки, разговаривали и обращались с курортными больными только соответственным тоном и выражениями.

---

<sup>47</sup> «Народ на войне» (1917-1925) — книга «фронтовых записей» С.З.Федорченко (1888-1959); в 1922 г. была опубликована первая из составляющих ее трех частей. См. новейшее полное издание: С.Федорченко. Народ на войне. М., 1990.

<sup>48</sup> Эту должность исполнял Ян Эрнестович (Юрий Петрович) Гавен (1884-1936).

Лечили меня в Севастополе героическими мерами — электричество, гальванизация, ванны, свет и, наконец, сажали меня в световой шкаф, где доводили температуру до 57° по Р<сомюру>. Теперь в течение зимы все это должно принести плоды.

Сейчас я принялся за работу. Одно стихотворение посылаю. (Для печати сго, к<a>к рискованное, пошлю Вересаеву.)

Из деловых просьб, значит, прошу Вас очень, Софья Яковлевна, о следующем:

1) Написать мне, какие стихотворения из «Неоп<алимой> Куп<ины>» уже напечатаны в Москве и в каких изданиях?

2) Высылались ли мне за них какие-нибудь гонорары? с кем? когда? ибо не получал ничего со времени вчераше в пользу крымцев в литературном салоне Никитиной.

3) Передать все ненапечатанные еще стихи из «Неопалимой Купины» Вересаеву (может, кто-нибудь из моих друзей — не Вы сами, конечно, — перепишет их, чтобы не нарушать целостность книги).

4) Сообщить изданиям, печатавшим меня, что я не получил ни одного экземпляра (а между тем «Красная Новь» приходит аккуратно).

За эти дни Пра стало лучше, она уже поднимается. Но очень слаба и крайне раздражительна. Вся судьба моей зимней работы висит на волоске, в зависимости от ее каприза: послать меня на кухню или запрячь в домашн<ие> работы. Бедная Маруся З<аболоцкая> была уже неск<олько> раз на краю окончательной ссоры, несмотря на все свое терпение. Мама никогда в жизни не болела. Вне эмфиземы и бронхита она редко крепка для своих лет. Но она так искренне считает себя умирающей, что это делает возможным всякий исход, совершенно не обусловленный физиологически.

Глубокое спасибо, Софья Яковлевна, за все Ваши заботы, письма и Ваши слова о дружбе, которые мне бы...» (конца нет. — В.К.).

Дошло ли это монументальное письмо до адресата? Вопрос возникает потому, что 4 июля 1923 г. Парнок писала Волошину: «Головины передали мне, что Вы удивляетесь моему молчанию <...> Почти год, как я ответов от Вас не имею». Однако вполне возможно, что полгода, прошедшие с отправки вышеприведенного волошинского письма, «удлинились» в сознании поэтессы — тем более что она тут же приводит как бы оправдание своему молчанию: «Вот уже целый год, как Вас ожидают (в Москве. — В.К.) то в четверг, то в пятницу». (Зачем же писать, если поэт вот-вот придет?)

Еще в январе 1923 г. Волошин окончательно избрал своим «литературным агентом» в Москве В.В.Вересаева (в ответ на предложения последнего), — 15 января подытоживая: «Раз «Selva oscura» уже издается, а «Неопалимая Купина» нецензур-

на, то роль Соф<ьи> Як<овлевны> Парнок этим кончается»<sup>49</sup>. Увы, выраженная здесь надежда на скорый выход книги лирики не сбылась. В том же письме от 4 июня Парнок сообщала: «2-й корректуры «Selva oscura» мне не присылают <...> Теперь Госиздат требует «советской ориентации», а на мистическую пошел в открытую, остервенелую атаку. Таков «сегодняшний день», но верю, что Ваша книга, если она не для сегодняшнего дня, то для завтрашнего — для послезавтрашнего, — для вечного дня, во имя которого живет истинное искусство». С харьковским юристом Л.Э.Ландсбергом<sup>50</sup> Парнок общалась послать свои «книги». Это, без сомнения, был сборник «Лоза. Стихи 1922 года», выпущенный издательством «Шиповник» тиражом 2000 экземпляров. 22 июня Софья Яковлевна подписала его: «Дорогому М<аксимилиану> А<лександровичу>, поэту и другу, с любовью».

Нет сомнения, что Волошин отозвался на этот дар: судя по памятной заметке, письмо к Парнок было отправлено 5 ноября 1923 г. с Г.Вьюговой. А весной 1924 г. состоялся, наконец, выезд Волошина в Москву — и, согласно его записной книжке, 20 и 30 марта поэт встречался с Софьей Яковлевной — скорее всего у нее дома, на 4-й Тверской-Ямской (дом 8, квартира 3).

В 1925 году находим лишь три упоминания имени поэтессы в волошинской переписке. 12 января С.З.Федорченко извещала Волошина: «У Софьи Як<овлевны> горе, Людмила Эрарская сошла с ума»<sup>51</sup>. Видимо, это же несчастье имела в виду Е.К.Герцык в недатированном письме к Волошину: «Я, как и С.Я., верю в силу Вашего воздействия в духе и в то, что мыслью своею Вы поможете Л<юдмиле>, а несколькими словами, написанными, поддержите С<офью> Я<ковлевну>, кот<орая> очень нуждается в этом»<sup>52</sup>. А 11 октября 1925 г. сам Волошин, отвечая на анкету симферопольца Е.В.Петухова о писателях Крыма, отмечал отсутствие в его списке «Соф<ьи> Яков<левны> Парнок, жившей в Судаке до 1921 г. и написавшей здесь книги «Розы Пиерии» и «Лоза»»<sup>53</sup> (предполагавшийся словарь издан не был).

В 1926 г. переписка поэтов активизируется в связи с созданием в Москве кооперативного писательского издательства «Узел». 17 мая Парнок извещала Волошина: «Я уже писала Вам о нашем товарищеском книгоиздательстве поэтов «Узел»<sup>54</sup>. Перед Пасхой вышла, наконец, первая наша серия: Антокольский, Зенкевич, Звягинцева, Б.Лившиц, Спасский, Пастернак,

<sup>49</sup> Письмо к В.В.Вересаеву от 15 января 1923 г.

<sup>50</sup> Леонид Эммануилович Ландсберг (1899-1957) — уроженец Феодосии, любитель поэзии; в конце жизни преподавал в Ростовском университете.

<sup>51</sup> ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1219.

<sup>52</sup> ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 411.

<sup>53</sup> ИРЛИ, ф. 669, ед. хр. 278.

<sup>54</sup> Такое письмо ее не выявлено.

Радимов, Федорченко и я. Я уже писала Вам, как желанен был бы нам Ваш сборник». (Одновременно поэтесса просила о летнем приюте для своей сестры Е.Я.Тараховской — тоже поэтессы и переводчицы, уже отдыхавшей в Коктебеле в 1915 году<sup>53</sup>).

По-видимому, Волошин отозвался незнанием об «Узле». В письме от 4 июня Парнок подробно рассказывала об издательстве, — одновременно выслав девять выпущенных им сборничков: «На книгах Лившица и Спасского нет надписей потому, что эти поэты в Ленинграде. <...> Итак, мы могли бы издать только 600-700 строк Ваших <...> Все наше правление (Зенкевич, Федорченко, Радимов, Антокольский, Эфрос, Кириллов, Абрамов, Луговской и я) очень хочет Вашей книги». Сама она напечатала свой сборничек «Музыка» (М., 1926) 25 мая: «Максимилиану Александровичу Волошину, дорогому другу моему и моих стихов. С.Парнок». Ясно также, что именно она «организовала» дарственные надписи П.Антокольского (26 мая — сб. «Запад»), В.Звягинцевой (25 мая — сб. «Московский ветер»), М.Зенкевича (без даты — сб. «Под пароходным носом»), П.Радимова (25 мая — сб. «Телега»), С.Федорченко (25 мая — «Пять ветров. Сказка-поэма»). Поэтические книжки издательства «Узел» сохранились в волошинской библиотеке — за исключением «Избранных стихов» (1926) Б.Пастернака.

Захлестнутый, как обычно летом, «людоворотом» гостей, Волошин затягивал присылку стихов — и 23 июля Парнок поторопила его: «Очень нужно иметь рукопись Вашу к началу сентября». По-видимому, поэт отправил такую-то с Е.Я.Тараховской, выехавшей из Коктебеля в Москву около 15 августа. 13 сентября Парнок извещала Волошина: «Только неделю тому назад я передала Ваш сборник нашemu синклиту. <...> Мне думается, что сделанный Вами отбор не совсем удачен, т.е. можно было бы сделать более цельную книгу. <...> Вы прислали 720 строк, — пришлите до 1000». При этом она сообщила: «В цензуре, после некоторого прояснения, опять начинается приступ одичания». А передавая удовлетворение сестры своим летним отдыхом, отмечала: «Благодаря Вам столько людей возвращается в Москву обновленными».

Увы, попытка издать в «Узле» волошинский сборничек кончилась неудачей — хотя, например, книжка В.Луговского («Сполохи») вышла в октябре 1926 г., а Е.Николаевой («Разговор с читателем») — в феврале 1927-го (обе они были высланы Волошину — возможно, не без участия Парнок).

---

<sup>53</sup> Елизавета Яковлевна Тараховская (урожд. Парнок, 1895-1968) — автор рукописных «Воспоминаний о старом Коктебеле» (ЦГАЛИ, ф. 2527, оп. 2, ед. хр. 9).

В начале 1927 г. Волошин снова выезжал в «столицы» — и встречался с Софьей Яковлевной в Москве. В воскресенье 20 февраля она была на его неофициальном вечере в помещении Государственной академии художественных наук<sup>56</sup>. По воспоминаниям Ф.Г.Раневской (моя запись от 7 марта 1974 г.), она встречала Волошина (вместе с Марией Степановной) у Парнок, жившей тогда в 1-м Нсопалимовском переулке (дом 3, кв. 8). «Она тоже его любила, как поэта, — свидетельствовала Фаина Григорьевна. — Очень много они говорили в тот вечер о стихах <...>, и Крым мы вспоминали... Судя по недатированной записке Софьи Яковлевны Волошину, она в эту встречу высказала пожелание посвятить ему одно из своих стихотворений. В феврале 1928 г. поэтесса выполнила это намерение, посвятив «Максимилиану Волошину» одно из сильнейших своих стихотворений — «В форточку» (рукописный оригинал — в архиве Волошина). В последний сборничек Парнок «Вполголоса», вышедший в «Узле» в 1928 г. «на правах рукописи» тиражом 200 экземпляров, стихотворение не вошло (впервые оно опубликовано С.В.Поляковой в 1979 г. по автографу, на котором посвящение не обозначено<sup>57</sup>). Но сам сборник «Вполголоса» Парнок надписала так: «Максимилиану Александровичу Волошину, высокому мастеру, к чьему голосу я прислушиваюсь с любовью. С.Парнок. 30.XI.1928. Москва».

Три года проходят без видимых контактов. И лишь в 1932-м, в последний год жизни Волошина, имя Парнок снова возникает в его бумагах. 24 марта поэт пишет москвичке М.А.Пазухиной (которую не раз просил о передаче знакомым своих акварельных «приветов»): «Я очень радуюсь, что Вам нравится Софья Яковлевна. У нее удивительный тембр голоса. А Вы полюбили ее стихи? По-моему, это не менее прекрасно, чем она сама. А это очень много»<sup>58</sup>.

В ту весну Волошин был озабочен организацией во флигеле своего «имения» дома отдыха Всероссийского союза советских писателей (ВССП). Процесс этот был осложнен неожиданной передачей здания в аренду Партиздату — в ведение учреждения, совершенно чуждого поэту, — совершенной без согласия и ведома дарителя. И вот, в апреле 1932 г. группа московских писателей, волошинских друзей, направила в правление ВССП коллективное письмо с поддержкой протеста Максимилиана Александровича. Наряду с В.В.Вересаевым, М.Н.Розановым, А.Г.Габричевским, М.А.Петровским, Е.Лан-

<sup>56</sup> См. письмо М.П.Кудашовой к Волошину от 15 февраля 1927 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1035).

<sup>57</sup> Собр. стих., с. 321, 354.

<sup>58</sup> Собрание А.В.Пазухина (Москва).

ном, Е.Я.Тараховской, Л.Е.Остроумовым, К.Г.Локсом, А.С.Яковлевым, Н.П.Смирновым, подписала его и Софья Парнок<sup>59</sup>.

А в июне 1932-го, отвечая на литературную анкету библиографа Е.Я.Архиппова, Волошин назвал С.Парнок — после В.Ходасевича, М.Цветаевой и В.Рождественского — в числе «поэтов современности (после 20-21 гг.)», на которых «обращено его внимание»<sup>60</sup>.

Остается сожалеть о том, что не сохранились волошинские письма к Парнок (за исключением одного, приведенного выше), подаренные им книги и акварели. Но и без того перед нами достаточно ясно предстает картина высокой и безупречной дружбы на фоне катастрофического разлома мира. На протяжении почти семнадцати лет два выдающихся русских поэта, во многом очень разных, но одинаково «не склонивших головы» в мертвящей советской атмосфере (и, по сути, оба ею удушенных), находились в магнитном поле взаимного притяжения и поддержки.

---

<sup>59</sup> ЦГАЛИ, ф. 102, оп. 1, ед. хр. 18.

<sup>60</sup> Советская библиография, 1989, №2, с. 86.

## ИЗ АРХИВА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ПУНИНА

В страшную зиму 1942 года, когда Николай Николаевич уже с трудом вставал с постели, в маленькой комнате нашей ледяной квартиры в Фонтанном доме, при угасающей буржуйке, в темные январские вечера он рассказывал нам о солнечной Японии. Я, моя крохотная дочка Аня, которую укрывали для тепла большим волосяным матрасом, мой двоюродный брат Игорь Аренс слушали его звонкий голос, говоривший о цветах, море, скалах, ярких кимоно, цветных фонариках, качающихся на ветру, звенящих колокольчиках на улицах Токио, о веселом и мудром народе — японцах.

Он полагал, что прощается с жизнью, и в те блокадные дни, благословляя нас, дарил чудесный рассказ о волшебной стране, куда ездил с большой выставкой отечественного искусства в 1927 году.

Много лет спустя, при нашем переезде на другую квартиру, разбирая архив Николая Николаевича, Аня открыла папку с рукописью и письмами, связанными с поездкой на Дальний Восток.

Публикуемые материалы относятся к первой половине 1927 года.

К середине 1920-х годов Пунин прошел непростой и стремительный путь творческого становления. Воспитанник царскосельской гимназии периода директорства Ипп.Анненского, затем студент историко-филологического факультета Петербургского университета, который он окончил в 1914 году. В 1913 году он поступил на службу в отдел древнерусской живописи Русского музея. В том же году он начал активно участвовать в работе редакции журнала «Аполлон», публиковать первые искусствоведческие работы.

С 1914 года Пунин сблизился с молодыми художниками, регулярно собиравшимися в Академии художеств, в мастерской Льва Бруни, получившей название «Квартира № 5». Молодое поколение, формировавшее свое мировоззрение и творчество в мастерской Бруни, провозгласило своими лидерами В.Хлебникова и В.Татлина. Там бывали почти все представители будущего авангарда: К.Малевич со своими учениками, В.Маяковский, Н.Альтман, А.Лурье, П.Митурич, Вс.Мейерхольд, И.Пунин и многие другие молодые художники, в среде которых отшлифовывалось будущее передовое искусство двадцатых годов.

Пунин стал лидером и защитником подлинных творческих поисков и всегда отстаивал настоящее искусство. Этим объяснялось его глубокое восприятие и древнерусского искусства и новаторских поисков в твор-

честве Татлина. Первые послереволюционные годы и начало двадцатых годов были временем расцвета и реализации его критической деятельности. Десятки серьезнейших статей, «Цикл лекций» (1920); монографии о Татлине, С.Чехонине; организация Музея художественной культуры — все это относится к названному периоду. В то же время Пунин проявил себя и как великолепный организатор: редактирование газеты «Искусство коммуны», инициатива открытия многих выставок и экспозиции отделов, руководство художественным отделом б. Императорского фарфорового завода — во всем проявились организаторские данные Пунина.

Обмен выставками Японии и СССР был предложен Японо-советским художественно-литературным обществом (ЯСХЛО). Это общество провозгласило целью своей деятельности «бескорыстное содействие сближению двух народов путем изучения и ознакомления с духовными ценностями обеих стран». Решение об обмене выставками на правительственном уровне было принято в 1926 году, в организационный комитет вошли представители министерств иностранных дел и просвещения обеих стран, крупные художественные организации. Однако реальной подготовки советской выставки не начиналось, несмотря на все переговоры и на то, что Япония прислала в Москву своего представителя художника Томоэ Ябе. Искали специалиста, который смог бы эту работу вести со стороны СССР. Сотрудники Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКСЗ) предлагали кандидатуры людей, которые не имели авторитета в среде московских художников, и они не соглашались представлять свои работы на выставку, перспективы которой были туманны.

На одном из заседаний комитета по подготовке выставки в начале 1927 года А.Луначарский назвал имя Н.Пунина как возможного кандидата в качестве организатора выставки. Это предложение нашло горячую поддержку в среде московских художников.

Вскоре в переписке московских руководителей и дирекции Русского музея, где Пунин работал с 1913 года, были решены организационные вопросы — Пунин назначен генеральным комиссаром выставки, Давид Ефимович Аркин (1899-1957) — его первым заместителем, и уже в марте выставка была сформирована и упакована в специальные ящики.

24 марта 1927 года трансибирский экспресс Москва — Владивосток с драгоценным грузом и сопровождавшими его специалистами тронулся в путь.

Впечатления от этой поездки описаны Пуниным тогда же. Они также освещены в его переписке с Анной Андреевной Ахматовой и Петром Ивановичем Нерадовским. Кроме того, сохранились записи А.А., сделанные в томике французского издания: *Pensées de Blaise Pascal. Par P.R. Auguis. Tome premier. Paris, 1823:*

«(Куплена на вес!)»<sup>1</sup>.

6 апреля. Письмо от 28 марта из Иркутска (о крушении).

Письмо из Владивостока.

23 апр. Телеграмма: поздравляю целую. А.».

<sup>1</sup> Имеется в виду книга Паскаля, на которой сделаны приведенные записи.



На последних страницах рукой А.А.:

«Сегодня, 24 марта 1927 в 7 час. вечера говорила по телефону с Николаем. Он в Москве. В 8 ч. веч. выезжает в Токио.

Сегодня, 27 марта (воскресенье) получена телеграмма из Богдановичи (на границе Европы и Азии). Крушение, здоров, едем дальше. 21 март<а>. Открытка с Ник<олаевского> Вок<зала>.

24 м<арта>. Письмо прощальное.

24 м<арта>. Разговор по телефону.

27 марта. Телеграмма.

28 марта. Письмо из Вятки.

30 марта. Письмо из Екатеринбурга.

1 апреля. Я получила открытку из Тюмени от 27 марта. Случилось крушение. Ночью. Все целы. Весь состав под откос...

5 апреля. Телеграмма из Владивостока.

О крушении поезда мы узнали из сообщения в «Красной вечерней газете». Вскоре начальник почтового отделения позвонил по телефону моей матери и принес успокаившую нас телеграмму.

Крушение описано Николаем Николаевичем в письме Анне Андреевне из Иркутска:

«28 марта вечер

Милый Олень.

Снова сидим в международном вагоне (от Омска), на этот раз в I кл<ассе>.

А было так:

Отъехали верст 50 от Екатеринбурга, перевалили Урал, десятый час вечера. Мы трое; Аркин, Ябе-сан и я сидели в вагоне-ресторане и играли в шахматы; я проигрывал; внезапно вагон потерял свой ритм и со страшным лязгом стал прыгать под нашими ногами; потом я почувствовал, как меня заносит; схватился за какую-то ручку, кажется, стула; потом все полетело набок, огонь погас — я провалился, слышал, как кричал Ябе с японским акцентом «что такое, что такое». Я лежал на стекле, когда падал, что-то ударило меня по голове — так и не знаю что. Затем я услышал голос Аркина: «Н.Н., вы живы, вы не ранены?»; я ответил и позвал Ябе — он отозвался из темноты «уе», оба они были где-то вверх. Я встал, давя ногами стекло; в это время почувствовал, что по лицу льется кровь, взялся за лоб; была ссадина, очевидно, ударило стекло. Кто-то зажег спичку; все стало ясно; вагон лежал на боку, тарелки, бутылки, цветы, стулья все в одной куче, груды мусора; в вагоне кроме нас было несколько человек; кто-то метался по вагону, крича, что сейчас будет пожар, но у меня лилась кровь и заливала очки; Аркин заметил и испугался, салфеткой завязал голову. Была пустяковая ссадина, но во лбу много лишней крови. Рана послужила нам на пользу в дальнейшем, но в этот момент я думал, что Ангел сохранил и спас — так и думал — и что, наверное, в поезде много убитых и раненых. Надо было выбираться из вагона, укрепили стульями дверь, кто-то полез узнать, есть ли выход. Выход был, впереди лежали обломки какого-то вагона; потом оказалось, что это был тамбур нашего международного.

Минут через двадцать вылез и я, была звездная ночь, высокая; но очень холодно, градусов 45. Кругом снега по колено. В темноте были видны остатки вагонов. К этому времени Аркин уже все узнал; паровоз с багажным вагоном оторвался и ушел, почтовый, кот<орый> был впереди вагона-ресторана, лежал поперек пути, за вагоном-рестораном поперек пути стоял наш, дальше на боку лежали вагоны II и III кл<асса>; стоял на рельсах только последний салон-вагон, куда меня привели на перевязку; здесь оказалось, что почти никто не пострадал; только у одного нашего соседа по купе была сломана нога; дали уже знать и уже вышли два вспомогательных поезда из Богдановичей и Камышлова; нас подбирали, пересаживали в Камышлове в новый состав и в том составе, почти сплошь состоявшем из жестких вагонов, повезли до Омска. Все это заняло 12 часов времени. В Камышлове меня фотограф<ировали>, интервьюир<овали> и т.д., а в Омске за повязку на лбу дали I кл<асс> Междунар<одный>.

Теперь немного страшно вспоминать те секунды, в особенности железный скрежет машины, освобожденной от ритма, кот<орый> ей дан, кот<орым> она порабощена; так остро чувствовал вражду и злобу этой машины, ее бесформенный лязг и скрежет, которым она хотела и могла убить; только одну секунду и дано ей было это, а потом страшно еще было второе, когда все кончилось, и я понял, что кончилось, но все в мире, казалось мне, погибло, а жив в нем только я один. Тогда я вспомнил о тебе и подумал: ну вот, это мы и предчувствовали».

А.А. рассказывала, что предстоящая поездка Пунина ее пугала. Беспокойные предчувствия она позже связала с фотографией, сделанной перед отъездом Н.Н. в Японию. На негативе этого снимка оказалась поврежденной эмульсия — в том самом месте на лбу, в которое, спустя месяц, Н.Н. был ранен при крушении.

Впечатления о Японии были написаны Пуниным сразу по возвращении в Ленинград. Они не были закончены и не публиковались. Сохранились рукописи на листах большого формата, написанные чернилами, автором была проведена правка текста. В рукописи выделены три очерка: «Приезд», «Токио», «Мы говорили о китайцах...» Из сохранившихся двух вариантов второй более отработан. Он публикуется ниже.

## ПРИЕЗД

Перестало качать: мы вошли в Цуругскую бухту; я узнал Японию. Сквозь молочный расплывшийся туман прорезывались горы; только в Японии бывают такие волнистые очертания; я помнил их по гравюрам Кионага<sup>1</sup>. Свистки, лязганье лебедки; мимо шаланд с квадратными парусами к дымившемуся и серевшему слепыми пакгаузами порту подходили долго и медленно.

Туман редел; на склонах гор темнела пряная ядовитая зелень, в долинах стелился розовый дым цветущих вишен. Спер-

ва серебристое, потом розоватое, наконец, сияющее, как обычно, зажглось солнце; последние клочья тумана уползали в горы.

Полтора суток плавания отделяло нас от Владивостока, но ничто не напоминало нам земли, которую мы покинули так недавно.

Как только мы стали для того, чтобы принять карантинный досмотр, к нам подошли три катера; с одного из них на палубу хлынула ватага японских журналистов; вооруженные фотоаппаратами, заспанные, в макинтошах с поднятыми воротниками — эти бандиты не успокоились, пока не набрали полные карманы никому не нужных сведений; белые листки японской бумаги безропотно погибали под их бестолковыми каракулями.

Зеленая вода шлепалась о борт «Каги Мару».

Казалось, Япония ждала нас; на самом деле ждали только мы. Еще дымящаяся матовыми туманами, еще не смывшая ночных теней, она дышала легко в то безмятежное весеннее утро.

Мы уже долго слышали японскую речь, а не видели ни одного кимоно, и ни одной женской фигуры не промелькнуло на берегу. Можно было думать, что Япония — страна мужчин.

## ТОКИО

Токио — огромен и вместе с тем еще не город; несколько десятков токийских небоскребов не меняют дела, они тонут в океане деревянных, двухэтажных японских домиков; это деревня, вышедшая из берегов и разлившаяся на десятки километров. Токио буржуазен; в Токио скучно; стоит только отойти на несколько кварталов, как попадешь на Сиверскую: тихая дачная местность, кривые узкие улицы, посыпанные гравием, сады и безлюдье. В дождливые дни по канавам, вырытым вдоль домов, — в Токио нет канализации — течет мутная вода, с крыш и деревьев капает, в комнатах холодно, дует ветер и слышно, как барабанит дождь.

В дождливые дни мы надевали ватные халаты, садились на подушки вокруг хибати (жаровня), грели руки, покачиваясь, и курили. Мы жили тогда по-японски: было по-японски уютно, по-японски грустно, и все это ни к чему: сырость и тоска глодали нас.

Главная улица Токио — Гинза — тоже деревянная: не успела отстроиться после последнего землетрясения<sup>2</sup>; я любил ее под вечер, когда загорались огни и выходили вечерние газеты; газетчики не кричат в Токио, у них в руках связки колокольчиков, и они звенят ими на всех перекрестках; под вечер Гинза звенит событиями и стучит тысячью деревянных гетá, стук гетá, звон колокольчиков и еще запах сырой рыбы — таким сохранился в моей памяти Токио — необозримое азиатское становище, суетливое и сонное в одно и то же время.

За Гинзой по ту сторону воздушной железной дороги бесконечно тянутся кварталы ремесленников; под навесами горят бумажные фонари, играют в дудочки бродячие продавцы с едой, мелкой поступью, постукивая гетá, бредут женщины с детьми за спиной — это уже жизнь по ту сторону европейского мира, жизнь как во сне: видишь ее, не участвуя в ней, и чувствуешь самого себя, видящего сон. Так бывает часто в Японии.

В Токио мало лошадей; только раз видел я коляску, запряженную английской парой — и это была архаика, прохожие оглядывались, хмурые японские дети оживлялись, лопотали бы-стрес. Изредка попадаются длинные узкие телеги, запряженные лошадьми; местные лошади стройны — высокие, рыжие, злые. Японцы говорят, что они кусаются и не выносят европейцев. По Токио больше всего ездят на велосипедах — низеньких и коротких с опущенной решеткой для багажа и детей; катят гуськом, нередко в кимоно, подобрав полы, и тогда в гетá, в кимоно, в гетá и в мягких фетровых шляпах, или в соломенных канотье — им хорошо в таком наряде: издревле любили японцы компромисс форм — это одна из их исторических традиций.



Мы говорили о китайцах... Мой собеседник — японский журналист — сказал: «Китайцы добрый народ, русские тоже; японцы не добрый народ, поэтому они должны быть вежливы».

Какие силы вырвали у него это признание или он, действительно, не понимал, что коснулся своим умом журналиста, привыкшим бегать по миру, как по столбцам газеты, одной из тайн своего народа?

Об японской вежливости пишут в Европе; на эту тему иностранцами сочинено много анекдотов, которые теперь бродят по столицам мира; их записывают слишком доверчивые писатели-путешественники, со слов японцев, невозмутимых, если надо скрыть подлинные черты своего национального характера. О, они не любят, чтобы их знали и чтобы знали о них больше, чем они хотят. Анекдоты закрывают их лица подобно маскам; остается только улыбка, знаменитая на весь мир японская улыбка, которую не может воспроизвести ни один человек белой расы. Попробуйте, улыбнитесь так; если вы прожили в Японии четыре месяца, это удастся вам невзначай, просто потому, что человек не может не сыграть там, где все играют, но повторить эту улыбку вы не в состоянии, а между тем они улыбаются всегда и тысячью способов, на улыбку отвечает улыбка, и этих улыбок будет столько, сколько попыток будет сделано для того, чтобы проникнуть туда, в темную ночь сознания народа, не сомневавшегося еще ни разу в своем историческом избранничестве.

Японская вежливость не просто вежливость тренированных в обхождении людей, это — выражение инстинкта; может быть, в самом деле, жестокая воля этого народа была бы непереносима, если бы японцы не покрыли ее столь великолепно выработанной формой обхождения; подобно всею развертывают они вокруг себя тысячу умений: встретить, улыбнуться, поклониться, сказать, снова улыбнуться, накормить, показать, проводить, кланяясь и улыбаясь; запутанные в эти искусные сети, как узнаете вы, что они думают и что чувствуют в своем неограниченном и жадном самоутверждении? Как услышите вы голос их крови, если даже в деревне среди предельной нищеты для вас, если вы нуждались в проводнике, бросят поля, чтобы показать вам дорогу, и у домов, в которых живут люди, питающиеся почти исключительно редькой, вас ослепят цветы, яркие, как пламя, или нежные, подобно розовому дыму, возвращенные заботливой рукой, надо думать, рукою женщины.

Нет оснований также думать, что любезность, которую японцы окружают вас, едва ступит ваша нога на первую доску трапа, ведущего на палубу их парохода, есть простое желание вам услужить; услужливы только слуги, а это народ — господин, привыкший и научившийся повелевать. И для того чтобы повелевать без остатка, властвовать до конца, он рассыпает свои поклоны и свои приветствия, сохраняя ледяное спокойствие во всех случаях жизни. При этом он никогда не льстит; лость — признак нечистой совести, а его совесть чиста, ибо ему определено побеждать — и этого никто еще не мог опровергнуть, вот уже в течение 25 веков<sup>1</sup>. Изысканная вежливость японцев, может быть самых холодных людей в мире, — скользит по острию, не впадая ни в скуку и пустоту благовоспитанных джентльменов, ни в лстивую угодливость народов, узнавших плети и слышавших лязг стали завоевателей.

Впрочем, если верить рассказу, на достоверности которого японцы любят настаивать, в эпоху, когда под давлением Англии, Франции и России Япония принуждена была открыть свои гавани чужеземным рынкам, самураи, носители древней чести страны, забыв все приличия, мстили тем, которые посягали на их волю. Кавалькада не помню уже каких иностранцев — так повествует легенда — осмелилась как-то пересечь путь одному из знатнейших самураев, но тут же была изрублена воснной свитой последнего. Держава, подданными которой оказались пострадавшие, добилась казни виновного; он был приговорен по обычаям страны к харакири, которое должен был совершить в присутствии представителей этой державы; вспоров себе живот, гордый потомок древнего рода вынул кишки, отрезал их и, прежде чем умереть, успел швырнуть их в лицо обидчикам. Думаю только, что мстил не самурай, а японцы сегодняшнего дня мстят легендами за унижения, которые

они все же вынуждены были пережить в первый период насильственной европеизации их страны.

Слишком традиционен этот рассказ, такими изображены самураи в старых хрониках и повестях, такими они являются в национальном театре.

Овладев в самом начале XVII в. властью, династия Токугава<sup>4</sup> правила феодальной Японией в течение почти двух веков, закрыв границы страны для иностранцев. Можно сказать, на карте мира в эти века Японии не существовало; как священное изображение обезьян, она была слепа, глуха и нема перед лицом человечества. Как будто, действительно, долгий процесс социального брожения требовал этого молчания, этой слепоты и глухоты, чтобы окончательно сформироваться в тонкую и сложную систему феодализма. Сёгуны из дома Токугава обнаружили при этом исключительную гибкость и твердость ума; властные и в своей власти непреклонные, хитрые и дальновидные, они очень быстро опутали своих еще так недавно непокорных вассалов — даймё сетью интриг, брачных связей и обязательств, а микадо — священных императоров, лишенных власти, которым они позволили по традиции отсиживаться в Киото — старой, брошенной им, как подачка, столице, они заставили замолчать на многие десятилетия.

Тот, кто захочет немного глубже, чем это делается обычно путешественниками, проникнуть в культуру Японии, будет часто слышать имя Токугава; славой этого имени полон слух Японии.

Среди прочих способов создавать себе бессмертие есть один — может быть, и в самом деле наиболее чистый и более тонкий: любить искусство или, по крайней мере, делать вид, что его любишь. Сёгуны из дома Токугава знали это, и они создали Никко<sup>5</sup>.

Мы приехали в Никко к вечеру: день был пасмурный, но для Никко солнца не надо: в мрачный сумрак криптомерий не проникают его лучи. Огромные вековые стволы вьелись корнями в горы; вместе с народом, населяющим те места, они грызут камни. Неба не видно сквозь глухую зелень высоких ветвей; неба не надо; здесь гробница Иэясу Токугава<sup>6</sup> — первого сёгуна из этого рода. Это под его тяжелой рукой замерли разбушевавшиеся феодалы — даймё, он правил три года и теперь лежит в могиле из мрака и камня; высоко в конце бесконечной каменной лестницы, в бронзовом сумраке криптомерийского лсса стоит его позеленевшая, изъеденная дождями серая гробница. Иэясу Токугава!

Немного ниже этого места расположена главная масса никкских храмов. Но что храмы! Их великолепие создано в XVII веке, а так как XVII в. одинаков во всем мире — и во всем мире он суетен и тщеславен — суетны, великолепны и тщеславны никкские храмы.

Деревянные, как все храмы Японии, даже те, которые сохранились от VIII века — красные, лакированные, богато украшенные чудесной резьбой, эмалью и золотом, они дремлют под своими чешуйчатыми крышами, похожими на крылья. Толпы паломников со всех концов Японии, стирая деревянными гёта каменные плиты лестниц, галдят, кланяются и хлопают в ладоши, желая обратить на себя внимание бога. Суетная толпа! подобно утятам, она движется за своим проводником, в руках которого бамбуковая палка с зеленым флагом, украшенным иероглифами. Мимо, мимо золоченых Будд, мимо огромных чаш, где курятся благовонные палочки, мимо фонарей, в которых мерцают немногочисленные свечи, поставленные богомольной рукой, мимо бонз, лениво шепчущих в лиловом сумраке своих риз, — течет человеческая жизнь — вся Япония, суетная, до сих пор еще тайно верящая в свое происхождение от богини Амата-расу<sup>7</sup> и поэтому требовательная к богам...

И опять я смотрел на эти лица, желтые, с широкой, пленительной улыбкой, и опять удивлялся, как искусно погашен ею злой мужественный огонь всегда черных глаз, черных, как мрак, прорытых в земле дыр.

Есть в никкских рощах одно место; оно уже позади всех великолепий храмов; я пришел туда в поздние сумерки; вдали между огромными стволами краснела стена храмового здания; сильно пахло сыростью; где-то в горах шумел водопад; над головой жужжала муха. Кругом была мертвая недвижно повисшая тишина; и сколько бы здесь ни говорили, как бы ни шумели горные водопады — тишина эта только увеличивается. Она так тиха, так тиха — я не умею этого рассказать... Я сел, чтобы ее послушать, эту тишину. Вдруг где-то, очень далеко ударил буддийский колокол — и тогда лес запел легким, слегка колеблющимся скорбящим гулом. Это было настоящее рыдание над этим бедным миром; как будто сама вечность плакала о том, что он разлучен с нею... в нем бесплодно истекала вся доброта буддизма. Тот, который поставил тут дом богу и могилу предку, — что он думал? Или это только счастливо найденная форма, в которую непоколебимые сёгуны одели свою тяжелую власть, разящую и лукавую? Понимали ли Токугава, когда они принудили даймё отдать свои сокровища на постройку Никко, что искусство есть тоже средство покорять непокорных? Японец, который сопровождал нас, с восхищением рассказывал об уме и воле Иэмицу Токугава<sup>8</sup>, того, который заставил построить наиболее богатый из храмов Никко; на плохом русском языке он сказал: «он был большой умный человек во всем мире» — и когда он говорил: «во всем мире», властный огонь сверкнул в его милых узких глазах: мир должен принадлежать Японии.

Когда мы спустились с горы, было уже совсем темно; ночь пришла сверху, как бывает всегда в лесу; обволокла стволы, корни, камни и дороги; путь шел вдоль горной рёски; она шу-

мела, как будто годы шли, шумели века, прошлое этой земли; был в этом шуме звон оружия самурайских семейств, враждовавших друг с другом: лязг сабель, шуршание кольчуг; слышались задавленные и дикие крики, как будто под землей вставшие из могил неотомщенные снова сошлись в смертной тоске, не найдя покоя; тесно ли им, этим самураям, под каменными плитами гробниц Никко, не могут ли они забыть своих родовых распрей, или сдавленным подземным гулом они мстят Токугава за свое порабощение? — не знаю, но шум этот подобен шуму боя, и он не затихает там ни на минуту, ни днем, ни ночью, он вечен и будет вечен, тоскующий, неуспокоенный, как тогда, когда мы там были, в ту ночь, потом уже звездную, плававшую звездами ночь. Долго, уже уехав из Никко, я слышал этот шум; многое я забыл и забываю многое, но тишины и шума этого я не забуду до смерти. Никко — странные и страшные это места!..

Кажется, я разгадал Никко (но много времени спустя после того, как там был), я разгадал его в одном отношении: Никко, феодализм эры Токугава и «вежливость» современной Японии — это одно, одна форма. Родившаяся где-то в недрах военного сословия еще до Токугава (в период личных диктатур XV-XVI вв.), она была превращена в тонкую систему, при дворе Токугава, усвоенная самураями, затем разнесенная роннинами<sup>9</sup>, стала наконец достоянием большинства населения и теперь умирает, под европейским пиджаком, или на манекене, одетом в кимоно и украшенном канотье, или мягкой фетровой шляпой.

<sup>1</sup> *Кионага* (1751-1815) — художник школы укйюэ, мастер цветной гравюры.

<sup>2</sup> Сильное землетрясение, сопровождавшееся пожарами, было в районе Токио в 1923 году.

<sup>3</sup> Пунин, согласно его собственному примечанию, опирался здесь на те сведения, которые ему сообщили в Японии.

<sup>4</sup> *Токугава* — династия сёгунов (военачальников), которая объединила Японию и управляла страной с 1603 года на протяжении более двух веков.

<sup>5</sup> *Никко* — город на склоне гор, где до сих пор сохранились многие храмы и погребения древней Японии.

<sup>6</sup> *Иэясу Токугава* — основатель династии, правил Японией с 1603 года.

<sup>7</sup> *Аматерасу* — богиня солнца.

<sup>8</sup> *Иэмицу Токугава* — внук Иэясу, правил Японией в 1623-1650 гг.

<sup>9</sup> *Роннины* — обедневшие самураи, которые обычно странствовали по стране.



21 апреля &lt;19&gt;27

Кошка, кошка!

Каково мне было узнать сегодня из твоего владивостокского письма, что ты еще в повязке<sup>1</sup>. Значит рана была глубокой, значит тебе больно — зачем я тебя отпустила! Укачало ли тебя на море, хорошо ли было ехать? Как только выяснится срок возвращения домой — телеграфируй.

В прошлое воскресенье мы хоронили Павла Александровича Кракова<sup>2</sup>, который покончил с собой, бросившись в Неву против Мошкова переулка.

Об этом расскажу, когда вернешься.

Я считаю уже совсем здоровой, но ознобы жестокие мешают работать и жить. Людей вижу очень мало, меньше, чем при тебе. Букан<sup>3</sup> в Москве. Обе Натали<sup>4</sup>, Рыбаковы<sup>5</sup> и Валентина<sup>6</sup> Андреевна<sup>6</sup> всегда спрашивают о тебе и просят кланяться. Береги себя, моя милая Радость. Я не знаю, есть ли в Токио малярия, но если есть, не привози ее сюда. Мне кажется, что ты уехал года три тому назад, а вернешься лет через 5.

Спасибо за Тапку<sup>7</sup> и за милое письмо, но не думай, что я мешаю тебе путешествовать. Об этом надо было подумать много раньше.

Целую кончики твоих крыльев, как говорил Вольтер Аржанталю, а Пушкин Наталии Николаевне.

Акума.

(ЦГАЛИ, ф. 2633, оп. 1, ед. хр. 7).

<sup>1</sup> Н.Н. прислал домой фотографию, на которой он с забинтованной головой. Травма была более серьезной, чем он описал в письме.

<sup>2</sup> Павел Александрович Краков (1871-1927) — коммерческий директор издательства «Былое», возглавлявшегося Павлом Елисеевичем Щеголевым.

<sup>3</sup> Букан — прозвище, которым А.А. называла Владимира (Вольдемара) Казимировича Шилейко (1891-1930). Шилейко — востоковед, поэт, переводчик; второй муж Ахматовой.

<sup>4</sup> Наталия Викторовна Гуковская (Рыкова; 1897-1928) и Наталия Яковлевна Данько (1892-1942), скульптор.

<sup>5</sup> Рыбаковы — Иосиф Израилевич Рыбаков (1880-1938), его жена Лидия Яковлевна (Гальперина; 1885-1953), их дочь Ольга Иосифовна (род. в 1915 году).

<sup>6</sup> Валентина Андреевна Щеголева (Богуславская; 1878-1931), жена П.Е.Щеголева.

<sup>7</sup> Тапа — любимый сенбернар Анны Андреевны.

Милая Радость, я уже получила 3 письма из Токио. Никулушка, не унывай, стыдно. Дома все благополучно. Уверю тебя, что нам здесь совсем не плохо: тепло, тихо, никто нас не обижает. Я здорова, вчера (1-го мая) ездила в Царское». Была в парке, ты со мной, как всегда милый и дерзкий. Еще нет ни цветов, ни травы, но во всем весна. Вспомнила всех, кто для меня связан с Царскосельскими парками: Анненского, Комаровского, Николая Степановича<sup>1</sup> (и стихотворение Пущина: «В начале жизни школу помню я»).

Я проезжала мимо дома, где прошла твоя юность<sup>2</sup>; алый флаг — над балконом, окна освещены. Что печальнее прошлого, Милая Радость? Неужели еще хоть одну весну в жизни встречать без тебя, быть этого не может. Но я рада, что ты уехал, что ты узнал новое невиданное. Меня начинают пугать твои письма. Клянусь тебе, здесь все в порядке, Галя<sup>3</sup> лелеет меня, Ира<sup>4</sup> здорова — все тебя любят, ждут и хотят, чтобы ты был так же безмятежен. Твою телеграмму, посланную сегодня в 7 ч. утра, я получила в 5 ч. пополудни, с ужасом думаю, что не писала тебе 2 недели, что ты будешь волноваться, а от того пуще хандрить и мрачнеть. Не надо, солнце, береги нашу любовь, когда мы так тяжело разлучены.

Ходишь ли в музеи, видишь ли людей? пиши и помни, а главное будь веселым азиатом (как эти два слова ни за что не связываются?!).

Целую тебя, подумай, каково мне смотреть на твою картушку, где ты в повязке. Обещаю писать часто.

Анна — твоя.

(ЦГАЛИ, ф. 2633, оп. 1, ед. хр. 7)

<sup>1</sup> А.А. вспоминает поэтов-царскоселев — И.Ф.Анненского, В.А. Комаровского, Н.С.Гумилева.

<sup>2</sup> Семья Пуниных жила в Царском Селе с 1890-х годов до 1920 года на Средней ул. (д. 36). В этом же квартале со стороны Малой ул. в д. 63 жила Ахматова в доме Анны Ивановны Гумилевой — матери Николая Степановича.

<sup>3</sup> Галя — домашнее имя Анны Евгеньевны Пуниной (урожд. Аренс; 1892-1943) — врача, жены Н.Н.Пунина.

<sup>4</sup> Ира — Ирина Николаевна Пунина (род. 1921).

18 мая 1927

Дорогой друг, последнее письмо я получила 12-го, т.е. очень давно. Если завтра не будет письма, пошлю телеграмму. О моих кавказских делах тебе пишет Лукницкий<sup>1</sup>, если ты не хочешь, чтобы я ехала, извести немедленно. Не поеду.

Сегодня звонил Арнольд Ильич<sup>2</sup> о книгах. Там опять что-то налаживается и что-то разлаживается. Предпочитаю в это дело не вникать.

Тревога за тебя иногда вырастает до таких размеров, что я пугаюсь. Ни минуты покоя, но внешне все благополучно и здоровьём своим я вообще довольна.

Отчего ты в каждом письме пишешь, что писем от меня не ждешь, я понять не могу. Я от тебя писем жду. Котий, Котий<sup>3</sup>, уж не Кай ли ты, заехав такую даль.

Спасибо за карточки, они стоят на твоём письменном столе и каждую минуту напоминают мне о твоём отсутствии — глупый мальчик, который уезжает, когда не нужно.

Где ты? В Токио, в Осаке, в Сеуле или уже едешь домой? Все тебе кланяются, пришли открытки Р<ыбако>вым и Людмиле Николаевне<sup>4</sup>. Будь любезен раз в жизни. Береги себя, милая радость, и возвращайся скорее *проводить меня в Кисловодск*. (Написано из злонравия).

Целую твои глаза.

Анна.

(ЦГАЛИ, ф. 2633, оп. 1, ед. хр. 7)

<sup>1</sup> Павел Николаевич Лукницкий (1902-1973) — журналист, писатель.

<sup>2</sup> Арнольд Ильич Гессен (1878-1976). В 1924 г. он заключил договор с Ахматовой на издание двухтомника ее стихов. Пропла корректура (она сохранилась в архиве Лукницкого), но в печати издание не появилось. Вероятно, в 1927 году возобновились переговоры о печатании стихов А.А.

<sup>3</sup> Котий-мальчик — так называла А.А. в своих письмах и записочках Н.Н. Так он подписывал многие письма к ней, начиная с 1922 года.

<sup>4</sup> Людмила Николаевна Замятина (урожд. Усова; 1883-1965) — жена писателя Е.И.Замятина.

Н.Пунин — А.Ахматовой

28 июня <19>27. Токио.

Милая радость, Аничка.

Почти три недели не писал этой. И Нара<sup>1</sup>, где были Олени, из Нара — твоей родины — все прошло. Как сон. Вчера получил твою телеграмму из Кисловодска. Все ждал тревожно, что же нет вестей. Будь там до 1-го, если можешь. Мне пришлось-таки ехать в Нагойю, не пугайся, если еще помнишь, на 5 дней; 7-го июля закрываем выставку в Нагойя, и выезжаю, как только успею все оформить, примерно 15-го идет пароход,

так что в Москве 3 августа. И надеюсь — там тебя найду. Если приедешь раньше меня, остановись в гостинице — недорогие номера и приличного вида в «Бристол» на Тверской, около 6 р. — у меня будут деньги и все будет оплачено. Около 17-го июля я уже буду во Владивостоке и т.к. думаю, что до 20<-го> ты не уедешь из Кисловодска, то буду тебе туда телеграфировать точный день и час приезда в Москву, так же как и № поезда и вагона, так что и ты сможешь мне сообщить телеграммой, где тебя искать. На всякий случай имей в виду, что в ВОКСЗ<sup>е</sup> всегда узнаешь, как меня найти — Малая Никитская, 6. Встречи этой жду. Но как твоё здоровье? Не разболелась бы там, среди лермонтовских снежных демонов.

Все твои письма получил — ты, кажется, тоже; хорошо ходят письма.

Сейчас в Токио, приехал на два дня по «делам». Сегодня уезжаю в Осаку, чтобы закрыть там, не имеющую особого успеха, выставку и перевезти ее в Нагойя. Сам буду жить в Киото<sup>3</sup> эти 5 дней. Ты ничего не пишешь о смерти Кустодиева<sup>4</sup>; Людмила Николаевна<sup>5</sup> наверное была в хлопотах. В Нагойя уберу его картины трауром.

Сердце милое, когда я немного познакомился с японским языком, мне твоё имя «Акума» стало казаться странным; думалось, оно должно иметь значение. Я спросил одного японца, не значит ли что-нибудь слово — Акума — он, весело улыбаясь, сказал: — это значит: злой демон, дьяволица, если принять женский род и наше понимание. Очевидно, Вольдемар<sup>6</sup> знал смысл этого слова. Возможно, что где-нибудь на «его» Востоке именем этим обозначался какой-нибудь бог, или дух, — но во всяком случае, — зла. По-японски, как потом выяснил, даже можно ругаться этим словом; вежливая брань, но все же брань. Думаю, чиновники на телеграфе не раз высказывали свои мнения насчет телеграмм, содержащих слово «Акума».

Так окрестил тебя В.К. в отместку за твои речи.

Твой привет всем передал; выпрашивают твои карточки, кот<орые> у меня; две уже отдал — у Рыбаковых в гостиной (в Ц<арском> С<еле>) и под липой на Гумилевской скамейке, другие не могу отдать, обещаю прислать.

На мрачный твой возглас об Ангеле-Смерти — мне, в моем тленном счастье, с Японией — этим небесным подарком в руках, подобает ответить: и смертию смерть поправ. Еду к тебе, счастье.

К.М.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> *Нара* — древняя столица Японии. В ее парках сохраняли и оберегали оленей. В переписке А.А. и Н.Н. «Олень» — часто употребляемое обращение к А.А.; сама Ахматова иногда подписывала свои письма к Н.Н. таким именем. В двадцатые годы по заказу Пушкина на фарфоровом заводе для А.А. была расписана по

эскизу Льва Бруни чайная чашка, на которой был изображен олень с откинутой назад головой с ветвистыми рогами.

<sup>2</sup> ВОКСЗ — Всероссийское общество культурных связей с за-  
границей.

<sup>3</sup> Киото — древняя резиденция японских императоров (ми-  
кадо).

<sup>4</sup> Художник Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927) скон-  
чался 26 мая 1927 г. в Ленинграде.

<sup>5</sup> Л.Н.Замятина.

<sup>6</sup> В.К.Шилейко.

<sup>7</sup> Подразумевается: Котий-мальчик. См. примеч. 3 к преды-  
дущему письму.

Н.Н.Пунин — П.И.Нерадовскому<sup>1</sup>

Ленинград, Гос.Русский музей  
Художественный отдел

5 Мая 1927  
Токио

Дорогой Петр Иванович.

Когда Вы получите это письмо, Павел Иванович<sup>2</sup> наверное  
будет уже иметь телеграмму нашего посла и, возможно, также  
бумагу Наркоминдела — о продлении отпуска.

Вы недовольны, конечно — но сделать было ничего нельзя,  
т.к. по целому ряду технических причин открытие выставки  
могло состояться лишь 15 мая, и мы, таким образом, просидели  
в Токио целый месяц «туристами». Выставка, во всяком случае,  
имеет огромный идологический успех. Почти не проходит дня,  
чтобы какая-либо из газет не писала по поводу этой выставки,  
или о нас, или вообще о русском искусстве. Нас приглашают,  
возят, показывают. Не без интереса слежу я за тем, как про-  
исходит из-за нас скрытая борьба двух враждующих художест-  
венных лагерей: тех, которые за старый мир и «против цивили-  
зации» (цитирую буквально), и тех, которые прониклись  
идеями Парижа и не хотят больше слышать о каэкмоно (япон-  
ская картина). Так как подбор нашей выставки многосторонен,  
то, действительно, трудно решить — кто мы. Во всяком случае  
пользуемся всеми приглашениями; совсем еще недавно обедали  
у чрезвычайно маститого академика Асакура; только интересны  
не его работы, а дом, в котором он живет: — старый японский  
богатый дом. Все богатство этого дома в драгоценном дереве,  
из которого сделаны стены и потолки, так как мебели, как  
известно, в яп<онских> домах почти нет.

Выставка наша взята под весьма высокое покровительство  
— так что я даже не могу пересчитать всех званий тех титу-  
лованных особ, которые согласились быть членами комитета

(вспомните 100 лет французской живописи<sup>3</sup>). Новый премьер также дал свое согласие быть президентом выставки.

Как и полагается в таких случаях, мы уже не играем в этом никакой роли; политические и экономические колеса вертятся и мелют помимо нас, мелют и вертятся. Впрочем, в день открытия выставки мне придется говорить 30 мин., вместе с нашим послом. Зато мы окружены лаской и заботой; банкеты, чай и визиты, и каждый раз новый галстук и новый воротничок. Много иронии в человеческой истории, м<ожет> б<ыть> слишком.

Сроки выставки определяются так: с 15 мая — 1 июня — Токио, с 15 июня — 1 июля — Осака. Имеется настойчивое предложение, поддерживаемое нашим послом, о продвижении выставки в Корею, но мы решительно отклоняем эту поездку, т.к. она требует еще одного месяца, — а домой хочется. Поэтому, думаю около 8 июля выехать, в конце июля быть в Москве и к 1 августа в Ленинграде. Слыхали ли Вы о нашем крушении за Уралом? Когда я поднялся на ноги в перевернувшемся вагоне-ресторане, где мы в эту минуту играли в шахматы, и кровь текла со лба — думал, что дальше мы не уедем, но случилось так, что паровоз и багажный вагон, в котором были ящики, оторвались и благополучно ушли, тем самым выставка была спасена, и, пересев в новый состав, мы поехали дальше. Семь вагонов лежали под откосом, была звездная ночь, глубокие снега и 45° мороза, а сейчас уже теплое, душное лето. Погода здесь так же таинственна, как и все; высокое, горячее солнце, потом подымается вихрь — рвет крыши и ломает стены, затем ливень обрушивается, как будто кто опрокинул гигантскую шайку — а потом опять солнце; землетрясений еще не испытывали, но ждем все время, т.к., говорят, не проходит месяца, чтобы не трясло, хотя бы слегка.

Япония таинственнее, чем мы о ней думаем, а узнать ее трудно, даже прожив здесь много лет. Отделенные — непорочно — языком, вряд ли мы можем получить правильное о ней представление. Много чудесного, но, вероятно, не нашим языком надо о нем говорить.

Японское искусство, но об этом по возвращении, т.к. слишком много можно сказать, лучше вообще молчать об искусстве.

Кланяйтесь, Петр Иванович, всем. Как Елсна Константиновна<sup>4</sup>? Низкий поклон ей.

Дошли до меня слухи, что Каревский<sup>5</sup> каталог вышел неплохим — приятно. А что делают в двухсветном зале?

Не сбегали ли Коган<sup>6</sup> и Аникеева<sup>7</sup>? Еще так не скоро обо всем этом придется узнать.

Не сердитесь же, еще нарабатываемся.

Привет, Ваш Пунин.

Между прочим, Петр Иванович, перед отъездом из Москвы пришлось мне видеть много вещей Ларионова<sup>8</sup> — это первосор-

тная живопись. Я просил поверенных художника разрешить Русскому музею сделать осенью выставку Ларионова — и буду по этому поводу писать Ларионову в Париж. Некоторые вещи совершенно необходимо купить, и по приезде я обязательно составлю докладную записку по этому поводу в Совет, или Правление. Исключительные вещи — едва есть что-либо лучше этого за последние 15-20 лет.

Привет всем.

Н.Пунин.

Передайте, пожалуйста, открытки Н.Е.Лансере<sup>9</sup>; они стоят по 4 коп.

<sup>1</sup> *Петр Иванович Нерадовский* (1875-1962) — художник, искусствовед; заведующий художественным отделом Гос. Русского музея.

<sup>2</sup> *Павел Иванович Новицкий* (1888-1971) — руководил Отделом музеев Главнауки.

<sup>3</sup> Выставка «100 лет французской живописи» состоялась в Петербурге в 1912 году; выставочный комитет состоял из министров и возглавлялся великим князем Николаем Михайловичем.

<sup>4</sup> *Елена Константиновна* — жена П.И.Нерадовского.

<sup>5</sup> Имеется в виду каталог выставки А.Е.Карёва со статьей Н.Пунина (Л., изд. Гос. Русского музея, 1927, с. 10-29) (Гос. Русский музей. Художественный отдел).

<sup>6</sup> *Нина Осиповна Коган* (1887-1942) — художница, ученица К.Малевича.

<sup>7</sup> *Вера Николаевна Аникиева* (1894-1942) — искусствовед, в то время сотрудник художественного отдела Гос. Русского музея.

<sup>8</sup> *Михаил Федорович Ларионов* (1881-1964) — художник. Его работы Н.Н. видел в Москве в семье Льва Федоровича Жегина. По возвращении из Японии Пунин ходатайствовал о приобретении для Русского музея его живописных произведений. Вскоре Пунин, просмотрев еще раз холсты Ларионова, написал статью «Импрессионистический период в творчестве М.Ф.Ларионова» (в кн.: «Материалы по русскому искусству». Т. I. Л., изд. Гос. Русского музея, 1928). На эту статью Ларионов откликнулся в письме Пунину из Парижа: «Очень Вам благодарен за заметку в «Материалах по Русскому искусству» о моих работах импрессионистического периода. Это одни из лучших строк, написанных об этом периоде и обо мне даже».

<sup>9</sup> *Н.Е.Лансере* (1879-1942) — архитектор.





## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Абрамов С. А. 424  
 Абрамович Н. Я. 115  
 Авдиева И. Д. 291, 294, 295, 302-316  
 Авенариус Р. 15, 355, 382, 406  
 Аверинцев С. С. 147  
 Аверьянова Л. И. 193-195, 227  
 Агин А. А. 221, 233  
 Адамович Г. В. 284  
 Адан П. 367  
 Азадовский К. М. 143  
 Азеф Е. Ф. 353  
 Айхенвальд Ю. И. 115  
 Акулов, прокурор 92  
 Алданов М. А. 284  
 Александр I, император 57, 170, 176  
 Александра Федоровна, императрица 58, 66, 302, 308-311, 316  
 Алексеев Н. 402, 404, 405  
 Алексей Александрович, вел. кн. 288  
 Алексей, цесаревич 310, 311  
 Аллой В. Е. 370  
 Альберти Р. 89, 97  
 Альтман Н. И. 414, 427  
 Альтшуллер Е. Г. 91  
 Амброзевич В. К. 272, 285  
 Амаду Ж. 95  
 Амфитеатрова А. В. 158, 160  
 Андерсен X.-К. 227  
 Андреев Л. Н. 81, 114, 214, 227  
 Андрусон Л. И. 81  
 Аликиева В. Н. 442, 443  
 Анисимов Ю. П. 117  
 Аничкова А. М. 344  
 Аппенский И. Ф. 150, 427, 438  
 Антокольский П. Г. 423, 424  
 Апухтин А. Н. 293  
 Арапов А. А. 266, 277  
 Арбенина М. Н. 289  
 Арбузов, ординатор 300  
 Ардов Т. (В. Тардов) 115  
 Аренис И. 427  
 Аржанталь 437  
 Аристотель 382  
 Аркин Д. Е. 428-430  
 Арконада С. 95, 97  
 Архиппов Е. Я. 426  
 Арцыбашев М. П. 81, 115  
 Асакура 441  
 Асафьев Б. В. 277  
 Асеев Н. Н. 113, 114, 117  
 Аскольдов С. А. 338, 346, 382  
 Асмус В. Ф. 39  
 Ауслендер С. А. 124, 272, 289  
 Ахманов А. С. 28  
 Ахматова А. А. 18, 78, 81-83, 92, 95, 100, 101, 190, 196, 206, 209, 227, 229, 235, 265, 269, 270, 272, 285, 288, 290, 294, 304, 366, 411, 428-430, 437-440  
 Ахрамович В. Ф. 119, 153, 390, 391  
 Бабелина 222  
 Бабель И. Э. 302  
 Байрон Дж. Г. Н. 30  
 Бакст Л. С. 268, 320, 321, 327, 335, 367  
 Бакунии М. А. 341  
 Бакунины 174  
 Баланчивадзе Г. (Баланчин Дж.) 275

- Балтрушайтис Ю. К. 17, 19, 28  
 Бальзак О. 222  
 Бальмонт К. Д. 78, 79, 81, 95,  
 125, 126, 150, 155, 158, 335,  
 342, 343, 355  
 Баранов А. А. См.: Рсм. Дм.  
 Баратынский (Боратынский) Е.А.  
 83, 150, 153, 215, 232, 282  
 Бардовская Л. В. 72  
 Барнстед Дж. 280, 283  
 Батюшков К. Н. 268  
 Бахрушин А. А. 287  
 Бахрушин Ю. А. 270, 287  
 Бахтерев И. В. 282  
 Бачинский А. И. 17  
 Башкирцева 327  
 Безродный М. В. 372, 375, 380,  
 387, 388  
 Бекетова М. А. 203, 229  
 Белепсон А. Э. 284  
 Белинский В. Г. 24  
 Белло Р. 131  
 Белькинд Е. Л. 388  
 Белый Андрей 17, 18, 38, 113-  
 169, 191, 302-304, 319, 320,  
 325, 326, 336-341, 346-357,  
 362-365, 367-370, 372, 375-377,  
 380-382, 385-393, 405  
 Белых Г. Г. 232  
 Белявский Н. Ф. 193  
 Беляев С. А. 353  
 Берберова Н. Н. 89, 337  
 Бенуа А. Н. 321, 322, 326-328,  
 332, 339, 340, 342, 348, 354,  
 355, 362  
 Берг А. 267, 278  
 Бергер Ю. Х. 234  
 Бергсон А. 375, 382, 404  
 Бердяев Н. А. 12, 17, 18, 155,  
 158, 320, 340, 346, 348, 349,  
 363, 369, 370, 379, 380, 382,  
 383-389, 391  
 Берстербиде Ф. 97  
 Берия Л. П. 42, 100  
 Беркли Дж. 15  
 Бетховен Л. ван 267  
 Бехер И.-Р. 93  
 Бианки В. В. 229  
 Бизе Ж. 267, 269  
 Битнер В. В. 383  
 Бланко Фомбона Р. 93  
 Бласко Ибаньес В. 93, 104  
 Блок А. А. 9, 11, 18, 26, 31, 78,  
 82, 84, 92, 95, 124, 150, 152,  
 154, 158, 162, 179, 196, 200,  
 201, 205, 206, 209, 213, 229,  
 231, 263, 265, 268, 271, 272,  
 276, 282, 283, 289, 316, 319,  
 325, 326, 339, 340, 353, 359-  
 361, 380, 387-389, 392, 394  
 Блок Л. Д. 209, 231, 289  
 Блох Я. Н. 290  
 Блейк В. 261  
 Бобров П. П. 139  
 Бобров С. П. (псевдонимы: Мар  
 Иолэн, С. Рюмин и др.) 113-  
 169, 384  
 Боброва Н. П. 150, 153  
 Богаевская Ж. Г. 417  
 Богаевский К. Ф. 414, 415, 417,  
 420  
 Богомолов Н. А. 282, 283  
 Богораз-Тан В. Г. 94  
 Бодлер Ш. 117, 122, 128, 129-  
 131, 133-135, 141, 144-146,  
 148, 160  
 Божерянов А. И. 265, 274  
 Божерянова И. 265  
 Божко С. С. 38  
 Болье 356  
 Бонч-Бруевич В. Д. 287, 315  
 Боратынский Е. А. См.: Баратын-  
 ский Е. А.  
 Борисова Е. А. 77  
 Борисоглебский М. В. 193-195,  
 197, 213, 214, 227, 229, 232  
 Бородасевский В. В. 145, 147, 158  
 Бородин А. П. 267  
 Боттичелли С. 268  
 Боткин Е. С. 300  
 Боцяновский В. Ф. 331  
 Бруни Л. А. 427, 441  
 Бруни Т. 288  
 Брус Г. 273, 290

Брюсов В. Я. 81, 91, 114-116, 117, 118, 120, 125-127, 130, 131, 134, 139, 143-145, 147, 152-155, 158, 159, 226, 283, 326, 336, 339, 341, 342-345, 348, 349, 352-354, 356, 360-362, 364, 366, 369, 370

Брюсова И. М. 118, 147

Бубнов Н. Н. 372

Бугаев Н. В. 139

Будназ, ординатор 300

Булгаков С. Н. 12, 17, 323, 324, 346, 348, 350, 379, 382, 389

Бунаков-Фондаминский И. И. 345-347

Бунин И. А. 81, 82, 184

Бурже, проф. 314

Бурче Ф. Я. 373

Буткова Е. А. 413, 420

Бутру Э. 375, 381, 388, 401, 404

Бухарин Н. И. 32

Бычков, сотрудник НКВД 42

Вагишов К. К. 91, 287

Вагинова А. И. 287

Вагнер Р. 376

Вайцсеккер В. 406

Вальехо С. 89

Вальзер (?) 268

Вариско Б. 381, 402, 405

Варламов К. А. 267, 279

Васильев Н. А. 382, 406

Васильева Н. 272, 289

Вассиан 305

Введенский А. И. 268, 282, 378

Веберн А. 267

Вейнингер О. 135

Вейншток В. А. 292

Вельфлин Г. 381, 406

Венгеров С. А. 80, 82, 231

Венгерова Э. А. 134

Вергилий 284

Верейский Г. С. 195, 270, 285

Вересаев В. В. 415, 417, 422, 423, 425

Вериго М. Б. 263

Верлен П. 131, 133, 144, 154

Вернадский В. И. 378, 398

Верфель Ф. 268

Верхарн Э. 122, 132, 134, 145

Верховский Ю. Н. 194, 224, 227, 234

Веспин Л. А. 48

Ветров И. (Книжник И. С.) 355

Вигонд Е. В. 420

Вильгельм II Гогенцоллерн 310

Вилле де Лиль-Адан Ф. О. М. 164, 167

Вилькина Л. А. 322, 343, 349

Вильчиевский С. Н. 300, 301

Виндельбауд В. 372, 374, 376, 381, 402, 405

Вине Р. 278

Винокур Г. О. 27

Витурейр С.-С. 96

Восейков В. Н. 45, 61-63

Воинов В. В. 270, 285

Войнова, майор 101

Волжский. См.: Глинка А. С.

Волков М. 91, 92

Волков Н. Н. 28, 276

Волков С. М. 278

Волконская А. Н. 186, 188

Волконская Н. Ф. 186

Волконская С. Г. 186, 188

Волконский Г. С. 186, 188

Волконский С. Г. 185, 186, 188

Волконский С. Ф. 186, 188

Волошин М. А. 125, 126, 128, 162, 222, 233-235, 342, 343, 345, 387, 408-426

Волошина М. В. См.: Сабашникова М. В.

Волошина (урожд. Заболоцкая) М. С. 409, 411, 412, 416, 417, 422, 425

Вольксштетин В. М. 408

Вольнов И. Е. 81

Вольтер 192, 437

Вольф М. О. 172, 373, 392, 394-396

Вольф Х. 20

Вольфинг. См.: Метнер Э. К.

- Волынский А. Л. 135, 325, 327, 338  
 Врубель М. А. 128, 268  
 Вундт В. 15, 355  
 Вьюгова Г. 423  
 Выгодская Г. Л. 79  
 Выгодская Д. Я. 79  
 Выгодская Э. И. 78, 84, 88, 90, 93, 94, 97, 99-101  
 Выгодская Эсфирь 79  
 Выгодские, братья 86  
 Выгодские, семья 79  
 Выгодский Д. И. 78-110  
 Выгодский И. Д. 78, 79, 93, 97, 101-103  
 Выгодский И. Л. 78  
 Выгодский Л. И. 79, 92  
 Выгодский С. Л. 79  
 Выготский Л. С. 79, 83, 84, 92  
 Вырубова А. А. 309, 316  
 Вышеславцев Н. Н. 414  
 Габричевский А. Г. 28, 34, 39, 425  
 Гавен Я. З. 421  
 Гайди Й. 267  
 Галабутский Ю. А. 420  
 Гаррикс Э. См.: Грешцион Э.  
 Гарсиа Лорка Ф. 97  
 Гартман Н. 381, 406  
 Гартман Э. 15  
 Гаспаров М. Л. 147, 169  
 Гафиз 282  
 Гвоздев А. А. 274, 290  
 Гегель Г.-В.-Ф. 22, 35, 41, 385, 407  
 Гедройц В. И. (Сергей Гедройц) 291-302, 308-314  
 Гедройц С. И. 293, 308  
 Гейне Г. 80  
 Гельмгольц Г. 152, 154  
 Гельперин Ю. М. 113  
 Георге Ст. 136, 139, 155, 156  
 Гераклит Эфесский 382, 388  
 Герард 231  
 Герцен А. А. 292  
 Герцен А. И. 24, 26  
 Герцык А. К. 408-411, 415  
 Герцык Е. К. 385, 409, 410, 412, 413, 415, 418, 420, 423  
 Гершензон М. О. 17, 382  
 Герье В. И. 18  
 Гессен А. И. 439  
 Гессен С. И. 372-378, 383, 385, 387-389, 391-396, 398, 400, 402, 404, 406  
 Гете И.-В. 20, 233, 268, 281, 290, 392, 406  
 Гибшман 271  
 Гиз 268  
 Гизетти А. А. 196, 202, 228  
 Гиль (Гильбер) Р. 145, 147  
 Гильдебрандт О. Н. (Арбенина О.) 262-290  
 Гинзбург А. М. 45  
 Гиппиус Вл. В. 331  
 Гиппиус З. Н. 142, 143, 158, 170, 203, 230, 311, 319-371, 411  
 Гиппиус Н. Н. 327, 340  
 Гиппиус Т. Н. 327, 339, 340  
 Глсбова-Судейкина О. А. 194, 206, 229, 235, 237  
 Глинка (Волжский) А. С. 324, 338, 346-349  
 Глузман А. 41  
 Глюк К.-В. 284  
 Гнесин М. Ф. 232  
 Гоген А. И. фон 51  
 Гоглидзе С. А. 100  
 Гоголици Д. П. 271, 289  
 Гоголь Н. В. 221, 233, 268, 280  
 Голлербах Е. А. 289  
 Голлербах Э. Ф. 271, 284, 288, 289  
 Головин А. Я. 81, 269, 284  
 Головины 422  
 Гомберг Э. П. 339  
 Горбачев Г. Е. 214, 232  
 Горбунов А. Н. 281  
 Гордон Г. И. 402, 403  
 Горленко Н. А. 417  
 Горнунг Б. В. 28, 264, 277  
 Горнунг Л. В. 28

Горнфельд А. Г. 211, 231, 372, 373  
Городецкий С. М. 125, 126, 150, 162, 163, 234, 265, 293, 359  
Горький М. 81, 82, 90, 96, 97, 184, 205, 271, 289  
Готорн Н. 233  
Гофман М. Л. 139, 348  
Гофман Э.-Т.-А. 268, 281  
Гофмансталь Г. фон 155  
Гоццолли Б. 268  
Грабарь И. Э. 49, 70  
Грачев П. В. 265, 274  
Гревс И. М. 378, 398  
Гренцион Э. (Э. Гаррик) 90  
Гретри А.-Э.-М. 267  
Гречишкин С. С. 117, 153, 392  
Гржебин З. И. 88  
Григорьев А. 287  
Грин А. С. 227  
Грипберг Ф. 345  
Гриффитс Д.-У. 267, 279  
Грюнвальд 402, 403  
Губер А. А. 7, 28  
Гудим-Левкович 311  
Гуковская (Рыкова Н. В.) 437  
Гумбольдт В. 27, 34  
Гумилев Л. Н. 100  
Гумилев Н. С. 78, 81, 92, 125, 126, 140, 262, 263, 265, 270, 272, 288, 293, 299, 304, 311, 352, 353, 366, 438  
Гумилева А. И. 438  
Гуревич Л. Я. 392  
Гурко 187, 188  
Гурко В. И. 310-316  
Гуссерль Э. 20, 23, 33, 372, 374, 397, 402, 405  
Гучков А. И. 17, 19  
Гучкова Н. К. См.: Шпет Н. К.  
Гюисманс Ж.-К. 128, 129  
Гуйо Ж.-М. 15

Давыдов З. Д. 418  
Дальский И. 229  
Даниин С. А. 72  
Д'Аннуцио Г. 268

Данте Алигьери 157, 263  
Данько Е. Я. 190-261  
Данько Н. Я. 190-192, 195, 437  
Даутендей М. 156, 158  
Дебюсси К. 267  
Дейссен П. 387  
Декарт Р. 15  
Де Квинси Т. 132  
Делиб Л. 267  
Дельвиг А. А. 119, 158, 163  
Демель Р. 156  
Деонесов (?) 196  
Дервицкая 357  
Деревенько, ординатор 300  
Державин К. Н. 94  
Дешарт О. 234  
Джемс У. 141, 143  
Дидро Д. 382  
Диккенс Ч. 30, 268  
Дикман М. И. 235  
Дикс Б. 137, 139  
Дильтей В. 382, 385, 396, 406  
Дмитриев В. В. 264, 265, 270, 275  
Добролюбов А. М. 330, 331, 363  
Добужинский М. В. 270, 285, 286  
Домбровский В. Р. 270, 286  
Доменико Венециано 266  
Досифей, схимник 305  
Достоевский Ф. М. 11, 12, 268, 280, 306, 326, 327, 332  
Дузе Э. 16  
Дурылин С. Н. 117, 119, 120, 159, 161-163  
Дьяконов П. И. 293  
Дюсеранвиль 313  
Дюфи Р. 268  
Дягилев С. П. 266-268, 327  
Дягилева Е. В. 328, 329, 333-336, 339, 342, 358, 359, 364, 369  
Дядьковский 270

Евгеньев-Максимов В. Е. 322  
Евреинов Н. Н. 265, 274  
Евреинова Н. Н. 265, 274  
Егерман, г-жа 187

Егоров Е. А. 321  
 Егунов А. Н. (псевд. Андрей Николев) 270, 287, 288  
 Екатерина II, императрица 211  
 Елизавета, императрица 181  
 Ельшин 272  
 Ермичев А. А. 396  
 Ермаген, архиепископ (Голубев) 291  
 Ершов П. П. 152  
 Есенин С. А. 28, 92, 102, 201, 300

Жегин Л. Ф. 443  
 Жеманов С. Я. 292  
 Жильбер Ж. 267  
 Жинкин Н. И. 7, 14, 20, 28  
 Жирмунский В. М. 280  
 Житков Б. С. 229  
 Жорес Ж. 353, 354  
 Жуковский В. А. 125, 145, 147

Заболоцкая Е. В. 100  
 Заболоцкая М. С. См.: Волошина М. С.  
 Заболоцкий Н. А. 99, 307  
 Заверный Л. Г. 291  
 Зайцев Б. К. 410  
 Зайцев П. Н. 117  
 Зайцева В. А. 408, 410  
 Заковский Л. М. 100  
 Замятин Е. И. 46, 88, 197, 227, 228, 302, 306, 315, 316, 439  
 Замятина Л. Н. 439-441  
 Замятина М. М. 340  
 Звягинцева В. К. 423, 424  
 Зелинский И. В. 420  
 Зелинский Ф. Ф. 80, 378, 398, 407  
 Зенкович М. А. 294, 423, 424  
 Зеньковский В. В. 39  
 Зибек П. 372, 373  
 Зив О. М. 270, 287  
 Зигварт Х. 15  
 Зиммель Г. 381, 393, 395, 396, 402, 405-407  
 Зиновьева-Аннибал Л. Д. 340

Злобин В. А. 321, 330  
 Змиев А. Г. 406  
 Золя Э. 219  
 Зоргенфрей В. А. 289  
 Зошенко М. М. 88, 95, 99, 101, 268  
 Зубов С. 288

Ибсен Г. 327  
 Иван Грозный 270  
 Иван Странник. См.: Аничкова А. М.  
 Иванов Вяч. И. 121, 122, 124, 126, 145, 147, 152, 158, 159, 161, 163, 206, 222, 226, 230, 234, 264, 268, 282, 283, 285, 319, 339, 340, 346, 348, 352, 359-361, 368, 369, 379, 387-389, 402, 405  
 Иванов Г. В. 265, 284, 293  
 Иванов Е. П. 331, 339  
 Иванов-Разумник Р. В. 194-198, 206, 210, 227, 236, 293, 295, 300, 302-308, 314, 316  
 Иванова В. Н. 303, 314  
 Иванова Л. А. 267, 279, 280  
 Ивнев Р. 264  
 Игнатьев А. А. 309, 314  
 Игнатьева М. Н. 309, 310, 312, 314  
 Измайлов А. А. 115  
 Ильин И. А. 382, 407  
 Иопов (Бернштейн) И. И. 199, 228  
 Исаченко В. Г. 45

Йозль К. 402, 405

Кавальери Л. 267, 274, 279  
 Казакова С. Я. 113  
 Калицкая В. П. 194, 195, 197, 212, 215-217, 220, 223-227  
 Кальдерон де ла Барка П. 93, 276  
 Кальман И. 267, 277  
 Камелецкий 355  
 Каменев Л. Б. 29

- Каменский А. П. 114, 208, 231  
 Кандауров К. В. 414, 417  
 Кандаурова А. В. 414, 417  
 Канкарович А. И. 266, 275  
 Каннегисер А. С. 284  
 Каннегисер Л. А. 262, 284, 285  
 Каннегисер Н. Н. 285  
 Кант И. 15, 20, 380, 382, 384, 386  
 Капица О. И. 203, 229  
 Капнист Г. Р. 411  
 Капнист Р. Р. 411  
 Карев А. Е. 443  
 Карсавина Т. П. 266, 268, 273, 274, 276, 277, 290  
 Карташев А. В. 321, 325, 340, 346, 348, 363  
 Карташев Н. И. 37  
 Кастаньеда-и-Арагон Г. 96  
 Кастаньо А. дель 268  
 Катон Старший 377  
 Качалов В. И. 17  
 Кашина-Евреинова А. А. 265, 274  
 Кенигсберг М. М. 280  
 Керенский А. Ф. 355  
 Кестнер Ш. 274, 290  
 Киплинг Р. 261  
 Киреевский И. В. 382  
 Кириенко-Волошина Е. О. 408, 416, 417, 422  
 Кириков Б. М. 45, 77  
 Кириллов В. Т. 424  
 Кириченко Е. И. 77  
 Кирюшин П. М. 94  
 Киселев Н. П. 119, 386, 389, 391  
 Кистяковский Б. А. 378, 381, 394, 398, 402, 405  
 Китон Б. 267, 279  
 Клевер Ю. Ю. 293  
 Клеушев А. П. 172  
 Клеушева И. В. 172  
 Клычков С. А. 117, 152, 158, 162  
 Клюев Н. А. 38, 307  
 Ключевский В. О. 9  
 Книпер М. В. 409  
 Князева Н. Г. 280  
 Кобылинский Л. Л. См.: Эллис  
 Коган Н. О. 442, 443  
 Коган П. С. 28, 30  
 Коген Г. 372, 380, 382, 383, 404  
 Кожебаткин А. М. 119, 159, 163, 394  
 Козаков М. Э. 88  
 Козловский Л. С. 154  
 Козловский П. С. 172  
 Козьмин К. С. 263, 270, 271, 286  
 Колбасьев С. А. 91, 92, 196  
 Коллинз М. 230  
 Кольцов М. Е. 96  
 Комаровский В. А. 438  
 Комиссаржевская В. Ф. 276  
 Кон И. 374, 381, 402, 403, 405, 406  
 Кондаков С. Н. 44  
 Конева И. М. 291  
 Коненков С. Т. 306  
 Кони А. Ф. 325  
 Кончаловский П. П. 195  
 Коонен А. Г. 231  
 Константиновский А. И. 271, 288  
 Корбьер Т. 122, 132, 136  
 Коренев М. М. 232  
 Корецкая И. В. 322  
 Корнилов Л. Г. 70  
 Коровин Н. А. 412  
 Короленко В. Г. 84, 184  
 Корсун А. И. 270, 272, 287  
 Корчагина-Александровская Е. П. 100  
 Костенко К. Е. 270, 285  
 Костецкая О. Л. 170-183  
 Котрелев Н. В. 119  
 Кошиц 10  
 Крайний Антон. См.: Гиппиус  
 З. Н.  
 Краков П. А. 437  
 Краудиевская Н. В. 408  
 Краснов П. Б. 411  
 Красовская В. М. 273, 290  
 Краус В. 267, 279  
 Крахт К. Ф. 120, 156-158, 164

Крашенинников А. Ф. 44  
 Крестовоздвиженские 16  
 Крестовская М. А. См. : Шпет  
 М. А.  
 Кржевский Б. А. 94  
 Кривелли К. 268  
 Кричевский 355  
 Кричинский С. С. 58  
 Кроленко А. А. 266, 277  
 Кронер Р. 372, 381, 394, 401,  
 402, 404, 406  
 Кропоткин П. А. 353, 354  
 Кроче Б. 381, 401, 402, 405  
 Кругликова Е. С. 192, 335  
 Кршижановская Е. И. 270-272,  
 286  
 Кршижановский Е. И. 270, 271,  
 286, 287  
 Крылов И. А. 227  
 Крюгер Е. А. 190  
 Ксендзовский М. Д. 267, 278  
 Кубланов Н. 287  
 Кузьмин М. А. 92, 101, 125, 126,  
 139, 142, 162, 163, 262-290,  
 337, 352 (Кузьмины), 359, 368  
 Кузнецов Е. М. 287  
 Кузнецов П. В. 270, 286, 287  
 Кузьмин Н. В. 270, 286  
 Купреянов Н. Н. 414  
 Куприн А. И. 114  
 Купченко В. П. 233, 234, 408,  
 418, 422  
 Кустодиев Б. М. 195, 440, 441  
 Кювилье М. П. 408

Лавренев Б. А. 88, 98  
 Лавров А. В. 117, 126, 135,  
 153, 166, 169, 170, 229, 316,  
 322, 326, 337, 354, 373, 386,  
 390, 392  
 Лавров П. Л. 24, 26  
 Лавровский 270, 288  
 Лагардель Ю. 356  
 Ла Куадра Х. де 97  
 Ланг Ф. 278  
 Ландау Г. А. 392, 395, 406  
 Ландсберг Л. Э. 423

Лани Е. Л. 30, 425  
 Лансере Н. Е. 443  
 Ланц Г. Э. 381, 384, 403, 406,  
 407  
 Лапин Б. М. 287  
 Лаппо-Данилевский А. С. 373,  
 378, 398  
 Лапшин И. И. 143, 351, 373,  
 398  
 Ларионов А. И. 162, 163  
 Ларионов М. Ф. 442, 443  
 Ласк Э. 374  
 Лебедев В. В. 271, 289  
 Лебедева (в замужестве Пришви-  
 на) В. Д. 306, 315  
 Лебедева С. Д. 271, 289  
 Левенсон А. А. 373  
 Левин М. В. 263  
 Левинтон Г. А. 409  
 Левитин Г. М. 271, 288  
 Левитина Г. Д. 270, 286  
 Легар Ф. 267  
 Лейбниц Г.-В. 20  
 Леконт де Лиль Ш.-М.-Р. 133,  
 135  
 Лелевич Г. (Калмансон Л. Г.)  
 84, 214, 232  
 Ленин В. И. 200, 265, 272  
 Леонидов Л. М. 267, 279  
 Леонов Л. М. 302  
 Лермонтов М. Ю. 81, 149, 171,  
 201, 215, 232, 268, 271, 280,  
 282  
 Леруа 356  
 Лесгафт П. Ф. 291  
 Лесков Н. С. 143, 268, 280  
 Лесман М. С. 275, 277, 286, 288  
 Либкнехт К. 209  
 Лившиц Б. К. 88, 91, 262, 272,  
 289, 424  
 Лившиц Е. К. 88, 100, 272, 289  
 Лякиардопуло М. Ф. 122, 138,  
 142, 143  
 Лисовский В. Г. 77  
 Лифанова Т. М. 79  
 Лихачев И. А. 263, 266, 270, 275  
 Лихтенштадт В. 134, 135



Лихуды, братья 24  
 Ллойд Г. 267, 279  
 Лодзинский 355  
 Лозинский М. Л. 290  
 Локс К. Г. 426  
 Ломоносов М. В. 168, 192  
 Лонг 182  
 Лонгфелло Г.-У. 82  
 Лопатин Л. М. 13, 382, 383, 406  
 Лорис-Меликов М. Т. 8  
 Лосский Н. О. 346, 372, 373, 375, 378, 381-383, 388, 398, 402, 406, 407  
 Лотрис Дж. 267, 279  
 Луговской В. А. 424  
 Лузин Н. Н. 29  
 Лукач Д. 406, 407  
 Лукин Б. В. 95  
 Лукницкий П. Н. 438, 439  
 Луначарский А. В. 184, 218, 232, 428  
 Лунц Л. Н. 89, 90  
 Лурье А. С. 427  
 Лурье С. В. 376, 377, 393  
 Любарская Т. Г. 184  
 Ляцкая В. А. 186, 188  
 Ляцкий Е. А. 115

Май Дж. 278  
 Максимов А. В. 45, 75  
 Максимов В. Н. 44-77  
 Максимов Д. Е. 143, 322, 323, 339  
 Максимова Е. В. 44  
 Максимова З. В. 44  
 Максимова Е. Н. 73, 75  
 Максимова-Смирнова А. А. 47, 71  
 Максимовы, семья 48, 52, 57, 61, 71-73  
 Малевич К. С. 427  
 Малейн Е. И. 66  
 Малларме Ст. 159, 160  
 Мальмстад Дж. 279, 280  
 Мамонтов С. И. 17  
 Манасеина Н. И. 420  
 Мандельштам И. Б. 285

Мандельштам Н. Я. 264, 270, 275, 288, 294  
 Мандельштам О. Э. 78, 83, 88, 92, 101, 262, 264, 265, 280, 294, 409, 412  
 Мане Э. 268  
 Марголин С. О. 382, 406  
 Марджанов К. А. 231  
 Марков А. Ф. 409, 415  
 Марков В. Ф. 280, 284  
 Маркс К. 209  
 Маркс Н. А. 420  
 Мартини А. 153  
 Маршак С. Я. 192, 202, 204, 213, 229, 259, 261  
 Маршак Я. С. 202, 213, 229  
 Марэ Г. фон 406  
 Масанов И. Ф. 113  
 Маскина Н. 36  
 Матьюс Ю. Й. 397  
 Мах Э. 15, 382, 407  
 Мачадо А. 97  
 Маяковский В. В. 28, 78, 81-83, 92, 95, 101, 204, 229, 302, 427  
 Медведев П. Н. 99, 195, 373  
 Мейерхольд В. Э. 81, 221, 232, 266, 276, 427  
 Мейлах М. Б. 282  
 Мейринк Г. 93, 282  
 Мелис Г. 372, 373, 394, 406  
 Менделеев Д. И. 71  
 Менс 80  
 Менцель А. фон 268  
 Мережковский Д. С. 95, 170-183, 203, 319-371  
 Метнер Н. К. 17  
 Метнер Э. К. (псевдоним Вольфинг) 17, 119, 134, 154, 156, 159, 160, 168, 169, 326, 372-381, 383-393, 395, 396-398, 400  
 Мец А. Г. 291  
 Мец Г. Б. 291  
 Микеланджело Буонарроти 405  
 Милашевская А. И. 282  
 Милашевский В. А. 263, 264, 267, 270, 278, 282, 286  
 Милль С. де 279

Мильчина В. А. 169  
 Мииндлин Э. Л. 414, 418  
 Минович 79  
 Минц Э. Г. 326  
 Минский Н. М. 321, 322, 325,  
 338, 342, 343, 348, 355, 356,  
 366  
 Митрохин Д. И. 265, 270, 285  
 Митурич П. В. 427  
 Митюшин А. А. 25  
 Михайлов 270  
 Михальцева-Соболева О. И. 266  
 Мишуков Ф. Я. 67  
 Мовшенсон А. 286  
 Могилянский А. П. 101  
 Модзалевская А. Б. 186  
 Модзалевская В. Н. 187  
 Модзалевский Б. Л. 184-189  
 Модзалевский Л. Н. 189  
 Мокульский С. С. 286  
 Мольер 280  
 Момберт А. 155  
 Монахов Н. Ф. 231  
 Моне К. 268  
 Моравская М. Л. 411  
 Мордерер В. Я. 291  
 Мореас Ж. 356  
 Морев Г. А. 262, 381  
 Мориц В. Э. 281  
 Морозов М. А. 322  
 Морозов Н. А. 32, 157, 159  
 Морозова М. К. 379, 380, 385  
 Моцарт В.-А. 267, 281  
 Мочульский К. В. 280  
 Мошкова В. А. 289  
 Мстиславский С. Д. 294  
 Муйжель В. В. 114  
 Мусоргский М. П. 267  
 Мухин В. В. 266, 273, 276  
 Мюллер А. А. 38  
 Мюссе А. де 132, 134  
 Набатовы 232  
 Набоков В. В. 12  
 Нариманов Н. Н. 199, 228  
 Натопл П. 372, 381, 407  
 Недорослов Э. Г. 291

Неелов В. И. 231  
 Нейгауз Г. Г. 35  
 Некрасов Н. А. 293  
 Нельдихен С. Е. 91  
 Немирович-Данченко В. И. 174  
 Немировская М. А. 262, 286  
 Нерадовская Е. К. 442, 443  
 Нерадовский П. И. 428, 441,  
 442  
 Нерлер П. М. 289  
 Нижинская Б. 303  
 Никитин Н. Н. 92, 289  
 Никитина Е. Ф. 413, 422  
 Никитина З. А. 92  
 Никитина Р. А. 272, 289  
 Николаева Е. 424  
 Николай I, император 57  
 Николай II, император 50, 52,  
 54, 59, 65, 69, 299, 309, 310  
 Николай Михайлович, вел. кн.  
 443  
 Николев А. См.: Егунов А. Н.  
 Никольская Т. Л. 262, 275, 280,  
 409  
 Нилендер В. О. 150, 153, 158  
 Нильсен А. 267, 279  
 Нирод М. Д. 308, 310-314, 315,  
 316  
 Нирод М. Ф. 308, 312  
 Нирод Ф. Ф. 308, 316  
 Нирод Ф. Ф., сын 291, 312, 316,  
 317  
 Ницше Ф. 135, 159, 201, 386  
 Новиков И. А. 413  
 Новикова-Принц М. Н. 413  
 Новицкий А. П. 420  
 Новицкий П. И. 441  
 Нувель В. Ф. 320, 327, 328, 352,  
 358, 359  
 Овидий Назон, Публий 93  
 Овсянников Ю. М. 231  
 Одоевский В. Ф. 382  
 Одоевцева И. В. 264, 270, 276,  
 288  
 Оленина-д'Альгейм М. А. 17  
 Олеша Ю. К. 302

Ольга, вел. княжна 302, 308-311, 316  
Ольга, княгиня 54  
Ольгина О. М. 267, 278  
Ольденбург С. Ф. 29, 101, 186, 188  
Оппель В. А. 294  
Орвелл Дж. 46  
Орлов В. Н. 101  
Осмеркин А. А. 270-272, 286  
Остроумов Л. Е. 426  
Остроумова-Лебедева А. П. 195  
Оцуп Н. А. 91

Павлова А. П. 266, 268, 273  
Павлова М. М. 190, 350  
Пазухин А. В. 425  
Пазухина М. А. 425  
Паисий Лигарид 24  
Палей А. Р. 193  
Палладия А. 65  
Панова Г. В. 272, 289  
Пантелеев Л. 232  
Паперно И. А. 280  
Парнис А. Е. 289  
Парнок С. Я. 408-426  
Паскаль Б. 428  
Пастернак Б. Л. 17, 26, 31, 35, 113, 117, 160, 268, 282, 423, 424  
Пауэр Г. 229  
Пахмусс Т. 325, 327  
Перес Гальдос Б. 93  
Перрен (Perrain) 348  
Перцов П. П. 322, 323  
Петин Е. 50  
Петр I, император 56  
Петров Вс. Н. 263-266, 270, 272, 275, 277, 288, 290  
Петров-Водкин К. С. 206, 230  
Петрова А. Г. 264  
Петровский А. С. 119, 134, 155, 160, 326, 386, 387, 389  
Петровский М. А. 28, 34, 37, 39, 40, 425  
Петрушевский Д. М. 29  
Петухов Е. В. 423

Пильняк Б. А. 302, 315  
Пинес Д. М. 196  
Пирожков М. В. 340, 353, 367  
Пискарев Н. И. 417  
Пла-и-Бельтран П. 89, 97  
Платон 20, 22, 23, 34, 388  
Плеханов Г. В. 292  
Плещеев А. Н. 332  
Плотин 20, 22  
Победоносцев К. П. 8, 12  
Поволоцкий Л. С. 295, 304, 306, 309, 313  
Пойзнер Б. Н. 38  
Покровский А. В. 58  
Покровский В. А. 49-56  
Покровский В. П. 266, 277  
Покровский К. П. 266, 274, 277  
Покровский М. Н. 82  
Покрышкин П. П. 48, 70  
Поливанов М. К. 7  
Половцов А. В. 324, 325  
Полонская Е. Г. 88, 90, 196  
Полонский Я. П. 95, 324  
Поляков С. А. 17  
Полякова С. В. 408, 425  
Померанцев А. Н. 50  
Попов П. С. 28  
Попова Р. Б. 264  
Постоутенко К. Ю. 113, 147  
Потебня А. А. 382, 388  
Потемкин П. П. 125, 128, 129, 133, 141, 162, 265  
Преображенский М. Т. 49  
Пресняков О. П. 388  
Пришвин М. М. 82, 306, 307, 316  
Пришвина В. Д. См.: Лебедева В. Д.  
Прокофьев С. С. 267  
Пумпянский Л. В. 194, 232  
Пуня И. А. 427  
Пунин Н. Н. 272, 290, 427-442  
Пунина А. Е. 427, 438  
Пунина И. Н. 427, 438  
Пуришкевич В. М. 353  
Пушкин А. С. 31, 82, 84, 95, 118, 144, 146, 150, 153, 171,

185, 187, 209, 210, 213, 218,  
232, 268, 280, 437, 438

Пяст В. А. 137, 139

Равель М. 267

Радзиевская В. Я. 291

Радимов П. А. 424

Радищев А. Н. 82

Радлов Н. Э. 270, 286

Радлов С. Э. 266, 272-277, 286

Радлов Э. Л. 378, 381, 383, 406

Радлова А. Д. 265, 266, 270-272,  
274, 275, 277, 285, 288, 289

Радловы, семья 265, 271

Расвская-Хьюз О. 418

Раков Л. Л. 263, 267, 270, 271,  
272, 274, 278, 279, 284, 288

Ракова Е. Д. 271, 288

Ракова Л. Д. 271, 288

Раневская Ф. Г. 425

Ранчин А. М. 143

Распутин Г. Е. 309-311, 316

Ратгауз М. Г. 248

Рафалович С. Л. 83

Рахманинов С. В. 17

Рахманов В. В. 94

Рачинский Г. А. 155, 379, 382,  
386, 387, 389, 391

Рашевская Н. С. 273, 290

Редько А. Е. 233

Рейсбрук Удивительный 152

Рейснер Л. М. 82

Рем Дм. (А. А. Баранов) 117

Рембо А. 118, 134, 153, 154,  
158, 160, 263

Ремизов А. М. 152, 265, 268,  
283, 293, 311, 314, 327, 339,  
340, 359

Ремизова-Довгелло С. П. 327

Ренье (Regnier) А. де 131, 133,  
268, 281

Репин И. Е. 265

Репин Н. В. 188

Репин Н. Г. 188

Рерберг И. И. 73, 74

Рерх Н. К. 283

Риккерт Г. 372, 374, 376, 380,

381, 385, 401, 402, 404, 406,  
407

Рильке Р.-М. 155, 156, 268

Римский-Корсаков Н. Н. 267,  
278

Рихтер П. 267, 278

Робакидзе Г. 355, 356

Роден О. 82

Роденбах Ж. 122, 136, 137, 139

Родзянко З. Н. 309-312, 314

Рождественская М. В. 289

Рождественский Вс. А. 272, 289,  
426

Розанов В. В. 291, 293, 321, 322,  
325, 346, 348-350, 353, 370

Розанов М. Н. 425

Розанова Т. В. 292

Розмини-Сербати А. 385

Роллина М. 133, 134

Романов Б. Г. 279

Романовы, династия 302, 310,  
311

Рославлев А. С. 81

Ру Ц. 292, 310, 313, 314, 316

Рубанович С. Я. 117, 149, 152,  
154, 157, 163

Рубинштейн М. М. 382, 403, 406

Румер О. Б. 28

Руммель, мичман 186, 187

Руммель В. В. 187, 189

Руммель М. П. 187, 189

Руслов В. В. 278, 280

Руссо Ж.-Ж. 234, 332

Рыбаков И. И. 437, 439

Рыбакова Л. Я. 437, 439

Рыбакова О. И. 195, 437

Рыкова Н. Я. 270, 288

Рябушинский Н. П. 343

Сабанцев Л. Л. 375

Сабашников М. В. 17, 82

Сабашников С. В. 82

Сабашникова (Волошина) М. В.  
345, 386

Савинков Б. В. 354

Садовской (Садовский) Б. А.  
117, 152

- Сажин В. Н. 78  
 Сакулин П. Н. 82  
 Саламатин И. А. 289  
 Саламатина Т. И. 272, 289  
 Салье М. А. 92  
 Сапунов Н. Н. 276  
 Саянов В. М. 272, 289  
 Свенцицкий В. П. 363  
 Сгуриди В. Г. 411  
 Северянин И. 81  
 Сеземан В. Э. 396, 402, 405  
 Сейфуллина Л. Н. 197, 221, 228  
 Секст Эмпирик 382  
 Семенов Е. 360, 361  
 Семенов М. 350  
 Сендер Р. Х. 93, 95-97  
 Сенецкая Н. 263  
 Серафим Саровский 54  
 Сервантес Сааведра М. де 95  
 Сергеев-Ценский С. Н. 359  
 Серебренников Н. В. 38  
 Сиверс А. А. 184, 188  
 Сигурд 80  
 Сидоров А. А. 117, 120, 150, 154-156, 190, 191  
 Сидорчук С. Ю. 58, 72  
 Сизов М. И. 119, 159, 162, 386  
 Синьорелли Л. 268  
 Скрьдлов А. 270, 288  
 Скрьдлов Н. И. 270, 288  
 Скрябин А. Н. 17  
 Словацкий Ю. 9  
 Слонимский А. Л. 323, 330  
 Слонимский М. Л. 88, 93, 99, 104, 105, 272, 290  
 Случевский К. К. 324  
 Смиренский В. В. (псевдоним Андрей Скорбный) 193-195, 233, 234  
 Смирнов А. А. 265, 274, 281  
 Смирнов Н. П. 425  
 Смирнова А. См.: Максимова А. А.  
 Смирнова Е. А. 267, 279  
 Смогалева Е. П. 307, 315  
 Соболев А. Л. 143, 319, 333, 352  
 Соболев Л. С. 263, 266, 275  
 Содомы (Дж.-А. Бацци) 268  
 Соловьев Вл. С. 8, 11, 12, 15, 22, 150, 158, 379, 382, 406  
 Соловьев С. М., историк 9  
 Соловьев С. М., поэт 116, 117, 119, 120, 142, 150, 158, 162, 163, 167, 348, 351  
 Соловьева П. С. 411, 412  
 Сологуб Ф. 81, 95, 180, 190-261, 265, 268, 281, 283, 288, 321, 327, 359  
 Сомов К. А. 228, 231, 265, 266, 268, 276  
 Спасский С. Д. 272, 289, 423, 424  
 Спендиаров А. А. 410-412, 420  
 Спендиарова Т. А. 413  
 Спенсер Г. 15  
 Спесивцева О. А. 268  
 Спиноза Б. 15, 382  
 Спиридон, схимник 305, 306  
 Сталин И. В. 7, 92, 100, 307  
 Станевич В. О. 117, 119  
 Станиславский К. С. 174  
 Стенич В. О. 289  
 Стенич-Большенцова Л. 100  
 Степанов А. А. 263  
 Степура-Сердюков, священник 409  
 Степпун М. 402  
 Степпун (Степун) Ф. А. 38, 155, 372-379, 381-385, 387-389, 391-394, 396, 398, 400-406, 413  
 Столица (Ершова) Л. Н. 158  
 Сторицын П. 284  
 Стравинский И. Ф. 267, 280  
 Стрельников Н. М. 266, 277  
 Струве П. Б. 12, 160, 378, 381, 398, 402, 405  
 Суворин А. С. 324, 332  
 Суворов А. В. 199, 200  
 Суворова К. Н. 282  
 Судейкин С. Ю. 229, 265, 268, 284  
 Султанова Н. В. 265, 270, 272, 274  
 Суперфин Г. Г. 366

Сутугина В. А. 194, 224, 234  
Сюннерберг К. А. См.: Эрберг К.

Табидзе Г. 96  
Тагор Р. 80, 84  
Тамм Л. И. 272, 289  
Тараховская Е. Я. 424-426  
Тардов В. См.: Ардов Т.  
Татаринова А. П. 118  
Татлин В. Е. 427, 428  
Татьяна, вел. княжна 302, 307,  
308, 311  
Твен М. 88  
Теккерей У.-М. 30, 268  
Теодорович Н. И. 67  
Терещенко М. И. 395  
Тернавцев В. А. 321, 323-325,  
353, 363  
Тетмайер К. 114  
Тизенгаузен О. 270, 287  
Тиме Е. И. 267, 278  
Тименчик Р. Д. 126, 229, 285,  
366  
Тимирязев К. А. 82  
Тимофеев А. Г. 278, 280, 337  
Тихонов Н. С. 88, 91, 92, 196,  
201  
Тоддес Е. А. 263  
Токугава, династия 434-436  
Токугава Измицу 435, 436  
Токугава Изясу 434, 436  
Толлер Э. 275  
Толмачев М. В. 262, 274, 281  
Толстая Е. 282  
Толстой А. Н. 95, 125, 126, 152,  
205, 266, 277, 303, 304, 316  
Толстой Л. Н. 8, 11, 31, 84, 331,  
382, 388, 405  
Толстых Г. А. 377, 393  
Томашевский Б. В. 147, 153  
Тооль А. Ю. 397  
Топорков А. К. 155  
Топоров В. Н. 280, 285  
Тренин С. Н. 38  
Трольч (Трельч) Э. 402, 405  
Троцкий Л. Д. 184  
Трубецкие, братья 9

Трубецкой Е. Н. 13, 15, 379,  
380, 382, 385  
Трубецкой С. Н. 13  
Тургенев И. С. 171, 183  
Тургенева А. А. 153, 154, 158  
Турова Е. А. 72  
Тынянов Ю. Н. 82, 88, 95, 98,  
302  
Тютчев Ф. И. 95, 150, 151, 153,  
268, 282  
Уайльд О. 114, 123, 124, 134,  
160, 268  
Урицкий М. С. 284  
Успенский А. 272  
Успенский В. В. 321, 325, 346-  
349  
Утесов Л. О.- 267, 278  
Фаворский В. А. 414  
Фалилеев В. Д. 414  
Фамарь, игуменья 48  
Фатхуллина Р. Р. 78  
Федин К. А. 95, 98, 99, 194, 204,  
205, 212, 229, 295, 302, 313, 316  
Федоров С. Г. 45  
Федорченко С. З. 421, 423, 424  
Федотов 403  
Фейдт К. 267, 279  
Фсона А. Н. - 267, 278  
Феррейр А. А. 412  
Фет А. А. 83, 122, 149, 150  
Фигисер В. Н. 420  
Философов Д. В. 152, 154, 170,  
319-321, 323-327, 329, 330, 333,  
334, 336-343, 345-347, 349, 350,  
352, 355-358, 361-366, 369, 371  
Фихте И.-Г. 21, 382, 384, 407  
Флейшман Л. С. 113, 153, 278,  
282, 353, 418  
Флексер. См.: Волюнский А. Л.  
Флоренский П. А. 21, 348, 383  
Флоровский Г., протоиерей 379  
Фокин М. М. 81, 267  
Фондаминский И. И. См.: Буна-  
ков-Фондаминский И. И.  
Форш Д. Б. 90

Форш О. Д. 87-90, 101, 202,  
207, 228, 303  
Фосслер К. 381, 388, 401, 404-  
406  
Франк С. Л. 373, 378, 381, 382,  
398  
Франс А. 268, 281, 344, 367  
Франциск Ассизский 126, 127  
Фридерикс В. Б. 59  
Фридлендер Г. М. 389  
Фридрих Я. 377  
Фриче В. М. 82  
Фриштейн-Келер М. 406

Харер К. 126  
Хармс Д. И. 268, 282  
Хвостов В. М. 378, 381  
Хемингуэй Э. 268  
Херасков М. М. 168  
Хлебников В. 78, 95, 206, 282,  
427  
Хлудов В. А. 322  
Ходасевич А. И. 90  
Ходасевич В. М. 270, 286  
Ходасевич В. Ф. 18, 90, 117,  
319, 337, 408, 415, 426  
Ходовецкий Д. 268, 281  
Хомяков А. С. 383  
Христиансен Б. 374  
Хьюз Р. 418

Цветасва М. И. 18, 117, 153,  
158, 284, 408, 411, 412, 419,  
426  
Цераская Л. П. 420  
Цераский В. К. 426  
Цетлин М. С. 409  
Цивьян Т. В. 285  
Циглер Л. 376, 402, 405  
Цирель-Сприггсон С. Д. 273,  
289

Чаадаев П. Я. 382  
Чайковский П. И. 267, 269  
Чапаев В. И. 70  
Чаплин Ч.-С. 267, 279  
Чарская Л. А. 197, 218, 227

Чеботаревская Ал. Н. 212, 213,  
224, 231, 235  
Чеботаревская Ан. Н. 224, 228,  
229, 231  
Челпанов Г. И. 13-15, 17, 18,  
21, 22, 378  
Чемберлен Х.-С. 376  
Черемшанова-Ельшина О. А.  
266, 270, 272, 275  
Чернова Е. А. 271, 289  
Черносвитов Н. Н. 231  
Черносвитова Л. Н. 209, 211,  
231  
Черносвитова О. Н. 207, 209,  
212, 216, 217, 220, 227, 228,  
231, 232  
Черносвитова О. Н., внучка 198,  
203, 229  
Черносвитова Т. Н. 216, 232  
Черносвитовы, семья 217, 224,  
232, 234  
Чернышевский Н. Г. 11  
Черубина де Габриак 411  
Чехов А. П. 127, 140, 143, 219,  
232, 303  
Чехонин С. В. 428  
Чиж В. Ф. 125, 127  
Чичерин Б. Н. 382, 405  
Чичерин Г. В. 274  
Чичерин Н. В. 265, 274  
Чосер Дж. 261  
Чувиляев Ф. К. 307, 308, 316  
Чудаков А. П. 193  
Чудакова М. О. 124, 127, 264  
Чуковская Л. К. 264, 269, 285,  
288  
Чуковский К. И. 89, 204, 261,  
265, 369  
Чуковский Н. 287  
Чулков Г. И. 114, 323, 330, 335,  
341, 361  
Чупров А. А. 378

Шагинян М. С. 90, 91, 93, 104,  
411  
Шадрин А. М. 264, 270, 287  
Шалаяпин Ф. И. 267, 274

- Шаньявский А. Л. 18, 84  
 Шапорян Ю. В. 191, 192, 266, 277  
 Шапорина Л. В. 191-193, 195  
 Шапошников Б. В. 28  
 Шаукал П. 156  
 Шварц М. Н. 407  
 Шведс-Радлова Н. К. 270, 286  
 Шебуев Н. Г. 114, 115  
 Шекспир В. 84, 211, 225, 233, 234, 268, 269, 280, 281  
 Шеллинг Ф.-В.-Й. 384  
 Шенрок С. В. 117, 150, 153, 154, 161, 162  
 Шербов И. П. 321  
 Шервашидзе А. К. 418  
 Шервинский С. В. 28  
 Шерон Ж. 281-283  
 Шеррер Ю. 380  
 Шестов Л. И. 17, 227, 346  
 Шилейко В. К. 437, 440, 441  
 Шишков В. Я. 194, 206, 229, 303, 304  
 Шкловский В. Б. 82, 88, 98, 99, 104  
 Шлегель Ф. 382, 384, 405  
 Шмаков Г. Г. 277, 279, 280, 282, 284  
 Шмелев И. С. 81  
 Шопен Ф. 133, 267, 271  
 Шопенгауэр А. 15  
 Шор В. Е. 105  
 Шор Р. 27  
 Шостакович Д. Д. 267  
 Шоу Б. 268  
 Шпет Г. Г. 7-43  
 Шпет Л. Г. 15, 19, 35  
 Шпет М. А. 15, 16, 19, 28  
 Шпет М. Г. 25, 28, 35, 36  
 Шпет Н. К. 19, 25, 35, 36  
 Шпет С. Г. 25, 28, 35  
 Шпет Т. Г. 25  
 Шпет-Поливанова М. Г. 7, 15, 19, 28, 36  
 Шпетт М. О. 10, 11, 16, 25  
 Шпетт Я. Г. Б. 10  
 Шредер 310-312  
 Штейнер Р. 119, 121, 153, 154, 156-158, 168, 344, 345, 390-392  
 Штраух И. 401  
 Штрогейм Э. фон 267, 279  
 Шумихин С. В. 264, 280, 287  
 Щеголев П. Е. 234, 437  
 Щеголева В. А. 194, 224, 234, 437  
 Щекатикина-Потоцкая А. В. 250, 259  
 Щукин С. И. 322  
 Щусев А. В. 28, 48, 49, 56, 67, 73, 77  
 Эдсмид К. 287  
 Эйнштейн А. 84  
 Эйхенбаум Б. М. 82, 280  
 Экхарт И. (Майстер Экхарт) 386, 387  
 Эллис (Кобылинский Л. Л.) 117, 119-124, 127-137, 139-142, 144-146, 148, 149, 152, 155-158, 160, 352, 373, 374, 377, 383, 385, 388, 390  
 Эльснер В. Ю. 156  
 Эрарская Л. В. 408, 410, 423  
 Эрберг К. (Сюннерберг К. А.) 392  
 Эрнштейн Б. М. 265, 274  
 Эренбург И. Г. 88  
 Эрлик Н. Е. 86  
 Эрль В. И. 289  
 Эрн В. Ф. 17, 120, 156, 158, 159, 379-382, 388  
 Эртель М. А. 158-160  
 Эссен Н. К. 187, 189  
 Эфрос А. М. 424  
 Юм Д. 15  
 Юркевич П. Д. 13, 22, 24, 33, 39  
 Юркун Ю. И. 262, 263, 265, 268-272, 274  
 Юрьев Ю. М. 214, 232  
 Ябе Томоз 428, 429  
 Явид А. К. 187, 188



Ягода Г. Г.	46	Яценко А. С.	418
Якобсон Р. О.	27		
Яковенко Б. В.	372, 376, 377, 379-385, 388-391, 393, 394, 401- 403, 405-407	Bache, prof.	356
Яковлев А. С.	426	Bethea D.	127
Яковлев В. И.	71	Bleuler	32
Яковлев К. Н.	267, 279		
Якубович П. Ф.	146, 325	Lövgren H.	276
Яннингс Э.	267, 279	Mickiewicz D.	386
Ярхо Б. И.	27, 28, 34, 39, 40	Moch-Bickert E.	229
Ясинский И. И.	324	Serman I.	282

# Содержание

От составителя . . . . .	3
--------------------------	---

## ПОРТРЕТЫ

<b>М.К.Поливанов.</b> Очерк биографии Г.Г.Шпета . . . . .	7
<i>А.Ф.Крашенинников.</i> Зодчий русской национальной школы Владимир Николаевич Максимов (1882–1942) . . . . .	44
<i>Римма Фатхуллина.</i> Материалы к биографии Давида Выгодского . . . . .	78

## ПУБЛИКАЦИИ

Письма С.П.Боброва к Андрею Белому 1909–1912 Вступительная статья, публикация и комментарии К.Ю.Постоутенко . . . . .	113
<i>Д.С.Мережковский.</i> Письма к О.Л.Костецкой Предисловие и публикация А.В.Лаврова . . . . .	170
«Здесь общий ропот на Совет...» Письмо Б.Л.Модзалевского из Гатчины 1918 года. Предисловие и публикация Т.Г.Любарской . . . . .	184
<i>Е.Я.Данько.</i> Воспоминания о Федоре Сологубе. Стихотворения. Вступительная статья, публикация и комментарии М.М.Павловой . . . . .	190
<i>О.Н.Гильдебрандт.</i> М.А.Кузмин Предисловие и комментарии Г.А.Морева Публикация и подготовка текста М.В.Толмачева . . . . .	262
Новое о Сергее Гедройц Предисловие, публикация и комментарии А.Г.Меца . . . . .	291

## VARIA

<i>А.Л.Соболев.</i> Мережковские в Париже (1906–1908) . . . . .	319
<i>М.В.Безродный.</i> Из истории русского неокантианства (журнал «Логос» и его редакторы) . . . . .	372
<i>В.П.Кунченко.</i> С.Я.Парнок и М.А.Волошин. К истории взаимоотношений . . . . .	408
<i>И.Н.Пунина.</i> Из архива Николая Николаевича Пунина . . . . .	427
Указатель имен . . . . .	445

**ЛИЦА**  
**БИОГРАФИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ**  
**I**

**Феникс • Atheneum**

**Редактор-составитель А.В.Лавров**

**Редактор Е.В.Русакова**  
**Художник И.В.Анисимова**  
**Технический редактор М.В.Минаев**  
**Корректор Г.В.Заславская**

**Биографический институт: Санкт-Петербург, 191011, Невский, 31**  
**Издательство «Феникс»: Москва, 103009, Тверская, 6, стр. 7**

**Сдано в набор 20.11.91. Подписано в печать 17.04.92.**  
**Формат 60×88/16. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс».**  
**Усл. печ. л. 29,0+2,0 усл. печ. л. вклеек. Усл. кр.-отт. 33,0.**  
**Тираж 8000 экз. Заказ № 398. С17**

**Отпечатано с готовых диапозитивов в Государственной типографии № 4**  
**г. Санкт-Петербурга Министерства печати и информации Российской Федерации.**  
**191126, Санкт-Петербург, Социалистическая ул., 14.**